

К.Н. БРУТЕНІ ТРИАЦАТЬ ЛЕТ НА СТАРОЙ ПЛОЩАДИ

К.Н. БРУТЕНІ

ТРИАЦАТЬ ЛЕТ
НА СТАРОЙ
ПЛОЩАДИ

К.Н. БРУТЕНЦ

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
НА СТАРОЙ
ПЛОЩАДИ



К.Н. БРУТЕНЦ

**ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
НА СТАРОЙ
ПЛОЩАДИ**



Москва
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
1998

УДК 327 (47 + 57) (091)
ББК 63.3 (2) 635-6

ISBN 5-7133-0957-6

© Брутенц К.Н., 1998
© Подготовка к изданию и оформление изд-ва
«Международные отношения», 1998

Посвящается моим родителям,
которые дали мне больше, чем могли,
моей семье, которая мне надежда и опора.

Содержание

От автора.....	9
Часть I.	
БАКУ — РОДНОЙ И ЧУЖОЙ	11
1. Мои корни	11
2. Школьные годы	36
3. Война	53
4. Врачебная интермедия	68
5. Первое вхождение в аппарат	78
Часть II.	
НА ПУТИ К НОВОЙ СУДЬБЕ	90
1. На академических хлебах	90
2. В Москву — через Прагу	113
Часть III.	
ТРЕТИЙ ПОДЪЕЗД	130
1. О Международном отделе ЦК	130
2. «Моя» Африка	197
3. Консультантские годы	225
Часть IV.	
ГЛАЗАМИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ	284
1. Дуэль в «третьем мире»	286
2. «Мы» и Латинская Америка	338
3. В арабском лабиринте	362
4. Немного о далекой Азии	443
5. Об афганском походе	451
6. Миссия в Степанакерте	505
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	560

От автора

*...здесь опять
Минувшее меня объемлет живо.*

А.С. Пушкин

Признаюсь, мемуарная эпидемия, заразившая многих моих друзей и коллег, не пощадила и меня. Но чередой уже изданных воспоминаний — интересных, содержательных, а порой блестяще написанных — и сдерживала: не пресытился ли читатель, особенно молодой, рассказами и пересудами о времени, которое для общества уже превращается в историю? А я ведь вряд ли смогу много добавить существенно нового о действиях высшего руководства страны, к которому никогда не был непосредственно близок.

И все же, изрядно поколебавшись, я взялся за перо. Мне, современнику нескольких эпох — «сталинских побед», хрущевской «оттепели», брежневской контрреформации и полураспада, горбачевской перестройки, наконец, ельцинской России, иногда трудно бывает узнать собственное время в набросках и толкованиях, искаженных на телеэкране, в газетах или журнальных статьях невежеством, нелюбопытством или идеологическими пристрастиями. И мне показалось нужным, стоящим делом самому попробовать набросать портрет моего поколения и воссоздать атмосферу нашего времени такими, какими они виделись тогда и какими видятся сегодня. К этому обязывает и долг перед сверстниками, не вернувшимися с войны.

Некоторые мои бывшие коллеги предпочитают рассказывать о прошлом как бы со стороны, отводя себе роль лишь свидетеля и критика. Я же не считаю возможным отвлечься от того факта, что был участником — пусть зачастую только одним из «винтиков» в машине, которая принимала решения, совершавшегося, и потому несу свою долю ответственности за то, что и как происходило в стране и партии. Вот с этих

позиций я и попытался описать также свою причастность к некоторым сторонам советской внешней политики, вернуться и к плохому, и к хорошему в былом.

Добросовестный читатель обратит внимание и на такое весьма существенное, с моей точки зрения, обстоятельство, наложившее отпечаток на книгу. Я принадлежу, как говорится, к «некоренной национальности», и моя биография, мой путь из республики в столицу, мои ощущения, наблюдения и впечатления, думаю, дают право и основания обстоятельно поговорить о том, как выглядел или, по крайней мере, как представлялся мне национальный вопрос в Советском Союзе, империи, по утверждению одних, и обители дружбы народов, по убеждению других.

И наконец, еще одно. Этой книгой хочу отдать дань близким — родителям, своей семье, родным, друзьям. Хочу, чтобы они, их скромная и достойная жизнь были бы как-то запечатлены и в печатном слове.

Не знаю, насколько задуманное удалось, насколько книга получилась. Надеюсь, однако, что вправе рассчитывать: судя написанное, читатель вспомнит о целях, которые ставил перед собой автор.

ЧАСТЬ

I

БАКУ — РОДИНОЙ И ЧУЖКОЙ

1. МОИ КОРНИ

Родился я 3 июля 1924 г. в армянской семье, в городе Баку — тогда столице Азербайджанской Советской Социалистической Республики. Фамилия Брутенц произошла от папиной партийной клички подпольных времен — «Прутянец» («гончар» — на карабахском наречии). Братья его носили фамилию «Асцатуров» (русифицированный вариант фамилии «Аствацатрян» — в переводе «Богданов»). Отец мой, Брутенц-Аствацатрян Нерсес Александрович, и мать, Тарумян Арфения Яковлевна, родом из Шуши, еще недавно малоизвестного городка в Нагорном Карабахе.

Дед по отцовской линии был плотником, умер рано. Его вдова, моя бабушка, оставшись с шестью малолетними детьми на руках (отцу было девять лет), стала поденщицей. Дедушка с материнской стороны служил в русской армии в годы первой мировой войны и вернулся инвалидом. Владелец небольшой галантерейной лавки, он, видимо, не нуждался: две его дочери учились в русской гимназии (а она была платной). Правда, работала и бабушка — вязальщицей.

Воспоминания¹ двоюродного дедушки, профессора-педиатра О. Канроляна (его именем названа клиника в Ереване), дают некоторое представление о жизни моих родителей:

¹ Эти воспоминания были написаны в 1945–1946 гг., но не опубликованы из-за трагической гибели дедушки в авиакатастрофе летом 1946 г. Я в них не меняю ни буквы: теперь, по прошествии стольких лет, они сами стали свидетельством времени. И каждое слово, оборот речи, сам строй изложения порой говорят о времени больше досужих рассуждений потомков.

«С каким умилением вспоминаю я наш дом со двором и садиком. Одна комната с тремя окнами на улицу, с одним во двор и с одним на открытую веранду. В стены были вделаны ниши со шкафами. Самая большая ниша для постелей: матрацев, самодельных одеял и пуховых подушек. Одеяла — с замысловатыми покрывалами, их было много. Для нас — отдельные, и имелся излишек для гостей. На ночь постели выносились из шкафов, чтобы постелить на койки (кроватей у нас не было, лежали все подряд, виолуповалку). Утром они снова убирались в шкаф. Мебели особой не было — несколько стульев, ломберный стол. Сиденьями служили также несколько сундуков. Как пол, так и сундуки были покрыты карабахскими коврами и паласами. Это придавало помещению уют и красоту.

Зимой печей не ставили. Посреди комнаты был очаг для разведения огня углем. Над ним ставилась древнейшая отопительная печка «курси». Она представляла собой широкий низкий деревянный стол. На стол и по бокам настилался палас, поверх него — красивый столовый платок. На полу по всем четырем сторонам расстилали узенький мягкий тюфяк. Мы садились вокруг «курси», ноги всовывали под стол, укрывались паласом и грелись. Верхняя поверхность «курси» служила нам столом. На нем мы ели, пили, на нем и готовили уроки.

Так было в холодное время. В теплый сезон наша семья спала на воздухе. Мать и сестры — на открытой веранде. Я же устраивался в саду. В саду было два больших грушевых дерева. Наши груши сорта «дишес» славились на весь квартал. Они были необыкновенной величины и окраски, удивительно ароматные, сочные, сладкие. Не раз, бывало, прохожие стучались в ворота, вызывали мать, просили испробовать грушу. Отказа никому не было, мать внушала сестрам и мне: «Природа дала, но не только для нас, а дала для всех людей».

Во дворе было еще два домика амбарного типа — складские помещения.

Ворота наши были длинными и оригинальными, громадной высоты и большой ширины, чтобы навьюченные лошади могли свободно войти во двор. Было двое створок. В одной из них была вырезана маленькая круглая дверца. Над ней висел металлический молоточек. Вровень с ним вделана была металлическая дощечка, о которую можно было ударить молоточком. Ворота открывались в редких случаях: или к нам приезжали наши родственники, или когда мы покупали два мешка муки, чтобы выпечь лаваш на три месяца».

Шуша, в то время примерно 30-тысячный городок, уже переживший пору своего расцвета, был населен главным образом армянами. В трех училищах — реальном, городском и женском — преподавание велось на русском языке. Из-за довольно высокой платы за обучение туда поступали армянские дети из имущих семей. «Преподавательский состав в этих школах, — пишет дедушка, — был одет в форму,

лица у большинства из них были «вытянуты», выправка — военная, и вели они себя как завоеватели, а многие смотрели на местное население, как на низшую расу».

Существовали также армянские женская гимназия и духовная семинария, здесь в основном учили бесплатно. Многие родители, добываясь специальных стипендий, в том числе от церкви, старались дать детям хорошее образование. В 1896 году более 120 шушинцев-армян учились в вузах Германии, Франции, России, Англии и Швейцарии.

По словам родителей, отношения между армянами и азербайджанцами в Шуше были не слишком близкими и не слишком дружественными (хотя соседи, как правило, жили в мире). Конфликты, а тем более кровавые столкновения в большинстве случаев провоцировались извне, и подстрекателями обычно выступали царские власти. Поистине трагический оборот приняли события 1918—1920 годов, национальную рознь явно разжигали поначалу турки, чья войска стояли в то время на холмах, окружавших Шушу, а затем появившиеся здесь англичане².

В марте 1920 года дело дошло до настоящей резни армянского населения азербайджанскими националистами-мусаватистами. Достаточно сказать, что после этих событий армян в Шуше не осталось.

В первую очередь вырезали молодых мужчин — тех, кто не успел бежать. Женщин же и детей согнали в несколько домов. Среди них оказались моя бабушка по материнской линии (ее потом зверски убили) и мамина сестра Люся, девочка десяти лет. По ее рассказам, в помещение, где они содержались, то и дело врвались молодые азербайджанцы. Пленниц осыпали ругательствами, избивали, случалось, хватали маленьких детей и расшибали им головы о стену. Несколько азербайджанских подростков попытались изнасиловать находившихся там девочек. Когда же им это не удалось, «на помощь» пришли взрослые, среди них — одетый в военную форму азербайджанец средних лет. Он вырвал Люсю из объятий бабушки (при этом он отрубил ей руку) и вместе с молодым азербайджанцем потащил на чердак. Там девочку изнасиловали, а затем на спине вырезали кинжалом крест.

В первую же ночь резни был убит и мой дедушка с материнской стороны. Отец и его братья сумели бежать. Так что знаю не понаслышке: нынешние армяно-азербайджанские страсти имеют свою историю, притом весьма кровавую.

В Нагорном Карабахе — «большой» родине моих родителей — мне довелось побывать трижды. К первому разу отношу летние каникулы 1935 и 1936 годов, которые мы с мамой провели у отца

² Турки и англичане в разное время оккупировали некоторые районы Закавказья на исходе первой мировой войны и непосредственно после нее.

(в то время начальника управления НКВД по Нагорно-Карабахской автономной области), в основном в Степанакерте.

Затем я оказался в Нагорном Карабахе в 1946 году, уже и в Шуше — «малой», главной родине моих близких. Меня привели к дому — жилищу моих предков, точнее, к тому, что от него сохранилось: две полуразрушенные стены, остатки колодца и печи, в которой пекли хлеб, заросший сорняками, заваленный камнями участок.

Сама Шуша (она расположена на высоте свыше 1300 метров над уровнем моря и потому служила также и горноклиматическим курортом) больше походила на города военных лет, которые не раз переходили из рук в руки в пылу ожесточенных сражений. Но поразили не только бесконечные груды развалин, пепелища, безлюдье. Поразила прежде всего четкая и зловещая межа между азербайджанской и бывшей армянской частями города. Справа, в азербайджанской части, никаких руин, там шумела обычная жизнь, там ездили автомашины, там жили люди.

Армянская же часть была — спустя почти 30 лет после погрома — абсолютно мертва (теперь можно сказать, что положение не менялось и до конца 80-х гг.). Этот «лунный» пейзаж произвел на меня, понятно, огромное впечатление, тем более что я уже понимал: перед моими глазами не только «подарок» истории, не только ужасное наследие прошлых лет, но и плоды, так сказать, текущей политики. Тогдашнее руководство республики, видимо, сознательно не желало восстанавливать армянскую часть города, возвращение армян в его планы не входило.

Наконец, в третий раз я попал в Нагорный Карабах по поручению М.С. Горбачева в период начавшихся там волнений, которые дали толчок новейшему кровавому армяно-азербайджанскому конфликту. Но об этом в свое время.

Кстати, для меня несомненно, что одним из главных мотивов, приведших отца в революцию, были национальная политика царизма, кровавый опыт разжигавшихся им межнациональных столкновений. Отец окончил армянскую духовную семинарию в Шуше, а затем поступил в духовную академию в Эчмиадзине — резиденции глав армянской православной церкви, католиков всех армян. Вместе с ним учились А.И. Микоян, Саркис, Артак, ставшие впоследствии видными партийными деятелями и расстрелянные — за исключением Микояна — в 1937–1938 годах.

Оставив академию, папа недолгое время учительствовал на селе. В партию большевиков он вступил еще до Октябрьской революции, в годы мусавата и господства дашнаков³, участвовал в партизанском

³ Соответственно, азербайджанская и армянская националистические организации, возглавлявшие после краха царизма независимые Азербайджан и Армению.

движении, а с 1920 года работал в ВЧК. Веру его в партийные идеалы, убежденность в их правде и естественности никто и ничто не могли поколебать. Самое поразительное, однако, что вера эта уживалась с отсутствием иллюзий и трезвостью взглядов на многое и многих. Я имею в виду прежде всего Сталина, других тогдашних руководителей, но в особенности Берия, которого отец хорошо знал. И даже после XX съезда эта вера не была поколеблена. Наши горячие споры ничего тут изменить не могли и не изменили.

Отец был добрейшим человеком. Это безошибочно чувствовали дети, которые неизменно, всегда и повсюду тянулись к нему. Он, мне кажется, отдыхал душой с ними, был отзывчив в отношениях родственниками, пользовался популярностью среди коллег и товарищей, у него неизменно встречали теплый присм земляки. Вообще, первое, что срывалось с языка у знавших отца людей, когда о нем заходила речь, было: «Очень добрый».

Как-то я получил напоминание о доброте отца несколько необычным образом. В конце 70 — начале 80-х годов меня разыскал «коллега» по детскому саду, сын папиного товарища, репрессированного 1937 году, — Гарри Орбелян (отец Константина Орбеляна — художественного руководителя Камерного симфонического оркестра России).

В годы войны Гарри оказался в немецком плену и, опасаясь худшего (сын репрессированного да еще попавший в плен), предпочел пересечь в Соединенные Штаты. Там судьба ему улыбнулась, он стал очень богатым человеком, но кавказская душа в нем продолжала бродить. И как только в 70-х годах отношения между США и Советским Союзом несколько потеплели, он принялся за поиск оставшихся на родине знакомых и друзей. Через Б.Н. Пономарева (тогда секретаря ЦК КПСС), побывавшего с парламентской делегацией в США, вышел на меня.

Так вот, при первой же нашей встрече Орбелян начал разговор с того, каким был добрым «дядя Нерсес», который не изменил к нему отношения и после ареста отца. Не скрою, услышать это было для меня более чем приятно.

По своему характеру папа был независимым человеком, доставило ему немало служебных неприятностей. Он, например, на партсобрании выступил против Фриновского, главы НКВД в Закавказье (тот досрочно до наркома военно-морского флота, а в 1938 г. был арестован и расстрелян). В результате отец, хоть и снискал популярность среди сослуживцев, но был снят с занимаемого поста и срочно переведен из Тбилиси на меньшую должность в Баку.

Или такая вот деталь. Довольно хорошо знал Микоян в течение всех долгих лет пребывания того в первой десятке лидеров страны, отец никогда, даже в весьма трудные для себя минуты, к нему не обращался. Они встретились по инициативе отца лишь тогда, когда Микоян оказался не у дел.

Думаю, эта самостоятельность уходит корнями и в семейную, карабахскую традицию. Карабахцы, как я представляю, считают себя — и это на самом деле так — своеобразной ветвью армянской нации, людьми особыми. Я имею в виду отнюдь не этнографические отличия, а человеческие — самобытность их характера.

Это мужественные, темпераментные, но сдержанные, в большинстве своем немногословные люди независимого нрава с обостренным чувством собственного достоинства. Им свойственны недюжинное трудолюбие и упорство, у них очень «земной», грубоватый юмор (он вспоминался мне, когда я читал роман Р. Роллана «Кола Брюньон»), который очень часто нелегко понять, если не владеешь карабахским диалектом. Это люди, чьи лица нередко остаются непроницаемыми и в веселые минуты. Один из дядей отца — Андре даи (дядя Андрей) — любил повторять: «Разве мужчина может смеяться?»

Среди карабахцев немало людей, способных к небанальным шагам и акциям. Тот же Андре даи, достигнув столетнего возраста, решил, что этого достаточно, поскольку он уже не в состоянии работать и еле ходит. Попрощавшись по всем правилам с родными, Андре даи, несмотря на все их увещания, перестал принимать пищу и умер голодной смертью.

Мой дедушка О. Капрэлян (Овнан-Кары — дедушка Иван), на мемуары которого я ссылался, получил в 1941 году известие о гибели сына. Не пролив ни одной слезы и не проронив ни единого слова, он заперся в своем кабинете и провел там пять суток — все это время не брал в рот ничего, кроме воды. Потом вышел из кабинета и вернулся к работе, так ничего и никому не сказав (позже выяснилось, что сообщение было ложным). Его натуру характеризует и другой факт. Еще молодым человеком он дал слово умиравшей жене ради детей «не приводить в дом другую женщину», и это свое слово сдержал.

Карабахцы всегда были в сложных отношениях со своей, в значительной мере теоретической, матерью-родиной — Арменией. Ереванцы привыкли свысока смотреть на карабахцев, считать их диалект чем-то низким, поскольку, помимо всего прочего, в нем немало заимствованных слов — тюркских, арабских. Карабахцы отвечали примерно тем же, утверждая, что именно они представляют собой соль армянской нации, что именно из их среды выходят самые талантливые, трудолюбивые и мужественные ее представители...

Образование у отца было, так сказать, смешанное — армяно-русское, и не скажу, чтобы в целом слишком хорошее. Но в НКВД он дослужился до довольно высоких постов. К 1936 году занимал должность начальника управления НКВД по Нагорно-Карабахской области и имел звание капитана государственной безопасности — по нынешней классификации это нечто среднее между полковником и генералом. В Азербайджане подобное звание получили только пятеро.

У отца было три брата. Старший, Григорий, комиссар кавалерийского полка, погиб, заразившись от своей лошади сапом. Младший, Александр, бежал вместе с моим отцом в дни резни из Шуши, двинулся сначала в Баку, а затем и дальше, наконец осел в Ташкенте, окончил архитектурный институт и добрался до должности первого заместителя председателя Ташкентского горисполкома. Еще один брат, Асцатур, был рабочим-электриком, чинил розетки в тех же кабинетах в Ташкенте, в которых посиживал Александр. Над братьями Асцатур беззлобно подшучивал, называл их «начальничками».

Любопытно, что такая же нотка незлоливой иронии по отношению к отцу проскальзывала и у другой представительницы рабочей профессии в нашей родне — ткачихи тети Зумбруд, которая, кстати сказать, была заметной фигурой у себя на шелкомотальном комбинате. Держалась она со спокойным достоинством, строже, чем дядя Асцатур. Я видел на ее лице широкую улыбку только тогда, когда она возилась с детьми.

В Ташкенте же обосновалась и единственная папина сестра Аннушка — тихая, удивительно мягкая, отзывчивая женщина. К детям, и не только к своим, она относилась с поразительной нежностью. Аннушка жила очень трудно, а в войну потеряла всех своих сыновей. Двоих, Мартына и Людвига, убило на фронте, а старшего Рубена, больного, в голодную военную зиму скошил туберкулез.

Отношения между братьями, быть может, на мой пристрастный взгляд, выглядели довольно идиллически. Их связывала мужская дружба, сдержанная, но, как мне казалось, проникнутая взаимной любовью, даже нежностью. Охотно помогали друг другу, не признавали между собой денежных расчетов и не ставили этого себе заслугу.

Мама тоже была очень преданна родственникам. Я иной раз негодовал по поводу ее некритичного отношения даже к тем из них, кто бывал «не на высоте». Лишь позже понял, что она была мудрее: родственные связи не только способны согреть душу, они облагораживают людей, помогают сохранять традиции, складывать «коллективную память» о предках.

К сожалению, многое из этого ушло в прошлое вместе с их поколением. Мы, их потомки, уже лишены подобной близости, хотя, конечно, кавказское и семейное в нас еще живет, и мои отношения с двоюродными родственниками теснее и теплее, чем это обычно принято, скажем, в Москве. На этих страницах еще не раз по разным поводам придется обращаться к тому, что нравы на Кавказе вообще свои. Я помню, как, попав в Москву, был удивлен, когда мой столичный приятель стал возвращать мне деньги за купленные для него билет в метро и брикет мороженого. Тогда на Кавказе думаю, и теперь — это выглядело бы дико. И это отнюдь не связано, как пытаются объяснять некоторые, с тем, что кавказцы богаты

денег не считают. Это просто иной стиль жизни. Точно так же, как на Западе, если приглашают друзей в ресторан, нередко каждый платит за себя. В России же, это, слава Богу, пока не привилось.

Самостоятельность отца, его вера в партийные аксиомы обернулись для него бедой в годы сталинских чисток. В 1936 году ему было предъявлено обвинение в «мягкотелости» и недостаточно бдительном отношении к врагам народа. Дальше — больше: последовали обвинения по тому времени уже совсем тяжелые. Один из арестованных его коллег показал, что отец не то в 1926-м, не то в 1927 году «заинтересованно» изучал троцкистскую платформу. Абсурдно это звучало: с этой платформой тогда достаточно широко знакомились члены партии. Отец же должен был проявить интерес к ней, имея в виду и служебные обязанности, как они в ту пору понимались. Тем не менее он был «временно» отстранен от должности и вызван в Баку для дачи объяснений.

Как раз в то время проверять работу азербайджанского НКВД из Москвы прибыла очередная комиссия. Расследование длилось две недели, и каждый вечер отец уходил, чтобы предстать перед комиссией. На вторую неделю он уже забирал с собой узелок с вещами. И каждый вечер мама вместе со мной, двенадцатилетним подростком, выходила на улицу и мы несколько часов прогуливались вдоль белой стены, опоясывавшей стадион «Динамо», вглядываясь в светившееся угловое окно на третьем этаже дома на противоположной стороне улицы. Жили мы в трех кварталах от здания НКВД, которое было расположено напротив стадиона. И знали, что угловое окно — это окно кабинета наркома внутренних дел Азербайджана, где заседала комиссия. Мы вышагивали вдоль стадиона, сверлили глазами это окно, затем поворачивали назад к зданию пединститута, и — вновь к стадиону, так много раз: ждали выхода отца. В первый вечер, когда, выйдя из здания, — это было уже в третьем часу ночи — отец увидел нас, он страшно рассердился: мама не только не спит сама, но и мучает сына. Но ему не удалось переубедить ни жену, ни меня. И наши походы продолжались.

Самым страшным было бы увидеть, что свет в кабинете погас, а отца все нет. Это означало бы фатальный исход. Но все завершилось благополучно: хотя отца и не реабилитировали, наказание оказалось по тем временам пустяковым: он был переведен в милицию, назначен начальником ГАИ республики.

Мы все, исключая, конечно, отца, восприняли такой финал как избавление, больше того, как счастье. Сам же он отнесся к этому иначе. Для него это стало жизненным поражением, непонятным наказанием лишь за то, что поступал — а он был убежден в этом — правильно, честно. К тому же это означало отлучение от той профессиональной деятельности, к которой он не только привык, но и считал особенно важной для революции, своим партийным долгом. Через полтора года отца убрали и из милиции.

Еще несколько штрихов, передающих обстановку того времени. Управление милиции помещалось в том же здании, что и органы политического сыска. С тех пор как отец побывал в подследственных, мать не ложилась спать, дожидаясь его возвращения с работы.

Бывало это поздно, в два-три часа ночи. Однажды раздался телефонный звонок: отец предупреждал, что не придет в обычное время. И прибавил по-армянски, что было необычно: прийти не могу, из здания никого не выпускают, идут аресты. Той ночью сам НКВД подвергся разгрому — одному из нескольких. Работники, как рассказывал отец, замерли в своих кабинетах, прислушиваясь: по коридорам шли группки людей, и если дверь в кабинет открывалась, это означало, что его хозяин будет арестован. Причем аресты, по крайней мере в ту ночь, порой сопровождалась избиениями.

Кстати, если судить по Азербайджану, люди из этой структуры пострадали в эти годы не меньше других. Из пяти капитанов государственной безопасности четверо были арестованы в 1937—1938 годах, причем трое расстреляны и лишь один вернулся после 1953 года. Та же участь постигла и руководителей республиканского наркомата — Герасимова и Раева, последний был арестован прямо в кабинете Багирова — секретаря ЦК Компартии Азербайджана. Рассказывали, что он сказал при этом работнику НКВД, указывая на Раева: «Возьми это г...но и отвези в Москву».

Подлинными счастливыми были в те годы лишь немногие: кто избежал репрессий и в то же время остался не вовлеченным в кровавую мясорубку 1937—1938 годов, а просто оказался не у дел, вроде отца или, скажем, его близкого товарища Якова Минасвича Мхитарова (партийная кличка Мрачный). Как и отец, он был изгнан из органов и влачил невеселое существование, занимая мелкие административные должности в различных учреждениях.

Мы жили на улице им. лейтенанта Шмидта в трехэтажном доме, напротив площади 26 Бакинских комиссаров (или Свободы), где стояли постаменты с их бюстами, а в центре скульптурной группы высилась большая мускулистая фигура рабочего, держащего в руках рычаг, которым он поднимал земной шар. Дом, поначалу двухэтажный, в 30-е годы был надстроен. В новых квартирах жили главным образом так называемые руководящие кадры и гражданские летчики. За период с 1936 по 1938 год жильцы многих квартир сместились неоднократно — по причине «перемещения» в тюрьмы и места отдаленные.

Чуть ли не каждую ночь по дому шествовала мрачная процессия: несколько человек в фуражках с малиновым околышем (форма НКВД) в сопровождении неизменного понятого с громкой фамилией Ульянов. Седовласый мужчина, член партии, кажется, с 1905 года, он внешне оставался бесстрастным. То было время, когда ночной звонок имел однозначно зловеющий и фатальный смысл.

Помню, какое впечатление произвела на меня опубликованная в «Правде», кажется, в 1946 году речь Герберта Моррисона, лидера лейбористской партии Англии. Он заявил, что в Советском Союзе ее не решатся напечатать, а Сталин, видимо, принял вызов. Одна фраза там на меня подействовала особенно сильно, заставив вспомнить детские и юшешеские годы. Она звучала примерно так: «У нас, в Англии, когда ранним утром, на рассвете, раздается звонок в дверь, люди не испытывают страха. Они знают, что это наверняка молочник. Иначе, совсем иначе в Советском Союзе».

Так вот, я помню два таких ночных звонка. Помню отлично наши одинаковые, напряженно-растерянные позы, лица, с которых в мгновение стирались следы сна, парализующее замешательство поги словно прирастали к полу и не хотели идти к двери. В первом случае оказалось, что на звонок неистово нажимает, одновременно мочась у двери, какой-то пьяница, который едва держался на ногах. Папина реакция меня поразила, я не узнавал своего отца. Никогда не видел его в такой ярости, только повисшая у него на руке мать спасла папу от не слишком красивого поступка.

Другой раз было страшнее. Открыв дверь, отец увидел знакомые околыши и неизменного Ульянова. Трудно сказать, что произошло за эти секунды в наших душах, но почти тотчас же стоявший впереди приложил руку к фуражке и сказал: «Извините, мы ошиблись квартирой». Вряд ли смогу описать наше состояние после этого — смещение, соединенное с какой-то бурной и, как мне сейчас кажется, несколько подлой радостью: «Не нас, не нас...».

Еще одно свидетельство. Арестовали жившую в нашем доме Марию Вильман, директора Азербайджанского партархива. Ее сын Артур, мой товарищ по шахматным партиям, мальчик 14 лет, остался один. Но соседи боялись выказать ему свое сочувствие, не то чтобы позаботиться о нем. Конечно, нашлось несколько добрых людей, которые не дали ему умереть с голоду. Однако, как потом выяснилось, и на них донесли. Это была своего рода школа подлости, которая, наверное, для очень многих из нас не прошла бесследно.

Но были примеры и другого рода. Когда у нашего одноклассника Роберта Штупга арестовали отца, он не превратился в изгоя, а, напротив, стал пользоваться особым вниманием и администрация школы тут тоже не была исключением. Репрессии затронули многих друзей и товарищей отца, бывавших в нашем доме. Некоторые из них мне особенно запомнились. Больше всего дядя Ваня (Иван Скворцов) и его жена Полина. Уроженец Центральной России, не помню уж точно, откуда, служил матросом в Кронштадте. Там же пришел в революцию и в партию. Затем судьба привела его в Баку. Тут он занимал крупную должность — заведующего организационным отделом ЦК, жена работала инспектором в системе просвещения. Его приход в наш дом был для меня праздником: он всегда

находил время неспеша потолковать со мной, причем как со взрослым. Дюжий мужчина, дядя Ваня обладал незаурядной физической силой.

В недели, которые предшествовали событию, о котором хочу рассказать, они с отцом часто уединялись и о чем-то возбужденно разговаривали. Затем как-то вечером раздался памятный для меня телефонный звонок. К аппарату подошел я — это был дяди Ваши. Сворцов попросил отца встретиться с ним в сквере; там, на площади Свободы, и произошел, как потом выяснилось, их последний разговор.

Оказывается, днем было созвано совещание (а может быть, речь шла о пленуме ЦК, уже не помню), где держал речь Багиров, говоривший о «засоренности» партийной организации и о том, что не принимается достаточно мер по разоблачению и искоренению «вражеской агентуры». Вслед за ним, «не удержавшись», по его собственным словам, выступил дядя Ваня. Он усомнился в правомерности этой кампании, сказав, что объявляются врагами люди, с которыми он вместе проработал много лет, а то и участвовал в революционных событиях, в чью шпионскую или иную контрреволюционную деятельность поверить трудно. Багиров его грубо оборвал, обвинив в пособничестве пробравшимся в партию «врагам» и «двурушникам», и заявил, что выступление Сворцова его не удивляет. Он-де давно к нему присматривается, а нынешняя «вылазка» многое объясняет: том, что не предпринимаются необходимые меры для очищения партийных рядов, повинен возглавляемый им отдел. Рассказав все это, дядя Ваня заключил: совершенно ясно, что он будет арестован, и именно поэтому (чтобы «не подставлять») решил не заходить к нам домой. Сворцов попросил позаботиться о Полине. В Баку, кроме нашей семьи, ни у него, ни у нее никого нет.

В ту же или на следующую ночь Сворцова действительно арестовали. Однако о Полине, к сожалению, заботиться не пришлось. Через несколько дней пришел и ее черед. Был арестован и расстрелян другой товарищ отца — Агапарон Орбелян, о котором я уже упоминал. Еще один арестованный приятель — Гриша Егиазаров впоследствии вернулся, но с искалеченным, негнущимся позвоночником.

Не знаю, правильны ли мои впечатления, но, если исходить из опыта нашего дома и нашего двора (а это сотни семей, некий слепок большого города), то выходит: репрессии конца 30-х годов коснулись главным образом части интеллигенции⁴ и в особенности так называ-

⁴ А. Арзуманян, свояк Микояна, зам. ректора Азербайджанского государственного университета, а впоследствии директор Института мировой экономики и международных отношений (МИЭМО), рассказывал мне, что в 1938 г. был день, когда в университете пришлось отменить занятия и отослать студентов домой: столько преподавателей было арестовано за одну ночь.

емой номенклатуры. По крайней мере в нашем дворе ни одна рабочая семья их не испытала.

Муж маминой старшей сестры был прапорщиком царской армии, и ему не раз напоминали об этом достаточно многозначительным тоном, несмотря на то что он, инженер-нефтяник, долгие годы уже в советское время работал на промыслах. И все это время они жили под своего рода дамокловым мечом. Муж младшей сестры, той самой, которая так жестоко пострадала в ходе шушинских событий, был арестован через несколько месяцев после их свадьбы и погиб в заключении⁵. Все это также объясняет, почему я отлично помню это время, по крайней мере его трагические и уродливые черты. Впечатления той поры остались своеобразными шрамами на душе. И как у многих других, это, несомненно, сказалось — пусть даже не сразу — на отношении к существующему порядку, на эволюции моего мировоззрения.

Репрессии и чистки 1937–1938 годов как бы озаменовали и обеспечили окончательную победу режима Сталина, полное его личное торжество. Вместе с тем, буквально «сотворив» миллионы людей, обожженных или шокированных этой трагедией, они вызвали скрытую до поры до времени, но десятилетиями подтачивавшую режим болезнь, которая в конце концов и предопределила его крах.

И в этой связи, я думаю, пристало попытаться вынести какое-то суждение о поколении, к которому принадлежал мой отец, ведь многие его личные черты были чертами поколения. И заодно попробовать ответить на вопрос, который напрашивается при чтении этих страниц и о котором я стал размышлять, разумеется, гораздо позже, уже будучи взрослым: насколько доброта отца, здесь описываемая, вяжется со службой в НКВД. Ведь работал там в течение многих лет, он не мог не приложить руку к репрессиям.

Родовой знак отцовского поколения — непоколебимая и могущая выглядеть даже слепой вера в официально провозглашенные партийные идеалы. Оно уверовало, причем уверовало раз и навсегда, как в их справедливость и неизбежное торжество, так и в возложенную на него, на его поколение, историей миссию воплотить эти идеалы в жизнь. Эта убежденность, это упрямство в вере никак не могут быть, на мой взгляд, основанием для того, чтобы не отдавать должное людям этого поколения. Напротив, они, думается, достойны уважения именно потому, что их вера, представлявшаяся им присягой доброду, светлому, прогрессивному, сформировала и сформировала их личность, склад души, стала основой их натуры. Вера, как правило, не была для них товаром, который можно обменять на личные

⁵ В памяти от него остались только смуглое лицо с орлиным носом, грузное тело, хромота (при ходьбе он припадал на одну ногу), игра на пианино и то и дело звучавшая ария «Кто может сравниться с Матильдой моей...».

выгоды, не служила средством извлечения преимуществ для себя. Как и многие из его поколения, отец был по существу бессребреником, и нервом его жизни служили чистая преданность избранному делу и почти стопроцентное принятие не только идеологических догм, но и предписанных ими правил поведения.

Мои представления об отцовском поколении сложились не из каких-то головных схем или абстрактных построений, а из опыта общения, иногда многолетнего, с товарищами отца. То был очень интересный народ. Люди разных национальностей — армяне, русские, евреи, азербайджанцы, которых очевидным образом соединяло и скрепляло общее дело. Очень разные, они в то же время в чем-то были похожи друг на друга — устремленностью к преобразующей деятельности, безусловной уверенностью в правоте и победе своего дела, наконец, своим молитвенно-покорным отношением к слову и понятию «партия».

Конечно, я был еще мальчиком и не все мои суждения о том времени являются вполне точными, но у меня осталось твердое впечатление, что национальная сторона в их взаимоотношениях практически не играла никакой роли, во всяком случае, никак видимым образом не проявлялась. Позже я, разумеется, узнал: на высоких политических этажах ситуация была далеко не идиллической. В рамках борьбы и соперничества там пускали в ход обвинения в национализме, в великодержавном шовинизме и т.д., оформляя на этой основе «организационные выводы», развязывая репрессии. Но тут, в папиной среде, дело обстояло иначе.

Конечно, людям, о которых я рассказываю, были присущи и обычные человеческие слабости. Более того, поколение отца не обошлось без карьеристов, корыстолюбцев и попросту подлых персонажей. Но, повторяю, большинство отличали приверженность определенным идеалам, а не только собственным интересам, готовность во имя этих идеалов пойти на жертвы, стойкость и классово-партийное товарищество. А если от некоторых и отдавало «избранностью», то это, скорее, бывало проявлением не столько высокомерия правящего слоя, сколько тщеславия нервопроходцев, прокладывающих путь к «всеобщему счастью».

Несомненно, однако, и другое: все это, к сожалению, соединялось с убеждением, что высокая цель требует исходить из революционной целесообразности, оправдывает использование в борьбе с врагом всех средств. Думается, у отца, у многих из его поколения существовало своеобразное раздвоение личности, как бы четкое разделение души на две части. Одна — служебные обязанности: там нужно защищать революцию и быть справедливым, но жестким, твердым и бескомпромиссным; другая — человеческие отношения, где можно быть таким, каким тебя сделали природа и судьба.

Еще одно обстоятельство, которое, конечно, не может служить оправданием, но которое нельзя сбрасывать со счетов, если мы хотим

не судить, но понять собственную историю. Людей, а тем более поколения, надо оценивать не только по меркам сегодняшнего дня, но и по законам их времени, по крайней мере принимая во внимание эти законы.

Известно, что политики и государственные деятели в своих делах, к сожалению, не руководствуются «простыми законами нравственности», которым нередко следуют в обыденных человеческих связях — с родными, друзьями, близкими. Они исходят из так называемой целесообразности, нередко сводящейся к личным интересам. Разница — и, несомненно, в пользу отцовского поколения, его лучшей части, — в том, что они руководствовались не личной выгодой, а, уверовав в свою историческую миссию, исходили из революционной законности и социальной справедливости, как тогда она понималась. Когда же этими принципами стали пренебрегать, отец отказался принимать в этом участие. Не думаю, чтобы в тогдашней обстановке такое давалось легко, скорее это было поступком.

И последнее соображение. Я нахожу отнюдь не случайным, что Сталин выкосил особенно тщательно именно это поколение: ему не чужды были идейно заряженные, сохранившие революционный настрой люди, они стали для него помехой⁶.

Сыновья наших отцов, наше поколение, как и отпрыски интеллигенции в целом, сохранив в основном ортодоксально-патриотическую позицию, многое утратили по части чистого огня веры, стойкости, способности, хотя бы в некоторых случаях, поступиться своими интересами. Зато расширили масштабы готовности к конформизму, который уже не ограничивался только партийными рамками.

Ну а наши дети уже не имеют почти ничего общего с нашими отцами. В ряде отношений они лучше нас: раскованы, не огорожены шорами прошлого, над ними не царствует никакая догма. Они внутренне свободнее и избавлены от преклонения перед любыми авторитетами (хотя в этом пока находят выражение также разочарование и неверие). Есть в них и определенный нравственный заряд.

Их несомненная слабость — невыраженность гражданского чувства, некоторый скепсис относительно идеалов, сведение нравственности к личной, индивидуальной морали при немалой готовности к компромиссам, наконец, отвращение к политике. Этот своеобразный гражданский нигилизм, вызванный, надо признать, весомыми причинами и естественный, оставляет, однако, политику в руках тех самых

⁶ Я убежден, что в скором времени в отношении к поколению наших отцов, как и в других вопросах, не только в общественном сознании, но и в публицистике и искусстве (достойных этого названия) возьмет верх более объективный, более взвешанный взгляд. Собственно, это уже происходит. Фильм Н. Михалкова «Утомленные солнцем» — одна из первых ласточек: в нем уже виден отход от злобно-тупого стандарта.

мерзавцев, которых молодежь чурается и презирает. Нашим детям пока невдомек, что (перефразирую Бисмарка) если они не хотят заниматься и не занимаются политикой, то политика займется ими...

В семье я был окружен родительской любовью, нежной и заботливой, и она была взаимной. Разумеется, это надо отнести за счет особенностей нашей семьи, индивидуальных свойств ее членов, их «совместимости». Но, думается, свою роль сыграло и другое обстоятельство: то была кавказская семья с неизжитыми следами здоровой патриархальности, традиции крепких родственных связей — того, что сейчас поедает, если уже не съело, время.

Идиллических отношений в доме, конечно, не было да и не могло быть: сказывались самостоятельность характеров, южный темперамент. Случались страстные споры и шумные ссоры, но подо всем этим находился прочный фундамент нерасторжимо нас соединившей глубокой, неэгоистической привязанности.

Отец работал очень много, практически без выходных, приходил домой в 2–3 часа ночи. Поэтому встречи и разговоры с ним приобрели для меня и для матери особую ценность. К тому же его работа была окружена неким ореолом опасности, что в те годы в моих глазах еще больше возвышало папу.

Особую благодарность и приязнь к родителям я испытывал сначала бессознательно, а позже вполне осознанно — за то, что они (не в пример родителям моих одноклассников) никогда, ни разу не «прикладывались» ко мне физически.

Мать была жестче и строже ко мне, она вообще обладала властным характером. Но это объясняется и чисто житейскими причинами: с отцом (до сих пор, вспоминая, я называю его папой, как и мать — мамой) мы виделись лишь урывками и от него скорее исходил общий воспитательный, нравственный посыл. Каждодневные же заботы обо мне, в том числе и самые трудные, школьные, лежали на маме. Так что отцу было куда легче быть добрым и ласковым.

Меня, единственного сына, мама любила беззаветно и пеклась обо мне, не зная ни усталости, ни раздражения. Во многом себе отказывала, чтобы «ребенок» питался и воспитывался «как следует».

Мать была трудягой. Она активно занималась домашними делами до конца жизни (а скончалась в 87 лет), вставала рано утром, начинала свой рабочий день с приготовления завтрака для семьи. Заставить маму полежать днем, отдохнуть было до последних ее дней невозможно.

Отца я потерял в 1981 году, мать — восемь лет спустя. Но еще за годы до этого, когда случалось, оторвавшись от каждодневной суеты, собраться всей семьей за столом, меня не раз посещала грустная мысль, своего рода трансформация детского представления том, что родители должны быть вечно с нами: ведь грядет момент, когда мы будем сидеть в этой же комнате, за этим же столом, но уже без них. Их не станет, а мы-то останемся, как будто ничего не

стряслось. И эта, казалось бы, естественная вещь представлялась непостижимой, неприемлемой и неестественной. Наверное, сегодня так думают уже мои дети.

Оглядываясь в прошлое, я мог бы утешаться тем, что был заботлив к родителям. И все же не покидает ощущение, что недодал им своего внимания, беспечно прошел мимо многих, теперь уже навсегда утраченных возможностей общения. А встречи с ними во сне, хотя и печальные, вновь оживляют угасшие было сожаления. Знаю, что это вечная проблема и что прохожу той же, что многие, неизбежной дорогой самоупреков и угрызений совести. И хочется, чтобы свершилось чудо и они пусть бы на денек вернулись и можно было бы кое-что исправить. Но увы...

Наиболее нетерпимыми и непримиримыми родители, особенно отец, были к проявлению барства и позывам ощущать и «предъявлять» себя вовне как бы выше окружающих из-за его начальственного положения. Между прочим, мать — жена «начальника» — долгое время работала кассиршей в магазине, и это никого не удивляло и не смущало. Подход и восприятие были тогда достаточно демократическими. Но так настраивали детей далеко не все. И возможно, в этом уже проявлялась тенденция к формированию новых социальных перегородок и социальной иерархии, к превращению этого круга в корпоративную касту.

Материально наша семья жила, по современным понятиям, не блестяще. Денег хватало, но тратить их приходилось экономно. Питались неплохо, одевались достаточно скромно. Я, как правило, за счет папиного обмундирования (перешивалась, например, шинель) и «материала», который выдавался для его пошивки.

Первое настоящее пальто — притом не первой свежести — я получил в 21 год при распределении в медицинском институте американской помощи.

Новые вещи покупали нечасто, и, помимо материальных соображений, тут играла свою роль философия отца, который тягу к вещам считал буржуазной привычкой и всячески этому противился. Другую позицию занимала, естественно, мать. Мне помнится характерный в этом смысле длительный спор между ними, который из-за поздних приходов отца обычно разыгрывался в ночное время. Как-то, проснувшись среди ночи, я стал его свидетелем, а потом уже старался дотягивать до этого момента: было очень любопытно слушать запальчивые пререкания матери с отцом. Она настаивала, что ее сын — это были уже первые «новые» веяния, притом, мне кажется, скорее полумещанские, — должен получить музыкальное образование («как это делают дети других родителей»). А раз так, то необходимо приобрести пианино. Отец всячески отнекивался, и понадобилось, по позднейшим рассказам матери, более полугодя, чтобы сломить его сопротивление. Пианино было, наконец, куплено в рассрочку.

Думаю, маме хотелось и одеваться понаряднее. Как и ее сестры, особенно старшая Ашхен, она была красивая. Мама рассказывала, что долго присматривалась к беличьей шубе, но так и не решилась себе это позволить из-за материальных и этических резонансов.

Конечно, существовали и привилегии: большая отдельная квартира (до 1930 г. мы жили в коммуналке), видимо, какой-то паек, отец ежегодно ездил в санаторий, а мы — пару раз в северокавказские станицы. Позже, когда отец работал в Совнаркомс Азербайджана, бывали в доме отдыха в окрестностях Баку. У отца была служебная машина, но нам строжайше запрещено было ею пользоваться.

Как сейчас бы сказали, семья наша была весьма политизирована. Это закономерно, учитывая работу и положение отца, разговоры его друзей, темы, которые обсуждались дома. И я рано, очень рано стал интересоваться политикой, пожалуй, даже пристрастился к ней. Сошлось только на один пример. Мне было 12—13 лет, когда развернулись так называемые московские процессы. Сейчас, наверное, это покажется невероятным, но я от корки до корки прочитывал газету «Известия», где публиковались их стенограммы.

Но была одна своеобразная деталь, которую можно считать парадоксальной. В благонадежности нашей семьи, в ее вере в правомерность существующего порядка, в правильность идеалов, которые проповедовали партия и власть, наконец, в ее революционном оптимизме можно было не сомневаться. Вершиной же всего этого был Сталин; все вокруг, что было или казалось успешным и победным, объявлялось и воспринималось как «сталинское».

Между тем наш безусловный, ортодоксальный патриотизм отнюдь не соединялся со слепой верой в вождя. Более того, в нас жило подозрение, если не уверенность, что он сам далеко не безупречен.

Я, например, до сих пор отлично помню впечатление от иронической фразы в книге Лиона Фейхтвангера «Москва, 1937», неизвестно как попавшей в мои руки, наверное, единственной, которая осталась в памяти от нее: относительно того, что портретов и бюстов Сталина, восхваляющих его лозунгов нет разве что только в туалетах. С каким удовлетворением, почти злорадством («так тебе и надо») я ее прочитал!

Помню и то, как отец, а вместе с ним, но самостоятельно, и я восприняли разрыв с Тито. Несмотря на все аргументы, которые приводились в печати, мы были убеждены (и в этом мнении нас укрепляли факты, о которых я узнавал из передач английского радио), что во всяком случае часть вины лежит на Сталине. Как сказал отец, и это вполне отвечало моему настроению, тот просто не в состоянии терпеть чье-то независимое поведение или даже намек на самостоятельность.

Возможно, это выглядит странным парадоксом, но это было. Ниточка к этому, думается, ведет от судьбы, постигшей окружение

отца, к процессам 1937—1938 годов. Уже тогда при дотошном чтении стенограмм — на фоне арестов товарищей отца, которые почти все вызывали у меня глубокую симпатию, — зародились первые сомнения, пусть не вполне осознанные и обдуманые. К тому же даже я, тогда еще неопытная, полудетская душа, не мог не ощутить, что от самих процессов тянуло каким-то неприятным духом.

Но конечно, я был слишком мал, чтобы понять и оценить страшный смысл происшедшего. К тому же — даже и позже — состояние осажденной крепости, которое поддерживалось в стране, дыхание приближающейся войны притупляли остроту ощущения, как бы отодвигали процессы на периферию сознания. Наверное, сыграло роль и усвоенное с юных лет и со школьной скамьи представление о естественности и легитимности «революционного насилия», беспощадности к врагу.

Папа знал некоторых ближайших соратников Сталина. В частности, он в 20-е годы какое-то время работал с Берией. И хотя был высокого мнения о его организаторских способностях, о профессиональных навыках разведчика и волевых качествах, относился к нему резко отрицательно. Он считал его весьма властолюбивым и сластолюбивым человеком, действующим исключительно в личных интересах и не гнушающимся никакими средствами. Когда после смерти Сталина Берия вошел в четверку самых влиятельных фигур в партии и государстве, отец был почти уверен в том, что Лаврентию удастся взять верх надо всеми, поскольку остальные ни силой характера, ни способностями к интригам были не чета ему.

Но еще один парадокс. Определенное сомнение в чистоте приемов, употребляемых Сталиным, и в его личной безупречности не мешало нам относиться к нему с огромным пиететом, видеть в нем человека, сумевшего преобразовать страну, построить мощное государство, с которым считаются и на международной сцене. Это отношение особенно укрепилось в войну и тем более — в послевоенные годы. Так что, если следовать современной терминологии, можно сказать: мы были на свой лад «государственниками» той поры, и, очевидно, далеко не одни мы.

И не случайно 6 марта 1953 г. на траурном митинге в Бакинском городском комитете партии, посвященном смерти Сталина, я, как и многие, стоявшие рядом, проливал слезы. Очень хорошо помню свои ощущения в тот момент. Мне казалось, что открывается ужасный период для Советского Союза, который без Сталина не сумеет выжить, во всяком случае не избежит крупных потрясений. Причем я отнюдь не имел в виду какую-то борьбу в руководстве страны, способную привести к катаклизмам. Просто в моем сознании срослись Советский Союз и Сталин, и казалось, что без вождя рухнет и вся страна: ведь это вождь создал и держал на своих плечах великое государство.

И когда люди моего поколения сегодня уверяют, будто сумели уберечься от гипнотического влияния культа Сталина, это чаще всего не вызывает у меня доверия⁷ Ведь «культом» была насыщена сама атмосфера того времени, и он был искусно и, казалось, органично встроен во всю структуру насаждавшихся и господствовавших тогда идеалов и верований.

Не могу не сказать хотя бы пару слов о городе, в котором я родился и жил. Что такое Баку тех лет? Это большой, красивый город на Каспийском берегу — белая ракушка, омытая морской синевой и залитая ослепительным солнцем. Он соединял в себе черты республиканской столицы, порта, промышленного центра, культурного очага. Баку возник и развивался фактически как город европейской культуры и в то время еще им оставался: со смешанным населением, с многочисленной интеллигенцией и реальными интернациональными традициями. Даже в 1960 году в нем, по данным переписи, которые почему-то утверждались на бюро горкома партии (и я, там присутствовавший, воспроизвожу ее показатели), проживало 38 процентов русских, 37 процентов азербайджанцев, 17 процентов армян. И такой состав населения был после десятилетия усиленного «накачивания» азербайджанцев в город, в частности переселения в Баку деревенских жителей. Интеллигенция была ту пору большей частью русской, еврейской и армянской.

Все это создавало в Баку совершенно специфическую атмосферу, я бы даже сказал, свою, своеобразную культуру — особо многоцветную, особо яркую и жизнерадостную. На пересечении культурных влияний возникало много необычного, нестандартного и даже непорядочного. Истоки этого, по-видимому, в самой истории города, в том числе и советского ее периода, когда в 20-е и по крайней мере в первую половину 30-х годов интернациональные традиции получили дальнейшее развитие и закрепление.

Жизнь нашего дома, точнее домов, потому что их было несколько и они образовывали очень большой четырехугольник, разворачивалась, как это и бывает на Востоке, главным образом во дворе. Он располагался внутри этого четырехугольника, составляя как бы его огромное чрево, и был разделен на две неравные части трехэтажным зданием казарменного типа — женским общежитием какой-то фабрики. Там были свои, совершенно отличные быт и привычки, своя мораль. Мы проявляли к этому женскому острову известное любопытство, но по причинам, о которых я могу только гадать, он был изолирован от наших домов, выглядел некоей резервацией.

«Наш» угол дома опоясывала галерея, на которую выходило несколько квартир, к ней со двора вела железная лестница. Неко-

⁷ Прав Е. Яковлев, когда пишет: «Опасайтесь тех, кто уверяет, что с колыбели не терпели Сталина» (Общая газета. — 1998 г. — 5 — 11 марта).

торые ее ступени были расшатаны. И как бы я ни старался проникнуть домой без особого шума, мне это не удавалось: мое продвижение по лестнице, а точнее перескакивание через одну-две ступени, неизменно сопровождал грохот. Он вряд ли радовал соседей, но замечаний — характерно! — никто не делал.

Двор служил и чем-то вроде локального базара. Он то и дело оглашался криком старьевщика (обычно это был старик — горский еврей): «Старый вещь покупай!». Его сменял азербайджанец, расхваливавший свои молочные продукты: «Пиркрасный молоко, мацони!» Появлявшийся обычно чуть позже очередной «коммерсант» сначала выпевал свое имя «Исрафил», «Исрафил», а затем с немалым энтузиазмом восклицал: «Яблук, яблук, ...винеград, виноград!» (виноград). В этом же стиле предлагались осетрина, паюсная икра и т.д.

Именно во дворе широко контактировало и взаимодействовало его разноязычное и разнонациональное население: русские, армяне, азербайджанцы, евреи, немцы, украинцы и т.д. Жили шумно и по большей части дружно, своеобразной общиной, хотя, конечно, не обходилось и без ссор и скандалов.

В ту пору вообще социальные перегородки хоть уже ощущались, но были куда менее выраженными и заметными, чем, скажем, в 50-е и 60-е годы. Во всяком случае во дворе различия подобного рода в то время не играли существенной роли. Не ощущалось и влияние национальных различий. Разумеется, быт некоторых семей, особенно азербайджанских, имел специфические черты, но и только.

Восток (Юг) оказывал серьезное влияние на привычки, принятые нормы и обычаи коммунальной жизни, даже на темперамент. И русские, и вообще «лица некавказской национальности» обретали те же общие черты и отнюдь не уступали южанам в шумливости, готовности к соседскому взаимодействию, к открытой дворовой жизни и даже к специфической кавказской кулинарии. К тому же многие бакинские армяне — если исключить лишь недавно переселившихся из села — были в значительной мере русифицированы. Прежде всего, в государстве, где преобладающая нация — русские, а государственный язык — тоже русский, сам интернационализм уже стихийно несет в себе какой-то русифицирующий заряд. Подчеркиваю, не русификаторский, но русифицирующий, ибо в данном случае имеется в виду стихийный, объективный, никем не навязываемый процесс.

Армяне к этой тенденции были особенно восприимчивы не только в силу своего известного космополитизма, чуткости ко всякого рода ветрам (в этом смысле они в какой-то степени напоминают евреев), но и вследствие специфических обстоятельств, связанных с жизнью в Азербайджане. Они, естественно, считали, что будущее их детей неразрывно связано с русскими, с русским языком, с русской культурой и образованием, поскольку они живут в русском государстве. Но во все большей мере и потому, что Азербайджан постепенно

становился «землей для азербайджанцев». Вместе с тем присутствовал, наверное, и душок некоторого высокомерия. Многие армяне, хоть и далеко не все, считали себя в культурно-образовательном отношении выше азербайджанцев (что в общем-то тогда соответствовало истине). Возможно, тут давали о себе знать и отголоски бессознательные — исторически сложившегося недоброжелательства.

Как бы то ни было, армяне в Азербайджане, а тем более в Баку, в этом интернациональном и некогда космополитичном городе, в большинстве своем в житейском смысле как-то не готовы были признать, что это прежде всего азербайджанская земля. Они всячески уклонялись от изучения азербайджанского языка, как, впрочем, и русские, хотя, конечно, процент знавших его среди армян был куда выше. В школе я, как и почти все мои одноклассники, считал этот язык ненужной нагрузкой и уделял ему минимум внимания, лишь бы не портить отметки. В результате армяне какими-то сторонами своего поведения объективно «работали» на русификацию. В приверженности русскому языку и культуре, в определенном противодействии тенденции к «азербайджанизации» они вряд ли были исполнены большего рвения, чем сами русские, но почти им не уступали.

Справедливости ради должен сказать, что многие из них и к родному языку и культуре относились без всякого инетета. Существовавший в городе в течение многих десятилетий армянский театр закрылся не только потому, что азербайджанские власти не слишком ему благоволили: серьезно сузилась зрительская аудитория. Многие армяне отдали предпочтение русской сцене. Такая же судьба — и в силу тех же причин — постигла и армянские школы в Баку.

Могу сослаться и на собственный опыт. Примерно до трех лет в роли моей няни выступала наша родственница Фируза, которая знала только армянский язык, его карабахское наречие. И я свободно говорил на этом наречии (помню его и до сих пор), но не знал ни одного русского слова. Потом родители вдруг спохватились и Фирузу срочно заменили тетей Фросей. В результате я освоил — и полюбил — русский язык и многое подзабыл из армянского. Кстати, хотя отец и мать (в разной степени, конечно) знали армянский язык и уж, во всяком случае, вполне владели его карабахским диалектом, они даже дома предпочитали разговаривать по-русски.

Со смены нянь началось мое русское образование, приобщение к русской культуре. И этот процесс, в значительной мере сформировавший меня и, конечно, бесценный, к сожалению, развивался в известной мере в ущерб близости к армянской культуре. Я вырос, так и не овладев армянским литературным языком, обладая лишь отрывочными познаниями в армянской истории, культуре, искусстве. И когда в 1959 году известный армянский поэт Наири Зарьян, с которым я повстречался в Ереване, без всякого стремления обидеть назвал меня «шуртвац хай» (нечто вроде «перевернутый армянин»), то у него

были для этого известные основания. Самое важное и часто самое трудное для представителя любой национальности, особенно малой, — приобщиться к богатству мировой культуры, не утратив своего национального лица.

Конечно, на недостаточном внимании нашей семьи и меня самого к родному языку и культуре сказались и общая атмосфера: «отмирающий» национальный момент в наших глазах не имел серьезного значения. Подобные настроения — нередкий побочный продукт всякого интернационализма и стержень космополитизма. Характерно, что в отличие от меня мой сын Гарегин умеет читать и писать по-армянски, куда лучше знаком с литературным языком. Причем стимулом к этому послужило оживление национального чувства, особенно в связи с землетрясением в Спитаке и событиями в Нагорном Карабахе.

Двор в нашей жизни играл такую роль и потому, что жили тогда люди стесненно, и потому, что таков был сам уклад жизни. Люди не только стремились близко знать друг друга, но и привыкли в какой-то мере жить общей жизнью⁸. События в той или иной семье обсуждались чуть ли не всем двором, и тут проявлялась не одна тяга к сплетне, но и искренняя соседская заинтересованность, стремление разделить радость или горе. Обыкновенным делом было в случае необходимости оставить ребенка на попечение соседей (меня неоднократно, причем неделями, «доверяли» соседке, профессору анатомии А.И. Беленькой), вместе отмечать дни рождения и праздники, готовиться к приезду роженицы из родильного дома.

Я почему-то особенно запомнил празднование в 1935 году не то 28 апреля (день провозглашения Советской власти в Азербайджане), не то 1 Мая. Во всю длину «нашей» части двора протянулась цепь столов, за которыми собрались жильцы почти всех квартир, ели, пили, пели, танцевали. Сейчас, когда оглядываюсь назад, мне это время кажется удивительно светлым. И горько думать, что вся эта многонациональная семья не только распалась, но и их потомки, наверное, оказались в разных лагерях и, возможно, стреляли друг в друга.

Возлияния за столом, естественно, были, порой и в немалом количестве, но совершенно иного характера, чем было принято тогда за пределами Кавказа, а теперь, видимо, и повсюду. Трапезу обычно украшало сухое вино, его излюбленные марки — Матраса (красное) и Садиллы (белое, ныне совершенно исчезнувшее). Водку, конечно, тоже пили, но изредка, и чаще в виде сельского (карабахского)

⁸ В Москве в нынешней квартире в одноподъездном доме я уже живу почти четверть века, но до сих пор знаю далеко не всех жильцов и даже не всех соседей. За эти годы лишь пару раз у меня был в гостях человек, живущий в нашем доме, да и то я познакомился с ним раньше.

самогона, так называемой чачи. Коньяка и иных напитков тогда не признавали, все это открытия послевоенных лет.

Что же касается папиной среды, так называемых руководящих работников, то они большей частью блюли себя (если не считать опять же приема какого-то количества сухого вина) — добровольно или поневоле. Помимо жестких дисциплинарных строгостей тут свою роль играли нравственные табу: злоупотребление алкоголем считалось пережитком буржуазной психологии, признаком разложения.

Пьяного встретить в Баку было нелегко. Во всяком случае в нашем большом дворе изрядно выпивающим — так сказать, «профессионально» — был только один человек. Но и его я никогда не видел не вяжущим лыка. Быть пьяным считалось не к лицу мужчине. Скажу больше: для подавляющего большинства выпивки как самостоятельного занятия, как средства самовозбуждения просто не существовало. То был необходимый элемент застолья, помогавший дополнительно растормозиться, сделать теплее соседскую, уже дружескую атмосферу. Определенную роль играли и чисто гастрономические радости: вкусно поесть, сдобрив еду вином.

Если сравнивать ту и нынешнюю ситуацию, может, пожалуй, показаться, что речь идет о двух разных странах, двух разных обществах. Сколько бы ни любили у нас разглагольствовать об «извечной» привычке русских — или россиян — прикладываться к бутылке, думается, что первый серьезный скачок к повальному пьянству в советское время — я сужу, разумеется, по Баку — дала война.

Следующий скачок произошел, по моим наблюдениям, в 60-е и 70-е годы, причем «зачинателей» тут следует искать в среде руководящих работников и интеллигенции. Материальное положение улучшилось, но в то же время все явственнее начали проступать черты нравственной деградации на верхних этажах государства. Нарастающая алкоголизация стала частью этого процесса. Впервые пьянки на работе превратились в норму, в том числе и в коридорах власти: тут эдакий гедонизм, захватившее многих стремление воспользоваться «благами жизни» часто сводились к банальному пьянству.

Придя в 60-е годы на работу в ЦК, в его Международный отдел, я, к своему удивлению, обнаружил, что этот недуг заразил и кое-кого из тамошних работников. Правда, в этом отделе было больше провоцирующих обстоятельств: постоянные встречи с иностранными гостями, приемы, возможность даровых возлияний. В каком-то смысле «алкогольный сервис» даже стал тут фактором «профессионального риска».

В 70-е годы эпизоды пьянства в отделе, впрочем, связанные с одной и той же небольшой группой людей и до того не слишком частые, приобрели уже более серьезный характер. Одного из руководящих работников, практически спившегося, были вынуждены отправить на пенсию. Другой заместитель заведующего отделом тоже

систематически пил, и только богатырское здоровье до поры до времени позволяло ему держаться. Бывало и такое, что работники отдела входили в 3-й подъезд на Старой площади или выходили из него в таком состоянии, что охрана составляла рапорты, которые затем приходилось «гасить» заведующему — секретарю, а позже и кандидату в члены Политбюро ЦК КПСС Б.Н. Пономареву.

Своеобразным апофеозом стал случай, происшедший во второй половине 70-х годов. Служащие охраны, которые вечером проходили по коридорам, проверяя, потушен ли свет, заперты ли все двери, а возможно, проводя еще какой-то догляд, наткнулись на одного упившегося до положения риз работника отдела. Практически голый, на нем были только трусы, он едва держался на ногах и еле ворочал языком. Естественно, на следующий день он был уволен. Вспоминаю об этом в подтверждение того, что бацилла разложения уже тогда разгуливала во властных структурах.

Положение, конечно, несколько изменилось, когда в 80-е годы был предпринят массивный антиалкогольный поход. При этом его целевые и даже непристойные формы были распространены и на международную сферу. Во многих посольствах на приемах перестали подавать водку. В Москве к гостям ЦК, включая французов, итальянцев и некоторых других, привыкших обедать с вином, тоже применяли строгий «сухой закон», и они вынуждены были приносить к столу «свое» (официанты стыдливо отворачивались), нередко прибегая к помощи соседнего гастронома на тогдашней улице Димитрова. Но парадокс: именно в это время в руководство партии, в Политбюро пришли сильно пьющие люди.

Ну а что касается нынешней ситуации... Ранним утром, прогуливаясь по скверу у Патриарших прудов, я каждый раз вижу на скамейке компанию из семи-восьми человек (она регулярно пополняется новыми лицами, чаще молодыми), которые уже встали на алкогольную вахту, еще не придя в себя после вчерашних возлияний. Некоторые вступили в «бригаду» совсем недавно и спиваются буквально на глазах...

В играх во дворе задавали тон дети из рабочих семей: наверное, они были посамостоятельнее, инициативнее. Но жили мы все дружно, хотя, разумеется, со всеми сложностями, а иногда даже драками, которые неизбежны в этом возрасте. Я отчаянно завидовал этим «рабочим» детям, им предоставлялась куда большая свобода. Меня заставляли заниматься, учить уроки, и я не раз чувствовал себя несчастным, слыша крики моих сверстников, гонявших во дворе мяч или игравших в лапту. Только позже понял, какую службу мне сослужила мать, и с благодарностью вспоминал ее строгость. К тому же я очень рано пристрастился к чтению, и приобретенная тогда любовь, можно сказать, страсть к книге сопровождает меня всю жизнь: порой книгу даже предпочитаю общению с друзьями и знакомыми.

В 1982 году, приехав на похороны своего двоюродного брата, я после 23-летнего отсутствия вновь побывал в нашем дворе, обошел его несколько раз. Это было грустное путешествие, ибо смерть собрала свою жатву: многих памятных для меня, а нередко и дорогих людей не стало. В иных квартирах появились чужие люди, очень скупы и без особого желания отвечавшие на вопросы о прежних жильцах или соседях. Может быть, поэтому мне показалось, что тлен индивидуализма и здесь делает свое дело. Но даже если это так, старое, доброе еще не покинуло своего гнезда. Я убедился в этом, когда попытался заглянуть в нашу прежнюю квартиру. Хозяйка, пожилая азербайджанка, узнав о цели моего визита, была сама доброжелательность. Несмотря на мое сопротивление, впрочем не очень искреннее и твердое, она проводила меня по всем комнатам. Больше того, настойчиво уговаривала навестить ее вечером, даже во двор за мной выбежала. Отсутствовавшие сын и невестка, говорила она, не простят ей, если я не воспользуюсь их гостеприимством.

2. ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Семи лет от роду, в 1931 году, я пошел в 4-ю школу Городского района, позже переименованную в 23-ю. Она находилась рядом с оперным (Маиловским) театром, в самом центре города. Этим, по-видимому, в какой-то мере определялся национальный состав учащихся и преподавателей. Среди первых азербайджанцев было очень немного, основную массу составляли русские, армяне, евреи. А среди преподавателей лишь один: учитель азербайджанского языка. Как и сам его предмет, он был далеко не в фаворе, чувствовал свое, так сказать, "не основное" положение, и им тяготился. Но в школе была такая же атмосфера, что и за ее стенами. Мы не придавали никакого значения тому, кто из нас армянин, еврей, русский, азербайджанец. В то время мы были скорее ненациональны, безнациональны.

Не были особенно заметными и различия в материальных условиях. И сын прачки (был у нас такой голубоглазый и чернобровый красавец-спортсмен Шевцов), и сын так называемого «начальника» по одежде не слишком-то отличались друг от друга. Выделялись в этом отношении, да и то не кричащим образом, лишь дети модных врачей.

Педагоги у нас были довольно сильные, причем каждый на свой лад, может быть, потому, что многие из них не прошли через стандартизирующую машину педагогического образования. Самыми колоритными были, пожалуй, преподаватели литературы, вернее, одна из них — Елена Ивановна Лукаш. Она происходила из «бывших», и преподавание, видимо, явилось для нее занятием вынужденным. Елена Ивановна была человеком необычным во многих отношениях. Высокая, грузная женщина, она легко и как-то изящно несла свое большое и мощное тело. Лицо скорее некрасивое, но эту некрасивость мы не замечали. Крупная голова с начавшими сесть волосами, прямой, непропорционально большой нос, высокий крутой лоб, неяркие брови, широкие веки и из-под них пронизательный взгляд, обычно спокойно-холодный, но способный очень быстро превратиться в пронзительный и секущий. Нечастая улыбка, скорее ободряющая.

Елена Ивановна любила русскую литературу, знала ее великолепно, но никогда не опускалась до смакования скабрёзных или интимных подробностей жизни литераторов. И если у ребят возникала острая необходимость отвлечь ее внимание — такая миссия чаще всего возлагалась на меня, — то лучшим способом было задать вопрос относительно истории и процесса создания какого-либо литературного шедевра. Она могла проговорить весь урок. Русский язык ее был безупречен, она умела пользоваться им и как разящим оружием.

Но преподаватель она была никакой. Почти никогда не делала того, что обязан делать каждый учитель: объяснять задание, следовать учебнику, ориентироваться на среднего ученика. Это было против ее естества и ей не интересно. Она не скрывала своего презрения к тогдашнему официальному учебнику литературы Абрамовича. Считала, и, видимо, не без оснований, что это лишь вульгаризация истории и духа русской литературы. Кстати, по странному совпадению, моим экзаменатором по литературе на вступительных испытаниях в Высшую дипломатическую школу в 1950 году оказался именно Абрамович, который, ссылаясь на отсутствие у меня кавказского акцента и неплохое знание школьной программы, никак не хотел поверить, что я учился в Баку.

Вопреки всем педагогическим заповедям Елена Ивановна не придавала особого значения отметкам. И чтобы выполнить свой профессиональный долг, обычно в последний или предпоследний урок перед окончанием четверти затевала блиц-опрос учеников и довольно щедро ставила тройки.

Елена Ивановна была спокойно-авторитарна. Иной раз могла обидеть, даже унижить ученика, причем поиском выражений себя не затрудняла. Но доставалось, надо сказать, лишь «избранным» — тем, кто откровенно манкировал учебой, позерам и особенно ее фаворитам, если они забывались. Тех же, кто вел себя естественно или был слаб, жил в неблагоприятных домашних условиях, она не обижала никогда.

Елена Ивановна откровенно ориентировалась на лучших учеников, поручая им выступать с докладами раз или два в месяц. В обсуждение втягивалась сравнительно небольшая часть класса. Наверное, методы Елены Ивановны сказались благоприятно далеко не на всех. Но наиболее старательным и подготовленным она дала очень много. Доклады были первой пробой пера и анализа, они приучали видеть неоднородную связь произведений литературы со своим временем и литературным процессом.

Елена Ивановна советовала мне избрать профессию, имеющую отношение к печатному слову, к литературной деятельности, — журналиста, публициста и т.д. Но я совету не последовал, о чем порой сожалею.

В классе перед Еленой Ивановной робели. Одна из наших учениц в своем музыкальном творении описала состояние класса перед уро-

ком Елены Ивановны, в ходе урока и после него. Ее опус начинался с лихорадочного стаккато, перемежаемого заунывными, жалобными звуками: класс перед уроком отчаянно предается зубрежке, перемежая ее вздохами и испуганными возгласами. Вторая часть — какой-то замогильный мотив, подобие траурного марша: это по коридору, направляясь в класс, неторопливо движется Елена Ивановна. Затем звучала какая-то странная, тяжелая, давящая сердце мелодия, прерываемая высокими фальцетными восклицаниями — писк учеников, подвергшихся закланию. И, наконец, бравурная, полная неистовой радости кода: закончился урок, и Елена Ивановна покинула кабинет.

Учился я хорошо, но относился к числу «недисциплинированных». Некоторые преподаватели мне это прощали, я не доставлял им особых хлопот. Другие же относились ко мне менее снисходительно. Вот характерная иллюстрация. По окончании неполной средней школы — седьмого класса — тогда было принято награждать учеников. Вторую и третью премии — художественные альбомы, на которых черной тушью было выведено: «По решению педсовета за отличную учебу и примерное поведение...» присудили без особых споров. Когда же речь зашла обо мне, разгорелся бурный спор: некоторые учителя не считали возможным говорить применительно ко мне о примерном поведении. Обсуждалась даже возможность вовсе лишиться меня премии, но победило соломоново решение. На дарованном альбоме пластинок с предвыборным выступлением Сталина (по тем временам роскошно изданном, красного цвета, с выгравированными золотыми буквами) начертали: «Карену Брутенцу за отличную учебу» — и только.

Когда мы окончили девятый класс, Елена Ивановна перебралась в Ленинград, где и погибла во время блокады: рассказывали, что она отказалась от возможности уехать, заявив, что это ее родной город. Она была человеком твердых убеждений, непреклонным в своих решениях.

На смену ей пришла Мирра Эмильевна Гриншпун — полная противоположность. Тоже грузная, но рыхлая, всегда небрежно одетая, какая-то, казалось, разболтанная. Милая, умная и интересная собеседница, она, однако, была учительницей в классическом смысле этого слова, строго держалась всех канонов педагогического ремесла. Предмет свой вела достаточно скучно и не в силах была затронуть ни наше воображение, ни наши чувства.

Очень по-доброму вспоминаю преподавателя географии и классного руководителя в девятом и десятом классах Софью Гайковну Микаэлян. Она страстно любила поэзию, литературу, живопись. К тому же была человеком с очень чуткой и, как сейчас видится, страстной душой. И она не просто учила, а жила нашими интересами, старалась растить из нас людей, думала и говорила с нами о нашем душевном созревании. Я, во всяком случае, получил от обще-

ния с нею очень много, может быть, и потому, что пользовался ее расположением. Еще одна ее черта, которая, к счастью, не оставила нас безучастными: она была очень ранима, ее глубоко огорчали человеческие недоброта, неблагодарность, безнравственность.

В девятом классе учительница истории, Гинда Григорьевна, умная и знающая женщина, доверила мне вести кружок. Темой занятий были наполеоновские войны. Как и для многих моих ровесников, Наполеон стал романтическим героем моей юности. Вероятно, это в какой-то мере было связано с общей предвоенной атмосферой стране, с ощущением неизбежности военного столкновения и уверенностью в нашем триумфе. Мысль о том, что наполеоновские походы были одновременно гигантской кровавой жатвой, тогда мне и в голову не приходила. Я знал фамилии всех наполеоновских маршалов, упивался фразами, вроде известной: «Гвардия умирает, но не сдается». Будоражило нашу юность и лирическое отвлечение темы — роман Наполеона с Марией Валевской, которая оставалась верной этой любви всю жизнь.

В пользу своего рода культа Наполеона я подсознательно предпочитал истолковывать Марксовы уничижительные характеристики его племянника в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта»: фразы о том, что дядя привлекал солдат «патриархальной фамильярностью» и «солнцем Аустерлица», а племянник — «вином и колбасой» и что история часто повторяется дважды — один раз в виде трагедии, другой — в виде фарса (как писал Гюго, опять же имея в виду дядю и племянника: *Napoleon le Grand* и *Napoleon le Petit*).

Моя юношеская «наполеониада» имела продолжение. Попав впервые в Париж в 1961 году, я не преминул побывать во Дворце инвалидов, в усыпальнице Наполеона. Это — монументальное сооружение, запрограммированное производить величественное впечатление. Роскошный склеп с овальным входом, в глубине которого на зеленом гранитном постаменте находится саркофаг из красного порфира. В него погружены шесть гробов, вложенных, на манер матрешки, один в другой, где хранятся останки императора. Первый — из белой жести, второй — из красного дерева, два следующих свинцовые, пятый — из эбенового дерева и последний — дубовый. У входа в склеп стоят «на часах» две мощные бронзовые фигуры. Одна держит земной шар, другая — скипетр и корону императора. Двенадцать колоссальных статуй символизируют военные кампании Наполеона: от итальянской (1797 г.) до бельгийской (1815 г.).

Глядя на все это великолепно, я думал о том, как жизнь меняет представления и как далеко я ушел от прежнего увлечения. Теперь мною двигала лишь туристская любознательность. Одаренности и многогранности этого человека я удивляюсь до сих пор, но с возрастом и опытом отношение к Наполеону и его деяниям радикально изменилось. Более того, пообщавшись со многими французами и

столкнувшись с их частой предрасположенностью к великодержавному высокомерию, я стал приходить к мысли, что для нации не может пройти и не проходит безнаказанно, если в ее прошлом есть такие фигуры, как Наполсон (а у нас Петр I и Сталин), и написанные ими главы.

Наверное, стоит вспомнить о круге нашего чтения. Скажу сразу: для меня бесспорно, что в ту пору средний ученик, уже не говоря о лучших, читал больше, чем нынешний. Конечно, источников информации сегодня гораздо больше, в нашу жизнь вторглось телевидение, которое в этом смысле играет непростую роль. Но дело, видимо, не только в этом: мне кажется, тогда любознательность и круг культурных интересов были шире.

Я перебрал в памяти свои литературные пристрастия тех лет. И подумалось: каким быстрым стало время. Ведь перечень «моих» писателей выглядит и как литературный мартиролог — в большинстве своем это нечитаемые сейчас авторы, а ведь речь идет не о литературных «светлячках».

В моем чтении вряд ли была какая-либо система. Я увлекался разными писателями, читал хаотично, бессистемно, но достаточно много. Жизнь в литературном мире тогда была для меня столь же реальной, столь же осязаемой, как и жизнь реальная в окружавшей нас среде.

В Мопассане, например, притягивали не столько скользкие сюжеты, естественно, любопытные для юноши, сколько его изящный язык, эффектные концовки, его точные и, казалось, неопровержимые определения. Помню, например, как меня поразила фраза в его романе «Сильпа, как смерть» о том, что любовь, ее существо заключены в этих шести буквах, к которым ничего нельзя прибавить, если не хочешь убавить. Много любить, очень любить — значит мало любить.

Олдингтон привлекал разлей афористичностью, бесстрашно-ироническим изображением социальных перегородок и предрассудков, картиной исканий незамутненной расчистками любви. Очень нравились такие многоплановые романы, как «Иудейская война» или «Еврей Зюсс» Фейхтвангера, философская проза Романа Роллана. Метания Жан-Кристофа, поиски им самого себя я «примерял» на себя и друзей. А такие фразы, как «тот, кто не любит, тот всегда прав — он вправе и не любить вас» или «из глаз девушки глядит не чистота, а невинность. Чистота может смотреть из женских глаз»¹, звучали как откровение, и они остались для меня полными смысла на всю жизнь.

Если обратиться к русской литературе, то тут Пушкин и еще более Лермонтов, а также Тютчев, Блок. Из прозаиков — Толстой («Анна Каренина», но отнюдь не «Война и мир» из-за неприятия толстовской философии, значение которой я понял гораздо позже, а

¹ Здесь и далее воспроизвожу по памяти.

также из-за отношения писателя к моему герою — Наполеону), Островский, Салтыков-Щедрин, Вересаев («Живая жизнь» и «Пушкин в жизни»), Гаршин, Куприн и т.д. Признаюсь, не испытывал особых чувств к Чехову, хотя и читал его достаточно много. Его человечность, глубину, мудрость и, я бы сказал, пронзительность понял гораздо позже. Вересаевская «Живая жизнь», помню, заставила размышлять не без опаски о конечности жизни, об изначальной приговоренности человека, но возникшее тревожное чувство было быстро смыто беспечным оптимизмом юности.

Читал и перечитывал «Былое и думы»: не меньше, чем книга, привлекала светлая личность автора. В наши дни, когда тупость и казнокрадство достигли заоблачных высот, нет-нет да вспоминаю о находках Герцена в Вятском архиве — «Дело о пропаже неизвестно куда дома губернского правления», «О переводе крестьянской дочери Василисы в мужеский пол». То, что мне казалось тогда забавным, парадоксальным продуктом герценовского воображения, сегодня мне представляется иным. Опыт последних лет показал, что в коррумпированно-бюрократической России возможно всякое.

Неравнодушны были мы и к советской литературе — от Николая Островского и А. Толстого до Есенина и Бабеля, от Шолохова и Леонова до Булгакова и Зощенко.

Вопреки школьной критике, а может быть, и благодаря ей пемалый интерес и любопытство вызывала декадентская поэзия. Поэтому был очень доволен, когда мне попал в руки сборник стихов символистов — объемистый том примерно страниц на 700. Там были стихи русских и зарубежных поэтов — Верлена, Рембо, Виктора Гюго, Игоря Северянина, Мережковского, З. Гиппиус, В. Балтрушайтиса, М. Лохвицкой, Р.А. Рильке, Малларме, Пшибышевского, Хофманстала... С юношеским уноением повторял стихи Гюго: «Как в каждой грани бриллианта весь блеск созвездий заключен, так в Вас, инфанта, в Вас, инфанта, мой мир чудесно воплощен. Всю жизнь носить Вам бриллианты, за Вами следовать молю, инфанта, гордая инфанта, я Вас беспомощно люблю». Именно тогда я вышел за пределы школьного, крайне скудного знания символистов, которое поначалу ограничивалось знаменитой Брюсовской строчкой: «О, закрой свои бледные ноги».

Если оставить в стороне вопросы формы, литературного изящества и остроумия, хотя они уже тогда привлекали к себе мое внимание, особенно захватывали большие исторические полотна, в которых разыгрывались драматические события, брали верх волевые, мужественные люди, происходило столкновение страстей, особенно гражданских. Естественно, в соответствии с духом времени волновали идеи справедливости, равенства, обличение всех видов угнетения, увлекала революционная романтика. Наконец, совсем не чужд был и sentimentalный порыв, трогали лирические проза и поэзия.

Легко запоминалось не только содержание прочитанных книг, но и целые куски текста. И то, что запало в память тогда, как правило, осталось на всю жизнь. Иногда эта губка-память даже немножко угнетала, как бы заставляя насильно удерживать в голове уже и испуженные вещи. Так, в те годы, видимо, чтобы подчеркнуть международный престиж Советского Союза, в сообщения о визитах в Москву руководителей зарубежных стран неизменно включался полный перечень встречавших членов дипломатического корпуса. Я обычно слушал последние известия и вскоре мог называть фамилии их всех. Сегодня же, когда прежней памяти, разумеется, уже нет, приходится ностальгически, с сожалением вспоминать об этом «гнете». Остается лишь одно утешение: память воспроизведена в детях.

Разумеется, чтение не ограничивалось беллетристикой: и по собственной воле, и в соответствии со школьной программой в нашем «меню» было немало политической литературы. Наиболее живо воспоминание глубокого и сильного впечатления от Марксовых «Классовой борьбы во Франции с 1848 по 1850 г.» и особенно «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». Не думаю, что тогда был в состоянии в полной мере оценить их по существу, скорее воспринимал их как образец блестящей публицистики и завораживающей масштабности мысли. А некоторые афоризмы (вроде «нации, как и женщине, не прощается минута растерянности, когда на нее нападает насильник») стали «кирпичиками» моего политического мышления.

Был ли я исключением в своем пристрастии к книге? Нет, у нас сложился кружок, пусть небольшой — Нора Берман, Веда Гальперн, Зоря Спиридонова, Шура Быков, Гриша Митник, Эдик Хидиров, где все были жадны до чтения. Мы обменивались впечатлениями о прочитанном, спорили. И если говорить обо всем этом с прицелом на день нынешний, дело не только в том, что мы читали, но прежде всего в том, что мы читали.

Мои друзья и я, так же как некоторые другие в нашем классе, стремились соприкоснуться и с искусством. Мы любили музыку, включая джазовую (Утесов, Рознер), хотя это не очень одобрялось. Регулярно посещали филармонию, наслаждались симфоническими концертами. Кстати, по инициативе мамы и под ее давлением я почти четыре года ходил в музыкальную школу, но из этого ничего не вышло. Посещение школы и многочасовые упражнения дома (гаммы, этюды Майкапара и Гедике и т.п.) стали тяжким, ненавистным испытанием. Способностей особых у меня не обнаружилось, к тому же мне, 12–13-летнему подростку (и я считал себя, естественно, уже взрослым) сидеть рядом с 6–7-летними мальчуганами (да еще, как правило, куда более способными) было унижительно.

Мы старались не пропускать выступлений видных гастролеров. В этом смысле Баку был благословенным местом, пожалуй, самым посещаемым (после, разумеется, Москвы, Ленинграда, Киева) выда-

ющимися деятелями искусства, науки, культуры. Здесь была благодарная аудитория, немало знатоков и ценителей. Да и в других отношениях прием был достаточно привлекательным.

В азербайджанской столице регулярно бывали Оборин, Гиллельс, Ойстрах, Мравинский, Мелик-Пашаев, певица Максакова, танцовщица Тамара Ханум, звезды эстрады Утесов, Набатов, Смирнов-Сокольский, чтецы Журавлев, Яхонтов и Антон Шварц. В 1944 году — в первую же неделю по возвращении в Союз — здесь побывал А. Вертинский. С лекциями приезжали выдающиеся ученые: шекспировед Морозов, блестящий профессор-географ И. Звавич, видный историк Евгений Тарле², академик-медиевист Сказкин, философы Асмус, Дынник, востоковед А. Губер и многие другие (кое-кого я и позабыл).

Бегали мы и на киностудию, где также проводились встречи с наезжавшими столичными знаменитостями. Одну из них, с Григорием Александровым, помню особенно хорошо, в частности из-за поведенной им (наверное, придуманной) смешной истории. Он описывал съемки фильма «Веселые ребята», который незадолго до этого вышел на экраны, рассказывал, с каким трудом давался первоначально задуманный эпизод с выбегающим на сцену быком. Знаменитый режиссер уверял, что призвали на помощь гипнотизера, который обещал, уставившись в бычьи очи, подчинить привязанное животное своей воле. Но результат поединка оказался плачевным для экспериментатора: через час или около того он свалился со стула в обмороке.

Terra incognita для меня в эти годы, к сожалению, оставалась живопись. Школьное образование оставляло эту сферу за скобками (третируемые уроки рисования не в счет), общекультурный интерес к ней был невелик, серьезной художественной галереи в Баку не существовало, дома тоже я не получил никакого толчка. И позднейшие мои попытки преодолеть этот изъян удались лишь частично.

Наши «культурпоходы» оказывали огромное воспитательное влияние, открывали другую, необыденную сторону жизни и привлекая к ней, приобщали к гигантскому матерiku русской и мировой культуры, наращивали в нас человеческое и человеческое.

В школе, как водилось в те годы, работал драмкружок. Больше других помню пьесу «Алькасар», сюжетом которой была осада республиканцами крепости с таким же названием близ Толедо. Я играл республиканского командира, возглавляющего осаду. Пьеса была

² Из его остроумной и красивой лекции в памяти осталось почему-то только процитированное им высказывание очень влиятельного в ту пору американского сенатора Ванденберга: «Япония — это группа мелких островов, которыми Господь Бог, пролетая над миром, по ошибке «накалал» в Тихом океане». Тогда еще было далеко до экономической мощи Японии и американо-японского военного союза.

написана очень эмоционально и столь же эмоционально воспринималась нашими учениками. Тогда мы буквально бредили Испанией, мы все в этом смысле были «испанцами». В страстном отношении к ней шло много мотивов — и романтическое отношение к революции, и ненависть к фашизму, и, наконец, чисто юношеская тяга к идеалу, к примеру для подражания. Лидер компартии красавица Долорес Ибаррури, «Пассионария», провозглашающая знаменитое «No pasa gan» — «Они не пройдут» или «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», была нашим кумиром.

Мы с волнением ждали сводок из-под Мадрида, из Эстремадуры и Гвадаррамы, с фронта на реке Эбро. Помню наш восторг, когда узнали о разгроме итальянского корпуса под Гвадалахарой. Мы строили планы побега в Испанию и повторяли ставшие крылатыми слова Светлова: «Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. Прощайте, родные! Прощайте, семья! Гренада, Гренада, Гренада моя!»

Пьеса «Алькасар» была построена на изобличении франкистов, их жестокого отношения к простому люду и, конечно, республиканцам. Через много лет, побывав в Испании, я познакомился с обратной пропагандистской версией этого события.

Осада действительно имела место, и действительно в руки республиканцев попал сын коменданта крепости. В пьесе сын просил отца сдать крепость, так как ее осаждает народ и защищать антинародное дело не пристало; отец же, демонстрируя полнейшую бесчувственность, говорил, что для него расправа над республиканцами гораздо важнее. Теперь же мы услышали совершенно иную историю, причем в крепостном музее были готовы чужь ли не продемонстрировать созданную во времена Франко пленку-запись. Республиканцы, угрожая убить сына, требуют от коменданта генерала Мескадо капитуляции. Тот (кстати, в полном согласии с сыном) отказывается поддаться шантажу и благословляет сына достойно встретить смерть («Молись, сынок»). Сюда каждый год, в «утвержденный» день расстрела генеральского сына, приезжал Франко, и совершался молебн. Лишнее свидетельство того, что в пропагандистской войне истина не только относительна, ее не существует вовсе.

Пережили мы в школе, конечно, пору влюбленности и ухода, особого внимания к красивым и хорошеньким одноклассницам — Нате Мелик-Пашаевой, Алле Варгановой, Норе Берман, Люде Немытовой и другим. Но все это имело, конечно, мало общего с нынешними временами. Девушки наши были одеты довольно просто, косметика совершенно не употреблялась. И не только потому, что ничего подобного нынешнему ее набору тогда не знали, но и потому, что использование даже простых косметических средств считалось делом предосудительным и, пусть безосновательно, ассоциировалось с вольным поведением.

Девушки наши были скромны, своим влюбленностям большей частью верны, хотя, конечно, попутно случались и маленькие драмы: и полудетская ревность, и полувзрослые измены, и шумный успех одних девочек и юношей, и тоскливое одиночество других. Все происходило в основном на вечеринках. Они заполнялись главным образом танцами: танцевали фокстроты, танго, румбы и вальс-бостон. Спиртного, естественно, не употребляли. Любимыми пластинками, насколько помню, были «Брызги шампанского», «Палома» («Голубка») и «Утомленное солнце». В ходу были и мелодии Утесова, песни Козина и некоторые шлягеры оркестра Эдди Рознера (особенно «Караван»). Отношения между влюбленными были платоническими — танцы, провожания и поцелуи. Единственная особа, которую у нас в десятом классе подозревали в чем-то большем, вызывала, конечно, нездоровое любопытство ребят, но в то же время подвергалась остракизму.

От школьных «любовей» осталось светлое воспоминание: это, кажется, было эмоционально чистое и насыщенное время. Именно тогда мы испытали прилив романтических чувств, на которые способны, наверное, только юные. Но характерно: все влюбленные пары, которые сложились у нас в школьные годы, включал и выпускной, затем распались. Во многих случаях это, наверное, следствие того, что наши мальчики не вернулись с войны.

Конечно, с приходом определенного возраста и нас стали одолевать сексуальные заботы. Это сказывалось даже на наших литературных интересах. Мы особенно внимательно вчитывались в книги, где были сцены и подробности, раздражавшие нашу чувственность. Нашумевший в 20-е годы рассказ Пантелеймона Романова «Без черемухи», новеллы Мопассана и его остроумное, пряное письмо «О тех, которые осмеливаются...», книжку Вересаева «За закрытой дверью» (с его экскурсами в сферу венерических заболеваний) и т.д. я доставал и читал отнюдь не только ради эстетического удовольствия.

Когда читал Зоценко, глаз непроизвольно задерживался на фразе, что у Даши — героини одного из рассказов — грудь была столь высокой, что нагрудный крестик неизменно находился в горизонтальном положении. Следуя за Эренбургом («Двенадцать трубок») мучился сомнениями, что такое «любовь»: «Из сонетов Петрарки или вот в этой фламандской молодке, еще лежащей навзничь, но уже рассуждающей о цене на молоко»; «непреложен ли путь» от загрубевшего от морских ветров капитана («мужчины») к «грудь Занзанетты» (женщины капризной, ветреной и корыстолюбивой), и т.д.

Ни здесь, ни на последующих страницах я не собираюсь распространяться о своих отношениях с прекрасной половиной человечества, как ни важна была эта сторона жизни. Но именно потому, что она важна и дорога мне, я не хочу делить ее ни с кем. Здесь назову лишь имена некоторых подруг своей юности — это минимальная

дать моему «нежному долгу» перед ними. Это — Ната Мелик-Пашаева (ныне врач в Москве), Нора Берман (профессор-генетик), Нелли Петросьянц (до последнего времени заведующая кафедрой судебной медицины).

Вместе с тем не могу обойти одно событие, давшее мне первое, пусть примитивное, представление о глубинах и тайнах женской души, которую, думаю, никому не дано постичь до конца. С восьмого класса со мной училась Седа С. — высокая, стройная девушка со смуглой кожей и роскошной шапкой густых черных волос, которые она, впрочем, обезобразила короткой стрижкой накануне выпускного вечера. Главной ее прелестью, привлекавшей многих, были большие темно-карие глаза, в которых в миг эмоционального возбуждения вспыхивали желто-рыжеватые крапинки. Умная, начитанная, Седа была искренней, порывистой, страстной натурой, очень естественной в своем поведении и поступках — качество, дарованное немногим.

Мы с Седой «дружили» (так — что симптоматично — это называлось тогда; термин «встречаться» вошел в обиход через несколько десятилетий) большую часть десятого класса. Ее привязанность ко всему, что она делала, была «от всего сердца». Мое отношение — более рассудочным. Были, конечно, поцелуи и объятия, но и только. Примерно через месяц после окончания школы с нами случилось «грехопадение», причем илициатором была скорее она.

Происшедшее не только слегка ошеломило меня, но и оставило некоторое чувство неловкости, отчасти даже брезгливости — видимо, настолько не вязалось с романтическими любовными мадригалами. На ум приходила фраза героя одного из рассказов Мопассана: «Бог мог бы придумать что-то более красивое». Я как-то внутренне отдалился от Седы и некоторое время даже избегал ее.

Она не делала никаких попыток встретиться со мной, но переслала через подругу письмо. Его содержание поразило меня: не общаясь со мной, она тем не менее каким-то неведомым образом сумела проникнуть в мои размышления, мои ощущения. Обращаясь к тому же рассказу Мопассана, что и я — какая переключка! — она, однако, цитировала другого его героя: «Некрасивым акт любви видится лишь тому, кто не любит». Можно только удивляться — я это сумел, конечно, оценить в полной мере позже, — откуда, из каких женских глубин шла эта мудрость не по годам у 17-летней девушки.

Седе суждено было преподавать мне еще один урок, и случилось это через несколько месяцев. Мне казалось, что она привязана ко мне напрочно. Ее подруга говорила, что по глазам Седы можно определить, нахожусь ли я тут же, рядом: в них зажигался какой-то свет. И вот однажды, встретясь с нею после 3-дневного перерыва на дне рождения нашей одноклассницы, я не узнал Сединых глаз: они как бы потухли, ко мне был обращен спокойный, безразличный взгляд. Оказывается, произошла смена чувств: мое место занял встреченный

накануне «красивый и умный» слушатель эвакуированного в Баку Высшего военно-морского училища, за которого Седа и вышла вскоре замуж. Я был не только уязвлен, но, главное, не мог понять, постигнуть, как произошел едва ли не мгновенно такой поворот — рассыпалось и развеялось, казалось, безоглядное чувство.

Думаю, все это и заложило фундамент того скрытого изумления перед женщиной и особого отношения к ней, которое я пронес через всю жизнь. Она, несомненно, щедрее и богаче душой, сложнее и тоньше в своих чувствах, чем мужчина, самоотверженнее. И это нередко эксплуатируется сильным полом. Истоки этих качеств, наверное, предопределены природой и историей — в заботе о семье и детях.

Школа да и вся атмосфера тех лет приучали к участию в общественных делах. Мы интересовались жизнью страны и все принимали близко к сердцу — радовались победам «на суше, море и в воздухе», восхищались их героями, немедленно получавшими всесоюзную известность.

Разбирая недавно свой детский «архив», заботливо сбереженный мамой, я набрал на дубликат письма 9 «А» класса В. Коккинаки³: «Мы много знаем о Ваших подвигах. Желание познакомиться, ближе узнать Вас побудило написать Вам письмо. Ваша жизнь многогранна, наполнена ярким содержанием, и нам хотелось узнать о ней от Вас самих. Каковы Ваши планы на будущее? Каковы Ваши проекты в области новых рекордных полетов? Что Вы делаете сейчас? Мы тоже не сидим сложа руки. Мы учимся, активно участвуем в оборонных кружках, готовимся служить Родине. Очень многие ребята нашего класса готовятся поступить в авиационные училища. Мы очень рады были бы, если бы Вы посоветовали нам, куда лучше поступить...» и т.д. и т.п.

Это, несомненно, типичный образец подобного жанра, весьма распространенного в ту пору, и в нем запечатлен дух времени. И как бы наивно ни выглядело это сегодня, тогда каждое слово в письме дышало искренностью, в нем и сейчас легко прочитывается романтизм поколения и вера в общественную миссию человека.

В те времена в школе еще существовали ученические комитеты — учкомы, которые имели определенные права и способы выражать мнение учащихся. Я был членом учкома начиная с седьмого класса и хорошо помню, что на его заседаниях обсуждались не только спортивные дела, самодеятельность, но и некоторые вопросы учебно-

³ В. Коккинаки — знаменитый советский летчик, совершивший ряд весьма смелых полетов (22 мировых рекорда), в том числе сенсационные в ту пору скоростные беспосадочные перелеты Москва — Владивосток (июнь 1938 г.) и Москва — о. Мискоу (США, апрель 1939 г.). В те годы были популярны стишки: если японцы наладут, то «наш Коккинаки полетит на Нагасаки и покажет Араки, где зимуют раки».

го процесса, взаимоотношений преподавателей и учеников. При этом мы стремились отстаивать самостоятельные начала в нашей жизни.

Однако положение стало меняться к концу 30-х годов, а еще резче — в начале 40-х. Видимо, это происходило в связи с общим «зажимом» в стране. Совершенно четко проявилась тенденция подчинения школьных организаций администрации. У нас эту линию воплощала новый завуч Валентина Михайловна Бондаренко. Массивная, цветущая блондинка с громкоподобным голосом, она быстро продемонстрировала намерение укротить не в меру самостоятельных учеников. И начался очень своеобразный процесс перетягивания каната, невероятный для более поздних лет. Не зная, что заведомо обречены на поражение, мы вознамерились отстаивать свою автономию.

Я уже был учеником девятого класса и секретарем комитета комсомола. Однажды в школе появился корреспондент газеты «Комсомольская правда». Как позже выяснилось, визит состоялся с ведома и по инициативе нашей Валентины Михайловны. Корреспондент побродил по школе, поговорил с парой учеников и преподавателей, со мной. И примерно неделю спустя опубликовал в «Комсомольской правде» статью, где мы, в том числе, естественно, и я, как секретарь комитета, были решительным образом обруганы из-за «несогласованности» нашего поведения с администрацией, «уродливых» проявлений самостоятельности и т.д.

Как водится, нам предписали провести комсомольское собрание с целью обсудить статью. На нем всю свою боевитость продемонстрировала Валентина Михайловна. Ее поддержал прибывший комсомольский начальник — секретарь Бакинского комитета комсомола. Правда, пытался как-то самортизировать ситуацию наш обаятельный директор, очень умный и добрый человек, историк Яков Абрамович Веллер, которого мы уважали и любили. В первые дни войны он добровольцем ушел на фронт и погиб.

К чести наших ребят, они не дали Бондаренко и комсомольскому деятелю подвергнуть закланию школьный комитет. Собрание не согласилось с оценкой линии комитета как неправильной. Но, к сожалению, эта наша «битва» если и имела какие-то последствия, то только в том смысле, что Валентина Михайловна стала дружно ненавидимой в школе персоной. Наша самостоятельность таяла с каждым днем.

Комсомольская организация у нас была живая, пользовалась реальным авторитетом и ничем не напоминала мумифицированные структуры, покорно следовавшие за начальством и возглавлявшиеся молодыми, но очень рано повзрослевшими номенклатурщиками и подхалимами, как это было в 60–80-е годы. Забегая вперед, скажу: уже работая в ЦК, я и мои товарищи более всего сторонились многих выскочек «комсомолят», которые нередко дублировали худшие черты партийных работников, казавшиеся особенно неуместны-

ми у молодых людей. Не случайно многие из них так легко прижились в нынешних коммерческих и финансовых структурах.

Комитет комсомола я «получил» по наследству от Додика Соскина. Он много сделал для того, чтобы комсомольская организация выглядела именно такой, какой я ее описываю. Додик был очень честным и принципиальным парнем, хорошим оратором, его суждений искали, а иногда и побаивались многие.

Судьба его сложилась трагично. Когда началась война, он в числе первых пошел добровольцем и оказался среди молодых бакинцев, которые имели несчастье попасть на Крымский фронт, в части, участвовавшие в майском наступлении 1942 года и наголову разбитые немцами из-за безмозглого руководства. В момент панического бегства верховодивший там Мехлис, то ли опасаясь ответственности за провал операции и выслуживаясь перед Сталиным, то ли повинуясь своим привычным жестоким рефлексам, обрушился с репрессиями на офицеров отступавших частей. В числе прочих был расстрелян за «трусость» и Давид Соскин. На его мать легла двойная тяжесть — потеря сына и клеветническое обвинение. Разумсется, оно было снято, но случилось это значительно позже.

В известной мере вся атмосфера в школе, отношения между учащимися были отмечены духом коллективизма. Проявления индивидуализма были редки, да и те всячески корились. От велосипедов, хотя они тогда были немалой ценностью, до книг — очень много (иной раз и без особой радости) передавалось ребятами в пользование друг другу.

Национальная проблема у нас в школе действительно не возникала. За стенами же ее ситуация стала меняться. Со второй половины 30-х годов возникла и наращивала силу кампания, которая будоражила и активизировала национальный момент в обществе, в отношениях между людьми. В сущности, она была нацелена на то, чтобы «приподнять» азербайджанскую нацию, роль азербайджанской части населения, усиленно продвигать азербайджанцев на руководящие посты, но в первую очередь — создать соответствующую идеологическую основу для всего этого.

Можно сказать, заново стала создаваться и, разумсется, возвеличиваться история Азербайджана. При этом не только воспроизводились реальные факты, но и изобретались новые с целью доказать древность и «славную летопись» азербайджанской нации, обогатить ее разного рода подвигами и культурными завоеваниями. Поднимались на щит и непомерно восхвалялись азербайджанские писатели и деятели искусства. Причем не чурались обирать и соседние страны, смело приписывая себе фигуры, которые ранее считались принадлежащими им или спорными.

Характерен и такой факт. Придя в школу, я еще застал время, когда язык республики преподавался как «тюркский». Когда же за-

канчивал ее, тот же язык уже именовался «азербайджанским». Такое переименование отвечало интересам и местной верхушки, и Москвы. Первая стремилась «оформить» национальную самобытность и идентичность, вторая — оторвать от тюркско-мусульманских корней. Разумеется, подобный процесс не был уделом лишь Азербайджана, он происходил и в других национальных республиках.

Однако все это только начиналось и, хотя не ускользало от нашего внимания, еще не вторгалось заметным образом в наши школьные будни (возможно, известную роль играло и то, что в школе почти не было азербайджанцев) и вообще в нашу жизнь. Да и в Баку в целом еще работали и определяли ситуацию привычные, прежние «правила».

Своего рода свидетельством этого может служить следующий факт. В 1936 году на «родине великого Сталина», в городе Гори, состоялся съезд учащихся — отличников Закавказья. Это было частью все более широко разворачивавшейся пропагандистской кампании по возвеличению «вождя». Так вот Баку — столицу Азербайджана — представлял там я, армянин: вещь, абсолютно невозможная уже в 40-е годы и еще менее — впоследствии. Тогда же это было естественным делом, никого не удивляло — ни меня, ни моих родителей. До сих пор храню газетную фотографию, с которой смотрят наши мальчишеские лица.

Я не очень хорошо помню, какое впечатление на меня произвел дом, в котором родился Сталин. Больше поразило другое: грузинские пионеры, так же как и взрослые участники, вслед за потоком торжественных слов в адрес Сталина неизменно говорили о «цвэни дзвирпаси батоне Лавренти Берия» («нашем дорогом Лаврентии Берии»). Так завершалась любая речь, любое, даже короткое, выступление. Мы к этому еще не были приучены — Багиров до таких «высот» пока не дошел.

Подводя некий итог, скажу так: не те или иные учебные предметы, не те или иные учителя, не те или иные всплески нашей общественной активности, наконец, даже не те или иные романтические истории оставили наиболее яркое впечатление от школьных лет, нет: сама школа, именно школа, все, что связано со школой, а не детство и юность вообще и до сих пор представляются мне едва ли не самой светлой, самой лучшей полосой в жизни. Конечно, учить уроки и для нас отнюдь не было милым и желанным занятием, конечно, мы радовались, когда уроки отменялись или срывались. Шалили и даже хулиганили, делали порой гадости, вроде фокуса с приклеиванием платья учительницы к стулу. Но школа и все с нею связанное было главной и самой яркой частью нашего существования. Собственно, большинство из нас в определенном смысле «жили» школой, «прилепились» к ней всеми своими помыслами и интересами. Не случайно, когда разразилась война, а мы о ней узнали к вечеру

22 июня, большинство из нас, повинуюсь какому-то общему чувству, собрались в школьном дворе молчаливой и серьезной, уже совсем не детской толпой. Мы провели там всю ночь до утра и первыми увидели в рассветной полумгле поднявшиеся над городом, застывшие в безветренном небе аэролаты.

Мы пришли, чтобы вместе, стоя плечом к плечу, получить ответ на вопрос: что будет и что надо делать? Мы привыкли, что именно здесь, в школе, получаем ответы на свои вопросы и здесь ощущаем себя коллективом, обществом, связанным воедино.

Ничего такого уже не испытывали мои дети, учившиеся в конце 60-х и в 70-е годы. Школа была для них обузой, а сама школьная жизнь — неприятной, хоть и неотвратимой обязанностью. Связываю это прежде всего с подавлением ученической автономии, с жестким и формализованным профессионализмом нового поколения педагогов, с «поскучением» самого преподавания, не стимулировавшего самостоятельную мысль, наконец, с общей обстановкой в стране, с общественной атмосферой, которая порождала все большее противоречие между тем, чему учили в школе, и тем, что школьники видели вокруг себя.

Как бы то ни было, из школы мои дети, несмотря на то что учились вполне прилично и не имели никаких осложнений, ушли с облегчением, у них не было и нет ни малейшего желания снова навестить ее. Мы же, напротив, не забывали, особенно поначалу, о школе, не пропускали проводимых обычно 20 января каждого года встреч учеников и педагогов с выпускниками.

Поразительно, как разметало по миру нас, школьных друзей из далекой бакинской школы. Нора Берман — в Братиславе, Веда Гальперн — в Бостоне, Эдик Хидиров — главный архитектор в Ярославле, Гриша Митник и Александр Быков живут в Москве, Седа Степанян — в Санкт-Петербурге. И это лишь некоторые из «эмигрировавших» одноклассников, прежде всего те, с кем у меня сохранились связи. Но и из тех, кто не изменил Баку и долго пребывал в бакинцах (говорю не только об одноклассниках, но и друзьях более поздних лет), теперь, поверное, уже тоже почти никого не осталось в прекрасном городе на Каспии. Их оттуда выдавили, некоторым пришлось даже спасаться бегством, бросив все — работу, квартиру, товарищей. Мне самому осенью 1988 года пришлось вывозить из Баку только что вернувшегося из армии племянника Артура.

К тому времени в азербайджанской столице сложилась любопытная ситуация. При попустительстве или бессилии властей, уже в преддверии близкой резни армян, свирепствовали антиармянские банды. Группы молодежи проверяли у заподозренных ими людей на улицах, в городском транспорте, в метро документы и принимались избивать армян или тех кто, смахивая на них, не мог доказать

обратное. Артур дважды подвергся подобной процедуре и серьезно пострадал, причем во второй раз, в метро, едва остался жив.

В то же время власти, то ли демонстрируя свой «интернационализм», то ли по иным причинам, не разрешали выезжать армянам, желавшим покинуть город. Помог мне мой коллега по Международному отделу ЦК А. Урнов, нынешний посол РФ в Ереване, который неплохо знал Поляничко, в ту пору второго секретаря ЦК Азербайджанской компартии. В Москве я устроил Артура по специальности — наладчиком на ЗИЛе, а жил он у меня до 1995 года. Его мать, русская женщина, самосохранения ради была вынуждена вернуться к своей девичьей фамилии, а спустя несколько лет после долгих хлопот переехать в Пермь.

3. ВОЙНА

Юность нашу перечеркнула война. Ее ждали все 30-е годы, особенности после того, как Гитлер вошел в силу, а еще более — вслед за австрийскими и чехословацкими событиями. Ее приближающееся дыхание явственно ощущалось и нами, в провинции. Антифашистская тема звучала мощно, находила живейший отклик в наших сердцах.

Разумеется, как и во всей стране, ощущение тревоги, с которым неизбежно было связано это ожидание, перекрывал легковесный и легковверный оптимизм, который внушала официальная триумфаторская пропаганда. Вслед за авторами популярных тогда книг (вроде романов «Гитлер против СССР» или «Первый удар») мы рисовали в своем воображении картины победоносного блицкрига Красной Армии, вступающей в германские города и, конечно, в столицу Берлин.

Кстати сказать, в первые дни войны в Баку получил широкое распространение слух о том, что наши войска уже заняли Варшаву. И подготовленные предшествующей пропагандой, мы легко в это поверили.

Не знаю, как в столице, но пакт «Молотова—Риббентропа» 1939 года в этом восприятии в нашей среде ничего существенно не изменил по отношению к гитлеровскому рейху. В то время как наша пресса — вслед за гитлеровской — обличала английскую и французскую буржуазную «плутократию», мы с волнением следили за ходом военных действий на Западном фронте, болея за тех, кто противостоял гитлеровцам.

У нас в семье были и дополнительные основания не доверять официальным декларациям о дружбе с гитлеровской Германией. Двоюродный брат мамы, сын профессора Капрэяна, служил в гражданской авиации. Это была весьма колоритная личность: рубаха-парень, боксер, душа всякой компании, любимец женщин. Десятилетним мальчуганом заявивший, к ужасу родных, что будет непременно «летать» (за что немедля был матерью выпорот), он остался верен своему слову. Уйдя с третьего курса столичной консерватории в

Московский авиационный институт, он, окончив его, все же избрал профессию летчика.

В годы войны Рафаил Иванович, или Рафик, как мы его называли, служил в бомбардировочной авиации. Однажды после налета на Констанцу на обратном пути, недалеко от Одессы, его самолет был сбит. Экипаж спасся, но его выдала немцам приоткрывшая летчиков крестьянка. Держали их в специальном лагере для летчиков, который охраняли итальянцы, отличавшиеся, по словам Рафика, мягкостью и поддерживавшие там довольно сносные условия. В конце 1942 года пленных посадили в поезд, направлявшийся в Германию. Однако на дороге Рафик и его товарищи задушили находившихся в вагоне часовых и, разобрав пол, совершили побег. Часть пленных погибла под колесами, но другие, и в их числе мой родич, обрели свободу. Дальше события развивались по обычному для того времени сценарию: дни испытаний, партизанский отряд, отправка на Большую землю и после проверки (тут уж необычное: она была короткой, видимо, из-за дефицитной специальности высококвалифицированный пилот дальней авиации, знавший берлинский маршрут) вновь война.

После войны Рафаил Иванович много лет служил летчиком-испытателем, поставил немало авиационных рекордов, получил звание Героя Советского Союза. Он входил в когорту широкоизвестных советских асов, таких как Громов, Коккинаки, Арцеулов и другие.

Так вот, Рафаил Иванович в 40-м и первые месяцы 41-го работал на внутренних и международных линиях Аэрофлота. Он часто сталкивался с летчиками германских гражданских самолетов, совершавших рейсы в Советский Союз. Дважды за это время побывав в Баку, он рассказывал, что почти все немецкие летчики явно пришли из военной авиации, часто отклоняются от официально разрешенного курса полетов, надо думать, с разведывательными целями, держатся нагло и высокомерно, даже не считая нужным скрывать мировых притязаний «третьего рейха». У Рафика сомнений в том, что война на пороге, не было. Он насмешливо обрывал своего деверя, который пытался отстаивать официальную точку зрения. Да и отцу доставалось.

То, что я и мои одноклассники ожидали войну и не отделяли от нее своей судьбы, видно из выбора будущей профессии. Я, по своим склонностям и знаниям явный гуманитарий, послал документы в Бауманское высшее техническое училище на танковый факультет. Так поступили еще двое из нашего класса, другие настроились на Московский авиационный институт и Высшее военно-морское училище в Ленинграде.

И все-таки война пришла внезапно, разразилась вдруг, как сверкнувшая молния. Только что, 21 июня, отшумел выпускной вечер, и утром мы, счастливые — позади экзамены, школа, впереди институт, Москва, полные какой-то неумной, требующей выхода радостной

энергии, — всем классом отправились на море, в Загульбу (близ Баку). Целый день купались, грелись, а вернее, жарились на солнышке, играли в волейбол, выпендривались перед девицами. И не знали, какое страшное несчастье уже надвинулось на страну и нас, и не могли вообразить, что многих молодых мальчишек, которые беззаботно веселились в тот день на каспийском берегу, ждет лишь одна участь — быстро уйти из жизни, ее почти не изведав.

К вечеру я, вместе с Седой Степанян, вернулся домой и примерно в шесть—полседьмого звонил в нашу квартиру. Довольно долго никто не отзывался, а затем дверь открыла мама — бледная, взбодраженная и какая-то поникшая. «Фашисты напали... Молотов говорил», — сказала она сдавленным, хриплым голосом. И хотя в моих ушах еще звучали победоносные песнопения нашей пропаганды, которым я полностью верил, меня вдруг охватило смутное предчувствие, что на нас надвигается что-то страшное. Я остро почувствовал, что наша судьба переломилась.

Мы тут же побежали в школу, где собрались многие десятки моих сверстников, а на следующее утро уже разносили призывные повестки. И при виде малиновых афишек, крупными черными буквами извещавших о начале войны и всеобщей мобилизации, меня вдруг поразила вроде бы банальная, простенькая мысль, с которой я никак не мог свыкнуться. Люди жили мирной жизнью, работали, влюблялись, играли свадьбы, рожали детей, воспитывали их, а тем временем где-то, в каких-то укрытиях, лежали, ожидая своего часа, эти маленькие, но грозные бумажки, переворачивающие их жизнь. И это тоже было частью, пусть технической, той тайны, в которой готовятся войны.

Это было первым облачком на чистом голубом небе моего бравурно-патриотического восприятия войны — примерно в духе бодрой формулы чрезвычайно популярной тогда песни: «Круша огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход, когда нас в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет».

Следующее облачко тоже не заставило себя долго ждать. В первые же две недели после начала войны выпускников средних школ города 1922 и 1923 годов рождения (тогда в школу принимали, как правило, с 8 лет), а также студентов первых курсов взяли на военный учет и стали готовить к призыву (медицинская и мандатная комиссии и т.д.). 17 августа 1941 г. их всех — 800—1000 человек — призвали и, собрав, держали до утра следующего дня на стадионе. И всю ночь у ворот стадиона дежурили родители, подстергая момент, когда их выведут, чтобы еще раз увидеть своих мальчиков. Я был в этой толпе: уходили двое моих одноклассников и двоюродный брат Виген.

Наутро, примерно в 10 часов, какой-то чин с одной шпалой в петлице — видимо, из городского военкомата — сообщил, откуда

выйдут призывники. На деле же начальство прибегло к обману, видимо решив избавить себя и, наверное, призывников от дополнительной нервотрепки и застраховаться от беспорядка: ребят стали выводить из другого, отдаленного выхода. И тогда вся дежурившая толпа не слишком молодых женщин и мужчин бросилась бежать, стремясь догнать шедшую нестройным шагом колонну и обнять прощальным взглядом своих детей, уходивших от них, как вскоре выяснилось, навсегда. Удалось это немногим. Эта картина и сейчас, спустя пять с лишним десятилетий, стоит перед глазами. Толпа людей, иступленно бегущих вдогонку за своими детьми, которых командиры заставляли убыстрять шаг, лица этих людей, искаженные предельным физическим и эмоциональным напряжением, их обезумевшие глаза, в которых застыло отчаяние. И это зрелище, потрлявшее меня, тоже размывало романтически-бодряческий флер, которым было окутано понятие войны (разумеется, «нашей войны») в моих глазах и моих сверстников.

Судьба отправленного в тот же день эшелона с бакинскими призывниками — а это был, по сути дела, цвет молодежи города — оказалась печальной. Около города Сталино (нынешний Донецк) поезд попал под бомбежку, уцелевших направили в Крым и после двухнедельной подготовки поспешно бросили в бой под Джанкоем навстречу дивизии СС «Мертвая голова». Хотя бакинцами и их соседями, какой-то кадровой частью, эсэсовцы были отбиты (они, по рассказу брата, послужили легкой мишенью, ибо шли в атаку пьяные, поднявшись во весь рост), потери среди наших ребят были большими. Моего брата тяжело ранило. Вообще Крым стал в те годы для бакинской молодежи могилой — как в результате событий лета 1941 года, так и злополучной операции весны 1942 года. Домой из «крымского» набора возвратились немногие.

Кстати, о вернувшихся в годы войны и после ее окончания фронтовиках. Как раз в дни, когда писались эти страницы, мне довелось прочитать «Памятные записки» Д. Самойлова. Это не просто интересная книга, от которой не оторваться, пока не перевернута последняя страница. Эрудиция автора, глубина мысли, свежесть взгляда производят глубокое впечатление. Но его суждение относительно настроений фронтового поколения мне представляется достаточно спорным. Оно, возможно, экстраполирует более поздние ощущения и взгляды на более ранние времена.

Д. Самойлов говорит, будто это поколение рассчитывало, вернувшись с войны, на изменение порядков в стране и было настроено чуть ли не оппозиционно по отношению к ним. Он пишет: «Было бы естественно, если бы начавшуюся борьбу общества за права человека возглавило поколение людей, прошедших войну, достаточно зрелых и достаточно молодых. Но этого не произошло». И продолжает: «Поколение в целом неверно оценивало возможность борьбы за права

человека в рамках сложившегося государства. Воспитанное в обстановке своеволия власти, оно считало, что слишком многое зависит от персоналий, от мыслительного уровня и доброй воли людей, стоящих у власти»¹.

Выходит, что поколение было, как минимум, нацелено на борьбу за права человека, хоть и предавалось иллюзиям относительно путей такой борьбы. Вполне вероятно, тот круг, в котором вращался поэт, и был проникнут подобными настроениями. Но ведь поколение не сводится к группе фронтовых поэтов или кружку сплоченных интеллигентов. Если судить по Баку, по тем людям, с которыми я сталкивался, — а фронтовиков было достаточно и на работе, и в институте, — то ни о какой борьбе за права человека они не помышляли. Они вообще, по моим наблюдениям, в нравственном отношении не очень-то выделялись.

Они выделялись другим: большей душевной зрелостью, твердостью, известной самостоятельностью, уверенностью в себе и, наконец, настойчивостью, порой даже настырностью. С фронта они вернулись с убеждением — хотя оно было четко представлено далеко не у всех, — что принадлежат к особому слою людей, заслуживших особые права. Побывав за границей, они действительно рассчитывали на какие-то изменения внутри страны, и речь, мне кажется, прежде всего шла о надежде на более или менее быстрые сдвиги в материальных условиях.

Я отнюдь не пытаюсь дегеронизировать фронтовое поколение, как-то принизить его заслуги. Нет, для этого поколения вполне достаточно того исторического подвига — определение тут правомерно именно такое, не ниже, — который оно совершило, отстояв Родину. Подвига, который обязывает к коленопреклопению не только сверстников, не побывавших на фронте, но в не меньшей мере и последующие поколения, включая нынешнее. И нет нужды добавлять еще что-то.

«Интеллигентский» эшелон унес жизни пяти моих одноклассников: Юры Шевцова, Коли Никонова, Коли Бузова, Акопа Григоряна, Юлика Бермана. Последнего до сих пор не могу представить себе в военной форме — тщедушный, нескладный паренек с плохо скоординированными движениями, с загребавшей походкой, часто шмыгающий носом. Шевцова и Никонова, служивших в морской пехоте и до того однажды раненых, убило в последние дни обороны Севастополя. Насколько мне известно, с войны не вернулись еще пятеро из нашего класса — итого, как минимум, 10 из 15. Особенно сильное впечатление на нас произвела похоронка на Юру Шевцова, может быть, потому, что мы несколько раз навещали его мать. Этой одинокой женщине, прачке, бравшейся за любую работу по дому у соседей и

¹ Самойлов Д. Памятные записки. — М.: Международные отношения, 1995. — С. 333.

знакомых, чтобы поднять детей (они удались на славу: высокие, плечистые, красивые ребята, русые, голубоглазые, с густыми черными бровями вразлет), выпала поистине трагическая доля. За пару месяцев до Юриной похоронки она получила известие о гибели и старшего сына. Мария Васильевна представлялась мне каким-то естественным, чуть ли не лишенным чувств воплощением тотальной, безутешной скорби. Сидя напротив нас, она почти не реагировала на наши попытки завязать разговор (хотя чаем угостить не забывала), молчала, сосредоточенно глядя перед собой и положив руки на колени. Руки этой женщины, которая четверть века иступленно трудилась, не гнушаясь никакой работы, заслуживают особого описания. Но мысль выбрасывает на-гора лишь штампы типа «натруженные», «усталые», «мозолистые», «трудовые» и т.д., которые звучат фальшиво.

Недавно, когда среди продажной журналистской черни и «демократических» интеллигентов было модным дегероизировать Великую Отечественную войну — даже название это было осмеяно, — а по сути дела, глумиться над подвигом и памятью миллионов погибших, когда некоторые из этих «храбрецов» доходили до квислинговских заявлений о том, что лучше бы победила Германия, я особенно часто вспоминал лицо Марии Васильевны Шевцовой. И мне так хотелось, чтобы стало возможным невозможное: чтобы эти людишки, не помнящие родства, предстали перед ее сыновьями.

Да, наши мальчики, как и миллионы советских людей разных поколений, были напрочно распропагандированы. Они вдохновлялись целью защиты Отчизны и разгрома фашизма, а очень и очень многие и идеей социализма и освобождения народов от «капиталистического рабства» (что обернулось подчинением Восточной Европы, а дома — укреплением сталинизма). Но именно эти мальчики, молодое предвоенное поколение, и их отцы выиграли войну и спасли Родину. И я отнюдь не убежден, что они смогли бы это сделать, будь они иными, скажем, наподобие довоенных французов, датчан, голландцев да и американцев с англичанами.

Во всяком случае, победа без таких ребят, без их пыла, рвения и веры была бы невозможна. И как бы ни выглядела сегодня политическая теория, которую им внушали, это было поколение, вдохновленное идеалами социальной справедливости и равенства, коллективизма, национального и расового равноправия. Мне близка мысль Гайто Газданова, послеоктябрьского эмигранта, автора книги «На французской земле» о советских партизанах во Франции. Он пишет: «И вот оказалось, что с непоколебимым упорством и терпением, с неизменной последовательностью Россия воспитала несколько поколений людей, которые были созданы для того, чтобы защитить и спасти свою родину. Никакие другие люди не могли бы их заменить, никакое другое государство не могло бы так выдержать испытание, которое выпало на долю России. И если бы страна находилась в таком

состоянии, в каком она находилась летом 1914 года, вопрос о Восточном фронте очень скоро перестал бы существовать. Но эти люди были непобедимы»².

Сейчас на дворе уже другое время. И модны другие мелодии. Вчерашние ниспровергатели предпочитают предать забвению свои вчерашние наскоки. Но их работа, к сожалению, не прошла бесследно.

В сквере у Патриарших прудов к группе пожилых людей, главным образом отставных военных (среди них был и генерал-полковник), игравших в беседке в преферанс, подошли трое милиционеров. В нарочито грубой форме они начали выяснять личности присутствующих, требовать документы, а в ответ на сделанное одним из наблюдателей за игрой замечание стали заламывать ему руки. Когда же генерал-полковник воскликнул: «Что вы делаете, ведь ему 81-й год, он всю войну прошел!», молоденький милицейский сержант, не колеблясь, не задумываясь заявил: «Ну и что... Лучше войну эту проиграли бы, может, лучше жили бы»...

В начале июля мы с мамой остались одни. Хотя отцу было под 50, он ушел в армию, где пробыл до 1946 года. Служил политработником в частях, вступивших в Иран. Летом 1942 года, в самые тяжелые дни гитлеровского наступления, его дивизию, стоявшую в Тавризе, подняли по тревоге, погрузили в эшелоны и повезли на север, к фронту. Но за 100–150 километров до него их внезапно повернули обратно.

Мама устроилась на работу в управление, которое занималось семьями военнослужащих. Вопрос о работе встал и передо мной. Летние месяцы прошли для меня, как и для моих сверстников, в выполнении мелких поручений городского комитета комсомола, руководства школы и Бакинского военного комиссариата. В сентябре или октябре (точно не помню) мой год был пропущен через военкоматскую медкомиссию. Тех немногих, кто был отсеян по медицинским показаниям, вызвали дней через десять в Бакинский комитет комсомола и заявили, что они мобилизованы для работы на предприятиях, обслуживающих фронт.

Помню, что, как и другие, попавшие в эту категорию, испытывал неприятное чувство неловкости: нас как бы отделили от большинства сверстников и одноклассников, которых рано или поздно ожидала фронтовая судьба. Правда, ощущение было несколько приглушено тем, что буквально на следующий день меня приставили к делу — направили на завод № 610 Наркомата боеприпасов, расположенный в бакинском пригороде. Там я проработал почти всю войну.

Завод почему-то числился среди эвакуированных предприятий, фактически же он заново организовывался на бакинской земле. Весь коллектив, включая начальника и главного инженера, составляли

² Независимая газета. — 1996. — 28 марта.

бакинцы. На заводе изготовлялись боеприпасы для артиллерии — обычной и реактивной. Поставлявшиеся нам металлические гильзы стального и черного цвета начинались взрывчатым веществом.

Меня и еще нескольких ребят, как более «образованных», определили контролерами отдела технического контроля. Исполнявшиеся нами операции были довольно примитивными, но «многоступенчатыми». Контрольные сверки и измерения проводились как до наполнения взрывчатым веществом, так и после этого. Физически это было тяжелым делом, ибо снаряды приходилось подтаскивать вручную. Работали мы по 10–12 и более часов, в зависимости от наличия сырья и полуфабрикатов.

Но все это казалось мне — да так оно и было на самом деле — пустяком по сравнению с трудом женщин, занятых в тротиловом цехе и на погрузочно-разгрузочных работах. Для меня это еще один страшный лик войны: желтые, очень желтые от постоянного соприкосновения с высокотоксичным тротилом лица и руки работниц этого цеха, неуклонное и необратимое отравление, которому, конечно, не могли воспрепятствовать ежедневно выдававшиеся «за вредность» пол-литра молока. Или грузницы, которые взваливали на свои плечи ящики со снарядами весом 80–100 килограммов (что наверняка обрекало их на женскую инвалидность). И еще одно. Всю эту калечащую работу, никак не компенсируемую скромной зарплатой и столь же скромным найком, женщины, в большинстве своем русские, делали с молчаливым достоинством, дружно, как правило, без ссор и склок, столь нередких в обычное время. Мне кажется, от них прежде всего исходила господствовавшая на заводе атмосфера спокойной, я бы сказал, упрямой или даже фаталистической деловитости, работы стиснув зубы.

Насколько могу судить, война вообще резко и, казалось, безгранично повысила уровень готовности к нечеловеческим мобилизационным усилиям, лишениям и жертвам. И не только в результате жестоко навязываемой государством дисциплины, но прежде всего собственной спонтанной патриотической и моральной реакции. Не исключено, что у меня несколько идиллические представления, однако еще одно из основных впечатлений той поры состоит в том, что война, несмотря на все ее тяготы, а возможно, как раз в связи с ними, приподняла этическую планку у большинства населения, укрепила начала честности, нетерпимости к ловкачеству и обходным маневрам.

Пишу эти строчки и под впечатлением письма, только что прочитанного в «Аргументах и фактах». Не могу удержаться от соблазна привести его полностью:

«Меньше сытости или совести?»

Вот два случая, которые в мою жизнь врзались, и объяснить их нет сил. Мой сын служит в армии в Псковской области, г. Остров-3, в/ч 35600, в письме попросил, чтобы отправила ему станок

и лезвия для бритвы и чего-нибудь вкусенького. Собрала ему посылку: конфеты, мед, варенье, сало, носки — общий вес с ящиком 8900 г. Он же получил 5 пачек сигарет «Прима» и журналы «Юность». В общем, кто-то обобрал солдата. Когда мой дядя в 1943 г. был на фронте, мы тоже ему отправляли посылку: табак, сухари, вязанные носки, рукавицы. Пока посылка к нему шла, нам прислали похоронку. И вот в то, Богом и людьми проклятое время, посылка вернулась к нам обратно. Помню, как плакала моя мама — почему не отдали посылку любому другому солдату.

Неужели в войну жили сытнее? Или совести было больше?

Л. Нуриева,

Красноярский край, Канский р-н, д. Анцирь-1³.

Завод, как, наверное, и другие оборонные предприятия, находился под опекой Наркомата госбезопасности. Заместителем начальника завода по кадрам был капитан госбезопасности Аракелов, который на работе неизменно пребывал в форме своего учреждения.

У предприятия был «куратор» и в центральном аппарате Наркомата. Я это узнал, будучи вызван туда капитаном госбезопасности Бесединым и впервые переступив порог здания, напротив которого прогуливался несколько лет назад, держась за мамину руку, в ожидании решения судьбы отца. Капитан предложил стать одним из его осведомителей на заводе. Столкнувшись с отказом, принялся взывать к моему патриотизму, к славной семейной традиции («отец был примерным работником и пользовался большим уважением в нашей системе»), говорил о «большом доверии», оказанном предложением, и наконец прибегнул к угрозам, заявив, что отказ равносителен нежеланию помочь советскому государству, демонстрирует неуважительное отношение к «органам» и дорого мне обойдется. Последний, особо грозный аргумент я пытался парировать заявлением о готовности, если это уж так необходимо, пойти на легальную, официальную работу в госбезопасность.

Беседин вызывал меня еще несколько раз: мучительные разговоры затягивались за полночь. Я, признаться, уже порядком струхнул, но капитан вдруг внезапно исчез. А объявившись через несколько недель, сухо предложил мне подписать бумажку с обязательством не разглашать «содержание проведенных со мною бесед» и на том отпустил. Так счастливо кончилась моя вербовка.

Если производственный ритм на заводе был весьма напряженным, то общественная жизнь отнюдь не была ключом. Конечно, проводились собрания, некоторые другие обязательные сборища. Но главной формой общественной жизни было оглашение сводок Совин-

³ Аргументы и факты. — 1995. — № 37(778).

формбюро. Их ждали с нетерпением, можно даже сказать, жили «от них и до них». Популярными были также лекции, посвященные фронтовым делам и международному положению («Когда будет второй фронт?»). На заводе меня приняли в партию, причем никто меня к этому не принуждал и не подталкивал. А позже за свою работу я был отмечен медалью «За оборону Кавказа».

Жила наша семья, как и подавляющее большинство людей вокруг нас, очень трудно, голодно. Подлинным праздником были дни (это случалось несколько раз), когда я приносил с завода (выданные в качестве премии что ли) несколько пирожков с картофелем, а однажды и с мясом. Они хорошо запомнились мне: черноватого цвета, с горьковатым привкусом, видимо, от масла, на котором были зажарены (некоторые на заводе утверждали, что оно было наполовину машинным).

Пробовали продавать вещи, но покупателей на них чаще всего не находилось. А наиболее ходовых товаров — водки и сигарет — у нас, естественно, не было. Да и коммерсанты мы были никакие, и несчастые походы на базар кончались, как правило, ничем. Особенно трудно, почти невмоготу стало к концу 1942 года, хотя перелом на фронте, не заменяя, конечно, хлеба насущного, «подзаряжал» людей, и нас в том числе. Выручила жившая в Тбилиси мамина младшая сестра. Уж не знаю, с помощью какой торговой сделки, но она обзавелась картофелем. Я совершил молниеносный по тем временам (на полтора дня) воаж в Тбилиси и вернулся с объемистым чемоданом, в котором был драгоценный груз — 47 килограммов картошки. Ясно вижу себя, из последних сил волокущего этот чемодан в страхе, что уроню и рассыплю картошку: 2—3 километра от вокзала до дома показались мне бесконечными. Положение заметно улучшилось со второй половины 1943 года, когда появились американские яичный порошок и какао.

Я сказал «подавляющее большинство», потому что, как выяснилось потом, были и люди, которые активно использовали лихолетье, чтобы нажиться. Они принадлежали к двум категориям. Одна — те, кто спекулировал товарами первой необходимости, прежде всего продовольствием, уворованными из государственных источников. Другая — представители государственного аппарата, люди из силовых структур. Например, говорили, что заместитель председателя республиканского Совета министров Азизбеков (сын одного из 26 бакинских комиссаров), который в годы войны ведал управлением тыла Закавказского фронта по Азербайджану и ходил в генеральском мундире, используя труд немецких военнопленных, воздвиг дачу, по тем временам роскошную, с бассейном. На ее воротах, венчавших ограду из весьма дефицитного железа, горделиво красовалась цифра — 1944 год. Пять лет спустя после скандальной ревизии комиссией из Москвы, о чем я еще расскажу, Азизбеков был за это снят с работы специальным

постановлением, которое подписал Сталин. Другой пример. В Азербайджане существовали поселения немецких колонистов. Наиболее крупным был Еленендорф — чистый, опрятный и ухоженный поселок неподалеку от Кировабада (нынешней Гянджи). Вскоре после начала войны немцев оттуда выселили, а их имуществом основательно поживились выселявшие, и особенно начальство.

Наверное, и в войну были какие-то развлечения. Но в память это не запало, что говорит об их ничтожной роли в нашей тогдашней жизни, по крайней мере до последнего года войны. Пожалуй, только концерт вернувшегося на родину Александра Вертинского, кажется, осенью 1944 года. Он произвел на нас огромное и даже ошеломляющее впечатление как мастер и создатель жанра, абсолютно нам не известного и чуждого привычной оптимистической музыке, своей неповторимой пластикой, оригинальной стихотворной основой песен (вспомните: «Две ласточки, как гимназистки, провожают меня на концерт», «Поет и плачет океан», «С неба льется золотая лень» и т.д.), наконец, пезабываемыми мелодиями.

Зато хорошо помню все, что связано с событиями на фронте. Хотя каждодневные будни крепко привязывали к себе, хотя молодость с ее особыми радостями и стихийным оптимизмом брала свое, главным в моей жизни, тем, что владело вниманием и определяло настроение, были фронтовые сводки. Сейчас невозможно в полной мере передать, как угнетали эти довольно короткие сообщения, в которых обычно лишь появление новых «направлений» боев свидетельствовало о продолжающемся отступлении наших войск, о все новых оставленных городах, и как судорожно цеплялись мы надеждой за малейший признак успеха нашей армии, перехвата ею инициативы на полях сражений.

В июле—августе 1941 года советские войска отбили у немцев, впрочем ненадолго, небольшой город на Смоленщине — Ельню. Это получило громкое пропагандистское освещение. На десятках фотографий во всех видах фигурировал двухэтажный дом, по рассказу прилетевшего в Баку на день Рафика, один из немногих в городе и единственный уцелевший. Несколько дней мы пребывали в эйфории, жизнь казалась почти безоблачной.

На заводе по лицам работающих, особенно работниц, почти всегда можно было безошибочно угадать, какая сегодня сводка: хорошая или плохая. Это на целый день определяло общее настроение, большей частью оно было угрюмое. Но вопреки все новым плохим сводкам в конечную победу верили. Начиная же со сталинградского «котла» в наших цехах все чаще звучал смех, хотя работать стало тяжелее: уже сказывалось длительное напряжение.

В нашей семье оптимизм поддерживали и письма отца. Не знаю, в какой мере это выражало его подлинные мысли, но нас он энергично подбадривал, писал, в согласии с официальной пропагандой,

что поражение немцев неминуемо, а наши неудачи временны, проходящи.

И все же «пораженческий» миг — если не период — у меня был. Это случилось третьего июля 1942 года, в день моего рождения. Предстояло работать в вечернюю смену, с двух часов. Я вышел на балкон как раз в тот момент, когда начались 12-часовые последние известия. И из рупора (они были установлены почти на всех перекрестках) прозвучало примерно следующее: «Сегодня, после 11-месячной героической обороны, наши войска оставили город Севастополь». А Севастополь тогда воспринимался как символ нашей стойкости, нашей непобедимости, и у меня как-то сразу, вдруг, горестно сжалось сердце. И впервые застучала, зазвенела мысль: «Мы, наверное, проиграем войну». Уже не помню, сколько дней длилось это «мгновение» безысходности, но оно было.

Баку был тыловым городом. Исключением стали летние и первые осенние месяцы 1942 года, когда произошла катастрофа в Крыму, а на Северном Кавказе немцы подошли к Дзауджикау (нынешний Владикавказ), заняли Кисловодск и Минеральные Воды. На этот же период пришлось какие-то волнения в Дагестане, в ликвидации и «успокоении» (а вернее, в подавлении) которых руководящую роль сыграл глава Азербайджана Багиров. Тогда начало ощущаться приближение фронта, стали появляться немецкие самолеты-разведчики, говорили о германских парашютистах и диверсионных группах, ссылаясь при этом на внезапные переброски истребительных отрядов (они формировались из людей, не призванных в армию по разным, главным образом медицинским, причинам). Баку в эти месяцы пережил еще одну волну мобилизации: в нефтяной промышленности и на заводах было много мужчин, имевших «броню».

Но и в эти месяцы в городе сохранялось внешнее спокойствие, хотя, конечно, людей снедала тревога. Преступность, наверное, существовала, но заметной не была и нашей жизни не затрагивала. Правда, у вокзалов, на базарах появились пьяные, главным образом инвалиды-фронтовики. Было голодно, люди недоедали, но карточки отоваривались аккуратно — полностью и в срок, и это психологически серьезно поддерживало людей. Нищих не было, лишь в последние годы войны в электричках появились «ноющие» инвалиды. Поговаривали, правда, о голоде в горных районах республики.

Характерная черта военных лет — нарастающее звучание национальной азербайджанской темы. Разумеется, продолжалось насыщение азербайджанскими кадрами руководящих должностей в партийных и государственных институтах, в экономических, образовательных и культурных структурах. Несмотря на естественное преобладание военной тематики, не снижался накал идеологических усилий и изысков, призванных утвердить и возвеличить национальную идентичность азербайджанцев, прославлявших их национальные качества, их исто-

рию, культуру, искусство. Но вместе с тем в этом не новом потоке появилась и новая тема — военный героизм азербайджанцев (тем более, что, кажется, на втором году войны были созданы из населения Закавказья национальные дивизии — азербайджанская, армянская, грузинская).

Вспоминается, какой шум был поднят вокруг имени первого азербайджанца, удостоенного звания Героя Советского Союза, Исрафила Мамедова. По отзывам знающих людей, он в полной мере заслужил эту награду, весьма достойно воевал, как и множество других азербайджанцев. Но кампания его возвеличения, которая продолжалась не один месяц, вышла за пределы всякого приличия. В то же время русские фронтовики — я уже не говорю об армянах, о карабахском селе Чардахлу, давшем рекордное число офицеров и Героев (в их числе были маршал и генералы), — особым вниманием не пользовались.

То был образчик политической и идеологической кампании, по своей сущности типичной для многих последующих идеологических «походов» и в целом для практиковавшейся с некоторых пор в республиках национальной политики. В этой кампании сливались, внешне не противореча друг другу, на самом же деле весьма конфликтные, более того, несовместимые мотивы: общегосударственный, то есть общесоюзный, и националистический. Воспевание героизма азербайджанцев отвечало общегосударственным интересам, поднимая патриотическое отношение к войне и воинскому долгу. Вместе с тем назойливое выпячивание роли и особых качеств именно азербайджанцев воспринималось как дискриминация в отношении других, приобретало националистическое звучание и поощряло националистические настроения. Односторонний, необъективный подход, естественно, вызывал негодование и даже внутренний протест у неазербайджанской части населения. Кстати, если не ошибаюсь, именно с Исрафилом Мамедовым произошла курьезно-драматическая история. По дороге в Тегеран Сталин провел несколько часов на бакинском вокзале, беседовал с Багировым, прохаживаясь по перрону. По долгу службы военный комендант города, а им в то время был Мамедов, тоже находился на вокзале. То ли перевозбуждившись от близости Сталина, то ли просто стремясь попасться ему на глаза, он несколько раз прошмыгнул по перрону, чем привлек обеспокоенное внимание сталинской охраны. Ее начальник, невзирая на данные ему разъяснения, приказал запереть коменданта до отхода поезда в одном из вокзальных помещений. Это, конечно, не удалось сохранить в тайне, по городу поползли слухи, и над нашим героем немало и не без удовольствия потешались.

Глубокой осенью 1941 года я и мой заводской товарищ стали посещать вечернее отделение Азербайджанского медицинского института. Такую смелость можно было себе позволить лишь в ранней

молодости. К медицине у меня не было ни малейшей склонности. Что же двигало мною? Прежде всего сказались настойчивые уговоры мамы, родственников. Они, в частности, упирали — думаю, не вполне искренне — на то, что поступление в институт поможет мне выйти из не очень почетного тылового состояния: студентов второго курса мединститута уже пару раз направляли фельдшерами в армию. Родным, конечно, хотелось, чтобы я не застрял на заводе, не упустил открывшуюся возможность овладеть «нужной» и «почетной» профессией. Не скажу, чтобы их аргументы убедили меня, но мне самому хотелось вырваться из круга заводских дел, и, когда отец в письме поддержал возникшую идею, я решился.

Учились мы, разумеется, кое-как. Занятия начинались в 19–19.30. На заводе нас стремились ставить преимущественно в первую смену. Но и при этом мы, если и приходили на занятия, то с солидным опозданием. Хотя старались использовать для подготовки чуть ли не каждую свободную минуту, их было не так много, да и слишком мы уставали на работе. Хорошо помню, как, едучи на завод в переполненной электричке, стиснутый со всех сторон другими работягами, я, держа над головой учебник, зубрил латинские глаголы. И все пустоты в знаниях пришлось восполнять на последнем, пятом курсе (окончание института пришлось на февраль 1946 г.), когда завод уже сворачивал свою работу в Баку и я мог сосредоточиться на учебе.

Азербайджанский медицинский институт входил, пожалуй, в десятку лучших медресе страны. В нем преподавали высококлассные специалисты: терапевт профессор Тарноградский, хирурги — профессора Топчибашев и Зульфугар Мамедов, анатом — профессор А.Я. Беленькая, гинеколог — профессор Ильин (полуслепой, передвигавшийся с помощью ассистентки, что не мешало ему великолепно читать лекции и проводить практические занятия)... Думаю, благодаря встрече с ними у меня сложилось и в послевоенные годы укрепилось представление о разнице между старым и новым поколениями врачей. Первые, как правило, были добрее и внимательнее к больным, испытывали к ним и человеческое сочувствие, опирались не только на анализы, на технические возможности, но и на свою богатую врачебную интуицию, были, наконец, преданы особой корпоративной этике: например, никогда, даже на частном приеме, не брали денег у медицинских работников, хотя без колебаний отправлялись на их вызовы. Теперь старое поколение вымерло, и эта разница, которая, к сожалению, продолжает существовать, уже потеряла «генерационный» характер и имеет индивидуальную основу.

Медицинский институт так и не стал моей альма-матер, и институтские годы особых воспоминаний о себе не оставили. Это было слишком неглавным, время и мысли были заняты в первую очередь другим. Основное впечатление — перманентный стресс от спешки, от

боязни отстать от других, от постоянной неизбежности опоздания! Но в целом учеба шла довольно гладко.

Среди студентов, естественно, преобладали женщины. Из молодых людей помню лишь старосту курса Топчибашева, способного парня, но широко пользовавшегося привилегиями профессорского сына, а также двух моих коллег и товарищей по группе: Джангира Кадырова и Моисея Закуту. Первый вскоре заслужил более чем сдержанное, если не брезгливое, отношение группы, особенно ее женской части, своей торопливой готовностью участвовать в обследованиях во время практических занятий в акушерско-гинекологической клинике. Второй же — красивый и атлетически сложенный парень, гимнаст-медалист — был вне конкуренции по части популярности среди студенток. Девушки делали за него домашние задания, готовили анатомические препараты, подсказывали на занятиях. Впрочем, ему это не всегда помогало, ибо он отличался большим «сопротивлением материала» — довольно стойкой невосприимчивостью к знаниям. Профессор-хирург как-то изрек во время занятий, обращаясь к нему: «Ваше будущее для меня ясно: вы будете лучшим гимнастом среди врачей и лучшим врачом среди гимнастов».

30 лет спустя я случайно встретил доктора Моисея Закуту на одной из московских улиц. Вспомнили институт, посмеялись, взгрустнули и расстались, условившись созвониться. Не созвонились...

4. ВРАЧЕБНАЯ ИНТЕРМЕДИЯ

В Баку известие об окончании войны пришло поздно ночью, часа в 4. Тем не менее распахнулись окна и зажегся свет практически во всех квартирах. Еще несколько минут назад спящий, казалось, мертвый город не только мгновенно ожил, но словно бы погрузился в лихорадочную радость, чуть ли не в экстаз. Тысячи, десятки тысяч людей высыпали на улицу. Знакомые и незнакомые обнимались и целовались, пели и, разумеется, распивали все, что попадалось под руку. Наверное, это был момент высшего, неповторимого единения людей, в котором как бы растворились национальные различия, социальные и культурные барьеры, разность темпераментов. Потрясающее, удивительное событие, действие — не знаю, как его точнее назвать. Ничего более волнующего и необычайного я не видел и не испытал.

Почудилось, будто все стали искренними друзьями, будто по мановению волшебной палочки родилась общность людей, думающих и чувствующих в унисон. Конечно, то была иллюзия, которая развеялась едва ли не на следующий день. Но такой миг действительно был, и это вселяет надежду: значит, люди на такое способны.

Примерно через полторы недели я, воспользовавшись помощью близкого друга нашей семьи, вырвался в Москву в надежде увидеть Парад Победы. Из этого, разумеется, ничего не вышло. Тем не менее 24 июня, влекомый тягой, которую не мог побороть, фланировал недалеко от Красной площади и по окончании парада стал свидетелем, как у Манежа толпа восторженно приветствовала маршала Рокоссовского. Стал накрапывать дождь, роняя капли на голубой мундир маршала, но тщетными были усилия адъютантов, которые спешили вывести его к стоянке машин. Кольцо людей долго не размыкалось, и на их лицах мне виделся ответ той же особой радости, что и у бакинцев в памятную майскую ночь.

Провел я в Москве около недели. Как мне показалось, столица жила в состоянии какого-то лихорадочного возбуждения. Радость победы, вышлеснувшееся половодье чувств, сковывавшихся войной,

радужные ожидания от близкого мира, масса увешанных орденами боевых офицеров, находившихся в Москве проездом на восток, бурно проводивших время и соривших деньгами, битком набитые кино-театры, театры¹, концертные залы, Третьяковка, стадионы, накопец, рестораны, где обильные возлияния сопровождалась стычками, иной раз, говорили, с применением оружия. Свидетелем одной из них в поздний вечерний час оказался я сам в ресторане «Астория», куда забрел, чтобы составить впечатление и об этом. Жил же я на картофельной диете (две трапезы в день, рано утром и поздно ночью) у приютившей меня приятельницы нашей семьи, скромного поликлинического врача Тамары Аркадьевны Маркосовой, в доме на Каляевской улице, недалеко от площади Маяковского.

Я был на ногах с утра до ночи, стремясь увидеть все. Вечера проводил в театрах, посмотрел в МХАТе «На дне» с Качаловым, «Анну Каренину» с Тарасовой, «Школу злословия» с Андровской и Яншиным, в Камерном — «Адриенну Лекуврер» с Алисой Коонен, в Малом — «На всякого мудреца довольно простоты» с Царским, в Большом — «Жизель» с Улановой. То был настоящий праздник жизни, праздник души и ума. И хотя это были разные спектакли, рождавшие разные мысли и ассоциации, хотя этот каскад и калейдоскоп впечатлений первоначально создавали в голове какую-то мешанину, которой еще предстояло «организоваться», тот театральный набег имел для меня огромное значение. Я получил возможность уже в ранней молодости, что чрезвычайно важно, встретиться с высокими, эталонными образцами подлинного искусства, и это помогло мне в выработке художественных критериев, эстетических и этических норм («планки»), которыми поверяешь все то, что предлагается тебе как искусство.

Не обошлось, правда, и без курьезов. На представлении «Жизели» — это было накануне отъезда — сказался весь накопленный в Москве чугунный груз усталости. Меня стал одолевать сон. И как ни боролся с ним, как ни пощипывал себя, как ни тер глаза, они неумолимо закрывались, голова то и дело падала на грудь. Положение — хуже некуда. «Жизель» с прославленной, непревзойденной Улановой, мы сидим в директорской ложе, рядом со мною Ната, чья небанальная красота привлекает всеобщее внимание, а я только что не храплю. Окончательно пробудился лишь в конце первого акта под грохот аплодисментов и рев зала: «Уланова! Уланова! Bravo, Уланова!»

¹ Получая контрамарку в кассе Большого театра — туда, как и в другие театры, я проникал по протекции бакинской подруги Наты Мелик-Пашаевой, племянницы знаменитого дирижера, — слышал, как администратор, замскиваяще извиняясь, отказывал в билете летчику, Герою Советского Союза: «Вы уже восемнадцатый сегодня, и я, честное слово, клянусь — роздал всю, всю броню».

Итак, война закончилась. Стала постепенно налаживаться иная, мирная жизнь, возвращались люди, надевшие на несколько лет военную форму. Вернулись отец и двоюродная сестра Сусанна, три года воевавшая в разведоте. Но не вернулись два моих двоюродных брата Мартин и Людвиг — танкист и пехотинец.

Отца взяли на работу в Совет министров Азербайджана — его председателем был папин сослуживец 20-х годов — в переселенческий отдел, который занимался репатриацией иностранных граждан, нашедших убежище в Советском Союзе в годы войны. Помню только, что он дважды ездил в Польшу с бывшими польскими гражданами, почти исключительно евреями, решившими (говорили, не без колебаний) вернуться на родину. Впрочем, папу в Совмине держали недолго и вскоре «сослали» в Литфонд Союза писателей Азербайджана директором (хотя к писателям и писательству, как и к хозяйственной деятельности, он никогда и нигде отношения не имел). Там он проработал до выхода на пенсию в 1966 году, когда переехал ко мне в Москву, где жил до своей кончины. С писателями он ладил. Они, как говорили мне Самед Вургун, крупнейший азербайджанский поэт, и Мирза Ибрагимов, не менее известный прозаик и видный общественный деятель, ценили отца за честность, отзывчивость, прямоту. Мать же еще несколько лет продолжала работать в своей «конторе».

Московское житье не изменило характера и температуры отношений в нашей семье, глубины взаимной привязанности, хотя годы, конечно, сказывались на поведении моих стариков. Да и сам я не без вины, которую сейчас особенно хорошо сознаю. Родители были обеспечены и заботой и уходом, но я не всегда уделял им то внимание, в котором они все более нуждались. И это при том, что моя любовь к ним становилась острее, жалостливее, какой-то более щемящей.

С наступлением мирных дней я сосредоточился на учебе. Мелькавшие с предшествующей осени мысли бросить институт (ведь первоначальный замысел не оправдался) теперь отступили перед прагматическими расчетами и настояниями родных: тянуть осталось немного.

С дипломом врача, окончившего лечебно-профилактический факультет, я в феврале 1946 года по распределению пришел на работу в Психиатрическую клиническую больницу города Баку. Почти пять проведенных там лет стали очень важным и назидательным этапом в моей жизни. Я получил первый опыт работы в среде, считавшей себя интеллигентской, впервые познакомился с ее достоинствами и недостатками, требованиями и претензиями, ее интригами, нездоровой конкуренцией и подсиживанием. Впервые, уже вполне взрослым, попробовал себя на общественном поприще (в роли секретаря партийной организации больницы) и впервые столкнулся с нашей национальной политикой в ее практическом, республиканском вопло-

щении. Впервые встретился с политической провокацией, на практике познакомился с тем, как функционирует наша репрессивная система, как она может быть использована в личных, корыстных целях и как легко, без особых резонансов человек может попасть в жернова этой машины.

Психиатрическая больница, тем более судебнопсихиатрическая экспертиза (а я занимался в основном ею), приоткрывает некоторые потенциальные свойства человеческой природы, позволяет проникнуть в ее укромные уголки. Пусть часто в зеркале искаженной психики, она тем не менее показывает волевые и мобилизационные возможности человека, постоянно дремлющие агрессивные и депрессивные начала, тонкую грань между симуляцией и «бегством» в болезнь, наконец, сексуальные импульсы. Палитра здесь весьма многоцветная.

Психопаты — люди с патологически измененным характером, легковозбудимые, поведение которых нелегко или невозможно предугадать. Они же, но уголовники, истеричные, демонстрирующие иной раз необычайную физическую выносливость, готовность к самоповреждению, нередко равнодушные не только к чужой, но и к собственной крови, охотно имитирующие самоубийство, а то и прибегающие к нему всерьез. Маниакальные больные, удивляющие своей выносливостью и энергией, возбужденные и не смыкающие глаз по многу дней, говорящие безостановочно, «выдавая» при этом нередко яркую речь. Душевнобольные женщины, которые нередко — вопреки расхожим и культивируемым представлениям о «трепетной лани», преследуемой настырными самцами-мужчинами, — проявляют сексуальную агрессивность и целиком поглощены этой стороной существования.

За пять лет работы через мои руки прошли многие десятки пациентов, и среди них было немало нестандартных, любопытных случаев. Хотя мне было суждено сменить профессию, я никогда не считал эти годы потерянными: они как бы ввели меня в потаенный мир человеческой психики и психологии — болезненной и поразительной.

В больнице в ту пору работала группа высококвалифицированных специалистов: Фуад Ахмедович Ибрагимбеков (главврач), Лидия Николаевна Вишневецкая и Елена Вениаминовна Гиндина (заведующие отделениями), ординатор Люся Лившиц, старшая сестра Наталия Ивановна и другие. Не забуду и Лидию Павловну Никифорову, главного врача находившегося в этом же здании нейропсихиатрического диспансера, где все мы прирабатывали. Дама явно из «бывших», отличавшаяся особой опрятностью и ухоженностью, с остатками аристократически-салонных манер, с любимым выражением на все случаи жизни *que-faire-faire-teque* (что-то вроде «ничего не поделаешь»), изобретательница диагноза *nihilitis acuta* (острое «ничего»), который мы ставили вслух после обследования симулянтов, она многому научила нас, молодых врачей.

Ф. Ибрагимбеков дважды кандидат наук, медицинских и педагогических, интеллигентный и мягкий человек, склонный не только к научным изысканиям, но и ко всяческим инициативам, что в конечном счете его и погубило. Яркой и сильной, запоминающейся личностью была Лидия Николаевна. Интересная женщина, отнюдь не забывавшая о своих «прелестях», она обладала мужским умом и характером, была, я бы сказал, организаторским нервом больницы.

Работа в психиатрической клинике, где есть «беспокойное» отделение (там приходится иной раз и «пеленать» больных), требует не только определенной личностной устойчивости, но и мужества. Лидия Николаевна обладала этими качествами в полной мере. Я однажды видел, как она бесстрашно пошла навстречу психопату-уголовнику (а такие типы часто не знают, докуда ими разыгрывается театр, где он кончается и начинается дело всерьез), который, держа в руках выбитый из окна острый кусок стекла, угрожающе восклицал: «А ну, подходи!» И, ошарашенный ее смелостью и внешним спокойствием, он почти тут же угомонился. В другом случае это произошло после того, как «герой» с силой резанул себя по груди и животу.

Простора большого в больнице не было, не хватало некоторых лекарств, случались трудности и с питанием. Но в основных препаратах недостатка не ощущалось, и в целом удавалось прорехи закрывать, более или менее нормально лечить и, разумеется, кормить.

Больница служила и базой для кафедры психиатрии медицинского института. Здесь читали студентам лекции, проводились практические занятия. Профессор, доценты и ассистенты кафедры работали на врачебных должностях. И это завязало узел развернувшейся драмы, в которой нашли выражение не только интриги и низость отдельных ее персонажей, но и некоторые политические черты времени.

Заведовал кафедрой профессор Озерецковский — личность во многих отношениях неприятная и, как потом выяснилось, вполне мерзопакостная. Воплощенная любезность, человек, стремящийся в темпе «обаять» и очаровать всех и вся, добряк, публично кормивший сахаром больничную суку, приговаривая с умильной улыбкой: «Мой дорогой, мой дорогой», он был глубоко фальшив. За всем этим скрывалась холодная, расчетливая душа. «Иезуит лицемерный» так я называл его мысленно. Мне сложно объективно судить, каким профессионалом он был, но красноречив — отменным, и слушать его временами становилось интересно. В больнице его побаивались.

Не очень теплые отношения были у профессора с Ибрагимбековым, который одновременно служил доцентом кафедры. В основе, несомненно, была боязнь, что Ибрагимбеков станет претендовать на должность заведующего кафедрой. Подобная перспектива выглядела вполне натуральной на фоне энергично проводившейся политики насаждения повсюду азербайджанских кадров.

Озерецковский решил это предотвратить, причем своеобразным, но, в некоторых отношениях типичным для эпохи способом: обвинить конкурента в националистических порывах. Но в Азербайджане для этого необходимо было или быть азербайджанцем, или подыскать азербайджанца, чтобы противопоставить его соплеменнику, иначе успеха не добиться. Озерецковский взял на кафедру врача Абаскулиева, молодого человека лет 30, только что вернувшегося из армии (как выяснилось позже, с сомнительным послужным списком), специалиста никакого и человека ленивого, но личность примерно того же пошиба, что и сам профессор. В расчете на доцентское место, занимаемое Ибрагимбековым, он стал верным и на время послушным союзником профессора.

С помощью Абаскулиева и его родственников нашли студентов, согласившихся засвидетельствовать, что Ибрагимбеков на лекциях восхвалял постановку психиатрии в независимом (мусаватистском) Азербайджане и популяризировал имена медиков, примкнувших к мусаватистам. В ход была пущена даже картина, написанная по заказу Ибрагимбекова и изображавшая эпизод из пьесы Мамедкулизаде, где французский врач Лалбюс (т.е. «немой»), не зная азербайджанского языка (намек на русских психиатров!), пытается лечить больных. Говорили, в кабинет Ибрагимбекова, где висела картина, под предлогом обследования какого-то больного, приходил человек из прокуратуры, чтобы определить, годится ли она для обвинения.

Как бы то ни было, Ибрагимбеков после обсуждения на бюро ЦК Компартии Азербайджана, где с обвинительной речью выступил Абаскулиев, к тому времени секретарь парткома мединститута, тут же был арестован и потом приговорен к пяти годам лишения свободы.

Я в эти дни был в Сочи, в отпуске. Вернувшись, позвонил домой Ибрагимбекову, чтобы узнать, что нового в больнице. К телефону подошла его жена и в ответ на мое приветствие после некоторой паузы сказала: «Карен Нерсесович, Фуада Ахмедовича нет, а вы лучше сюда больше не звоните». Наутро, придя в больницу, я не только узнал о разыгравшихся событиях, но и сразу почувствовал, как изменилась обстановка: люди затаились, притихли, замкнулись, часть врачей стала избегать профессора. Как мне рассказали, Озерецковский сразу же после ареста Ибрагимбекова принялся бесцеремонно хозяйничать в больнице, пространно рассуждая о «пороках», которые здесь насаждал бывший главврач, угрожать, ссылаясь на его судьбу, другим, кто «из этого не сделал выводов».

В этом почти сразу убедился и я. На второй день был вызван к профессору. После долгих сентенций, нафаршированных политической демагогией и любезностями, он заявил, что мой долг — бороться с «ибрагимбековским охвостом» (лексика 1937 г.) в больнице. Я пытался отговориться ссылками на то, что ему это кажется и что нерабочих отношений ни у кого с бывшим главврачом не было. Но

Озерецковский настаивал, а затем, положив руку на телефон, сказал, что так же, как он, думают в республиканской прокуратуре и не нужно заставлять его обращаться туда вновь (!). Наш разговор, тяжелый и тревожный для меня, ни к чему не привел. Правда, признаюсь, известная моя неуступчивость была связана и с тем, что заместитель прокурора республики Сильверстов являлся добрым знакомым моего отца и это, казалось, обеспечивало определенную страховку.

Однако происшедшее, а также и обьстиненный прессинг Озерецковского и Абаскулиева не могли не сказаться — и пагубно — на жизни больницы. Наступили дни, окрашенные тревогой и беспокойством.

Пришел новый главврач, разумеется азербайджанец. Невыразительная и незапомнившаяся личность, малоквалифицированный человек, больше заинтересованный в хозяйственных делах, он не стал и не мог стать достойной заменой своему предшественнику. Вскоре нас покинула Лидия Николаевна — перебралась в Ленинград. Ей было невыносимо оставаться рядом с профессором, ощущать и терпеть повседневное его «руководство». Лидия Николаевна раздражала его всем — и своим профессионализмом, и своей смелостью (а он был, как мы не раз убеждались при общении с больными, и трусоват), и своей откровенностью. Конечно, со временем напряжение стало спадать, но общее положение в больнице, нравственная обстановка, наконец, вся атмосфера, уровень лечения и обслуживания больных непоправимо, хотя и медленно, ухудшались.

История с Ибрагимбековым отнюдь не была исключительной. При всех своих частных обстоятельствах, вызванных особенностями тех или иных личностей, интригами и низостью среды, при очевидной республиканской специфике она прежде всего отражала общую обстановку в Союзе, служила одним из бесчисленных ее симптомов.

В стране нагнеталось идеологическое и политическое напряжение. То было время вновь развернутой кампании идеологической «ассенизации» и «охоты на ведьм» — травли «космополитов», изничтожения морганизма-вейсманизма, пропагандистского превращения России в «родину слонов» и т.д. и т.п. Тот же Озерецковский на лекциях громил «реакционную» теорию наследственности и возвеличивал до карикатурных высот великое павловское учение о рефлексах.

Докатилась до Азербайджана и волна массовых выселений. Сегодня широко известно то, что произошло в годы войны с крымскими татарами, чеченцами, ингушами, балкарцами и т.д. Но мало кто знает, что выселяли и других: в Баку, например, в послевоенные годы — немногих оставшихся лиц иранского происхождения, черкесов, греков и т.д. Во внимание не принимались ни общественное положение, ни политический статус высылаемых. В их число попал, например, многолетний директор Бакхлебторга — грек, член партии с дооктябрьским стажем. И что особенно неприятно вспоминать, так

это отсутствие реакции у населения: будто происходившее было в порядке вещей, впрочем, как и в дни геноцида в Чечне. Более того, любили и посмаковать анекдоты на эту тему. Вот один из них. Секретарь обкома партии собирает на митинг выселяемую нацию и агитирует, разъясняя решение о выселении: «Партия и правительство оказали нам огромное доверие, но мы его не оправдали. Поэтому нужно сделать это и оправдать доверие на новом месте... Не волнуйтесь, я еду с вами, меня тоже выселяют».

Вне всей этой ситуации, конечно, случай с Ибрагимбековым нельзя ни понять, ни объяснить. Это не означает, разумеется, что не имела важного значения местная «патология», прежде всего в национальном вопросе. Хотя истоки сталинской национальной политики восходят к 30-м годам, выпячивание национального момента, его давление и манифестация в общественных отношениях, несомненно, куда серьезнее дали о себе знать после войны, в конце 40 — начале 50-х годов. К этому времени национальная, а вернее, националистическая политика сталинского покроя получила достаточный размах и охватила практически все сферы жизни. Причем разница в национальной атмосфере стала заметна как во времени, так и в социальном разрезе.

Естественно, повышенное внимание к отставшему «коренному» населению, закономерный процесс стимулирования его прогресса превращались в безоговорочную, всестороннюю и тотальную дискриминацию остальных жителей республики во всех областях — кадровой, культурной, образовательной, научной. По воле и указке верхов руководящие, а затем и вообще «начальственные» должности постепенно становятся едва ли не монополией азербайджанцев. Азербайджанские композиторы, литераторы, артисты и деятели науки оккупируют почти все культурное пространство, азербайджанцам отдается предпочтение при поступлении в вузы (также и в Москве с помощью специальных квот) и в целом в системе образования. То же происходит в жилищных делах, когда речь идет, например, о предоставлении квартир в центре города и пересздах в Баку (здесь надо было насыщать его азербайджанцами).

Во имя доказательства древности и особых достоинств азербайджанцев переписывается и дописывается история, хотя до 30-х годов в республике еще не было в ходу само название «азербайджанец», а общепринятым, официальным, являлся термин «тюрок». Не лучше обходятся и с недавней, в том числе революционной, летописью. Руководители Бакинской коммуны С. Шаумян, Г. Джанаридзе задвигаются в тень, чтобы вывести на передний план М. Азизбекова, и т.д. и т.п.

Причем к этому времени подобная ситуация приобрела как бы легитимный характер и воспринималась неазербайджанцами как объективная данность. Более того, она создавала новую психологию

ческую атмосферу, особенно в номенклатурных структурах, когда азербайджанцев фактически поощряли поглядывать на остальных свысока. А «остальные» четко ощущали свое приниженное положение и отсутствие перспектив, что у многих, особенно молодых, порождало желание покинуть республику². Я впервые явственно ощутил все это именно в больнице.

Вместе с тем такая националистическая политика проводилась под присмотром Москвы и по этой причине сопровождалась барабанным босом о «нерушимой дружбе народов» и «старшем брате — великом русском народе», то есть подыгрыванием великодержавному русскому национализму (но под «кожей» этих словословий скрывался крепнущий антирусский настрой). В этом очевидном противоречии был заключен слабый пункт сталинской национальной политики, ибо эти два вектора тянули в разные стороны. И данное противоречие, чтобы оно не взорвало всю политику, можно было сдерживать лишь до определенного предела. А это требовало время от времени всплесков «борьбы», акций, большей частью показных, против «националистов» — воображаемых или тех, кто, торопясь, выходил за рамки местной официальной политики или попросту совершал поступки, негодные властям. Разумеется, все это открывало достаточно простора для личных интриг и комбинаций. Понятно, что такая ситуация способствовала появлению случаев, подобных «казусу» Озерецковский (Абаскулиев) — Ибрагимбеков.

Ибрагимбеков вернулся домой в 1953 году, но уже несколько потухшим человеком, его семья за эти годы серьезно пострадала. Не без связи с этим возвращением Озерецковский был вынужден покинуть Баку, переехал в Куйбышев. Дальнейшая его судьба мне не известна. Абаскулиев же, по крайней мере до 70-х годов, когда я имел последнюю весточку о нем, не пострадал, дослужился до профессора.

То, что произошло и происходило в больнице, лишь укрепило во мне подсудно зревшее стремление оставить медицину. По сути дела, именно это двигало мной, когда я уклонился от очень лестного предложения о московской аспирантуре. Летом 1948 года, когда я был в Москве на II Всесоюзном съезде психиатров и невропатологов, столичный профессор Т. Ремизова (она инспектировала нашу больницу) представила меня академику В. Гиляровскому, директору Института психиатрии Академии медицинских наук, одному из двух столпов нашей психиатрии того времени. Я ему, видимо, приглянулся и был приглашен в аспирантуру при институте. В июле пришла телеграмма с вызовом на вступительные экзамены. Используя, боль-

² Только за период между переписями населения 1970 и 1979 гг. при росте азербайджанского населения на 25 процентов русское сократилось на 7, а армянское — примерно на 2 процента.

ше для самооправдания, некоторые семейные обстоятельства, я на экзамены не поехал. Не подвигнула меня и неожиданная телеграмма в 20-х числах августа о моем зачислении аспирантом института, то есть без экзаменов (вот что значит протекция академика!).

Зато осенью того же года я перешел Рубикон — поступил экстерном на исторический факультет Азербайджанского университета. Начались тяжелейшие (физически) год и семь месяцев моей жизни: столько времени ушло на экзамены, включая государственные, за университетский курс. Конечно, такой «авантюризм» и такое напряжение возможны лишь на начальном отрезке жизни, «когда еще кровь кипит и сил избыток». В среднем я сдавал по экзамену каждую вторую субботу (всего их оказалось 42): экономил на сне, не ходил в отпуск, почти не встречался с друзьями, вел жизнь схимника — зубрил, зубрил и зубрил... И работал.

С преподавателями я знакомился в основном лишь на экзаменах. Но о некоторых память жива: блестящий античник доцент Эриванлы, историк КПСС профессор Мосесов, который сбавил мне оценку за спор с ним на экзамене, и философ Исмаилов, человек шумный, по добрый и отзывчивый, со своеобразным юмором. На вопрос о самочувствии имел обыкновение отвечать двояко: «Прекрасное — ведь социализм победно шествует по планете, одна шестая мира уже живет под его знаменем. Чего мне не радоваться?» Или же: «Скверное. Как можно радоваться, когда пять шестых мира остаются в капиталистическом ярме и сотни миллионов пролетариев угнетены?»

К марту 1950 года я уже сдал все экзамены. И когда пришел в деканат, чтобы получить разрешение на государственные экзамены, декан, профессор Мамедов, маленький, жирный (именно жирный, а не полный) человек с дефектно коротенькими ручками карлика, даже стал в повышенных тонах выражать сомнение в чистом происхождении моих отличных оценок. Но направление, спасибо ему, все же дал. И в конце марта или начале апреля 1950 года я стал обладателем диплома историка, окончившего университет. Я был на пороге новой, совершенно иной полосы своей жизни — вступления на путь, который станет моим окончательным жизненным выбором и приведет в мир политики.

Жалел ли я впоследствии о сделанном выборе? Бывало — из-за трудностей и тупиков на работе, тупости, грязи, а иногда и явной опасности для общества политики и политиков. Тогда с горьким сожалением думал: а ведь врач при любом режиме врач, приносящий пользу людям. Но, как правило, такое длилось недолго. К тому же многолетний опыт убедил, что работа, отвечающая склонностям и интересам человека, — необходимое условие ее продуктивности, душевного равновесия, счастья, наконец.

5. ПЕРВОЕ ВХОЖДЕНИЕ В АППАРАТ

В июне 1950 года мне предложили стать штатным лектором Бакинского горкома КПСС. Я охотно согласился. Круто изменив свою жизнь и отвергнув более или менее обеспеченную медико-академическую карьеру, вступил в мир, который плохо себе представлял. Психологически перемена была непростой — я окунался в совсем иную обстановку, вроде бы перечеркивал несколько лет жизни и напряженных усилий. Наверное поэтому, как бы «наркотизируя» себя, порвал с больницей не сразу: еще шесть-восемь месяцев ходил туда на ночные дежурства.

Тектоническому сдвигу в моей судьбе помог, конечно, случай. Но сам он не был случаен. Я готовился к нему стихийно и сознательно. Отказ от медицинской аспирантуры в столице, добровольное заточение в экстернатуру исторического факультета университета, попытка поступить в Высшую дипломатическую школу в 1949 году (находясь весной этого года в Москве, я добился допуска к приемным экзаменам и сдал их, но, не принадлежа к коренной национальности, не получил рекомендацию от ЦК Компартии республики), наконец, лекционная деятельность по международной тематике — все это было частью «подготовительного» процесса.

За год до того райком партии стал поручать мне чтение лекций по международному положению. На одной из них в качестве рецензента появился передвигающийся с помощью костыля невысокий мужчина лет 30–35, с густой шевелюрой каштановых волос и едва заметным шрамом у левого виска. Резковатость черт лица скрашивалась его открытостью и сразу же «смывалась», как только появлялась улыбка — широкая и естественная.

С Владимиром Михайловичем Медведевым, моряком, инвалидом войны, штатным лектором горкома партии, мы впоследствии сблизились. Не слишком образованный, но умный и жадно читающий, Володя был хорошо вооружен здравым смыслом и жизненным опытом, которые помогали ему разбираться в жизни. Его отличали прямодушие, острое чувство справедливости, веселый нрав, доброже-

лательность к людям, неизменно подводившие его способность резать правду-матку и неумение хитрить.

Он имел свой кодекс поведения «мужика» и не прощал тех, кто из него выламывался. Были у него, не часто, и мрачные минуты, вызванные фронтовыми воспоминаниями или неприятием существовавших в республике порядков, которые он осуждал с искренне и всецело усвоенных официальных партийных позиций, и тогда он выпивал, впрочем, не слишком сильно. Для меня Владимир Михайлович, как еще несколько человек, с которыми счастливо свела жизнь, остался чистым образом русского человека, воплощением его великодушных черт.

Так вот, побывав на лекции, инспектор, видимо, вынес неплохое впечатление. Через некоторое время мне предложили выступать с лекциями по линии горкома, а спустя еще несколько месяцев с подачи Володи утвердили на работу лектором. Наверное, стоит описать, как это происходило. Ритуал утверждения много говорит о времени и нравах.

Начну с того, что со мной, кандидатом на должность в самом низу иерархической лестницы, побеседовал в присутствии еще одного секретаря ЦК сам Багиров (он, как тогда было принято, одновременно являлся первым секретарем столичного горкома). И это было не только проявлением его всесилы и типичного тогда тщательного отношения к подбору кадров, но и «атавизмом» прежних времен, когда отношения между партийными руководителями и работниками были более короткими.

Вызова на беседу мы — два секретаря горкома, я и еще один товарищ — ожидали в просторной приемной, где находились два десятка приглашенных. За десять минут до назначенного срока появился секретарь ЦК Ягубов. Но он не зашел (не осмелился?) в кабинет первого, а принялся расхаживать взад и вперед по приемной. Его пригласили к Багирову ровно в 15 часов. А еще через пять минут секретарь, обращаясь к нам, воскликнул: «Бакинский комитет, быстро!»

Багировский кабинет оказался не очень большим, куда меньше кабинетов 70-х и 80-х годов. Сам хозяин, в подтяжках, сидел в кресле, перебирая пальцами кучку зажатых в руке неочиненных карандашей. Затем встал и в течение большей части разговора ходил по кабинету (говорили, что он воспроизводит манеры Сталина). Заглянув в «объективку» (справку обо мне), Багиров сразу спросил: «Ты сын Нерсеса?» — и в благожелательном тоне осведомился, что он делает. Далее последовали вопросы о моем образовании, книжных вкусах, работе в больнице и обстановке там, о том, к чему проявляют интерес слушатели на лекциях и, наконец, что побуждает меня идти в партийный аппарат.

Встреча с «самим», безусловно, произвела большое впечатление и вызвала гордость тем, что папу знают. Поразило поведение присут-

ствующих партийных иерархов — безмолвное, почтительное, а у некоторых даже, показалось, боязливое. Напротив меня сидел секретарь горкома В.Я. Зевин, умный и порядочный человек, сын одного из 26 бакинских комиссаров. Его руки лежали на столике, и я не мог отвести глаз от подрагивавших пальцев с синеватыми ногтями. И неудивительно: каждое приглашение к хозяину кабинета, как я узнал позже, было испытанием, которое далеко не всегда оканчивалось благополучно. Вообще багировский гипноз был таков, что секретари горкома, я это видел несколько раз, разговаривая с ним по телефону, вставали. И, как правило, не осмеливались звонить ему сами.

Итак, 26 лет от роду я стал лектором Бакинского горкома партии, а спустя два года — руководителем лекторской группы. Коллектив оказался сильным профессионально и приятным по-человечески. Лекторы, в большинстве своем люди от 30 до 40 лет и моложе, специализировались по вопросам внутренней политики и истории КПСС (П. Валуев, Н. Сизов, Н. Макеев, А. Долгаева, Н. Эристова) и международного положения (В. Медведев и я). Впрочем, такого разделения труда придерживались далеко не всегда, и было принято подменять друг друга. Неписаной нормой было чтение восьми—десяти лекций в месяц. Почти все, кроме того, преподавали, занимались научной работой. Я тоже вскоре стал преподавать в Политехническом институте.

К нам примыкала группа внештатных лекторов, людей разнообразных специальностей. С некоторыми из них, международниками, например, с Захаром Владимировичем Гребельским, я дружу до сих пор.

Располагались мы в Доме политического просвещения, массивном здании постройки 30-х годов. Его директор Г. Мехтиев, наш неформальный начальник — официальное руководство «сидело» в горкоме, — был человеком уважаемым, ко всем относился равно, не делая различий по национальному признаку. Из работников Дома мне особенно запомнилась Л.Х. Джавадова, которая выделялась добротой и благожелательностью к людям, бескорыстием и искренним, абсолютным приятием возвышенных официальных установок. Ее глубоко огорчало, что им часто не следуют на практике. Здесь же размещался вечерний университет марксизма-ленинизма, его возглавлял Дж. Махмудов, но основную работу, как часто водится, делал его заместитель Б. Мангасарян.

Читать лекции о международном положении было не очень просто: материалы из Москвы почти не поступали, опирались главным образом на газетные и журнальные статьи. Правда, было и преимущество — большой интерес к этой теме практически повсюду. Особого контроля сверху за содержанием лекций не существовало, но лекторы были фактически под надзором слушателей, особенно в так

называемых интеллигентских аудиториях. Отсюда порой поступали доносы в ЦК и Бакинский горком. Как-то один из нас имел неосторожность упомянуть в лекции о трудностях в снабжении населения товарами, сославшись на слова тещи, которая вернулась из Саратова. Результатом явилось обсуждение на бюро ЦК, где товарищу указали, что нельзя делать выводы, «опираясь на болтовню тещи», и удостоили выговора.

В лекционный конвейер я включился довольно легко, но к обстановке в аппарате приспособлялся не без труда. Те порядки, с которыми я столкнулся впервые в больнице, здесь цвели пышным цветом. Тут полностью доминировали азербайджанцы, которые далеко не всегда отличались высокими деловыми качествами. В ЦК, например, на ответственном посту заведующего отделом был лишь один (очевидно, сохранявшийся для «галочки») армянин — несменяемый, как у нас говорили, «вечный» П. Арушанов, и один-двое русских.

Если в других республиках, согласно неписаному, но твердо соблюдавшемуся закону, вторым секретарем ЦК был русский, то в Азербайджане, по-видимому, из-за влияния Багирова, дело обстояло иначе.

Даже в Бакинском комитете — партийном органе города с неазербайджанским большинством — преобладали представители «коренного населения». Азербайджанцами были председатель исполкома городского совета и большинство секретарей райкомов в Баку. И что особенно важно, такое положение уже утвердилось и воспринималось как признанная норма, как естественный порядок вещей. И если иные «некоренные» считали его несправедливым, то вслух об этом не говорили.

Другой чертой было прямо-таки преклонение перед Багировым. Конечно, свою роль тут играли и действительный престиж первого секретаря, и гипноз непогрешимости, который окружал в те годы «вождей» разного калибра, неосознанная приниженность людей, полурабский рефлекс послушания. Представление о Багирове как о главной движущей силе всего хорошего, что происходит в республике, о мудром, всемогущем, добром, заботливом (иначе говоря, как о Сталине в миниатюре) настойчиво и каждодневно внедрялось в сознание людей. На всех собраниях и заседаниях, в печати и по радио, отдав свое «великому вождю», затем, конечно поскромнее, воздавалась неумеренная хвала Багирову.

В неразрывной связи с этим была неуклонно внедрявшаяся ориентация на безропотное и безусловное выполнение указаний начальства. Наш «босс», заведующий Отделом пропаганды горкома Мамедов, отсекая малейшие иные поползновения, любил говорить: «Товарищ Багиров учит нас: "Опусти голову и работай"». И в этой фразе — «опусти голову» — была заключена целая философия. Потом, в

Москве, я убедился, что все эти прелести отнюдь не только республиканского производства, они лишь приобрели там особенно уродливый и гротескный характер. Пирамида «Сталиных» разных ранжиров в ту пору была частью системы.

Четыре года, проведенных на работе в горкоме, дали мне немало в том, что касается постижения аппаратной «кухни», овладения лекционной технологией, познания приемов политического манипулирования и особенно знакомства с настроениями так называемых простых людей. Я читал лекции, составлял документы и писал речи для начальства, но главные события, оставившие наибольший след в моей жизни, в душе и мировоззрении, происходили за рамками этих будней.

Если не ошибаюсь, осенью 1949 (или 1950) года в Баку появилась комиссия Наркомата Госконтроля СССР (его главой был близкий к Сталину Мехлис). Руководил ею заместитель наркома, старый большевик, известный «великому вождю», Емельянов. Скорее всего это явилось результатом кремлевских интриг — кто-то подсиживал Багирова. Комиссия принялась активно и целеустремленно искать злоупотребления высших должностных лиц республики. И, как рассказывали, накопила достаточно фактов, способных поставить нашего первого в затруднительное положение. Его, озабоченного, не раз видели входившим ранним утром в ЦК (обычно он приезжал на работу в двенадцать-час дня, тогда на сталинский лад работали до трех-четырех часов ночи), где он закрывался в своем кабинете с несколькими приближенными. Пошли разговоры о пошатнувшемся положении «хозяина», и кое-кто в верхах, держа нос по ветру, стал, очевидно, колебаться.

А Емельянов, который в Баку вел себя строго, решил, вручив копию итогового документа в республиканский ЦК, проветриться, съездить на пару дней в Кисловодск — за пределы Азербайджана, где будет, как он думал, вне досягаемости Багирова. Но столичный ревизор недооценил первого. Со времен дагестанских волнений в органах госбезопасности в этом регионе были расставлены люди Багирова. Говорили, что с их помощью и были состряпаны компрометирующие Емельянова фотографии. Они были отосланы Сталину, и комиссия вместе с ее выводами почил в бозе. А еще через пару недель Багиров громыхал на созванном республиканском партийном активе. Он разоблачал «недобросовестность» и «пристрастность» комиссии и ревизоров. Но поразило и врезалось в память другое: не обращаясь, казалось, ни к кому конкретно, он кричал в зал: «Тут некоторые решили, что Багиров закачался, и повели себя беспринципно. Ну что ж, они много лет сидели в президиумах, теперь больше сидеть не будут».

Кем же был Багиров? В моем представлении — это типичная фигура руководителя («вождя») сталинской эпохи, особенно поздней,

со всеми присущими ему чертами, окрашенными вдобавок местной и национальной «патологией». Если оставить за скобками этические категории и оценки, следует признать: речь идет о сильной, незаурядной и яркой личности, человеке с ясным умом, недюжинным организаторским талантом, с широким кругозором и неординарным политическим инстинктом, волевым и решительным. Сталин явно умел подбирать кадры, находить и по-своему «выращивать» нужных ему людей. Думаю, не случайно даже в брежневском руководстве самой выдающейся политической фигурой оставался сталинский хозяйственник А.Н. Косыгин, а он вряд ли особо выделялся в предшествующий период.

Разумеется, все эти качества соединялись с властолюбием, которому система позволила безмерно разрастись, безжалостностью и великой неразборчивостью в средствах при достижении цели, полным моральным релятивизмом. Неудивительно, что и в Азербайджане, по тогдашней моде, не обошлось без обнаружения антипартийной группы.

Еще одно свойство, очевидно, тоже характерное для того времени: плотный личный контроль Багирова над органами государственной безопасности и тесная связь с ними. Он настолько привык к помощи этой структуры, что частенько использовал ее даже в тех случаях, когда ему надо было срочно кого-либо отыскать.

Багиров отлично владел искусством демагогии и политического манипулирования людьми. Вот образчик того, как это делалось. В одном из районов республики были обнаружены запасы молибденовой руды. Москва требовала срочно их освоить, и встал вопрос о специалистах. Багиров (память у него была исключительно ценная, «слоновья») вспомнил о Якове Шике — химике и специалисте по цветным металлам, четверть века назад работавшем под его началом в ЧК. Испуганный Яша, как его называли в кругу друзей, занятый на какой-то небольшой должности в Министерстве местной промышленности, был доставлен вместе с министром в багировскую приемную. И, не веря своим глазам, увидел, как до того третировавший Яшу министр почтительно пропускает его вперед, в кабинет. Хозяин встретил ласковыми упреками. «Что же ты, Яша, совсем зазнался, забыл своих старых товарищей, не даешь о себе знать, не обращаешься ко мне! У тебя что, все в порядке?» После недолгого смущения, понукаемый Багировым, Яша выдавливает из себя: «Да я пытался...» Багиров как бы нарочито настораживается: «Как, когда?» Яша, переминаясь с ноги на ногу: «Да вот в прошлом году сына не мог в институт устроить (то было время страстей по поводу космополитизма. — К.Б.), я позвонил Лене, попросил помочь. Но она сказала, что такого человека, то есть меня, не знает. Пришлось ехать в Казань, там знакомые помогли». Лена, Елена Ивановна, фамилии не помню, тогда заведующая Общим отделом ЦК и, как повсюду в этой должности, человек, весьма близкий к первому секретарю.

Начала работать с ним в 1920 году, в ЧК, машинисткой. Рядом с ним оказалась и на скамье подсудимых на бакинском процессе 1956 года, на котором Багиров одобрительно назвал ее «собакой партии», каковой она «и останется до конца».

Услышав имя Лены, Багиров смачно выругался и, нахмурившись, нажал кнопку. Через минуту она появилась в двери. Довольно бодро переступила порог, но, увидев Яшу, почувствовала недоброе и остановилась. Зато партийный глава тоном, не предвещавшим ничего хорошего, бросил: «Что ж ты остановилась, подойди поближе, поближе. Ты знаешь этого человека?» Лена произносит не без труда: «Это Яков Исаяч, Яша». Тогда хозяин кабинета раздражается гневной тирадой, не гнушаясь нецензурной брани: «Ты кто такая, чтобы не узнавать наших старых товарищей, я тебя вышвырну отсюда...» и т.д. Лена изгоняется и начинается деловой разговор о необходимости срочного создания предприятия на базе открытого месторождения и назначении Шика сго главным инженером.

Как видно, сцена была разыграна достаточно грамотно, хотя, возможно, был тут и элемент искренности. В тот же вечер Яша, весь светящийся, окрыленный, прибежал к нам и рассказывал, вновь и вновь возвращаясь к деталям, о состоявшемся разговоре: как мудр Мир-Джафар, каким простым, заботливым и доступным он остался и тому подобное. Это же Яша рассказывал направо и налево. Такие истории получали широкое распространение и, естественно, укрепляли багировский престиж.

Любое слово Багирова в республике считалось законом. На всех конференциях, собраниях, совещаниях, где он присутствовал, перед ним ставились специальные микрофоны. И «вождь», не вставая, с места бросал короткие реплики или произносил пространные речи, бесцеремонно прерывая ораторов, которым оставалось, как правило, лишь переминаясь с ноги на ногу и повторять время от времени: «Совершенно правильно, товарищ Багиров, совершенно справедливо, товарищ Багиров».

Вот несколько вполне типичных багировских реплик. Республиканское совещание интеллигенции. С заглавным докладом выступает заместитель председателя Совета министров Окюма Султанова, красивая женщина, которую сам Багиров и поставил на этот пост и которой, как сплетничали, симпатизировал. Она начинает говорить о состоянии культуры и образования в республике, но уже через несколько минут ее прерывает Багиров: «Вот ты приводишь цифры, рапортуешь об успехах, а если бы ты была до конца честным коммунистом, ты бы сказала: «Центральный Комитет, товарищ Багиров, вы ошиблись, когда направляли меня на эту работу, она мне не по плечу, снимите меня»...»

Встреча в зале заседаний ЦК с участниками прошедшей в Москве осенью 1952 года при участии Сталина дискуссии по экономическим

проблемам социализма. Выступает один из тех, кто ездил в столицу, говорит долго, обстоятельно, скучно, хотя и сыплет научными терминами. Багиров встает, некоторое время прохаживается вдоль стены за столом президиума, затем уходит в угловую дверь (признак недовольства, говорили — по сталинскому образцу), наконец, возвращается и, усевшись, бросает в микрофон, обращаясь к выступающему: «А я радовался, думал, есть у нас теперь свои крепкие азербайджанские экономисты. Нет, ты не соловей, ты скорее дятел».

И еще один эпизод, характеризующий и манеры Багирова, и атмосферу того времени. Другое республиканское совещание интеллигенции, где он выступает с многочасовым докладом об исторических связях Азербайджана и России. Доклад как доклад — с массивной пропагандистской начинкой, совсем неплохо написан и хорошо, вынятно произнесен. Но запомнилось иное. Походя Багиров заявил, что в Управлении железной дороги завелась банда саботажников и «их завтра там не будет». Во время доклада ему принесли чай, на его вкус, остывший, и он, не стесняясь, принялся распекать официантку. Когда же совещание закончилось, Багиров, сопровождаемый охранниками, пошел через фойе, и люди вмиг отпрянули, образуя широкий пустой коридор.

Самое же, на мой нынешний взгляд, знаменательное в том, что все это, сегодня воспринимаемое как дикость любым нормальным, демократически настроенным человеком, представлялось тогда подавляющему большинству из нас, если не всем, делом нормальным, естественным.

Поэтому падение Багирова произвело эффект разорвавшейся бомбы, тем более что оно последовало за его возвышением (как близкого не только Сталину, но прежде всего Берии человека) в марте 1953 года в ранг кандидата в члены суженного Президиума ЦК КПСС, созданного сразу же после смерти Сталина.

Развенчание «вождя» произошло на объединенном пленуме Бакинского и Центрального комитетов Компартии Азербайджана в начале июля 1953 года. Снимать его приехали секретарь ЦК КПСС Поспелов и один из руководителей орготдела Шикин, бывший армейский политработник, слышавший специалистом по такого рода «погомам». Инкриминировались Багирову связи с Берией, осведомленность, если не сообщничество, в его антипартийных, подрывных планах.

По словам Поспелова, приехав по вызову в Москву, Багиров, как обычно, принялся звонить Берии (это подтвердил находившийся в его номере секретарь ЦК Ягубов). Не дозвонившись, связался с Микояном и Байбаковым (бакинец, выдвинутый в ту пору — не без помощи Багирова — на пост министра нефтяной промышленности СССР), осведомляясь, где «Лаврентий». Те отвечали туманно, а на следующий день с Багировым в ЦК беседовали совместно Хрущев

и Маленков. Без всякой подготовки, внезапно, ему было сказано: «А мы арестовали Берия». Видимо, растерявшись, Мир-Джафар произнес: «Я так и знал». Тут на него напали: «Почему? Что ты знал?..» Тогда, окончательно растерявшись, он стал отрицать, что звонил Берии.

На пленуме Багиров уже не был похож на себя. И общая обстановка, когда вчерашние соратники и лизоблюды дружно отрекались от него, и его собственное выступление — все выглядело иначе. Вчерашний «вождь» говорил в общем довольно спокойно, но изредка оглядывался на президиум. И уже не было ни привычной уверенности и повелительного тона, ни безапелляционности, ни указаний. Сделан был, правда, один наступательный ход. Извинившись перед партией за то, что не затрагивал этот вопрос раньше, Багиров обязался обратить внимание президиума ЦК на «странные» обстоятельства, при которых Микоян (ближайший соратник Хрущева в то время) оказался на свободе, тогда как 26 бакинских комиссаров были оставлены англичанами в тюрьме и расстреляны.

Должен признаться, что пленум потряс меня. Он стал одной из вех в моем созревании и нравственном формировании. Громоподобным было впечатление от мгновенного и беспощадного низведения «вождя» из положения безусловного повелителя-самодержца до положения беспомощного обвиняемого. Гнетущее чувство рождал столь же мгновенный переход верхушки политической элиты республики от рабочей поддержки Багирова к полному отступничеству от него. Это был лишь первый урок такого рода, за ним последовали другие — в хрущевские и постхрущевские времена, в период перестройки и тем более после нее. Разница, однако, в том, что они уже не оставляли таких следов на моей задубевшей политической коже.

Дальнейшая судьба Багирова была такой же, как у многих. Его сняли, изгнали из Баку и назначили заместителем начальника по кадрам объединения Куйбышевнефть. Летом 1956 года он стал главным обвиняемым на организованном в Баку закрыто-открытом процессе, посвященном трагедии 1937–1938 годов. Со слов моего доброго знакомого, присутствовавшего на суде, Мир-Джафар держался смело. Говорил, что всегда был и остается предан партии, неизменно проводил ее политику, что так же, как он, действовали в 30-е годы и члены нынешнего руководства (кивок в сторону Молотова, Хрущева, Микояна и некоторых других). Но судьба его была предопределена, он был расстрелян.

Из политической кухни этого периода запомнилось еще одно событие — вечерний звонок из Москвы поздней осенью 1952 года, вскоре после XIX съезда КПСС, второму секретарю ЦК Компартии Азербайджана. Он извещал, что Молотов и Микоян уже не являются всенародными кандидатами на выборах в Верховный Совет (ими неизменно бывали все члены Политбюро). Они, по воле Сталина,

выразившего им недоверие, не вошли в Бюро¹ (фактически новое название прежнего Политбюро) вновь созданного широкого Президиума ЦК, о чем нам, в руководстве Отдела пропаганды, известно не было. Соответствующее же указание вследствие какого-то разрыва бюрократической цепочки пришло с опозданием. И уже вывешенные на улицах города их портреты снимались той же ночью.

XIX съезд почему-то в памяти особенно не отложился, если не говорить о короткой речи Сталина. Впоследствии в Международном отделе ЦК я слышал, что основой для нее послужил подготовленный там проект тоста на приеме в честь иностранных гостей съезда. Но, как бы там ни было, речь носит явный след вмешательства руки самого Сталина. Он умел не только манипулировать людьми, но и разговаривать с «массами» на простом и убедительном языке искусство, почти утраченное сегодня. Недавно мне попалось на глаза его обращение к народу в связи с капитуляцией Японии: ясный, лаконичный текст, без обременяющих, ныне обязательных красноречивостей, заменяющих мысль и призванных скрыть ее дефицит. Мне подумалось, что, скажем, простая и в то же время емкая фраза обращения — «Это означает, что наступил конец второй мировой войны» — сегодня звучала бы примерно так: «Вторая мировая война, которая обожгла своим пламенем и обагрила кровью почти все континенты земли, унесла десятки миллионов жизней и причинила народам неисчислимые страдания...» и т.д.

Работа в аппарате, мое «взросление» лишь укрепили зародившуюся еще в больничные годы мысль о необходимости уехать из Азербайджана. Прежде всего хотелось вплотную заняться в любом качестве, научном или практическом, — проблемами международных отношений. А город на Каспии был для этого не самым подходящим местом. Здесь, правда, существовало Министерство иностранных дел, но как чисто номинальный институт — этакая потемкинская деревня. Оно состояло из нескольких человек, неизвестно чем занимавшихся, а его руководитель одновременно являлся министром здравоохранения. Не было и соответствующих научных структур.

Не менее важно было и другое. Становилось все яснее, что для меня и мне подобных в республике нет перспектив, что суждено всегда быть на подхвате у «коренных», притом не двигаясь вперед, а скорее отодвигаясь назад. Дискриминация явно нарастала, грозя перерасти чуть ли не в сегрегацию. Некоторые области деятельности, особенно научные, гуманитарные, постепенно превращались в клубы для привилегированных — для азербайджанцев.

Средством достижения цели я избрал поступление в Академию общественных наук при ЦК КПСС (АОН). Весной 1952 года, взяв отпуск, поехал в Москву на разведку. Многого не узнал, но у меня

¹ О его существовании не было объявлено.

сложилось впечатление о хороших возможностях самообразования в академии, и это подкрепило стремление попасть в ее стены. Познакомился с некоторыми аспирантами и в академической колонне прошагал 1 Мая через Красную площадь, впервые увидел «живьем» Сталина на Мавзолее. Признаюсь, был подхвачен волной энтузиазма, с которым на его приветствия отвечали демонстранты.

Как раз в эти дни защищала кандидатскую диссертацию его дочь, аспирантка академии Светлана Сталина. Меня провели на защиту, тема была какая-то филологическая. Понятно, что одно ее имя производило сильное впечатление. Но мне очень понравилась сама диссертантка — и внешностью (молодая, миловидная, статная женщина с рыжеватыми волосами), и особенно простотой и скромностью, с которой держалась. Соискательница вполне убедительно отвечала на вопросы и возражения, и видно было, что звание зарабатывается честно.

Поступив в академию, я не раз встречал ее (на лыжных прогулках, с сыном). Светлана Иосифовна осталась в АОН преподавателем. И первое впечатление от нее — умного, скромного, искреннего человека — у меня лишь укрепилось. В 1956 году, насколько помню, после XX съезда партии, она ушла из АОН, а может, ее «ушли». Обстановка вокруг нее стала меняться сразу же после съезда — возникло какое-то кольцо изоляции. Многие из тех, кто раньше подобострастно ее приветствовал, теперь старались проскользнуть мимо. А на собраниях и заседаниях рядом с ней иной раз никто так и не сажился...

Мне, однако, сначала предстояло решить самую трудную задачу — получить рекомендацию от бюро ЦК Компартии Азербайджана, без нее в академию не принимали. Я отнюдь не преувеличиваю: дело казалось почти безнадежным. Скажем, мой начальник, заведующий Отделом пропаганды и агитации ЦК Искендеров, вернувшись с заседания бюро, где мне все-таки дали рекомендацию, не скрывая ни удивления, ни недовольства, бросил: «Слушай, в чем дело? Ведь ты армянин. Каким образом тебе дали рекомендацию?»

Но по порядку. Помог опять-таки случай. Вторым секретарем ЦК к тому времени стал Виталий Юнусович Самедов. Очень умный, даровитый, пожалуй, даже талантливый человек, сын русской и азербайджанца, он, прожив несколько лет в Самаре, вернулся в Баку и быстро сделал политическую карьеру. Насколько могу судить, он был склонен к менее одностороннему, более ровному подходу к национальному вопросу. Ему случилось побывать на моей лекции в вечернем университете марксизма-ленинизма. И, видимо, у него сложилось благоприятное впечатление. Во всяком случае, он через помощника несколько раз обращался ко мне с просьбой прочитать эту лекцию в разных аудиториях.

Уювая на возникший контакт и набравшись храбрости (или нахальства?), весной 1953 года я обратился к Самедову с просьбой о рекомендации. По его подсказке написал заявление и без вызова

на бюро был рекомендован. Вступительные экзамены прошли удачно. На кафедре истории КПСС, по которой я «проходил»², меня, даже вопреки правилам, поздравил председатель комиссии, доцент Рябцев.

В академии в то время существовал странный порядок — отметки сохранялись в тайне от абитуриентов. Позже на собственном опыте я понял, чем он вызван: экзаменационные оценки дела не решали, принимали по разумению или даже произволу мандатной комиссии в ЦК. И все же я уговорил девушку в учебной части, и она по секрету сообщила, что я набрал по четырем предметам сумму 20 баллов. Это, видимо, сыграло роковую роль, вызвав у меня сильный приступ самоуверенности. И когда мне предложили побеседовать с руководителем другой кафедры, где, очевидно, был недобор, я отказался.

Я вернулся домой в благодушном настроении. Но время шло, вызова же в академию не было. А в начале августа мне позвонил Оруджев, один из двух азербайджанских коллег, с которым ездил на экзамены. Он, набравший 14 баллов, получил телеграмму о зачислении. Прождав еще несколько дней, я не на шутку забеспокоился и обратился к Самедову. В моем присутствии он позвонил в Москву, в Отдел пропаганды и агитации.

Там подтвердили, что экзамены я сдал успешно, но другие претенденты из Азербайджана имеют передо мной преимущество по «некоторым важным критериям» (опять проклятая национальная политика!). Сослались также на то, что я отказался от беседы на другой кафедре. Самедов выразил мне сочувствие и посоветовал предпринять новую попытку в следующем году.

Однако я пал духом. Продолжал ходить на работу, читать лекции, писать служебные бумажки, но из меня, казалось, вынули какую-то деталь, вырабатывавшую энергию и оптимизм.

На академию я больше не надеялся — ведь пятый пункт, национальность, казался непреодолимым барьером. Но выручил все тот же Самедов. В апреле следующего года мне позвонил его помощник и сказал, что товарищ Самедов спрашивает, почему я не подаю заявление о рекомендации в АОН. Я ответил, что очень сомневаюсь в целесообразности новой попытки, и попросил о встрече с Виталием Юнусовичем. Она не состоялась, но через неделю мне вручили выписку из решения бюро ЦК с рекомендацией в АОН. И я во второй раз прошел через уже знакомую процедуру: зубрежка, реферат, экзамены. Теперь, однако, в академии многое изменилось, от абитуриентов перестали скрывать их оценки, а национальная принадлежность уже не играла прежней роли. И хоть на этот раз экзамены сдал чуть хуже, был принят и 1 сентября 1954 г. уже сидел за партой.

² Будучи в Москве, я прознал, что на международную кафедру практически попадают одни москвичи, да и материала для соответствующего реферата в Баку было не найти.

ЧАСТЬ

II

НА ПУТИ К НОВОЙ СУДЬБЕ

1. НА АКАДЕМИЧЕСКИХ ХЛЕБАХ

Академические годы стали для меня светлым и очень насыщенным периодом. Впервые я получил такой простор для самообразования: несколько лет без малейших служебных забот (напомню, что учебу в медицинском институте и университете пришлось сочетать с работой), отличные библиотека и учебные помещения, нечастые лекции и масса времени для самостоятельной работы, помощь в изучении языков, встречи с видными деятелями из мира политики, науки и культуры, наконец, хорошие материальные условия (немалая по тем временам стипендия — 1800 рублей, или 180 рублей после хрущевской денежной реформы, со второго курса — отдельная комната). Преподавательский состав по преимуществу состоял из ведущих столичных профессоров. И всегда существовала возможность проконсультироваться с лучшими из них. В этих отношениях АОН была уникальным заведением.

Академия стала принципиальным этапом в моем политическом и мировоззренческом возмужании. Здесь я, «зеленый» провинциал, столкнулся со столичными реалиями, с политической жизнью, так сказать, на подступах к ЦК КПСС, с личностями, известными на всю страну, наконец, со своими сверстниками московского «разлива». И самое главное, на эти годы пришелся XX съезд, ставший для меня, как и для многих, своего рода водоразделом.

Я оказался в стенах академии в момент, когда там начались реформы. Говорили, инициатором создания АОН был Сталин. Во

всяком случае, сам факт ее учреждения, несомненно, служил отражением последовательной сталинской «заботы о кадрах» («кадры решают все» — то был, думается, не только лозунг, не только клише, но нерв политической стратегии Сталина). Ведь при всех возможных оговорках Сталин — что бы ни писали о нем люди типа Волкогонова — принадлежал к поколению образованных марксистов и ценил такого рода эрудицию. Его наследники, особенно в брежневскую эпоху, были марксистски малограмотны или вовсе безграмотны. И они куда меньше занимались подготовкой и воспитанием кадров, их заботила в основном лишь их расстановка.

В сталинскую эпоху академия была закрытым и жестко запрограммированным учреждением. После же Сталина ее работе решили придать более открытый характер (тенденция к известной демократизации?), расширить диапазон изучаемых тем, разрешить снижать должностной ценз для поступающих, убрать некоторые другие организационные рогатки. Новое руководство нуждалось в кадрах, обученных по иным, вернее, несколько иным матрицам. 3 или 4 сентября 1954 г. вышло постановление Президиума ЦК КПСС, в котором, наряду с привычными фразами «поднять уровень», «повысить качество», основной задачей академии называлась «подготовка марксистов широкого профиля». Срок обучения продлевался до четырех лет, защита диссертаций характеризовалась как искомый финал аспирантской учебы, подчеркивалась важность расширения возможностей для индивидуальных занятий и т.п.

В академии было несколько кафедр — истории КПСС (самой многочисленной), философии, политэкономии, международных отношений, литературы и искусства. Я стал аспирантом кафедры истории КПСС и был избран старостой первого курса. Однако через несколько дней меня вызвали в ЦК, к нашему куратору, который предложил перейти на кафедру философии. В связи с преобразованиями в академии решено дополнительно направить туда некоторых аспирантов, и я, имеющий естественнонаучное и гуманитарное образование, подхожу для этой цели.

Подумав денек, я согласился. Конечно, сказалась привычка к выполнению партийных указаний, дал о себе знать и страх повторить опыт предыдущего года, когда не последовал шедшим оттуда же рекомендациям. Но было и другое соображение. Не хотелось тратить львиную долю добавленного года на более или менее знакомую историю КПСС, на документы ее съездов. Напротив, показалось интересным внедриться в сравнительно новую область знания. Как вскоре выяснилось, я легкомысленно недооценил связанные с этим трудности.

Аспирантов всех курсов в академии насчитывалось свыше 300. Возраст — 35 (официальный верхний предел для поступающих) 40 лет. Так что в свои 30 я был самым молодым из принятых.

Народ здесь собрался разношерстный: пришедшие из партийного и комсомольского аппаратов и преподаватели партийных школ, журналисты; москвичи, державшиеся нередко особняком, и провинциалы; советские люди и иностранцы. В нашей группе, например, было двое болгар, двое румын, один немец. Отношения с ними были самыми теплыми, несмотря на языковые трудности. Поначалу легче всего было с болгарам — они, казалось, уже знали русский язык, понимали нас, а мы их. Но именно это призрачное знание, эта языковая близость оказались коварным препятствием. Через пару лет наш немецкий коллега Пауль делал доклады на русском языке, болгары же не слишком продвинулись от первоначальной отметки. Сыграли свою роль, конечно, и немецкое упорство, педантичность.

Учебный процесс в академии в течение первых полутора лет складывался из системы общетеоретических (по философии и политэкономии), а также специализированных семинаров. В группах, насчитывавших от 10 до 15 человек, обсуждались письменные доклады аспирантов. В этот же период, как правило, сдавались экзамены по кандидатскому минимуму. Последующие два с лишним года были посвящены написанию диссертации. Большинство аспирантов с этой задачей справлялись — времени хватало; неудачниками чаще всего оказывались те, кто предавался другим занятиям или развлекался.

В АОН работали высококлассные специалисты: академик Е. Жуков, члены-корреспонденты Академии наук Г. Выгодский, М. Ким, А. Губер, М. Дышник, Г. Деборин. На кафедре КПСС выделялся профессор Ф. Кретов, отличавшийся, несмотря на «боевую» ортодоксальность, изрядной долей самостоятельности. На моей кафедре, думается, одной из сильнейших, погоду делали такие крупные ученые, как академик Б. Кедров, профессора Г. Глезерман, М. Розенталь, Г. Гак, Н. Момджян. Но и здесь были преподаватели, которые выглядели неубедительно.

Очень ценными для расширения кругозора и соскребывания провинциальной «коросты» были встречи с гостями академии — видными советскими и иностранными политиками, деятелями литературы и искусства. Расскажу лишь о нескольких, наиболее запомнившихся. Так, побывал у нас П.К. Пономаренко — посол Советского Союза в Польше (до того начальник Центрального штаба партизанского движения, первый секретарь ЦК КП Белоруссии, а затем и Казахстана). Это случилось в конце 1956 года, после возвращения к власти в Польше Б. Гомулки, против чего, по крайней мере поначалу, резко возражали советские руководители. Пономаренко говорил о положении в Польше совсем не традиционным образом, посмеивался над московскими аналитиками («наверное, это выпускники вашей академии»), которые давали всяческий компромат на Гомулку.

Встречей с другим миром и назиданием другого рода стало выступление Кони Зиллиакуса, которое состоялось в первые месяцы

моей учебы в академии. Колоритная фигура, левый лейборист, любимец нашей печати в начале 60-х годов, обильно цитировавший его антиамериканские, антиимпериалистические заявления. Прекрасно говорил по-русски — наследие того времени, когда работал шифровальщиком у Колчака (можно лишь гадать, не в русле ли интересов британской разведки).

Кони Зиллиакус рассказывал о политической и экономической ситуации в Англии и линии лейбористов. Для большинства из нас, в основном кормившихся достаточно односторонней информацией нашей печати, многое оказалось новым. Когда, например, Зиллиакус с упреком спросили, почему английские лейбористы не идут на создание единого народного фронта с компартией, он отвечал так: «Это было бы подобно совокуплению слона с курицей, с той только парадоксальной разницей, что от этого акта пострадала бы не она, а слон. Лейбористы, может быть, и приобрели бы 100 тысяч голосов, которые сейчас собирают коммунисты, но потеряли бы миллионы избирателей — тех, кто не простил бы нам этот шаг». Думаю, для многих из нас было неприятным открытием узнать, что от сближения с коммунистами можно потерять массовую поддержку.

Аджой Гхош, Генеральный секретарь ЦК Компартии Индии, приобщал нас к другой части мира. Он без аффектации и идеологических ярлыков проанализировал ситуацию в Индии, положение вокруг нее, что было особенно интересно в связи с уже начавшимся поворотом в советской восточной политике. Но Гхош явил и необычный образ коммунистического руководителя — не авторитарного, не безаналогичного в суждениях, а размышляющего и рассуждающего.

Припоминается также встреча с академиком Г. Александровым, тогдашним министром культуры (а при Сталине, до опалы, начальником Управления пропаганды и агитации ЦК, затем, до 1954 г., директором Института философии)¹ и близким к Хрущеву человеком. Александров претендовал на роль главного официального философа в стране. Между тем академик Б. Кедров незадолго до этого разнес в пух и прах его (руководящего деятеля!) только что вышедшую книгу, что в ту пору было делом необычным и произвело большое впечатление.

И уж в совсем иную область столичной жизни я заглянул, присутствуя на кафедре литературы и искусства на беседе с Э. Быстрицкой и П. Глебовым — главными героями только что вышедшей на экраны кинокартины «Тихий Дон». Общаться с кинозвездами в течение почти трех часов, сидя от них на расстоянии протянутой руки, само по себе уже было событием. Но благодаря преподавателям и

¹ Он был, в частности, автором ставшей знаменитой статьи в «Правде» в апреле 1944 г., где критиковался Илья Эренбург за «ошибочный», «огульный» подход к немцам. («Убей немца» — так называлась популярная в годы войны статья Эренбурга.)

аспирантам этой кафедры завязался нестандартный разговор о «Тихом Доне», в котором чувствовались новые веяния: о неоднозначности образа Г. Мелехова, о «запрограммированности» трагической его судьбы, о необычности и нехарактерности такого рода героя для нашей литературы о гражданской войне и т.п.

Самым же большим и неожиданным было впечатление от звезд. Создавшие убедительные и очень сильные образы на экране, они не обнаружили серьезного понимания ни времени и обстановки, в которой действовали их герои, ни социальных мотивов их поведения.

Еще один эпизод, так сказать, от противного и относящийся, правда, к более позднему времени, но к той же теме. В середине 60-х годов моего друга А. Черняева и меня пригласили на неофициальный, с участием лишь нескольких человек, просмотр фильма А. Михалкова-Кончаловского «Об Асе Ключиной, которая гуляла да замуж не вышла» («Хромоножка»). Не исключено, что приглашение шло в русле попыток «пробить» на экран фильм: уже началась послехрущевская эпоха. По окончании фильма поговорили с режиссером. Картина, и талантливая, и правдивая, очень понравилась, к тому же она подкупала своей антисталинской направленностью. Удивляло, каким образом этот молодой человек, которому нет и тридцати, далекий от политики, от ее лабиринтов и хитросплетений, до съемок фильма не покидавший, наверное, городскую обстановку иначе как для поездки на подмосковную отцовскую дачу, — как он оказался в состоянии так глубоко проинкнут в суть проблемы, так убедительно рассказать о сельской жизни?

Уже много спустя, когда с подобным феноменом (кажущийся разрыв между потенциалом личности художника и его творением) я стал встречаться все чаще, у меня сложилось впечатление (не вхожу в малодоступные мне рассуждения о природе таланта), что люди искусства обладают каким-то особым инстинктом (даром?) постигать и выражать то, что люди обыкновенные осваивают, если могут, умом, длительным изучением проблемы и т.д.

Жили мы там же, где учились, — на Садово-Кудринской, 9, в здании, которое было соединено с учебным корпусом. О наших бытовых условиях основательно позаботились. Были приличная столовая (что, впрочем, не помешало многим из нас заработать гастрит), прачечная, сапожная мастерская, небольшая медицинская часть и физкультурный зал с инструктором — вспыльчивым грузином, выход которого на волейбольное поле в качестве судьи, а иногда и игрока нередко сопровождался ссорами: «Биц надо, биц» — кричал он товарищам по команде.

Гости («посторонние») в общежитие проходили по пропускам. Недреманное око коменданта старалось внимательно следить за тем, чтобы гости не задерживались после 11 часов вечера, чтобы все носило благопристойный характер.

Но помогало это мало. Все было, как только и могло быть в общежитии, да еще в московском, где обитают десятки молодых мужчин, оторванных от своих семей или холостых. Женщины, притом самые разнообразные, постоянно посещали аспирантские комнаты отнюдь не для совместных научных штудий. Это дало повод Юрию Павловичу Францеву, моему научному руководителю, а в конце 50 — начале 60-х годов и ректору академии, назвать ее «гибридом научно-исследовательского учреждения и публичного дома». Бывали при этом и курьезные эпизоды: в мужском туалете находили женские трусики и проч.; помню, крепко подвыпившая дама, возвращаясь из того же заведения, забрела по ошибке в другую комнату, где и осталась до утра, а ее первоначальный «хозяин» метался по коридорам, разыскивая пропавшую гостью.

Случались, однако, трогательные лирические истории, не лишённые иной раз и юмористической «подсветки». В том же году, что и я, аспирантом кафедры международных отношений стал А., сибиряк из Хабаровска, парень с приятным лицом «русака», с просвечивающим сквозь тонкую кожу ярким румянцем на щеках, со скромными и, я бы даже сказал, застенчивыми манерами. Его и молоденькую библиотекаршу, очевидно, потянуло друг к другу. И вскоре жена А. жившая с ребенком в Хабаровске, получает от супруга телеграмму с просьбой срочно перебраться в Москву, так как их браку «угрожает опасность». Ошеломленная жена поспешила в столицу, но все же опоздала.

Как тогда было принято, супруга бросилась искать правды в парткоме, начиналось партийное разбирательство. А. явился на заседание партбюро кафедры с книгой Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Прочитовав фразу о том, что в основе семейной жизни лежат половые отношения, он стал доказывать правомерность своего поступка. Говорил, что только теперь смог ощутить всю силу нежности и счастья, скрытую в сексуальной сфере, что ничего подобного не изведal за долгие годы брака. Члены бюро, с трудом сохраняя серьезность, остались тем не менее непреклонны. А. сдался и, увенчанный выговором, согласился вернуться к жене. Это решение было утверждено и партсобранием академии. Однако, чуть погодя, А., вопреки данному обязательству, перебрался из общежития к своей новой избраннице. Кончилось все это невесело. В райкоме А. выговор заменили строгим выговором за «обман товарищей». Из академии его, бывшего руководителя лекторской группы крайкома, направили на село библиотекарем. Но, как рассказывали потом, А. не сдался: через некоторое время вернулся в Москву, соединился с библиотекаршей и стал учительствовать в Подмосковье.

Я следил за этой эпопеей довольно внимательно. И не из простого любопытства. В не совсем обычном поведении А. угадывалось про-

явление начавшей формироваться новой культуры — культуры собственного мнения, культуры несогласия с официальными структурами.

Пребывание в академии заметно расширяло политический кругозор, даже в какой-то мере подтачивало догматический монолит, который давил на сознание, мировоззрение и поведение. Но качественным сдвигом в этом смысле, подлинным переломом я, как и другие, обязан XX съезду КПСС. Я, конечно, смутно ощущал неправедность иных сталинских деяний. Но доклад Хрущева произвел ошеломляющее, взрывное впечатление. Почему? Наверное, действовала комбинация причин: раскрывшиеся масштабы и характер преступлений, уже несколько померкшее представление о Сталине как незаменимом строителе и опоре державы (его нет в живых, а Советский Союз жив!) и то, что все это было оглашено и осуждено с самой высокой партийной трибуны, а значит, приобрело силу реальных фактов. Даже если рассматривать хрущевский доклад (а я так именно и рассматривал его) как самоочищение КПСС, он не мог не восприниматься сколько-нибудь думающими людьми иначе, как признание ошибочности в каких-то существенных аспектах линии и действий партии, до того считавшихся непогрешимыми, не ставить под сомнение по крайней мере некоторые партийные догматы.

Эта разрушительная или, напротив, созидательная работа была продолжена последующими событиями. Самым сильным по воздействию стало состоявшееся в академии вскоре после съезда расширенное партийное собрание по его итогам (с участием руководителей идеологических учреждений и печати Москвы), на котором выступил кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК Д. Шепилов, восходящая звезда хрущевской команды. Статный, вальяжный мужчина с хорошо поставленным голосом, говоривший грамотно и образно (некоторые его фразы, например относительно плохих статей, представляющих «обрывки из отрывков», гуляли по коридорам «Правды», где Шепилов прежде был редактором), он сделал умный и расчетливо построенный доклад. В резкой форме осудил культ личности, массовые преследования при Сталине, его курс во многих вопросах, говорил, что руководство обдумывает ряд мер по демократизации общественной жизни, в частности изменение системы выборов в Верховный Совет, с тем чтобы в каждом округе баллотировалось несколько кандидатов, и т.д. и т.п.

Ничто не предвещало, что стереотипный ход партийного собрания может быть нарушен и разразится буря. Между тем это произошло. Началось с вопроса академика Б. Кедрова (его отец, член коллегии ОГПУ, расстрелянный после того, как усомнился в обоснованности репрессий, упоминался в докладе Хрущева): «Почему же руководство не вскрыло эти факты раньше?» Кстати, этот вопрос — практически вопрос об ответственности членов руководства партии — то и дело всплывал. Представители старой гвардии, очевидно, пони-

мали, насколько опасен он и для них лично, насколько чреват потерей контроля над ситуацией. Как вспоминал Б.Н. Пономарев, Молотов активно добивался включения в антисталинское постановление ЦК об отношениях с социалистическими странами, которое появилось через восемь месяцев после XX съезда КПСС, тезиса о том, что прежде разоблачение Сталина было невозможно. Со слов Пономарева, включить соответствующий абзац работавшие над документом члены руководства согласились лишь в последний момент, на ступеньках лестницы особняка в Новом Огареве (государственная дача под Москвой, где принимали иностранных гостей, работали над важными документами и т.д.), уже спускаясь к ожидавшим их машинам.

Ответ докладчика гласил: «Не знали, верили Сталину, тому, что он говорил. В виновность верили даже жены, они отрекались». Тогда Кедров закричал с места: «Не все верили и не все отрекались», стал спорить с секретарем ЦК, обрывал его: совсем необычная ситуация.

Дальше — больше. Доцент кафедры философии Шариков, инвалид, потерявший на войне руку, выбежал к трибуне и стал, распяляясь, кричать в зал, что в докладе на съезде, в выступлении Шепилова не сказана вся правда; что руководство страны занимается самовосхвалением и проходит мимо самых жгучих проблем; что после жестокой войны все надеялись на лучшее, но оно не состоялось; что огромные районы России, особенно Нечерноземье, его родина, остаются разоренными, народ живет в ужасных условиях.

Потом выступил аспирант (до сих пор перед глазами его лицо, но фамилию память не сохранила). Он, не слишком стесняясь в выражениях, говорил о том, что идеологическая работа, которой руководит Суслов, никуда не годится. Критика в загоне, газеты, и прежде всего «Правда», избегают критиковать руководство.

И, пожалуй, самое важное — многие пассажи из речей Шарикова и аспиранта сопровождались шумными аплодисментами зала. Дальнейшие «правильные» выступления Г. Глезермана, ректора академии Дорошова и еще кого-то, наконец, самого Шепилова не смогли не только преодолеть, но даже смазать впечатление от происшедшего.

Что до меня, я был буквально потрясен. Впервые стал свидетелем еще несколько часов назад невообразимой для меня критики действующего руководства партии, более того — брошенного ему вызова, да еще поддержанного залом. Может показаться, что я слишком часто употребляю слово «потрясение», но это отвечает истине: все эпизоды, подобные тем, о которых я рассказал, были вехами в моей политической и нравственной реформации.

Собрание, как можно было ожидать, имело не слишком приятные последствия. Чуть ли не на следующий день вышло посвященное ему постановление Президиума ЦК, и в академии началась проработоч-

ная кампания. Парткомом были розданы некоторым выступавшим взыскания, которые мы, демонстрируя конформизм, на общеакадемическом собрании поддержали. Шарикова из академии изгнали.

Но все эти, как и последующие «охранительные», меры уже не могли ничего изменить радикально, не могли смыть уже сложившееся впечатление. Они не в силах были прервать той внутренней работы, которая началась во мне, в некоторых моих однокашниках и которая уже не укладывалась в пределы, предусмотренные наступившей «оттепелью».

Через некоторое время мне в руки попала стенограмма Пленума ЦК Польской объединенной рабочей партии (компартии), где был возвращен к власти Гомулка и снят с поста министра обороны советский маршал Рокоссовский. Это был будоражающий документ: рассказ о «художествах» службы государственной безопасности (излюбленным методом пыток министра внутренних дел, если не ошибаюсь, Рачинского, было окутать арестованных в выгребную яму, заставляя их хлебать экскременты), выступления членов ЦК с предложениями призвать к оружию рабочих и студентов Варшавы в связи с якобы начавшимися передвижениями советских войск и т.д.

Затем появились противоречивые слухи относительно Пленума ЦК Трудовой партии Кореи, будто бы осудившего кровавые чистки Ким Ир Сена, который, тем не менее, сохранил свой пост. О том, что действительно произошло, рассказал мне гораздо позже Б.Н. Пономарев, входивший в возглавлявшуюся А. Микояном делегацию КПСС, которая присутствовала на этом пленуме. Делегация предварительно побывала в Пекине, и Мао Цзэдун направил с нею в Пхеньян Пэн Дэ Хуая. Тот командовал китайскими добровольцами в КНДР и, предполагалось, знал там ситуацию и людей.

Присутствие делегации КПСС, приехавшей после XX съезда, было воспринято рядом участников пленума как сигнал к выступлению против своего «Сталина». В первый же день дискуссии они обрушились на Ким Ир Сена. Но советская делегация держалась пассивно, а хитрый Ким Ир Сен, почувствовав, что пахнет жареным, выступил с покаянной речью и сумел переломить настроение участников пленума. Поздно вечером, накануне отъезда нашей делегации, в ее резиденцию пришел второй секретарь ЦК ТПК, один из критиковавших Ким Ир Сена, и просил взять с собой, заявив, что иначе ему не спосит головы (так и случилось). Но делегация на это пойти не смогла. По пути домой советские представители вновь побывали в Пекине и были свидетелями разноса, который Мао Цзэдун учинил Пэн Дэ Хуая (адресуясь, разумеется, прежде всего к советской делегации, к Микояну): «Что же ты наделал... — говорил Мао, — спровоцировал людей на выступление, а затем бросил. Ведь этот мясник теперь всех уничтожит... Я думал, ты серьезный политик, а оказалось, мальчик в коротких штанишках».

Потом пришел черед венгерских событий. И на их примере можно видеть, какой серьезный сдвиг произошел в моих представлениях, какая заметная дистанция возникла между мной самим образом 1956 года и нескольких лет до этого, какой путь некоторые мои товарищи и я прошли за это время. Если июньские дни 1953 года, когда поднялись берлинские рабочие, у меня не вызвали никаких душевных движений и наши действия по подавлению волнений (о которых, правда, как и о самих событиях, мы знали крайне мало) представлялись естественными, то протестующие в Будапеште уже вызывали живейшее сочувствие. Мы выхватывали из рук друг у друга листы сводок ТАСС, с удовлетворением читали, что в первых рядах демонстрантов идут слушатели Военно-политической академии и партийной школы. И со смешанным чувством, но без одобрения встретили весть о нашем военном вмешательстве. Период после XX съезда, как и все хрущевские годы, представлял собой странную комбинацию продвижения вперед по реформаторской колее и копытных шагов. События в Венгрии и их возможное воздействие, видимо, серьезно встревожили советское руководство, и оно решило натянуть «страховочную сетку». Кое-где началась антирелигиозная кампания, сигнал к которой подал Президиум ЦК КПСС своим постановлением «О враждебных вылазках на собрании парторганизации теплотехнической лаборатории Академии наук СССР по итогам XX съезда КПСС».

Эпидемия поисков и искоренения ревизионизма не миновала и нашу академию. Нещадно «секли», например, члена-корреспондента Академии наук М.П. Кима, известного специалиста по истории СССР «Порка» продолжалась два с лишним дня. В чем его обвиняли, уже не помню, но придирчивому анализу подверглись не только работы самого Кима, но и доклады его аспирантов. Влекомый своим приятелем, аспирантом Кима Василием Погудиным, я присутствовал на дискуссии в первый день, а на завтра решил не ходить на этот спектакль с игрой в одни ворота. Но утром третьего дня ко мне зашел Погудин и стал настойчиво звать с собой, обещая сюрприз. И он действительно состоялся. Полемический жар не остывал, пока председательствующего, первого проректора академии Хлябича, не вызвали к телефону. Вернувшись, он едва дал договорить очередному оратору и поспешно свернул дискуссию, не забыв упомянуть о ее «перехлестах» и заслугах «видного советского ученого» М.П. Кима. Оказывается, Ким накануне прорвался к Сулову и тот обещал вмешаться. Наутро раздался упомянутый телефонный звонок и, согласно слухам, Хлябича спросили: «Что, вам там печем заниматься?» Такой опыт «научной дискуссии», естественно, тоже будоражил мысли.

Забегая вперед, скажу, что к раздумьям и переоценкам, к интеллектуальной и нравственной эволюции побуждали и произведения литературы и искусства, в которых нередко самым убедительным

образом отражались новые веяния: вечера поэзии в Политехническом музее (стихи Е. Евтушенко, А. Твардовского, А. Вознесенского, Д. Самойлова и других), «Голый король» Е. Шварца (который был поставлен совершенно как картина нашей жизни) и трилогия в театре «Современник» («Декабристы», «Народовольцы», «Большевики»), «Оттепель» Эренбурга и его воспоминания «Люди, годы, жизнь», «Битва в пути» Г. Николаевой, «Не хлебом единым» В. Дудинцева, «Новый мир» с его прозой, очерками, критикой и т.д.

И тут позволю себе вновь не согласиться с Д. Самойловым. Он сурово судит И. Эренбурга, его взаимоотношения с властью и, возможно, имеет на это основания. Но мне кажется, он игнорирует важную, пусть подсобную «верху», но просвещающую роль «Оттепели» и других книг Эренбурга того времени, которые художественными средствами продвигали идеи XX съезда. («Оттепель» в какой-то мере и предвляла их.) Более того, такого рода книги и особенно кино послужили, пожалуй, основным каналом проникновения этих идей в массовое сознание. Причем импульс, который они сообщали обществу, выходил за рамки, предусмотренные «верхом».

Сейчас произведения, о которых идет речь, могут показаться малокровными и конформистскими. Но ведь это явление совсем другой эпохи, и их несправедливо судить лишь по меркам сегодняшнего дня. В свое время они, на мой взгляд, сыграли огромную роль, именно они торили дорогу к коренному перелому 80-х и 90-х годов.

Я остерегаюсь преувеличений: несмотря на происходившие во многих из нас необратимые мировоззренческие изменения, мы все (или почти все?), несомненно, в целом прочно оставались в рамках партийных схем и линии поведения. Но несомненно и то, что события, подобные описанным, порождали и расслоение в нашей среде. Эпизод, случившийся, если не ошибаюсь, осенью 1956 года, это едва начавшееся расслоение обнаружил.

Аспирант Р., до академии секретарь ЦК ВЛКСМ, попросил (очевидно, чтобы облегчить себе работу) у немецкого товарища подготовленный им доклад. Однако, обнаружив на полях какие-то «крамольные» комментарии, он снес его в партком. Этот поступок подвергся дружному осуждению в аспирантской среде. Но если одни, большинство, находили непорядочным так поступать с товарищем (это было решительным отходом от партийной морали сталинских времен), то находились уже и такие, кто считал сами комментарии «нормальными». И передававшийся из уст в уста аспирантами, как пароль, наказ «В бюллетенях по выборам в партком Р. вписывать и вычеркивать» был убедительно реализован.

Национальная сторона в академии видимым образом о себе не заявляла. Хотя представители одной и той же национальности (или республики, области) держались, особенно поначалу, вместе, никакой тенденции к созданию изолированных групп («землячества») не было.

Академия, конечно, не была идиллическим островком, нет. Но существование коллектива, состоящего из более или менее культурных людей, многонационального, но процентов на 90 русского и украинского, вовлеченность в общие занятия, ежедневные и ежечасные будничные контакты, которые всегда сближают, — вот что определяло положение. Разумеется, сказывалось и то, что уже устоялись, стали нормальными и так воспринимались некоторые не совсем нормальные вещи, например тезис о русском народе как старшем брате, который является «благодетелем» всех других народов Союза и которому полагается постоянно возносить льстивую хвалу.

В академии же у меня завязались первые контакты со столичным научным миром, главным образом со специалистами, которые занимались колониальной тематикой и проблемами так называемого «третьего мира». Речь идет в первую очередь о тогда еще молодых, но уже достаточно веско заявивших о себе талантливых ученых: это В. Тягуненко, В. Рымалов, Р. Аваков, В. Коллонтай, Г. Мирский, В. Майданик, В. Павлов, Г. Скоров и другие.

Со временем эти контакты переросли в дружеские связи, которыми я всегда очень дорожил еще и потому, что они обеспечивали выход за рамки аппаратной среды, в более открытое демократическое и интеллектуальное пространство. Мне всегда претило высокомерное отношение к научным работникам, которое было свойственно многим в аппарате ЦК КПСС.

Как выяснилось, я недооценил трудности, связанные с переходом на кафедру философии. Предстояло освоить фактически новый для себя предмет — историю философии, притом поработать над первоисточниками. Мои знания о них ограничивались, в сущности, сведениями из философских словарей. К тому же я оказался в явно неравном положении со своими коллегами. Если на кафедру истории КПСС аспиранты пришли, как и я, в основном, с партийной работы, то здесь практически все были специалисты — заведующие кафедрами философии партийных школ. Поэтому первый год был для меня временем добровольного заточения, ожесточенного, каторжного труда по 14, а иногда и 16 часов в день. Я «похоронил» себя в «читалке», просиживал там с 9 утра до 10 часов вечера. Помнится, особенно тяжело давался Гегель, его «Малая логика»: иногда итогом целого рабочего дня были лишь две законспектированные страницы.

Постепенно наступила пора выбирать тему диссертации. Я искал такую, чтобы была интересной и в то же время приближала меня к международной проблематике. Мой выбор — исследование подхода американских ученых к колониальной проблеме (в окончательном виде тема называлась «Национально-колониальный вопрос в американской социологии») — встретил, однако, сопротивление некоторых влиятельных фигур на кафедре. Здесь предпочитали другие темы, вроде той,

что стали навязывать мне: о характере противоречий в социалистическом обществе.

Поддержка пришла от профессора Глезермана. Григорий Ефимович и его друг Григорий Моисеевич Гак, которые благоволили ко мне и которым я очень обязан, были незаурядными личностями. Доброжелательные и очень порядочные, умные люди, широко образованные, они, однако, по условиям времени, не раскрыли в полной мере свой потенциал. Им была присуща, мне казалось, одна общая черта: в своих размышлениях и подходах к научно-теоретическим проблемам они как бы раз и навсегда запретили себе переступать определенную межу, выходить из определенной схемы.

Итак, с темой согласились, теперь предстояло определить научного руководителя. Выбор кафедры пал на члена-корреспондента АН СССР Ю.П. Францева, в ту пору заместителя редактора газеты «Правда» по международным вопросам. Уже после того, как я покинул АОН, он стал ее ректором и академиком. Это еще одна яркая личность, вошедшая в мою жизнь. Внешне представительный (я, никогда не встречавший английских лордов, почему-то считал, что он смахивает на них), с красивой шапкой седых волос, с неизменной, заправленной в мундштук сигаретой в зубах, он был человеком очень эрудированным и злоостроумным, временами напоминавшим мне мою учительницу Елену Ивановну. Его остроумие, метких, неожиданных и не очень милосердных, в «Правде» опасались.

Египтолог и специалист по религии, ленинградец, он в годы войны и блокады был заведующим сектором науки Ленинградского обкома партии, что многое объясняло в его поведении. Когда возникло так называемое «ленинградское дело» (т.е. обвинение бывших ленинградцев в руководстве КПСС в «российском сепаратизме») и началось «выкорчевывание» ленинградских кадров повсюду, Францев, видимо, еще долго чувствовал себя под дамокловым мечом: это сделало его чрезвычайно осторожным, даже боязливым, и, несмотря на случавшиеся порой приступы несговорчивости, достаточно послушным. В течение нескольких послевоенных лет Францев был ректором только что созданного Московского института международных отношений. У студентов оставил благодарные воспоминания, не случайно они дали ему прозвище «папа Юра». Говорили, что он из собственного кармана помогал нуждающимся студентам.

Суждения Юрия Павловича были почти всегда любопытными, а часто и парадоксальными, по крайней мере для той поры. Он, например, говорил, что наша страна является интересной и необычной не в последнюю очередь из-за своей отсталости — странная сентенция для времени, когда отовсюду лились хоралы, славящие передовую роль и достижения Советского Союза. Или звучащее абсолютно банально ныне, но не тогда, напоминание о том, что еще нет и 100 лет, как в России упразднено крепостное право, причем сделан-

ное не для иллюстрации успехов «после 1913 года», а в объяснении происходящего в начале 60-х годов. Именно общение с ним, а не учебная сторона наших контактов обогатило меня чрезвычайно.

Юрий Павлович позволял себе экстравагантные и несолидные поступки. Работавшие с ним в Праге (в конце 60-х гг. он был шеф-редактором журнала «Проблемы мира и социализма») рассказывают — а я это однажды наблюдал в Москве, в «Правде», — о таком, например, его воспитательном приеме. Если в поисках кого-либо в его кабинет неделикатно врывались, спрашивая, нет ли такого-то, он вставал и с преувеличенной серьезностью начинал искать под столом, стульями и даже за диваном. Затем, слегка манерно раскланиваясь, произносил: «Вроде нет».

У меня с Юрием Павловичем установились добрые отношения, он дарил мне свои работы с такими, например, надписями: «Дорогому К.Н. в знак дружбы» или «На добрую память от автора-ругателя» (он часто так себя называл). Я познакомился с его женой, Верой Моисеевной, гостеприимной хозяйкой, проницательной, волевой женщиной, имевшей большое влияние на мужа. Из ее рук я получил после защиты диссертации презент, на котором Юрий Павлович начертил: «Не забывайте, что кандидат тогда кандидат, когда он кандидат в доктора». Вера Моисеевна была среди тех, кто протянул мне руку помощи в трудную минуту. У Францевых я познакомился с его бывшими студентами Г. Морозовым — первым мужем Светланы Сталиной, симпатичным и умным человеком, и Г. Арбатовым, с которым поддерживаю дружеские связи до сих пор.

Я уже говорил об осторожности и «боязливости» Францева, он их демонстрировал не раз. Но жизнь не укладывается в схемы, казалось бы, самые проверенные, а представления о людях, казалось бы, самые подтвержденные, часто оказываются неверными. Живший сверхосторожно, Юрий Павлович умирал, однако, как храбрый человек. У него была злокачественная опухоль, и он догадывался об этом. Но держался с поразительным мужеством. Я навестил его за два дня до кончины и застал за правкой чьей-то статьи в журнале «Коммунист».

Функцию научного руководителя Юрий Павлович выполнял своеобразно. Раз в две недели — месяц приглашал к себе в «Правду», обычно к девяти часам вечера. Я просиживал в его кабинете до поздней ночи (тогда «Правда» выходила в два-три часа), наблюдая, как он диктует свои и правит чужие статьи, дает задания, разговаривает по телефону с начальством. Отрываясь от этих занятий, он вел сбóнную беседу, но отнюдь не на диссертационные темы. Я, однако, чувствовал, что это «пустое» времяпрепровождение куда ценнее любой педагогики.

К моменту выхода «Правды» Францев заказывал машину и порой по пути домой (а жил он в десяти минутах езды — в высотном

здании на площади Восстания) обращался к диссертационным делам. К диссертации моей Юрий Павлович замечаний никаких не сделал, хотя, надеюсь, ее прочел. Зато автореферат он забраковал и сам переработал, заявив: «Вы должны были писать его, держа перед собой на столе портрет Тимофеевского (заведующий кафедрой истории КПСС, особенно ревностный хранитель ортодоксии и гонитель ревизионизма). Из вашего реферата должно быть ясно, что вы работали над чем-то и пришли к каким-то выводам, но совершенно не ясно, над чем работали и к каким выводам пришли».

Вообще же у меня создалось впечатление, что Юрий Павлович относился несколько иронически к этим научно-организационным процедурам. Разве не об этом говорит тот фортель, что он выкинул на моей защите? Стою, волнуясь, на трибуне, отвечаю оппонентам. Вдруг подают записку от Францева. Открываю ее, думаю, что мне дают совет, но читаю: «Кто эта красивая дама в костюме фисташкового цвета?». Оказывается, его внимание было приковано отнюдь не к диссертационным перипетиям, а к моей школьной подруге, красавице Натс Мелик-Пашаевой.

Написание диссертации оказалось для меня нелегким, но интересным делом. Я впервые зарылся в иностранную социологическую и, как сказали бы сейчас, политологическую литературу. Это привело к решению не ограничиваться лишь голой критикой воззрений американских авторов. Нынешнему читателю, возможно, надо разъяснить, что в те времена в общественных науках существовала любопытная профессия: не просто профессионалы в какой-либо сфере, но специалисты по критике буржуазной идеологии. Собственно и у американцев большая часть так называемых «кремленологов» занималась критикой советской идеологии.

Мне же тянуло заняться и анализом наших взглядов на национально-колониальные отношения. Внешние обстоятельства этому благоприятствовали. Восточная политика Советского Союза стала эволюционировать в сторону большего реализма. В 1955 году состоялся наш прорыв на Ближний Восток, и арабские лидеры типа Насера перестали быть «марионетками империализма». Движение началось и на индийском направлении. Новые нотки звучали также на XX съезде.

Меняющаяся политика облегчала, — более того, делала необходимым — изменение подходов к некоторым теоретическим и общеполитическим вопросам. Одним из них являлся национализм. Между тем в нашей общественной науке как аксиома (как «священная корова») утвердилось его определение в качестве «реакционной буржуазной идеологии национальной исключительности, которую эксплуататорские классы используют для разделения трудящихся разных национальностей». Его рассматривали и как орудие империализма в борьбе против мирового социализма. Обвинение в национализме

принадлежало к числу самых страшных и часто служило идеальной политической дубинкой для сокрушения противников или соперников.

Какие пружины тут действовали? Прежде всего, это след марксистской интернационалистической традиции, противостоящей всякому национализму с его воинствующей или до поры до времени спящей идеей превосходства, исключительности «своей» нации. Но в еще большей мере это дань политической потребности решительно противодействовать всему, что может идти вразрез с «дружбой народов» Советского Союза, со сплочением под его эгидой социалистического содружества.

Но такой подход был неуместным, он уже не срабатывал, когда речь шла о начавшемся повороте к Востоку, к лидерам национально-освободительного движения, которые, естественно, сплошь были националистами. И советское руководство оказалось вынужденным, хоть с опозданием, приспособлять к возникшей ситуации и свои теоретические позиции, либо не сознавая, либо игнорируя возникавший при этом конфликт между его внутривнутриполитическими и внешнеполитическими нуждами. Конфликт, который, как и расширяющиеся связи с националистами Азии и Африки, оказал определенное влияние на возбуждение национального самосознания в ряде районов Советского Союза.

Кстати сказать, сходная эволюция и коллизия характерны также для американского подхода. Вчера официальный Вашингтон славил и холил национализм в Восточной Европе, в Советском Союзе, квалифицируя его как прогрессивную освободительную силу. Теперь же, после крушения СССР, когда национализм кое-где уже посягает на сложившиеся и вполне устраивающие США порядок и устройство мира, всякий национализм объявляется злом (пожалуй, исключая только антироссийский на постсоветском пространстве).

Действуя в духе надвигающихся перемен, я попытался более спокойно, более объективно взглянуть на проблему. В моем представлении это означало подходить к национализму как идеологии и психологии, которые видят в нации высшую и надсоциальную форму общественных связей, отстаивают первородство своей нации. Они «беременны» идеей национального превосходства и исключительности, ее «выплески» зависят от исторической обстановки, от взаимоотношений данной нации с другими и т.д. А раз так, то характер и роль национализма неодинаковы в разных условиях. Он может выступать и как естественная первоначальная форма национального пробуждения, особенно у угнетенных наций, служить флагом национальных движений, добивающихся свободы и равноправия.

Политическим производным такой постановки вопроса по существу был возврат к ленинским тезисам о национализме угнетенной и угнетающей нации, большой и малой нации. Разве можно ставить знак равенства между британским джингонзмом (шовинизмом) и

поднимающимся индийским национализмом времен колониальной Индии? Между индийским национализмом тогда и теперь? Между супердержавным патернализмом и гегемонизмом Соединенных Штатов и, скажем, национализмом малайзийцев? Между великодержавным русским национализмом и национализмом башкир?

И это представлялось самым важным, ибо дело было скорее не в теоретической чистоте подхода, а в его практических последствиях. Иначе нельзя понять феномен национализма, выделить его шовинистические «выбросы» и решительно им противодействовать, находить эффективные пути к гашению межнациональных конфликтов. Так было в 50-е годы, так обстоит дело и сейчас.

Мои изыскания, однако, привели к тому, что на гребне послевоенной идеологической кампании в поле зрения «цензоров», в пространство «банно-прачечных усилий» (плагиат у А.Бовина, который в наши аппаратные годы так называл всякую борьбу за идеологическую чистоту) попал и я. Был вызван в партком, и беседа там не предвещала ничего хорошего. Но следующая встреча уже свелась к легкой укоризне. То ли сама кампания начала выдыхаться, то ли профессор Ц. Степанян, которому было поручено разобраться в моих «вольностях», проявил либерализм, не знаю. Работа над диссертацией продолжалась.

Но вот осенью 1957 года, кажется в сентябре, меня неожиданно вызвали в ЦК. Хотя я уже основательно пообтерся в столице, визит туда был событием, а все обитатели этого здания представлялись если не лебожителями, то уж, во всяком случае, людьми у ворот Олимпа. Меня принял Н.В. Матковский, полноватый, лысый мужчина, с едва заметным малороссийским акцентом, помощник секретаря ЦК КПСС О.В. Куусинена. Он начал издали — с моей биографии, интересовался, какова, на мой взгляд, обстановка в академии, как идет работа над диссертацией. Только потом перешел к делу — передал 40-страничный материал об антиколониальном национально-освободительном движении, заявив, что мне поручается в недельный срок написать отзыв. Я вернул материал с отрицательной оценкой. Он был сделан в традиционной, кондовой манере и вдобавок написан некрасиво. То был, как выяснилось год спустя, весьма неосторожный шаг: текст принадлежал перу первого проректора академии Хлябича.

Через некоторое время меня вновь вызвали к тому же товарищу. На этот раз он осведомился, не смог ли бы я составить альтернативный текст на ту же тему. Когда же я стал ссылаться на свою аспирантскую загрузку, Матковский сменил тон и сказал, что мне поручается сделать это. Тут уж деваться было некуда. Написанное мною Матковский забрал без каких-либо комментариев (такой, кстати, господствовал тогда стиль отношений).

Казалось, наши контакты пришли к завершению (хотя, признаюсь, очень хотелось узнать, как оценили мой труд). Подошли январ-

ские каникулы, и захотелось отправиться — впервые за академические годы — в дом отдыха. Но мне отказались выдать путевку. Проректор поначалу отнекивался, а потом сообщил, что причина — звонок из ЦК без каких-либо объяснений. Час от часу не легче! Еще пару дней я бродил по опустевшему общежитию, сменяемый тревогой и теряясь в догадках. Наконец позвонил тот же Матковский, сказав, что завтра мне предстоит поехать с ним на «одну встречу». Весь следующий день, почти безвылазно, просидел в своей комнате. Но телефон зазвонил лишь еще через сутки. И около шести часов вечера к подъезду академии подкатил черный «ЗИМ» (наряду с «ЗИЛом» — начальственный лимузин тех лет), в котором восседал Матковский. Он повез меня к Куусинену, на его дачу в Снегири. Нужно ли говорить, как я был взволнован: безвестный аспирант, еду на встречу с членом Президиума, секретарем ЦК!

Старик встретил меня у лестницы, разговаривал доброжелательно, временами даже, казалось, ласково, угостил кофе и чем-то еще. Повел общие разговоры о мировой ситуации, о теме диссертации и связанных с ней проблемах, задавал много вопросов, особенно относительно зоны антиколониального движения. Затем заявил: «Я вижу, вы неплохо разбираетесь в проблеме». Тут подал реплику Матковский: «Еще бы, больше трех лет только этим и занимается». Но в ответ услышал: «У нас есть академики, которые всю жизнь занимаются каким-то вопросом, но от них ничего не получишь». Позже я понял, что это реакция на разочаровывающий опыт работы с группой ученых, первоначальных авторов учебника «Основы марксизма-ленинизма». Упомянув, что по решению ЦК готовится такое издание, Отто Вильгельмович, как бы завершая беседу, сказал, что просит («мы просим») «помочь ЦК и принять участие в работе авторского коллектива».

Не замечая предостерегающих жестов Матковского, я стал отнекиваться, ссылаясь на свои аспирантские обязанности, на сроки диссертации и т.п. На обратном пути Матковский подверг меня основательной проработке, утверждая, что я «испортил впечатление» своими отговорками, непониманием «оказанного доверия». Не знаю, так ли это, но через пару дней меня перебазировали в подмосковный поселок Новые Горки — место пребывания авторского коллектива. Началось почти 8-месячное «сидение» там.

Новогорковский период был для меня и учебой, и трудным испытанием. Учебой, потому что столкнулся в рабочем и каждодневном общении с первоклассными специалистами, думающими и творчески ориентированными людьми, с процессом обсуждения и изложения на бумаге сложных и многообразных проблем, с подходом и оценками самого Куусинена, человека многоопытного, умного и мыслящего весьма нешаблонно. Испытанием, потому что предстояло не потеряться и не ступешаться в этой компании, доказать, что в состоянии сделать то непростое дело, ради которого меня сюда допустили.

Собравшиеся в Новых Горках люди были «второй сменой». С первой, признанными профессорами, у Куусинена дело не заладилось. И когда летом 1957 года Отто Вильгельмович, войдя в руководство партии, получил известную свободу действий, он решил набрать молодых. Теперь основную роль играли А. Беляков (будущий первый заместитель заведующего Международным отделом ЦК, затем посол в Финляндии), Г. Арбатов, член-корреспондент Академии наук А. Милейковский, член редколлегии журнала «Новое время» Л. Шейдин. И во «втором ряду» — Ф. Бурлацкий, И. Кон, Б. Лейбзон, Ю. Мельвил, я, еще несколько человек.

Исключая Арбатова, всех остальных я увидел впервые. Но на даче царила столь непринужденная и благожелательная атмосфера, что безвестный аспирант не почувствовал себя чужаком. Более того, именно оттуда пошли долгие, добрые отношения со многими из тогдашних «новогорковцев»: с Шейдиным и Лейбзоном (оба — блестящие журналисты, мудрые также и в житейском смысле люди, отзывчивые и доброжелательные), Арбатовым (высококласный профессионал, человек с политическим складом ума), наконец, с Беляковым. С ним довелось впоследствии довольно продолжительное время работать вместе, не раз, к моей пользе, вдвоем готовить различные материалы, и о нем стоит сказать особо.

Это был одаренный природой, талантливый, но своеобразный человек. Капризный и малопредсказуемый, не чуждый порой позы и игры на публику, чиновник, работающий «квантовым» методом (когда найдет вдохновение), сибиряк, попавший в Москву уже сложившимся человеком, он получил столичную «полировку» благодаря первой жене, Арфо Петросян. В ее доме — она занимала пост председателя Российского комитета по делам искусств, а затем директора Института мировой литературы — часто бывали видные писатели, и она ввела Алексея в этот круг. Их изреченил он любил нам пересказывать. В частности, такое, принадлежавшее, по его словам, Леониду Леонову: «Русский интеллигент умеет потрафить начальству. Не только лизнет, но и скажет: “Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство, нагибаться и проч. Я изловчусь сам...”».

Человек с несомненными либеральными наклонностями, шедши как от гибкого, аналитического ума, так и от некоторой богемности характера, Беляков в то же время не мог — не позволял себе? — выходить за определенные идеологические рамки. Может быть, это и было причиной каких-то комплексов, которые его явно сносили. Свою карьеру Беляков завершил не лучшим образом. В начале 70-х годов он, по неизвестной мне причине, был отправлен послом в Финляндию. Там не пришлось ко двору финскому президенту: то ли из-за того, что однажды пришел к нему, как утверждали, не вполне трезвым, то ли потому, что остался верен дружественным связям с местными коммунистами. Как бы то ни

было, Кекконен нажаловался Брежневу, а приглашенный к нему для объяснений Беляков, будучи в некотором подпитии, послал, говорили, и позвонившего секретаря, и его шефа по известному русскому адресу...

Проводили мы в Новых Горках, как правило, безвыездно всю рабочую неделю, домой возвращались только на выходные. Моим уделом была глава «Национально-освободительное движение народов против колониализма». Давалась она мне трудно, но серьезно помог задел, сложившийся при подготовке диссертации. Это была интересная работа. В коллективе господствовал по тем временам творческий, антидогматический дух, критически осмысливались многие из считавшихся ранее незыблемыми истины, больше, конечно, по части спятил сталинских напластований с ленинских положений. Сам Куусинен обеспечивал достаточно простора для таких размышлений.

Хоть и в разной степени, все или почти все были заряжены настроением, импульс которому дал XX съезд. Работали с желанием, стремились нащупать новые идеи и дать им выход (ведь писалась книга-учебник, которой были уготованы большие, в итоге миллионные тиражи). В окончательном виде книга, даже оставаясь в рамках определенной идеологической схемы, несомненно представляла шаг вперед в раскрепощении мысли, резко отличалась от существовавших официальных изданий на эти темы. Она была хорошо встречена научной общественностью.

Между тем диссертационная гонка вышла на финишную прямую. Я прилагал все усилия, чтобы уложиться в срок. Мне это удалось, и в мае 1958 года состоялась защита. Отличалась она, пожалуй, только тем, что один из официальных оппонентов был с большими «эполетами» (академик Е. Жуков), а другой носил громкую фамилию (Ю. Семенов — сын единственного в то время побелевского лауреата в Советском Союзе), в роли же неофициального оппонента выступал блестящий востоковед — член-корреспондент АН А.А. Губер. О диссертации все они отозвались лестно. Но особое воодушевление у меня вызвала рекомендация опубликовать ее, за чем вскоре последовал договор с издательством «Мысль». Я еще не знал, что работа над рукописью послужит и якорем, и светлячком надежды в море неприятностей, которые ожидали меня.

А случилось вот что. Наступила пора распределения аспирантов, закончивших срок обучения. Подавляющее большинство возвращалось в распоряжение рекомендовавших их партийных комитетов. Я, естественно, назад не собирался и, казалось, мог быть спокоен. Наверное, не без связи с работой под началом Куусинена получил несколько предложений остаться в Москве: консультантом в журнале «Коммунист», главным редактором издательства «Мысль». В силе оставалось и прежнее предложение пойти в ТАСС. Я решил остановиться на «Коммунисте». Действовали главным образом «шкурные»

соображения — перспектива осесть в Москве, быстро получить жилье. Куратор академии в ЦК Полина Яковлевна Михайлова сообщила в Баку, что я остаюсь в Москве.

И вдруг меня вызывают к первому заместителю заведующего Международным отделом ЦК В. Терешкину и предлагают должность референта по Индии. Я отвечал, что уже дал согласие на работу в «Коммунисте», но, если с журналом договорятся, готов. Через пару дней меня вновь пригласили в тот же отдел, но к другому заместителю заведующего — М. У него в кабинете сидел высокий седовласый мужчина с мохнатыми бровями над неглубоко посаженными глазами — А.М. Румянцев, шеф-редактор «Проблем мира и социализма», издававшегося в Праге журнала коммунистических и рабочих партий. Он почти сразу заговорил о том, что Сталин многое «напутал» в национальном вопросе и только у Шаумяна, не говоря, конечно, о Ленине, можно найти тут путное. Редакция намерена уделить особое внимание этому вопросу и предлагает мне поехать на работу в Прагу.

О журнале я знал мало, вышли только первые номера, но нетрудно было сообразить, что речь идет об интересной работе, да еще в Праге. Но я был парализован одной мыслью — о столичной прописке. Она застала все, и я стал отказываться, ссылаясь на то, что уже дал согласие пойти в «Коммунист». Не образумила и угрожающая реплика М.: «Учтите, вопрос о вашем распределении еще не решен, можете в Баку загреметь». Более того, то ли подхлестываемый «кавказским темпераментом», то ли просто не зная, как поступить, я бросил в ответ: «А что, Баку — место ссылки, что ли?».

Я ушел с тревожным ощущением, что произошло что-то недоброе. И оно меня не обмануло. Через пару дней мне позвонила Полина Яковлевна и сообщила, что все сделанные ранее предложения о работе «отзываются». Она мне явно сочувствовала, но не знала или не могла сказать, чем вызван такой камуфлет. Визит к Л.Ф. Ильичеву, заведующему Отделом пропаганды и агитации ЦК, депутации из профессоров Г. Глезермана, Г. Гака, М. Розенталя, которые пришли ходатайствовать за аспиранта В. Типухина и меня, ни к чему не привели. Он им заявил: «Мы уже отправили вашего Канта в Сибирь. Брутенцу также будет полезно охладиться в Баку». Слова о Канте относились к В. Типухину, и они требуют разъяснения.

Лица многих моих академических однокашников стерлись из памяти, но В. Типухина и многое, с ним связанное, хорошо помню до сих пор. Невысокий, почти лысый, из-за чего и без того высокий лоб его казался еще выше, с бледным лицом и впалыми щеками, почти всегда одетый в китель серого цвета из ткани, напоминавшей коверкот. Сибиряк, фронтовик с боевыми наградами, немногословный и не слишком улыбочивый, он из тех, кто без видимых усилий завоевывает авторитет и уважение окружающих. Типухин был самым

знающим, самым способным аспирантом на нашем курсе. Он читал немецких классиков, Гегеля в оригинале (наши профессора стеснились определить его в Институт философии — гегелеведение находилось в глубоком упадке).

Но у Типухина не сложился разговор с первым заместителем заведующего Отделом пропаганды и агитации ЦК В. Снастиным. Вениамин обладал развитым — сегодня я бы сказал «нормальным» — чувством собственного достоинства. Он не стал прятаться за ставшими дежурными фразы вроде «пойду туда, куда сочтет нужным направить партия...» и сказал, что считает целесообразным продолжить в Институте философии изучение Гегеля, а к тому же осведомился у Снастина, почему тот говорит ему «ты», ведь они впервые встретились. Результатом оказались вывод о «зазнайстве», «самоуверенности» и... Сибирь, Омский сельскохозяйственный институт.

Позднее, в 60-е годы, делались попытки, в том числе по моей инициативе (я действовал через помощника Ильичева, в ту пору секретаря ЦК) вернуть Типухина в Москву, но из этого ничего не вышло. Думаю, судьба Типухина, яркой и одаренной личности, которой, как и многим другим, не дали себя реализовать, была искажена бюрократическим «восторгом» чиновников, чье поведение, впрочем, адекватное системе, вместе с тем умножало ее пороки. Много позже, набравшись смелости (не хотелось ставить в неловкое положение пожилого человека), я спросил у Ильичева, почему ему захотелось отправить «Канта» в Сибирь. Он отговорился: «Да просто так сказал, для красного словца, разговаривал-то с профессорами философии».

В мою же судьбу попытался вмешаться академик Ф. Константинов, редактор «Коммуниста», — вернуться к журнальному варианту распределения. Позвонив мне, он уверенно заявил, что «сегодня будет у Ильичева и все уладит». Но на завтра ответ был разочаровывающим. По его словам, Ильичев колебался, но всю усердствовали Хлябич (вот когда аукнулась моя рецензия!) и Снастин. Безуспешным оказалось заступничество Куусинена, возможно не слишком активное.

Я до сих пор не знаю, что произошло, и это тоже знак времени. Как бы то ни было, жребий мой определен. В противоположность своей первоначальной рекомендации Полина Яковлевна запросила у удивленных азербайджанских коллег заявку на меня. Такой поворот событий я воспринял чуть ли не трагически, как еще более сильный удар, чем фиаско при первой попытке поступить в академию. Весь четырехлетний напряженный труд, все усилия и полученные знания — все, казалось, шло насмарку.

Примерно за неделю до моего отъезда из Москвы позвонила добрая и внимательная Полина Яковлевна и посоветовала пойти на прием к Ильичеву. Леонид Федорович принял радушно. Так и не

сказав, в чем состоит моя вина, он, тем не менее, напирал на то, что происшедшее станет полезным уроком. Несколько подбодрило то, что он настойчиво рекомендовал продолжать заниматься избранной «важной и интересной проблемой» и уверял, что будет («мы будем») внимательно следить за этой моей работой. Дважды мною повторенное, что это трудно, даже невозможно в Баку, хотя бы потому, что там нет иностранной литературы, он оставил без внимания. На том мы и расстались.

И солнечным сентябрьским днем я сел в поезд. Впереди снова был Баку, родной и привычный, но одновременно чужой и нежеланный. Провожавшие меня друзья — В. Зевин и З. Гребельский удрученно смотрели вслед уходящему поезду и, как потом рассказывали, дружно ругали меня за проявленные «капризность и упрямство».

2. В МОСКВУ — ЧЕРЕЗ ПРАГУ

В Баку я очутился в сложных для себя обстоятельствах. Непредвиденное и никак не объясненное возвращение не могло не вызвать вопросов и нелестных догадок. Правда, официально все выглядело вполне нормально. Должность, обозначенную в заявке (заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации горкома), для меня держали.

Но я-то не испытывал никакого желания вернуться в аппарат. Отвращали доминировавшие там нравы, прежде всего в национальном вопросе. Парадоксально, но именно там дискриминационно-националистические мотивы нередко звучали куда сильнее, чем за его пределами. Впрочем, если вдуматься, это, напротив, выглядело закономерным, ибо партийные структуры служили носителями и проводниками национальной политики определенного сорта.

После Москвы и академии это представлялось особенно нетерпимым, так же как стал очевиден довольно низкий уровень этих структур в республике. Да и содержание предстоящей работы полностью расходилось с приобретенной в академии специализацией. И главное, из аппарата было бы труднее уйти, чтобы уехать из Баку: мысль об этом, несмотря ни на что, я не оставил. Наконец, пужно было свободное время для подготовки рукописи к изданию.

Лучшим выходом представлялась преподавательская работа. Но руководители вузов, к которым я обращался, ссылались на заполненность штатов. В одних случаях это было действительно так, в других — нет. Не помогли ни мои, ни старые отцовские связи. Сложилось впечатление, что уже работающих преподавателей некоренной национальности терпят, но новых предпочитают не брать.

Оставалась одна дорога — в городской комитет партии, руководство которого, кстати, ко мне отнеслось вполне благожелательно. Я предпочитал вернуться к лекционной работе, она оставляла большую свободу. И мне пошли навстречу, утвердили лектором в ту же самую группу, где был руководителем до отъезда в академию.

Последующие месяцы и сегодня, издав себя, мне кажутся такими же серыми, какими виделись тогда. Я исполнял примерно те же

обязанности, что и прежде, но без огонька, хотя на лекциях, конечно, выкладывался, в том числе эмоционально: халтурить перед аудиториями не пристало. Старался избегать участия в составлении разного рода документов и речей. Все свободное время отдавалось будущей книге. Непосредственное начальство и товарищи по лекторской группе в этом мне содействовали. Подбадривали телефонные разговоры с Москвой, с В.М. Францевой, которая меня не забывала.

К лету 1959 года рукопись была почти готова, но некоторые вопросы требовали привлечения свежего материала. Тогда вмешалась Вера Моисеевна — она склонила Юрия Павловича, к тому времени ставшего ректором АОН, ходатайствовать о предоставлении мне месячного творческого отпуска для завершения начатой в академии книги. Первый секретарь Бакинского комитета Т. Аллахвердиев согласился помочь. И уже через неделю, в начале августа, я был снова в Москве, в практически пустом общежитии академии.

Август прошел в напряженной работе, от нее не отвлекало ничто. Шли каникулы, и даже перебраться словом было не с кем. В столовой подавали только обеды, это тоже сэкономило время: завтрак и ужин состояли из бутылки холодного молока и французской булки (мы продолжали называть ее так, хотя в период патриотического возбуждения ее перекрестили в «городскую»). Отрывался лишь ради печальных визитов к Францевым, жили они рядом.

К концу августа в основном завершил работу, но это не улучшило скорее ухудшило настроение — близился час отъезда. Пребывание в Москве не могло не бередить рану, не оживлять ощущение утраты, не возвращать мысли все к той же проблеме: как бы все-таки выбраться из Баку? Я бродил по коридорам опустевшего общежития, и, помнится, меня не отпускало странное чувство. Щемящий отклик на новую встречу с родной академией, с библиотекой, с издательством (кажется, все так близко, только протяни руку) соединялся с горьким, пронзительным ощущением недоступности и призрачности всего этого (близок локоток, да не укусишь). Надеяться вроде было не на что.

Однако финал творческого отпуска оказался неожиданно оптимистическим. За два дня до отъезда Юрий Павлович вручил мне письмо на имя руководства Бакинского горкома с просьбой направить меня в распоряжение Института философии Академии наук. Я подозревал, что это было сделано после «понуканий» со стороны Веры Моисеевны, и мне предстояло убедиться в этом в недалеком будущем.

Маршрут из Москвы в Баку я проделал совершенно в ином настроении, чем год назад. Рассчитывал, что горком не станет мне препятствовать. Так и случилось. Аллахвердиев, так же как и Самедов, видимо, принадлежал к тем азербайджанским деятелям, которые достаточно трезво оценивали болезненный эффект проводившейся национальной политики. Более того, не без некоторого сочувствия

относился к положению «некоренных». Наверное, поэтому, а не только из симпатии ко мне 12 сентября 1959 г. меня освободили от должности «в связи с переходом на работу в Институт философии АН СССР».

С каким чувством я покидал Баку? Со смешанным, конечно. Не исключаю, у читателей может возникнуть впечатление, что я легко решался на расставание с родным городом. Это не так. Я очень любил Баку и сейчас все еще привязан к нему, хотя он стал чужим. Город, где родился, провел детство и юность, где пришла к тебе молодость с ее планами, радостями и смятением, город твоих родных и друзей, наконец, такой красивый, теплый и жизнерадостный город, как Баку, — с ним невозможно было расставаться без грусти, без ощущения потери. Но впереди, представлялось, были просторы жизни и работы, «сверкающие огни» Москвы.

По дороге в столицу решил заглянуть в Ереван, взглянуть в первый раз на свою историческую родину — Армению. Встретили меня очень радушно родственники, но главным образом академические однокашники. Гордясь, показывали город, щедро угощали. Одетый в розовый туф, Ереван был очень красив. Большое впечатление произвела, видимо заставив зазвенеть какие-то скрытые, псевдомые мне национальные струны, конференция в университете о геноциде турецких армян (первом в современной истории, стоившем жизни более чем миллиону людей, но не признанном до сих пор Турцией).

Не скажу, чтобы пребывание в Ереване радикально оживило мое национальное чувство. Но там не раз приходилось сталкиваться с удивлением и неодобрением собеседников, когда они узнавали, что я толком не знаю армянского языка. И это рождало ощущение какой-то ущербности, даже вины.

В Ереване был повод задуматься о неблагоприятии в национальных делах несколько с другой стороны, чем это занимало меня в Баку. Общеизвестно, что армян традиционно отличают прочные прорусские чувства и ориентация, несмотря на некоторые двусмысленные повороты царской и советской политики в отношении Армении. Не говоря уже о глубоких политических, культурных и личных связях армян с Россией, Армению, зажатую между готовыми уничтожить ее врагами, на такой выбор обрекала сама география. Тем более странными и на первый взгляд непонятными показались промелькнувшие зарницы недоброго отношения к русским.

В музее истории Армении экскурсовод, светловолосый (бывают и такие армяне) молодой человек лет 25, как выяснилось, выпускник Ленинградского университета, сопровождал группу офицеров-пограничников славянского вида. Говорил он красиво, его объяснения, выдававшие вполне квалифицированного специалиста, были интересны, но нафаршированы комментариями, как бы рассчитанными на то, чтобы уязвить слушателей претензиями на превосходство армян.

Конечно, он не обошелся без традиционного рассказа об армянских корнях Суворова. Затем последовали замечания типа: «Вот наши иконы и хачкары (камни с вырезанными крестами), армяне приняли христианство в IV веке (301 г.), а Россия только шесть веков спустя. Вот наш алфавит, армяне его создали сами в IV веке (391 г.), а Россия получила кириллицу от болгар, и намного позже». Или: «Вот серебряный поднос. Его брали из музея, чтобы вручить хлеб-соль Ворошилову. А раньше такие блюда-подносы были почти в каждой армянской семье». К чести слушателей, они на это видимым образом не реагировали.

И еще одна иллюстрация. В ту пору я был холостым, и, разумеется, эта тема неизменно фигурировала в компаниях родных и друзей, здесь она тоже поднималась почти за каждым накрытым столом. Оригинальным, однако, стало то, что один из моих гостеприимных хозяев вдруг бросил: «Надеюсь, ты не запятнаешь себя, соединившись с русской женщиной». И хоть это было сказано шутливо, то была шутка из числа тех, в которых содержится лишь доля шутки. Я потом гадал: явилось ли это просто рецидивом бытовых традиций («жсниться только на своих») или нечто новое? В любом случае было более чем странным слышать это от выпускника АОН при ЦК КПСС.

Вопреки этим призывам и предостережениям я все-таки «запятнал» себя. Через пару лет женился на русской девушке — Алле Александровне Китаевой. 45 лет минуло с тех пор, как я, преподаватель, в вузовской аудитории Азербайджанского политехнического института впервые увидел ее, красивую, но стеснительную и скромную студентку. Начитанная и сообразительная, она, однако, никогда не старалась выделиться, «тащить одеяло на себя». Скоро я непроизвольно стал высматривать в стайке толпящихся у института студентов ее красные полупальто и берет. А 36 лет назад Алла вошла окончательно и незаменимо в мою жизнь, и годы эти мы не просто прошагали рядом, мы прошли их вместе. Расхожая фраза о том, что в жизни мужа не состоялось бы то, что состоялось, если бы не жена, вряд ли где-либо ближе к истине, чем в нашем случае.

До Москвы я добрался, исполненный радужных надежд. Выяснилось, однако, что я теоретически имею работу, но не располагаю ни жильем, ни пропиской. Я оказался внутри типично московской квадратуры круга: на работу нельзя оформить, ибо отсутствует прописка, а ее нет, в частности, потому, что находишься без работы. Почти полтора месяца жил наподобие бомжа — ночевал где придется: у знакомых, в академии, прячась от коменданта, в гостинице. Урегулировать ситуацию можно было лишь с согласия уже известного читателю Снастина. Но Юрий Павлович, несмотря на нажим Веры Моисеевны, не решился это сделать: моя опала, считал он, была свежа.

Между тем подыскивать ночлег становилось все труднее, давали о себе знать и материальные проблемы. И тут меня вызвали в Международный отдел ЦК — это было делом рук моего приятеля В. Гаврилова — и предложили поехать в Прагу. Естественно, я сразу же согласился: опасался снова навлечь на себя гнев «высших сил», да и выбора особого не было. Через полторы-две недели объявили, что я утвержден редактором-консультантом журнала «Проблемы мира и социализма». Так — как-то быстро и буднично и, казалось, слишком просто, вроде независимо от меня — завершились мои долгие усилия уехать в Россию.

Конечно, то, что удалось выбраться, — это прежде всего результат моей целеустремленности, упорства и настойчивости. Во все времена верен афоризм, что каждый человек сам кузнец своего счастья. Но несомненно и то, что я вряд ли добился бы цели, если бы не помогли добрые, отзывчивые люди. На моем жизненном пути их встретилось немало: В. Медведев, Л. Джавадова, В. Самедов, Т. Аллахвердиев, Р. Агабабов (другой секретарь Бакинского комитета партии) — в Баку, В.М. и Ю.П. Францевы, В. Гаврилов — в Москве. В судьбе многих бывают такие люди, и счастливы те, кому это даровано. Сегодня я корю себя за то, что связи с некоторыми из них были утеряны.

На предшествующих страницах много, быть может, слишком много говорю о своем намерении покинуть Баку. Я действительно стремился к этому всей душой, но вовсе не потому, что строил какие-то честолюбивые планы. Это было единственным способом вырваться из петли практиковавшейся там национальной политики к жизни полнокровной, без дискриминации, к работе по интересу и по душе. Даже если допустить, что я был слишком амбициозен и слишком рвался из Баку (предлагаю такое допущение лишь для того, чтобы исключить подобного рода возражения — так сказать, для чистоты опыта), все равно бесспорно: уже в конце 50-х годов представителю некоренной национальности, чтобы сделать карьеру, нужно было, как правило, покинуть национальную республику.

Недавно у меня произошла любопытная встреча. Водитель машины, взявший меня подвезти, оказался азербайджанцем. Мы заговорили о Баку и, перебивая друг друга, почти в одних и тех же словах начали объясняться в любви к нему. Муслим — так звали водителя — пожаловался, что наш родной город не узнать: настолько он изменился к худшему. Поставил кассету с азербайджанским мугамом (песней). При первых же звуках лицо его погрустнело и он проговорил: «Когда слушаю это, душа радуется, а сердце болит». Он отказывался взять деньги, твердя: «Вы можете так уходить». На прощание осведомился, кто я по национальности. Услышав, что армянин, заключил: «Я так и думал — и вам и вашей семье всего хорошего желаю». Вроде мелкий, частный эпизод. Но в нем просве-

чивает нечто большее: искусственность разожженной национальной вражды, тоска по временам межнационального добрососедства, по Баку — прежнему.

Не один десяток лет у нас была в ходу присказка: «Курица не птица, Болгария не заграница» (парафраз дореволюционной поговорки «Курица не птица, прапорщик не офицер»). Наверное, в ней слышался отзвук особой, «братской» близости Болгарии к Советскому Союзу. Но главный смысл состоял, очевидно, в том, что это не настоящая (не капиталистическая) заграница. Для меня образца декабря 1959 года настоящей была всякая заграница, ведь я еще никогда не покидал пределов страны. Понятен поэтому легкий душевный озноб, который я испытывал в преддверии отъезда. Возможно, и он сыграл свою роль в незадаче, случившейся со мною в Бресте и придавшей моему вояжу некоторый приключенческий привкус.

В путь я отправился с Белорусского вокзала, где меня провожали Францевы и пара приятелей, поездом «Москва — Берлин». В Бресте (тогда там проводились процедуры, связанные с пересечением границы) проводник объявил, что поезд простоят несколько часов и отправится дальше в 15.40. Я, естественно, употребил свободное время, чтобы посмотреть Брестскую крепость, где уже создавался мемориал. Вернувшись минут за 10 до срока, увидел, что признаков близкого отправления нет — пассажиры фланируют по перрону, а проводников у вагонов нет. Не дойдя до своего вагона, осведомился у какого-то железнодорожного чина, в чем дело. Он ответил, что у меня неправильная информация: поезд «Москва—Берлин» отходит не в 15.40, а в 17.40. И я легкомысленно отправился продолжать прогулку. Когда же заявился вновь через час, к своему удивлению и ужасу узнал, что, хотя у той же платформы все еще стоял состав «Москва — Берлин», мой поезд уже ушел. Оказывается, проводник поленился сообщить маленькую «мелочь»: пражский вагон в Бресте перецепляется к поезду, идущему в Варшаву, а тот стоит совсем на другом пути.

Не стану описывать свое состояние: первая поездка за границу — и первый же блин комом. Военный комендант, к которому, как обычно, был заброшен изъятый багаж отставшего пассажира, утешал меня тем, что случившееся — заурядное дело. Он посоветовал сесть на все тот же берлинский поезд и нагнать в Варшаве свой вагон, который в ожидании пражского маршрута простоят там четыре часа. Я так и сделал. Проводники, отнесшиеся ко мне сочувственно, объяснили, что в Варшаву придется перебираться с одного вокзала («Варшава-центр») на другой («Варшава-главная»), где стоит мой вагон. Потребуется взять такси, и тут не обойдешься без злотых. Те же сердобольные проводники снабдили нужной суммой, правда попросив взамен мой красивый шерстяной шарф. Когда ночью поезд остановился на вокзале «Варшава-центр», наш вагон, один из последних в составе, оказался как бы в поле, на возвышении — железно-

дорожный путь пролегал по высокой насыпи. Но внизу вилась хорошо освещенное шоссе и виден был козырек автобусной остановки. Волоча тяжелый чемодан и боясь поскользнуться, я спустился по заснеженному откосу. Мне повезло: подвернулось такси, оно быстро довезло до места назначения. На вокзале в этот ночной час почти никого не было. В тускло освещенной комнате, куда меня направили, толпились люди в рабочей одежде, получая у стоявшей за стойкой девушки какие-то бумажки, наверное наряды. На вопросы не отвечали, делая, как показалось, вид, что не понимают по-русски. Сжалилась надо мной девушка, она даже проводила меня до пражского вагона. Проводник отнесся к моему появлению абсолютно буднично, чувств никаких не изведав и не обнаружив.

Ненастным декабрьским утром я пересек порог бывшего монастыря, где размещалась редакция «Проблем мира и социализма» («ПМС»). Массивное приземистое здание, увенчанное большой круглой башней, тяжелое и мрачное в плохую погоду, оно преображалось в погожие дни, становилось легким и приветливым. Его контуры четко вырисовывались на фоне обычно серого зимнего пражского пейзажа — чешская столица обогревалась бурным углем и дым одевал ее шапкой своеобразного смога. У здания был припаркован десяток автомобилей, внутри суетились люди.

Недавно я вновь побывал в Праге, естественно, пришел и «монастырю», где мы обитали. Его возвратили какой-то религиозной организации. Я устроился на скамейке в небольшом садике напротив. За полчаса дверь в здание не открылась ни разу, на прилегающей площадке не было автомобилей. Заглянул внутрь — тихо, жизнь там едва теплится. Подумалось, что этот монастырь уже пережил и еще переживет многих временных сидельцев вроде нас и нынешних...

Меня определили в отдел национально-освободительного движения. Работа оказалась во многих отношениях новой и давалась не без труда. Опыт, полученный на практике в «Правде», был слишком краткосрочным да и ограниченным. Здесь предстояло «вести» статью на всем протяжении редакционного процесса: сверка перевода на русский, редактирование, согласование с автором (обычно менее покладистым, чем советские), обсуждение на редколлегии и учет замечаний, новые согласования с автором и т.д. Надо было также постоянно общаться с руководящими деятелями и функционерами иностранных компартий. Этому тоже предстояло научиться.

Журнал «ПМС», по сути дела, создавался на руинах Коминформа, как бы взамен его газеты «За прочный мир, за народную демократию». Руководство КПСС видело в журнале инструмент сиюминутного под ее эгидой коммунистических партий, укрепления своего доминирующего положения.

Трудно сказать, насколько он выполнил эту функцию. Организационной скрепой «ПМС», конечно, не служил и не мог служить.

В идеологическом же отношении он сыграл известную, главным образом координирующую, роль, хотя уже стали достаточно заметными автономные тенденции партий. На редколлегии и в редакции постоянно шли споры о том, имеет ли редколлегия право вносить поправки в статьи, присланные из партий, и иностранные представители категорически возражали против этого. В постановке многих вопросов «ПМС» выглядел более прогрессивным, чем советские издания. Для многих из Союза, работавших в редакции, журнал был своего рода отдушиной. Здесь проходили более раскованные идеи, чем дома, здесь они в известной мере «легализовались». Характерно, что в Москве поначалу кое-кто даже пытался ограничить распространение журнала в СССР.

В редакции, безусловно, преобладала советская часть, самая многочисленная. КПСС направляла шеф-редактора и одного из ответственных секретарей, на ней же лежало основное финансовое бремя, журнальный эталон готовился на русском языке.

В то время шеф-редактором и представителем КПСС был А.М. Румянцев — член Президиума ЦК КПСС, избранного на XIX съезде и фактически распущенного после смерти Сталина, бывший заведующий Отделом науки ЦК, академик. Он был человеком довольно чутким к новому и благожелательным, прямым и порядочным, упорным и упрямым, обладал совсем нечастой привлекательной чертой — не отстранялся от подчиненных, понавших в беду, защищал их и перед лицом сильных мира сего. После журнала возглавил «Правду», но двухгодичная статья об интеллигенции, где он особо подчеркивал ее значение, стоила ему этого поста. Румянцев любил протектировать молодым. Мне кажется, это происходило из понимания общественной важности их роста и в равной мере доставляло ему удовольствие ощущать себя делом-покровителем.

Отнюдь не легко и не всегда последнее слово оставалось за советской частью. Представители ряда партий уже тогда достаточно твердо отстаивали свои позиции, иногда проявляя при этом и свои личные амбиции. Выделялся представитель Французской компартии Ж. Канана (в недалеком будущем «серый кардинал» при Ж. Марше, во многом повлиявший на изменение курса этой партии в отношении КПСС), умный, образованный и язвительный человек, не очень жаловавший советских работников. С упорством и выразительностью проводили линию своих партий, уже тогда во многом специфическую, итальянец И. Группи, венгр Ш.Л. Лакош. Запомнились также представительница Восточной Германии А. Берг, болгарин И. Ирибаджаков, бразилец П. Мотта Лимо, аргентинец П. Альберди, сириец М. Амин.

При всех различиях в эрудиции, человеческих качествах и политических пристрастиях иностранные представители привлекали мое внимание одной характерной чертой. В том, как они представляли

политику своих партий, в их подходе к проблемам было, на мой взгляд, больше, чем следовало, если придерживаться официальной идеологии, национального и меньше, чем следовало, интернационального. Их интернационализм, пусть порой словесный, был обращен преимущественно в сторону Советского Союза (согласно усиленно продвигавшейся нами формуле о том, что интернационалист тот, кто поддерживает СССР). Отношения же с другими партиями начинали имитировать отношения между суверенными государствами.

Журнал в какой-то степени помогал, по крайней мере внешне, унифицировать идейные подходы компартий и сдерживать растущее многообразие их взглядов на различные проблемы. Но в недрах редакции набирал силу и обратный процесс. Я уже упоминал о неортодоксальном ручейке, который отсюда вливался в советскую общественную мысль. Но показательна и мировоззренческая траектория наших людей, работавших в «монастыре». Это почти сплошь будущие «ревизионисты».

Если брать мой срок, то это Н. Иноземцев, директор ИМЭМО, член ЦК, на одном из пленумов затронувший вопрос о реформировании существующей государственной монополии внешней торговли и получивший суровую отповедь, которая помогла ему приобрести инфаркт; Г. Арбатов, директор Института США и Канады, член ЦК, вместе с Иноземцевым ближайший советник и спичрайтер Брежнева; Ю. Карякин — известный радикальный демократ, прославившийся незабываемой фразой: «Россия, ты сдурела»; Е. Амбарцумов, пламенный демократ первой проельцинской волны, ныне разочаровавшийся и нашедший убежище в дипломатической синекуре; А. Черняев — член ЦК, помощник Горбачева в 1986—1991 годах; Г. Шахназаров — член ЦК, тоже помощник Горбачева в эти годы; В. Загладин — член ЦК, доверенный советник Брежнева, а в 1988—1991 годах — Горбачева; Ю. Жилин — один из самых способных работников Международного отдела, последовательный антисталинист и т.д.

Были, конечно, в советской части и люди совсем иного плана — из аппаратной и, порой особенно рьяные, из научной среды. Скажем, один из ответственных секретарей И. Виноградов: до журнала — первый заместитель заведующего Отделом социалистических стран ЦК, человек умный и в обыденном обращении с людьми ровный. Говорили, что он переместился в Прагу после того, как беседа Суслова с каким-то иностранным представителем была прервана залившим храпом присутствовавшего тут же Виноградова. Болезненная способность внезапно впадать в сон у него действительно имелась, и я однажды это наблюдал. Но запомнился он более всего в связи с организованной им проработкой китайского представителя в журнале Чжао И Мина. Было это летом 1960 года, только что закончилась необъявленная встреча присутствовавших на румынском съезде деятелей коммунистического движения, где Хрущев обрушился на ал-

банцев и китайцев. На редколлегии в течение нескольких часов шла «экзакуция» китайца, причем особенно усердствовал Виноградов (Румянцев отсутствовал), не стесняя себя ни в тоне, ни в выражениях. И я снова испытал тягостное чувство стыда и неловкости, как несколько лет назад в связи с «избиением» Багирова (мне предстояло пережить подобное еще раз, четверть века спустя, когда на Пленуме ЦК его участники обрушатся на Ельцина): те же коллективный «навал» и игра в одни ворота, вызывающая надуманность обвинений и унижающая грубость. Вместе с тем поразило внешнее бесстрашие китайца, который, не моргнув глазом, выслушивал долгие нападки. Позже я еще несколько раз сталкивался с этой многозначительной китайской чертой цивилизационного, что ли, происхождения.

Еще один «сосланный» в редакцию руководящий работник — М., тот самый, что помог мне загреметь обратно в Баку. Ему пришлось в Праге хуже. Львиная доля авторитета бюрократа определяется столом, за которым он восседает, тайной, которой он себя окружает. Конечно, в редакциях есть тоже свои «столы», но их куда меньше, да и тайной их окружить невозможно: для престижа нужно прежде всего перо. Казалось, все было сделано, чтобы поддержать статус М.: выделили просторный кабинет, поставили личный аппарат «ВЧ» (междугородняя правительственная связь), подчинили все, что можно было собрать, под него: референтуру, библиотеку и т.д. Но это не уберегло вчерашнего распорядителя наших судеб от иронического отношения подчиненных, которых он донимал пустыми вопросами.

Отдел национально-освободительного движения практически имел дело лишь с коммунистическими партиями «третьего мира». Его масштабы и многообразие обусловили частую смену тем и регионов. Это, конечно, создавало дополнительные трудности, но и обогащало информацией, контактами. Так, подготовка аграрной платформы Сирийской компартии свела меня с ее Генеральным секретарем Халедом Багдашем, фигурой колоритной и тогда самой влиятельной в арабском комдвижении. Он принадлежал к старшему поколению коммунистических руководителей, во многом походил на наших лидеров того же «разлива», но в восточном варианте. Умный, хитрый, с сильно выраженными волевым началом и политическим инстинктом, отличный оратор, довольно хорошо подкованный в идеологическом отношении, он был в то же время весьма авторитарен, капризен и не терпел возражений своих товарищей. Следующее поколение лидеров арабских коммунистов в большинстве своем было не намного демократичнее, но в целом заметно пожиже, куда менее марксистски образованным и более прагматичным.

Приходилось и писать на арабские темы под псевдонимом Карим Хафид, в частности энергично пожуричь Насера за антикоммунистические речи, пуская в ход и такие патетические фразы: «Нет, не стала и не станет арабским скакуном заезжая клича антикоммунизма

оттого, что ее оседлал президент ОАР Насер». Перечитав сейчас эту статью, пришел к выводу: по форме она сделана вполне прилично, но что до содержания, то оно, конечно, довольно примитивно.

В апреле 1960 года меня направили в Конакри, столицу Гвинеи, на Вторую конференцию солидарности народов Азии и Африки. Летел туда через Париж, где пробыл почти два дня. Чувство у меня было такое, что хоть ошупывай себя: не сон ли это — я в Париже?

Конференция пришлась на время бурного подъема антиколониального движения на Черном континенте. 1960 год будет потом назван годом освобождения Африки. В эти 12 месяцев к существовавшим здесь 11 независимым государствам добавились еще 16.

Сейчас то время кажется очень далеким. И наши журналисты, политологи почти изгнали из обращения слово «колониализм». Следуя полузабытым на Западе концепциям, они готовы говорить о его цивилизаторской роли на колониальной периферии, и только. Между тем колониализм был и причинил поработенным народам неисчислимые беды. Об этом в Конакри говорили много и страстно.

Но, по моему ощущению, главным было другое. В сознании больших масс людей в Азии и Африке произошел перелом, они уже не боялись своих колониальных хозяев, были настроены добиваться превращения этих континентов, по выражению одного из участников конференции, в «великий дом» живущих там народов. Именно здесь, в Гвинее, колониализм и антиколониальная борьба, хотя я этими проблемами занимался уже не первый год, впервые перестали быть для меня абстракциями. Я понял одну истину, в которую верю до сих пор: остановить движение этих людей к равноправному и свободному, человеческому существованию невозможно, сколько бы это ни заняло времени и какие бы неудачи ни преследовали их на этом пути.

Гвинея освободилась первой к югу от Сахары в 1958 году, вызвав гнев де Голля тем, что отказалась войти в предложенное им французское сообщество. Мне в Конакри показывали следы, оставленные «цивилизованными» французами: вырванные замки, ручки и шпингалеты, разбитые раковины, писсуары и ванны, выбитые двери и окна.

Радость гвинейцев по поводу изгнания французов, окрыленность молодежи были безмерными. Трогательно было наблюдать восторг толпы, наслаждавшейся, как красочными игрушками, атрибутами приобретенного суверенитета: флагом, протокольным ритуалом, гвардейским караулом у президентского дворца, приветствиями иностранных делегаций. Правда, это порой приобретало опереточный вид. Например, парад: впереди несколько десятков более-менее одинаково одетых солдат, идущих нестройными рядами, два пустых лимузина (из президентского гаража), «кадиллак» с самим президентом и т.д. Заметны были, пожалуй, и чрезмерно самодовольное удовлетворение гвинейского лидера, его «имперская» повадка. Здесь уже неизбежно

смешались и переплелись естественное чувство «человека с улицы», праздновавшего в такой форме возвращение достоинства себе и своей стране, обретение надежды на иное, лучшее будущее и расчеты политиков, торивших дорогу своим амбициям.

После конференции был прием в резиденции председателя Национального собрания Гвинеи С. Диалло. Именно здесь, в иллюминированном саду, я вдруг остро почувствовал, что нахожусь в таинственной и притягательной Африке из стихов детских лет. Южная ночь, низко нависшее черное небо, гуляющие по аллеям черные люди, звуки африканского оркестра и гортанный голос певца, шум океана — все это, сливаясь, наполняло напряженным ожиданием, создавало ощущение чего-то нереального, какого-то театрального действия.

Вывел меня из этого состояния довольно курьезный эпизод. Ко мне и обозревателю «Известий», покойному В. Кудрявцеву, подошел заведующий одной из редакций советского радио Б. Он жил с нами в одной гостинице. Характер его суетливой активности заставлял подозревать, что подлинной его профессией является отнюдь не журналистика. Но работал он, как нам казалось, явно неловко, к тому же весьма неважно знал французский язык. Он стремился перезнакомиться с различными людьми, и первым его вопросом неизменно было «Et qui vous etez?» (исковерканный французский, что-то вроде: «Кто вы будете?»). Так вот, мы видим, как к нам приближается высокий красивый негр в ослепительно белом элегантном костюме, молча обмениваясь рукопожатиями с присутствующими. То же самое он проделал с нами, мы раскланялись в ответ. И только «радиист», сжимал обеими руками ладонь негра, задал свой традиционный вопрос. Выдернув руку и не оборачиваясь, незнакомец бросил через плечо: «Секу Туре» — то был президент Гвинеи.

Через несколько месяцев, в августе, я побывал на Кубе. Ехали троим: представитель Гватемальской партии труда Альварадо (впоследствии его убьет гватемальская охранка, а изуродованный труп подбросят к дому его родных) и я — на съезд Народно-социалистической (коммунистической) партии, Антонин Горак, работник чешской части редакции, — передать деньги на кубинское издание журнала.

В те времена слово «революция» было едва ли не самым популярным в нашем политическом словаре, и мне думалось, что я много знаю об этом «локомотиве истории». Но на Кубе я впервые столкнулся с нею «живьем». В то время Куба напоминала слоеный пирог, рядом уживались уходящая и наступающая жизнь. В расположенном на берегу океана отеле «Коммодоро», где нас поселили, еще функционировали дорогие рестораны, казино с рулеткой и «черным Джеком» (нечто вроде игры в «очко»). Пышно одетые, в золотых позументах швейцары бросались открывать дверцы роскошных лимузинов. В саду до глубокой ночи играл дамский оркестр, а по кори-

дорам в купальных костюмах и туфлях на шпильках прогуливались «ночные бабочки» высокой пробы: еще недавно Куба служила курортом и публичным домом для американцев. А на втором этаже проходил съезд НСП, во дворе же дежурили одетые в серовато-синюю форму «милисианос» (народная милиция). Их автоматные очереди — результат неумелого обращения с новенькими «калашниковыми» — нередко вырывали нас из сна.

Съезд завершился самороспуском партии: она сливалась с организациями приверженцев Кастро. От имени движения «26 июля» участников съезда приветствовали два высших офицера вооруженных сил, молодые люди не старше 30, но с густыми бородами — «барбудос» (знак участия в вооруженной борьбе). Прения были более естественными и живыми, чем те, к которым я привык, временами даже страстными. Но действительно необычным было происходившее в перерыве: делегаты, среди них руководители партии Блас Рока, Аннибал и Цезарь Эскаланте, выстроившись в длинную цепочку, в затылок друг другу, стали танцевать пачангу. Это было не только данью кубинским традициям и темпераменту, но и проявлением непринужденности отношений между делегатами, между ними и лидерами. По окончании съезда иностранные представители отпраздновали в поездку по стране. Накануне, 13 августа 1960 г. они были запечатлены вместе с почти всем руководством НСП на первой полосе одного из последних номеров партийной газеты «Noticias de hoy». Я вглядываюсь в их оживленные и довольные лица и вспоминаю, сколь праздничной и окрыленной была тогда Куба и какой она внушала нам оптимизм.

Объехав за две с лишним недели почти весь остров, мы окупились в атмосферу, казалось, общенационального праздника, стали свидетелями мощного прилива энергии и надежды в стране. Повсюду была одна и та же картина: всеобщее возбуждение, толпы, жадно внимающие чуть ли не ежедневным, затягивавшимся далеко за полночь речам Кастро, готовность сделать трудное усилие во имя революции, вера в способность вырвать себя и родину из бесправного положения, наконец, чувство единения с окружающими собратьями — все, что для меня, книжника, складывалось в слово «революция».

Своего рода кульминацией стал митинг на центральной площади Гаваны — Плаза Сивика. На ней и прилегающих улицах шумело бескрайнее людское море: миллион двести тысяч человек, одна пятая жителей Кубы. Казалось, можно физически ощутить силу эмоций, которая владела этими людьми и волной подступала к трибуне, где находился Ф. Кастро. А он в пятиминутной речи проявил весь свой потенциал харизматического лидера, талант манипулятора массами, умеющего разговаривать с ними на понятном языке, мастера театральных жестов, импонирующих образному мышлению и темпераменту кубинцев.

После каждых нескольких фраз он останавливался, давая и собравшимся возможность «вступить в разговор». Вслед за шквалом аплодисментов начиналось своеобразное действие — ритмически покачиваясь, люди без устали скандировали лозунги, звучавшие по-испански как стихотворные строчки: «Куба — да, янки — нет!», «Фидель, Фидель, что за Фидель, он не поддается янки!», «Пушка, ракета, винтовка — Куба заставит себя уважать!» и т.д. Когда же Кастро картинно разорвал текст американо-кубинского военного соглашения и передал его обрывки «для хранения в музей истории», началось подлинное ликование.

Конечно, это триумфальное настроение порождалось в первую очередь тем, что кубинцы ощущали себя победителями. Но немалую роль играло и их представление о набирающем силу «наступлении» Советского Союза и очевидном «отступлении» империализма. Это было время Гагарина, в полете которого как бы воплотился этот наступательный дух. И так толковали происходящее не только наши официальные пропагандисты, подобные представления разделяли в тогдaшнем мире многие.

Вот маленькая иллюстрация этого. На обратном пути, пересаживаясь на европейский рейс, мы провели день на острове Кюрасао (тогда — Голландская Индия). Это очень красочное место, нечто вроде пересаженного сюда Амстердама с характерными для него городскими постройками и каналами. Прогуливаясь, мы зашли в какой-то магазин. Его владелец, распознав, что мы «оттуда», отнесся к нам без особой симпатии, но в общем лояльно. Завязался разговор, и в заключение, уже прощаясь, он вдруг сказал каким-то фаталистическим тоном: «Когда случилась ваша революция, я бежал в Шанхай, оттуда — в Кюрасао, теперь вы пришли сюда, на Кубу, и я решил ликвидировать свое дело и уехать в США. Но вы, наверное, придете и туда?».

Сегодня у нас предают анафеме само слово «революция». Пишущая чернь не щадит даже декабристов — этих рыцарей русской истории: как же, ведь они посмели покуситься на существующий порядок. Вот что можно было, например, прочитать о них в одном из массовых изданий: «Каждый расплатился за короткий миг упоения своей гордыней, пережитый 14 декабря 1825 года на Сенатской площади: одним — петля, другим — жизнь в унижении»¹ Иные, сдастся, с удовольствием вернулись к временам императора Павла, который тоже испытывал прямо-таки истерическое отвращение к революциям, запрещал пользоваться этим словом повсюду, включая Академию наук, даже когда в ее изысканиях речь шла о движении звезд.

Делают это не рассчитавшись с этим феноменом в России, не извлекая уроков, а подгоняемые невежеством, конъюнктурой и бо-

¹ 7 дней. — 1997. 13–19 окт.

язню тех, кто кривыми дорожками пролез в толстосумы. Разумеется, это — поветрие, и оно пройдет, как прошло на Западе. Нельзя ведь повернуться спиной к истории.

С революциями связано немало трагедий и несчастий. Но без революций история, наверное, замерла бы. Можно сколько угодно и не без оснований клясть их. Но бесспорно, что без французской революции не было бы современной Европы, что Англия, Франция, Соединенные Штаты не стали бы такими, какими они стали сегодня, если бы англичане не пережили Кромвеля и его «круглоголовых», французы не снесли Бастилию, американцы не изгнали англичан и не победили рабовладельцев в жестокой войне. Недаром в этих странах чтят свои революции.

И самое важное: революции совершаются не столько по велению революционеров, по злой воле какой-то группы людей, организации, партии, а прежде всего из-за тупости и ограниченности властей предрежащих, которые остаются глухи к зову времени. Чтобы предотвратить революцию, необходимо, чтобы те, кто правит, не были слепо и глупо эгоистичны, не теряли обратной связи с управляемыми. На Западе этому сумели научиться, в России, похоже, нет.

...Немало времени мы потеряли на Кубе из-за неаккуратности и неорганизованности хозяев. Это частично объяснялось общей обстановкой. Но сказывалась, очевидно, и «болезнь» латиноамериканцев, у которых не слишком развито чувство времени, ощущение его расчлененности и утекания. Весьма неприятные минуты пришлось пережить в день отъезда. За несколько часов до вылета должна была произойти заключительная встреча с представителями кубинского руководства. Мы приехали к назначенному часу, но они оказались еще в гуще какого-то бурного заседания. Время шло, на наши озабоченные комментарии кубинцы отвечали неизменным «*po es problema*» («нет проблемы»). Когда все же состоявшийся разговор закончился, времени оставалось более чем в обрез. На двух джипах (один с автоматчиками) мы помчались в аэропорт. Подбежав к стойке, над которой красовалась табличка «KLM» (нашей компании), услышали, что опоздали: самолет уже вырулил на посадочную полосу. Тогда, отодвинув нас и произнеся то же «*po es problema*», сопровождавшие охранники, направив на стоявших за стойкой служащих автоматы, потребовали вернуть самолет и посадить нас. Что, к нашему удивлению, и было сделано.

Возвратившись из командировки, я подготовил некий гибрид журналистского репортажа с политическими и теоретическими суждениями. В советской части это вызвало неожиданные сомнения: ссылались на неясность жанра, в котором написана статья. В защиту решительно выступил Б. Лейбзон. Он заявил, в частности, что долго преподавал на факультете журналистики МГУ и знает, что его выпускники — а сомневавшиеся были из их числа — зачастую хорошо

разбирались в различных жанрах, но не умели писать ни в одном из них.

Чему учат путешествия, чему учили они меня? Многому, разумеется, но тут скажу лишь об одном. Они помогают понять, что «самой красивой страны» на свете не существует. Открыв Кубу, Колумб записал в дневнике: «Куба — земля, прекраснее которой не видели глаза человека». Побывав там, я был готов этому поверить: она действительно сказочно красива. Но потом последовала Трансильвания, которая тоже поражает своей живописностью. Потом была Индия, и кто видел Кашмир, вполне может обратить к нему слова Колумба. А наши Подмосковье и Кавказ, не говоря уже о Сибири и Дальнем Востоке? Но если нет «самых красивых мест», то есть самые родные, и путешествия помогают это ощутить острее. Я бы даже сказал так: чужие пейзажи, природа, которые даются нам в путешествиях, тоже по-своему приподнимают нас над национальной ограниченностью, интернационализируют, но не подтачивают в нас национальное.

Жили мы в Праге довольно вольготно. Разумеется, за нами присматривали. Видимо, это делалось советской стороной. Но чехи (очевидно, не без согласования с ней) занимались этим определенно. В здании напротив «монастыря» расположилась чешская «беспечность» (безопасность). Как мне рассказывали, о ее неусыпном бдении сотрудники журнала доподлинно узнали, когда была изгнана одна редакционная парочка, использовавшая вечером письменный стол не по прямому назначению. «Беспечность» узрела это, надо полагать, глядя в наши окна с помощью оптических приборов.

Впрочем, это мало влияло на нашу жизнь, на складывавшиеся в редакции отношения. В сексуальной сфере здесь господствовал полнейший интернационализм. Что же касается наших материальных условий, они были вполне приличными. Я, например, получал 4,5 тысячи крон, между тем тогда только входившие в моду нейлоновые сорочки стоили 60—100 крон, а самые модные туфли — 350—400 крон.

У каждого из нас был рабочий кабинет, жили мы в небольших, но отдельных квартирах, в милом, очаровательном городе. Не буду здесь описывать красоты Праги — не смогу, да это и сделано много раз до меня. Скажу только: чешская столица стала моей нежной привязанностью. Это город камерной красоты и бесчисленных чудесных уголков, город, мое отношение к которому передает фраза, родившаяся у меня в тот год: «Счастлив тот, кто приезжает в этот город с любимой женщиной, а еще лучше — со своей первой любовью».

И в заключение еще один факт из пражской жизни, думается, многозначительный. Как-то во время работы над одной из статей почему-то понадобилось коснуться темы русского национального характера и в этой связи вернуться к соответствующему пассажиру ста-

линской речи на Параде Победы в июне 1945 года. Книжки под рукой не было, и я принялся выспрашивать своих коллег, какие же черты обозначил «вождь». После того как двое или трое моих собеседников вспомнили лишь «терпение», мне пришла в голову мысль устроить своеобразный эксперимент: обзвонить всю советскую часть редакции. Результат был тот же.

О терпении (терпеливости?) русского народа говорят обычно все, кто — и у нас или на Западе — порой не без некоторого пренебрежения берется его описывать. Думаю, это терпение великое достоинство российского народа, когда оно питает его жизнестойкость. Но это и великая слабость, когда оно выступает как послушание, как готовность долго терпеть усевшегося ему на шею притеснителя. Я подозреваю, что в значительной мере именно послушание имел в виду Сталин, восхваляя пресловутое «терпение» в числе основных черт русского характера. Между тем такого рода терпение не раз играло роковую роль в истории России.

ЧАСТЬ

III

ТРЕТИЙ ПОДЪЕЗД

В 3-м подъезде здания на Старой площади располагался, наряду с другими отделами, Международный отдел ЦК. Я пришел туда в мае 1961-го и, как оказалось, более, чем на четверть века. Поэтому, прежде чем говорить о себе в отделе, мне хотелось бы рассказать о нем самом. При этом волей-неволей придется, за что сразу прошу извинения, нарушать хронологию, забегая кое в чем вперед, с тем чтобы в следующей главе вернуться назад, к себе — новоиспеченному референту Международного отдела. Итак...

1. О МЕЖДУНАРОДНОМ ОТДЕЛЕ ЦК

Надо сказать, сложилось весьма преувеличенное представление о роли отдела в формировании и проведении советской внешней политики. Возможно, определенную мистифицирующую роль играет само название «Международный», и в особенности буквы «ЦК», которые как бы транслируют на отдел представление о его всевластии.

Так или иначе, но Международный отдел привлекал к себе большое внимание за рубежом, главным образом на Западе. Это, очевидно, вызывалось и государственно-разведывательными, и академическими интересами. Назову лишь несколько работ: Л. Шапиро «Международный отдел ЦК КПСС: ключ к советской политике»; Д.Ф. Хоу «Формирование и реализация советской политики в отношении зарубежных коммунистов»; Р.В. Китринос (эксперт правительства США) «Международный отдел ЦК КПСС»; Ян.С. Адамс «Растущий активизм советской политики в «третьем мире»: роль Международного отдела

ЦК КПСС». Журнал «Проблемы коммунизма» — орган известного Гугеровского института войны, мира и революции — посвятил отделу целый номер (сентябрь—октябрь 1984 г.). В нем была описана почти вся структура отдела, все его сектора и работавшие там люди, приведены биографии руководителей отдела. А Международный отдел ЦК КПСС «при Добрынине» стал даже темой специальной конференции, которая состоялась 18—19 октября 1988 г. в Государственном департаменте и была организована его бюро разведки и исследований вместе с ЦРУ. Кстати, одно из ее заседаний, на котором с докладом выступил сотрудник «Рэнд корпорейшн» Скотт Брукнер, было посвящено моим работам и роли в отделе.

В подобных трудах можно найти немало достоверных фактов и технических подробностей, хотя недостаток информации авторы нередко восполняли догадками, а иногда и измышлениями. Главное же, никому из них не удалось правильно определить роль Международного отдела, что, впрочем, вполне объяснимо: и в реальности эта роль была недостаточно определенной, менялась.

В «Проблемах коммунизма», к примеру, говорилось: «По крайней мере в теории Международный отдел, как кажется, играет более важную роль в процессе формулирования внешней политики, чем Министерство иностранных дел, в особенности это касается политики в отношении «третьего мира». Уже хотя бы потому, что руководители Международного отдела, такие как Загладин, Брутенц и Ульяновский, имеют устойчивую репутацию экспертов в соответствующих областях. Другая причина состоит в том, что Международный отдел действует как фильтр, через который информация о развивающемся мире и капиталистических странах направляется советским руководителям: рекомендации, которые базируются на материалах Министерства иностранных дел, советских разведывательных служб и Министерства обороны, перерабатываются отделом и посылаются помощникам Генерального секретаря, используются при подготовке повестки дня для Секретариата (и Политбюро)».

Утверждалось также, что «информационным департаментом КГБ делается лишь минимальная аналитическая работа. Задача анализа и представления гладких информационных докладов, как кажется, остается за Международным отделом». Мало того, отделу приписывали и «вовлеченность в направлении тайных операций КГБ по экономической дестабилизации». Загладин, оказывается, «играет, возможно, роль человека, который нацеливает советские разведывательные службы на источники, потенциально готовые сотрудничать в предоставлении научной и технической информации...» Все это, однако, очень далеко от реальности, и ритуальное «кажется» тут авторов не спасает.

Более уравновешенная и близкая к истине картина рисовалась в материалах упомянутой конференции: «Международный отдел часто

характеризуется как главный конкурирующий с Министерством иностранных дел центр экспертизы и влияния. Это действительно нередко так, причем Международный отдел функционирует как некое «министерство иностранных дел» партии. Но баланс влияния между этими двумя структурами никогда не был зафиксирован или стабилен и варьировался время от времени так же, как взаимоотношения отдела с другими советскими структурами, имеющими дело с внешней политикой. Этот флюктуирующий характер большей частью является причиной того, что роль и значение Международного отдела переоцениваются или недооцениваются.

Но и здесь существенные преувеличения и неточности. Заявлялось, например, что «Международный отдел — самый важный из трех отделов ЦК, которые занимаются международными делами»; что он чуть ли не головная структура по отбору и обработке информации по всем вопросам внешней политики, «которые шли на окончательное решение в Секретариат и Политбюро»; что работавший непосредственно под руководством Секретариата ЦК Международный отдел служил «инструментом контроля партии» в сфере внешней политики.

Другой типичный образчик переоценки роли отдела — статья весьма известного журналиста Мишеля Татю (а впоследствии французского посла в Тунисе), которая была 4 июля 1985 г. опубликована в газете «Монд»: «...Международный отдел в последние годы утвердился как соперник МИД, используя пробелы в его работе, чтобы заполнить брешы и вести такие дела, которыми ранее не занимался. Непомерно разросшийся в начале 70-х годов, он выступил с претензиями на то, чтобы заниматься не только отношениями с зарубежными компартиями, как это было у его истоков, но и обстановкой в каждой стране в целом, контактировать со всеми политическими силами... Будущее покажет, произойдет ли — и какое — перераспределение ролей между этими учреждениями».

Между тем главной функцией Международного отдела всегда было поддержание и развитие связей с зарубежными коммунистическими и рабочими партиями. По мере отхода КПСС от жестко-догматической позиции круг ее собеседников и партнеров расширялся, и отдел стал устанавливать контакты с националистическими и революционно-демократическими партиями «третьего мира», социал-демократами, различными общественными движениями. Речь шла отнюдь не об их «революционизировании», а о мобилизации иностранной поддержки нашей внешней политики, фактически о ее лоббировании за рубежом. Имея в виду координацию действий в этом направлении, отдел курировал международные связи общественных организаций, которые, впрочем, сохраняли определенную самостоятельность, резко возросшую в «горбачевские годы», использовал возможности ТАСС, специально созданного для работы с зарубежной аудиторией агентства печати «Новости», радио, газет и журналов. Идеологический,

пропагандистский аспект в деятельности отдела определялся идеологическим характером международного коммунистического движения.

В свое время Международный отдел фактически возник как преемник Коминтерна, унаследовав от него и функцию патронирования коммунистического движения, и связанные с этим проблемы и противоречия, которые серьезно сказывались на самом движении. По сталинской схеме Коминтерн должен был служить целям советской внешней политики. Именно на этой почве у Сталина возникали конфликты с тогдашним коминтерновским руководством, с Димитровым. О роспуске Коминтерна, который все больше мешал внешнеполитическим маневрам Сталина, он говорил уже до войны. И только начало гитлеровского блицкрига несколько оттянуло его.

Как-то на совещании руководства отдела Пономарева спросили: «Что мы хотим от компартий? Чтобы они пропагандировали линию КПСС или стали силой у себя в странах?» Борис Николаевич от ответа уклонился. Вопрос, однако, был по существу фундаментальным, ибо две эти задачи нередко вступали друг с другом в противоречие.

Практически же наше руководство, очень прагматичное, продолжало идти по уже проторенному пути. Оно исходило прежде всего из того, что зарубежные коммунисты, руководствуясь своими интересами или безусловной солидарностью с Советским Союзом, должны «работать» на нашу внешнюю политику. Действительно, в некоторых случаях, когда вместе или параллельно с нами действовали, скажем, итальянские или французские коммунисты, которые пользовались заметным влиянием у себя в странах, это было серьезным подспорьем. В других случаях компартии в состоянии были оказывать лишь скромную, пропагандистскую поддержку. И когда Советский Союз выступал с очередной внешнеполитической инициативой или, тем более, предпринимал такие акции, как чехословацкая, афганская, все усилия отдела направлялись на то, чтобы обеспечить, а иногда и вырвать у компартий заявления о поддержке.

Думается, не менее существенным моментом для верхов были эксплуатация во внутривнутриполитических целях обаяния и престижа международного коммунистического движения. Как правило, безудержное восхваление зарубежными друзьями реальных и мнимых достижений СССР служило своего рода легитимизацией для нашего руководства, создавая впечатление авторитетной поддержки за рубежом «советской модели» социализма и советского курса. Поэтому основным критерием подхода к комдвижению и было отношение к Советскому Союзу.

Между тем не одна компартия пострадала — и достаточно серьезно — из-за того, что подчиняла свою деятельность внешнеполитическим интересам Советского Союза. Если большинство партий поддерживали наши внешнеполитические акции (от усмирения Будапешта и Праги до Афганистана), то это диктовалось как логикой холодной войны,

так и равнением на советскую политику. Если, скажем, Перуанская компартия не заняла принципиальную позицию в отношении военной хунты, если иракские коммунисты первоначально сотрудничали с Саддамом Хусейном, то, конечно, прежде всего потому, что не сумели правильно оценить обстановку. Но немалую роль сыграло и наше влияние. И все это предвещало будущие конфликты, которые начались, как только партии стали проявлять самостоятельность.

В обязанности отдела входило анализировать происходящие в коммунистическом движении процессы и предлагать меры по его поддержке, следить за тем, чтобы оно развивалось в русле солидарности с КПСС, настраивать лидеров партий на отвечающие нашему курсу позиции. Весомое место занимала и функция, которую в какой-то мере можно назвать ритуальной: реализация межпартийных связей, прием приезжавших в Советский Союз делегаций братских партий и т.п.

Я пришел в Международный отдел, когда коммунистическое движение уже перевалило через пик своего влияния и вступало в полосу упадка. Задачу патронирования движения приходилось решать в условиях нарастающих в нем трудностей и раздоров.

Во-первых, хотя в коммунистическом движении все еще участвовали миллионы людей, бескорыстно веривших в провозглашенные идеалы и приносивших на их алтарь серьезные личные жертвы, а иногда и жизнь, хотя в нем было немало мужественных и ярких лидеров «без страха и упрека», идеологическая основа движения уже подверглась заметной эрозии и лишилась солидной доли своей привлекательности, а возникшие идеологические ножицы становились все шире. Достаточно, например, сравнить наши позиции («мы — самая передовая сила в мире», «авангард и главный оплот борьбы за мир и демократию, коммунизм, против империализма») и установки Союза коммунистов Югославии или грамшианскую платформу Итальянской компартии. Специфические подходы к революции, к возможности и целесообразности вооруженного пути, партизанской борьбы, к экономическим проблемам были у кубинцев. А что же говорить о Китайской компартии! Уместно также задаться вопросом, насколько официальная идеология оставалась подлинным нервом деятельности той или иной партии, а не была заклинанием, удостоверяющим принадлежность к определенной политической силе.

Во-вторых, хотя сохранялись более или менее общие программные установки, растущее разнообразие условий требовало от каждой партии серьезного приспособления к конкретной обстановке.

В-третьих, хотя существовали определенные организационные связи и элементы взаимопомощи между коммунистическими партиями, своеобразный процесс эрозии происходил и тут.

Наконец, в-четвертых, хотя интернационализм еще оставался неким конституирующим движением фактором, стал уже блекнуть и

он, отступая перед набирающими силу национал-коммунистическими настроениями. Нередко интернациональные чувства были скорее свойственны рядовым партиям и активистам среднего ранга, чем лидерам. Собственно, так происходит едва ли не во всех политических партиях: идеологические привязанности и пристрастия часто бывают сильнее и органичнее не у руководителей, а у партийной массы. Раньше, например, трудно было бы представить, что, по соображениям национального характера, глава одной партии откажется сесть за один стол с руководителем другой. Между тем именно так поступал, несмотря на все увещания, Генеральный секретарь ЦК Сирийской компартии Х. Багдаш в отношении Генерального секретаря Компартии Израиля М. Вильнера — и все с этим мирилось. Чем бы ни было вызвано такое поведение — собственным неприятием соседства с евреем или политическим маневрированием с учетом ситуации в собственной стране — оно достаточно симптоматично.

Компартии «третьего мира» оказались не в состоянии оградить себя от растущего влияния национального момента, от националистической эйфории в эпоху освобождения от колониализма. Да и в развитых странах не все партии смогли устоять перед соблазном натянуть на себя националистическую тогу, стремясь таким образом компенсировать слабеющее притяжение собственной идеологии. Антиинтернационалистический и националистический вирус вносили в движение и партии социалистических стран, которые практически утвердились на национал-коммунистических позициях.

Немаловажную роль сыграло также то, что интернационализм толковался нами как прежде всего равнение на Советский Союз, как поддержка любых наших действий. Интернационализмом нередко прикрывалось и вмешательство СССР в дела социалистических стран и братских партий, навязывание им своих решений и позиций. Под флагом интернационализма Москва добивалась устранения негодных руководителей.

В целом 60—80-е годы были периодом, когда в движении заметно усилилось значение национального фактора, и проблема равноправия «братских партий» трансформировалась, можно сказать, выродилась в проблему их независимости и суверенитета.

Трудности движения были связаны также с тем, что, казалось бы, составляло его преимущество: его основной силой стали, по сути дела, партии, завоевавшие власть. На социалистические страны приходилось девять десятых коммунистов мира. А более половины остальных десяти процентов составляли члены итальянской партии. Иначе говоря, в своем большинстве партии были небольшими, а иногда просто карликовыми, или, как я их порой называл в беседах с коллегами, «партиями одного кабриолета».

И это неравновесие имело серьезные последствия. Фактически произошло колоссальное смещение центра тяжести всей структуры

движения в сторону Советского Союза и Китая за счет более развитой части мира — вразрез с первоначальными предположениями марксизма. К тому же отношения между самими правящими партиями неуклонно усложнялись, все больше приобретая дипломатический оттенок, что создавало для других компартий дополнительное натяжение.

Сложности возникли и из-за разнородности движения. В одном списке были реальные, большие партии, ставшие общенациональной силой (итальянская, французская, финская, индийская, в разные периоды — греческая, португальская, японская), партии, которые, несмотря на свое скромное положение, располагали заметным влиянием в своих странах (например, бельгийская в 60-е гг.), и партии, фактически представлявшие собой пропагандистские группы.

Под общей крышей движения соседствовали партии, действующие в странах, условия в которых становились все более несхожими: развитых, развивающихся и вовсе отсталых. Условия деятельности партий на Западе, где началась научно-техническая и вторая промышленная революция, стали на порядок отличаться от ситуации в некоторых других регионах мира. Это затрудняло взаимопонимание между коммунистами различных стран и стало фактором ослабления спайки движения, его интернациональной солидарности.

Самой глубокой, «подводной», и самой основательной причиной (которую не осмеливались признать или назвать) стагнации или даже кризиса в коммунистическом движении служило то, что все более эфемерной, все менее реалистической становилась его исходная цель — мировая социалистическая революция. И все более сомнительной и все менее правдоподобной — перспектива прихода компартий к власти в результате собственных усилий, а не вмешательства социалистических государств. Все труднее было сохранять даже видимость единства в движении, где представлены правящие партии, руководствовавшиеся прежде всего государственными интересами и соображениями, партии развитых капиталистических стран, которые оставили позади себя этап зрелости для революционных сдвигов, и партии развивающихся стран, которые не созрели для социалистической трансформации.

Компартии, напомним, возникли на волне революционных выступлений 1917–1923 годов как партии пролетарской революции. После того как революция победила в России и потерпела поражение на Западе, рабочее движение в странах развитого капитализма все более приобретало не те формы, на которые первоначально ориентировались компартии. И все более явным становилось, что развитие идет не по тем схемам, которые были созданы и считались единственно правильными.

Спротивление рабочего класса капиталистической эксплуатации, благодаря его возросшей организованности и существованию социа-

листической системы, доказало свою эффективность, принесло весомые плоды. В результате крепло стремление к решению социальных проблем посредством реформ. Но тут в более выгодном положении оказывались не коммунистические, а социал-реформистские партии.

Трудности порождались и изменением социального состава населения, прежде всего рабочего класса, за счет увеличения численности так называемых «белых воротничков». Заметно выросла роль интеллигенции, студенчества. Соответственно видоизменялся, усложнялся и состав компартий. Серьезной проблемой для них, особенно на Западе, стало программное требование диктатуры пролетариата. В обстановке, когда общество решительно ориентируется на демократические порядки, когда само слово «диктатура» вызывает ассоциации с наиболее одиозными фигурами недавнего прошлого или настоящего, сохранение этого лозунга в прежнем или даже откорректированном виде само по себе уже отпугивало.

Массовые партии сталкивались и с особыми внутренними проблемами. Все более обнаруживалось, что для них не совсем подходят те организационные формы и методы, которые годились для кадровых партий. Приходилось уже считаться, прежде всего на Западе, с разнообразием мнений, взглядов: ведь деятельность коммунистов приобретала там преимущественно открытый характер.

У малых партий на Западе эти сложности усугублялись тем, что они, имея весьма ограниченное представительство в парламентах либо вовсе не имея туда доступа, оказывались в очень невыгодном положении. Нередко люди, даже сочувствовавшие политике коммунистов, на выборах за них не голосовали, чтобы голоса «не пропадали зря». А длительное пребывание в оппозиции, в атмосфере воинственного антикоммунизма вызывало у молодых (преимущественно) членов партии разочарование и нетерпение, порождало левацкие настроения.

Ситуация некоторой изоляции могла даже порождать ложное чувство избранности, которое является изнанкой и спутником всякого сектанства. Присутствуя на съезде Компартии США в 1986 году, я вынес впечатление, что ее активисты (многие из них за свою партийную принадлежность подвергались дискриминации, поплатились карьерой) чуть ли не гордятся своим «изгойством», остракизмом, которому подвергаются и стену которого не очень-то и стремятся пробить.

В итоге компартии в развитых странах стали упускать инициативу, а социал-демократическое направление в рабочем движении добивалось относительного укрепления. Большинство этих партий поразил процесс стагнации, они стали постепенно сдавать свои позиции. Даже крупные из них (в Италии, Финляндии) начали испытывать большие трудности в борьбе за удержание и расширение своей массовой базы. Долгие годы все это как бы маскировалось приливом в движение новых сил, пусть даже не на чисто коммунистической

основе. Ряд компартий в развитой части мира стали массовыми главным образом в ходе антифашистской борьбы и в связи с ней, то есть скорее на общедемократической почве. В развивающихся же странах проблема затушевывалась перипетиями борьбы против колониализма и империализма. Огромной инъекцией энтузиазма и оптимизма для коммунистического движения была победа китайской революции, укрепившая веру в его конечное торжество. Притоком «свежей крови» была и Куба, чему способствовал и личный авторитет Кастро. Но, замечу, все это тоже были победы, одержанные фактически на общедемократической основе. Более того, многие партии, особенно в слаборазвитых странах, и возникли не на собственно коммунистической, марксистско-ленинской основе, а на базе освободительных движений. Они фактически восприняли определенную политико-революционную и идеологическую форму, удобную для их организации и развития, а затем и для устройства власти. Так в конечном счете произошло с Китайской компартией. В определенной мере это относится и к движению Кастро. Оно победило как движение общедемократическое и национально-освободительное и только потом было преобразовано в коммунистическую партию: в ее рамках возможно было создать и мощную политическую силу, и мощную структуру. Кроме того, это позволяло примкнуть к союзнику, способному оказать разностороннюю и эффективную поддержку.

Это был своего рода выход коммунистического движения из собственных границ. Это было расширение за пределы самого себя. И естественно, все труднее стало говорить о единой идеологии, а в главный объединяющий фактор превращался антиимпериализм.

Наконец, думаю, немаловажное значение в затухании движения имело и само его старение. Возникшее вокруг воинственно-революционной концепции, ориентированное на взрывные методы, оно было неспособно неопределенно долгое время сохранять свой пыл и первоначальную молодую энергию. К тому же в движение проник вирус бюрократизма, порожденный его строгим структурированием и тесной связью с социалистическими государствами и их правящими партиями, пережившими процесс бюрократического перерождения.

В 60-е годы стало заметно, что у некоторых компартий уже нет ни прежнего чувства сопричастности к международному коммунистическому движению, ни заинтересованности в его солидарных действиях. Строго говоря, наиболее заинтересованными были прежде всего КПСС, как партия-отец, и малые партии, для которых принадлежность к движению была одним из способов поднять свою значимость, приобщаясь к мощному лагерю социалистических государств.

Но это «приобщение» к Советскому Союзу имело и теневую сторону, которая со временем проступала все рельефнее. Дело тут уже отнюдь не сводилось к пресловутой «руке Москвы». Дело было в том, как воспринимался облик Советского Союза. Разоблачения XX съез-

да, которые потрясли значительную часть коммунистов и побудили некоторые партии занять более сдержанную, даже критическую позицию в отношении социалистических стран, изменили положение и способствовали начавшимся процессам дезинтеграции. Этому же способствовало и развитие событий в СССР в послехрущевскую эру. Многие наши зарубежные коллеги имели достаточно хорошие связи в Советском Союзе и не могли не видеть застойных явлений, не сознавать их масштабов. Итальянские товарищи, приезжавшие в Москву, не раз говорили мне, что поражены тем, в какой мере здесь процветает черный рынок, проституция, вымогательство, насколько заметны и другие, быть может, мелкие, но бесспорные признаки разложения.

Постепенно стала проступать общая картина иммобилизма и неэффективности системы, ее стагнации. Член руководства Итальянской компартии Джанни Черветти рассказывал мне о разговоре с Берлингуэром, Генеральным секретарем Итальянской компартии, в дни их пребывания в Москве в марте 1976 года на XXV съезде КПСС. В особняке на Ленинских горах они работали над предстоящей речью Берлингуэра. Показав на потолок (мол, возможно, подслушивают), Берлингуэр предложил прогуляться. Заговорили о впечатлениях от съезда. И в ответ на замечание Черветти: «Надо менять отношения. Мне кажется, они в тупике» — Берлингуэр ответил: «Ты, наверно, прав, нам надо подумать, мы не можем продолжать такое положение». В январе 1978 года делегация итальянских коммунистов побывала в Сибири, и увиденное там побудило того же Черветти составить справку, где положение в Советском Союзе квалифицировалось как «склерозированное». Кстати, именно тогда итальянские коммунисты отказались от финансовой помощи КПСС.

Или такой эпизод все с теми же итальянцами. Их летом 1978 года принимал А. П. Кириленко, который поразил гостей, заявив: «Никакой экономической реформы не нужно. Все это болтовня. Надо работать. Я секретарь ЦК и сейчас заменяю Леонида Ильича, который в отпуске. Знаете, чем я сегодня целый день занимался? Транспортными перевозками, искал вагоны. Потому что не работают железные дороги, люди. Надо людей заставить работать. Какая тут экономическая реформа?» Выйдя из его кабинета, Кьяромонте, один из руководителей ИКП, ошеломленно протянул: «Второй секретарь правящей партии второй сверхдержавы занимается транспортом, который не работает...»¹

Но, пожалуй, главная внутренняя причина, по которой КПСС теряла позиции в коммунистическом движении, прежде всего на

¹ М. Горбачев как-то рассказывал, что в 80-е гг. секретарь ЦК по организационно-партийной работе И. Капитонов возглавлял специально созданную комиссию по ликвидации дефицита женских колготок.

Западе, и главная ее вина заключалась в блокировании развития демократии в стране и в самой партии. Руководство КПСС оказалось неспособным перехватить и претворить в жизнь лозунг демократии — и нас опережали, от нас отмежевывались.

Сильнейшим ударом по коммунистическому движению стал конфликт с китайской партией: ее обособление и интенсивные целенаправленные попытки расколоть движение, в частности, с помощью создававшихся ими маоистских групп, чей радикализм дискредитировал коммунистов. Самые крупные партии несоциалистической Азии либо пошли за китайцами, либо изолировались от нас. В результате еще менее реалистическими становились претензии на существование международного коммунистического движения как единого целого. Китайское выступление продемонстрировало не только силу, которую уже набрал национальный (или националистический) фактор, но и то, что разногласия в комдвижении связаны с различием в положении отсталых аграрных и промышленно развитых стран.

Подлинным потрясением явилась наша чехословацкая акция. Она развела нас, притом необратимо, даже с такими партиями, как французская, с которой у КПСС всегда были самые близкие, доверительные связи. Когда Вальдек Роше, тогдашний Генеральный секретарь ФКП, занял критическую позицию, это явилось для нашего руководства весьма неприятной неожиданностью.

Убедительным свидетельством постепенного заката коммунистического движения может служить судьба международных совещаний компартий. Первое из них, приуроченное к 40-летию Октябрьской революции, состоялось в 1957 году. Уже на подступах к нему и на нем самом обнаружили известные трудности. Вместе с тем это совещание оказалось и последним, на котором были представлены все партии и которое продемонстрировало, по крайней мере внешне, общую гармонию. Совещание 1960 года уже не смогло скрыть развивающийся внутренний конфликт. Там наметилось то размежевание с китайской, индонезийской, албанской и рядом других партий, которое потом переросло в раскол.

А последнее совещание 1969 года рождалось поистине в муках, и на нем, можно сказать, многие из партий «зияли своим отсутствием». Подготовительные встречи к этому совещанию дают довольно яркую и поучительную картину состояния движения, нарастающих разногласий, которые уже разрывали его ткань. На них вопросы, естественно, ставились откровеннее и обнаженнее, чем на самом совещании, где неизбежен элемент парадности. Дискуссия на подготовительных встречах, состоявшихся 15–22 июня и 19 ноября 1968 г. в Будапеште, свидетельствует и о том, насколько изменились отношения между партиями, став более дипломатическими и менее искренними.

Одной из центральных тем стал спор относительно положения о диктатуре пролетариата. Против его включения в документ совещания

выступили итальянцы, с ними солидаризировались представители британской, австралийской, испанской, чехословацкой и ряда других партий. В их поддержку высказались и те, кто предпочитал хотя бы затушевать или скорректировать этот тезис. Так, канадский представитель заявил: «Слово “диктатура” скомпрометировано, оно ассоциируется с именами Муссолини, Гитлера, Салазара, Франко... И мы заменили у себя его словами “власть рабочего класса”, “власть трудящихся»».

Советская делегация склоняется перед неизбежным, но ее позицию, согласно предварительной договоренности, озвучивает венгерский представитель Немеш: «Мы говорим, что положение о диктатуре пролетариата правильное, но поскольку ряд партий считают, что это сейчас не помогло бы, и не хотят, чтобы в международных документах оно было, мы идем навстречу». Однако в телеграмме руководству КПСС советской делегации пришлось все-таки оправдываться, ссылаясь на то, что соответствующего положения «нет в программах ряда компартий, а мы уже признали, что каждая партия сама определяет свою политику».

Затем итальянцы обратили внимание на то, что из проекта документа исчезло выдвинутое XX съездом КПСС положение о многообразии форм прихода к власти. «Этот съезд, — заметил их представитель, — был съездом одной партии, но имел огромное международное значение и на протяжении прошедших лет сыграл большую положительную роль. Между тем в нынешнем материале нет концепции национальных путей социального прогресса. Он исходит из такой концепции монолитного единства, которое превзойдено жизнью и остается в прошлом».

Другой характерный момент — явное стремление партий уйти от обсуждения концептуальных и идеологических проблем, сосредоточиться на антиимпериалистической платформе. Она является менее коммунистической, позволяет и утопить разногласия в антиимпериалистическом гневе, и расширить спектр союзников. Фактически с этим пришлось согласиться и КПСС, примиряясь с реальным положением вещей, а также исходя из собственной заинтересованности в расширении диапазона своих связей.

В этом плане сплочению присутствующих помогает солидарность с Вьетнамом, который усиленно выдвигается в центр дискуссий.

На заседании 19 ноября, на котором председательствовал Э. Берлингуэр, английский делегат в резкой форме поставил вопрос о несовместимости нашей чехословацкой «акции» с решениями XX съезда КПСС, и его поддержал ряд других партий. Нашей делегации пришлось неуклобо защищаться: «Признавая право обсуждать любые интересующие проблемы, мы считаем необходимым отметить, что тон, в котором вопрос был поставлен английским делегатом, не способствует духу сплочения. Поскольку он в своем выступлении коснулся проблем, связанных с решением съезда нашей партии,

делегация КПСС считает необходимым заявить следующее: «КПСС была и остается верна решениям своих съездов»».

Наконец, была решительно отвергнута попытка делегации КПСС внести в совещание идеологическую струю, надеть на партии ленинский «корсет», а заодно подчеркнуть свое первородство. Ею было выдвинуто предложение о принятии совещанием специальной резолюции о 100-летию Ленина. Характерна в этом смысле реакция Э. Берлингуэра и Генерального секретаря ФКП Ж. Марше. «Мы, — заявил Берлингуэр, — хотели бы подчеркнуть, что собираемся полностью сотрудничать и активно действовать в недрах мирового коммунистического движения в условиях открытой дискуссии, прямого сопоставления взглядов, исходя из того, что различия в тех или иных позициях не могут и не должны служить препятствием к сотрудничеству против общего врага». Иначе говоря, Берлингуэр формулирует реальные условия сотрудничества, которые исключают идеологическое единообразие и, следовательно, возможность принятия такого рода документов. Марше выразился, пожалуй, дипломатичнее: «Как все знают, мы долго обсуждали, и не без споров, повестку дня будущего совещания и сознательно ее сузили. Мы решили, что его задача — не обсуждение и одобрение общеидеологической платформы, а объединение в борьбе против империализма. Не нужно скрывать от себя, что такая ленинская резолюция означала бы введение нового пункта в повестку дня, на что подготовительная комиссия не имеет полномочий. Более того, здесь уже говорилось, что подготовка подобной резолюции дает возможность обсудить наши расхождения. Такая ориентация, если она будет одобрена, была бы очень неосторожной. Мы рискуем помешать единым действиям... Обсуждение идеологических разногласий ныне является преждевременным. Если есть партии, которые хотели бы идеологической конфронтации, в том числе в рамках подготовки к совещанию, то мы готовы к такой конфронтации на базе марксизма-ленинизма, пролетарского интернационализма, равенства и права каждой партии полностью суверенно определять свою политику».

Стоит напомнить: когда речь шла о совещаниях 1957 и 1960 годов, вопрос, быть ли им идеологическими или нет, даже не возникал. Теперь же он ставится уже на подступах к встрече. И это, несомненно, признак и своего рода критерий масштабов разрушительной эволюции, которая происходила в комдвижении.

В 70-е годы компартии пошли по пути региональных совещаний — в Латинской Америке, Африке, Европе. В январе 1974 года в Брюсселе состоялась встреча партий Западной Европы по их собственной инициативе и на их собственной платформе. Фактически в противовес этому, не без «выворачивания рук», было создано в июне 1976 года совещание 29 европейских компартий в Берлине. То было последнее randevu, которого КПСС удалось добиться, да и принятый

документ («За мир, безопасность, сотрудничество и социальный прогресс») носил компромиссный, а местами, с точки зрения нашей официальной идеологии, и довольно-таки ревизионистский характер. Это была пиррова победа. И отнюдь не случайно более успешными оказались попытки провести антиимпериалистический форум: он состоялся в октябре 1980 года в Берлине с участием 77 коммунистических и 39 революционно-демократических партий и национально-освободительных движений.

И все же некоторые члены нашего руководства, прежде всего Пономарев, не хотели мириться с очевидным и отказаться от планов созыва нового совещания. К тому же «наверху», очевидно, были люди, которые выговаривали Борису Николаевичу: «Что же, не можешь навести порядок?» И нам вновь и вновь поручали проанализировать возможности созыва совещания. И мы «изучали», совещались с научными работниками, писали записки, пытались нащупать для него основу... Так тянулось до 1985 года, когда, наконец, окончательно был сделан трезвый вывод: ничего из этого не получится, не стоит и стараться.

В процессе подготовки к совещанию 1969 года и к некоторым другим международным встречам мы в значительной мере опирались на венгерских коллег, если не сказать, их использовали. Многие подготовительные заседания происходили в Будапеште. Венгры нередко играли роль промежуточного и даже посреднического звена, порой озвучивали наши предложения. Кстати, это тоже служило симптомом известной утраты КПСС прежних позиций: теперь мы нередко предпочитали выступать не с открытым забралом, а действовать окольным путем.

Советские представители тесно сотрудничали с покойными З. Комочиным, в ту пору секретарем ЦК ВСРП, и Немешем, членом Политбюро ЦК ВСРП, а также с Д. Хорном (до мая прошлого года премьер-министр Венгрии), М. Сюрешем (до недавнего времени председатель Национального собрания Венгрии), которые тогда были на скромных ролях в Международном отделе ЦК ВСРП, и многими другими. Венгры мне нравились своей разумностью и своей поведкой, стилем. Они по отношению к нам держались лояльно, по им удавалось оставаться самими собой, вести более гибкую линию и выглядеть в глазах многих если не нейтральной, то достойной доверия конструктивной силой. В советском руководстве и высшей номенклатуре к венграм, насколько могу судить, относились по-разному: кто ни на грош им не доверял и стремился обличать их ревизионизм, а кто с интересом приглядывался к их опыту.

Мне до сих пор невдомек, почему венгры, где наше вмешательство было более brutальным, чем в Чехословакии, сумели потом проводить гибкую, во многом «ревизионистскую» линию, в то время как у чехов все обстояло совсем иначе. Сказалось ли то, что вмеша-

тельство в Венгрии произошло во времена Хрущева, когда он сам был не чужд новаций и понимал, что по-прежнему вести дело нельзя, а его преемники действовали инерционно и ничего не хотели менять, или тут сыграли свою роль особенности национального характера и личность лидера, а может, и все это, вместе взятое?

Тесно сотрудничали мы и с коллегами из ГДР. Хорошо информированные, дисциплинированные, четкие и пунктуальные, они вместе с тем придерживались жестких подходов. Гибкость им скорее была чужда, во всяком случае, они не были к ней склонны. Это, видимо, отражало общий политический климат в ГДР. Немцы сами подтрунивали над некоторой своей прямолинейностью, жесткостью и заорганизованностью, рассказывали на этот счет анекдоты. Вот один из них, относящийся к середине 80-х годов, о конце света. Бог сказал Рейгану и Горбачеву: «Я вижу, вы не можете жить мирно, поэтому будет конец света». Бог облетает землю, так сказать, инспектирует ее и наблюдает, кто и как готовится к предстоящему событию. Американцы безумствуют, русские вовсю пьют водку. А гедеэровцы стройными колоннами маршируют под транспарантами: «Встретим конец света новыми успехами в повышении производительности труда». Следовавшие официальной линии и подчеркнутые лояльные немцы, вместе с тем (впрочем, как и венгры), мне кажется, внутренне относились к нам не без чувства превосходства.

Выделялись болгары, они были мне симпатичны и в политическом, и в личном плане. Во многих отношениях болгарские коллеги фактически принимали советское руководство и делали это искренне, не кривя душой, не насилуя себя. Они отнюдь не смотрели на нас снизу вверх, блюли свое достоинство и предпочитали недогматические позиции. Однако мы, особенно на уровне руководства, далеко не всегда были достаточно внимательны к болгарам. Нередко действовал близоруко-потребительский принцип: «эти» и так будут с нами.

Когда появился феномен еврокоммунизма, это, естественно, вызвало у нашего руководства крайне негативную реакцию. Он воспринимался в первую очередь под углом зрения усиления критического отношения к нашей политике и даже к нашей системе. Глубокие внутренние причины возникновения еврокоммунизма наши лидеры были склонны игнорировать. Между тем речь шла о попытке некоторых партий осмыслить изменившуюся ситуацию в своих странах и в Европе, сделать необходимые политические и теоретические выводы. Ведь уже возник разительный контраст между идеологическим арсеналом и реальными условиями деятельности этих партий — крупными экономическими, социальными и технологическими сдвигами, происшедшими к 70-м годам в мире и Европе. Они и дали главные импульсы к возникновению еврокоммунизма.

В Международном отделе это видели и стремились скорректировать нашу позицию в более разумную сторону. В своем анализе и

предложениях мы старались сконцентрировать внимание руководства на главном, на факторах, обусловивших этот сдвиг, а не на сопутствующих моментах — усилении критики СССР.

Наши усилия в лучшем случае приносили лишь частичный результат. Высшее руководство в целом было не готово подойти проблеме достаточно уравновешенно. А Борис Николаевич Пономарев воспринял еврокоммунизм как прокол по своему ведомству, горел желанием, особенно первоначально, дать «решительный отпор», хотя это часто приносило обратный эффект², инициировать «правильные» выступления в самих «еврокоммунистических» партиях, «поставить на место» их лидеров. Угождая, как считал, верхам, он хотел показать, что принимает меры...

Но проблема не сводилась к этому. Пономареву была свойственна своеобразная профессиональная узость, хотя временами казалось, что он многое или даже все понимает. Считая, что несет ответственность за коммунистическое движение, Борис Николаевич толковал ее в традиционно-дирижерском духе, как некий петух, вокруг которого должна собираться стайка курочек. И не без поддержки некоторых работников отдела бурно и вполне искренне реагировал на всякие еретические отклонения от верности Советскому Союзу, охотно прибегая к испытанному методу противодействия через создание оппозиционных групп или даже параллельных партий.

Между тем такая линия была не только несовместимой с прокламируемыми формами межпартийных отношений, но и неумной, неэффективной. В отделе многие это сознавали. Вспоминаю одно из совещаний Пономарева со своими заместителями зимой 1981 года. Ссылаясь на телеграммы из Хельсинки, один из наших коллег требовал наращивания помощи «параллельной» (просоветской) Компартии Финляндии. Уже тогда я не мог отделаться от ощущения (да и сейчас подозреваю), что эти шифровки, где красочно описывались происки империализма против этой, «хорошей», партии и ренегатская позиция другой, «плохой», писались не без участия наших товарищей. Упоминаю об этом лишь для того, чтобы заметить: на решение и таких вопросов иногда влияли даже не ведомственные, а еще более мелкие интересы. Так вот, на совещании А. Черняев, заместитель Пономарева, определенно высказался против подобной линии вообще. Хотя речь шла не о моем регионе (развивающиеся страны), я, кстати единственный, активно его поддержал. Причем, признаюсь, ссылаясь не на этические соображения, а на бесплодность этой по-

² Так, в ответ на заявление Итальянской компартии в связи с событиями в Польше в «Правде» появилась зубодробительная статья, притом без какой-либо существенной аргументации, которая была воспринята в Риме как отлучение. И что же: руководство ИКП распространило статью во всех парторганизациях, чтобы показать: «Вот как относятся к нашей партии».

литики, проводившейся уже ряд лет. Борис Николаевич промолчал, и разговор тогда кончился вничью.

Встретив определенное сопротивление в отделе, Пономарев постепенно занял более умеренную, более осторожную позицию, ориентируясь на работу с еврокоммунистическими партиями, на разъяснение наших взглядов, на увещевание и т.п. Возможно, что его непримиримость не полностью поддерживали и на более высоком уровне, там кое-кто (я имею в виду, в частности, Андропова) смотрел на ситуацию более трезво.

Меня в этом убедил эпизод, имевший место в июне 1982 года. Пономарев тогда отправился в Софию во главе внушительной делегации, как он это любил, на конференцию, посвященную 100-летию со дня рождения Димитрова, одну из тех, что пользовались у Бориса Николаевича особым предпочтением. Называясь теоретическими или научными, они представляли собой попытки, кстати бесплодные, идеологически «выровнять» коммунистическое движение.

Перед отъездом, чуть ли не из аэропорта Внуково, Пономарев позвонил и сказал, что просил Андропова в дни своего отсутствия в случае необходимости по вопросам отдела обращаться ко мне. Видимо, «старших» замов на месте не было. На следующий день на заседании Секретариата ЦК мне пришлось выступать по двум пунктам повестки дня. Один был связан с ливанской партией и прошел гладко. С другим же, который касался оказания помощи какой-то «параллельной» группировке в Испании, получилось иначе. Готовясь к заседанию, я пришел к отрицательному мнению относительно предлагаемого шага. Тем не менее, связанный отдельской дисциплиной, на Секретариате я его отстаивал. Но внутреннее настроение, видимо, как-то сказалось на моем выступлении, и проницательный Юрий Владимирович это заметил. Во всяком случае, он предложил секретарям поручить ему дополнительно изучить вопрос. Назавтра Юрий Владимирович пригласил меня к себе и, усевшись напротив, сказал: «Теперь скажите честно, что вы думаете об этом». Я не стал еще раз кривить душой, а он завершил беседу следующими словами: «Я согласен, не надо заниматься этой ерундой».

Думаю, не случайно и то, что, став Генеральным секретарем, Андропов затребовал у Пономарева реальный анализ положения в коммунистическом движении, но тот, опытный аппаратный стратег, сумел заволынить это задание, а затем и похоронить. Не исключено, что в вопросе о подходе к новым явлениям в комдвижении мы в отделе не проявили необходимого упорства. Однако нет никакой уверенности в том, что, даже проявив его, мы сумели бы провести пужную линию через наш политический Олимп. Если многие в отделе, включая часть руководства, были уже готовы к диалогу, к адекватному ответу на вызов еврокоммунизма, то лидеры партии и страны — нет. В результате поиск, который совершался в партиях ряда развитых стран, не получил у нас поддержки.

Как бы то ни было, политическая мысль итальянских коммунистов оказала серьезное влияние на ту часть советских партийцев, которые не были удушены корсетом догматических представлений и не потеряли способности размышлять о путях выхода из тоталитарного тупика. Памятная записка Тольятти, написанная в августе 1964 года, послужила для многих из нас еще одним толчком к мировоззренческой эволюции, в чем-то сравнимым с XX съездом. Глядя с сегодняшней колокольни, можно сказать, что своими новациями и критикой итальянские коммунисты, по существу, протягивали руку помощи и КПСС, побуждая ее к демократизации, но она не сумела достойно ответить на этот вызов.

Международный отдел не остался в стороне и от проблемы изменений в составе рабочего класса — о его границах. Дискуссия по этому вопросу началась на Западе в конце 50-х годов. Сейчас она может показаться схоластической, но тогда имела определенный практический смысл: речь шла об одной из важнейших догм марксизма-ленинизма.

Снова возник, казалось бы, давно решенный вопрос: что такое рабочий класс? Традиционно его сводили к рабочим физического труда, и это имело не только декларативное, но и практическое значение, определяя, в частности, отношение к интеллигенции, служащим. В 70-е годы оно приобрело даже характер известного ostracизма: условия приема в КПСС были одни для рабочих (причем в их число включалась такая «сознательно-пролетарская» категория, как грузчики в продовольственных и винных магазинах) и другие, с серьезными ограничениями, для служащих и интеллигенции.

Но подобное понимание уже вступило в противоречие с реальной действительностью, особенно на Западе, где технологическое развитие изменяло состав работающих по найму, вело к росту удельного веса лиц умственного труда, специалистов. Однако это новое явление, посягавшее на привычные и принципиально важные представления, получило неодинаковую оценку. Французская компартия, например, продолжала придерживаться так называемого узкого понятия рабочего класса. Другие же западные компартии исходили из того, что он теперь включает в себя и работников умственного труда.

С некоторым опозданием эта тема возникла и в Советском Союзе, причем в ряде публикаций, исходивших из Международного отдела, проводилась точка зрения, близкая к широкой позиции. В ответ в Институте марксизма-ленинизма (ИМЛ) была развернута целая пропагандистская кампания, издана брошюра, где на примере иностранных авторов, но с явными намеками в адрес отечественных «ревизионистов» эта позиция подвергалась резкой критике. Директор института П. Федосеев явился к Пономареву с целым досье, содержащим идеологический компромат на Черняева и некоторых других работников отдела. Вопрос был не простой: речь ведь шла о программных

позициях КПСС. К тому же Федосееву, имевшему поддержку в других звеньях аппарата ЦК, удалось втянуть в это дело и Суслова, которому он стремился доказать, что в Международном отделе свили гнездо ревизионисты.

По сути дела, здесь сталкивались и переплетались две политические тенденции, обе вполне прагматического свойства. Тот факт, что категорий людей физического труда на Западе постепенно вымывалась, служил стимулом для постановки вопроса о более широких границах рабочего класса, поскольку исключительная или даже преимущественная ориентация на людей физического труда несла в себе разрушительную перспективу для политической партии.

Но действовала, на мой взгляд, и другая тенденция, хотя трудно сказать, была ли она вполне осознанной. Уже практически возникала проблема формирования среднего класса, который своими границами забирался и в рабочую среду, что побуждало к адекватным политическим выводам, разумеется, неприемлемым для ортодоксов. И вот реакция на этот процесс: его признание фактически маскировалось призывами констатировать расширение границ рабочего класса. В этих призывах таился зародыш постепенной легализации понятия среднего класса.

Иными словами, сама эта проблема имела более широкие рамки, и она спровоцировала дискуссию, которая выходила за первоначально обозначенные границы. По существу, это была попытка облечь пересмотр догмы в догматические одежды, осмыслить новые явления, формально не покидая пределов официальной идеологии.

Но ортодоксы, уловив это, усмотрели тут угрозу для идеологических позиций в целом, и, видимо, не без оснований: любая попытка изъять какой-либо кирпичик, пересмотреть или иначе оценить какие-то основные понятия, могла, по их мнению, привести к разрушению всего стройного идеологического здания. Таков был истинный смысл развернувшейся полемики, и, пожалуй, мы сами понимали все это тогда далеко не в полной мере.

На Международный отдел возлагались и организационные функции в сфере связей с компартиями. Это, во-первых, финансовая помощь, которая проходила через заведующего отделом и специально выделенного им работника; во-вторых, предоставление бумаги для издательской деятельности компартий, что тоже, как и подписка на их издания, было формой материальной помощи; в-третьих, предпочтительное отношение — при равных конкурентных условиях — к фирмам, где были влиятельны коммунисты; в-четвертых, подготовка кадров в Институте общественных наук и в высших учебных заведениях; в-пятых, прием функционеров и руководителей партии в СССР на отдых и лечение. Особая статья — обучение в отдельных случаях небольших групп в несколько человек правилам безопасности для охраны руководства.

Иногда, но все реже, оказывалось содействие в разработке программ и других документов партиям, которые еще не оперились. Ими эти консультации очень ценились, хотя я не мог бы поручиться, что наши оценки во всех случаях были вполне квалифицированными, достаточно учитывающими местные условия.

Наконец, КПСС, как правило, активно выступала против гонений на коммунистов и их союзников. Впрочем, справедливости ради надо добавить, что советское руководство, если речь шла о важных, с его точки зрения, внешнеполитических целях, было готово и жертвовать интересами партий. Собственно, такая традиция шла еще от Сталина, но за годы, что я работал, солидарность с компартиями на глазах отодвигалась — как и идеология — соображениями государственной политики на второй план.

Довольно часто компартиям направлялись письма от имени ЦК КПСС. В большинстве случаев они носили информационно-ориентирующий характер: о позиции Москвы по тем или иным международным проблемам, о некоторых пленумах ЦК КПСС, изредка — о крупных вопросах внутренней политики. В период разногласий, например, с Китайской компартией, письма носили полемический характер (наше поколение еще помнит «ковровые», на две-три газетные полосы, послания китайцам). Однако со временем и эта форма общения банализировалась. Письма содержали информацию по уровню не выше газетной и все чаще служили Пономареву и отделу способом продемонстрировать свою активность, отметиться.

Большей частью рутинный характер имел обмен делегациями, в том числе и поездки на съезды партий. Делегации в основном выполняли двойную функцию: пропагандистскую и информационную. К последней относилось и то, что обычно служило их официальной целью: обмен опытом. Но эта задача часто не имела реального содержания. Слишком различными были условия в социалистических, капиталистических и развивающихся странах, слишком в разной обстановке действовали, например, КПСС и Французская компартия, КПСС и Компартия Аргентины, КПСС и Компартия Индии. Да и порой особого желания не было учиться друг у друга.

Пропагандистская сторона состояла в том, что поддерживалось чувство сопричастности к международному движению, к какому-то общему делу, демонстрировалась взаимная солидарность, возникал определенный эмоциональный контакт и в результате как бы происходила дополнительная инъекция оптимизма. По сути дела, для укрепления морального духа использовались и встречи на наших предприятиях, в партийных ячейках и организациях за границей.

Что касается информационной стороны, то, если говорить о советских делегациях, имелись в виду впечатления о состоянии

соответствующей партии, об отношении ее членов к КПСС и т.д. Эти наблюдения часто бывали ценными, а иногда и неожиданными. Сошлось на собственный опыт. В конце 70-х годов, приехав впервые в составе делегации в Италию, я после бесед в федерациях и ячейках был поражен тем, насколько мои, как и некоторых коллег, московские представления отстали от реального положения дел. Я ощутил, что подход функционеров ИКП к нам уже не является особым. К КПСС тут относятся как к любой другой партии, и эмоциональная интернационалистическая «пуповина», обычно связывавшая зарубежных коммунистов с нашей партией, тут практически уже перерезана. Новая поездка в Италию, уже в 80-е годы, беседы с руководителями провинциальных организаций и федераций подтвердили и укрепили мое впечатление. Собеседники бесстрастно говорили о КПСС, хладнокровно, без скидок на «смягчающие обстоятельства» оценивали ее политику, откровенно недоумевали, что она не уделяет внимания развитию демократии, притоку интеллектуальных сил.

Бросался в глаза динамизм ИКП, боевой настрой ее активистов, особенно на местах, неубывающее стремление держать руку на пульсе событий, обращение к необычным формам работы. Мэр Болоньи, коммунист, например, рассказал о футбольном матче, который был проведен... в местной тюрьме. С заключенными играли работники муниципалитета и в их числе сам мэр.

Уже тогда итальянские товарищи говорили, что коррупция в политической жизни Италии вызывает тревогу и служит одной из причин растущей апатии молодежи, роста неприязни к политикам левого толка. Секретарь областной федерации Ливорно в доказательство рассказал популярный анекдот: социалист встречается со своим знакомым и спрашивает: «Как дела?». Тот отвечает: «У меня дифтерит». Социалист тут же: «А мне?» Оговорюсь: из моих слов отнюдь не следует, что итальянцы-коммунисты плохо относились к КПСС и тем более к нашей стране. Напротив, особенно функционеры, бывавшие в Советском Союзе, были к нему привязаны. Кроме политических причин, тут, думается, сказывались и какие-то сближающие с нами черты национального характера: теплота и доброжелательность, открытость и естественность, приветливость (без дежурных фотоулыбок) и общительность, гостеприимство и готовность к дружеским отношениям, чувство юмора и жизнерадостность. Мне вообще кажется, что из всех западноевропейских коммунистов итальянцы, прежде всего руководствуясь, конечно, политическими интересами, но также исходя и из своих симпатий к Советскому Союзу, наиболее честно и прямо относились к нам. Критика тоже была частью этого отношения. Подобное впечатление я вынес из довольно длительного и интенсивного общения с итальянскими товарищами. Я присутствовал на беседах с Берлингуэром, встречался с двумя другими генеральными секретарями ЦК — А. Натта и А. Окетто, с такими масштабными

деятелями³, как Джан Карло Пайетта и Дж. Наполитано (недавний председатель парламента и нынешний министр внутренних дел Италии), с вдовой Тольятти Йотти (бывшим председателем итальянского парламента), тесно сотрудничал с Д. Черветти — членом руководства ИКП и главой ее фракции в Европарламенте, с А. Рубби — заведующим Международным отделом ИКП, общался с автором многих книг о Советском Союзе Дж. Боффа и т.д. Эти контакты, мои многочисленные поездки в Италию послужили источником особого отношения к ИКП (и, разумеется, к Италии — этой благословенной Богом стране). Она менее всего заслужила удар, связанный с крахом КПСС и Советского Союза, хотя и перенесла его вполне сносно.

Я и поныне поддерживаю сердечные отношения с некоторыми итальянскими товарищами. Это прежде всего Джанни Черветти умница, тонкий, чрезвычайно образованный, принципиальный и душевно щедрый человек, не раз доказывавший свое не только политическое, но и личное мужество. Это и Антонио Рубби — одаренный публицист, проницательный политик и верный товарищ. У него, как и у Черветти, есть качество, которое, естественно, особенно ценно: они искренне, неравнодушно, я бы даже сказал, с любовью относятся к нашей стране.

В целом эффект от поездок делегаций КПСС во многом зависел от личности главы делегации (обычно секретаря обкома), осведомленности, стиля поведения (простоты или, наоборот, монументальности, высокомерия, которыми болели многие партийные бонзы), от умения сойтись с активистами, с партийной массой, словом, от человеческого обаяния. По мере того как время просоветского восторга и братского похлопывания по плечу сменялось временем диалога, именно это приобретало главенствующее значение.

И тут мы сталкивались с немалыми трудностями: большинство, особенно из провинции, к сожалению, таким критериям не отвечали. К тому же кандидатов подбирал прежде всего Организационно-партийный отдел, у которого были свои соображения: очередность, стремление поощрить лучших или своих политических протеже, оглядка «наверх» и т.д. В результате иной раз эффект от поездки делегации был обратный желаемому.

С подобного рода ситуацией однажды столкнулся и я, когда в мае 1977 года в составе делегации КПСС приехал на XVIII Национальный съезд Мексиканской компартии. Ее возглавлял первый секретарь ЦК Компартии Латвии А. Восс. Он грешил недюжинной привязанностью к алкоголю (всю поездку его любимым выражением оставалось: «Плясни, плясни»). Наш «глава» начал пить чуть ли не сразу, как

³ Ими всегда была богата Итальянская компартия; видимо, это результат соединения традиций изощренной итальянской политической культуры с динамичным, исторически молодым опытом итальянского рабочего движения.

только вошел в самолет. В Мехико он высадился уже в состоянии, в котором пребывал и всю остальную поездку: полная нормальность движений, но в поведении — неустойчивое балансирование между полным и неполным опьянением, а в речи — спотыкающиеся друг о друга слова.

После съезда нам предоставили возможность провести день на всемирно известном курорте на океанском берегу — Акапулько. Ближе к полудню мы поехали на автомобильную прогулку по окрестностям города. А. Восс, пребывая уже в описанном состоянии, вдруг попросил остановить машину у какого-то полупустынного пляжа. Мы устроились на скамейке недалеко от некоего подобия бара под соломенной крышей. К нам подседа девочка лет восьми—десяти. Восс начал играть с нею, временами поглаживая ожерелье из косточек, которым была обвита ее шея. Минут через пять подбежали две женщины. Возбужденно жестикулируя, они стали требовать 50 песо — деньги, которые были спрятаны у нее под кофточкой и которые «этот мужчина взял у ребенка». Подошли трое мужчин воинственного, если не бандитского, вида, стали нас обвинять в том, будто мы хотим «огрбить маленькую бедную девочку». Восс попытался вступить с ними в спор. Я же понял, что дело пахнет жареным. Воображению представились сенсационные заголовки мексиканских газет и тихая радость наших оргпарработников, всегда недолюбливавших международных, из-за того, что делегация угодила в пьяную драку. Я поспешно сунул в руку одного из верзил все деньги, которые были у меня и моего коллеги К. Курипа, и мы чуть ли не за шиворот потащили Восса в машину...

Естественно, видом помощи и высшей формой контактов между КПСС и компартиями считались переговоры между их руководителями, и прежде всего беседы в ЦК КПСС. Я не раз присутствовал на них. Обычно все они были на один лад. После короткого вступительного слова главы делегации КПСС шел более или менее пространственный рассказ главного гостя о деятельности братской партии. В подобных рассказах, к слову, часто бывало немало интересного и поучительного. Затем руководитель советской делегации скупо информировал гостя о деятельности КПСС, ее основных планах и, конечно, о наших успехах. Глубокого, нелицеприятного обсуждения существа вопросов чаще всего не происходило. Иной раз не было и реального обмена мнениями — гости пристраивались к суждениям представителей КПСС.

Значение бесед определялось прежде всего самим фактом их проведения. Они, надо думать, повышали престиж соответствующей партии, демонстрируя внимание к ним со стороны КПСС, и в то же время были рассчитаны на некий позитивный резонанс в самом Советском Союзе. Случались, конечно, и исключения, когда речь шла о серьезных разногласиях с той или иной партией, особенно если она критически относилась к политике КПСС (например, на переговорах с итальянцами, а в последние годы и с французами), или же если

дело касалось серьезных моментов в деятельности и внутренней жизни дружественной партии, как, скажем, в годы раскола у сирийцев.

Если попробовать в качестве некоего итога обобщить тогдашнюю ситуацию в сфере взаимоотношений КПСС с компартиями капиталистических и развивающихся стран, то, на мой взгляд, можно говорить о тенденции к их формализации.

Интересный и непростой вопрос — о типе лидера в коммунистическом движении в те годы. Они были столь же разными, как и сами партии. Еще не вышел совсем из моды тип авторитарного руководителя. Сюда я бы отнес ряд латиноамериканских или арабских генеральных секретарей: Перуанской компартии Х. дель Прадо, Компартии Венесуэлы Х. Фариа, Сирийской компартии Х. Багдаша, Ливанской компартии Ж. Хауи, а также некоторых европейцев. Но постепенно становились нормой руководители иного типа, особенно в европейском движении, куда раньше добрались ветры демократизма.

Разными были уровень образованности и эрудиция у руководителей партий, их способность или готовность воспринимать новое. Одни придавали большее, другие меньшее значение идейной, мировоззренческой стороне своей деятельности, хотя идеология все же отступала перед политической выгодой и доминантой у всех, безусловно, была политическая целесообразность. Должен, однако, сказать — не к чести нынешнего поколения политиков всех расцветок, — что старое поколение коммунистических вождей, как правило, было более устойчивым, более твердым и последовательным в своих убеждениях, правда, и в своих заблуждениях тоже. Похоже, они были вылеплены из более прочного материала, менее склонны к политическим шараньям из стороны в сторону, менее податливы на коррупцию.

Положение лидера гонимой партии, необходимость будничного товарищеского контакта с ее активистами и членами, митингового и иного общения с простыми гражданами побуждали большинство из них к простоте поведения, формировали умение слушать и «обанть» собеседника, оттачивали ораторские способности. Среди коммунистических руководителей попадались яркие и талантиливые личности, чьи возможности были явно шире того политического пространства, в котором они могли действовать, выступая от имени компартии: тот же Р. Арисменди, Генеральный секретарь Компартии Бразилии Л.К. Престес, Генеральный секретарь Тунисской компартии М. Хармель, Генеральный секретарь Португальской компартии А. Куньял и ряд других.

Конечно, на отношениях лидеров комдвижения к КПСС, Советскому Союзу не могла не сказываться зависимость многих партий от КПСС, сцепка их авторитета с самим существованием СССР. Была в этих отношениях какая-то смесь искреннего почтения с политиканством. Во всяком случае, на моей памяти на КПСС снизу вверх — в силу ли идеологических причин или веры в ее непогрешимую мудрость — практически никто из них уже не смотрел. К тому же

у них было немало оснований для недовольства. Равноправных связей с КПСС у подавляющего большинства компартий не существовало, хотя формально это и провозглашалось при каждом удобном случае⁴.

Многое в этих отношениях зависело от веса партии, от позиции ее руководства. Крупным компартиям в принципе было легче проводить независимую политику. Но было немало и мелких, которые вели себя по отношению к Москве самостоятельно, а иногда и не без вызова, например мексиканская (впоследствии вставшая на еврокоммунистические позиции), боливийская, бельгийская. Когда же дело касалось внутривнутрипартийных проблем, свою независимость активно отстаивали и партии, имевшие очень тесные связи с КПСС. Так, в середине 80-х годов в Сирийской компартии произошел раскол. Но все попытки нашего руководства добиться его преодоления были отражены. В 60–80-е годы самостоятельность всех партий неуклонно возрастала, и руководящие претензии КПСС все чаще воспринимались ими негативно.

Особняком стояла группка небольших партий: их лидеры, люди не без способностей, стремясь получить известные материальные и политические дивиденды, наловчились говорить вещи, приятные нашим руководителям, но не отражающие реальную ситуацию ни в их странах, ни в их партиях. Я имею в виду, например, У. Каштана из Канадской компартии, Г. Холла из Компартии США, некоторых других.

Наши руководители, безусловно, испытывали определенные чувства симпатии и близости к лидерам братских партий. Но в полной мере сказывался и свойственный советскому государственному руководству, как, впрочем, любому, традиционный подход с позиций так называемой реальной политики, который отразился в знаменитой иронической фразе-вопросе Сталина: «Кто такой папа римский и сколько у него дивизий?»

Всячески на словах поднимая комдвижение и ссылаясь на него, руководители КПСС относились к большинству глав компартий без особого интереса. Тем подолгу приходилось добиваться приема в ЦК КПСС, а в последние годы — даже у Пономарева⁵. Встречи же с Брежневым или Сусловым вообще стали для них целой проблемой.

⁴ Настривая на иной лад, М.С. Горбачев в июле 1987 г. при обсуждении на Политбюро итогов своей встречи с Генеральным секретарем ЦК Компартии Аргентины А. Фавой говорил: «Надо сочетать нашу ответственную работу с интенсивными контактами с друзьями, нашими равноправными партнерами (выделено мной. — К.Б.), действовать только примером... Надо этот комплекс ("рука Москвы") преодолевать».

⁵ А уже беседуя, Пономарев вдруг бесцеремонно поворачивался к стене и, «полуспиной» к собеседнику, демонстративно бросал взгляд на огромные висючие часы, давая понять, что разговор затянулся.

Более доступными были Кириленко, а впоследствии Лигачев. Или, скажем, такая на первый взгляд мелочь: лидеров партий на заседания съездов КПСС и другие торжественные мероприятия привозили за час-полтора до начала, чтобы... застраховаться. К приезду нашего начальства «все должно было быть в порядке» и «все на местах».

Полнокровным компонентом межпартийных связей были складывавшиеся товарищеские отношения между активом, руководителями братских партий и работниками Международного отдела. Когда речь идет о государственных, тем более партийных связях, личные отношения тоже становятся существенным политическим фактором. Состояние этих связей в немалой степени зависит от того, как они преломляются через подобные отношения, закрепляются через человеческие контакты, человеческую совместимость. Тогда та или другая партия, то или иное государство предстают уже не только как некий политический феномен, но и в образе конкретных людей, с которыми соединяют уже накопленные узы контактов, взаимопонимания.

Значительную роль сыграл Международный отдел в установлении и развитии контактов с социал-демократией. Попытки завязать такие контакты предпринимались начиная с 50-х годов, но они носили сугубо пропагандистский характер. Были обращения, призванные скорее продемонстрировать, чем действительно проявить готовность КПСС к совместным действиям против войны, голода и т.д. Эти напы отвергались западными социал-демократами. Новый этап наступил в начале 70-х годов, когда усилия стали предприниматься с обеих сторон. Своего рода переломным моментом явилась «восточная политика» немецкой социал-демократии, зондирующие шаги которой стали получать осторожный положительный отклик Москвы.

В 1971 году в речи в Тбилиси Брежнев заявил, что мы «готовы сотрудничать с социал-демократами». То была не случайно брошенная фраза, хотя она, возможно, преследовала узкопрагматическую цель, а позиция, на которую можно было опереться. Во всяком случае мы в Международном отделе постарались так ее истолковать. Статья в «Правде» положительно оценила итоги состоявшегося в июне того же года заседания Совета Социнтерна. По своей представительности фактически равносильный конгрессу (присутствовали В. Брандт, Б. Крайский, Г. Меир, Б. Питтерман и другие видные деятели), он отразил важную подвижку: лидеры социал-демократии уделили особое внимание разрядке и полностью воздержались от конфронтационных подходов к СССР.

Хотя интересы у КПСС и социал-демократических партнеров оставались разными, существовавшие точки соприкосновения сделали возможным установление довольно широких контактов. Впервые стал проводиться обмен делегациями. Международный отдел обосновывал полезность развивавшихся связей и разрабатывал для них платформу. Сотрудники отдела активно участвовали во встречах с социал-

демократами в качестве экспертов и «переговорщиков». Речь тогда шла об определенном взаимодействии практического характера в сугубо политических вопросах, касающихся мира и разоружения. С обеих сторон постоянно подчеркивалась непримиримость идеологических позиций.

Эта ситуация была описана в шуточных, не вполне приличных стишках, ходивших в отделе:

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ (материал к беседе)

Чтоб упрочить мир Европы,
Вклад эсдеков тоже важен.
Просим лишь — не будьте ж...ой,
Мы тогда и вас уважим.

Сладить с гонкой — нужен опыт.
Вы поверьте нам на слово.
Только вы не будьте
Мы сотрудничать готовы.

Вот он — лозунг агитпропа:
В бой за мир пойдем едины!
Да не будьте ж, душни,
Вместе мы непобедимы.

Вам не много будет хлопот,
Приезжайте-ка на форум.
Коль не будете вы
Мы напоим и накормим.

Но в идейной сфере — стоп!
Тут поблажек уж не ждите.
Ведь, хотите, не хотите,
Кто вы есть? Социнтерн

Наладившиеся контакты уже стали приобретать и практический смысл. В 1979 году Социнтерн создал рабочую группу по вопросам разоружения, потом Совет по вопросам разоружения, возглавляемый лидером финских социал-демократов К. Сорсой. В ходе визитов группы в Москву и Вашингтон обсуждались различные идеи, касающиеся ограничения ядерного вооружения и прекращения ядерной гонки. Это способствовало сближению наших позиций, постепенно как бы легитимизировало контакты с социал-демократами. Так что еще до 1985 года, до начала перестройки, они, думается, переросли уже в какой-то диалог или, во всяком случае, в наших взаимоотношениях стало появляться все больше его элементов. Конечно, с точки зрения руководства партии, в этих контактах не должно было быть серьезного прагматического содержания. Речь шла главным образом о

том, чтобы как-то использовать более интенсивную, чем, скажем, у консервативных и христианско-демократических партий, миролюбивую ориентацию социал-демократии во внешнеполитических целях Советского Союза, в интересах стабилизации положения в Европе.

Руководство КПСС в общем побаивалось влияния идеологических бацилл реформизма. Не случайно до перестройки каждое упоминание о сотрудничестве и единстве действий с социал-демократами сопровождалось подтверждением неизменности наших идеологических позиций. Но в силу практических нужд оно вынуждено было мириться с тем, что все эти «защитные стены» приобретали скорее формальный характер, а контакты с социал-демократами все-таки в какой-то мере размывали идеологическую твердь режима. Оговорки об идеологической несовместимости постепенно утратили свой прежний смысл, стали скорее ритуальными.

Разумеется, не все в руководстве позитивно относились к взятому курсу. И, быть может, идеологические предостережения были нужны — но это подтверждает их формальное значение — также по этой причине. Неодинаковым было настроение и в разных звеньях аппарата. Наиболее консервативная и ортодоксальная часть партийного актива, а также руководители идеологических структур рассматривали эту линию как опасную и били тревогу. Да и в нашем отделе были разные позиции и настроения в этих вопросах. Подобно «китаедамам» и «югославедам» в Отделе социалистических стран, у международников были «эздекоеды».

Конечно, наши социал-демократические партнеры с самого начала преследовали более широкие цели. Они стремились добиться влияния прежде всего в странах Восточной Европы. Не случайно их курс на связи с КПСС оформился после событий 1968 года в Чехословакии, когда они пришли к выводу, что путь в этот регион лежит через Москву, что ее миновать невозможно. Контакты с КПСС нужны были им и для того, чтобы узаконить свои связи с партиями и общественными силами Восточной Европы, имея в виду использовать их для эволюционной трансформации этих стран. Подобные намерения не оставались для нашего руководства тайной, и это было еще одной причиной того, что контакты с социал-демократией сопровождались идеологическими «примочками».

С середины 80-х годов ситуация стала довольно быстро меняться. Обозначенный до того как бы пунктиром, диалог теперь начал перерастать во все более широкий обмен мнениями, захватывающий также идеологические и даже программные вопросы. С нашей стороны подчеркивался интерес к практическому опыту социал-демократии — правительственной политике, руководству рыночной экономикой, линии на укрепление и расширение демократических свобод. Об этом стали говорить уже и наши руководители в официальных выступлениях. М.С. Горбачев и его соратники стремились непредвзято посмот-

реть на практику западных стран вообще и социал-демократии в частности.

Международный отдел не только разрабатывал аргументацию в пользу именно такого подхода, но и, думается, сумел практически содействовать серьезной активизации связей, расширению тематики и содержания диалога. По инициативе отдела было принято решение об изучении опыта ряда правящих социал-демократических партий, прежде всего шведской и финской. Причем с финнами, а также некоторыми другими партиями были созданы рабочие группы не только по внешнеполитическим сюжетам, но и по системным проблемам внутреннего развития. Мы приближались к их обсуждению и на многосторонней основе. К 1988 году с КПСС поддерживали связи более 30 социалистических, социал-демократических и лейбористских партий, включая наиболее влиятельные. Установилась практика направления социал-демократам закрытых писем для доверительного и откровенного разъяснения линии «перестроечной» КПСС в вопросах международной политики. Это было необходимо, поскольку пропагандистская война все еще продолжалась и наши позиции искажались.

В этот период в некоторых важных контактах с социал-демократическими деятелями довелось участвовать и мне. Уже с консультантской поры у меня был некоторый опыт подобного рода. В 1966 году я ездил в Норвегию — в целях зондажа относительно возможностей улучшения советско-норвежских отношений — на встречу с лидером Норвежской рабочей партии, бывшим премьер-министром Э. Герхардсеном, ветераном рабочего движения, который водил знакомство с Лениным. В 1972 году меня с двумя коллегами направляли в Исландию в составе делегации, приглашенной исландскими социалистами. Год спустя я участвовал в международном семинаре в Бохуме (ФРГ), организованном германскими социал-демократами: это был первый немимолетный наш контакт с ними.

Бохум же свел меня с Гансом-Юргеном Вишневым, тогда одним из руководящих членов правления СДПГ и министром экономического сотрудничества. Большой, круглый, с выдающимся животом, но очень подвижный, он произвел на меня впечатление человека амбициозного («Я, Брандт...») и в то же время откровенного. Вишневым, встретившись со мной один на один, от имени Брандта (тогда канцлера ФРГ) подчеркивал, явно для передачи в Москву, что СДПГ отошла от антикоммунизма, что канцлер «полон решимости добиваться успеха на Венских переговорах по разоружению». Подтвердив твердую приверженность СДПГ НАТО и союзу с Соединенными Штатами и выражая удовлетворение тем, что кризис на Ближнем Востоке (арабо-израильская война 1973 г. — *К.Б.*) не положил конец, как опасались, разрядке, он в то же время заявил не без обиды: «Скажу откровенно: плохо, если договоренность Брежнев—Киссинджер создает впечатление, что сверхдержавы договари-

ваются между собой, "через голову". Я воспринял это как заявку на более весомую международную роль ФРГ.

Бохумская встреча положила начало длительным контактам с Вишневским. Он хорошо знал Ближний Восток и имел там разветвленные связи (недаром в ФРГ его прозвали «Бен-Виш»). И мы время от времени сотрудничали на этой стезе. Позже Вишневский выступил одним из организаторов заседания в Риме Комитета Социнтерна по Ближнему Востоку, где впервые сошлись лицом к лицу представители СССР, палестинцев, Израиля. На конгрессе Социнтерна в Стокгольме в 1989 году Вишневский в своей речи счел уместным отметить мои, как он сказал, заслуги в поиске путей решения арабо-израильского конфликта.

В перестроечные годы Социнтерн впервые пригласил официального представителя на свой XVIII конгресс. Этим представителем выпало стать мне (мы поехали вместе с консультантом отдела А. Вебером). Я побывал также на праздновании 90-летия социал-демократической партии Финляндии в Турку и Национальной конференции лейбористской партии Великобритании в Блэкуиле, встречался с лидерами Французской и Итальянской соцпартий П. Моруа, Ж. Жоспенем (нынешний премьер-министр Франции) и Б. Кракси, с Генеральным секретарем Социнтерна Л. Айяло и др.

В приветствии XVIII конгрессу Социнтерна ЦК КПСС уже был в состоянии констатировать, что «у нас много точек соприкосновения», что «наше общение и взаимодействие» могут и должны строиться «путем совместного поиска ответа на вызовы времени» и что «предстоит еще многое сделать, чтобы разработать современную концепцию социализма, отвечающую прогрессу цивилизации в конце XX века»⁶. Ход конгресса подтвердил правомерность подобного обращения. Новая программа Социнтерна — Декларация принципов по существу порывала с наследием холодной войны. В оценке мировой ситуации на первый план выдвигались глобальные проблемы и опасности. Подтверждал приверженность рыночной экономике, Социнтерн подчеркнул, что рынок сам по себе не решает возникающих социальных проблем. С нашей точки зрения, первостепенное значение имела тогда четко выраженная конгрессом поддержка рестройки, особое внимание к Восточной Европе и подтвержденные линии на развитие и укрепление связей с правящими, «обновляющимися» коммунистическими партиями.

Обо всем этом мы говорили с Председателем Социнтерна В. Брандтом, с которым в ходе конференции у меня состоялась обстоятельная беседа. Он, в частности, подчеркнул, что социал-демократы хотели бы не только поддержать «великий реформаторский процесс», который начался в Советском Союзе и распространяется по

⁶ Правда. — 1989. — 20 июня.

Восточной Европе, но содействовать его упорядоченному развитию. Поэтому, по его словам, социал-демократам, отстаивая свои принципы, следует в то же время решительно отказываться от антикоммунизма, особенно в политике. Брандт дал понять, что рассматривает перестройку как большую помощь левым силам на Западе: она не только резко меняет международную обстановку, что «работает» против неоконсерватизма, но и повышает авторитет социалистических идей.

Главная мысль, которую я вынес из разговора с Брандтом, состояла в том, что социал-демократы не заинтересованы во взрывном развитии событий на Востоке. Рассчитывая, что начавшиеся процессы приведут к укреплению их позиций, и добиваясь этого, они вместе с тем — а может быть, поэтому — предпочитали, чтобы процессы проходили постепенно, без потрясений, без обвала, дестабилизации. Заинтересованные в этом же контексте в налаживании сотрудничества с «обновляющимися» компартиями, они ориентировали своих союзников и своих сторонников в восточноевропейских странах на конструктивное поведение. Их замысел был понятен и естествен. В этом смысле то, что произошло на самом деле, следует рассматривать как неудачу и для социал-демократии. Воцарение «дикого капитализма» в России, превращение на какое-то время в бывшем Советском Союзе и кое-где в Восточной Европе самого слова «социализм» в ругательный ярлык оказали неблагоприятное влияние также на позиции социал-демократии.

Сказанное Брандтом о тактике социал-демократов подтвердил мне летом 1989 года Г.-Ю. Вишневский, назвав вопрос об отношении к социал-демократическим и социалистическим партиям в странах Восточной Европы «щекотливым». Руководство Социнтерна было озабочено тем, чтобы, развивая связи с ними, не испортить сложившиеся хорошие отношения с правящими коммунистическими партиями, не дестабилизировать обстановку. Именно по этой причине Социнтерн отказался направить своего представителя на съезд социал-партии Словении, действующей в «неконструктивном направлении». Вишневский со ссылкой на Брандта подчеркнул, что Социнтерн будет проявлять максимальную сдержанность в этом отношении. Характерно, что на Совете Социнтерна, заседавшем в Каире летом 1990 года, при активном участии В. Брандта было решено не принимать в Социнтерн партии из Прибалтики.

Наконец, проявлением той же линии явилась четырехсторонняя рабочая встреча (КПСС, социал-демократические партии ФРГ, Швеции и Финляндии), которая состоялась сразу после празднования 90-летия социал-демократической партии Финляндии в августе 1989 года. Немцев представлял премьер-министр Саара О. Лафонтен (нынешний лидер СДПГ), шведов — председатель партии и премьер-министр (вплоть до марта 1996 г.) И. Карлсон, финнов — предсе-

датель парламента К. Сорса и министр иностранных дел Р. Паасио. От КПСС присутствовал я.

Встреча состоялась на уединенном островке в шхерах недалеко от Хельсинки. Беседы по финскому ли, по скандинавскому ли обычаю часто происходили в сауне, и Карлсон поражал меня тем, что то и дело выбегал голышом из сауны и плюхался в холодный пруд. Не было никакой строгой повестки дня, по сути дела, прощупывалась возможность нахождения какой-то совместной платформы, которая вела бы в двух направлениях: во-первых, к укреплению разрядки, к дальнейшему сокращению вооружений и к переходу двух сторон (Запад—Восток) от противостояния к сотрудничеству; во-вторых к постепенному, без эксцессов, переводу Восточной Европы на рельсы демократического развития, в конечном счете — под социал-демократические знамена.

В моем представлении в высказываниях собеседников сливались европейский и социал-демократический подходы. Европейский том смысле, что он являлся более мягким, более открытым по отношению к сотрудничеству с Горбачевым, с перестроечными силами и не отягощенным специфическими супердержавными интересами Соединенных Штатов. А социал-демократический — в смысле заинтересованности в выходе реформаторских процессов в Советском Союзе и Восточной Европе в конечном счете на социал-демократические рельсы. И эта встреча, на мой взгляд, отражала подлинное желание социал-демократов укрепить социалистическое движение в целом, а также их убеждение, что из практики коммунистов (несмотря на все принципиальное недоверие к ним социал-демократов) можно кое-что взять.

Мне виделась определенная связь между этим подходом участников бесед на островке и их размышлениями о путях развития социализма, о том, что под этим надо подразумевать в современных условиях. Вот несколько высказываний, прозвучавших в ходе бесед:

Паасио: У нас долгий опыт — 20 лет сотрудничества с КПСС. И мы думаем, что есть возможность и для дальнейшего развития наших отношений. Речь идет о контакте двух главных течений рабочего движения. Мы во многом обязаны русской социал-демократии, в том числе и Ленину, без чего не была бы возможна наша независимость.

Карлсон: Ленинская форма не дает простора для демократических оттенков. Но и чистый капитализм не дает простора для жизни.

Р. Дарендорф (видный социолог и экономист, директор Лондонской школы экономики): Нужен общественный сектор, чтобы все имели свою долю благосостояния. Нельзя давать полную свободу рыночному хозяйству. Сейчас уже 10 млн. безработных; это нарушение равноправия может стать угрозой для демократии. Ослабевает солидарность со слабыми.

Сорса: Каково будущее рабочего движения? Социал-демократия, коммунисты? Может быть, левые силы в будущем будут охватывать не только партии, идущие к социализму, но также и другие силы... Возможно, «зеленые» сегодня убегают в экологию от общественных проблем. Но нужно ли нам выключать их из лагеря левых сил? Когда-нибудь страны, которые наносят наибольший вред окружающей среде, будут бойкотировать, как это порой происходит сегодня со странами, где нарушаются права человека.

Лафонтен: А что такое вообще идеи социализма на сегодня? Что такое сегодня «труд»? Сегодня в промышленном обществе есть явления, которые никак не отражены в нашей теории... В ФРГ говорят, что надо расширить понятие труда, ввести оплату домашнего труда как элемент равноправия женщин. Проблема неоплачиваемого труда — для себя и для ближнего — важный момент демократизации общества. Социал-демократия нуждается в новых идеях. Надо открыть себя для новых мыслей, новых подходов — в сторону от классических категорий.

В этом смысле была интересной и беседа в апреле 1989 года с П. Моруа. Читатель, надеюсь, поймет, почему мне хочется привести пространные выдержки из его рассуждений относительно нового программного документа Французской соцпартии:

Мы теперь по-иному смотрим на само предназначение соцпартии. Мы должны быть партией правительственной ответственности, а не рассказывать людям идеологические сказки. Нужно осуществить в партии свою «перестройку». В новом документе соцпартия заявит о приверженности принципу смешанной экономики. Пребывание у власти убедило, что рынок незаменим, что более эффективного, более гибкого средства адаптации к экономическим потребностям общества не существует. Конечно, у него есть свои недостатки, и их надо исправлять с помощью государственных рычагов. Социалисты всегда делали акцент на распределение. Столкнувшись с реальным управлением страной, мы поняли, что надо прежде всего уметь производить. Раньше считалось, что решение социальных задач потянет за собой решение экономических проблем. Опыт показывает, что нужен обратный подход, хотя и нельзя забывать о необходимости более равномерного распределения благ. Другим важным направлением концептуальных новаций будет вопрос о соотношении государства и демократии. Свобода должна быть постоянной заботой социалистов. Идея демократии, свободы постоянно развивается, приобретает новый смысл. К тому же эта идея требует защиты, она портится от времени. Да и разные поколения вкладывают свой смысл, что хорошо видно на примере нынешней молодежи.

С оглядкой на нашу практику мне были особенно любопытны соображения Моруа относительно взаимоотношений между партией и

государством: «Я убежден, что ФСП не должна сливаться с правительством, с государством. Предназначение соцпартий не в руководстве государством, не в управлении страной, а в том, чтобы воплощать, сохранять и донести до будущих поколений саму идею социализма. Некоторые левые партии считают не эту задачу главной. Они хотели бы видеть партию прежде всего избирательной машиной. Сейчас в моде разговоры о «конце», о «смерти идеологии». По моему убеждению, такие рассуждения нужны буржуазии, чтобы устранить саму идею социализма. Пусть Французская соцпартия и дальше «поддерживает огонь», хотя мы стали умереннее, выступаем за то, чтобы двигаться путем постепенных реформ».

Напомню: все эти рассуждения датируются концом 80 — началом 90-х годов. Не думаю, что сегодня они менее актуальны, чем тогда...

Еще одно направление деятельности отдела — это курпирование международных связей разнообразных комитетов и других непартийных структур, через которые осуществлялся выход на соответствующие круги в других странах: Комитета защиты мира, Комитета афро-азиатской солидарности, Комитета советских женщин, Пагуошского движения, Дартмутских встреч, Комитета ветеранов войны и Союза обществ дружбы с зарубежными странами, а также профсоюзов.

По этому же направлению проходили и так называемые международные демократические организации: Всемирный Совет Мира, Международная демократическая федерация молодежи, Международная организация журналистов и другие. Несмотря на то что их возможности и идеи во многом выхолащивались нашим же догматическим подходом, они способствовали привлечению на советскую сторону каких-то сегментов международного общественного мнения, служили своего рода нашей опорной точкой. Работа с ними, поддержка их влияния — одна из заслуг Международного отдела в «подпирании» внешней политики государства, в которой вообще весьма весомое место занимала пропаганда. Иногда, впрочем, слишком весомое: в плен ей попадала сама политика. По сути дела, отдел занимался истолкованием и «программированием» части международного общественного мнения. Эта работа во имя государственных интересов в последние годы недооценивается. Впрочем, такая тенденция существовала и раньше — своего рода проявление ведомственной узости, когда весь мир рассматривается через дипломатические очки, а международная жизнь видится почти исключительно как межгосударственные отношения.

Усилия по развитию контактов, попытки аргументированно объяснить с теми, кто придерживается другой позиции, со временем создали отделу репутацию относительно открытой структуры, где есть стремление к большему взаимопониманию и какой-то эволюции. И к концу 70-х годов произошел заметный сдвиг: многие приезжавшие из-за рубежа некоммунисты, влиятельные лица стали «запрашиваться» на прием в ЦК (причем нередко только в Международный отдел), не

опасаясь себя скомпрометировать. И, как это ни парадоксально, именно при Пономареве особенно много было сделано для активного продвижения к более широким связям. Позже весь поток контактов стимулировался и сверху, и в этом уже не было чего-то необычного.

Международный отдел в целом не играл серьезной роли в собственно внешней политике, в отличие, скажем, от Отдела по связям с братскими, то есть правящими, партиями социалистических стран. Да и мидовцы не слишком интересовались этой группой стран, главным образом по причинам житейского характера.

Неизмеримо влиятельнее в вопросах внешней политики были МИД, КГБ, который, располагая мощной службой внешней разведки⁷, претендовал на относительно самостоятельную роль, а во многих вопросах также Министерство обороны. МИД, как всякий бюрократический институт, ревниво оберегал сферу своей компетенции. Он старался не допускать туда «других», и одним из средств, которым пользовался, было ограничение информации из посольств, поступающей, в частности, в наш отдел. Истины ради надо признать, что бывали, конечно, случаи и некомпетентного вторжения этих «других» структур, последствия чего потом приходилось расклеивать дипломатам. Отвергая притязания «других», МИД в течение многих лет ссылался также на то, что практически является внешнеполитическим отделом ЦК.

Влиятельность тех или иных структур, связанных с международными делами, существенно зависела от положения и весомости их руководителей и потому была разной в разные времена. Подобная ситуация, обычная и нормальная для государственной машины любой страны и ее бюрократического мирка, в Советском Союзе во второй половине 70 — начале 80-х годов приобрела уродливые масштабы. Глава МИД А.А. Громыко, используя болезненное состояние Брежнева и свои дружеские отношения с ним, приблизился к роли непрекаемого вершителя нашей внешней политики⁸. Это сказалось на

⁷ Внешнюю разведку, Первое Главное управление, почему-то именовали в просторечии «соседями». Можно было бы думать, что это связано с тем, что Лубянка недалеко от Старой площади. Но так называли их и в МИД, и в других соответствующих учреждениях. К тому же цитадель внешней разведки располагалась за городом.

⁸ Учитывая эту ситуацию и существовавшее соотношение сил, не имел и, более того, не мог иметь место факт, приводимый Р. Гартоффом (ведущим американским исследователем отношений между США и СССР), которого подвело кто-то из его советских собеседников, очевидно стремившихся показать свою осведомленность. Гартофф пишет, ссылаясь на «старшее официальное лицо» из ЦК, «вовлеченное в кампанию», что Громыко хотел пойти навстречу США в переговорах по ракетам среднего радиуса действия, а Пономарев был против, рассчитывая на успех кампании против их размещения в Западной Европе, и Политбюро якобы приняло «схему Пономарева». См. R.Z. Garthoff. *The Great Transition. The Brookings Institution. — Wash. — 1994. — P. 71–72.*

ней печальным образом. В тот же недолгий период, когда Пономарев стал кандидатом в члены Политбюро, а Громыко оставался членом ЦК, временно возросла роль Международного отдела.

В обычных условиях такое центральное внешнеполитическое направление, как американское, оставалось вне какого-либо достойного упоминания воздействия отдела. На европейском же направлении он играл скорее консультативную роль, транслируя мнение компартий, особенно внимательно отслеживая расстановку общественных сил, вводя в оценку социальный фактор.

Несколько иначе обстояло дело с деятельностью, нацеленной на развивающиеся страны и особенно на Арабский регион. Здесь отдел играл — в тесном сотрудничестве с МИД — активную роль. Причин, думается, было несколько. Пристрастия Министерства иностранных дел и его шефа были обращены к Западу, развивающиеся же страны рассматривались как второстепенный участок. Известным исключением был лишь Арабский регион, и то скорее ввиду неизбежности выхода тут на американцев.

Напротив, Международный отдел и его глава проявляли серьезное внимание к этой зоне. Далее, у работников отдела сформировались хорошие связи с руководством и видными деятелями ряда арабских стран. Наконец, в этой сфере благодаря взаимной лояльности соответствующих структур МИД, возглавлявшихся первым заместителем министра иностранных дел Г.М. Корниенко, а затем А.А. Бессмертных (поразительно быстро освоившим направление и умение разговаривать с арабами), и Международного отдела между ними сложилось тесное сотрудничество. У уже упоминавшегося Мишеля Татю из «Монд» были некоторые основания написать: «В особенности более важную роль, чем традиционные дипломаты, Международный отдел играл в государствах “третьего мира”, и не только в “прогрессивных” странах». По его словам, «имя заместителя заведующего Международным отделом господина К.Н. Брутенца известно в арабском мире лучше, чем любого советского посла и заместителя министра». В материалах конференции, проведенной Государственным департаментом и ЦРУ, также говорилось, что «Министерство иностранных дел постепенно заняло чисто формально-дипломатическую роль в «третьем мире» и сконцентрировалось на советской внешней политике в развитом мире и на его периферии».

Мой личный опыт сотрудничества с коллегами из Министерства иностранных дел был в целом плодотворным. Там встречались, конечно, и типичные бюрократы, в том числе на высших постах, «рыцари осторожности», уходившие прочь от любых решений. Но чаще всего я находил рабочий отклик и понимание. Ведь в руководстве министерства, во многих его звеньях были великолепные специалисты, выдающиеся дипломаты. Назову хотя бы некоторых из них: заместители министра (в разное время) А. Адамишин, А. Бессмерт-

ных, Ю. Воронцов, Ю. Квицинский, В. Комплектов, «элитные послы» В. Виноградов, А. Добрынин, О. Трояновский, В. Фалин. Хотел бы также с благодарностью упомянуть В. Казиминова и А. Панова, а из арабистов — П. Аكوпова, В. Колотушу, В. Полякова, М. Сытенко, С. Филева, Ф. Федотова. И особо, конечно, о Г.М. Корниенко. Высококласный профессионал и личность. Человек, способный и умеющий принимать решения, не только имеющий собственное мнение, но готовый отстаивать его вопреки неудовольствию начальства. Так, в 1986—1987 годах он резко спорил с Шеварднадзе, энергично настаивая на ускоренном выводе советских войск из Афганистана, писал по этому поводу записку Горбачеву.

В целом же отношения между МИД и отделом были не вполне добрыми. Дело тут было в обычном соперничестве двух структур, работающих в одной и той же области. Важную, если не определяющую, роль играли неприязненные личные отношения Громыко и Пономарева. Причем, подыгрывая боссам, их приближенные, особенно в окружении Громыко, пытались превратить эту личную неприязнь в своеобразную «институцию», чуть ли ни в рабочую норму.

Мне не известны истинные причины их взаимной неприязни. Возможно, ее в свое время подогрело соперничество, до того как Пономарев оказался безнадежно позади. Оно принимало, рассказывали, иной раз комические формы. Так, однажды, в период своего недолгого превосходства, Борис Николаевич, зайдя в комнату, где должны были состояться какие-то переговоры, обнаружил, что справа от председателя лежит папка Громыко. Пономарев передвинул эту папку правее, а взамен положил свою.

Более ровными в целом были отношения Международного отдела с КГБ, а точнее, с тем, что сейчас называется внешней разведкой (впрочем, в разных подразделениях отдела они складывались по-разному), с ее политической ветвью. Видимо, это связано и с тем, что тут почвы для бюрократического «перетягивания каната», как правило, не было ввиду различия сфер деятельности и особого положения КГБ. Должен сказать, что кадры внешней разведки в центре и на местах большей частью отличались высокой квалификацией.

Некоторые возможности влиять на внешнеполитическую сферу отдел имел через контакты своих работников с помощниками Генерального секретаря ЦК КПСС, в частности, в ходе подготовки различных материалов и справок к переговорам, важнейших разделов различных документов, отчетных докладов на съездах, выступлений Брежнева, других членов руководства, в чем представители отдела участвовали непременно (скажем, нашей прерогативой неизменно оставались проблемы развивающихся стран и национально-освободительного движения). Эта работа большей частью велась через существовавшую в отделе консультантскую группу, о которой я еще расскажу.

Сложилась практика, при которой каждый из помощников обзавелся чем-то вроде своего актива. У А. Александрова это был В. Загладин⁹, заместитель, а затем и первый заместитель заведующего Международным отделом, у Г. Цуканова — руководитель консультантской группы Отдела соцстран, а затем обозреватель «Известий» А. Бовин, Н. Иноземцев, Г. Арбатов, у А. Блатова — Н. Шишлин, сменивший Бовина на посту руководителя группы консультантов. С ними они неизменно работали при подготовке тех или иных материалов. Через помощников этот «актив» получил доступ к Генеральному секретарю, вошел в ближайший круг его политических советников и поощрялся им в разных формах. Арбатов, Загладин и Иноземцев стали членами ЦК и депутатами Верховного Совета СССР, а Бовин — членом Ревизионной комиссии КПСС и депутатом Верховного Совета РСФСР.

Мне с А.М. Александровым довелось работать не раз. Александров у нас проходил под кличками Тире (его полная фамилия Александров-Агентов) или Воробышек — из-за небольшого роста и часто неровной, нервно-суетливой манеры вести себя. Это был преданный делу, трудолюбивый и порядочный человек, сторонившийся интриг и мелкого политиканства, что, кстати, и подтверждает выпущенная им в издательстве «Международные отношения» небольшая книжка воспоминаний. Достаточно осведомленный в тайнах «двора», он тем не менее ограничивается в ней рассказом о существенных сторонах прошедших лет, не опускается до передачи сплетен и избегает персональных выпадов, для которых у него было более чем достаточно материала.

Интеллигент, эрудит, хорошо знавший полдюжины языков, подчеркнута, иногда до странности вежливый. Свою жену, с которой прожил полвека, он неизменно называл на «вы» и только по имени-отчеству. Так же вопреки привычкам, бытовавшим у многих начальников в аппарате, неизменно обращался к коллегам, стоявшим значительно ниже по служебной лестнице. И мог публично и вполне искренне выразить возмущение иным обращением с людьми. Например, став за ужином в Сантьяго (Чили) свидетелем грубого разноса первого секретаря посольства послом Басовым (кстати, бывшим в большой милости у генсека), Александров поднялся из-за стола и ушел, громко заявив: «Не терплю, когда так разговаривают с подчиненными».

И в то же время Александров был способен грубо оборвать своего коллегу по работе, обозвать — не в шутку, всерьез — ревизионистом (так было в моем присутствии с заместителем министра иностранных дел А. Ковалевым), накричать на молоденького лейтенанта из спецспл-

⁹ Вадим Загладин — человек разносторонних интересов и способностей, наделенный острым, быстрым умом и незаурядной гибкостью, чутко реагирующий на политическую и аппаратную конъюнктуру. Его неординарный потенциал иллюстрирует, в частности, и тот факт, что он сумел стать близким сотрудником столь разных руководителей, как Брежнев и Горбачев.

зи, привезшего пакет в Ново-Огарево и колебавшегося, отдать ли его Александру: «Да вы знаете, с кем разговариваете — с помощником Генерального секретаря...» и т.д. и т.п. И эта последняя, не очень приятная черта, эта капризность, по моим наблюдениям, нарастала в последние брежневские годы. Думаю, это было вызвано двумя обстоятельствами: с одной стороны, отражением на помощниках процесса безбрежного возвеличивания самого Брежнева, а с другой, как бы по контрасту, — взвинченностью, связанной с сокрушавшимся доступом к «боссу» и растущим пониманием того, что дела идут «не туда».

Ко мне Александр относился в общем совсем неплохо. Но это не мешало ему в ходе работы над текстами выражать прилюдно, иногда в довольно резкой форме, свое недовольство моими замечаниями или возражениями. Однажды в Ново-Огареве после очередного его «протуберанца» я даже встал и спросил: «Зачем тогда устраивать обсуждение, если вы так реагируете на замечания? Может быть, мне уйти?» Правда, все эти «всплески» сам Александр быстро забывал, они не отражались на наших отношениях.

Международный отдел был тесно связан со многими академическими научными учреждениями — теснее, чем другие структуры, имевшие отношение к внешней политике. Речь идет, прежде всего, об Институтах мировой экономики и международных отношений, США и Канады, востоковедения, Латинской Америки, Африки. По поручениям ЦК, а иногда и по своей инициативе они готовили аналитические материалы, вносили предложения. К сожалению, в целом влияние на нашу «продукцию» этих контактов было не очень большим.

Прежде всего не был значительным люфт между нашими профессиональными познаниями и тем, что могли дать ученые, если, конечно, не говорить о некоторых специальных вопросах. Кроме того, они знали, куда и для чего пишут, и у них срабатывал механизм самоцензуры, делалась поправка на проходимость. Кое-кто прибегал к откровенным отпискам, чтобы на него махнули рукой и не отрывали от личных дел. Влияли и некоторые специфические обстоятельства. Во главе ряда из названных институтов стояли люди, близкие к руководству, к Брежневу. Они предпочитали лучшие материалы направлять туда: это было полезнее и выгоднее во всех отношениях. Для них отдел уже был сравнительно низкой категорией. А потом стало сказываться и угасание авторитета ЦК.

Приходили, естественно, и интересные материалы. Но и они полностью игнорировались, если расходились с заранее принятыми установками. Руководство, по крайней мере его часть, считало, что по определению владеет истиной в последней инстанции. В убеждении, что оно по должности знает все, его укрепляло и наличие особых источников информации, которые были недоступны ни работникам аппарата, ни тем более деятелям науки. Наука скорее была нужна ему для оснащения доводами уже одобренных позиций.

Отдел оказывал некоторое влияние на работу институтов, помогал в определении и разработке актуальной проблематики. Мы нередко содействовали публикации серьезных исследований. В издательствах, страхуясь, подчас предпочитали обзавестись рецензией из ЦК, и в отделе составлялись внутренние отзывы, имевшие практически официальную «марку». Это часто снимало затруднения, возникавшие, если автор выходил за рамки стандартных положений. Можно назвать немало изданий, где сформулировались новые подходы, получившие путевку в жизнь с помощью наших товарищей. Разумеется, бывали случаи и противоположного порядка. Наконец, случалось и так, что сотрудники отдела в этих коллизиях оказывались по разные стороны баррикады.

С приходом к руководству Горбачева по его инициативе функции Международного отдела первоначально были значительно расширены. На совещании в ЦК 10 марта 1986 г. — сразу вслед за XXVII съездом КПСС — Михаил Сергеевич заявил: «Что касается Международного отдела, то речь должна идти о расширении его функций. На первый план международной политики партии вышли вопросы войны и мира, вопросы международных отношений в целом. Структура и характер Международного отдела в настоящее время не приспособлены в достаточной мере для решения этих задач... У нас в стране существует ряд органов, занимающихся международными вопросами, и все они в конечном счете выходят на ЦК. Необходима координация деятельности в этих сферах. Важно обеспечить и объединение теоретических сил партии, их мобилизацию на разработку соответствующих проблем. В настоящее время отдел к таким функциям также не готов».

Было выработано и 6 мая 1986 г. утверждено новое положение о Международном отделе. Главной его функцией провозглашалось обеспечение проведения линии партии, выполнение решений и поручений ЦК КПСС по двум основным направлениям. Первое — узловые вопросы внешней политики партии и вопросы международных отношений в целом, и второе (второе! — *К.Б.*) — связи КПСС с коммунистическими и рабочими, а также революционно-демократическими, социалистическими, социал-демократическими и лейбористскими партиями, с другими партиями и организациями, с национально-освободительными движениями и антивоенными силами.

При этом основные задачи отдела по внешнеполитическому направлению были сформулированы, я бы сказал, весьма широкозахватно и в то же время достаточно конкретно. Цитирую решение ЦК:

...Проработка глобальных проблем войны и мира, непосредственное участие:

— в подготовке и разработке совместно с МИД, КГБ, Министерством обороны проектов крупных внешнеполитических документов, решений, инициатив, связанных с принципиальной линией партии на мировой арене...

— в разработке совместно с другими ведомствами курса и планов конкретных действий на региональных (американском, западноевропейском, азиатском, тихоокеанском, ближневосточном, африканском и т.д.) направлениях внешней политики;

— в проработке идей и инициатив по реализации стратегии и тактики КПСС в отношении развивающихся стран;

— в анализе совместно с Министерством обороны, МИД СССР и КГБ военно-политических вопросов в целях необходимой увязки военной и внешней политики СССР и в подготовке соответствующих предложений, особенно по очагам напряженности и по взрывоопасным ситуациям;

— в рассмотрении совместно с Госпланом, МВТ и ГКЭС основных внешнеэкономических вопросов и вопросов сотрудничества, в том числе военного, с развивающимися странами с точки зрения увязки их с внешнеполитической стратегией КПСС, в разработке соответствующих приоритетов;

— в рассмотрении вместе с другими отделами ЦК и соответствующими ведомствами основных вопросов нашей линии по гуманитарным вопросам, касающимся внешней политики;

— в практическом осуществлении внешнеполитических решений в ходе переговоров и других контактов с правительствами и делегациями зарубежных стран (несоциалистического мира)».

Специально было оговорено, что отдел получает всю необходимую информацию от всех ведомств, связанных с внешней политикой и международными отношениями. Придание новых функций сопровождалось объединением отдела с двумя другими, которые тоже занимались международными делами: по связям с братскими партиями социалистических стран и заграничных кадров и командировок. В компетенции последнего были выезды советских граждан за рубеж в краткосрочные командировки либо на работу по дипломатической, военной и разведывательной линиям. Как и все звенья аппарата ЦК, Международный отдел прошел через серьезное, 40-процентное сокращение, но благодаря объединению с ним других отделов в конечном счете стал насчитывать около 300 человек (272 на 15 января 1990 г.).

Отныне отдел фактически был нацелен на ту весомую или даже еще более значительную роль во внешней политике, которую ему до этого приписывали незаслуженно. И действительно, он стал принимать деятельное участие во внешнеполитических делах, включая разоруженческие проблемы. Особенно активен отдел был в критическом анализе заскорузлых, отставших от времени международных позиций Советского Союза. Через отдел Горбачевым были осуществлены прорывы на некоторых важных внешнеполитических направлениях, например южнокорейском, частично японском, а также в отношениях со странами Залива.

Однако с амбициозными задачами, сформулированными в новом Положении, Международный отдел не справился, да и не мог справиться. Прежде всего он почти сразу же столкнулся с ревнивым сопротивлением МИД. Новый его глава Э.А. Шеварднадзе после недолгого и, судя по всему, не очень искреннего «романа» с отделом постарался не допустить его, как, впрочем, и других, в свою сферу. Он практически задушил в зародыше задуманный проект. Попытки Добрынина этому противостоять были обречены с самого начала: их весовые категории и влияние у Горбачева были несоизмеримы. А.Н. Яковлев, который вскоре в качестве секретаря ЦК и члена Политбюро стал куратором отдела, имел не меньшие возможности по части влияния, чем министр иностранных дел. Но, по нашим наблюдениям, он явно не хотел использовать их в ущерб своим общим с Шеварднадзе более важным интересам.

Всерьез восприняв дарованные новые функции, мы стали довольно энергично высказываться и по вопросам назначения послов, в том числе в социалистические страны, что всегда было заповедным делом «самого верха» и Громыко. И сразу ощутили: здесь все решается прежним способом и, хотя такая задача перед отделом поставлена, наше мнение во внимание не принимается. Например, отдел предлагал направить послом в Чехословакию В. Игнатенко, в то время редактора журнала «Новое время», и активно возражал против Б. Панкина, до того служившего послом в Швеции. Мы, конечно, тогда еще не могли знать, что это близкий к Яковлеву человек.

Нами также предлагались послами: в Китай — Вольский А.И., в ГДР, а затем в Германию — Р. Федоров (заместитель заведующего Международным отделом), в Польшу — Ч. Айтматов или М. Ульянов; эффект тот же. Зато мне летом 1986 года было сделано предложение поехать послом в Индию, которое восторга у меня не вызвало.

Ревнивая позиция МИД, склонного относиться к себе как самодостаточному учреждению, — это, повторяю, нормальная позиция бюрократической структуры, к тому же претендующей, не без некоторых оснований, на исключительную компетентность в своей области. Столь же естественным был самозащитный рефлекс самого Шеварднадзе¹⁰ —

¹⁰ Выбор Шеварднадзе на должность министра был для Пономарева, как и многих других членов руководства, полной неожиданностью. Я узнал об этом от него самого в тот же субботний (или воскресный) день, когда состоялось назначение. Борис Николаевич позвонил мне на дачу и назначил встречу у деревни Усово (рядом с ней располагался дачный поселок ЦК). Мы более получаса прогуливались по деревенской улочке, и усовские обитатели с любопытством посматривали на нас и на ожидавший «линкор» черный ЗИЛ с охранником. Пономарев долго выражал свое удивление, даже недоумение происшедшим: «Ведь он в этом совсем не разбирается...», и потом попросил срочно подготовить краткий материал о наших внешнеполитических проблемах для разговора с Шеварднадзе.

человека властного, если не авторитарного, полного решимости наложить личный отпечаток на проводимую политику.

Говорю об этом, хотя сам никак не могу пожаловаться на отношение Шеварднадзе к себе. Достаточно упомянуть, что я оказался единственным сотрудником Горбачева, которому Эдуард Амвросиевич предложил работу в созданной им после августа 1991 года Внешнеполитической ассоциации: сначала в качестве главы Конфликтного фонда (от чего я отказался, поскольку это предполагало уход из Фонда Горбачева), а затем руководителя Центра по проблемам развивавшихся стран (им я стал).

Верно и то, что отдел со своими скромными возможностями (на параллельных участках в МИД и КГБ работало в 5–10 раз больше специалистов) был не способен на равных взаимодействовать с этими структурами в целом ряде специфических и конкретных вопросов. Он обладал уникальным опытом широкого, не ведомственного подхода к международным делам и квалифицированными людьми на основных направлениях и мог сыграть роль, так и оставшуюся невостребованной, — экспертно-координирующую. Наконец, реализации первоначального замысла относительно новых функций отдела, думается, помешало и начавшееся размывание роли ЦК и его аппарата.

Между тем отсутствие координирующей «руки», в особенности на экспертном уровне, уже давно и весьма неблагоприятно сказывалось на советской внешней политике. Создававшиеся комиссии Политбюро (китайская и польская, возглавлявшиеся Сусловым, афганская и ближневосточная, возглавлявшиеся, соответственно, Шеварднадзе и Устиновым) были обращены к кризисным проблемам и пробелов не заполняли. Попытка создать после XXVII съезда КПСС Комиссию по международным отношениям в этом смысле тоже ничего не дала, учитывая способ ее конструирования, состав, не говоря уже о резком падении влияния партийных институтов. Впрочем, не совсем ясны и действительные цели, ради которых создавалась комиссия: имелась ли в виду действительная структура или это был отвлекающий маневр.

Как бы то ни было, координирующий орган, механизм компетентной, надведомственной подготовки и экспертизы внешнеполитических решений так и не возник. В результате процесс согласования позиций различных ведомств носил скорее бюрократический, а не политический характер. Чаще всего это была совместная работа аппаратчиков из разных ведомств над отдельными документами. Выдвижение альтернативных проектов или предложений было, как правило, исключено.

Необходимость координирующего органа в области внешней политики была тем настоятельнее, что самостоятельное, сепаратное вхождение ведомств со своими предложениями резко повышало возможность не критического к ним отношения и безоблачного прохождения через высшее руководство. Особенно это касалось инициатив КГБ, а со второй половины 70-х годов и МИД.

Один из информированных работников КГБ Н. Леонов в книге «Лихолетье» пишет: «Старая площадь давала только согласие на то, о чем просили и что предлагали (имеется в виду КГБ. — К.Б.). Отказы были крайне редки, они вряд ли составляли 1 процент всех предложений. Создавалось впечатление, что «там» только автоматически ставится штамп «добро», начисто отсутствует критическое отношение к инициативам снизу... Поскольку желающих выделиться, отличиться всегда значительно больше, чем добросовестных и инициативных тружеников, то наверх шел возрастающий поток цветисто написанных предложений-пустышек. Все они благословлялись двумя словами: «Есть согласие», которые иногда передавались по телефону из ЦК в секретариат КГБ каким-нибудь второстепенным сотрудником партийного аппарата»¹¹.

К сожалению, указывая на реальный факт, Леонов дает ему ложное объяснение. Проблема состояла, конечно, не в том, что в аппарате ЦК отсутствовало вдумчивое отношение к этим предложениям, хотя, наверное, встречалось и такое. Главное состояло в другом: КГБ оставался на особом положении, его предложения проходили большей частью по «самому верху», где не так уж много было экспертов, способных и готовых отнестись к ним критически.

Как известно, крупные (но не только они) внешнеполитические решения выносились Политбюро, иначе говоря, узким кругом лиц, из которых лишь несколько более или менее серьезно разбирались в этих делах. Именно от них, а нередко от отношений между ними зависело мнение ареопага в целом. Причем доминировало мнение Генерального секретаря, если, конечно, он был дееспособен, и обсуждения альтернативных вариантов, как правило, не происходило.

В этих условиях тем чувствительнее было отсутствие на подступах к Политбюро форума, где могли бы быть сопоставлены и учтены подходы различных ведомств, связанных с внешнеполитической деятельностью. Чрезвычайно урезанными оказались возможности для выражения партийными, государственными, общественными деятелями непрямых, неангажированных взглядов и точек зрения, которые могли бы быть приняты во внимание при решении тех или иных вопросов.

Сложившаяся ситуация имела особенно неблагоприятные последствия начиная со второй половины 70-х годов, когда принималось много непродуманных решений (наиболее серьезным из них был, конечно, ввод войск в Афганистан). По этой же причине на различных направлениях внешней политики практически не существовало никакой долгосрочной стратегии — той, что нам обычно приписывают западные политики или ученые, которые не могут представить, чтобы мы действовали вне серьезно разработанного плана.

¹¹ Н.С. Леонов. Лихолетье. — М.: Международные отношения, 1995. С. 112–113.

Правда, сложности в проведении хорошо скоординированной политики существуют, пожалуй, в любом государстве. Мемуары американских государственных деятелей полны рассказов о ссорах и сваргах, о борьбе за влияние между различными структурами, персонами, причастными к внешней политике. Но это слабое утешение¹².

Не привела к существенным сдвигам и попытка отдела изменить положение с информацией, поступающей от зарубежных представительств. Ее необъективный и поверхностный характер служил одним из источников грубых ошибок советской внешней политики. Стремление угодить начальству — коррозия, разъедающая бюрократический аппарат в любой стране и при любых обстоятельствах. Но время застоя — лучшая питательная среда, «политический агар-агар» для этого явления.

После прихода Горбачева решили разобраться с этой проблемой. Политбюро приняло специальное решение. Однако в декабре 1986 года Международный отдел представил записку, где отмечалось, что «в целом о существенных изменениях говорить не приходится, более того, просматривается тенденция вновь вернуться к прежним стандартам и привычкам». Среди главных недостатков назывались следующие: дефицит реализма, известная однобокость информации, выражающаяся в приукрашивании действительности, вольном или невольном подлаживании под воображаемые ожидания руководства, скудость информации обобщающего характера, недостаточное внимание к углубленному анализу обстановки; почти полное отсутствие прогностического элемента, обилие банальностей, запоздалых пересказов материалов из газет, радио и телепередач. Приводились курьезные факты, вызванные стремлением угодить начальству. Так, в адрес всех посольств направлялись заведомо невыполнимые по срокам требования «срочно» выдать «отклики» на выступления руководителей. Однажды уже к 18.00 — на речь Горбачева, которую он должен был произнести в 13.00 того же дня. И очень немногие послы честно сообщили, что к предписанному часу в стране пребывания реакции еще не было. Зато пришли

¹² Ныне необходимость координации, пожалуй, ощущается еще острее. Несогласованность заявлений государственных деятелей России по важным внешнеполитическим вопросам — от отношения к расширению НАТО до проблемы Крыма и Севастополя, от позиции по акватории Каспийского моря до территориального спора с Японией — порой поразительна. Очевидно, в этой связи в последнее время начинает мелькать мысль о создании органа с функциями, которые-де выполнял в свое время Международный отдел. (См. отчеты о заседаниях рабочей группы по НАТО Совета по внешней и оборонной политике, где «ностальгию по Международному отделу ЦК КПСС никто и не пытался вуалировать» (Независимая газета. — 1995. — 3 окт.) и где «подчеркивалась необходимость создания в структурах исполнительной власти органа, выполнявшего бы функции, в свое время возложенные на Международный отдел ЦК КПСС» (Независимая газета. — 1996. — 20 сент.).

хвалебные отклики даже оттуда, куда из-за разницы во времени речь вообще не могла дойти. Но наша записка никаких заметных последствий не имела и, возможно, потому, что критическая струя могла задеть уже и нового министра.

Процесс сокращения объединенный Международный отдел пережил значительно болезненнее, чем другие: почти некуда было пристроить сокращаемых. Мне, уже в качестве первого заместителя заведующего отделом, пришлось заниматься этим делом, и более тяжелого испытания в моей жизни не случилось. Расставался с людьми, с которыми проработал многие годы и имел добрые, товарищеские отношения. Да и в таком деле, как ни стараешься действовать справедливо, быть справедливым невозможно.

Известен анекдот, повествующий о том, как турист-американец, проезжающий мимо здания «левиафана» на Смоленской площади, спрашивает у гида: «Что это такое?» Тот говорит: «Министерство иностранных дел». «Такое огромное здание? Сколько же там людей работает?» — осведомляется изумленный американец. Ответ гида: «20 процентов». В той или иной мере это, разумеется, относилось и к отделу. Так что в сокращении было рациональное зерно. Но оно являлось чрезмерным, притом цифра 40 процентов была взята, по-видимому, с потолка, не подкреплена каким-либо анализом работы тех или иных звеньев. Поэтому не исключаю, что за этим стояло и желание попросту уменьшить роль партийного аппарата или же (во всяком случае, как первоначальная задумка, от которой впоследствии отказались) набрать новых людей, избавившись от какой-то части старых кадров.

Сокращение отдела, придание ему новых функций не изменили кардинально его структуру. Он всегда был построен по смешанному территориально-функциональному принципу. Территориальные сектора занимались соответствующими странами или группами стран. Правда, тут не обошлось и без анахронизмов: хотя Британская империя давно перестала существовать, Австралия, Новая Зеландия, Канада продолжали оставаться в британском секторе. К территориальному направлению были приписаны и советники по партийным связям, имевшиеся в посольствах ряда стран, большей частью развивающихся. В некоторых западноевропейских государствах — во Франции, Италии, Англии — эту функцию выполняли первые секретари. Функциональные же сектора курировали международные связи общественных и государственных организаций (за исключением, разумеется, МИД, КГБ, Министерства обороны и МВЭС). Существовал также «сектор обслуживания», который занимался в основном организационными и хозяйственными вопросами работы с иностранными делегациями, визовыми проблемами и т.д.

В связи с реорганизацией в отделе были созданы новые подразделения, специализированные на внешнеполитической и разоруженческой тематике. Одному из них была специально вменена в обязанность

разработка проблем «нового мышления». Сюда в 1988—1989 годах, как и в некоторые другие сектора, были набраны — и с моим участием — люди в основном из научных институтов и журналистики, способные и современные, но многие, как выяснилось, обладали гипертрофированной политической гибкостью. Впоследствии их развело в разные стороны: одни оказались на службе у новой власти, другие сохранили лояльность Горбачеву. У меня, однако, сложилось впечатление, что нередко это чистая случайность, игра обстоятельств, и лица, о которых идет речь, вполне могли бы поменяться местами. А после-перестроечные наблюдения над персонажами из этой среды, которые подвизаются во власти или при ней, привели меня к мысли: речь идет даже о некоем слое, возникшем в позднесоветское время, своего рода продукте разложения системы. Образованные и смышленные, знакомые с жизнью Запада и вынесшие оттуда некоторые свои представления, они слыли людьми демократически настроенными и прогрессивно мыслящими и даже бравировали такой репутацией, хотя из корыстных соображений были достаточно послушны и охотно меняли академические стулья на цеховские кресла. Оказалось, однако, что «демократическая и прогрессивная» настроенность была скорее не позицией, а позой, тоненькой пленочкой, которую легко пробила «морковка» причастности к власти, к привилегиям. И сейчас эти интеллектуалы, без печали расставшись с прежней репутацией, демократическим словоблудием прикрывают самые неприглядные ее действия.

Иерархия в отделе была несложной: по восходящей линии — младший референт, референт, заведующий сектором (и формально на равных — консультант), заместитель заведующего отделом и заведующий отделом — секретарь ЦК (исключением стал период после реорганизации, когда были и заведующий отделом В. Фалин, и секретарь ЦК А. Яковлев).

Движение по ступеням этой иерархии было весьма трудным предприятием и делом немногих. Большинство референтов, заведующих секторами и консультантов подолгу оставались в одной и той же должности (иной раз даже по 15—20 лет). С одной стороны, это формировало стабильный и верный традициям коллектив, воспитывало подкованных, квалифицированных профессионалов, но с другой — порождало застойные явления, инерцию подходов и оценок, снижение инициативы.

У такой ситуации были объективные причины. В отличие от других отделов ЦК, особенно Организационно-партийного и Отдела пропаганды, мы имели очень ограниченные возможности для выдвижения своих работников. Определенную роль играло и невнимание руководства, Пономарева к этим вопросам, его стойкое нежелание расставаться со «своими» кадрами. И нередко толчком к выдвижению было лишь предложение работы со стороны, создававшее перспективу ухода сотрудника.

Сошлюсь на собственный пример. На 13 лет, с 1963 по 1976 год, меня «законсервировали» в должности консультанта, правда время от времени прозрачно намекая на то, что собираются выдвинуть заместителем заведующего отделом. В то же время Борис Николаевич решительно отклонял, заявляя: «Нашли топор под лавкой», все делавшиеся мне предложения о переходе на работу за пределами отдела. Назову некоторые из них. В конце 1963 года Н. Иноземцев, тогда заместитель главного редактора «Правды», склонил меня к переходу туда в качестве члена редколлегии и редактора по отделу Азии и Африки. Но перемене в моей судьбе решительно воспротивился Борис Николаевич. В 1970 году тот же Иноземцев вкупе с Арбатовым предложил мне директорство в Институте Африки. Но их депутация к Пономареву также закончилась фиаско (причем он дал отпор в довольно резкой форме), о чем я жалел не раз. Та же участь постигла сделанное через несколько лет предложение возглавить Институт востоковедения и т.д.

Единственный раз Борис Николаевич дал добро на мой уход в 1975 году, когда мне предложили пойти помощником к П. Демичеву, кандидату в члены Политбюро и секретарю ЦК по идеологии. Причем Пономарев не скрывал, что ему хотелось бы иметь своего человека на таком «чувствительном» месте. Но на сей раз отказался я: должность помощника слишком близка к начальству и иногда трудно совместима с сохранением собственного достоинства. Я уже не говорю о том, что «химик» (так называли Демичева, который раньше занимался химической промышленностью) не пользовался доброй репутацией.

К слову, я неизменно избегал слишком большой близости, тем более неофициальной, к начальству. Варианты такого рода, притом многообещающие, возникали и позже. Так, я приглянулся Кирилenco в ходе поездки в Анголу. По возвращении он довольно длительное время отчетливо проявлял стремление приблизить к себе: почти каждую неделю посылал записки (некоторые сохранил до сих пор — они очень своеобразны), звонил, консультируясь по международным вопросам, а то и просто ведя разговор ни о чем, или приглашал к себе (иногда в такой форме, «по Багирову»: «Чего не заходишь, совсем зазнался?»), расспрашивал об обстановке в отделе и его работе. При этом открытым текстом выражал пренебрежительное отношение к Пономареву, говорил, что «там» предстоит выдвинуть «молодых работников». Безошибочным признаком благосклонности начальства было, как обычно, и уважительное отношение его окружения — секретарей, помощников. Я же лояльно, если не почтительно, и с тщанием выполнял поручения, но сигналы эти игнорировал. А доброе отношение Андрея Павловича, который тогда был весьма в силе, использовал несколько раз для активного, более смелого, чем полагалось, вторжения в некоторые дела. В одном случае это стоило мне неприятностей.

То, что именовалось решениями (постановлениями) ЦК, большей частью было результатом хождения бумаг по кругу секретарей, их «голосования». Иной раз такая бумага приходила с короткой резолюцией в верхнем левом углу — «за» и подписью Сулова или Кириленко (того, кто вел Секретариат). Это практически означало, что вопрос решен и остальным «подписантам» остается лишь присоединиться.

Так вот, однажды с подобной визой Кириленко пришла записка МИД с предложением одобрить рыболовное соглашение с Марокко, парафированное «рыбным» министром Ишковым. Читаю текст и вижу, что Марокко дает согласие — а мы его принимаем — на лов Советским Союзом рыбы в морской зоне Западной Сахары¹³. Иначе говоря, пользуясь небрежностью Ишкова (упорно говорили, что она была вызвана щедростью марокканского короля), марокканцы обходным путем, через рыболовное соглашение получали признание СССР их территориальных притязаний.

Предвидя грядущий скандал, серьезные осложнения с Алжиром, я позвонил Кириленко (после разговора с подписавшим бумагу зам. министра иностранных дел Л. Ильичевым, который признал ошибку), и он неохотно, но дал согласие на мою записку-возвращение. Я испытывал удовлетворение от содеянного, но через пару дней, в субботу, раздался звонок Кириленко. Обычного благодушия как ни бывало, из трубки полился густой мат. Литературная же часть тирады была примерно такой: «Интеллигент легкомысленный. Это будет стоить 600 тысяч тонн рыбы, знаешь, что это означает для нашего белкового баланса?» Оказалось, прибывший в Москву премьер-министр Марокко Осман отказался подписать соглашение без упомянутого положения, поскольку оно было одобрено королем. Отмахнувшись от моих объяснений, Андрей Павлович сказал: «Сейчас к тебе придет Ишков, найдите выход. Обязательно». Министр через пять минут был у меня, формула была найдена — один из тех дипломатических бессодержательных ребусов, которые каждая сторона может понимать, как ей угодно. Марокканцы же, убедившись, что большего не добьются, уступили.

Любопытно: заключенное соглашение получило положительный отклик в Алжире, там сочли, что Москва не поддавалась на уловки Марокко. Помощник Кириленко сказал мне, что телеграмму советского посла в Марокко положили, подчеркнув нужное место, на стол, но тот к этому больше не возвращался.

Вскоре у Кириленко резко ухудшилось здоровье, возникли явления галоширующего церебрального склероза. Его явный профессиональная непригодность стала очевидной для всех на XXVI съезде КПСС, когда ему поручили — думается, не без злого умысла, в рамках кремлевских интриг — зачитать список рекомендуемых к избранию кандидатов в

¹³ Ее принадлежность Марокко тогда и по сей день оспаривается национальным движением сахарцев, соседними государствами и не признана ООН.

члены ЦК. Он коверкал почти каждую фамилию. Возможности приближения к сильным мира сего были у меня и после падения Кириленко. Но и сейчас, спустя 20–30 лет, убежден, что вел себя правильно: не лез в фавориты и не ронял себя вместе с патроном.

Кое-кто уверял меня, что задержки с моим выдвижением связаны с «пятым пунктом». Но в эту версию я не очень верил. Правда, в 1975 году, когда Пономарев представил Суслову моего коллегу, арабиста В. Румянцева, и меня на утверждение заместителями заведующего отделом, Вадим Петрович был утвержден сразу же, до меня же очередь дошла через год. Во всяком случае в самом отделе я никогда не сталкивался с откровенными проявлениями национальных предрассудков.

Несколько слов об обстановке в Международном отделе. Придя работать на Старую площадь (вопреки моим прежним представлениям об аппарате ЦК и тем более Международном отделе: этакая смесь пиетета с настороженностью), я убедился, что попал в более или менее обычный советский трудовой коллектив. В главном, в том, что касается отношений между людьми, я не почувствовал никакой тягостной специфики. Напротив, многое понравилось сразу: отбор людей, их квалификация, интеллектуальный кругозор, сам характер работы, которая в известной мере способствовала спайке коллектива.

Вместе с тем Международный отдел не был, конечно, чужд общих черт, присущих партийному аппарату. Но это особая тема, которая требует специального рассмотрения, тем более что на сей счет наговорено и написано немало ложного и попросту фантастического. Ограничусь лишь несколькими замечаниями.

Начатый Сталиным еще в 20-е годы и достигший апогея в период массовых репрессий процесс умерщвления самостоятельного мышления и поведения в партии, внедрения в ее жизнь административно-командных методов особенно пагубно сказался на партийном аппарате. Он породил почти безусловный рефлекс подчинения, энергичного согласия с очередной директивой, готовности к проработкам, подобострастия в отношении начальства и просторного конформизма. В коридорах ЦК была популярна то ли байка, то ли быль о работниках, которые ходили к руководству с двумя бумагами противоположного содержания и, вынюхав настроение начальства, подносили на подпись нужную. Не менее симптоматична и присказка, гулявшая, впрочем, во всех бюрократических структурах, о работнике, входящем к начальству с фразой: «У меня есть мнение, но я с ним не согласен».

Эта черта отличала и деятельность партийной организации аппарата, которая была, на мой взгляд, более формализованной и бессодержательной, чем где-либо. Собрания проводились большей частью «для галочки» и в основном сводились к своего рода производственным совещаниям с обязательными поучениями начальства. Здесь тоже повторялся характерный для нашей жизни феномен «перевернутой

демократии». Как известно, повсюду в мире, где проводятся выборы, кандидат в депутаты или избранный представитель благодарит избирателей за оказанное доверие. Меня всегда поражало, что у нас происходило наоборот. Предварявшие выступление члена Политбюро на избирательном собрании доверенные лица от имени избирателей благодарили кандидата за то, что он соглашается выдвинуть свою кандидатуру у них в округе. Нечто подобное происходило и у нас.

В моде оставались авторитарный стиль руководства и авторитарная манера в работе аппаратчиков — порождение еще не изжитого сталинского наследия и антидемократической системы. Наряду со всем этим ощущался и своего рода отрыв работников аппарата от самой партии, от ее рядовых членов. У многих сложилось некое корпоративное чувство принадлежности к привилегированной касте, их отличали самодовольство и бюрократическое чванство, особенно нелепые у тех, чья ограниченность и узость взглядов были очевидны. Это с них был списан гулявший в наших коридорах злой анекдот о работнике ЦК, который звонит в подопечное учреждение по телефону правительственной связи и вибрирующим административным голосом сообщает: «Это Иванов говорит, по “вертушке”, из ЦК».

Была ли у среднего аппаратчика за забралом официально прокламируемых идеалов какая-либо реальная идеологическая начинка? Думаю, была: некая смесь остаточной действительной идейности (но уже массивно сместившейся к исповедыванию великодержавности) с готовностью к нравственным и идейным компромиссам, в том числе в личном плане. Возникла и укреплялась тенденция использовать пребывание в аппарате для решения личных проблем. Она казалась особенно несовместимой с претензиями аппарата на этическую чистоту, безгрешность.

Весьма существенно и то, что партаппарату в целом — как и всякому аппарату — была свойственна определенная косность, которая, конечно, транслировалась и сверху, порой слепая приверженность к уже испытанным и привычным формам работы, «вращение по кругу».

Надо иметь в виду, что бюрократические структуры, аппараты — в каком-то смысле «самосовокупляющиеся» образования. Они живут по своим собственным, непоколебимым законам и часто функционируют как бы помимо и независимо от внешних обстоятельств. Вот маленький, но характерный, на мой взгляд, пример из жизни высшего звена государственного аппарата. 8 декабря 1991 г. грянуло Беловежское соглашение, определившее судьбу Советского Союза и, естественно, его президента. Все мы знали — и Горбачев не делал из этого секрета — что Михаил Сергеевич уйдет. Уже 24 декабря состоялась его прощальная встреча с сотрудниками. Уже люди Ельцина, снедаемые нетерпением, не стесняясь, начали ходить по кабинетам, то ли присматривая себе место, то ли еще для чего. Тем не менее 18 декабря я еще получил нижеследующий документ:

Направляется Регламент работы с документами в Аппарате Президента СССР. Просим ознакомить всех работников с требованиями настоящего Регламента и руководствоваться им в практической работе.

Начальник Канцелярии Руководителя Аппарата Президента СССР
Е. ВЕРБИЦКИЙ

17 декабря 1991 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по направлению документов и материалов советникам Президента СССР гг. Брутенцу К.Н. и Загладину В.В.

Направлять:

1. Нормативные акты по международным вопросам.
2. Проекты законов, представляемые на рассмотрение Верховных Советов СССР и РСФСР.
3. Принятые Законы СССР и РСФСР.
4. Статистические материалы и другие документы справочного характера.
5. Информационные материалы, поступающие из служб, ведомств, организаций, по проблемам внешней политики.
6. Записки, письма, телеграммы, другие возможные документы, содержащие проблемные и постановочные вопросы, для предварительного изучения и оценки.

Канцелярия Руководителя Аппарата Президента СССР

Наконец, не думаю, что аппарат ЦК отличался особым интернационализмом. Вряд ли нерусские (и неукраинцы, небелорусы) ощущали наличие национального водораздела, но в целом сознание работников в этом вопросе, видится мне, у многих было не выше, чем у обывателя. И не то чтобы национализм выпирал в открытую, но предрассудки проявлялись в анекдотах о «нацменах», а иной раз в плохо скрытом антисемитизме¹⁴. Все это, по моим наблюдениям и впечатлениям, шло и сверху. Секретарь ЦК М. Зимянин, например,

¹⁴ Он свил себе гнездо и в «элите» других социалистических стран, но крайней мере, некоторых. Летом 1967 г., будучи в ГДР, я оказался в одной компании с Рокосhevским (первым секретарем одного из обкомов ПОРП, впоследствии — Варшавского обкома). Разговор зашел о второй мировой войне, и я повторил обычное тогда клише о том, что Польша, пожалуй, пострадала больше всех, потеряв почти пятую часть населения — около 6 млн. человек. Подвыпивший Рокосhevский, наклонившись ко мне, сказал: «Ну что ты, Карен! Половина из них — евреи». Ссылка некоторых моих коллег, которым я рассказал об этом эпизоде, на якобы традиционное в Польше отношение к евреям, очевидно, не меняет принципиальной сути дела.

наотрез отказывался дать согласие на назначение тогда уже известного ученого Г.Ф. Кима директором Института востоковедения, поскольку тот кореец. «Там кореец нам не нужен», — заявил он. Из аппарата ЦК осуществлялся нажим на некоторые академические институты и идеологические учреждения с целью сократить число работающих там евреев. Наконец, в сам аппарат, как и в некоторые государственные учреждения, евреев не брали.

Со времен борьбы с космополитизмом антисемитизм фактически стал недекларируемой, но тем не менее общеизвестной и общепринятой линией руководства. Закрытое письмо ЦК ВКП(б) от 23 июля 1951 г. Центральным Комитетам компартий союзных республик, крайкомам и обкомам, органам Министерства безопасности¹⁵, говорившее о «еврейских националистах» и «террористах» и послужившее фактически прологом к «делу врачей», явилось дополнительным сигналом тем, кто, возможно, не понял смысла похода против космополитов. Смягчение последствий этого похода и осуждение «дела врачей» не означало реального отказа от самой линии, скорее, антисемитизм просто принял «вяло текущий» характер. Евреи продолжали подвергаться в ряде сфер явной дискриминации, антисемитизм не обсуждался и не осуждался.

Однако все сказанное — это только часть картины.

В аппарате ЦК было собрано немало высококлассных специалистов, и в целом он был надежной и квалифицированной структурой управления партией и государством, которая организационно и политически, командуя многомиллионной армией коммунистов, скрепляла и приводила в движение всю государственную машину. В смысле профессионализма, четкости, дисциплинированности и безотказности в работе, организационного потенциала и политической сметки с ним, конечно, не мог сравниться никакой другой аппарат, но его эффективность ограничивалась самой системой.

Сейчас, пожалуй, общепризнанно, что разрушение этого «скелета», разрушение партии, означавшее прежде всего разрушение аппарата, явилось одним из основных факторов, повлекших за собой ослабление, а затем и распад государства. Любопытно, что это мне разъясняли в мае 1993 года в Пекине такие заслуженные антикоммунисты, как бывшие госсекретарь США Г. Киссинджер и французский президент Жискард д'Эстен¹⁶. Киссинджер, в частности, сказал мне, что «было ошибкой Горбачева переносить центр тяжести от партии к государству, к президентским структурам, поскольку это лишило страну организующего ядра. На мою реплику: «Но ведь вы

¹⁵ См. Свободная мысль. — 1996 г. — № 1.

¹⁶ Мы участвовали в заседании Совета взаимодействия — организации, объединяющей бывших премьер-министров и президентов, где я представлял М.С. Горбачева.

всегда сами выступали за это, против партии» — он ответил коротко: «То было раньше!»

Аппарат также был (на деле, правда, не всегда эффективным) инструментом согласования интересов различных ведомств, представлял надведомственный, государственный интерес. Наконец, он служил — в известных рамках — орудием партийного (т.е. гражданского) контроля над армией и КГБ. И партийное облачение этих функций все более становилось лишь оболочкой.

Исключение, быть может, составили Организационно-партийный отдел и отчасти Отдел пропаганды и агитации, которые, кстати, особенно интенсивно насыщались людьми из провинции. Они фактически были призваны охранять в КПСС и обществе антидемократические порядки, а в конце концов, по существу, и сами стали их жертвой.

Здесь надо сказать и о том, что со времен XX и XXII съездов, от хрущевских лет, впервые после сталинских чисток аппарат перестал быть политически монолитным. Правда, судя по моим впечатлениям, в 1965—1975 годах подавляющее большинство сотрудников еще продолжало занимать твердолобые, узкодогматические позиции.

Особенности, о которых я рассказываю, отличали, конечно, не только аппарат ЦК. В разной мере они воспроизводились и в более низких аппаратных звеньях. Так или иначе они были свойственны и тем, кто формально к аппарату не принадлежал, выборным лицам — секретарям и т.д. Можно даже сказать, что они были призваны играть — и зачастую играли — роль законодателей аппаратного стиля, скорее *ab ovo* такую роль выполняла сама система.

Не могу не сказать и о том, что конформизм, равно как и другие, свойственные партаппарату отрицательные черты, отнюдь не его монополия, скорее то была общая беда всех бюрократических структур. Мало того, этим была заражена и интеллигенция, особенно гуманитарная и творческая, которая сегодня столь старательно пытается отмежеваться от прошлого, а фактически от самое себя в прошлом. Многие ее видные представители искали и добивались близости с верхами — и отнюдь не только для решения творческих задач. Было бы любопытно опубликовать список наших «звезд» искусства, которые охотно блистали в «салоне» министра внутренних дел Щелокова — виднейшего коррупционера брежневского безвременья, внесшего решающий вклад в разложение правоохранительных органов.

К слову, названные добродетели интеллигенции, по крайней мере, значительной ее части, ярко дали о себе знать в перестроечные и послеперестроечные годы. К перестроечным процессам эта социальная группа подключилась энергично, оживляя в памяти идеалы «воей» досоветской предшественницы. Делала это тем более страстно, что ее заводило и стремление добыть индульгенцию за поведение в недавнем и давнем прошлом. Отсюда надрыв, порывы бездумного разруше-

ния, жажда мести свидетелям и «кукловодам» ее падения и прислужничества.

Этого багажа многим хватило ненадолго. Одни из «прорабов» перестройки вдруг очутились на берегах Сены и Потомака, в Вене и Иерусалиме и оттуда шлют рекомендации, как следует обустроить нашу жизнь. Другие, испуганные конвульсиями и оборотом политической борьбы, которую сами помогали разжигать, укрылись в тиши своих дач и квартир. Пассивную позицию заняла и масса ученых, инженеров, врачей, учителей, актеров и писателей, придавленная нищенским положением и откровенно пренебрежительным отношением к их роли и труду со стороны власти и нуворишей. Наконец, некоторая часть — главным образом столичных жителей — оказалась «приватизированной» властью и ее «спонсорами» и, поддавшись привычным соблазнам (слава, карьера, деньги), возвратилась на знакомую тропу конформизма и угодливости. Теперь, однако, «сжигая» и кляня то, чему вчера без меры преклонялась. Щедринское «прикажете, государь, завтра буду акушером» как будто сказано о них.

Ринувшись служить новой, насквозь коррумпированной власти и Маммоне, они не только отвергли данный им историей шанс «вернуться» в интеллигенцию, но фактически перестали быть и «работниками культуры», рьяно участвуя в ее тотальной коммерциализации и в умерщвлении в обществе духовного начала. Став фактически частью «телебратвы», они назойливо мелькают на телеэкранах, прикрывая свое нынешнее творческое бесплодие лохмотьями славы, обретенной еще в советские времена.

Когда в жанре подбострастия подвизается литератор-пародист, почти не известный читателю, — это факт его личной биографии. Но когда тут же суетятся люди, пользовавшиеся уважением и широким признанием, — это явление. А иные вовсе вознамерились доказать, что лакей — это не столько профессия, сколько состояние души. Причем, как правило, особенно усердствуют те, кто обивал пороги здания ЦК, кто старался мелькать в его коридорах, протискиваясь, чтобы отметить в разных кабинетах. В этой «фракции» есть, конечно, и те, кто хочет — или думает, что хочет, — «как лучше». Но в целом ее поведение лишь проявление «достоинств», благоприобретенных в советское время.

Интеллигенция, общепризнанно, специфически российское явление. Чтобы оно возникло, очевидно, необходимо было уникальное взаимодействие и противостояние таких «действующих лиц», как великая страна и разящая отсталость, абсолютистское самодурство и вселенский потенциал культуры, мыслящая высокообразованная элита и замордованный, бедствующий народ, не зажатый в тиски рационализма российский национальный характер... Только в такой обстановке и мог родиться тип людей, объединяемый не имущественными интересами и положением в обществе, но представлением о

своей роли в жизни страны и своими духовно-этическими качествами. Я имею в виду социальную чуткость, обостренное чувство собственного достоинства, бескорыстный патриотизм и государственность, способность в решающую минуту позабыть о себе, наконец, простую совестливость, «милость к падшим».

Отнюдь не пытаюсь рисовать облик интеллигенции в розовых тонах — она сыграла неоднозначную роль в российских судьбах, в ее среде попадались разные люди, в том числе субъекты, оставившие по себе недобрую славу. Но в целом она, дореволюционная, не уронила себя.

Октябрь прозвучал погребальным звоном для интеллигенции. Не только потому, что значительная ее часть ушла в эмиграцию, погибла под секирой красного и белого террора. Вопреки утверждениям нынешних фальсификаторов и невежд, немалая часть интеллигенции приняла революцию, исходя из самых лучших побуждений. Но, приняв и поверив в нее, она приняла и принцип революционной целесообразности, который сводился к простейшей формуле «Цель оправдывает средства» и раскрыл весь свой зловещий смысл в годы сталинизма. Думаю, из тех же соображений она в конце концов согласилась и на роль «прослойки», обслуживающей класс — хозяин, а на деле — господствующую структуру. Стремясь выжить, она овладела искусством приспособления. Но все это напрочь перечеркивало ее *raison d'être*, ее этический стержень, ее общественную роль. К тому же в ее среду влилось огромное пополнение, никогда не знавшее прежних идеалов и им чуждое. Интеллигентность была подменена образованием, в лучшем случае — эрудицией.

Разумеется, интеллигенты не исчезли, но интеллигенция как относительно самостоятельный слой, влияющий на общество в нравственно-очищающем духе, сошла со сцены. На смену пришли «работники умственного труда», «деятели искусства и культуры» для нового социального продукта были созданы и соответствующие термины.

Еще раз подтвердилось, что интеллектуал, в отличие от интеллигента, способен на всякие поступки. Напомню, в ноябре 1933 года группа ведущих немецких ученых обратилась с призывом к международной общественности поддержать Гитлера. Они, конечно, были интеллектуалами.

Подобные им в наши дни без усталости ругают большевиков, но часто говорят их языком, притом на сталинистском его диалекте. Сопоставление лексикона их недавних политических воззваний обнаруживает трогательное сходство с бранью 1937–1938 годов: те же «подонки», «мерзавцы», «стервятники», «бешеные собаки» и т.д. Сколько чернил было израсходовано, чтобы заклеить формулу «Если враг не сдается, его уничтожают!» А некоторые «интеллигенты» ее повторяли, благословляя расстрел российского парламента. Прав-

да, предпочитали ссылаться не на Горького, а на Вольтера. На деле же Вольтер, конечно, им не брат: инакомыслие — последнее, за что они готовы были бы сложить голову.

Прежняя «интеллигенция» воспевала, притом не без веры, диктатуру пролетариата и самовластие вождя. Ее последыши, еще вчера громкоголосые защитники демократии, сплотились с поклонниками Пиночета и Чон Ду Хвана и поют осанну авторитаризму, «порядку». Вчера они рвались в салоны криминальных бонз прежнего режима, сегодня красуются на мафиозных презентациях, выступают, по меткому выражению В. Топорова, как «мастера халтуры». Раньше они бесстрастно взирали на кокетство власти с великодержавным и иными национализмами, на репрессии против целых народов. Сегодня обходят молчанием геноцид в Чечне и облавы на «брюнетов», сопро-вождавшиеся издевательствами и расистскими выходками.

Открестившись от бездумного патриотизма советской поры, кото- рому, впрочем, предавались не без упоения, многие из них метнулись к ампула политических апатридов, с завистью и подобострастием заглядывающих «за бугор». Именно в столичной творческой и жур- налистской тусовке родился постыдный термин «эта страна», соеди- няющий пренебрежение, если не презрение, к России с брезгливой отстраненностью от нее. Именно в этой среде объявили Россию — один из главных очагов мировой культуры — нецивилизованной страной и стали понукать ее, раболепно копировать образ и стиль жизни «цивилизованных наций». Именно здесь стало модным с вы- соты псевдоэлитарного высокомерия третировать собственный народ как скопище «рабов», «совков», недоумков или даже, как однажды выразилась газета «Сегодня», сумасшедших.

Как и в брежневские времена, эти люди в частных разговорах, в кухонных тусовках не прочь провести границу между собой и властью, отгородиться от ее «неинтеллигентного» имиджа и «неинтел- лигентных» поступков. Такая «интеллигенция» мешает обществу выдавливать из себя раба. Она вносит недобрый вклад в подогрева- ние атмосферы нетерпимости и культа силы, в оживление страха, который не исчез, а лишь притаился в душах наших «поротых» поколений, в разложение общества воинствующим цинизмом. Она, к сожалению, дискредитирует само понятие «интеллигент».

Рваческое, низкое поведение значительной части столичной ин- теллигенции стало одной из самых горьких неожиданностей и разо- чарований постсоветских лет — тем большей, что в ней, в соответствии с канонами советских лет, привыкли видеть «инженеров человеческих душ», «властителей дум» и т.д. Оно посеяло известное смятение в интеллигенции в целом. Чтобы преодолеть ставшее след- ствием всего этого отторжение значительной части общества от ин- теллигенции, очистить это понятие от налипшей на него грязи и вернуть ему истинный высокий смысл, потребуются огромные усилия.

Но в России, слава Богу, еще немало подлинных интеллигентов. Их чистые голоса прорываются сквозь шум телепропаганды, сквозь песнопения придворных бардов. У них масса благодарных слушателей и собратьев-работяг в университетах и институтах, больницах и школах, на фирмах и предприятиях. Да и в молодом, «непоротом поколении», свободном от идеологических шор, от чрезмерной гибкости позвоночника, от рефлекса коленопреклонения перед «вождями». Тем не менее, мне кажется, проблема воссоздания подлинной российской интеллигенции — слоя нравственных, высококультурных людей с демократической ориентацией — существует.

Возвращаясь к своим «баранам», хотел бы засвидетельствовать: по мере выцветания идеологических мотивов, как на дрожжах, «восходило» приспособленчество, корыстолюбие и на верхних этажах общества, вырос целый слой, у которого эти качества стали главной движущей силой поведения. Яркое подтверждение тому — конкретные люди, отнюдь не технократы, которые на маршруте Брежнев—Горбачев—Ельцин торопливо меняли окраску со сменой «боссов» и режимов и благополучно пересаживались из одного руководящего кресла в другое.

Разумеется, Международный отдел отнюдь не был свободен от аппаратных стигматов, но можно и должно говорить о некоторых его особенностях, об отличительных чертах этой в чем-то уникальной структуры и уникального коллектива. В аппарате ЦК он выглядел «белой вороной», отношение к нему было настороженное или даже недоверчиво-завистливое. Настороженное — потому что его работники считались недостаточно ортодоксальными (что несправедливо, по крайней мере, в отношении части из них), а отдел — «гнездом ревизионистов». Завистливое же потому, что мы бывали за рубежом, общались с высшим начальством. К тому же отдел формировался иначе, чем другие звенья ЦК: сюда в основном приходили люди из общественных организаций, из науки, журналистики, из МИД.

Разумеется, в Международном отделе народ был разный: «трудоголики» и лентяи, классные специалисты и добросовестные неумехи, профессионалы с политическим инстинктом и безынициативные исполнители, люди творческие и узколобые догматики, наконец, дисциплинированные, уважающие иерархические правила, но охраняющие свое достоинство работники и лживые, подбодранные чиновники.

Были люди, отмеченные, как я выражался, профессиональным кретинизмом: над любой бумагой и вопросом они работали на максимуме своих возможностей, подобно ремесленнику, который, дорожа своей репутацией, постоянно доказывает свое мастерство. И напротив, люди расчетливо-карьерного типа, равнодушные к делу, которые тщательно дозировали свои усилия и сосредоточивали их лишь на тех материалах, на которые должен был пасть глаз начальства. Остальное же делалось «левой ногой».

Да, в отделе служили и такие люди, чьи квалификация, образование, отношение к делу оставляли желать лучшего. Но основная масса сотрудников были профессионально хорошо подготовленными международниками, умеющими правильно нащупать и взвесить внешнеполитическую сторону вопроса, оценить его с широких, общегосударственных, а не только дипломатических позиций. Большинство (хотя, конечно, это было добродетелью не только международников) работало безотказно, не считаясь со временем, а иной раз и со здоровьем. Это, кстати, относится к работникам всех рангов и подразделений, включая машбюро и другие так называемые технические службы. Некоторых из них я имею возможность наблюдать также сейчас. Характерно: и на новой работе (с очень небольшой зарплатой, без всяких льгот) они выделяются дисциплинированностью, четкостью, заинтересованным отношением к делу. Это еще одно свидетельство высокого профессионализма той структуры, где они трудились прежде.

Сотрудники территориальных секторов большей частью не довольствовались своим узкослужебным интересом — отношениями с той или иной партией или партиями, — а основательно изучали «свои» страны и, как правило, неплохо их знали.

Работа с иностранными делегациями требовала особого рода воспитанности. Руководители зарубежных компартий, держались, как правило, просто, по-товарищески, и это требовало от наших сотрудников, с одной стороны, умения устоять перед соблазном фамильярности, а с другой — не впасть в почтительную, официальную сдержанность, обиходную, когда шла речь о нашем высокомерно-забронзовевшем начальстве.

Разумеется, в отделе чтили табель о рангах. А заведующий отделом — секретарь ЦК — уже был на уровне почти «небожителя». Но в целом царил очень ценимый нами дух относительного демократизма, который отличал отдел от других бюрократических учреждений. Отношения в рамках пирамиды референт — заместитель заведующего отделом были довольно простыми, скорее товарищескими.

Мне кажется, и в национальном вопросе — опять же из-за кадровых особенностей и международной специализации — отдел отличался в лучшую сторону от аппарата в целом. Безусловно, и здесь в ходу бывали нелестные анекдоты в адрес «нацменов». И здесь встречались персонажи с параноическим отношением к евреям, искавшие их, «замаскировавшихся», в отделе. Но все это было не правилом, скорее исключением. Предполагаю, тут сказывалась и позиция Бориса Николаевича, который сам был чужд национальных предрассудков.

Мне хотелось бы назвать фамилии хотя бы некоторых товарищей, с которыми я работал в Международном отделе в течение многих лет и которые оказали мне важную помощь и поддержку. Это

«европейцы» — В. Гусенков, Ю. Зуев, Л. Попов, В. Рыкин, Г. Смирнов, В. Шапошников; «арабы» — А. Быхал, А. Вавилов, А. Захаров, В. Малюковский, А. Кузьмин, С. Кузьмин, Э. Теосин; «латиноамериканцы» — Ю. Козлов, К. Курин, А. Минеев, И. Рыбалкин, В. Травкин; «азиаты» — Б. Бородин, А. Другов, И. Коваленко, А. Кошкин, Г. Поляков, Н. Симоненко; «африканцы» — Е. Денисов, Э. Капский, А. Урнов; «функциональщики» — Ю. Горячев, М. Панкин, А. Смирнов, А. Филиппов, Ю. Харламов; «социалисты» — В. Александров, М. Антясов, О. Рыбаков.

И здесь же, чуть пространнее, о двух заведующих секторами, с которыми мне выпало трудиться бок о бок полтора десятилетия, полагаясь на их советы, на их поддержку.

Михаил Кудачкин — специалист по Латинской Америке, патриот «своего» региона. Человек мягкий и ровный, склонный к юмору, прибауткам. Не любит ввязываться в острые споры, но готов отстаивать определенные принципы. Лояльный коллега и товарищ, умеющий поддерживать добрые отношения с подчиненными, естественно и ненаигранно скромный (Герой Советского Союза, надевавший, в отличие от многих, свои регалии лишь дважды в год — 23 февраля и 9 мая).

Юрий Грядунов — знающий, серьезный арабист, хороший организатор, сумевший наладить работу в таком суетливом и беспокойном секторе, как арабский, и внушить к себе искреннее уважение подчиненных. Жизнелюб, ценит юмор и при неизменно ответственном отношении к работе умеет увидеть ее смешную сторону. Товарищ, на которого можно положиться, доброжелательный к людям и независтливый. Как и Кудачкин, имел в подопечном регионе хорошие репутацию и связи.

Уже говорилось, что в отделе работали люди с разными жизненной позицией и опытом. Как и повсюду, давали себя знать личная несовместимость, зависть, интриги, карьеристские потуги, по неким неписаным законам была какая-то минимально необходимая взаимная лояльность, что обеспечивало возможность более или менее откровенного обсуждения вопросов. За свои почти 30 лет работы мне известен лишь один случай наушничанья (сочинения «телеги») руководству на своего коллегу.

Разумеется, при существовавшей системе все в Международном отделе определялось главным образом Б.Н. Пономаревым — бессменным в течение более 30 лет заведующим отделом. Юношей вступив в ВКП(б), он вращался в рабочей среде, затем окончил Институт красной профессуры. Годы сталинского террора пережил уже зрелым, 40-летним человеком, варившимся в кругу «старых большевиков». Был начальником Совинформбюро, помощником по Коминтерну Димитрова (который, судя по его дневниковым записям, Пономарева особенно не жаловал), прошел в аппарате ЦК путь снизу доверху — до

секретаря ЦК, а чуть позже и кандидата в члены Политбюро. Он, конечно, видел всякое. Говорили, например, что в его кабинете Ракоши печатал документ — просьбу о вводе советских войск в Будапешт.

Такой жизненный путь, как мне представляется, определил многое в личности Бориса Николаевича, его взглядах и склонностях, в его симпатиях и антипатиях. Он был на 100 процентов человеком партийным в том смысле, что понятие «партия» партийные решения и указания, как и некоторые формы поведения, были для него святы. Вместе с тем это на практике вырождалось почти в автоматическое послушание директивам «сверху», безусловное согласие с мнением начальства и непротivление ему в любом случае. Мне кажется, эта чрезмерная несамостоятельность в решающие минуты, отсутствие в нем какого-то металлического «стерженька» ощущались его коллегами и послужили одним из факторов, помешавших достигнуть заветной цели — стать членом Политбюро. В руководстве (Брежнев, Кириленко, Андропов) Пономарев не любил, но терпели, считаясь с его профессионализмом определенного рода.

Патроном Бориса Николаевича выступал Сулов, державший его, однако, на подхвате и в строгости: ему нужна была, условно говоря, «рабочая лошадка», но не конкурент. Сам Пономарев, видимо, ощущал это свое положение, чувствовал себя не очень уверенно. Всякий раз, когда звонил Сулов, Борис Николаевич разговаривал с ним почтительно, не без волнения.

Пономарев был умным, знающим, хорошо подготовленным человеком, с очень сильной памятью, которая оставалась ясной до последних дней. Но у него преобладал узкий, нередко жесткодогматический взгляд на вещи, и временами думалось, что это, по крайней мере частично, его сознательный выбор, так сказать, добровольное самоограничение. В трактовке событий ему было свойственно то, что я называл полицейским подходом к истории. «Свои люди», усилия разведки — вот что прежде всего привлекало его внимание, хотя как марксист Борис Николаевич должен был бы считать, что, несмотря на все значение этих факторов, не они определяют ход общественного развития.

В своих многочисленных публичных выступлениях он никогда не рисковал выйти за пределы уже сказанного и одобренного, высушивая и обесцвечивая тексты, которые готовились для него. Своеобразие им придавалось приемом, который мы называли «пономаризацией»: группировкой нескольких тезисов, каждый из которых начинался с абзаца, открывающегося знаком тире. Эти «тирешки» и составляли всякий раз, по ироническому определению А. Черняева, много потрудившегося на этой пиве, «учение Пономарева». Диктовалось это, очевидно, и тем, что от сталинских времен у Бориса Николаевича сохранилась вера в чудодейственность партийного, руководящего слова. Недаром его

первой реакцией на любое крупное событие часто было: «Надо написать статью». Он был человеком скучной лексики, но в то же время бывал способен произнести вдруг яркую речь.

В отношениях с зарубежными компартиями Пономарев придерживался коминтерновских традиций. Главной из них было положение КПСС как непогрешимой руководящей силы, по сути дела — как партии-отца. И когда некоторые партии (итальянская, испанская, финская и т.д.) бросили вызов такой ситуации, для него было совершенно естественным оказать поддержку формированию в них оппозиционных групп. В беседах он неизменно интересовался, слышно ли в той или иной стране Московское радио, и рекомендовал посетить его, выступить. Каждый раз советовал активнее работать в профсоюзах и армии. А правящим партиям предлагал «черпать из чаши опыта» КПСС и СССР. Зарубежные коллеги Пономарева, частично в согласии с заданной им самим манерой, относились к нему сдержанно, без тепла. А такие, как Берлингуэр, и без малейшего пиетета, если не сказать больше¹⁷.

К чести Бориса Николаевича, он был убежденным антисталинистом, этой линии придерживался без колебаний, за людей с подобной репутацией заступался. И интернационализм для него являлся не одним лишь лозунгом, а избранной позицией.

Работа занимала центральное, если не всеобъемлющее место в его жизни. Характерно, что и после ухода на пенсию он ежедневно приезжал в ЦК, где Пономареву по его просьбе выделили комнату в Международном отделе.

Закаленный жизненными бурями, он обычно сохранял присутствие духа в сложных ситуациях и не был склонен к бурным реакциям, по крайней мере, внешне. Самым типичным выражением его удивления или негодования была фраза: «Уму непостижимо».

Помню, весной 1965 года мы в Волынском-1 (бывшая сталинская дача) под руководством Пономарева готовили доклад о международном положении и деятельности КПСС, с которым Брежнев должен был выступить на пленуме — первом, посвященном этим вопросам, после избрания его Первым секретарем ЦК. Для Бориса Николаевича эта работа имела принципиальное значение. Как и Ильичев, другой выдвиженец Хрущева, он пребывал в «подвешенном» состоянии. Проект доклада был вручен Леониду Ильичу накануне его отъезда, вместе с Андроповым, в Будапешт. И оттуда Юрий Владимирович по телефону известил, что проект (за исключением раздела о национально-освободительном движении) Брежневу не понравился и он спрашивает, не лучше ли вообще отменить пленум. Мы все пребывали в растерянности, но не Борис Николаевич. Он

¹⁷ Я убедился в этом и сам, присутствуя дважды на их беседах, последний раз в 1980 г. во время похорон Луиджи Лонго.

собрал нас и заявил, что ничего экстраординарного не случилось, просто нам предстоит за день-два написать новый вариант. Что и было сделано.

Другой раз, в 1972 году, в Будапеште нашу группу венгры пригласили в ресторанчик в так называемом «Рыбачьем бастионе». Входивший в нее референт Ч., незадолго до этого перешедший в отдел из МИД, обнаружил незаурядное равнодушие к спиртному. Вскоре он выразительно изображал на столе игру на пианино, затем пригласил танцевать даму какого-то араба, вызвав его ярость, и в результате был отправлен в резиденцию, где мы размещались. Когда мы вернулись, Ч. в его комнате не нашли, зато была заперта изнутри дверь в туалет. Вскрыв с помощью слесаря дверь, мы обнаружили Ч. спящим, при полном параде, на стульчаке. Удивлению и негодованию всех не было конца, Пономарев же ограничился своим «уму непостижимо», меланхолически добавив: «Хорошего нам бы и не отдали».

В людях Борис Николаевич разбирался. Об этом говорит и подбор кадров в отделе. Симптоматично, что оттуда вышло немало тех, кто без колебаний и немедля солидаризировался с перестройкой. С подчиненными Борис Николаевич был (за очень редкими исключениями) вежлив. Разумеется, держался авторитарно, но с ним можно было спорить, отстаивая свою точку зрения. Мне он однажды даже выговорил в сердцах: «Вы любите спорить». Но это никак не отразилось на его отношении. Думаю, что и существовавший в отделе дух некоторого демократизма в той или иной мере зависел от стиля самого Пономарева, его своеобразной «партийтеллигентности».

В работе был требователен, причем часто не считался ни со временем, ни с обстоятельствами сотрудников. Я называл его про себя «эксплуататором». Характерная деталь. В январе 1971 года после возвращения из Египта (я сопровождал в поездке Бориса Николаевича) меня «заключили» в больницу с подозрением на дизентерию. Через несколько дней я получил от него записку (она у меня сохранилась), где он, осведомившись для порядка, о моем здоровье, сообщил, что «проект раздела о национально-освободительном движении при чтении докладчиком был забракован», и поэтому просит «подготовить новый текст. Размер 7—10 страниц». «Времени у нас, — добавлял он, — всего 5 дней». Завершал Пономарев записку любительской фразой: «Надеюсь, что материал будет хороший и работа не повредит вашему здоровью».

То ли суховатый от природы, то ли задубевший от жизненных обстоятельств, Борис Николаевич, однако, не отстранялся от забот своих сотрудников. К их слабостям относился снисходительно и «свои кадры» старался в обиду не давать, в поездках вел себя запросто, охотно участвовал в общих увеселениях, даже выступал запевалой. Между Пономаревым и коллективом не было стены, хотя он умел и любил держать подчиненных на почтительном расстоянии. Он знал и

изучал работников, иногда даже проявляя чрезмерное любопытство. Сменившие же его Добрынин и Фалин пришли из иной системы. Доброжелательные к людям, они, однако, не привыкли работать с коллективом, а предпочитали опираться на узкую группу близких себе сотрудников. Каждый из них исходил из того, что знает все. Хотя оба были, пожалуй, самыми сильными советскими послами и яркими личностями, тут себя они не нашли, явно попав «не в тот коридор». Сказывалось, конечно, и то, что в деятельности отдела наступил какой-то не очень четко обозначенный переходный период и в значительной мере была утрачена ориентация.

Похороны — последний знак популярности человека, финальный критерий отношения живущих к усопшему (речь, конечно, не идет о сановниках и официальных церемониях — тут уйма лжи и лицемерия). Так вот, Бориса Николаевича Пономарева в последний путь провожало немало его бывших сотрудников. Он был, безусловно, человеком ушедшей эпохи и нес на себе в полной мере ее отпечаток, но одновременно принадлежал к тем, кто и сам оставил на ней свой отпечаток. И нельзя изучать эту эпоху, не вглядываясь в таких людей.

Несколько слов о привилегиях. Они существовали. Зарплата референтов вплоть до 1988 года составляла 300 рублей, заведующего сектором и консультанта — 400 рублей (плюс у международных надбавка за знание иностранного языка 30 рублей) и заместители заведующего отделом — 500 рублей. Последние две категории пользовались также правом обедать в столовой на улице Грановского или получать там обеды «сухим пайком», продуктами. Причем, уплачивая за «книжку» 70 рублей, отоваривались на вдвое большую сумму (не без презрения мы называли эту систему — она была ликвидирована при Горбачеве — «кормушкой», но тем не менее ею пользовались)¹⁸. Кроме того, работники могли за льготную плату жить на государственной даче в летние месяцы, а замзавы — круглый год. Наконец, работники ЦК обеспечивались в довольно короткие сроки квартирами.

Но вся эта система материального обеспечения строилась на строго иерархической основе. В каждой должности было что-то «положено», а что-то нет. Так, право вызова автомобиля имел только

¹⁸ У читателя не должно создаваться впечатление, что отношение к «кормушке» имели лишь партработники. Отнюдь. Ее клиентами, как и в целом структуры привилегий (дачи, санатории, поликлиники и т.д.) был весь «верхний» слой общества: высокопоставленные должностные лица (в министерствах — начиная с членов коллегии и начальников главных управлений), хозяйственники (согласно той же табели о рангах), работники печати, радио и телевидения (начиная с членов редколлегий), видные деятели литературы и искусства (прежде всего руководители творческих союзов, но не только они) и т.д. Все они были «впаяны» в прежнюю систему и ее подкрепляли. И в этом смысле все они были «номенклатурщиками», притом ничуть не в меньшей степени, чем, скажем, секретари райкомов.

заместитель заведующего. Или: в бытность консультантом, живя с семьей в 6 человек в маленькой двухкомнатной квартире, я долго не мог изменить эту ситуацию. А заместитель управляющего делами ЦК Кувшинов мне прямо сказал: «Вот если бы вы были заместителем заведующего отделом...» Когда же я сторяча заявил: «А что, консультант — не человек?» — он только удивленно посмотрел на меня. Упомянувшийся уже Н. Матковский, поздравляя меня с назначением заместителем заведующего отделом, добавил: «В аппарате ЦК человек начинается с замзава».

Система «привилегий» была достаточно безжалостной. Так, уходя на пенсию, работник сохранял право пользоваться дачей в течение лишь одного, ближайшего, летнего сезона. Затем он его лишался — лишался именно тогда, когда человек более всего, по возрасту и сопутствующим болезням, нуждался в загородном отдыхе. Вообще привилегии и даже законные льготы отбирались, особенно если человек впадал в немилость, с наказующей поспешностью. На моих глазах без малейшего промедления, еще до расчета, заработал механизм отключения от них В. Корионова, первого заместителя заведующего Международным отделом, вызвавшего неудовольствие А. Кириленко. Такое отношение не миновало и «высокое начальство». Я не без оторопи наблюдал, как на следующий день после вывода А. Шелепина из Политбюро солдаты в фуражках с синими околышами грузили и вывозили из его квартиры предоставленную ему по должности казенную мебель.

В то же время работникам ЦК официально запрещалось строить личные дачи (а раньше и иметь автомашины). Не знаю, было ли на этот счет формальное решение или лишь действовала, как случалось порой, устная договоренность секретарей ЦК, но с таким правилом я столкнулся сам.

Году в 79-м или 80-м позвонил И.С. Густов, первый заместитель председателя Комитета партийного контроля, и спросил, не под моим ли началом работает Ю. Грядунов (зав. сектором арабских стран). Предвидя нечто неприятное и поэтому опережая Густова, я стал нахваливать Грядунова. Но это оказалось ненужным. Выяснилось, что Густов настаивает, чтобы тот подал заявление о выходе из дачно-строительного кооператива «Известий»: никаких жалоб на Грядунова нет, он ничье место в ДСК не занял, однако существует порядок, запрещающий работникам ЦК участвовать в дачном строительстве, ибо оно, как правило, связано с ворованными материалами и т.д. Юрий Степанович, которому я рассказал о звонке, естественно, возмутился (оказалось к тому же, что известинцы, которым не хватало нескольких человек, сами пригласили его в ДСК). Но через несколько дней Густов позвонил вновь и на этот раз пригрозил, что Грядунов буден вызван в Комитет. Так Юрий Степанович остался (как, впрочем, и я) по сей день без дачи.

Высшее начальство, а также секретариат Брежнева вышеназванному правилу отнюдь не следовали. Первые строили дачи на имя своих родственников, вторые к таким ухищрениям не прибегали, причем в некоторых случаях пользовались услугами военных строителей.

В зарубежных командировках наши суточные — даже с 15-процентной добавкой, которые полагались мне после избрания кандидатом в члены ЦК, — никогда не превышали 25 долларов. Делегации получали также так называемые представительские — не более 100–200 долларов. Иначе, конечно, обстояло дело, когда во главе стоял секретарь ЦК, член Политбюро. В этих случаях сумма представительских держалась в секрете (но я знаю, что она не превышала 1000 долларов) и, очевидно, в значительной мере или даже полностью расходовалась на нужды руководителя делегации. Такой «закрытый» метод практически означал признание того, что делается нечто не совсем пристойное.

Не собираюсь защищать систему привилегий, хотя она в той или иной форме действует в отношении высших чиновников повсюду. На некоторых ее звеньях лежала печать тайны, что превращало правомерную структуру социальных гарантий и компенсаций (за высокий профессиональный класс, неординарные напряжения, неограниченный рабочий день) в механизм подкупа. Система привилегий (не уверен, что это точное слово) должна быть гласной, установленной законом. По этой причине мне кажется правомерной сопровождавшаяся всплеском народного негодования кампания против привилегий в 1989–1990 годах.

Но не могу не констатировать, что, как и «страсти» по поводу «золота партии», эта кампания послужила лишь тараном в руках «демократов», которые рвались в Кремль. Придя же к власти, они проявили в отношении себя такую широту натуры, что их предшественники выглядят жалкими крохоборами. Куда, например, Сулову, имевшему 900 долларов представительских, до Шумейко, который, говорят, потратил в ходе одного зарубежного визита 13 тыс. долларов¹⁹. Один из ближайших соратников Б. Ельцина и инициаторов взятого им в борьбе за власть курса на политическую эксплуатацию вопроса о привилегиях М. Полторанин не так давно заявил: «Дачи членов Политбюро — сараи на фоне дворцов нынешней власти»²⁰. Между тем сегодня привилегии перестали быть модной темой...

И еще одна, очевидно парадоксальная, особенность центрального аппарата. Его работники были фактически совершенно лишены правовых гарантий, в каком-то смысле более бесправны, чем люди за пределами зданий на Старой площади. В ЦК не действовали ни

¹⁹ См. Сегодня. — 1995. — 15 дек.

²⁰ Комсомольская правда. — 1997. — 7 авг.

КЗОТ, ни другие законы, защищавшие человека труда. Профсоюз был более, чем где-либо, покорным придатком руководства. Уволить человека могли внезапно и без каких-либо объяснений причин, и часто именно так и делалось. Жаловаться было некому и бесполезно. Так произошло и со мной после академии.

Рассказывая о Международном отделе, я старался не отклоняться от правды. Ведь это — прошлое мое и моих товарищей, и оно мне дорого. И во всяком случае нельзя не пожалеть, что такой уникальный коллектив профессионалов высшей пробы, для создания которого нужны десятилетия, оказался в новой России невостребованным, был обречен на уничтожение. Сейчас многие работники бывшего Международного отдела, еще полные сил и энергии, занимаются случайными делами, мало связанными с их знаниями и возможностями. Правда, в последнее время наметилась новая тенденция: ряд моих прежних коллег пригласили в МИД. Я вижу в этом еще одно свидетельство неоспоримых профессиональных достоинств работников Международного отдела.

2. «МОЯ» АФРИКА

Теперь, когда читатель представляет, каким был Международный отдел, я возвращаюсь назад — к тому времени, когда стал его сотрудником.

Проработал я в «Проблемах мира и социализма», к сожалению, слишком мало — менее полутора лет. Между тем «нормальный» срок равнялся обычно четырем годам. Большинство же задерживалось еще на несколько лет. Случались и рекордсмены: всеми способами целясь за Прагу, они просиживали там даже 10–12 лет.

Мне тоже, признаюсь, не хотелось уезжать. Но опять сказалась характерная для тех времен чрезмерная личная зависимость от внешних обстоятельств. Вмешалась та же сила: вызов в ЦК и «рекомендация» перейти на работу в Международный отдел, рефлекс дисциплины и боязнь ослушания с уже знакомыми последствиями.

Итак, в мае 1961 года я вновь переступил порог 3-го подъезда массивного серого здания на Старой площади, но уже в качестве сотрудника всесильного, мудрого и чуть таинственного органа — Центрального Комитета КПСС. Здесь, в Международном отделе, мне предстояло проработать почти 30 лет, начав с должности референта и закончив первым заместителем заведующего отделом.

Сектор Африки, в который меня взяли, только создавался — положение, впрочем, характерное для нашей африканистики в целом. К выходу Черного континента из колониального забвения мы оказались малоподготовленными. В Союзе насчитывалось лишь два-три африканиста, из них самым видным и преданным избранной профессии был И. Потехин, организовавший и возглавивший в это же время Институт Африки. После него институтом руководили люди в некотором смысле случайные, что не могло не сказаться на уровне советской африканистики.

Африканский сектор ЦК тоже формировался в основном из неафриканистов. Во главе был поставлен человек, который до того «курировал» Грецию и Албанию, не знавший ни французского, ни английского языков, не говоря уже об африканских. Да и впоследствии лишь

один из нас, Ю. Аркадакский, кстати, профессионально самый сильный и интересный работник в секторе, стал изучать суахили.

Мне достались бывшие английские колонии Западной Африки — Нигерия, Гана, Сьерра-Леоне, Гамбия. О них я почти ничего не знал и все пришлось осваивать с азав, привыкая даже к внешнему виду своих подопечных — гостей и партнеров оттуда (а они только казались все на одно лицо), к их одежде, привычкам, именам.

Между тем времени для разгона оставалось немного. Уже через несколько месяцев открылся XXII съезд КПСС, и мне была доверена делегация Народной партии конвента Ганы — первая ласточка возникших связей с политическими организациями «третьего мира». Кстати, вот как, весьма необычно для нашего уха, звучали имена ее членов: Ебенезер Цефас Клей, Тефети Аметепе, Тегбе Афеде Асор.

Ганцы оказались людьми рослыми, атлетического телосложения, с широкими, часто приплюснутыми книзу носами, вообще с крупными чертами лица, менее правильными, чем, скажем, у многих жителей бывшей Французской Западной Африки — гвинейцев, сенегальцев. Они вполне прилично говорили по-английски, были обходительны в обращении и жизнерадостны, очень чистоплотны и аккуратны.

Они смотрели на нас изучающе, как и мы на них, приглядывались к окружающему с явным интересом и даже симпатией, но держались осторожно, избегая, насколько возможно, выражать свое мнение: тут и феномен первого знакомства, и то, что позиция их партии определилась не вполне. Кроме того, очевидно, сбивала с толку, а скорее, даже ошарашивала необычная обстановка, в которую они угодили.

XXII съезд был бурным мероприятием, с его трибуны метали громы и молнии в адрес Сталина и культа личности, звучали поразительные разоблачения. Довелось ганцам услышать удивительные вещи из уст самого Хрущева. Произошло это на обеде в честь делегаций из Африки. Шел обычный для такого рода встреч разговор. Но затем Никита Сергеевич, возможно после пары рюмок, принялся, игнорируя знаки сидевшего напротив (и до того молчавшего) Микояна, со вкусом рассказывать: как «мы» арестовывали Берию, как провозили в Кремль генералов, уложив их на пол правительственных машин, как «он» ударял под столом по ноге Маленкова, замешкавшегося объявить, что на заседании Президиума будет «слушаться вопрос о Л.П. Берии», наконец, как после этого объявления «он», пришедший на заседание «на всякий случай» с револьвером, упрямая Берия, схватил его портфель, опасаясь, что там оружие, и т.д. и т.п. Попробуйте представить реакцию моих ганских подопечных: приехали в «великую страну», на съезд «великой партии», а им рассказывают детективную историю о ее руководителях.

Как и ганские гости, я впервые увидел Хрущева вблизи, наблюдал его в обществе, слушал не докладчика, а сотрапезника. До этого

мои представления о нем были связаны с XX съездом, с его телевизионными выступлениями и речами-коврами, занимавшими целые полосы газет. Правда, я уже знал, что красноречие Никиты Сергеевича нередко корректируется. Как-то я был в кабинете Францева, куда приносили правленные листы выступления Хрущева, только что возвратившегося из Венгрии. Одну правку помню отлично. Вырвавшаяся, как утверждали, у слегка «подогретого» Хрущева фраза: «Ференц Мюнних — это хороший, верный человек, наш человек» стала выглядеть так: «Ференц Мюнних — это хороший человек, это верный сын венгерского рабочего класса».

Какое же впечатление произвел на меня Никита Сергеевич? Яркий, но от природы, а не благодаря эрудиции, острого ума и реактивный, грубоватый, «неполированный» и своенравный, размашистый и нетерпеливый, энергичный и жизнерадостный, жесткий и необузданный. Эта цепочка определений, конечно, никак не сойдет за характеристику человека, тем не менее она воплощает мое представление о нем.

Оно сложилось у меня в результате и других встреч с Хрущевым. Я имею в виду два расширенных Пленума ЦК, на которых мне довелось присутствовать. Никита Сергеевич явно отдавал предпочтение таким собраниям: то ли чтобы его установки получили максимальный резонанс, то ли чтобы нейтрализовать все более враждебных ему «зубров» в Политбюро. К последней версии подталкивает его неожиданное обращение на пленуме, посвященном химической промышленности, к солженицынской повести «Один день Ивана Денисовича». Хрущев заявил (воспроизвожу это почти дословно), что в преддверии решения о ее печатной судьбе дал указание направить повесть «всем товарищам» (имеется в виду Политбюро). «На следующем заседании, — продолжал Никита Сергеевич, — спрашиваю: «Прочитали?» Отвечают: «Прочитали». «Ну как?» — В ответ молчание. Но я Первый секретарь и понимаю, что означает это молчание. Еще раз спрашиваю: «Какое мнение?» В ответ один голос: «Там же органы компрометируются». «Как компрометируются, говорю я, наоборот, прекрасный образ Буйновского...» и т.д. В этой же речи Хрущев вернулся к теме недопустимости того, чтобы органы госбезопасности, как было в прошлом, стояли «над партией», и гневно отозвался о порядке, при котором первые секретари обкомов, дабы пройти на засекреченные предприятия, должны иметь разрешение этих органов.

Надо сказать, что выступления Хрущева, как и сам XXII съезд, оказывали несомненное влияние, сжимая антисталинскую пружину. Но оно, разумеется, было несоизмеримо с «громом» XX съезда. Главное в этом смысле было уже сделано, отыграно тогда. Теперь, видимо, надо было двигаться дальше. Да и в эмоциональном отношении воздействие «Ивана Денисовича» было сильнее многих речей.

С делегацией Ганы я съездил в Ленинград, после чего ганцы вернулись домой, пораженные внушительностью съезда и, думаю, очарованные увиденным и услышанным, особенно за его пределами. Я смог убедиться в этом совсем скоро, встретившись через несколько месяцев со своими подопечными — на этот раз в ганской столице Аккре. Туда я попал в составе советской молодежной делегации, приехавшей по приглашению организации, название которой звучало еще более молодо: «Юные пионеры Ганы». Хотя в те времена я выглядел заметно моложе своего возраста, о чем свидетельствует лежащая передо мной газета «Ганезн таймс» от 3 марта 1962 г. с нашими фотографиями, в мои 38 лет я поначалу чувствовал себя неловко. Это теперь, навидавшись в разного рода зарубежных молодежных делегациях «юношей» под 40, знаю, что таков обычный способ устраивать поездки политикам.

Гана удивила меня развитой сетью шоссежных дорог, ухоженностью некоторых городских кварталов (главным образом тех, где жили англичане) и убожеством окружавших их лачуг, нищетой деревень, нередко не знавших ни электричества, ни чистой питьевой воды, формализованным на британский манер красноречием видных политиков, причудливым сплетением традиционных и современных форм жизни, англоманством интеллигенции, чиновников, сохраняющих, однако, верность племенным ритуалам. Поразило и жизнелюбие ганцев, способных легко, мгновенно перейти от будничных занятий к веселью, к танцам. Наблюдать ганцев, вставших длинной цепочкой в затылок друг другу и беспечно, с видимым наслаждением ритмично раскачивающихся в темпе «high life»'а («сладкая жизнь») — зрелище завораживающее.

Мы проехали по стране около четырех тысяч километров, пересекли Гану с юга на север, с запада на восток, побывали в семи из восьми ее областей. К концу путешествия наш новенький «пежо» было невозможно узнать. Он стал вполне достоин автомобильного кладбища — заслуга водителя, который относился к машине совершенно немилосердно, гнал изо всех сил, громко напевая и испытывая, кажется, физическое наслаждение от скорости (свойство, я заметил, многих африканцев за рулем, видимо, связанное с присутствием им чувством ритма). Но не меньшую роль сыграли и почти непрекращавшиеся тропические ливни. Однажды даже пришлось остановиться посреди дороги: впереди была сплошная, без малейших просветов, серо-желтая пелена водяного потока.

Интенсивность движения была впечатляющей. По дорогам несся пестрый поток автомашин всевозможных марок и размеров — от заносчивых лимузинов и грузных «студебеккеров» до юрких «фиатов» и «виллисов». То и дело попадались пассажирские фургоны — главное средство передвижения африканцев, которые здесь называют «мамми лорри» («лорри» по-английски — грузовик, а «мамми» —

мамочка — прозвище мелких уличных торговков, которых в то время было более полумиллиона). Их борта разукрашены разноцветными надписями. Библейские сентенции перемежаются деловыми афоризмами и патриотическими призывами: «Слишком хорошо», «Если бы я знала...», «Время — деньги», «Прости их...», «Делайте сбережения в ганском коммерческом банке. Помогайте Гане», «Умирать еще не время»...

В Гане я впервые увидел деревья какао. Высокие, метров в пять-шесть, с большой кроной, пятнистым стволом, на котором висят крупные желто-оранжевые плоды, напоминающие по форме дыню. Внутри — серовато-белесые бобы, покрытые вязким веществом, довольно приятным на вкус. Из них получают масло, жмыхи размельчают, превращая в коричневый порошок какао, известный каждому из нас.

Довелось побывать и на специально приуроченной к нашему прибытию ритуальной церемонии в районе Акропонг — Аквапим, в Центральной Гане, на которую собралось несколько десятков племенных вождей. Хотя второй (после Гвинеи) контакт с Черным континентом, длительное путешествие в ганскую глубинку уже позволили мне воспринимать африканскую экзотику более спокойно, все еще случались минуты, когда окружающее вдруг начинало представляться чем-то нереальным, сказочным. Так было и сейчас.

Земляная, изрытая ямами дорога, по бокам — мощные развесистые деревья, несколько приземистых одно-двухэтажных строений (некий гибрид настоящего дома и хижины) мрачно-черного цвета, видимо, из обожженного дерева. Тут же стояли четыре-пять роскошных лимузинов — «кадиллаки» и «линкольны». Церемония проходила в просторном огороженном дворе. На возвышении, под палаитипом, на резном деревянном троне восседал верховный вождь — адонтехене, увенчанный короной. За всю церемонию он не проронил ни слова. Говорил находившийся по правую руку от него «лингвист», в обязанности которого входит сообщать окружающим волю вождя. По левую же руку сидел соберра — телохранитель вождя (буквально — его «душа»). Вдоль стены полукругом расположились 50—60 человек — вожди более низкого ранга, все в красочных вышитых накидках — кенте.

Дело началось с рукопожатий, которыми мы, идя по полукругу, обменялись со всеми присутствующими. Потом «лингвист» передал нам приветствие адонтехене, и начались пляски вождей — поодиночке и парами. Описать это очень трудно. Скорее всего то был не просто танец, но разговор с помощью танца, язык которого мало понятен непосвященному. Причем из-под кенте выглядывали то смокинг, то лакированные туфли — танцевали приехавшие из Аккры племенные вожди, ныне врачи и адвокаты. По окончании плясок появился сосуд с пальмовым вином и калабаш-ковш из выдолбленной и высушенной

тыквы. И тут нас ждало испытание. «Лингвист» отлил несколько порций вина на землю, чтобы «утолить жажду» предков, а также Кваме Нкрумы (президент Ганы) и Н.С. Хрущева. Затем стали потчевать нас, предлагая выпить за дружбу между Советским Союзом и Ганой, за здоровье и дружеские связи Хрущева и Нкрумы. Не откажешься, а из ковша только что отпил пожилой ганец, чья шея была покрыта гнойными изъязвлениями — след туберкулеза кожи. Но выбора не было, и пришлось тоже иррьюжиться к калабашу...

Заключительным аккордом поездки стал прием у Нкрумы. Тогда это имя было на устах у многих в мире и широко известно в Советском Союзе. Он был свергнут в 1965 году и умер в изгнании, но в Гане и сейчас его продолжают чтить и считать «отцом независимости». Нкрума — один из первых в первой волне лидеров колониальных стран, возглавивших борьбу за освобождение, не чуждых политического романтизма, соединивших в своем мировоззрении твердую националистическую основу с эклектическими социалистическими идеями. Он был убежденным и ревностным panaфриканистом, можно сказать, певцом panaфриканизма. Превосходный оратор, он умел использовать страсть своих соотечественников к ярким театральным жестам. В мартовскую ночь 1957 года на церемонию провозглашения независимости Нкрума пришел в полосатой робе узника английской тюрьмы, чтобы торжественно объявить: «Гана, наша любимая Родина, свободна — свободна навсегда!» Эта атмосфера политической эйфории, восторженное отношение к социализму, горячие симпатии к Советскому Союзу еще не ушли в прошлое. Но уже были заметны и первые симптомы недуга, ставшего роковым для судеб режима: авторитарность и самодовольство лидера, набирающая силу коррупция. Незадолго до нашего визита был смещен министр промышленности, жена которого купила в Лондоне золоченую кровать.

Я так пространно останавливаюсь на ганских впечатлениях еще и потому, что мои африканские месяцы за вычетом уже рассказанного были заполнены рутинной: работой с делегациями, подготовкой различных справок, составлением записок в ЦК по мелким конкретным вопросам и т.д. Правда, именно такая рутинная, требующая, кстати, и немалого прилежания, и солидной квалификации, обеспечивает функционирование государственного и партийного механизма. Единственным, пожалуй, исключением стала работа над так называемыми «африканскими тезисами». Это была попытка оценить ситуацию на континенте и ближайшие перспективы ее развития. В материале было, конечно, немало схематизма и дани идеологическим клише того времени. Но в целом он оказался, пожалуй, шагом вперед в постижении тогдашним политическим истеблишментом африканских реалий.

Между тем мое положение в секторе стало стремительно осложняться, и причиной тому был наш босс — Пономарев. С некоторых

пор он принялся вызывать меня к себе и давать задания политико-литературного характера, например: написать проект речи, отредактировать текст выступления и т.д. Это очень не понравилось моему непосредственному начальнику, заведующему сектором М., который стал «на миру» осуждающе называть меня «отходником». Атмосфера накалялась, я чувствовал себя между молотом и наковальней. Лишь попозже понял, насколько естественной для бюрократа была реакция М. Бюрократ, аппаратчик считает своей важнейшей охранительной прерогативой монополию на контакты с вышестоящим начальством. Нарушение этой монополии чревато для него многими неприятностями — просачиванием к начальству неконтролируемой информации, эрозией собственного положения и появлением конкурента, если и не претендента на занимаемое им место. В то же время в этой монополии и в этой «нормальной» реакции — один из источников ограниченной эффективности и даже омертвления любой бюрократической структуры.

Острые отношения между заведующим сектором и референтом, как бы ставящие их в положение на равных, были в отделе, конечно, феноменом необычным. Но коллеги по сектору, пусть и скованные дисциплинарной логикой, держались в отношении меня дружественного нейтралитета. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не очередная перемена в моей судьбе: меня повысили, перевели в консультанты. Для аппаратных нравов характерно и то, как я узнал об этом. В связи с очередным виесекторным заданием я работал за городом, на даче в Горках-10, под началом руководителя консультантской группы Елизара Ильича Кускова. Как-то он показал мне деловую записку Пономарева. Она была адресована Кускову, еще кому-то, а третьей стояла моя фамилия. Ткнув в нее пальцем, Елиزار Ильич сказал: «Раз он счел возможным обратиться к тебе, считай себя консультантом». Через пару недель я им и стал.

Уход из сектора Африки не положил конец моей причастности к африканским делам. К ним приходилось время от времени возвращаться, и это дало возможность составить представление о нашей активности в Африке в целом, оценить ее значение и место в советской внешней политике, ее последствия для международных позиций. И наверное, логично именно здесь, отступив от хронологии, продолжить мою африканскую тему.

На землю Африки мне вновь довелось вступить 15 лет спустя — в декабре 1977 года в составе делегации КПСС на I-й съезд Народного движения за освобождение Анголы (МПЛА). Съезд проходил в Луанде — самой красивой из виденных мною африканских столиц. Город как бы окаймляет широкую живописную бухту. Набережная вымощена цветной плиткой и заселена многоэтажными домами из стекла и бетона. Широкие улицы сторожат стройные ряды пальм. Но так в центре и португальских кварталах, иной вид, конечно, у

окраин. К сожалению, попристальнее познакомиться с Луандой, не говоря уже об ангольской провинции, не удалось: все время съел съезд, шумный и темпераментный.

Руководство МПЛА преобразовывало, вернее, пыталось преобразовать это движение, пришедшее к власти, в политическую партию. Сформировавшись под сильным влиянием левых кругов Португалии, оно исповедовало, хотя и в разной мере, марксистские взгляды, разумеется, с сильной примесью умеренно националистических идей, видело в Советском Союзе опору борьбы за независимость.

За трибуной возвышался большой бюст Ленина. Лидер МПЛА Агостиньо Нето в своем докладе говорил, что это массовое движение завершило свою миссию и рабочий класс, как ведущая сила народа, нуждается в собственной партии, что в Анголе будет установлена революционно-демократическая власть, которая перерастет в диктатуру пролетариата, и т.д. и т.п. В этой отсталой вчерашней африканской колонии подобное звучало диковато даже для моего натренированного, притерпевшегося уха. Я записал тогда в дневнике: «Много “форсированных” и туманных положений, далеко опережающих события. Уж о диктатуре пролетариата можно было не говорить. Да и разоблачение религии...»

Но этим, кстати вполне искренним, фразам с энтузиазмом аплодировали 250 делегатов съезда — большей частью активные участники вооруженной борьбы против колониального режима, бывшие узники португальских застенков. Характерно, что марксистско-ленинская ориентация МПЛА не помешала тому, что на съезде была довольно широко представлена европейская социал-демократия. Видимо, сказывались признание антиколониального послужного списка МПЛА и понимание того, что идеологическое лицо ее лидеров менее одноцветно, чем можно было заключить из съездовских заявлений.

Ангола мало чем напоминала относительно безмятежную Гану времен моего вояжа. Ликвидация колониального режима не принесла в страну мира. Вооруженная борьба продолжалась, но теперь основными антагонистами выступали сами ангольцы. Чтобы объяснить это, несомненно хотя бы небольшой экскурс в ангольские дела.

Ангола — одна из самых больших (1247 тыс. кв. км — территория Англии, Франции, Испании, Португалии, вместе взятых) и богатых стран Тропической Африки. Здесь соблазнительно многое: оборудованные порты, прекрасный кофе, алмазы, нефть, газ. Ей выпала судьба — и несчастье — стать одним из узловых пунктов соперничества СССР и США в «третьем мире». В контексте его иррациональной логики Ангола заняла место, совершенно не пропорциональное своему подлинному значению, и противостояние там (как и события на Африканском Роге) заметно повлияло на советско-американские отношения в целом, на судьбы разрядки. Вину за это официальные круги Соединенных Штатов, а вслед за ними амери-

канские исследователи возлагали тогда на Советский Союз. Однако в ходе состоявшихся в мае и сентябре 1995 года встреч с «ветеранами», имевшими касательство к формированию советской политики в те годы¹, члены администрации президента Картера говорили уже о большой роли «взаимного непонимания восприятия действий одной страны другой» (Вэнс).

Наша поддержка МПЛА диктовалась не столько, как часто думают, идеологическими, сколько прагматическими соображениями: оно оказалось единственным общенациональным движением (вобравшим в себя, по выражению последнего португальского губернатора, «интеллектуальный цвет ангольской нации»), которое вело реальную борьбу против колонизаторов. Об относительной роли идеологической привязки свидетельствует то, что в какой-то момент Политбюро ЦК КПСС даже принимало решение о признании конкурента МПЛА — Национального фронта освобождения Анголы (ФНЛА), возглавлявшегося Х. Роберто, который впоследствии был уличен в связях с ЦРУ. И только бюрократические проволочки и в особенности протесты некоторых африканских руководителей и португальских левых помешали его реализации.

МПЛА противостоял также Национальный союз за полную независимость Анголы (УНИТА — лидер Ж. Савимби), в открытую сотрудничавший с колониальным режимом. В январе 1975 года, через девять месяцев после свержения португальского диктатора Салазара, руководители трех организаций были собраны в Алворе (Португалия). Там они подписали соглашение о создании на период до проведения выборов коалиционного правительства, к которому должна была перейти власть с провозглашением независимости 11 ноября 1975 г.

К сожалению, США сразу же взяли курс на подрыв соглашения. Уже через неделю секретный комитет по вопросам разведки и тайных операций («комитет сорока») принял решение оказать финансовую помощь ФНЛА. А 18 июля президент Форд одобрил передачу

¹ Во встречах во Флориде (Форт Лодердейл) и Осло (по линии Нобелевского Института мира) участвовали: с американской стороны бывшие госсекретарь С. Вэнс, директор ЦРУ адмирал С. Тэрнер, заместитель помощника президента Картера по национальной безопасности генерал-полковник Б. Одом, специальный помощник госсекретаря М. Шульман, ответственный сотрудник госдепартамента Л. Гелб, профессор Б. Легвольд, тогдашний посол в России Т. Пикеринг; с российской стороны бывшие посол в США, секретарь ЦК КПСС А. Добрынин, первый заместитель министра иностранных дел Г. Корниенко, советский представитель в ООН, посол в Китае О. Трояновский, председатель КГБ Л. Шебаршин, Главнокомандующий Сухопутными Силами Советского Союза генерал армии В. Варенников, начальник Штаба Организации Варшавского Договора генерал армии А. Грибков, помощник министра иностранных дел С. Тарасенко, нынешний посол России в США Ю. Воронцов, автор этих строк и другие.

сму 30 млн. долларов, и в том же месяце на самолетах в Заир было переброшено (для ФНЛА) оружие на 16 млн. долларов. В помощь ФНЛА, вслед за китайцами, включились северокорейцы, а по некоторым сведениям, и румыны. В ноябре 1975 года администрация США запросила у конгресса еще 28 млн. долларов (до этого она действовала без его ведома), но столкнулась с отрицательной реакцией: группа сенаторов во главе с Д. Кларком внесла поправку, которая запрещала вмешательство Соединенных Штатов в Анголе. Кстати, недружелюбная позиция Запада, прежде всего Вашингтона, сыграла немаловажную роль в том, что руководство МПЛА «прильнуло» к Советскому Союзу и Кубе.

Расчет на американскую поддержку, безусловно, сыграл роль в том, что ФНЛА в феврале—марте 1976 года активизировал военные действия против МПЛА. К августу—сентябрю положение серьезно осложнилось. С севера двигались отряды ФНЛА, усиленные двумя батальонами заирских парашютистов, с юга — люди УНИТА, которых сопровождали готовившие их юаровские и американские инструкторы. 23 октября ЮАР, с благословения США², приступила к массивной операции под кодовым названием «Зулу». Пять—шесть тысяч ее солдат вместе с силами УНИТА и ФНЛА, ангольскими и европейскими наемниками начали наступление на Луанду. К середине ноября они углубились на территорию Анголы на 500 километров, до столицы оставалось немногим более 100 километров.

Руководство МПЛА апеллировало к международному сообществу. Оно обратилось к кубинцам (первые кубинские офицеры-советники появились в Луанде еще раньше) и югославам, но не к Советскому Союзу, зная о его сдержанном отношении. В начале ноября 1975 года отряды МПЛА при поддержке кубинских войск (их численность в конечном счете составила 36 тыс. человек; у них было 300 танков) предприняли мощное контрнаступление. Это получило одобрение почти всей Африки. Сформированное 11 ноября 1975 г. правительство МПЛА было признано 41 из 46 членом Организации африканского единства (ОАЕ). Так завершилась первая фаза внутриангольской борьбы, осложненной внешним вмешательством, конфронтацией в Анголе сверхдержав в рамках их глобальной конкуренции.

Неблагоприятный для американцев исход событий вызвал энергичные протесты Вашингтона. Устами президента Форда и государственного секретаря Киссинджера была выражена «самая серьезная обеспокоенность» вмешательством «экстраконтинентальных держав». Но, как справедливо пишет Р. Гартофф, «в период от весны 1974 года до лета 1975 года Соединенные Штаты считали соревнование с

² См. А. Klinghoffer. *The Angolan war. A Study in Soviet Policy in the Third World* (Bouldez Calo: Westview, 1980). — P. 45, 53—54; John Stockwell. *In Search of Enemies: A CIA Story* (W.W. Norton, 1978). — P. 185—190.

Советским Союзом в Анголе нормальным поведением в условиях разрядки. И только когда поддерживаемый американцами ФНЛА утратил превосходство... и стала расти возможность того, что поддерживаемое Советским Союзом левое МПЛА завоюет власть, США стали рассматривать соревнование с СССР как неприемлемое»³. А директор ЦРУ У. Колби в декабре 1975 года, давая показания в конгрессе, констатировал «небольшую» разницу между соперничающими ангольскими группами. И когда его спросили, почему же в таком случае США (и китайцы) поддерживают одну из сторон, он, не мудрствуя лукаво, ответил: «Потому что Советы поддерживают МПЛА, таков простейший ответ»⁴.

Кубинское вмешательство, вопреки распространенной до недавнего времени на Западе точке зрения, не было ни запланировано советской стороной, ни даже согласовано с ней. Это подтвердил и Фидель Кастро, который в январе 1992 года в присутствии высокопоставленных американцев заявил: «Советские не имели ничего общего с силами, которые мы послали в Анголу в 1975 году». Г.М. Корниенко, в то время первый заместитель министра иностранных дел, в книге «Холодная война» писал, что Москве стало известно об этом из телеграммы советского посла в Гвинее, который, сославшись на слова своего кубинского коллеги, упомянул о намеченных на следующий день технических посадках самолетов с кубинскими войсками, направляющимися в Анголу. Я не видел этой телеграммы, о происходящем узнал от своих партнеров в Министерстве обороны. Известие о кубинской акции было встречено в Москве, мягко говоря, со смешанным чувством. Она представлялась излишне радикальной, если не отдающей авантюризмом, опасной и для самой Кубы. По решению Политбюро даже была направлена Кастро телеграмма с рекомендацией воздержаться от таких рискованных действий, но она пришла в Гавану, когда самолеты с кубинскими войсками уже летели над Атлантическим океаном.

Советское руководство оказалось в непростом положении. Разумеется, раздражало и даже тревожило «непослушание» кубинцев, а кое-кто еще и опасался, что они претендуют выглядеть более революционными и смелыми, чем мы. Но Кубу, ее возможности в Москве очень ценили, относились к Кастро не без деликатности и осторожности. К тому же его целеустремленность и революционный романтизм, часто независимая позиция подыали престиж Кастро очень высоко и среди населения Советского Союза, особенно среди молодежи. Добавьте соблазн насолить американцам, активно действовавшим, да еще в союзе с китайцами, в Анголе, выиграть, причем

³ R.L. Garthoff. Detente and Confrontation. American-Soviet Relations from Nixon to Reagan. The Brookings Institution. — Wash. — 1985. — P. 520.

⁴ Ibid, p. 521.

руками кубинцев, очко во всемирном состязании с ними, поддержав МПЛА.

Все это привело к решению, в какой-то мере даже и вынужденному, солидаризироваться с кубинцами, тем более, как поначалу казалось, все получилось очень неплохо. Между тем новой вспышки советско-американских противоречий в связи с Анголой не пришлось долго ждать. В американских документах и политической литературе эти события получили название «Шаб-А» и «Шаб-В» (Шаб, или Катанга, — богатая медью провинция на юге Заира). С середины 60-х годов вдоль ангольской границы с этой провинцией поселились бежавшие из Заира катангские жандармы — вместе с семьями свыше 250 тысяч человек.

Вторжения из Заира продолжались и после провозглашения независимости, серьезно осложняя положение в Анголе. На этом фоне в марте 1977 года 2 тысячи катангцев атаковали заирскую территорию. До сих пор не ясно, кто проявил инициативу — они сами или же руководство Анголы (без чьего ведома катангцы вряд ли решились бы действовать). Наступление развивалось успешно и создало угрозу режиму Мобуту, заирского диктатора, но Запад, естественно, не мог бросить на произвол судьбы «испытанного друга» и «медного барона». В дело включились Франция и Бельгия, в Заир были переброшены 1,5 тысячи марокканских солдат (такую же миссию вызвался взять на себя Египет).

Вашингтон реагировал внешне довольно спокойно. Тем не менее президент Картер заявил, что Соединенные Штаты не занимают позицию неодобрения в отношении действий Франции, Бельгии и Марокко. Не означало ли это, что США действуют в этом случае через посредников, в чем они в связи с ролью Кубы обвиняли Советский Союз?

Заирские вторжения, оказываемая Вашингтоном через Мобуту поддержка УНИТА серьезно тревожили ангольское руководство, и это стало одной из главных тем бесед главы нашей делегации А. Кириленко с А. Нето. Разговор шел очень непросто, нужная тональность установилась не без труда. Частично из-за известной настороженности Нето (он подозревал, что некоторые наши офицеры были связаны с ангольскими военными, поднявшими незадолго до этого мятеж), но прежде всего потому, что встретились совершенно разные люди.

Один — человек, вплотную приблизившийся к восьмому десятку, скупой на улыбку, кряжистый, с небольшими глазками, остро глядевшими из-под довольно густых бровей, в его лице с чуть вздернутым носом и походке было что-то медвежье. Другой — довольно хрупкий, изящный негр, лет на 15 моложе, с мягкими движениями, приятными манерами и милой улыбкой, с правильными чертами гладкого смуглого лица, с блестящими, живыми, светящимися умом глазами.

Один — не шибко эрудированный по гуманитарной части, но опытный, хваткий аппаратчик, искушенный в политической интриге, жесткий прагматик. Другой — известный поэт, трибун с харизмой и обаянием вождя, политический деятель, не лишенный романтизма; человек на первый взгляд мягкий и вяловатый, но целеустремленный и даже жесткий; ровный в обращении с подчиненными, пожалуй, один из немногих африканских лидеров (и не только африканских), не поощрявших подобострастия в поведении своего окружения.

По инициативе Нето разговор прежде всего коснулся озабоченности ангольского руководства провокациями Мобуту (инфильтрация, нападения, а время от времени и воздушные бомбардировки), которые в сочетании с подрывными действиями ЮАР создают очень тяжелое положение. Нето просил форсировать поставки военного и гражданского имущества для ангольской армии, специального оружия для службы безопасности, подготовку экипажей танков и бронетранспортеров.

Кириленко советовал проявлять сдержанность, не создавать, как он выразился, «скользких ситуаций». Тут Нето его прервал: если имеются в виду катангцы (хотя это было не так), то они действительно несколько раз создавали напряженность на границе, но «мы стараемся разместить их подальше от нее».

Кириленко согласился с необходимостью ускоренного укрепления ангольских вооруженных сил, чтобы «привести в чувство» противников внутри и вне страны, а также высвободить, хотя бы частично, кубинские войска, и обещал содействовать удовлетворению ангольских просьб. Он настойчиво советовал ангольскому руководству наряду с политическими вопросами заняться флотом и рыболовством, сказав, что Советский Союз постарается помочь малыми сейнерами и каботажными судами.

Нето, его подход к беседе, манеры произвели на меня благоприятное впечатление. К сожалению, больше не довелось его увидеть. Менее чем через два года Нето, уже умирающего, привезли в Москву, где он и скончался в сентябре 1979 года. Говорили, будто в последнее время он стал злоупотреблять алкоголем, пытаясь убежать от депрессивных настроений, будто его все чаще посещала мысль, что опора на СССР и Кубу уже не ведет к решению ангольских проблем. Между тем выбора у него, в сущности, уже не было. По неразумному предложению нашего посла тело Нето оставили для баальзамирования в Москве, и скорбящие ангольцы, прощаясь со своим лидером, не ведали того, что проходили мимо пустого саркофага.

Заирская тема возникла и в беседе Кириленко с Раулем Кастро в ходе специально организованной прогулки по реке Кванза. Кириленко поднял вопрос о необходимости «нейтрализовать» Мобуту, «серьезно и убедительно предупредив». Рауль реагировал вяло. Как выяснилось, главным для него было добиться, чтобы СССР взял на

себя снабжение кубинских частей в Анголе продовольствием и гражданским имуществом (это стало еще одним звеном в нашем незапланированном и непродуманном «вползании» в ангольские дела), а также компенсировал перебрасываемое с Кубы оружие.

Но запомнилась беседа более всего тоном, взятым Раулем Кастро: весело-ироничным и несколько развязным. То и дело он напевал некогда весьма известную и популярную у нас песенку «Москва—Пекин», служившую своего рода гимном «нерушимой советско-китайской дружбы». Учитывая враждебный характер отношений СССР и Китая в то время, это звучало более чем неudelикатно, если не издевательски. Проявлялись ли в этом триумфалистское самолюбование своей «решительностью» и «успехом» в Анголе, взгляд свысока молодого революционера, знающего, «как делать дело», на закосневшего пожилого бюрократа — не знаю.

Затишье в Анголе продолжалось еще несколько месяцев. Однако в марте следующего года ФНЛА, помощь которой, как и УНИТА, опять стала наращиваться через Мобуту, вновь пересекла границу, а в апреле—мае Анголу начали бомбить заирские и южноафриканские самолеты. В этой ситуации ангольское руководство, видимо, решило пойти с катангской карты. 11 мая 1978 г. катангцы вторглись в Заир: началась «Шаб-И». И уже неделю спустя, 18 мая, Франция и Бельгия предприняли контринтервенцию, на этот раз при прямом участии Соединенных Штатов. На их военно-транспортных самолетах С-141 и С-5 были переброшены 2,5 тысячи французских и бельгийских парашютистов, в июне их заменили войска из Марокко, Сенегала и т.д. Впрочем, американцы не сидели сложа руки. В конце апреля директор ЦРУ С. Тэрнер и заместитель помощника президента по национальной безопасности А. Аарон добивались от сенатора Кларка согласия на помощь УНИТА через третью страну. У нас была информация, что, несмотря на его возражения, такая работа велась.

«Шаб-И» ознаменовалась шумными протестами картеровской администрации. 25 мая американский президент заявил, что наряду с правительством Анголы Куба разделяет бремя ответственности за вторжение. А 27 мая, принимая А. Громыко, Картер почти весь разговор посвятил африканской проблеме. Эта беседа во многом характерна для духа времени, и на ней стоит остановиться.

Картер обвинил Советский Союз в участии во вторжении, утверждая, что катангцы «стимулировались и снабжались» кубинцами и восточными немцами. Он подчеркнул, что США, в противоположность СССР и Кубе, «воздерживаются от военного присутствия в Африке» (поскольку, добавим, в случае необходимости легко пускают в ход войска западных союзников и африканских клиентов).

Громыко ответил — и с полным основанием — что «Советский Союз абсолютно ничего не знал относительно недавних акций так называемых жандармов в Катанге». Резонным было и его заявление,

что «ни один из кубинцев не был пойман или даже замечен в ходе этого вторжения». Но когда министр стал утверждать, будто «Советский Союз даже не знал о присутствии катангцев в Анголе», то это уже могло выглядеть отказом от диалога. Нашим военным, дипломатам, разведчикам в Анголе и Заире — да и чиновникам в Москве — это было известно. Дальше — больше. В Эфиопии уже несколько месяцев находился десяток наших высокопоставленных военных во главе с командующим Сухопутными войсками, однако Громыко назвал это «мифом», добавив, что, «даже если бы попросили у Советского Союза послать туда генерала, в этом было бы отказано. В Африке нет советского Наполеона».

Можно, конечно, сослаться на то, что отрицать очевидное — обычное дело в политической практике. Американцы сами поступали так не раз. Как известно, Эйзенхауэр, не зная, что пилот сбитого шпионского самолета У-2 Пауэрс попал в плен, на весь мир заявил, что такие полеты не проводятся. Не исключено и то, что взятый Громыко наступательный, как это называлось тогда, а по существу просто грубоватый тон был рассчитан больше на своих коллег по Политбюро, которым рассылалась запись беседы, чем на собеседников. Но в любом случае тональность беседы, избранная советским министром, чрезмерные и напористые опровержения упреков американского президента — при том, что Картер являлся убежденным сторонником улучшения отношений с СССР, — вряд ли были к месту.

Конечно, и президент, поддавшись влиянию советников и эмоциям, не слишком придерживался истины. Его помощник по национальной безопасности Бжезинский уже на следующий день в интервью даже не заикнулся «об ответственности» Советского Союза. Вэнс, обращаясь к этим событиям в своих мемуарах, признает, что американские утверждения относительно кубинского участия базировались «на некоторых двусмысленных и, как выяснилось, не очень достоверных разведывательных данных»⁵.

Несомненно, Бжезинский и некоторые его коллеги в администрации стремились всячески раздуть значение эпизода с Шабой, связав его с развитием ситуации на Африканском Роге, чтобы вызвать у президента, у американского общественного мнения тревогу, пугал их советской наступательной стратегией. И не важно, верили ли они сами в выдвинутую версию, важно, что ими явно двигало стремление изменить курс США, придать ему более жесткий, более конфронтационный характер.

Что же происходило на Африканском Роге? Начиная с февраля 1977 года Сомали, с давних пор претендующая на эфиопскую провинцию Огаден, стала засылать туда вооруженные группы. Это встре-

⁵ Cyrus Vance. *Hard Choices: Critical Years in America's Foreign Policy*. Simonand Schuster. — 1983. — P. 90.

тило противодействие СССР, имевшего тесные связи с Могадишо⁶. Он стремился избежать войны на Африканском Роге и необходимости выбирать между Сомали и Эфиопией, с которой быстро сближался.

Москва прекратила поставлять оружие Сомали, а ее лидера Саида Барре отказался принять Брежнев. В этих условиях «социалистический настрой» сомалийцев, о котором они до этого трубили на всех углах, стал быстро выцветать. И тут снова заработала дьявольская карусель супердержавной конкуренции: на сцену выступили США, которым давно приглянулся сомалийский порт Бербера (им пользовались советские военные моряки). 10 июня 1977 г. Картер, подчеркнув в интервью свою склонность «бросить агрессивный вызов, конечно мирным путем, Советскому Союзу» в его собственной сфере, особо упомянул Сомали. 28 июля, коснувшись вопроса о поставках вооружения Сомали, американский президент сказал, что в этом деле США «стараяются работать не на односторонней основе, а в тесном сотрудничестве с Саудовской Аравией». В этом же месяце Сиад Барре посетил ее столицу Эр-Риад, где ему было обещано американское оружие на 460 млн. долларов с оплатой саудовцами. Наконец, в начале августа в Вашингтон прибыла миссия Сомали для обсуждения ее военных нужд.

Между тем все эти заявления и практические шаги делались в момент, когда сомалийское руководство решилось на агрессию против Эфиопии. В середине июля оно резко нарастило поддержку находившимся в Огадене партизанским отрядам, введя в действие регулярные вооруженные силы. А заявление Картера от 28 июля пришлось на время, когда сомалийцы «освободили» большую часть Огадена, и почти вся их армия, примерно 40 тыс. человек, находилась на эфиопской территории.

Советский Союз, которому все-таки пришлось сделать выбор (в пользу Эфиопии, как более крупной и важной страны), и Куба, действуя на этот раз в тесном контакте, не собирались допустить разгрома эфиопов и торжества противника. Начиная с ноября в Аддис-Абебу пошел поток советского оружия общей стоимостью, по американской оценке, до 1 млрд. рублей. Куба же направила свои войска.

Так что роль Вашингтона, пусть и косвенная, в развертывании войны на Африканском Роге, особенно в критический момент, когда руководство Сомали принимало решение о вторжении, очевидна. Представление об американской позиции дает меморандум Бжезинского президенту Картеру от 26 августа 1977 г., то есть в разгар сомалийской агрессии. «Мы, — говорится в этом документе, — не можем вмешиваться в конфликт между Эритреей и Сомали и должны позволить эритрейской ситуации идти своим ходом. Мы хотим увеличить свои долгосрочные шансы на повышение своего влияния как

⁶ Столица Сомали.

в Эфиопии, так и в Сомали»⁷. Американские действия, конечно, способствовали открытому вовлечению в конфликт Советского Союза. Оно было также облегчено широко распространенным на континенте признанием легитимности обороны Эфиопией своих границ. Стоит напомнить и о том, что в это же время государственный секретарь Вэнс обсуждал сомалийскую проблему с китайцами, которые уже поставляли оружие Сомали. Картер в инструкциях отправлявшемуся в Пекин Бжезинскому, где говорилось о «наших с Китаем общих врагах», «среди позитивных вкладов, которые следует сделать китайцам» называет «обеспечение помощи Сомали». Так что проблема и в этой плоскости приобретала черты межблокового противостояния.

В январе 1978 года Громыко предложил посредничество СССР и США в конфликте, но Бжезинский отверг это как «ведущее к кондоминиуму» и к тому, чтобы «легитимизировать советское присутствие на Африканском Роге»⁸ (американское же присутствие, естественно, являлось вполне легитимным!). США обратились к Советскому Союзу лишь после того, как над сомалийцами нависла угроза полного разгрома. Тем не менее в Москве откликнулись на конфиденциальные американские просьбы относительно, по словам Вэнса, «советского сотрудничества и воздержанности в целях защиты Сомали от последствий его вторжения в Огаден».

Значит ли сказанное, что действия Советского Союза, его африканская политика были безупречны? Или что существовала некая африканская стратегия СССР, как провозглашали тогда Бжезинский и некоторые его коллеги и как думают поныне многие западные исследователи? Правомерен лишь один ответ: к сожалению, нет. Источник представлений о подобной «стратегии» более или менее ясен: стремление «демонизировать» противника, чрезмерно рационализировать его действия, приписывать государственному руководству больший интеллектуальный потенциал, чем тот, которым он в действительности располагает. Я никогда не сталкивался с документом, где делалась хотя бы попытка изложить нашу африканскую стратегию, — его и не существовало. Никогда не был и свидетелем или участником обсуждения этой проблемы на политическом уровне. Знаю только, что Фидель Кастро в беседе с Хонеккером в апреле 1977 года в Берлине настаивал на необходимости иметь «интегрированную стратегию для всего Африканского континента». Но его призыв остался без последствий.

60-е годы были отмечены бурным развитием отношений Советского Союза с африканскими странами. Советский престиж на Черном континенте был тогда весьма высок, прежде всего благодаря

⁷ Zbigniew Brzezinski. *Power and Principle: Memoirs of the National Security Adviser, 1977–1981*. Farrar, Straus. — Giroux. — 1983. — P. 180–181.

⁸ «PRC Review of Situation in Horn of Africa». Memorandum for the President., 1977. August 26.

поддержке антиколониальных устремлений африканцев. Многие доверяли нам безгранично, по словам некоторых африкановедов, «как дети». Мне рассказывали, как ангольские военнослужащие — участники мятежа, которых в грузовиках везли на казнь по улицам Луанды, завидя идущих наших людей, простирали к ним руки и восклицали: «*Comaradas Soviéticos!*»

Свою лепту внесли и первые контакты с африканцами советских людей, продемонстрировавших простоту в обращении, неприятие расовых предрассудков. Приведу один пример, происшедший в эти годы в Гане. На первый взгляд будничная, он, наверное, может сказать многое о многом. Советский преподаватель Б. Петрук вместе с ганским коллегой Икоку были в командировке в городе Тамале, что на севере страны. Поместили их в губернаторском доме, уже нежилком. Нашего преподавателя — в небольшой комнате, где был кондиционер, а Икоку — в более просторной, но без него. Между тем кондиционер, как выяснилось, не работал, и Петрук с согласия коллеги перебрался в его комнату. Утром сосед ему сказал: «Все-таки вы, советские люди, другие. Англичанин умер бы от духоты, но не стал почевать со мной в одном помещении». Это потом, по позже, особенно в рваческие 70-е годы, из Советского Союза сюда потянулись «жлобы», а африканцев стали смущать бедность, а зачастую и скaredность наших командированных.

В 60-е годы Советский Союз обрел опорные пункты на континенте. Но именно здесь нас постигли первые разочарования. Не только выявились неспособность этих режимов заниматься социальными и особенно экономическими проблемами, их подверженность коррупции и вырождение в диктатуры, но была также переоценена их прочность и готовность следовать рекомендациям «советских друзей». Нашей политике пришлось пережить разрыв с Секу Туре, свержение Кваме Нкрумы и Модибо Кейты (руководитель Мали). И собственно, с этой поры, после недолгой эйфории, в Африке начала проводиться политика осторожного маневрирования, неспешного развития отношений по государственной и партийной линиям, военного сотрудничества в скромных масштабах.

Зато в 70-е годы вовлеченность Советского Союза в африканские дела (Ангола, Эфиопия и в какой-то мере Мозамбик) резко возросла. Но и этот процесс развивался, как свидетельствуют очевидцы и показывает анализ, не по заранее определенному плану, не в рамках какой-то принятой стратегии, а спонтанно, как бы сам по себе. Более того, в Завидове, резиденции Брежнева, в середине 70-х годов я был свидетелем разговора, из которого следовало, что Брежнев против широкого вовлечения СССР в Тропическую Африку. Реплики подобного же рода исходили и от Андропова.

Нередко Москву увлекал «активизм» других, прежде всего кубинцев, для которых Африка была местом, где они могли проводить

автономную политику, демонстрировать свою отвагу и революционность, подкреплять претензии на ведущую роль в «третьем мире». Как заявил госсекретарю США А. Хейгу в ноябре 1981 года заместитель председателя Госсовета Кубы К.Р. Родригес, на встрече с советскими руководителями «именно кубинцы настойчиво убеждали предоставить военную помощь Эфиопии... И Фидель Кастро лично первым выступил за оказание военной помощи».

Бряд ли в Москве отдавали себе полный отчет в долговременных последствиях такой «вовлеченности», в том, каких это потребует расходов средств и ресурсов. Доминировала политика использования «подвернувшихся возможностей». Мы были больше развернуты на глобальную конфронтацию, чем на создание в Африке собственной стабильной базы. И нами не двигали никакие экономические и даже серьезные военно-стратегические мотивы. Фактически для СССР и в значительной мере для США это была борьба не за Африку, а в Африке. И не существовало никакой единой концепции, был только некий общий, слишком общий принцип — «помогать национально-освободительному движению», которым, в сущности, прикрывалась «сверхдержавная» логика. Многое, а часто все определялось сиюминутными обстоятельствами, импульсами, поступавшими от африканских лидеров, на поводу у которых мы часто шли, наконец, произвольными, порой непродуманными решениями советских руководителей.

Как оценить в этой связи наше первоначальное вмешательство в Анголе и Эфиопии? Насколько было оно справедливым, оправданным с политической и моральной точек зрения? И, наверное, самое важное — насколько оно отвечало нашим национальным интересам?

Несомненно, и в Анголе, и в Эфиопии, да и в ряде других случаев провоцирующим фактором было поведение Соседиенных Штатов, которые стремились добиться новых преимуществ, выиграть очки в супердержавной игре. Действия же Советского Союза носили большей частью реактивный и поначалу оборонительный характер.

Несомненно и то, что дело, за которое вступался СССР, было справедливым. Разумеется, определенную роль играли идеологические факторы, но в данном случае они подталкивали к праведной позиции — солидарности с теми силами, которые боролись за свободу против колониальных режимов. Все организации, которые мы поддерживали, — СВАПО (Народная организация Юго-Западной Африки) в Намибии, МПЛА в Анголе, Африканский национальный конгресс в ЮАР, ФРЕЛИМО (Фронт освобождения Мозамбика) — одержали победу на выборах, проводившихся под международным наблюдением, и ныне являются правящими и признанными мировым сообществом.

В 1995 году я побывал в ЮАР. И что поразило больше всего? Огромное уважение, с которым белое население относится к Нельсону Манделе, надежды, которые с ним оно связывает. Наш давний друг, глава Африканского национального конгресса и, по расхожим прежде

оценкам Запада (к которым поспешили присоединиться после августа 91-го некоторые наши журналисты), «террорист», он ныне для всего мирового сообщества — главный гарант межрасового мира и конструктивного развития своей страны, стабильности на юге Африки, ему наперебой афишируют свое уважение западные руководители. И, думается, мы, как страна, можем только гордиться тем, что этот всемирно уважаемый лидер и сегодня, говоря о своем намерении побывать с визитом в Москве, подчеркивает, что «очень хочет посетить ее, так как должен отдать долг народу великой страны за всестороннюю помощь в борьбе с самой жестокой системой расовой дискриминации — апартеидом»⁹.

Однако масштабное вовлечение СССР в африканские дела хоть и расширяло наше присутствие в регионе, хоть и обеспечивало опорные пункты в Южном полушарии, базы для флота, нашим насущным национальным интересам, конечно, не отвечало. Явно превосходя советские возможности, оно, по существу, диктовалось прежде всего азартом и авантюризмом супердержавной «рулетки». И внесло, пусть в гораздо меньших размерах, чем Афганистан, свой вклад в разрушение международного потенциала Советского Союза. Строго говоря, эти акции не отвечали и более узким интересам — интересам существовавшего режима.

Пример тому и результаты нашего участия в эфиопских делах. Режим, которому Советский Союз пришел на помощь в час сомалийской агрессии, выродился в кровавую диктатуру. Нельзя сказать, что Москве нравились его действия. Особое недовольство вызывало упорное продолжение войны в Эритрее, отказ от серьезных поисков политического урегулирования на базе реальной автономии. Но уже сложились довольно тесные связи, возникла заинтересованность ведомств. И главное: тогда не было принято отдавать уже завоеванное, приобретенные позиции (тем более, что американцы нащупывали подходы к Эфиопии).

С приходом Горбачева была сделана попытка рационализировать советско-эфиопские отношения. В качестве его личного представителя я дважды — первый раз в июле 1987 года — ездил в Аддис-Абебу, чтобы убедить эфиопского лидера Менгисту изменить политику.

Встречи с Менгисту я ждал с большим любопытством. Об эфиопском лидере молва шла разная. Велико было и волнение: предстояло переубеждать человека, упорство и упрямство которого были известны. Он встретил меня в дверях своего кабинета в бывшем императорском дворце. Это был невысокий, складный человек, облаченный в синеватый китель гражданского покроя, с довольно правильными, но мелкими чертами лица (африканского, но не эфиопского типа, ошибочно подумал я, ибо до того видел несколько христосообразно

⁹ Независимая газета. — 1997. — 27 февр.

красивых эфиопов — внешность здесь нередкая), слегка освещенного неширокой улыбкой, с быстрыми глазами. Дальше, однако, наблюдать оказалось не просто. Меня посадили слева от Менгисту, чуть-чуть поодаль, по диагонали. За его спиной расположилась, опершись ногами на какую-то высокую подставку, весьма миловидная стенографистка. И когда я, поднимая голову, прямо смотрел на Менгисту, мой взгляд упирался в ее разверстые колени. Избегая скандала и «государственного конфликта», вынужден был большей частью посматривать на Менгисту как бы украдкой или опускать глаза долу.

Менгисту держался радушно и времени не жалел, хотя в Аддис-Абебе шла сессия ОАЕ, где он председательствовал. Беседа длилась почти пять часов, потом Менгисту дал обед и самолично проводил меня до машины. Моя задача состояла в том, чтобы не только информировать эфиопского лидера о наших делах, но и подвигнуть его на переосмысление собственной политики. Я говорил о том, что перестройка неразрывно связана с демократизацией, отказом от жесткой централизации, предоставлением больших прав республикам и областям, что мы видим необходимость резко сократить военные расходы и т.д.

Менгисту слушал внимательно, задавал вопросы. Было заметно, что он почти мгновенно схватывает сказанное, даже если речь идет о вещах для него новых. Но лицо его сохраняло почти каменное выражение, оживилось оно лишь к концу беседы. Менгисту заявил, что «абсолютно убежден в необходимости перестройки» и «абсолютно согласен со сказанным, это убедительно и приемлемо для нас». Затем стал ссылаться на непонимание неких «других» и их предостережения. Например: «Есть люди, которые спрашивают, не слишком ли вы идете на переговоры, не хотите раздражать Запад, не ослабите ли свою оборону. Я говорю о тех, кто не понимает, — для нас эта ситуация ясна». Или: «Не все понимают проблему разоружения. Понятна опасность, если не будет стратегического баланса, и в то же время опасно, если будет продолжаться накопление оружия изощренного характера».

Ухватившись за мое замечание, что наше руководство исходит из условий своей страны, Менгисту подчеркнул: «Вы правильно отметили, что есть страны с общими целями, но разными условиями. Нельзя сравнивать СССР и Эфиопию. У нас задача — собрать страну (т.е. выиграть войну против эритрейских сепаратистов. — *К.Б.*), а не централизация или демократизация. И идеи, которые у вас, неприменимы в нашей стране». Несколько выйдя за пределы своих полномочий, я коснулся эритрейской проблемы, но он отговорился тем, что предпочитает политическое решение, однако сепаратисты «понимают только силу». Я ушел со смешанным чувством: на серьезные сдвиги в линии эфиопского руководителя рассчитывать было трудно.

Второй раз я побывал у Менгисту с посланием Горбачева почти год спустя. Эфиопская армия потерпела тяжелое поражение в Эрит-

рес, и эритрейская проблема приобрела чрезвычайную остроту. Поездку предварил обмен мнениями на Политбюро. Инструкции к моему предстоящему разговору сводились к следующему. «В Москве твердо убеждены, что решение может быть только на политическом пути, национальный вопрос сложен, тут, конечно, важны принципиальные и подкрепленные силовыми возможностями позиции, но силой его не решить. Необходимо проявить здесь политический подход и смелость. Назрел вопрос о демократизации: десятый год революции, а почти все остается по-прежнему...» (Горбачев). «Мы никого не бросаем. Мир для нас такой же важный компонент внешней политики, как и поддержка национально-освободительного движения» (Лигачев). «Должно быть разделение ответственности: за что мы отвечаем, это наша ответственность: за что Эфиопия — это их дело. Эритрейцы тянутся к нам, может быть, нам включиться» (Шеварднадзе). И как обобщенный итог: вопрос в том, может ли и хочет ли Менгисту изменить политику в эритрейском вопросе.

В преддверии поездки ко мне запросился на прием помощник государственного секретаря США по африканским делам Ч. Крокер, находившийся в это время в Москве. Американец не скрывал отрицательного отношения к эфиопскому режиму, обвинив его — не без оснований — в стремлении решить эритрейскую проблему военным путем, невзирая на огромные человеческие жертвы. Он энергично высказывался и за прекращение поддержки Аддис-Абебой движения христиан на юге Судана во главе с Гарангом (который воюет до сих пор) и обходил вопрос о воздействии на эритрейцев, хотя их основным донором выступала, пожалуй, Саудовская Аравия, надежно контролируемая американцами.

Крокер уверял, что США не ставят своей задачей удаление от власти Менгисту, твердо заявил о поддержке территориальной целостности Эфиопии, выразил заинтересованность в параллельных действиях США и Советского Союза, чтобы не допустить острого регионального конфликта, и пригласил советских экспертов в Вашингтон для обсуждения мер помощи голодающим в Эфиопии. Я выразил нашу готовность к совместным действиям, если они не будут направлены против Эфиопии. Условились продолжить обмен мнениями. Сейчас, оглядываясь назад, думаю, что, наверное, следовало бы энергичнее пойти навстречу Крокеру. Правда, «за спиной» у нас был Менгисту.

В те же дни состоялся контакт с французами. Эрик Руло, посол по особым поручениям, человек, близкий к президенту Миттерану, подчеркнул его личную заинтересованность в развитии франко-эфиопских отношений. Сказал, что Франция «разделяет убеждение советской стороны в необходимости сохранения территориальной целостности Эфиопии на основе существующих в Африке границ» и что она за перевод эритрейской проблемы в плоскость политического решения.

Менгисту принимал меня на этот раз в Асмаре — столице Эритреи. Иначе и вел себя на беседе. Так же внимательно и с интересом слушал (а часто и записывал), держался дружелюбно, но прежнее бесстрашие временами изменяло ему: слишком сильна, видимо, была горечь поражения. Но держался он твердо. Я говорил в духе полученных инструкций, сообщил о контактах с американской и французской сторонами, подчеркнув, что следовало бы использовать или по крайней мере исследовать возможности, вытекающие из их позиций.

Менгисту, высказав широкое согласие с нами в международных вопросах и еще раз провозгласив «солидарность» с перестройкой, в эритрейском вопросе видимым образом не сдвинулся. Он утверждал, что линию правительства «с энтузиазмом, как в дни сомалийской агрессии, поддерживает народ». Если пойдем навстречу сепаратистам, продолжал он, то есть опасность выдвижения таких же требований со стороны других народностей. По поводу американского зондажа Менгисту заявил, что США в этом духе уже обращались к Эфиопии, которая готова сотрудничать с любой страной, в том числе и с нами, но не тогда, «когда кто-то с палкой стоит над нами. Мы не принимаем диктата».

Ответ на вопрос, поставленный на Политбюро, был достаточно ясен: эфиопский лидер и не может, и не хочет изменить свою политику. Правда, было направлено — скорее для очистки совести — еще одно послание увещательного характера и, по моему предложению, обратились также к восточным немцам, которые имели близкие отношения с Эфиопией. Но, как и следовало ожидать, безрезультатно. Советский Союз прекратил всякую поддержку Менгисту.

Впрочем, возможно, сделано это была слишком поздно. Бесспорна особая сложность эритрейской проблемы. Оставленная в наследство от императорского режима, она служила для амхарских националистов (амхара — основная и господствовавшая в Эфиопии народность) принципиальным оселком территориальной целостности страны. Бездарно воевавшие, но наживавшие на войне миллионы, эфиопские генералы, наверное, не простили бы Менгисту серьезных уступок. Но он и не был способен на них, а, продолжая безвыигрышную войну, проиграл и время, упустил момент, когда эритрейцы еще были готовы к соглашению (а их настраивали на непримиримость арабские «спонсоры»).

Декларация Менгисту о предоставлении Эритрее автономии принадлежала к числу тех решений, о которых говорят: «слишком мало и слишком поздно». Она не только была обставлена рядом условий, которые выхолащивали ее смысл. Главное в том, что самые влиятельные эритрейские организации, войдя во вкус военных побед и сознавая возрастающую изоляцию режима Менгисту, не готовы были принять что-либо меньшее, чем независимость. Ну а согласиться на это он, воинствующий амхарский националист, никак не мог.

Менгисту безнадежно увяз в эритрейской трясине, и в сочетании с репрессивным, иррациональным курсом внутри страны это предопределило его судьбу. В мае 1991 года он был свергнут, бежал в Зимбабве и живет в ее столице Хараре. Эритрея стала независимой, а в Аддис-Абебе у власти новый режим, также, увы, не слишком демократичный.

Второе путешествие в Эфиопию запомнилось и некоторыми неполитическими впечатлениями. Например, в деревнях, через которые проезжали, дорогу прямо перед машиной перебежали люди. Нам объяснили: это делается, чтобы мы задавили преследующего человека «черта». Самое сильное впечатление ждало нас у озера Тана, на полпути в Аддис-Абебу. Подъезжая, видишь, что недалекий горизонт как бы залит розовым заревом. Краски восхода? Но ведь середина дня. Только покинув автомобиль (дальше ему не проехать) и прошагав какое-то время по вязкой вулканистой топи, осознаешь, что тебе повезло оказаться перед невероятным зрелищем, праздником изумительной, торжествующей красоты. Тысячи и тысячи розовых фламинго, слившись в одну розовую массу, как бы повиснув, занимают весь горизонт. Их негромкое, протяжное, напоминающее гусиный «вокал», гоготание оглашает окрестность. До сих пор мне эта картина кажется скорее фантастической и украденной из грез, чем подлинной.

Каким у меня остался в памяти сам Менгисту — человек, который в течение 15 лет возглавлял второе по величине государство Тропической Африки? Волевой, но негибкий и даже непреклонный, не без склонности к фанатизму. Умный, но еще больше хитрый. По утверждению знатоков, подобно многим эфиопам, скрытный и не чуждый коварства заговорщик, унаследовавший приверженность к имперской репрессивной традиции, уверовавший в созидательный потенциал насилия. Воинствующий националист, убежденный, что его миссия — сделать Эфиопию могущественным государством, обеспечить ей «ответственную судьбу» особую роль в Африке. Политик, не только провозгласивший, но и воспринявший некоторые марксистско-ленинские положения. Наконец, властный и властолюбивый лидер, который на манер негуса (императора) требовал к себе подобострастия.

Я знал или наблюдал многих лидеров освободившихся стран «первой волны» — тех, кто возглавил движение за независимость. Конечно, это разные люди. Получивший французскую выучку, заседавший в парламенте Франции, элегантный, если не лощеный, Секу Туре. Побывавший в колониальной тюрьме, но не избежавший влияния вестминстерского красноречия и склонный к теоретизированиям (его перу принадлежит книга «Неоколониализм как последняя стадия империализма»), способный неделями в уединении погружаться в медитацию Кваме Нкруме. Порывистый трибун, собиравший на свои выступления сотни тысяч алжирцев, Бен Белла. Неожиданный, не-

предсказуемый и своенравный Муаммар Каддафи. Бесстрашный и сдержанный Модибо Кейта. Пророк арабского единства, мастер завораживающих речей, полковник, выросший в выдающегося политического деятеля, Гамаль Абдель Насер. Поэт и интеллектуал Агостиньо Нето. Мужественный человек, книжник, политик «ненормальной» и, наверное, «недопустимой» честности южноамериканец Абдель Фаттах Исмаил.

Но им присущи и общие, объединяющие всех их черты. Все они — «дети» колониальной эпохи, движений за независимость, все они сформировались в горниле освободительной борьбы. Горечь и боль за поработанную и униженную иностранцами Родину, страстное стремление вырваться из оков и какая-то взвинченная реакция на недавнее унижение, вера в способность своей страны выполнить особую миссию в «концерте» наций — вот что сформировало их политический облик. Отсюда стойкое недоверие, а порой даже враждебность к Западу (но отнюдь не ксенофобия, как это порой принято изображать). Отсюда же обостренное национальное чувство, глубокий, «интенсивный» национализм, как правило свободный от идей национальной исключительности.

Они — «дети» периода отступления Запада по всему фронту колониальной и полуколониальной периферии, триумфального и дружного выхода десятков государств в международную жизнь. Отсюда политический романтизм, вера в то, что освобождение мгновенно положит конец национальному неравенству и эксплуатации, станет отправным пунктом быстрого возрождения их стран, которые будут играть фундаментальную роль в мировом сообществе. Последняя иллюзия поддерживалась азартной конкуренцией двух лагерей в «третьем мире».

Они — «дети» эпохи, казалось, непреодолимого наступления социализма, советских космических полетов, которые воспринимались многими как свидетельство его политического, социального и технического превосходства. Помню, как громом аплодисментов египетская военная верхушка, добрая сотня генералов и адмиралов во главе с министром обороны Садеком, встретила заявление выступавшего перед ними в Каире Пономарева: «Мы можем здесь вам сказать, что обогнали Америку в космосе». Убежденность в неразрывной связи капитализма и колониализма уже прокладывала русло для антикапиталистического настроя и восприятия идей социальной справедливости. Но главным источником социалистических пристрастий служил, как правило, опыт Советского Союза. В нем видели силу, сделавшую возможным избавление от порабощения, а это создавало благоприятную общественно-психологическую и эмоциональную почву для наших идеологических схем. Определенную роль играла также близость к левой европейской интеллигенции, очарованной идеей социализма.

Социализм привлекал не только, даже не столько своей доктринальной стороной: в нем видели доказавший свою эффективность в Советском Союзе инструмент общественных преобразований, форсированного создания материального, военного и интеллектуального потенциала. Социалистические идеи и лозунги лидеры освободившихся стран брали на вооружение, надеясь добиться быстрого наращивания национальной мощи и укрепления самостоятельности своих государств. И представлять этих лидеров людьми, которые изначально манипулировали националистическими и социалистическими лозунгами, значит исказить истину, поддаваться соблазнам ниспровергательской моды.

О подлинных пределах нашего концептуального влияния говорит и тот факт, что эти лидеры, как правило, говорили о «национальном социализме». И соль тут отнюдь не в политическом лукавстве, а в фундаментальной роли националистических идей и неприятии базовых принципов марксистского социализма: классовой борьбы, диктатуры пролетариата и т.д. Менгисту мне рассказывал о письме Каддафи президенту Южного Йемена Али Насеру Мухаммеду. «Марксизм-ленинизм, — писал тот, — это немецкая идеология, а арабам надо опираться на свое. Возвращайся назад к нам, арабам».

Наконец, все, о ком я веду речь, были яркими харизматическими фигурами, отличались «сильной рукой», напоминали, скорее, вождей. И дело тут не столько в их личных качествах, в их властолюбии, сколько в не пошатнувшейся еще общественной — племенной, родовой, феодальной и т.п. — традиции, когда не просто приемлют, но и лелеют образ вождя. Да и собственное их прошлое (грубое насилие — норма колониального бытия), пройденная политическая школа (борьба, часто вооруженная, за освобождение) не были лицеем благородных манер, не воспитывали демократических привычек. В большинстве своем эти лидеры были скорее революционерами, чем реформаторами парламентского толка.

Среди них практически не было личностей заурядных, серых, не способных «глаголом жечь сердца людей», лишенных умения завораживать толпу. А вот на смену им, как правило, приходили люди обыденные, даже серые, скучные, уже близкие, так сказать, по фактуре к чиновничье-аппаратной «выпечке».

Разумеется, и лидерами «первой волны» двигали личные амбиции, эгоистические расчеты, но ведь политиков, лишенных амбиций, вряд ли вообще можно себе представить. Это был бы мотор без горючего.

Почти все деятели, о которых идет речь, кончили не лучшим образом. Кваме Нкрума, Секу Туре, Модибо Кейта и Бен Белла были свергнуты, а Абдель Фаттах Исмаил убит в междоусобной схватке. Кто знает, как сложилась бы политическая судьба Насера, не срази его в 1970 году сердечный недуг, то же можно сказать и о Нето. Не просто предвидеть и финал политического пути Каддафи.

Однако все они сыграли свою роль — роль лидеров антиколониальных движений, поднявших знамя борьбы за освобождение, приведших свои страны к независимости. В этом их непреходящая заслуга, и именно это прежде всего определяет их место в истории своих стран и мировой общественной панораме. Одни смогли достичь цели мирным путем, другим пришлось братья за оружие против колонизаторов, третьим — свергнуть режимы, зависимые от зарубежных сил. Но во всех случаях они добились своего только потому, что обладали революционной решимостью к революционным действиям. Ведь знаменитая фраза Черчилля о том, что отнюдь не для того он стал премьер-министром, чтобы председательствовать при распаде Британской империи, выражала общее настроение во всех столицах метрополий, не желавших сдавать свои позиции без борьбы.

В некотором смысле речь идет о фигурах трагических. По-разному складывались их личные судьбы, но была в них и какая-то общая закономерность. Это были лидеры переходной поры — от колониального порабощения к независимому существованию. Они как бы живут инерцией настроений. Их чувства, представления и «героические» иллюзии, весь их образ мыслей — все это было сформировано годами национально-освободительной борьбы. В большинстве своем они оказались не в состоянии приспособиться к ее результатам, как бы застыли на откатившей волне и, судорожно сжимая первую скрипку, упорствовали в своем нежелании понять это, фактически обращая свое упорство против самой истории. И она отомстила им. Время обошлось с ними жестоко: расчеты на серьезные уступки «ослабленного» Запада и масштабную помощь «наступающего» социализма оказались неверными...

Ну а что касается Менгисту, то его тоже, пожалуй, можно отнести к этой категории. Он тоже шел к власти с определенной программой, которую, видимо, искренне и в чем-то небезосновательно считал полезной и необходимой для своей страны. Но его националистический фанатизм и жестокость, необузданный инстинкт властителя дорого стоили Эфиопии. Когда он взошел «на трон», мало-помалу стала совершаться психологическая аберрация, характерная для многих диктаторов и диктатур. В обстановке неограниченной власти, которая, как известно, развращает столь же неограниченно, в атмосфере беспредельного восхваления лидер очень часто начинает считать себя непогрешимым, приходит к убеждению: то, что полезно и хорошо для него, хорошо и полезно для его страны, более того, только это хорошо и полезно для нее. Известное изречение Людовика XIV: «Государство — это я» — лишь крайнее выражение этой довольно стойкой аберрации. А по мере того, как она набирает силу, гаснет прогрессивный, положительный импульс деятельности «вождя» и, напротив, наращивается утопический, негативный, а то и омерзительный груз.

Завершая африканскую тему, приходится, к сожалению, констатировать, что сегодня Черный континент оказался в драматическом положении. «Выпрыгнув» на просторы независимости, он страдает от экономической стагнации, массового голода, экологических бедствий. Запад оберегает свои экономические связи и преимущества, приобретенные в колониальную эпоху, и Африка остается одним из сырьевых источников его экономического благополучия.

Что до России, то у нее не видно связной африканской политики. Конечно, ее возможности невелики и несравнимы с теми, что имел Советский Союз. Но зато она свободна от «сверхдержавного» груза и лихорадки, а африканским странам нечего опасаться ни ее «коммунистического проникновения», ни — преимущество слабости — ее гегемонистских притязаний. Опираясь на позитивную часть советского наследия, Россия могла бы развивать взаимовыгодные экономические связи со странами Черного континента, сотрудничать с ними в области образования, в том числе и в рамках ООН. Это был бы неплохой задел на будущее.

3. КОНСУЛЬТАНТСКИЕ ГОДЫ

Осенью 1963 года меня перевели в консультанты. Консультантская группа занимала видное и специфическое место в отделе. О ней я вспоминаю с особым чувством не только потому, что провел там добрую половину своей службы в ЦК. То были годы напряженной работы в необычном, высокопрофессиональном коллективе, открытом для дискуссии и критического анализа всего и вся.

Группа была создана в 1963 году. До этого в штатах отдела имелись один-два так называемых ответственных консультанта. Среди них были люди с именем и положением, как, например, известный ученый-международник, член-корреспондент АН В. Хвостов (тогда это звание было довольно редким). Рассказывали, что некогда консультантом был и О. Куусинен, будущий член Президиума и секретарь ЦК.

Когда же на капитанский мостик пришел Брежнев, он как-то заявил: «Что это у нас выделены какие-то ответственные консультанты? А остальные работники? Они что — безответственные?» И на этом ответственные консультанты свое существование закончили.

Заново созданной группе был придан особый статус, в частности, ее руководителя приравнивали, как тогда забавно выражались, по «матобеспечению» к заместителю заведующего отделом. Пономарев ставил себе в заслугу создание первой в ЦК консультантской группы, вслед за которой они были сформированы в ряде других отделов. Появление в отделе в начале 60-х годов группы консультантов было неслучайным.

Во-первых, после XX съезда, в конце 50 — начале 60-х годов, резко расширились диапазон и интенсивность внешнеполитических связей Советского Союза по всем направлениям. А это требовало гораздо большего притока материалов: записок, памяток, справок, текстов речей и докладов и т.д. Многочисленные советские инициативы нуждались в политическом и идеологическом обрамлении.

Во-вторых, произошел своего рода качественный скачок в поле зрения КПСС, а тем самым и Международного отдела поначалу новые сферы. Теперь речь шла не только о коммунистах, но и о

других политических силах и движениях. Даже состав визитеров в отдел и гостей серьезно изменился.

В-третьих, более многогранные внешняя политика и международные связи, так же как рост влияния средств массовой информации, порождали возросшую потребность в обосновании наших действий, адресованном не только партнерам, но и своей стране.

В-четвертых, эти новые запросы сталкивались с определенным свойством начальства, по крайней мере его части: может быть, это и прозвучит чересчур резко, но я бы рискнул сказать даже о его марксистской малограмотности. Марксизм-ленинизм, о котором столь элегически рассуждали наши руководители, они в своем большинстве в общем-то знали весьма поверхностно.

Наконец, сказалась индивидуальность Пономарева, который любил быть и автором, и докладчиком, так что работы консультантской группе хватало. А Отдел социалистических стран, где также появилась консультантская группа, возглавлял Андропов, чей интеллектуализм, назовем это так, был известен и кто, думаю, острее Пономарева ощущал необходимость новых подходов в международной сфере.

Консультантскую группу зачастую называли «мозговым центром» отдела. В значительной мере это было преувеличением, особенно на первых порах, когда в нас видели не столько специалистов, осуществляющих экспертизу решений, сколько пишущую братию, которая призвана обслуживать руководство. Впоследствии, однако, группа стала действительно оказывать влияние на подход к идеологическим и внешнеполитическим вопросам, больше, конечно, к первым.

Как и у отдела в целом, функции консультантской группы можно было бы разделить на две части. Одна носила как бы идеологически-пропагандистский характер. Необходимо было обеспечить руководство аргументами, оправдывающими ту политику, которая определялась и проводилась без нас. Именно в этой сфере возникали творения, которыми менее всего можно гордиться, если не сказать большего. Скажем, после вторжения в Чехословакию мы призваны были оправдывать содеянное и стараться умерить реакцию негодования, в том числе и среди компартий. Другой пример — работа в период съездов и конференций, когда приходилось готовить «информашки», выпячивая славословия зарубежных гостей и т.д.

Правда, к таким поручениям мы относились формально и не старались сделать больше обязательного минимума. Это, скорее ироническое, настроение, как и царивший в группе дух непринужденного, товарищеского зубоскальства, в какой-то мере передают стихи, написанные одним из нас — А. Козловым, очень способным и жизнерадостным человеком, к сожалению, рано ушедшим из жизни.

Где фараоны?
Канули в Лету.
Где императоры?
Были да нету.
Прах королей
разметало по свету.
Кара постигла
и Антуанетту.
Кайзеров, цезарей
головы срезаны.
Сгнили эмиры
и триумвиры.
Мат шахиншахам
поставлен Аллахом.
Ханы, султаны, цари, богдыханы —
все бездыханны.
Пали короны,
рухнули троны —
Это итог
объективных законов,
Воли рабочих
масс миллионов!
Есть в президенты
еще претенденты?¹
Пусть они помнят
эти моменты!

А вот его же стихотворение, которое иллюстрирует отношение к предпринятым при Черненко попыткам подновить догматический мировоззренческий фасад, к людям, с этим ассоциировавшимся.

Печеневу²

Он вместе с другом косолапым
Кроил народы и этапы,
Но уберечь от эскулапов
Не смог патрона своего.
Он стер коленки при Черненко,
Снимал со всех варений пенки,
Но вдруг большие перемены...
Прохожий, всхлипни за него.

¹ Предстояли выборы президента в США (1983 г.).

² В. Печенев — помощник К. Черненко по идеологическим вопросам (и до недавнего времени начальник одного из управлений в администрации президента РФ), Р. Косолапов — редактор журнала «Коммунист».

Другая функция консультантской группы — составление записок по принципиальным политическим вопросам с обоснованием тех или иных позиций и предложений.

Деятельность консультантской группы до и после 1985 года — это два качественно разных периода. Функция политическая, содержательная, более творческая и привлекательная, стала играть большую роль на втором этапе. Мы пытались подсказывать руководству какие-то новые направления и сюжеты в политике, аргументы в пользу нетрадиционных подходов в международных делах, в отношениях с компартиями и социал-демократией. В этот период даже разработка идеологического аспекта наших позиций приобрела иной характер, вписываясь в прогрессивный контекст того времени и соответствующих задач.

Поручения, которые «сваливались» на наших товарищей, были самыми разнообразными. Они участвовали в разработке Программы КПСС, подготовке записок в ЦК, по которым принимались принципиальные постановления, материалов для переговоров, иногда и мидовского плана, встреч с делегациями в ЦК КПСС, речей руководителей партии — всего не перечислишь. Консультанту могли, например, приказать составить за несколько часов публикуемую часть решения Политбюро о Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений, что более приличествовало делать МИД.

Хотя ни один из консультантов не был гарантирован от получения задания, далекого от его профессиональных интересов, все же существовала определенная специализация. Кто-то в большей мере занимался, скажем, экономическими вопросами, кто-то — комдвижением, кто-то — социал-демократией, а кто-то лучше ориентировался в проблемах разоружения. Консультанты как бы дополняли друг друга, что позволяло охватывать широкий круг проблем, которыми приходилось заниматься группе. Я занимался Востоком, проблемами национально-освободительного движения и в силу этого был наиболее тесно связан с секторами, поначалу с арабским и африканским.

В 70-х годах в консультантскую группу пришли специалисты по международному праву, религиозным проблемам, правам человека. Такое положение было связано с дальнейшим расширением тематики, возникновением в ее деятельности новых аспектов. Взаимодополняемость, так же как взаимопонимание и товарищеская атмосфера, обеспечивала довольно высокую эффективность и политическую отдачу этой структуры. Свою роль, разумеется, играли личности руководителей группы, с которыми нам повезло, а также позиция руководства отдела, ценившего труд консультантов и к ним благоволившего. Все это позволяло работать в довольно комфортной обстановке.

К группе относились в отделе по-разному: вначале более сдержанно, если не сказать недружелюбно: завидовали, поговаривая о «белой кости», «голубой крови». Однако постепенно у большинства

это предубеждение исчезло: в секторах почувствовали реальную помощь консультантов, стали на нее полагаться.

Состав группы, как и самого Международного отдела, был стабильным. Почти за 30 лет (при штате 10–11 консультантов) в ней поработало 20 человек. Это был внутренне спаянный коллектив, в котором царили хорошие рабочие, товарищеские отношения. Практически не возникало каких-либо личных конфликтов, а, напротив, существовала довольно высокая степень взаимной совместимости, «единства в многообразии». Большая мера взаимного доверия и широкое пространство взаимопонимания позволяли обсуждать самые еретические вещи. Наверное, все это объясняется весьма придирчивым отбором людей — прежде всего по их профессиональным качествам и культурному уровню.

Конечно, консультанты отличались друг от друга по своей подготовке, опыту и темпераменту, по своим склонностям и, да простят мне товарищи, своим возможностям. Но можно твердо сказать: все это были умные, способные и любознательные люди, чуткие к новому, во всяком случае не встречающие его в штыки. Люди, которые ценили интеллектуальные усилия, политическую остроту и политическое изящество. Многие из них хорошо владели пером, даже были наделены определенным публицистическим даром. Уровень консультантов, их квалификацию и отношение к делу характеризует и то, что главным образом из них выдвигались заместители заведующего отделом.

Что было привлекательным в нашей работе? Прежде всего доступ к информации, которая давала широкую панораму событий и обеспечивала определенный кругозор. Консультанты, а в более узких рамках и работники отдела в целом фактически имели информационную и связанную с нею интеллектуальную привилегию. Очень ценной была возможность обсуждать эту информацию, актуальные политические и теоретические проблемы в достаточно квалифицированной среде. Огромную пищу для размышлений давали общение с нашими и иностранными политическими деятелями, заграничные поездки.

Бесспорно, присутствовало и очень много рутины, связанной составлением различного рода стандартных текстов дежурных выступлений, юбилейных докладов и статей. Это — нудное и довольно утомительное занятие, хотя и к нему мы старались относиться не бездумно. Увлекаясь, подчас входили в азарт и страстно спорили по поводу тех или иных оценок. Во всяком случае, работали мы с душой. И были горды, возможно, до смешного, если удавалось добиться успеха в политическом перетягивании каната — сослаться документе на XX съезд, ввести какую-то «прогрессивную» формулировку. Впрочем, известные основания рассматривать это как продвижение вперед были, не говоря уже о том, что мы, может быть,

искали в этом и оправдание своим усилиям, и утешение. Думаю, эти «протиснутые» положения тоже сыграли свою роль в раскрепощении общественного сознания. И если бы не этот стимул, никакие привилегии не заставили бы людей трудиться с такой самоотдачей, что называется наотмашь. Сейчас пришла иная генерация (люди, работающие на себя, живущие рыночной нравственностью), не та, что свободно делилась идеями.

Многие консультанты, приглашенные из научной сферы, и не порывали связи с ней. Соприкосновение с наукой было одновременно и внутренней потребностью и служебной необходимостью. Нужно было постоянно насыщаться свежей информацией, давать новую, нестандартную пищу мозгу, чтобы он не засох на аппаратной nive.

Практически все консультанты помимо службы занимались какой-нибудь творческой работой, писали статьи и книги, где пытались в меру своих знаний выразить себя, сказать нечто иное и большее, чем это удавалось в рамках отдельных материалов. Делать это приходилось, конечно, с большим трудом, как выражался один из наших товарищей, «в порах рабочего времени».

В консультантскую пору я тоже не отрывался от научных занятий. Сказывалась сила привычки, приобретенной в Академии общественных наук. Хотелось, кроме того, иметь отдушину. Наверное, присутствовала и доза честолюбия, потребность, на фоне длительной должностной стагнации, в самоутверждении и продвижении в какой-то другой области. Наконец, стимулирующим обстоятельством стали активные связи с научной средой и тот факт, что сюжет изысканий был близок к моим повседневным занятиям — развивающимся странам. Было, однако, серьезное препятствие — время, тем более что я твердо решил не искать каких-либо окольных ходов (например, присуждения степени «по совокупности работ»), а идти нормальным путем — защиты диссертации.

Как уже говорилось, работали мы напряженно, постоянно выходя за рамки официального рабочего дня. К тому же мой регион был полон неожиданностей, богат форс-мажорными ситуациями и доставлял особенно много хлопот. Могли, например, вызвать в 6 часов вечера к Пономареву (так было перед поездкой члена Политбюро А. Шелепина в Каир) и поручить к следующему полудню подготовить тексты трех выступлений, в том числе в Национальном собрании и по Египетскому телевидению. И мы вдвоем со стенографисткой Т. Беликовой трудились всю ночь и утро. Или пригласить вместе с А. Беляковым в секретариат генсека (так было в день начала шестидневной арабо-израильской войны 1967 г.) и обязать к утру подготовить проект доклада Брежнева по этому вопросу на срочно созываемом Пленуме ЦК КПСС.

Конечно, такие рабочие «свечки» бывали не каждую неделю и не каждый месяц, но бывали. А между ними тоже достаточно плотно

заполненные трудовые будни. Но я был относительно молод, и здоровье пока не давало серьезных сбоев. Прибавьте к этому «карабахское» упрямство и целеустремленность — и станет понятным самонадеянный вывод о том, что задача мне вполне по плечу.

На деле все оказалось куда сложнее. Работа над диссертацией заняла более шести лет, ей были отданы отпуска, воскресные дни, свободные вечера, причем приходилось засиживаться за полночь. В результате нарушился сон, я стал злоупотреблять снотворным. И настал момент — очень хорошо его помню, — когда я был почти готов сдать. Я возвращался по набережной Тараса Шевченко от машинистки с очередной диссертационной главой, когда остро, как и в несколько предшествующих дней, закололо сердце. Вынужден был остановиться, и в голове вдруг мелькнуло: «А ведь помру, не добравшись до финиша». К счастью, эта мысль не овладела мной.

В конце июня 1971 года я представил на обсуждение (так называемую предзащиту) в ИМЭМОopus в 1200 страниц (вместо требуемых 450–500), посвященный проблемам национально-освободительных движений. И здесь начинается рассказ, где некоторые факты могут выглядеть как хвастовство, но я не могу да и не хочу обойти их.

Обсуждение, в котором участвовала практически вся наша научная элита в этой области, — В. Тягуненко, Г. Мирский, Г. Скоров, Л. Степанов, Р. Аваков, К. Майданик, В. Рымалов, — хотя и не обошлось без критических замечаний, прошло «на ура». Вот некоторые из оценок: «Любая из обеих частей работы может претендовать на докторскую. У нее огромный разносторонний и всесторонний характер» (Г. Мирский); «Творческая и новаторская разработка вопроса, диалектический подход в самом лучшем смысле, отсутствие черно-белого подхода, анализ во всех противоречиях» (Г. Скоров); «Мы имеем дело с колоссальной работой по материалу, по богатству мысли («берцовая кость мамонта»). Работа написана по вопросам, которые заезжены, мы все интересовались ими, и тем не менее всюду автор находит свой поворот. Это даже раздражает» (Л. Степанов); «Кроме того хорошего, что было сказано, хотел бы добавить еще два обстоятельства: а) вкус к теории, теоретический синтез, которого еще нет в отношении «третьего мира». Очень хорошее впечатление; б) умение увязать проблемы «третьего мира» с общеисторическими проблемами» (К. Майданик). Конечно, здесь не обошлось без обычных в интеллигентской среде преувеличений и красотостей, а кое-что из сказанного, наверное, надо отнести на счет дружеского отношения коллег. Но самое существенное, думаю, отражало их реальную оценку.

Через восемь месяцев состоялась защита. Она прошла достаточно обычным образом, если не считать одной необычной и некрасивой детали: соискатель, то есть я, из-за очередного поручения

Пономарева опоздал на час³. Еще через год присвоили звание профессора.

Диссертация послужила основой для объемистой — в 30 печатных листов — книги, увидевшей свет в 1974 году и переведенной на многие языки. Зарубежные контакты позволяют засвидетельствовать: она нашла своего читателя, притом не только в развивающихся странах. Мои работы привлекли внимание и западных исследователей. Они стали темой диссертации и ряда статей Фрэнсиса Фукуямы — ученого, получившего мировую известность после публикации несколько лет назад книги «Конец истории».

Как в Международном отделе смотрели на научные увлечения работников? Ветер времени не оставлял простора для жестко негативного отношения. Но еще и не угасла исторически унаследованная тенденция полагать, что заниматься наукой, работая в аппарате, — своеобразное хобби бездельников. Многие продолжали считать: если сотрудник занимается наукой, значит, он отлынивает от своих прямых обязанностей, крадет мозговую энергию, которую обязан сдать полностью цеховскому работодателю.

Такие настроения постепенно увядали, но их всплески случались вновь и вновь. Причиной была и зависть, а у некоторых — не очень уважительное отношение к представителям науки. Слово «профессор» произносилось почти всегда с иронией, своего рода отрыжка антиинтеллектуального настроения части аппаратчиков. Но порой повод подавали и сами ученые — либо недостаточным профессионализмом, либо чрезмерной услужливостью.

Пономарев, как работодатель тоже не чуждый этой тенденции, слыл относительно либералом. Он ведь и сам являлся академиком, считал себя по праву причисленным к этому лику «бессмертных», принимал некоторое участие в академических делах.

Консультанты, конечно, опирались на марксистскую почву и идеологически были достаточно заряжены, однако людьми заидеологизированными они не были. Сошлюсь хотя бы на их позицию по вопросу еврокоммунизма. Я уже говорил о том, что его появление вызвало гнев нашего руководства, которому не терпелось «дать отпор» и как-то объяснить этот феномен нашей общественности. Ведь диссидентство «братских партий» было болезненным фактором, особенно чувствительным с точки зрения внутренней политики. Для аппарата было бы естественным пристроиться к эмоциям начальства, более того, еще и подогревать. А консультанты пытались объяснить руководству, чем вызваны особые позиции ряда западных партий, указать на рациональное зерно в их критике, побудить наше начальство умерить свой воинственный пыл, перевести дело в русло взвешенных оценок и переговоров.

³ Через несколько лет эта ситуация повторилась — на этот раз при регистрации брака моей дочери.

У нас, таким образом, уже существовала своя внутренняя позиция — не просто профессиональная, но и идеологическая. Причем она проецировалась уже и вовнутрь, на наши порядки, к которым мы старались подходить с теми же мерками. Сама работа толкала нас к саморазвитию, учила внимательнее прислушиваться к пульсу времени. Именно поэтому мы постепенно стали выполнять полученные служебные поручения со все большей оглядкой на внутреннюю ситуацию в Союзе, старались поддержать в документах то, что представлялось нам прогрессивным, способным благотворно повлиять на жизнь страны. Но это, разумеется, отнюдь не означает, что в отделе сложилась и действовала некая «диссидентская» группа.

Хотел бы вместе с тем подчеркнуть одну особенность: все эти настроения, все эти прогрессивные потуги были густо замешены на патриотизме, на том, что сегодня могли бы назвать — наверное, не совсем точно — «государственничеством». Мы были очень привязаны к идее мощной Родины, державы и т.д. И еще жаждали создания, как выразился один из наших сотрудников, Ян Шмераль, на собраниях в первые перестроечные годы, «партии порядочных людей».

Кстати, именно это, так же как ставка на эволюцию системы, чему мы надеялись содействовать, определяло наше поведение. Оно, к сожалению, не раз сводилось к «бунту на коленях»: тут играли свою роль и то, что мы сами были детьми системы, и «шкурные» соображения (ведь власть обладала не только политической, но и экономической монополией), и, наконец, инстинкт самосохранения. Этот «коктейль» оказывал и на нас самих, и на наших близких, как правило, довольно-таки своеобразное воздействие. Я, скажем, занимал довольно высокое положение в правящей структуре, а в моей семье, у моих детей царил критическое к ней отношение, мною самим воспитывавшееся и поощрявшееся. В августовские дни 1991 года они, полные энтузиазма, ринулись к Белому дому, но развитие событий принесло им разочарование, они сочли себя вновь обманутыми и ищут морального комфорта в аполитичности.

Но я отвлекся — пора возвращаться к консультантской группе. На мой взгляд, в каком-то отношении она являлась уникальной, я бы сказал, близкой к идеалу структурой: я имею в виду сочетание различных аспектов работы и профессиональной подготовки сотрудников. Обладая в своем большинстве научной базой и получив доступ к довольно обширной и разносторонней информации, группа имела возможность сравнивать различные типы стран и общественных процессов, различные формы развития международных событий. Вместе с тем это была структура, сотрудники которой не только зарывались в бумаги (хотя преимущественно занимались этим), но были причастны и к живым контактам с людьми из-за рубежа. Иначе говоря, у них была возможность проверить свои бумажные впечатления, почувствовать «аромат» материала, над которым работали. И это

соскабливало с консультантов налет академичности, склонность к чистым абстракциям, если они были.

Разумеется, я не хочу и не стану преувеличивать. Сама наша система была такой, что она ограничивала, а часто и лишала самостоятельности и индивидуальной позиции людей даже на самых высоких ступенях общественной лестницы. Что уж говорить о нас, консультантах?

Но при всех оговорках есть, думается, основание утверждать, что своей деятельностью консультанты оказывали некоторое позитивное влияние. Оно было умеряющим, когда шла речь о борьбе, так сказать, с «ревизионистами». Оно было стимулирующим, когда шла речь о внимании к новым явлениям за рубежами Советского Союза. И оно было однозначно антисталинистским, когда речь шла о каких-то документах, проходивших через консультантское русло.

Интересен вопрос о том, как сами консультанты эволюционировали в ходе своей работы, как сказывалось на них пребывание в отделе. Конечно, это дело сугубо индивидуальное. Но, наверное, можно выделить то общее, что не обошло большинство или даже всех нас. Думаю, тут правомерно говорить о противоречивом процессе.

С одной стороны, росли наши профессиональные возможности, формировалось качество, очень ценное и крайне необходимое — способность к политическому подходу и мышлению (чего почти нет у нынешней бюрократии), умение быстро вычленять политическую суть проблемы. Расширились также интеллектуальный и информационный горизонты, появлялось более панорамное, более красочное видение мира, а иногда совершался и подлинный поворот в мировоззрении. Крепло критическое отношение к существовавшим в стране порядкам, осознание необходимости их решительного реформирования. Всему этому, кстати, способствовало и то, что мы могли ближе познакомиться с нашими «вождями». Облик многих из них скорее укреплял наши «ревизионистские» настроения. Как известно, даже великое лучше наблюдать на расстоянии. А когда оно к тому же не очень великое, приближение в особенности опасно. Впрочем, с тех пор мне довелось увидеть, наблюдать, встречаться с влиятельными деятелями и главами многих государств, да и нынешние руководители России дают достаточно материала для сравнения — и мои тогдашние оценки кажутся сегодня наивными и слишком радикальными. Попутно замечу, что наши руководители, и прежде всего генеральные секретари, хорошо относились, даже благоволили к работникам Международного отдела. Это касается и Брежнева, и Черненко, и Андропова, и Горбачева, которые были глубоко вовлечены в международные дела. Но их «благоволение» в какой-то степени, наверное, объяснялось и профессиональными достоинствами работников отдела.

С другой стороны, накапливалось и некоторое негативное качество, что, очевидно, неизбежно в современной политике. Мой 40-летний

опыт подтверждает, что пребывание в ней все-таки склоняет к определенному цинизму, к нравственному релятивизму. Россия наших дней дает особенно наглядные тому доказательства. Я, разумеется, не согласен с теми — а их большинство, — кто утверждает, что политика не может не быть отмечена клеймом лжи и двоедушия. Практически это равносильно амнистии или даже благословению политическому воровству. Открытость и демократизм политической системы, независимость и неподкупность средств массовой информации, постоянный недоверчивый контроль над деятельностью политиков и даже, возможно, своеобразная презумпция их гражданской виновности — таков, думается, путь к преодолению этого зла.

Бюрократическая структура и аппаратная атмосфера, тем более в условиях монополии одной партии, не могли не действовать на всех находившихся внутри этой системы — и даже за ее пределами — в нравственном отношении разлагающе. Нам постоянно приходилось ограничивать себя, подвергать цензуре. Мы знали: писать должны то, что нужно или требуется, а свое подлинное мнение часто оставлять при себе. Это развивало и укрепляло двоемыслие.

Конечно, мы сопротивлялись процессу «коррозии», каждый в меру своего этического потенциала и силы характера. Вместе с тем некий конформизм, способность сосуществовать с тем, что мы видели и внутренне отвергали, несомненно, не проходили без последствий даже для лучших из нас. Возможно, это несколько противоречит чему-то из сказанного раньше, но это — противоречие реальной жизни.

Консультантские годы были очень важными для моего политического самообразования. Этому способствовала сама работа — доступ к информации, знакомство с порядками в аппарате, общение с политической элитой того времени. Стимулятором были и международные события, развитие обстановки в социалистических странах, эволюция позиции некоторых компартий, например итальянской. Наконец, свою роль сыграли литература, искусство. Публицистика в «Новом мире», солженицынские «Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус» и «Бодался теленок с дубом», некоторые другие вещи, попадавшие в рукописях, отдельные фильмы и театральные постановки действовали не только на чувства, но и побуждали работать мысль.

Или, скажем, такие эпизоды. В конце 60-х годов в связи с ходатайством итальянских коммунистов Суслов поручил Белякову посмотреть фильм А. Аскольдова «Комиссар», уже положенный на полку. Беляков на просмотр пригласил с собой консультанта Б. Пышкова и меня. У дверей кинозала в Комитете по делам кинематографии, в Гнездиновском переулке, нас встретил его председатель А.В. Романов, сразу отрубивший: «Что бы ни говорили, эта картина на публику не выйдет». Фильм произвел на меня не просто хорошее, а сильное впечатление — и сюжетом, и мыслью, и игрой

актеров. Понравилась картина и моим коллегам, и в таком духе было составлено заключение, которое, однако, ничего не изменило: Романов оказался прав. Но эта история имела продолжение. В 1989, кажется, году ко мне пришел Аскольдов и попросил помощи: фильм и его самого не выпускают в Израиль. Я «своей властью» ситуацию поправил, но последовавшая реакция была неодинаковой с разных сторон. Мне позвонил С. Смирнов и горячо благодарил от имени Союза кинематографистов. Зато пришлось писать объяснительную записку Е. Лигачеву в связи с пространством протестом, поступившим от наших представителей МИД в Тель-Авиве.

Большое впечатление на нас произвела Памятная записка Пальмиро Тольятти, составленная им в Ялте в августе 1964 года и законченная за несколько часов до фатального инсульта. В ней подчеркивалось, что «неправильно говорить о социалистических странах (и даже о Советском Союзе) так, как будто бы там все всегда обстоит хорошо... В действительности же во всех социалистических странах возникают трудности, противоречия, новые проблемы, к которым нужно подходить в соответствии с их реальным значением. ...Речь идет не только об отдельных фактах. Речь идет о всей проблематике социалистического строительства — экономического и политического... Вообще говоря, считают, что до сих пор не разрешена проблема происхождения культа личности Сталина, не разъяснено, как он вообще стал возможен. Объяснение всего только значительными личными пороками Сталина находят недостаточным...»

Казалось, Тольятти отражал наши собственные затаенные мысли, когда говорил о демократии: «Проблемой, привлекающей наибольшее внимание, — это относится и к Советскому Союзу, и к другим социалистическим странам — является, однако, проблема преодоления режима ограничения и подавления демократических и личных свобод, который был введен Сталиным... Создается общее впечатление медлительности и противодействия в деле возвращения к ленинским нормам, которые обеспечивали как внутри партии, так и вне ее большую свободу высказываний и дискуссии по вопросам культуры, искусства, а также политики. Нам трудно объяснить себе эту медлительность и это противодействие... Мы всегда исходим из мысли, что социализм — это такой строй, где существует самая широкая свобода для рабочих, которые участвуют на деле, организованным путем, в руководстве всей общественной жизнью». Тольятти отмечал «проявление центробежной тенденции среди социалистических стран... В этой тенденции несомненно есть элемент возрождающегося национализма».

Все это расширяло кругозор, позволяло вставлять то, что сформировалось и совершалось в СССР, в более широкий исторический и международный контекст, как бы приподнимало над землей, позволяя лучше видеть и практически оценивать происходящее.

Об экономическом реформировании мы помышляли куда меньше, хотя дискуссии по этому вопросу, имевшие предысторию⁴, шли. Да и казалось, что экономика развивается достаточно быстрыми темпами. Не было, конечно, и мыслей об изменении строя, о покушении на его основы. Речь шла лишь об определенной демократизации жизни партии и общества, переводе в русло строгой законности.

Главная надежда в этом отношении была связана, естественно, с фигурой Хрущева. Несмотря на все его зигзаги, на воспроизводство некоторых «культистских» черт, мы считали, что его реформистский пыл не угас. Действительно, у него были разнообразные и далеко идущие планы. Так, незадолго до своего смещения он говорил Генеральному секретарю Компартии Чехословакии А. Новотному о том, что, подняв уровень жизни в Советском Союзе, имеет в виду открыть его границы: зачем насильно держать людей, которые хотят уехать.

И все же устранение Хрущева я правильно оценить не смог. Помешали его беспорядочные метания в последний год, раздувавшиеся сверх меры (и не вполне понятые мной тогда) распри с китайцами, отсутствие правдивой информации, из-за чего принимались за чистую монету уверения организаторов переворота — нового руководства партии.

Скоро, однако, иллюзии начали рассеиваться и становилось ясным, что флагом «стабильности» прикрывают не только топтание на месте, но и попятные шаги. Одним из главных идеологических симптомов этого «охранительного отступления» стало отношение к имени Сталина. Не смевшие действовать в открытую перед лицом электризованного общественного мнения — мне кажется, тогда оно было более непримиримым к Сталину, чем сейчас, — сталинисты в руководстве и аппарате старались, так сказать, тихой сапой протащить в тексты и его формулы, а затем и его имя. И это было предметом политических схваток.

⁴ Акопов, посол в Кувейте и Ливии, мне рассказывал, что в январе 1958 г. Госплан (где он работал), Мицфин и еще три ведомства — после соответствующего зондажа или даже по инициативе Сталина — направили ему записку. В ней говорилось, что период восстановления народного хозяйства подошел к концу и жесткое централизованное регулирование государством начинает тормозить развитие производительных сил. Необходимо: сократить номенклатуру продукции, включаемую в план, который утверждается правительством и Верховным Советом; сократить номенклатуру продукции, распределяемой государством (по плану снабжения), цены на которую устанавливаются им (дать возможность действовать закону стоимости в «преобразованном виде», а рынку — играть определенную роль); предоставить большую свободу экономической деятельности министерствам, ведомствам, предприятиям, а также республикам. Сталин прореагировал неожиданно. Его резолюция гласила: «Я — за. Но не время».

Все окончательно прояснила чехословацкая эпопея 1968 года. Мы восприняли ее — так оно и было по существу — как сигнал отказа нашего руководства от всяких реформ, и не только у себя⁵. Иногда Чехословакию ставят в один ряд с Афганистаном, доказывая «агрессивность» Советского Союза. Но это совсем разные вещи. В Чехословакии главной причиной вмешательства были, на мой взгляд, внутренние причины — боязнь «заразы». Внешнеполитические факторы, очевидно, играли отнюдь не первостепенную роль. В Афганистане же — наоборот. И вряд ли случайно, что Чаушеску, несмотря на все свои вольности и даже прямые действия против советских интересов, военной интервенции не удостоился.

В то же время Чехословакия послужила, думается, своего рода репетицией дальнейших событий. Кажущееся достижение цели, вялая реакция Запада, фактически принявшего философию «дорожного происшествия» (так назвал чехословацкие события де Голль), подкрепили в Москве веру во всемогущество военных методов и безнаказанность. В этом смысле дорога в Анголу и Эфиопию, в Кабул вела и через Прагу.

Должен сказать, что «пражская весна» не стала для меня полной неожиданностью. Еще летом 1966 года, когда я был в Праге в командировке, И. Славик, в дни «весны» секретарь ЦК КПЧ, а тогда член редколлегии журнала «Проблемы мира и социализма», откровенно говорил мне, что часть руководства испытывает тревогу в связи с растущим разочарованием населения, особенно молодежи. Он приводил в пример и собственного сына, который, как и его друзья, уже не чувствителен к ссылкам на победу над фашизмом и освободительную роль Советского Союза («они тогда были или младенцами, или даже еще не родились»), но задает такие вопросы: «Почему до войны Чехословакия являлась передовой и зажиточной страной, и австрийцам было до нас не дотянуться, а сейчас мы видим лишь спину Австрии?», «Почему там молодежь ездит куда хочет, а мы не можем?» и т.д. «Надо что-то делать», — заключил разговор Славик.

Я уже рассказывал, какой живой и заинтересованный отклик вызвала у нас «пражская весна». Казалось, было найдено определение тому, о чем думали и мы: «социализм с человеческим лицом». Осознавая, что у нас совершился консервативный поворот, мы рассчитывали, что оттуда, из Праги, придет толчок, который даст начало эволюции, столь необходимой и для нашей страны, и для движения, которым мы занимались, а в конце концов и для мира в целом. Хотя, может быть, мы так определенно и не мыслили тогда.

⁵ Горбачев рассказывал сирийскому президенту Асаду в апреле 1987 г., что Брежнев, когда еще чувствовал себя нормально, говорил о реформах, но после чехословацкой акции все подобные мысли оставил.

Напомню, что первоначально события в Чехословакии даже с официальной точки зрения не воспринимались как какое-то основание для особой тревоги. Посетивший Прагу Брежнев не стал защищать Новотного, против которого восстал партийный актив. Предполагалось, что это будет, как у нас тогда говорилось, «здоровый процесс».

Несмотря на абсолютно враждебное отношение нашего руководства к дальнейшему развитию событий, я не думал, что акция такого рода возможна. Ввод войск оказался для меня трагическим сюрпризом не только потому, что мысль об этом казалась дикой, — нет, сама акция по своему существу была дикой: мало того, что интервенция, но интервенция в социалистическую страну-союзник, да еще с тем, чтобы прервать демократический процесс!

Когда же началось вторжение, я — а как выяснилось потом, и другие консультанты — долгие часы, не отрываясь от приемника, слушал репортажи Би-би-си из Праги и отнюдь не желал успеха тем, кто «пришел на помощь чехословацкому народу». А точнее, желал в этот раз поражения «своему» руководству.

Кстати, такая возможность существовала. Чехи, как известно, в свойственной им особой манере оказали массовое и эффективное сопротивление. К. Мазуров и А. Яковлев, так же как и «силовики», посылали из Праги тревожные телеграммы. И, по моему впечатлению, был момент, когда все висело на волоске. Блеснула надежда на пражское фиаско, что, несомненно, явилось бы чувствительным, если не сокрушительным, ударом по нашему руководству. Помню, как на третий или четвертый день после вторжения в межведомственную группу, которая суммировала поступающую из Праги информацию, пришел генерал, представлявший Главное разведывательное управление (ГРУ). Он рассказал, что военные готовят предложение о выводе войск из Праги: чехословацкие офицеры из Министерства обороны стали разъезжаться по воинским частям, а, если начнется вооруженное сопротивление, наши танки, зажатые в узких улицах, станут легкой добычей. Их можно вывести из строя, как он выразился, даже бросая сверху горшки.

О предстоящем вводе войск я узнал накануне. Горечь и разочарование были велики: мы поняли, что это конец мечтаниям и Чехословакия действительно послужит стимулом, но лишь для понятного движения. Мы с Черняевым пошли к нему домой и почти всю ночь, прикладываясь к бутылке, вели какой-то лихорадочный разговор, взвешивая мрачные перспективы. Утром же, как обычно, отправились на работу. В это время советские войска были уже на пути в чехословацкую столицу, и на командном пункте, управлявшем их движением, находился министр обороны ЧССР генерал М. Дзур. А в самой Праге люди из местной «беспечности» начали облаву на «ревизионистов».

Но с этого момента для меня, для нас началась эра особого политического двоемыслия и двоедушия: уже ничто или почти ничто в официальной идеологии и поведении этого руководства (исключая, пожалуй, некоторые внешнеполитические акции) не могло вызвать искреннего согласия. И — поскольку речь идет о нем — надо оставить «бессмысленные мечтания».

Завершая рассказ о консультантской группе, хотел бы сказать хотя бы несколько слов о тех, с кем соприкоснулся особенно тесно и сотрудничал особенно долго. Я испытываю тем большую потребность отдать им должное, что знаю на собственном опыте, как часто мы бываем невнимательны к своим товарищам и близким. Кроме того, это, может быть, поможет читателю сформировать более правильное представление об аппарате и аппаратчиках. Ведь нечистоплотными, злобствующими перьями сделано немало, чтобы изобразить их в карикатурном виде, исключительно собранием туповатых, карьерных держиморд.

Итак, Александр Вебер — личность сдержанная и осторожная, но отзывчивая, раскрывающаяся и контактирующая не без труда, с глубоким, склонным к теории умом, со вкусом к незлой иронии, оттачиваемой на коллегах. Книжник, умеющий, однако, мыслить политически и реалистически, въедливо работающий над текстом. Человек устойчивых взглядов, убежденный, но не слепой сторонник социал-демократической тенденции еще с тех времен, когда это было табу.

Андрей Ермонский — обладатель «многопрофильного», политического и художественного, интеллекта, соединивший честную, напряженную работу в Международном отделе, корпение над разнообразными бумагами с серьезными литературоведческими исследованиями. Человек с идеями и ярким пером, с чувством юмора и готовностью к компанейскому общению, колоритный и порывистый.

Юрий Жилин — одаренный и политически проницательный человек, с глубокими познаниями в теории, тонкий стилист, мастер точных формулировок. Не без слабостей боививана, разумеется, в весьма скромном, советском варианте, что, однако, помешало ему сочинить диссертации и книги. Был неизменно благожелателен, хотя и несколько пассивно, к своим коллегам, пользовался у них («индивидуальностей») авторитетом и уважением.

Игорь Соколов — высококлассный профессионал с творческим складом ума, с большим опытом научной и редакционной работы, с тонким чувством текста. Добродушно-контактный, готовый сотрудничать с коллегами, отзывчивый и совершенно свободный от самоуверенности, несмотря на несомненные неординарные способности.

Анатолий Черняев — мой друг на протяжении десятилетий, по которому я иной раз поверял собственные поступки. Личность одаренная и тонкая. Высокообразованный, интеллектуально и полити-

чески увлекающийся, эмоциональный, хотя и скрытно. Но, несмотря на этот богатый букет, без которого вряд ли была бы возможна наша дружба, особенно важно, что это человек, не способный к предательству и двоедушию, обладатель мужского характера.

И наконец, общее для них всех: это порядочные, достойные доверия люди, принципиальные и готовые отстаивать свое мнение, никак не склонные к конъюнктурщине и подобострастию, демократически настроенные, честно работавшие и глубоко преданные своей стране.

Тринадцать лет, проведенных в консультантской группе, вместили в себя, естественно, многое. Некоторые эпизоды той жизни мне представляются и сейчас небезынтесными.

Одним из первых заданий в консультантском качестве была подготовка тезисов по национально-освободительному движению и развивающимся странам. Работа была довольно масштабной по замыслу и весьма интересной. Имелось в виду, обобщая опыт послесталинской внешней политики в этом районе и накопленные о нем знания, взглянуть по-новому на положение в Азии и Африке и, как нам казалось, реалистически оценить перспективы их развития. Разумеется, это предстояло сделать, не покушаясь на основные идеологические каноны.

В группе, которая готовила тезисы, только я был чиновником. Все остальные являлись сотрудниками различных академических институтов: Р. Аваков, Г. Мирский, В. Колонгай, В. Рымалов, В. Тягуненко (из ИМЭМО), В. Павлов, А. Чудаков (из Института востоковедения) — знающие, способные специалисты, светлые головы. Трудились мы интенсивно, нередко засиживаясь до глубокой ночи.

Наше рвение лишь отчасти объяснялось почтительным отношением к поручению ЦК. Напомню, то была осень 1963 года. Хотя «эра Хрущева» двигалась к закату (чего мы, естественно, не сознавали) и внутренние проблемы нарастали, во внешней политике дело обстояло иначе. Особенно это касалось зоны развивающихся стран, где все еще продолжалось «триумфальное шествие» советской политики, начатое установлением отношений с Насером и ярким визитом Хрущева в Индию. «Открытие» Востока Хрущевым впервые сделало нашу политику мировой, глобальной.

Еще не увяла эйфория по поводу возникновения огромной цепи молодых государств, во многом обязанных этим Советскому Союзу. Думалось, что прочные связи с ними обеспечивают СССР все большее влияние на мировой арене, а этим государствам — путь самоутверждения и развития. Большая часть этих проблем оставалась политической и научной целиной, и здесь было где развернуться.

Разумеется, многое из того, что мы написали тогда, не оправдалось, оказалось неточным, а чаще ошибочным. Но некоторые важные положения — о необратимости независимости молодых государств, о

неизбежном повышении их значения на мировой сцене, о стойкости цивилизационных отличий этой зоны и вероятности ее своеобразного развития, наконец, о весомости связей с развивающимися странами — не потеряли смысла и по сию пору.

Тезисы легли в основу подготовленного для Хрущева интервью, которое он дал в ноябре 1963 года группе редакторов газет из развивающихся стран. Его содержание не представляет сейчас особого интереса, если только не считать сделанных им нескольких политических заявлений, которые отражают дух времени и акценты хрущевской политики. Я имею в виду, например, такие:

— Любая страна имеет возможность, опираясь на поддержку стран социализма и международного рабочего движения и всех свободолюбивых народов, успешно противостоять натиску империалистов, укреплять свою независимость, самостоятельно определять свою судьбу.

— Каждый народ, сражавшийся против колонизаторов, ощущал твердую поддержку Советского Союза и других социалистических государств. (Читай: СССР сыграл в этой борьбе решающую роль.)

— Все это дает мне основание с уверенностью заявить, что отношения между народами социалистических стран и народами, поднявшимися к самостоятельной жизни, имеют большое будущее. Со своей стороны мы сделаем все необходимое, чтобы эти отношения успешно развивались, становились все более тесными, разносторонними. В лице народов Советского Союза освободившиеся народы всегда будут иметь верных друзей и братьев. (Читай: СССР взял курс на союз с бывшими колониальными странами в противостоянии с США и их партнерами.)

Как видно, все эти фразы имеют характер определенного политического обязательства, основывающегося на весьма оптимистическом прогнозе перспектив отношений между СССР и молодыми государствами.

В том же духе были составлены замечания Хрущева на проект интервью, который поступил 16 октября 1963 г.: «Надо сказать так: но оставшиеся в колониальном рабстве народы могут завоевать свободу только упорной борьбой, потому что всякие декларации Объединенных Наций, которые были приняты, — это, так сказать, моральная поддержка, но она на колонизаторов, на расистов не действует. Поэтому освобождение народов, находящихся в колониальном рабстве, — это дело их собственных рук, а все народы, которые добились свободы, должны оказать помощь в этой борьбе всеми средствами с тем, чтобы разгромить колонизаторов и освободить все народы от колониального рабства... Завоевывать эту независимость можно лишь путем борьбы всех видов и всеми средствами, а страны социализма и народы, которые уже завоевали освобождение, должны оказать помощь не только моральную, но и материаль-

ную и всеми другими средствами для борьбы за независимость. Может быть, даже сказать: "И в том числе оружием".

Несомненный интерес представляют замечания, полученные от Никиты Сергеевича на проект того же интервью месяц спустя 22 ноября 1963 г.: «Здесь дается такой ответ, который выгоден врагам коммунизма, реакционным силам, которые против мирного сосуществования. Здесь формулируется по существу неправильно.

Нельзя смешивать. Мирное сосуществование — это имеется в виду сосуществование государств с различным социально-политическим строем, жить без войн, то есть иметь и поддерживать мирные отношения между государствами: дипломатические, торговые, культурные и прочие, которые найдут необходимым те или другие государства развивать между собой.

Вопрос национальной борьбы и классовой борьбы — это уже внутренний вопрос каждого народа в каждом государстве и каждой нации; поэтому это совершенно разное.

При мирном сосуществовании, конечно, будет развиваться классовая борьба, покамест существуют классы, покамест общество состоит из классов, и национально-освободительная борьба будет, той или другой нации, продолжаться до тех пор, покамест эта нация не освободится от своих угнетателей. И это не противоречит мирному сосуществованию, и это не сдерживает классовой борьбы, не сдерживает национально-освободительной борьбы народов...

В проекте сказано: «Мирное сосуществование государств с различным социальным строем — это специфическая форма классовой борьбы на международной арене». Это надо уточнить. Мирное сосуществование — это вопрос отношений между государствами, а классовая борьба народов — внутри каждого государства. А здесь это смешивается.

Можно сказать примерно следующее: «Мы, марксисты-ленинцы, стоим на классовых позициях, и поэтому вопрос мирного сосуществования мы хотим, чтобы правильно понимали, и боремся против тех, кто извращает этот ленинский лозунг мирного сосуществования.

Это имеется в виду сосуществование государств с различным социально-политическим строем, их мирное сосуществование без войн, без вмешательства во внутренние дела и поддержание дипломатических и экономических отношений, которые существуют между всеми государствами.

Конечно, это не значит, что нет борьбы, так сказать, социалистических стран с капиталистическими странами. И при мирном сосуществовании она идет, как говорится, продолжается: идеологическая борьба, экономическая борьба. Экономическая борьба выражается в форме экономического соревнования, что называется на капиталистическом языке конкуренцией. Эта экономическая борьба, так называемая конкуренция, конкурентная борьба, ведется и при-

знается капиталистическим миром, потому что капитализм на этом построен. Поэтому эта борьба ведется и будет продолжаться, покамест существуют различные социально-политические системы в различных государствах.

И другой вопрос — вопрос мирного сосуществования между классами. Это говорят враги марксизма-ленинизма, буржуазные политические деятели, которые хотят прикрывать и отрицать существование классов и классовой борьбы. И такие есть, даже называющие себя социалистами, которые стоят за мирное сосуществование между классами. Мы против такого мирного сосуществования. Мы стоим за классовую борьбу, мы стоим за национально-освободительную борьбу тех наций, которые еще не добились своего освобождения.

Идеологическая борьба при мирном сосуществовании государств с различным социально-политическим строем существует, и тут одно другому не противоречит, потому что социалистические страны базируются на своей философии, базируют свою идеологию на марксистско-ленинской философии, а те — на буржуазной, поэтому это одно другое исключает и здесь примирения не может быть, тут будет борьба до тех пор, покамест существует капитализм».

Нас не должны обманывать неоднократные повторения Хрущевым того, что «мы стоим на классовых позициях», что мирное сосуществование «не сдерживает классовой борьбы, не сдерживает национально-освободительной борьбы народов», что и при мирном сосуществовании идет «борьба социалистических стран с капиталистическими странами». Хотя эти фразы, очевидно, говорятя совершенно искренне и отвечают убеждениям автора, они на практике лишь прикрывают главное: решительный отказ от концепции неизбежности войны между социалистическими и капиталистическими странами, продление на неопределенный срок предусмотренного ленинским подходом ограниченного во времени мирного периода в отношениях этих стран, твердую установку — очевидно, навешенную и кубинским кризисом — на переход от враждебного, чреватого военным столкновением противостояния с государствами капитализма к отношениям возможно более широкого сотрудничества в рамках мирного сосуществования. Характерно и то, что в официальной идеологии термин «мировая революция» уже вытеснился понятием «мировой революционный процесс». Довольно расплывчатое само по себе, оно включало самые различные явления: деколонизацию, социальные реформы, экономическую борьбу профсоюзов и т.п. Но это позволяло как-то увязывать практические цели советской внешней политики с официальными идеологическими постулатами, придавать ей более прагматичный вид, затупливать ее «революционное» острие.

Превращение мирного сосуществования в генеральную линию внешней политики Советского Союза, как и развитие отношений с «третьим миром», стремление поднять его международный вес (что

практически означало, по крайней мере, на политическом уровне, появление еще одного, третьего полюса в международной жизни) — наиболее крупные внешнеполитические новации Хрущева. Разумается, в его мировоззрении были и явные противоречия: он рассматривал мирное сосуществование как особую форму борьбы между социализмом и капитализмом, в которой победа останется за социализмом. Но главным тут и тогда было не это, а реальная политика в данный момент, ее практический эффект.

К вопросу о мирном сосуществовании, который был стержневым и для него, и для нашей внешней политики, Хрущев возвращался и в замечаниях к проекту информационного письма ЦК «Об итогах встречи представителей КПСС и КПК». Встреча, где советскую сторону представляли Сулов, Пономарев, Гришин, Ильичев, а китайскую — Дэн Сяопин, Пэн Чжэнь и глава китайской службы безопасности Кан Шэн, состоялась в Москве в июле 1963 года. Она свелась к шумной перепалке и обличительным монологам. Весь разговор вертелся вокруг выяснения одного вопроса: кто отступает от марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма. Уровень и тональность «диалога» показывают получившие широкую известность высказывания Пэн Чжэна и Дэн Сяопина. Первый произнес знаменитую тираду: «По-вашему выходит, что Сталин — говно... Неужели под руководством какого-то говна вы построили социализм? Неужели под руководством какого-то говна вы победили фашизм?» (Как говорили, Хрущев, в свойственном ему духе, где-то обронил, что «Сталин — говно».) Второй восклицал: «Что вы сделали с нашим замечательным социалистическим лагерем!»

После встречи мы подготовили письмо в адрес партий, и 12 августа из Пицунды Хрущев прислал свои замечания. В них, если отбросить свойственную Никите Сергеевичу революционную риторику, которая, к слову, служила ему и щитом против китайских обвинений, главным все же являются недвусмысленный отказ от «экспорта революции», установка на мирное сосуществование. Привожу их с небольшими сокращениями, которые не меняют смысла:

«...Какие задачи на практике ставит Компартия Китая, что она хочет? Кто ей мешает, кто мешает разворачиванию революционного движения любой коммунистической партией там, где существует ситуация? Тут надо вывести противника на чистую воду: пожалуйте, действуйте. Вот сейчас партия в какой-то стране готова, какой-то угнетенный народ испытывает... Вот Ангола, вот она воюет. Что вы предлагаете кроме того, что сейчас делается?»

Потому что народам, особенно молодым коммунистическим партиям и молодым политическим деятелям — я имею в виду не только молодых по возрасту людей, занимающихся политической деятельностью, но молодые страны, которые только что освободились, — им надо фактический, конкретный материал, а не общие рассуждения.

А почему бы действительно не потрясти колонизаторов, почему не потрясти империализм? Это хорошее дело. А получается, что вроде мы их держим, а китайцы за то, чтобы их потрясти. Но не об этом идет речь. Мы не только за то, чтобы трясти, а чтобы вытрясти. Но кто это должен делать? Не мы путем объявления войны — это уже другой характер, — а те народы, которые находятся под гнетом, чтобы мы их толкали, мы им помогали и пр.»

После смещения Хрущева проблемы мирного сосуществования и вообще советской внешней политики стали предметом борьбы в партийных кругах. Говорили, что радикальную группировку возглавлял «железный Шурик» — А. Шелепин. Возможно, в действительности речь шла лишь об идеологической драпировке битвы за первое место на партийном Олимпе.

Сам же я стал свидетелем, пожалуй, главного сражения по вопросу о послехрущевской внешней политике на подступах к Олимпу, так сказать, на «предвышем» уровне. Происходило это на даче Вольнское-1, где собралась бригада для написания проекта Отчетного доклада ЦК на XXIII съезде — первом после «ухода» Никиты Сергеевича. Она была слишком велика — более 20 человек. Аппарат Брежнева еще не имел опыта, и людей пригласили из всех отделов, включая отделы химической промышленности, строительства и т.д., причем, как правило, первых заместителей. Теснота была такая, что международники Жилин и Шишлин, например, жили в предбаннике сталинской сауны. Правда, они оказались и в некотором выигрыше: могли принимать так называемый сталинский душ — с мощной струей из очень широкой лейки.

Во главе группы были поставлены зав. отделом пропаганды ЦК В. Степаков, зав. отделом науки С. Трапезников, вскоре прославившийся как воинствующий реакционер, и помощник Первого секретаря ЦК (Брежнев тогда еще не назывался «Генеральным») В. Голиков, оригинально сочетавший две не слишком родственные сферы деятельности — сельское хозяйство и пропаганду. Из отдела пропаганды был и А.Н. Яковлев. Но о нем, как я ни старался, на память ничего не пришло, хотя упорная конфронтация продолжалась не одну неделю.

Шефом международного раздела был главный редактор «Правды» М. Зимянин, в то время вполне милый, даже забавный человек, любитель двух французских фраз, которыми, видимо, и ограничивались его познания в этом языке: «Entre nous soit dit» (между нами говоря) и «En globe» (в целом). Заместителем Зимянина были В. Корионов и Л. Толкунов, представлявшие соответственно Международный отдел и Отдел по связям с социалистическими странами. На подхвате же были мы, консультанты, — Ю. Жилин, В. Толстиков, А. Беляков, я и еще кто-то.

Противную сторону возглавляли Трапезников и Голиков. Антихрущевски настроенные, они выступали как типичные представители

контрреформации и пытались в этом духе выстроить весь доклад. Но если во внутреннем разделе эти деятели чувствовали себя относительно свободно, то в международном их требования выдвинуть вперед «революционную борьбу с империализмом», подчинить все «классовому подходу» натолкнулись на негромкое, но стойкое сопротивление. Сами же они «громыхали» такими выражениями, как «оппортунизм», «ревизионизм», «отход от ленинских положений и ленинской линии», которые постепенно переросли и в личные обвинения.

Противостояние приобретало такой характер, что в какой-то момент я вдруг подумал: а не стоим ли мы на пороге чего-то, похожего на новый 37-й год? И не отправится ли часть «дискуссаштов» в места, не столь отдаленные? Дело было вовсе не шуточное, поскольку на наших оппонентах лежал «высочайший» ответ: о близости Трапезникова к Брежневу было хорошо известно, Голиков же был близок по должности. Они бегали к Брежневу и, когда их тезисы были отвергнуты, обратились к нему с обширной запиской — меморандумом, где изложили свои инвективы в адрес международников.

Но единства не было и в наших рядах: и по вопросу об отношении к XX съезду, и по китайскому вопросу (надо, кстати, сказать, что, защищая съезд, «проблему Китая» мы воспринимали тогда слишком идеологически, не понимая ее глубоко и не видя корней китайского подхода). Однажды спор между нашим «антисталинистом» Жилиным и нашим «сталинистом» Толстиком, предварительно слегка разгоряченными, едва не вылился в рукоприкладство. Причем Толстик заключил «диспут» своеобразно: «Тебя надо будет расстрелять», заявил он Жилину. «А тебя, — продолжал он, обращаясь к присутствующему А. Белякову, — посадить». Этот эпизод подтверждает, что аппарат на самом деле уже тогда не был монолитным, и по-своему характеризует атмосферу и «температуру», царившие в Вольинском.

Подготовленный вариант международного раздела подвергся разному. Подчеркивалось, что надо «смелее» и «революционнее» ставить вопрос, «острее» сказать о борьбе с империализмом и т.д. Трапезников при обсуждении произнес бессмертную фразу: «Империализм обнаглел политически, экономически и идеологически». Говорил и о том, что «нужна генеральная линия на мировую революцию». Надо отдать должное Зимянину. Вопреки давлению, обвинениям и скрытым угрозам, вопреки неясности с позицией высшего начальства он, поддержанный Корионовым (за ним стоял Пономарев) и Толкуновым, держался стойко, не спасовал. Впрочем, международники понимали, в отличие от оппонентов, обьятых идеологическим жаром и жаждой антихрущевского реванша, что речь идет о слишком серьезных вещах: надо отстаивать принцип мирного сосуществования, если мы не собрались воевать.

А там и наверху, видимо после некоторых размышлений, победило благоразумие. И международный раздел в основном выжил, не

подвергся догматической вивисекции. Переломным моментом стало совещание у М.А. Суслова, который неожиданно для международныхников стал с ними обсуждать введение к докладу, подготовленное Голиковым и К°. В нем, в частности, заявлялось, что после Октябрьского пленума (т.е. снятия Хрущева) у партии «другая» генеральная линия.

И Суслов, к недоумению присутствующих, сделал Зимянину внушение. «Что это вы тут, — сказал он, как обычно «окая», — пишете? С каких пор генеральная линия партии делится пополам?» Зимянин стал оправдываться: «Мы это не готовили. Мы же работаем над международным разделом». Но Михаил Андреевич не обратил на это внимания: «Вы успокойтесь, дайте мне договорить. С каких пор генеральная линия партии делится пополам?» Зимянин же продолжал петушиться. Он никак не мог уразуметь, что Суслов таким образом дает понять: писавших введение несет «не туда», а действие развивается согласно любимой поговорке Пономарева: «Кошку бьют, чтобы невестка понимала».

После сусловской накачки мы стали работать автономно — остальная компания в международный раздел не вмешивалась. Линия на мирное сосуществование в докладе была сформулирована и как важнейшая часть концептуального подхода КПСС к внешней политике, и как обязательство в отношении ее практической международной деятельности.

Многим сегодня все это может показаться пустыми, схоластическими словопрениями, бурей в стакане воды. Но тогда речь шла о фундаментальных вопросах внутренней и внешней политики страны, о ее судьбах на многие годы вперед. За формулировками о «классовой борьбе» и т.п., которые нам навязывали, таилось намерение навести «порядок» в стране, вновь зажать ее в «сталинские» тиски. Во внешней же политике это вело бы к опасному авантюризму, чреватому серьезными конфликтами, если не масштабным столкновением.

Рассказ об этом «сидении» завершу выдержками из замечаний Брежнева на представленный ему проект международного раздела. Они довольно банальны и уж никак не отражают ни содержания, ни остроты разыгравшихся в Волинском батальи. Но от них «пахнет» временем и самим автором. Он еще не самонадеян и относительно скромен, считает нужным отдать должное правительству, то есть Косыгину, которого, впрочем, уже начинает ревновать, предпочитает (очевидно, в силу еще недостаточной собственной «укорененности») широко опираться в докладе на вердикт международного коммунистического движения (хотя международное совещание компартий состоялось за шесть лет до этого), избегает упоминания о «неполадках» в социалистических странах и т.д.

Итак, выдержки из замечаний Леонида Ильича к проекту международного раздела доклада на XXIII съезде КПСС:

«В отчетном докладе Центрального Комитета не должно в каждом абзаце повторяться «партия и правительство». Партия — это партия, а правительство — это правительство. В данном случае отчет делает ЦК, а не правительство, это отчет партии, а не советских органов. Сказать, конечно, надо о правительстве. Наше правительство выступает со многими акциями. Надо сказать, что Президиум ЦК направлял государственную деятельность по определенной линии, а то получается их смешение с ролью партии.

Надо как-то оттолкнуться от анализа, данного Советским Союзом и братскими партиями. Может быть, это сделать по такой схеме: прошло 5 лет после Совещания братских коммунистических партий, которое дало всесторонний глубокий коллективный анализ и выводы о современном мировом развитии. Нам следует обратиться к основным положениям этого документа и дать по этим положениям подтверждающие выводы... Привести факты, цифры, сказать о событиях, лучшим образом подтверждающих мудрость и разум международного коммунистического форума. Показать, что нет возможности и оспаривать эти положения.

Наша партия — один из тех отрядов, которые борются на фронтах с империализмом. Она делает оценку событий не кустарно, сама по себе, а учитывает коллективные документы и выводы братских партий. Так надо и подходить...

Нельзя сбрасывать со счетов документы. Ведь мы хотим добиться единства и прийти в конце концов к новому международному совещанию. Надо поднять значение этих документов по существу... Я бы в этом разделе, говоря о прошлом совещании и о его роли, как-то сказал бы, что это лучшим образом подтверждает значение единства в коммунистическом движении и что только единство всего коммунистического движения может выработать и вверить правильную линию. Ни одна партия в мире не может это взять на себя в одиночку.

Тот факт, что мы свой отчет будем строить на базе проверки коллективных выводов, а не сами выдумываем, — очень важный факт. Я думаю, что это не вызовет сомнений.

По Программе можно сказать, что в свете всего этого XXII съезд подтвердил положения международных документов, дал в руки нашей партии ту силу, которая на протяжении отчетного периода способствовала четкой ориентации нашей работы по всем линиям. Партия, руководствуясь этими документами и Программой, принятой на съезде, осуществляла в отчетный период следующее...

Зачем мы на своем съезде будем обсуждать, что встало перед поляками, венграми, не надо за них говорить.

Ничего не критиковать в развитии братских стран. В политическом плане — это единство подхода, совместные акции, укрепление Варшавского пакта, система консультаций.

Не отчитываться за социалистическую систему. За отчетный период наши связи по всем линиям, наша дружба укрепились. Вот и все.

О Китае — это особый вопрос. Об этом надо еще советоваться. Что, если мы о Китае на съезде скажем не более того, что мы говорили в течение года, проявляя выдержку? Сказать так, может быть: товарищи делегаты и уважаемые гости, как вы знаете, мы в течение полутора лет воздерживались от полемики, считая ее вредной в такой форме, как ее ведут китайские товарищи. Все братские партии, которые имели с нами встречи, одобряют это. Это служит делу единства. Мы будем продолжать ту же линию в отношении полемики. Вместе с тем тут же сказать, что мы по-прежнему готовы развивать дружеские отношения с Китаем, крепить единство действий в антиимпериалистической борьбе».

В консультантскую пору я, как и мои коллеги, по несколько раз в год покидали здание на Старой площади и отправлялись трудиться за город: когда речь шла о подготовке больших и особо важных документов, нас решали перевести на «казарменное положение». Этот тип работы давал дополнительные возможности заглянуть «вовнутрь», за кулисы партийной официальности, постичь технологию формирования партийных документов, а порой их соотношение с реальной политикой, познать секреты рождения таких сакральных вещей, как доклады на пленумах ЦК и съездах партии. Секреты оказались вполне земными, лишавшими эти документы святости в наших глазах.

Доклады не рождались на пустом месте. В преддверии съезда, например, некоторые ведомства и институты представляли свои предложения и справки. Но обычно это играло лишь вспомогательную роль. Дальше дело было за составителями, их мыслями, их воображением, их так называемой творческой жилкой. И я вскоре понял, что доклад — если не самоцель, то вполне автономный и самоценный феномен, что он отнюдь не всегда «отражает» жизнь. Напротив, нередко жизнь как бы следует за докладом, подчиняется его целям.

Один пример. Перед XXV съездом, в феврале 1976 года, Пономарев, как и все секретари ЦК, получил разосланный Брежневым вариант Отчетного доклада, отретушированный «выпускающей бригадой» из его ближайших советников. Раздел о развивающихся странах был передан для просмотра мне. Я обратил внимание Бориса Николаевича на то, что в нем по сравнению с нашим текстом положение в этой зоне рисуется в неоправданно оптимистическом ключе, невесть откуда появились попросту неправильные, приукрашенные данные. Пономарев даже не стал входить в существо моих возражений, раздраженно бросил: «Это политически важно». Таков был излюбленный аргумент Пономарева, который он пускал в ход, когда совершалось насилие над фактами или здравым смыслом. А такое происходило нередко и касалось порой куда более важных проблем.

Чтобы доклад «прозвучал», необходимо было обязательно сказать «новое слово», независимо от того, существует ли оно в жизни, реалистично ли это. И принимались искать «новые идеи», формулировать инициативные, рассчитанные на гулкий резонанс предложения вроде «Программы мира» и т.д. Нередко так рождались интересные темы и идеи, дававшие внешнеполитический эффект и способствовавшие более благоприятному развитию международной обстановки. Но этот же «уклон» столь же часто придавал докладам поверхностно-пропагандистскую окраску. В результате — парадокс: не только политика двигала доклады, но чаще доклады двигали политику, через них она делалась. И нередко новые предложения и идеи появлялись именно и только потому, что предстояли доклады или выступления.

Не счастье разнообразных текстов, которые вышли из-под бригадного или чьего-либо индивидуального пера в дачных стенах и явились потом миру в виде официальных посланий и постановлений, а большей частью как чьи-то доклады и речи, вошли в чьи-то собрания сочинений. Мы эти произведения, полностью отчужденные от их составителей, называли, вслед за Б. Лейбзоном, «могилой неизвестного солдата».

Жалею ли я сегодня о бесконечных бдениях в дневные, а часто и ночные часы над этими, как правило, «скоропортящимися продуктами»? Пожалуй, нет. Во-первых, это не было для меня просто поденщиной, отбыванием номера. Мы жили этим, были убеждены, что выполняем свой долг, верили, что, внедряя те или иные «прогрессивные» формулировки и, напротив, преграждая путь догматическим постулатам, двигаем дело к раскрепощению общества. Во-вторых, это серьезно обогатило меня и в политическом, и в публицистическом смысле, свело с яркими и интересными людьми. И в-третьих, помогло понять и высоты, и низины политики, увидеть, как она — любая политика — делается.

Работа на «выезде» проходила на дачах Управления делами ЦК. Самым знаменитым было, конечно, Волынское-1 (кунцевская дача Сталина — так называемая Ближняя). Впервые я попал туда в конце 1963 года, в разгар «обмена любезностями» с китайцами.

Массивное двухэтажное здание уныло-зеленого цвета, охваченное близко примыкающей высокой бетонной «стеной-оцеплением», тоже зеленой. Еще один забор, опять-таки зеленый, но деревянный, окружал довольно обширную территорию дачи. От ворот к дому вела извилистая дорога, так что он открывался глазу только тогда, когда подъезжали к нему вплотную. Рассказывали, что лишь Молотов да Маленков имели право доехать до особняка, остальным приходилось «спешиваться» у ворот. На территории были озерцо и еще два строения: банька с биллиардной и шашлычная. Вдоль забора по всему его периметру, отступая внутрь на метр-полтора, была протянута скрытая в траве проволока. Прикосновение к ней служило сигналом тревоги. В этой же зоне, рассказывали, через каждые несколько

десятков метров стояли часовые. Их посты («круг») были зафиксированы, и, если кто-либо из них попытался бы выйти за его пределы, соседи имели приказ открывать огонь без предупреждения.

Сам особняк состоял из двух половин. Одна — официальные помещения (просторный зал на первом этаже, где проходили заседания Политбюро, и примыкающий к нему кабинет) и жилые комнаты Сталина на втором этаже (по словам сестры-хозяйки, Ольги Дмитриевны, он ночевал в разных). Они были добротно, хотя и без роскоши, обставлены и оборудованы: деревянные панели, хорошая мебель, в том числе из красного дерева. Был и лифт. Значительная часть имущества и вещей, которыми пользовался Сталин, не сохранилась. По рассказам той же Ольги Дмитриевны, после XX съезда (видимо, по обычной нашей холуйской чуткости к начальству, его последней воле) они были свезены на какой-то склад и там не то погибли, не то были разграблены. Вторая — фактически пристройка с чистенькими и просто обставленными комнатами для персонала, помещение для кухни и т.д. Обе половины соединялись нешироким дугообразным коридором, который получил название «последний путь». Утверждали, что им выводили к заднему выходу тех, кого ждал арест.

Впервые попав в Воыньское, я испытал довольно сильные, но странные чувства. Жадное любопытство и нетерпеливый интерес, почтительную оторопь («придыхание»): здесь проходили заседания Политбюро, нередко полные напряжения и драматизма — каждый раз его члены и приглашенные как бы сдавали экзамен «вождю»; здесь, вот на этом широком диване (кроватей в комнатах, где обычно ночевал Сталин, не было), он лежал в предсмертной агонии, а у его одра, если верить воспоминаниям Хрущева, собрались встревоженные, но уже строящие собственные планы Маленков, Берия и сам Никита Сергеевич; здесь жил, думал, писал и принимал решения гений и тиран, к слову которого прислушивался весь мир, человек, который держал в страхе миллионы, но которому, что бы ни плели сегодня несведущие или корыстные журналисты и «политологи», как своему идолу и полубогу поклонялись десятки миллионов сограждан, и не только они. Здесь происходили его встречи с Тольятти, с непокорными югославскими «ерстниками» — посланцами Тито — Карделем, Джиласом, многими другими, о которых мы читали. И вдобавок, немалое удивление: здесь, в самом доме, нет ничего экстраординарного, особенного, ничего, что бы поражало глаз, все довольно обыденно, просто.

Но прошла неделя, острота первого впечатления и первого ощущения начала стираться. Дом постепенно терял свою волнующую уникальность, предстал обычным жилищем. Мне — простому смертному — даже выпало спать на диване, что служил ложем Иосифу Виссарионовичу. И стала понятнее, ближе мысль, дошедшая до нас с библейских времен: все великое и малое — проходит, оно эфемерно и быстротечно, все поглощают зыбучие пески времени.

По странной случайности или совпадению к этой мысли меня вернул через несколько месяцев египтянин Абду Аббуди, живой и энергичный, несмотря на почтенные годы, старик с седой клокочающей бородой, одетый в просторную белую рубаху до пят (галлабию), из которой выглядывало задубленное солнцем и уже изрядно подсохшее коричневатое тело, в сандалиях на босу ногу. Это был гид, показывавший мне сокровища Луксора, храм Амона-Ра, государственное святилище Древнего Египта. В храме — гигантская статуя Рамсеса II, у ног которого примостилась фигура его жены Нефertiри в человеческий рост: жестокого, внушавшего трепет властителя, долгие годы правившего Египтом в XIII веке до н.э., великого завоевателя, храброго воина, строителя храмов, сластолюбца (уверяют, что он имел 156 жен) и любителя роскошных церемоний, пиопера самообожествления египетских фараонов. Он вставлял свои скульптуры между фигурами богов даже там, где должны были находиться только они. Рассказав об этом, гид сдержанно упомянул о том, что недавно водил по Луксору Роберта Кеннеди (брата президента США) и Алексея Аджубея (зятя Хрущева). А затем Абду Аббуди, словно заключая повествование о фараоне, неожиданно заметил: «Смотрите, был богат и всемогущ, совершал далекие походы, одерживал громкие победы, завоевывал страны за горизонтом, привозил десятки тысяч пленных и умерщвлял их в знак своего торжества. Ну и что? Теперь на этот мрамор садится пыль, а наши мальчишки писают на статую. Потому что все это суета сует и всяческая суета».

Не раз пришлось мне работать и на другой именитой даче в Горках-Х. Вернувшись на родину, здесь жил и в дождливый июньский день 1936 года скончался Максим Горький. В предвоенные и послевоенные годы широкую известность имела картина А. Герасимова «Сталин и Горький в Горках», растиражированная в цветных репродукциях. Горки-Х — усадьба, которая уступом спускается к Москве-реке, с парком, миниатюрным пляжем и лодочной станцией, типичное дворянское или купеческое гнездо конца прошлого века. Ее центр — двухэтажный особняк характерной московской архитектуры того времени с обязательными колоннами, с огороженными балюстрадами открытыми галереями по обе стороны дома — к реке и к дороге, ведущей в Москву. От горьковских времен сохранилась часть обстановки, особенно на втором этаже, где жил «сам», в частности рояль, на котором играли приезжавшие знаменитые музыканты.

В годы, когда мы стали наезжать в Горки-Х, там правила ссестра-хозяйка Зина (такое обращение узаконила она сама). Высокая, крупная женщина с независимым характером, абсолютно чуждая угодливости, острая на язык, она ипой раз не отказывала себе в удовольствии резать «правду-матку» о своих высокопоставленных постояльцах. Но чаще не зло, хотя и не без иронии, подшучивала.

В первый мой заезд, осенью 1963 года, она как-то бросила: «Что же это вы, международники, такие скромные (речь шла о фильмах, которые один-два раза в неделю крутили на даче). Вот до вас были мужики, одних голых баб заказывали, критиковать готовились». Она имела в виду бригаду секретаря ЦК Ильичева, которая работала над материалами к «идеологическому» Пленуму ЦК.

Дачные «сидения» — существующий испокон веков специфический жанр аппаратной околосредотворенной работы. Он имеет свои трудовые и бытовые особенности, которые, надо думать, унаследованы нынешними «сидельцами», разумеется, с разницей по части более вольного поведения и куда менее скромного довольствия.

Известие об очередном дачном «десанте» мы встречали с радостью. Это сулило избавление, пусть ненадолго, от отдельской суевы, от назойливых телефонных звонков, от нежеланных вызовов начальства, обещало возможность обрести некоторую раскованность, подышать чистым воздухом Подмосковья, посмотреть фильмы, а некоторым — и покатать бильярдные шары. Кормили нас довольно обильно, но не скажу, чтобы слишком вкусно, большей частью из продуктов, заготовленных вопрек Управлением делами. Поэтому частенько фигурировала меченая синевой птица, которая проходила под кличкой «парткурица». Как раз эта внешняя сторона дачного жилья и формировала у несведущих представление о нем.

Но у медали была и обратная сторона. Начиная, как и все, рабочую неделю с понедельника, мы попадали домой лишь в пятницу вечером, чаще в субботу, а порой авралили и по воскресеньям. Главное же — сам характер и регламент наших занятий: особенно скрупулезная, дотошная работа над текстами, их неустанная полировка, неоднократные «проходки», иначе говоря, коллективное редактирование всего материала, доводка отдельных фраз и формулировок, бесконечный учет указаний и пожеланий начальства. Когда документы были «на выходе», сидение часто затягивалось за полночь. Однако, справедливости ради, должен признать: все это прививало навык политически точно и неоднообразно формулировать свои и чужие мысли. Утомляло и то, что сознание чрезмерно перегружалось политическими и служебными сюжетами и в нерабочее время: и в беседах в столовой, на прогулках. К тому же каждодневное, чуть ли не круглосуточное вращение в узком кругу одних и тех же людей, поначалу живое и приятное, постепенно начинало тяготить.

Самыми ценными в дачных посиделках были, конечно, обмен мнениями, споры и дискуссии. Ведь тут собирались талантливые, образованные, интересные люди: ученые, дипломаты, журналисты. Разговор шел довольно раскрепощенный и открытый, звучало немало еретического. Порой не без влияния возбуждающего зелья — за ним отправлялись в ближайшую лавку — он приобретал особенно откровенный характер.

Было, конечно, немало забавного, даже смешного. Вот Арбатов с его «пехотными» анекдотами, ядреность которых мы вскоре стали измерять в «арбатах» (пол-арбата, один арбат). Или Бовин (недавний посол в Израиле) с его необъятными гастрономическими возможностями и часто провозглашаемым намерением разгрузиться, «бегая вокруг клумбы». Или темпераментный Шахназаров, воспринимавший как интеллектуальное оскорбление шахматный проигрыш и в ответ смахивавший с доски фигуры. Или Жилин, который, принявши немного «на грудь», тут же начинал рваться в столицу к «нетерпеливо ждущей его даме». Наконец, Загладин и Бовин, которые в минуту веселья — окончилась очередная работа! — на потеху всем «бодаются» своими весьма выдающимися животами.

На дачах — и вообще в отделе — рождался специфический лексикон, выражавший наше отношение и к собственному «творчеству», и к некоторым явлениям вокруг. Бовин пустил в оборот выражение «музыкальный момент» — о ситуациях, отличавшихся своей неленостью, неловкостью, забавностью и т.д. Он же автор и уже упоминавшегося мною термина «банно-прачечное хозяйство», характеризовавшего радетелей «чистоты» марксизма-ленинизма. Кстати, Бовин же и творец получившей широкую известность хлесткой, но менее удачной фразы: «Экономика должна быть экономной».

В. Шапошников⁶ принадлежит словечко «подпопник» (разумется, употреблялся более натуральный вариант). Оно разъясняло, за что (т.е. за свое кресло) цепляется тот или иной начальник. Имело оно и иной смысл — подпорка-покровитель кого-либо в аппарате. Шапошников же изобрел глагол «разнагишаться» (под давлением обстоятельств сбросить маску красивых деклараций и обнажить свои подлинные цели), он придумал и термин «п...братия», применявшегося к угодливым, усердно подхалимствующим и беспринципным субъектам. Он же часто говорил, вкладывая свой, особый смысл, «чуйствую» (а не «чувствую»), «индивидуу» (вместо «человек, персонаж»). У него вообще был очень своеобразный, меткий язык — свидетельство незаурядности личности, не обязательно зависящей от эрудиции. Есть сколько угодно образованных людей со стереотипной, «массовой» речью.

В отделе социалистических стран родилась классическая фраза, отразившая аппаратную изворотливость ее создателя. Направляя своих подчиненных на какую-либо совместную работу с людьми из других отделов, он их напутствовал: «Прислонись, но не ввинчивайся». Авторство же некоторых выражений не ясно (так сказать, «музыка народная»). Например, очень популярным и часто употреблявшимся на дачах было выражение: «Хватит совокупляться с клоном»

⁶ Заместитель заведующего Международным отделом, человек, не лишенный многих привлекательных черт и художественной жилки.

(в оригинале это звучало куда эффективнее). При «проходке» это выражение часто оказывалось незаменимым. В ходе длительного сидения нередко наступает момент, когда слегка отупевшие люди начинают рьяно, запальчиво, бескомпромиссно, чуть ли не ссорясь, спорить из-за какого-то пустяка, слова. И тогда фраза «хватит... клопа» обычно разом снимала напряжение, вызвала хохот: люди приходили в себя. Фраза: «Я снимаю свое предложение как абсолютно абсурдное» оказывалась очень действенной в моменты, когда упорно продвигаемая кем-либо мысль или формулировка не получала поддержки и атмосфера накалялась. Иронические «нетленка», «вкладыш» (реакция на: «вклад в развитие марксистско-ленинскую теорию») выражали наше отношение к официальным бумагам, в том числе, бывало, нами и сочинявшимся.

В 1963–1964 годах в дачных бдениях большое место занимала китайская тема. Пространные, на несколько газетных полос, многословные, полные взаимных упреков и разоблачений послания, которыми обменивались руководители КПСС и Китайской компартии, уже тогда могли вызвать ироническую улыбку. Они смахивали на тяжбу двух церквей, каждая из которых претендовала на роль единственного толкователя религиозного учения, тем более что за всем этим чувствовались еще и столкновение личных амбиций Хрущева и Мао Цзэдуна (Никита Сергеевич, помнится, даже назвал последнего «старой калашей»), их претензии быть «первым» в социалистическом лагере и в коммунистическом движении. Кроме того, в полемике допускались передежки и перехлесты, особенно когда в дело вступали некоторые китаеведы (мы их называли «китаедами»).

Но за этими, казалось бы, талмудистскими текстами скрывался серьезный политический смысл: отстаивание линии XX и XXII съездов КПСС, той относительной свободы рук, которую на базе их антидогматических решений получил Хрущев ради модернизации системы, приведшей к благотворным изменениям в советской внутренней и внешней политике. Poleмика эта была практически обращена и внутрь, она вновь привлекала внимание нашего общества к XX съезду, была нацелена против сталинизма и сталинистов.

Как и сам XX съезд, дискуссия с китайцами оказала вопреки замыслам руководства более глубокое влияние на духовную жизнь страны, помогая многим сделать еще один шаг к высвобождению мышления и мировоззрения из жесткого идеологического корсета. Думаю, и этим, а не только тактическими соображениями было вызвано решение прикрыть полемику, принятое руководством после смещения Никиты Сергеевича.

Я участвовал в подготовке различных «китайских» материалов. Расскажу лишь о некоторых малоизвестных (или даже вовсе неизвестных) эпизодах этой полемики, к которым сам имел отношение.

В августе—сентябре 1964 года для «Правды» готовилась в отделе обширная — на две с лишним полосы — статья «Культ личности и его пекинские наследники». Ей предстояло стать одной из самых резких атак против сталинизма. Но публикация сначала была отложена (это совпало с отъездом Хрущева на юг), а после ухода Никиты Сергеевича и вовсе отменена. И тогда все стало ясно. Судьба статьи на свой лад обозначила печальный рубеж в развитии страны, поворот от «оттепели» к «легким заморозкам», к так называемым упорядочению и стабильности, которые выродились в застой.

Верстка статьи с замечаниями различных рецензентов, включая и Ю.В. Андропова, тогда заведующего отделом — секретаря ЦК, лежит сейчас на моем столе. Думаю, стоит привести некоторые выдержки из нее, иллюстрирующие настрой руководства, с энтузиазмом подхваченный исполнителями. Вот как, например, характеризовались в статье культ личности и его последствия.

«Вопрос о недопустимости культа личности — принципиальный вопрос для всего нашего движения, в особенности для правящих коммунистических партий. На современном этапе он был поставлен в связи со Сталиным, но относится не только к нему и имеет более широкое значение. Суть дела не в его личности, а в том, чтобы никогда не применялись те методы решения вопросов, те формы руководства, те порядки, которые при нем процветали (выделено мной. — К.Б.)

В области политической культ личности означает искажение принципов строительства социализма, принижение роли партии и народных масс, свертывание их творческой инициативы.

В области экономической культ личности порождает субъективизм и произвол в управлении народным хозяйством, игнорирование объективных экономических законов, пренебрежение экономическими стимулами развития производства, увлечение административными методами.

В области внутрипартийной жизни культ личности означает нарушение ленинских норм партийного строительства и коллективного руководства, подмену методов убеждения и воспитания методами командования и принуждения.

В области государственной и общественной жизни культ личности ведет к свертыванию демократии, к единоличному решению важнейших вопросов страны, злоупотреблению властью и попранию социалистической законности.

В области национальных взаимоотношений культ личности сопровождается оживлением великодержавных и националистических тенденций, ущемлением прав отдельных национальностей.

В области теории культ личности ведет к застою творческой мысли, к отрыву ее от практики, к догматизму и цитатничеству...

Культ личности не был бы самим собой, если бы не создавал в партии и в стране атмосферу приниженности человека, подав-

ления самостоятельности масс и воспитания в них привычки к слепому послушанию, обстановку запугивания и расправ над всеми, кто не готов бездумно следовать «предначертаниям» вождя... (выделено мной. — К.Б.). Понятно, что такое слепое послушание нельзя обеспечить иначе, как создав обстановку запугивания, всемерно расширяя аппарат контроля и принуждения».

И на полях добавление, сделанное, насколько помнится, рукой Андропова: «Нет, не пуританское единообразие, не пепельно-серый покров унылого уравниательства, а многообразие, богатство всех форм жизни, широчайшее развитие творческих возможностей общества — вот что отличает подлинный коммунизм. Это высокоорганизованное общество, в котором сплоченность основана на сознательной активности всех, на динамической силе творческих отношений... Социалистическая плановость и организованность враждебны мелочной регламентации».

Как видно, статья энергично отвергала сталинизм в его многообразных ипостасях и определенно высказывалась за демократические порядки в рамках социалистического общества. Между тем уже через месяц-полтора подобные положения было бы нелегко, если вообще возможно, найти в наших официальных заявлениях и прессе.

Еще один блок был посвящен защите Хрущева — похвалам в его адрес. Делалось это, на мой взгляд, не только и не столько из-за уже возникшего «мягкого» культа личности Никиты Сергеевича, сколько из-за того, что сталинистские атаки Пекина все чаще приобретали форму личных нападок на Хрущева как главного инициатора и вдохновителя советского «ревизионизма».

В статье говорилось: «Хорошо известно, какую огромную роль и какое мужество революционера-ленинца проявил товарищ Н.С. Хрущев в борьбе за торжество ленинских норм государственной и партийной жизни. Историческая заслуга Никиты Сергеевича Хрущева состоит в том, что он возглавил борьбу за ленинский курс XX съезда КПСС, за ликвидацию тяжелых последствий культа личности Сталина, за творческое развитие ленинизма применительно к новым условиям. Наша партия, весь советский народ тесно сплочены вокруг ленинского Центрального Комитета КПСС во главе с товарищем Н.С. Хрущевым».

Однако не пройдет и нескольких недель, и Хрущев будет освобожден от занимаемой должности «по болезни» и «в связи с преклонным возрастом», а на деле смещен своими коллегами по Политбюро, сговорившимися за его спиной. Под словами об «огромной роли», «мужестве» и «исторической заслуге» Никиты Сергеевича Хрущева я подписался бы и сейчас. По сути дела, отстранение Хрущева явилось победой советской «китайщины», которая преградила путь процессу реформирования и либерализации системы, имевшему, очевидно, большие шансы на успех, чем 20 лет спустя.

О «времени Хрущева», а значит, и о нем самом прекрасно сказал Игорь Дедков — талантливый, честномыслящий и чистый человек: «Время Хрущева — время укрощения сталинской гидры⁷. Придумайте что-нибудь посерьезнее этого дела, предположите что-нибудь потруднее освобождения миллионов людей из темниц, из-за колючей проволоки, придумайте что-нибудь посложнее сокращения штатов госбезопасности и смены ее начальствующего состава.

Время Хрущева — время молодости нашего поколения. Это время предопределило всю дальнейшую жизнь многих из нас. В сущности, все брежневские годы и прочие мы продолжали жить, храни ту энергию того первотолчка...

Время Хрущева — это непрошедший страх, но это и веселый озноб весны, возбуждения, надежды, непреходящее ощущение все еще длящегося, неиссякшего прорыва к свободе⁸.

Для меня несомненно: независимо от двигавших им личных мотивов, от пределов его реформаторского потенциала и относительной скромности намерений, не затрагивавших саму систему, независимо от его метаний и «волюнтаристских» решений именно с Хрущевым связана едва ли не самая трудная часть пути, пройденного страной к демократическому обновлению. Без февраля 1956 года был бы невозможен ни март 1985-го, ни август 1991-го. К сожалению, сегодня это понимают немногие. Для одних он «недопил», а для других — «перепил». Сегодня нередко поют бесстыдную хвалу царям, Хрущева же обходят даже вниманием. Остается уповать на Время, которое, конечно, все расставит по своим местам.

Наконец, в статье китайские руководители обвинялись в «переходе на гегемонистские националистические позиции». На этом моменте есть смысл остановиться: речь тогда шла о некоторых сторонах политического курса Китая, не утративших своего значения и по сию пору. Фразеология этой статьи, как и других материалов той полемики, вроде бы подтверждала распространенное, если не общепринятое мнение о том, что движущей силой ссоры были идеологические мотивы.

Разумеется, идеологическая несовместимость играла огромную роль. Не говоря уже о наличии такого крупногабаритного вождя, «вождя-монстра» (что никогда не проходит безнаказанно для любой страны), как Мао Цзэдун, Китай был на другом этапе общественного процесса, чем Советский Союз. Его руководству куда нужнее, чем

⁷ В. Кодовилья, руководитель Компартии Аргентины, вернувшись из Северной Кореи, сказал Хрущеву, которого навестил в Сочи, что там «о...ный культ личности». Но Н.С. отвечивал: «Сравнил хрен с каланчей. Вот у нас был культ личности — это да!». (Прим. мое. — К.Б.)

⁸ Игорь Дедков. Время Хрущева. Взгляд из провинции/Свободная мысль. — 1996. — № 1. — С. 117, 118.

советскому, была идеология осажденной крепости и гражданской войны и куда менее — относительная открытость, разрядка вовне и внутри. Но не менее важным были межгосударственные противоречия, столкновение великодержавных претензий: улучшение советско-американских отношений (на фоне продолжавшегося непризнания Китая Соединенными Штатами и их политики остракизма в отношении его), предложение Хрущева о создании совместного советско-китайского флота, его отказ передать Китаю атомные секреты и т.д. Показательно в этом отношении, что, хотя с уходом Хрущева по крайней мере часть идеологических мотивов, которые разделяли руководство Москвы и Пекина, потеряла прежнее значение, острота в советско-китайских отношениях сохранилась.

Участвуя в работе над очередным китайским, а вернее, антикитайским материалом, я имел случай ознакомиться с запиской, свидетельствующей о том, что истоки этого, условно говоря, межгосударственного, «национального» фактора восходят к концу 40-х годов (не говоря уже о более древних эпизодах, которые связаны с отношениями между Коминтерном, т.е. Сталиным и руководством КПК, между царской Россией и Китаем). Записка была направлена в ЦК М. Ковалевым, который долгое время служил Народным комиссаром путей сообщений. Он был прикреплен к официальной делегации из Пекина, которая накануне провозглашения Китайской Народной Республики прибыла в Москву, чтобы проработать вопросы, в том числе договорные, будущих взаимоотношений с Советским Союзом. По словам Ковалева, возглавлявший делегацию член Политбюро, секретарь ЦК КПК и его Северо-Восточного бюро (Маньчжурия) Гао Ган выдвинул очевидно, с нашей подачи — предложение о совместном советско-китайском управлении в Маньчжурии. Видимо, извещенный об этом кем-то из делегации, Мао Цзэдун реагировал гневной телеграммой. Гао Гана решили отозвать домой, заменив его Чжоу Эньлаем.

Мастер политической интриги, Сталин хорошо, даже слишком хорошо разбирался в подобного рода тонкостях и, понимая, какая участь ожидает в Пекине Гао Гана, предпринял, можно сказать, превентивную акцию. В его честь перед отъездом был устроен прием, который Сталин почтил своим присутствием. Мало этого, он поднял бокал за здоровье «верного марксиста-ленинца, большого друга Советского Союза» Гао Гана. Это предостережение в Пекине, видимо, хорошо поняли. Во всяком случае, Гао Гана не трогали при жизни Сталина — вплоть до 1954 или 1955 года, когда Гао Ган, по официальной версии, покончил собой.

Этот случай, оставивший, безусловно, свой след, особенно у китайской стороны, еще одно свидетельство приверженности Сталина имперским традициям (им не был полностью чужд и Хрущев, который, как и многие до сих пор, относился к китайцам свысока). Факты подобного рода, пусть и не столь масштабные, способствовали

созданию в советско-китайских отношениях постоянного фона недоверия, атмосферы настороженности и «перетягивания кашата», точно так же, как националистические тенденции и эмоции Пекина реакция на долгие годы унижений со стороны великих держав.

Все это, несомненно, было подводной частью айсберга советско-китайской полемики. По сути дела, ожесточенные споры с китайцами не столько носили идеологический характер, сколько были формой межгосударственных разногласий, борьбы за установление определенного модуса во взаимоотношениях СССР и КНР, результатом несовместимости стремления обеих сторон «быть во главе» (на что китайцы стали претендовать после смерти Сталина).

И еще один эпизод, имеющий отношение к китайской теме. 28 и 30 июня 1965 г. в Москве состоялись переговоры между делегациями КПСС (Брежнев, Сулов, Пономарев) и Компартии Индонезии (КПИ), возглавлявшейся Айдитом. Руководство КПИ было тесно связано с китайцами и выступало ретранслятором их позиций. Фактически через индонезийцев КПСС и КПК как бы продолжали разговаривать, или, если угодно, меряться силами. Пространная, на 150 с лишним страниц, стенограмма многочасовых переговоров представляет интерес прежде всего политическими расчетами, которые обе страны старались прикрыть идеологическими доспехами, бедностью, а часто и надуманностью аргументов, говоривших скорее о нежелании (в первую очередь индонезийцев) идти на компромиссы, из-за чего создается впечатление диалога глухих. В целом же документ принадлежит к числу тех, что срывают личину высоколести с самого понятия «переговоры», обнаруживают их нередко вполне земной, даже примитивный характер.

Советская делегация, особенно поначалу, держалась лояльно, если не уступчиво. И только во второй половине беседы, когда стало ясно, что Айдита не сдвинуть, ее тон ужесточился.

Беседу открыл Брежнев, он в основном и вел ее с советской стороны. Но его «теоретически» дополнял, а то и подправлял Сулов, к чему, судя по стенограмме, Леонид Ильич относился с почтением провинциала к учености столичного ментора. Он, например, так реагировал на обзорно-теоретическое выступление Михаила Андреевича: «Я доволен тем, что товарищ Сулов взял слово и помог мне и всей нашей делегации раскрыть глубокий смысл и содержание того, чем мы заняты, и строительство коммунистического общества, также вопросы национально-освободительного движения, взгляды о путях развития в некоторых странах».

Брежнев высказался за «самое серьезное улучшение отношений между нашими партиями». «Я новый человек, — подчеркнул он. Вы знаете, что я никогда с вами ни с кем не ругался». Айдит, однако, фактически поставил нормализацию отношений в зависимость от выполнения ряда предварительных условий и прежде всего

глубокого анализа ошибок, совершенных Хрущевым, чтобы ошибки подобного рода не повторялись в будущем. Из «конкретных» грехов Никиты Сергеевича упоминались «чрезмерное выпячивание принципа мирного сосуществования», намерение улучшить взаимоотношения с Западной Германией и совершить туда поездку, выдвижение лозунга некапиталистического развития, «неправильные методы в отношении братских партий» (тут Айдит сослался на то, что во время обсуждения с Хрущевым в Москве албанского вопроса тот ему сказал: «Если бы я не был секретарем ЦК КПСС, то просто бы засучил бы рукава и избил бы» (албанцев. — К.Б.).

Предметом спора стало пожелание генсека КПИ о том, чтобы СССР не участвовал в планировавшейся Второй Бандунгской конференции⁹. Я, конечно, знаю, говорил Айдит, что большая часть территории СССР находится в Азии, но, судя по истории и исходя из современного положения, Советский Союз — «государство европейское».

Брежнев перебил Айдита: «Я извиняюсь. Я был еще молодым человеком и первый раз поехал работать на Урал. И как только проехали реку Чусовую, дальше к Уралу, тогда мне сказали в вагоне, что мы въезжаем в Азию. Скоро будет, и вы можете посмотреть столб, и мы пересечем европейскую часть и попадем в Азию. И я сам смотрел на этот столб, и как сейчас вижу: было написано «Азия». Это был 1926 год. В 1926 году я в первый раз увидел Азию, а за этим столбом еще расстояние 10 тыс. километров. За это время земной шар не перевернулся. Азия стоит на месте».

Эта дискуссия не может не вызвать ассоциаций с некоторыми модными и сейчас рассуждениями о месте России в мировой политико-географической и культурной палитре. И тогда и теперь европейская «специализация» и европейское «профилирование» нашей страны, независимо от мотивов тех, кто к этому побуждает, означают сокращение ее влияния и веса и в Азии, и в мире в целом. Таким и было намерение Айдита и его китайских патронов, когда они хотели не допустить Советский Союз на Бандунгскую конференцию.

Айдит подверг критике также и позицию КПСС по вопросу о строительстве коммунизма в СССР. Еще раньше, в письме в ЦК КПСС, Айдит заявлял, что строить коммунистическое общество — «значит предаваться национальному эгоизму». Он жаловался, что советская помощь народам, борющимся за свое освобождение, «носит ограниченный характер», хотя это — «обязанность». Суслов же доказывал, что Советский Союз «не может задерживаться в своем развитии и даже идти вспять», что он оказывает большую помощь народам, борющимся с империализмом как непосредственно, так и

⁹ В Бандунге (Индонезия) в 1955 г. состоялась Первая конференция глав государств Азии и Африки.

косвенно, сковывая и ограничивая возможности империализма, укрепляя свою оборонную мощь, на что тратится четверть бюджета.

Какой бы схоластической ни выглядела эта дискуссия, за ней скрывается реальное политическое содержание: нежелание китайцев и их союзников, чтобы КПСС, размахивая знаменем коммунистического строительства, повышала свой престиж среди левых сил мира и подкрепляла претензии на роль главы социалистического лагеря и международного комдвижения. Но сердцевиной спора были размеры ресурсов, которые Советский Союз (и социалистические страны Европы) «должен» выделять на помощь Китаю и национально-освободительному движению.

Айдит упрекнул Москву за пропаганду «некапиталистического развития» и за то, что советские лидеры называют «товарищами» Секу Туре, Бен Беллу и других и в посланиях к ним говорят о строительстве социализма, «вызывая путаницу в стратегии и тактике коммунистов стран Азии и Африки и препятствуя возникновению настоящих компартий».

Этот спор тоже отражает дух времени. Аргументы Айдита готовы были разделить тогда многие компартии. То были годы, когда по «третьему миру», особенно в Африке, начала распространяться эпидемия «социалистического выбора». Причем закоперщиками тут выступили стоявшие у власти группы и движения, которые получили у нас название «революционной демократии». Для Советского Союза это открывало возможность расширить свои позиции в соперничестве с другой сверхдержавой, и он оперативно реанимировал и стал популяризировать теорию некапиталистического развития. Для компартий же этой зоны, напротив, возникала опасная перспектива лишиться монополии на социализм, оказаться на обочине политической жизни, стать «неинтересными» для социалистических государств. Именно это настроение выражал руководитель индонезийских коммунистов. Хотя собеседники распрощались вполне вежливо, если не любезно, а Айдиту даже предложили отдохнуть в Советском Союзе, переговоры явно завершились ничем. Айдит сделал вывод: «В результате двух наших встреч мы видим две разные точки зрения по отношению к вопросам, которых мы касались».

От описанных пропагандистских баталий нас отделяют три десятка лет. За это время в отношениях с Китаем бывало всякое. Случалось, что соседи отбрасывали в сторону перья и хватались за другое оружие — смертоносное. Помню, летом 1969 года командующий воздушно-десантными войсками генерал В. Маргелов в беседе с нами, группой работников ЦК, приглашенных на показательные учения, сетовал, что не разрешают «заняться» Китаем. Он внушал, что хорошо было бы сбросить его «ребят-десантников» на Пекин, они там «разберутся».

События, о которых я рассказал, нынешнему молодому человеку могут показаться относящимися к другому веку: столь многое и столь

радикально изменилось. Ушли из жизни люди, страна, от имени которой они говорили. Кажутся никчемными споры, в которых они участвовали. Но осталась проблема — Китай и отношения с ним. В каком-то смысле ее масштабы и значение даже возросли. Наш дальневосточный сосед бурно развивается, и ему почти единодушно — и друзья и недруги — предрекают через 20–25 лет роль супердержавы XXI века.

Я побывал в Китае пару лет назад на сессии Совета взаимодействия, объединяющего отставную мировую политическую элиту. Среди них были бывшие премьер-министры ФРГ, Японии, Канады, Англии — Г. Шмидт, Т. Фукуда, П. Трюдо, Дж. Каллаген, президент Франции В. Жискара д'Эстен, Г. Киссинджер, Т. Макнамара (бывший министр обороны США). И наибольшее впечатление на меня произвело не заметное на каждом шагу преобразование Китая, даже не скоростной, почти дерзкий темп изменений, а то, что все эти умудренные опытом государственные мужи в один голос поддерживали подобные прогнозы.

Сейчас, после длительного прозападного, а точнее, проамериканского дальтонизма внешняя политика России уделяет большее, чем раньше, внимание Пекину. Но тут важны прежде всего продуманная и долгосрочная стратегия, понимание реальных масштабов и сложностей проблемы. От Китая, который наливается силой, пожалуй, в еще большей мере, чем прежде, можно ожидать всякого. Лучший способ предотвратить нежелательное и даже опасное — в ближайшие 20–25 лет, которые будут отданы нашим соседом своим экономическим заботам, постараться сплести прочную ткань взаимопроницающих, взаимозависимых и добрососедских отношений, жизненно ценных для обеих стран.

Самый неумный и самый опасный путь — изображать Китай вероломным противником, как это делают некоторые наши политики и журналисты (среди них особенно много «китаеведов»). Многим видным политическим деятелям и политологам США и Западной Европы, когда речь заходила о российско-китайских отношениях, я задавал вопрос: «Если на границах России и Китая возникнут какие-то несприятности, придет ли Запад к нам на помощь?» Ответ неизменно был отрицательным, причем отвечали, не задумываясь. Последний раз я услышал это от одного из светил американской политологии, профессора Б. Легволда. Мне кажется, этим все сказано.

Недопустимо — по невежеству или в угоду идеологическим пристрастиям — небрежно относиться к вопросам, которые затрагивают коренные интересы Китая. Так, многие наши газеты и все телевизионные каналы в дни обострения китайско-тайваньских отношений (март 1996 г.) как по команде стали использовать формулу: «Тайвань, который Пекин считает частью Китая». Вряд ли им не извест-

но, что так «считает» не только Китай, но и мировое сообщество, что это признано ООН и подавляющим большинством государств мира. Речь, очевидно, идет о воспроизводстве формулы, которой по известным причинам отдают предпочтение иные американские авторы. Между тем подобная небрежность больше других ранит Китай, задевая национальную гордость китайцев, не забывших о тяготах и оскорблениях колониального и полуколониального прошлого, к которым, к сожалению, причастна и Россия.

Нельзя упускать из виду и то, что отношения с Пекином чрезвычайно важны для внешней политики России в целом, сохраняя ею свободы маневра. Ведь Китай — один из немногих субъектов международных отношений, остающихся вне американского контроля. Это, разумеется имеет мало общего с разыгрыванием «китайской карты», чем усердно занимался с середины 70-х годов Вашингтон, а временами и мы. Возможности и резоны для этого остались в прошлом¹⁰. И обстановка изменилась, и Китай уже — не «карта», а все более тяжеловесный «игрок». Главное же — для России отношения с Китаем не конъюнктурная проблема. С ней в некотором смысле связаны сами судьбы российские...

«Писательская» стезя привела меня и в Завидово — резиденцию Л.И. Брежнева (а теперь Б.Н. Ельцина), где он укрывался по малейшему поводу и даже без повода. О завидовских «сидениях» уже был наслышан, там часто бывали приближенные к Генеральному секретарю Арбатов, Бовин, Загладин, Иноземцев. Я же, «простой смертный», сподобился лишь раз в декабре 1975 года, перед XXV съездом КПСС.

Готовился отчетный доклад ЦК, и за мной была часть, посвященная развивающимся странам и национально-освободительному движению. В тот заезд там были секретарь ЦК И. Капитонов, помощники генсека А. Александров, А. Блатов, К. Русаков и Э. Цукапов, заместитель министра иностранных дел А. Ковалев¹¹, из Международного отдела — В. Загладин, А. Черняев и я, из Отдела социалистических стран — Н. Шишлин.

Впервые я увидел, каким образом Отчетный доклад доводится до состояния «конечного продукта». Или почти конечного: на какой-то еще стадии в мою часть, например, был внедрен, говорят Загладиным и Бовиным, термин «социалистическая ориентация», до того употреблявшийся левыми исследователями в развивающихся странах.

¹⁰ Такое мнение, высказанное мною на заседании Совета взаимодействия в июне 1991 г. в Праге, поддержал Г. Киссинджер, заявивший, что «согласен со своим советским другом».

¹¹ Ему поручили написать раздел о литературе и искусстве. Возможно, потому, что он не был настроен так догматично, как чиновники по этому ведомству. К тому же он и сам писал стихи, был членом Союза писателей.

Я получил возможность наблюдать непосредственно, вблизи (хочется сказать «вплотную») Брежнева. Три раза в день Леонид Ильич делил с нами трапезу, которая нередко затягивалась и сопровождалась разговорами на политические и кадровые темы. Причем иные из присутствующих стремились пробить свои деловые или даже личные вопросы.

Наконец, я побывал и на государственной «кухне». Непосвященному все это представляется чуть ли не каким-то священнодействием, и эту мистификацию всячески поддерживают официальная пропаганда, ее литературные служители. Но взгляд с нескольких шагов полностью разрушает иллюзию, и «действие» часто оказывается примитивным, даже пошлым делом, напоминает семейные, клановые и коммунальные отношения. Конечно, это особенно выпукло проявилось у нас в те годы. Но думаю, в той или иной мере это справедливо для любой государственной верхушки и элиты.

Завидово уже не раз описывали. Добавлю только, что ни основное строение, где были зимний сад, бассейн и апартаменты Леонида Ильича (в которых я, естественно, не бывал), ни, тем более, примыкавший дом, где жили челядь и гости вроде нас, роскошью не отличались. Поодаль стоял желтоватый дом альпийского вида, построенный, по словам обслуги, к приезду в Москву не то Киссинджера, не то Никсона.

О самом Брежневеве первое впечатление, мое и некоторых коллег, было не в его пользу. Коробили известная вульгарность поведения, фамильярность в отношениях со стенографистками и машинистками, недавняя, как говорили, привычка регулярно заставлять всех подолгу, не один десяток минут, ждать его к завтраку и т.д.

Не красило Леонида Ильича и вялое участие в работе над текстом. Он не подпитывал этот процесс, не служил источником идей, лишь давал понять, что для него неприемлемо. Зато Леонид Ильич, как выяснилось, хорошо, гораздо лучше многих, чувствовал устную речь, ее особенности и очень точно реагировал на то, что выпадало из стиля. Опытный пропагандист и политработник, Брежнев умел говорить с людьми, с массой и чувствовал, что должен произнести. Возможно, поэтому он и предпочитал знакомиться с материалом необычным способом — через читку, а не чтение. При этом он прорабатывал для себя каждое слово, взвешивал его смысловую нагрузку и эмоциональное воздействие, демонстрируя острую политическую интуицию.

Леонид Ильич в считанные минуты как бы выравнивал всех сидящих за столом (разумеется, кроме себя). Он обращался ко всем на «ты» (за исключением Пономарева, которого называл по отчеству и на «вы», что отнюдь не было проявлением особой благосклонности) и по имени, стремился показать, что все вроде равноправны. Брежнев, казалось, овладевал компанией и ставил своих коллег на место. И они

«трепетали», а народ попроще, подчиненные, чувствовал себя свободнее. Однако к помощникам Леонида Ильича, которые, конечно, зигли его лучше, это никак не относилось. Они не на шутку боялись своего босса. Когда Брежнев говорил, они, как правило, хранили почтительное молчание (у себя в отделе мы к такому не привыкли).

Брежнев в то время еще был ясен мыслью и находился в неплохой физической форме. Тем не менее уже стали весьма заметными за-цикленность на здоровье и явное нежелание заниматься делами, отталкивание от профессиональных обязанностей. Часто по утрам, за завтраком, Брежнев со вкусом рассказывал, как поплавал, каким было кровяное давление до и после этой процедуры, и с недовольством, а иногда и с гневом реагировал на попытки своих помощников — у которых, как я понял, других возможностей повидать босса было немного — заговорить о делах. Отличался этим главным образом Александров. Блатов являлся человеком гораздо более спокойным, сдержанным и, я бы даже сказал, вялым. Цуканов же, в то время по каким-то причинам впавший в немилость, неизменно хранил молчание. Говорили, что его по распоряжению Брежнева даже несколько недель не допускали на работу.

Как-то за ужином Андрей Михайлович заговорил о том, что МИД фактически игнорирует Японию. Японцам никак не удастся добиться визита в Токио Громыко, который, конечно, предпочитает ездить в Италию, Францию да в Соединенные Штаты. Между тем Япония, ее позиция имеют огромное значение, а бездействие МИД помогает США повернуть японцев против нас. Брежнев впал в сильнейшее раздражение. Он стал резко отчитывать Андрея Михайловича, который «не дает спокойно поужинать». Затем все-таки ушел в соседнюю комнату, как выяснилось, звонить Громыко. Вернувшись, сказал: «Андрей придет поговорить». Громыко в Японию так и не поехал, с поворотом в ее сторону мы серьезно запоздали.

Выйдя после ужина погулять, я повстречал на одной из дорожек Александрова, который тоже, очевидно, решил проветриться. После нескольких ничего не значащих фраз он вдруг заговорил о недавнем эпизоде. «С Леонидом Ильичом стало трудно. Он всю жизнь был удачлив, ему неизменно везло, и это наложило свой отпечаток. Всегда был бонвиваном, а сейчас положение, возраст, болезни, склероз... Стал очень капризен и часто ведет себя, как барин, к работе относится с неприязнью, всячески отлынивает».

Эти излияния меня не просто удивили — поразили. Железный закон для любого помощника такого ранга — полное молчание о делах и намерениях шефа, но в особенности о его личных качествах (кроме, конечно, всяческих похвал). И как надо было задеть Александрова, чтобы он впал в такую откровенность с человеком, с которым у него никогда не было (и впоследствии не будет) внепрофессиональных, внеслужебных отношений.

Действительно, барин в Брежневе проглядывал. Причем такой, который получает от своей власти удовольствие и потому, что может, когда заблагорассудится, сделать доброе дело («отдать шубу с барского плеча»). Бросалось в глаза также то, что он как-то по-детски наслаждался вещами, питал явную слабость к красивой одежде, любовался, например, своей бобровой шубой, с гордостью демонстрировал специально для него изготовленные электронные часы, которые только-только входили тогда в моду, и т.д. Кстати, кейс, полный, наряду с другими вещами, разнообразных часов, был обнаружен в одном из сейфов Брежнева в ЦК, вскрытом после его смерти, как рассказывал мне работник, проделавший эту операцию.

Немало написано о пристрастии Леонида Ильича к охоте — могу тоже это засвидетельствовать. За короткое время, что мы провели в Завидове, это занятие организовывалось несколько раз, и его неизменным участником был Черненко. Я видел его там трижды. Охотничьи подвиги были приятным и частым сюжетом бесед за трапезами.

Мне показалось, семейные узы не слишком влекли к себе Брежнева, по крайней мере в это время. Даже свой день рождения, 19 декабря, он предпочел отмечать в Завидово, фактически в нашем кругу, заметив, что «Дима (т.е. Устинов) болен, а Андрей (Громько) в отъезде». Домой он лишь заскочил (на вертолете) накоротке днем. Вечером же за праздничным ужином был дан старт коллективному подобию страсти, которое вообще пронизывало всю завидовскую атмосферу. Я видел не раз, как один из гостей подстерегал после трапезы Леонида Ильича на лестничной клетке с полотенцем в руках.

Но в тот вечер участники состязались, кто скажет крепче, забористее. Хотя на меня уже несколько раз выразительно поглядывал сидевший напротив Андрей Михайлович, я замешкался — и не только из-за душевной изжоги от неприличного состязания в воскурении фимиама, но прежде всего из-за робости впервые попавшего в этот круг человека. Энергичный шепот Александрова вывел меня из оцепенения — время истекало, «выразились» все, кроме меня. Я встал и тоже сказал что-то приличное случаю, в частности нес какую-то чушь о благотворной связи Брежнева с национально-освободительным движением и его выдающихся заслугах по укреплению отношений между развивающимися странами и СССР.

За обеденным столом затрагивались, конечно, и серьезные вопросы. И ошеломляло, как порой произвольно они решаются. Так, однажды заговорили о предстоявших Олимпийских играх в Москве. Кто-то стал напористо доказывать, что это «не ко времени», в стране столько проблем, а придется «выбросить» 4 млрд. рублей и т.п. Рассуждения произвели впечатление на Леонида Ильича, и он удалился к телефону. По возвращении заявил: «Поздно, уже дали обязательство. Игнатий (И. Новиков, зам. председателя Совмина СССР и председатель Оргкомитета по подготовке к Олимпиаде) уже 40 с лишним стран объехал».

Или разговор на лестнице между Брежневым и Капитоновым (шефом организационно-партийного отдела), свидетелем которого я случайно оказался. Капитонов спрашивает, выдвигать ли в состав ЦК членов семьи генсека. Леонид Ильич отвечает вопросом: «А что, члены моей семьи — лишены?» На XXIV съезде в состав высших органов КПСС был избран его зять, Ю. Чурбанов, а на следующем, XXV съезде, и сын, Ю. Брежнев.

Не скажу, чтобы общение с Брежневым на бытовом уровне выходило его в наших глазах, скорее наоборот. И дело даже не в его личных качествах. Живя с большим поэтом в коммунальной квартире, рискуешь слишком большое внимание уделить стоптаным башмакам или неаккуратности в ванной. Так и с большим политиком: само лицемерие его без котурн, в будничной обстановке как бы «раздвигает», демифологизирует его, приравнивая к простым смертным...

В Зимнем саду состоялась неспешная читка текста будущему оратору. Он слушал внимательно, настойчиво требовал убрать отягчающие преувеличения определения и обороты. Сделал немало замечаний, раскрывающих его образ мыслей, его настроения, даже его внутренние «нестыковки», если не сказать больше. Человек, который в тщеславии, неумной тяге ко всякого рода регалиям и наградам добрался до анекдотических высот, в своих замечаниях предостерегал нас от проявлений нескромности. Руководитель, который в соперничестве с Косыгиным помешал проведению экономической реформы, говорит о том, что генсеку не к лицу, «неудобно» слишком глубоко входить в хозяйственные вопросы, «торговаться», ведь «есть какое-то разделение между политической и хозяйственной ролями». Наконец, лидер государства, целиком погруженного в холодную войну и подозревавшегося Западом в агрессивных намерениях, фантазирует о совместном советско-американском обязательстве не только не нападать друг на друга, но и защищать друг друга.

Привожу (по своей записи, а частично по стенограмме) замечания Леонида Ильича, главным образом касающиеся международного раздела. Думается, это любопытный документ времени.

«16 декабря 1975 года

БРЕЖНЕВ. Сразу даем положительную оценку пятилетию, а это нескромно. Нельзя ли начать так: «Товарищи, отчетный период был одним из насыщенных во внутренней деятельности. Наш ЦК, вся партия руководствовались указаниями Владимира Ильича Ленина». И дать цитату. Тогда мы начали бы с Ленина, а то его высказывания у нас где-то запрятаны. В тексте хорошая цитата Ленина.

Мне думается, может быть, нам обойтись без того, что начало мирному сотрудничеству положила Франция. Подумайте над этим. Де Голля нет, и, конечно, это поднимет Жискара д'Эстэна. Мы можем войти в обостренное положение с Марше: он может сказать, что мы

поднимаем Жискара д'Эстэна, ничего не говорим о том, что сделали компартия и рабочий класс Францин. Реальность есть реальность.

Началось с одной партии, с Мао, затем Албания, потом Италия, а теперь и Франция — куда же идет дело?

БЛАТОВ. Против значения сотрудничества со страной в целом коммунисты никогда не возражали.

БРЕЖНЕВ. Я в спор не вступаю, но это документ съезда.

АЛЕКСАНДРОВ. При всем том в уюду Марше мы не можем изменить принципиальную линию.

БРЕЖНЕВ. Не приспособливаться, это не годится. Но вместе с тем, где можно, немного изменить форму, не меняя существа дела.

Можно по-разному понять: «казнить нельзя помиловать» — все зависит от того, где поставить запятую. Я имею право обозначить как персону. Какая была обстановка? Хрущев угрожал — от башмака до мата и ракет. В Большом театре мы пригласили английского посла с женой, он нам рассказывал, как Хрущев говорил, что ничего не стоит попасть в Белый дом ракетой... Теперь же совершенно другое. Двенадцатый год мы ведем одну линию, ровную последовательную политику, которая принесла нам доверие. Если бы мы продолжали линию с самого начала, то, наверное, и Аденауэр не удержался бы столько, и весь процесс до 1964 года был бы лучшим, чем он остался нам в наследство. Мне это больше всех чувствительнее.

С Кубой — Бирюзов говорил, у них там пальмы есть, я под пальмы ракеты поставлю. Но если бы вы видели, что делалось на даче в Огарево, когда Америка объявила блокаду.

Вы помните, какие усилия и способности ЦК и Политбюро приложили в 1964 году. Мы разъединенную партию соединили. В 1969 году казалось невозможным провести международное совещание, а мы его провели. Одно дело, конечно, в столовой шутить, побасенки рассказывать, а другое дело — нанизать факты и события, саму жизнь. Она самотеком не идет...

АЛЕКСАНДРОВ. В этом смысле характерна реакция на наш план.

РУСАКОВ. Снижение темпов воспринимается на Западе как здоровый реализм...

БРЕЖНЕВ. Мы сами переживали, и в Госплане, и в Совмине, как быть, что делать. Если бы была нужда, я могу и у нас, и в Кремле найти людей, которые рассуждали: снижение темпов — значит, снижение жизненного уровня народа, значит, политика не туда идет.

Сейчас, по крайней мере на 50 лет, есть один вопрос, один способ, который может предупредить все на земном шаре. Мы клянемся, проводим съезд, пленум, сессию Верховного Совета. Американцы проводят у себя конгресс. Говорим, что никогда не позволим себе напасть на Америку. И американцы на себя берут такое же обязательство. В этом случае если на одну сторону вздумает кто-то

напасть, то другая сторона автоматически включается в защиту. А иначе нет конца. Было два старта, появились крылатые ракеты — мы должны чем-то отвечать. Китай разрабатывает оружие (я сегодня ночью читал), Индия вздумает, вот и живи в этом «спокойном» мире.

Я против гонки, это естественно, это искренне. Но когда американцы заявляют о наращивании, Министерство обороны мне говорит, что они не гарантируют тогда безопасности. А я Председатель Совета обороны. Как быть? Давать им 140 миллиардов или 156? Американцы хитрят, говорят, что их ракеты не стратегические, а ведь у них выгоды географического положения...

По Вьетнаму. Здесь сказано: вооруженные до зубов... (о США. К.Б.). Можно сказать по-другому. Это ведь доклад на высоком уровне, доклад на съезде. Очень часто мы стараемся что-то преувеличить, у нас налицо гипербола.

Стр. 2, второй абзац. «Выдающимся результатом соединения усилий соцстран явилось международное признание ГДР». Меня смущает эта фраза. Ведь надо иметь в виду и Хонеккера.

О Кубе. «Минувшее пятилетие отмечено новыми крупными победами на кубинской земле. Империализм вновь глубоко просчитался». Почему просчитался? Куба живет уже 12 лет, а империализм просчитался только в этом пятилетии. Это фактически неверная формулировка и неправильная форма ее изложения.

А.И. БЛАТОВ. Речь идет о блокаде.

Л.И. БРЕЖНЕВ. Она и сейчас есть, эта блокада. Можно сказать по-другому: несмотря на миролюбие, стремление к мирному решению своих внутренних проблем, несмотря на поддержку со стороны латиноамериканских стран, США до сих пор не снимают блокаду с Кубы.

Стр. 4. «Укрепление руководящей роли коммунистических и рабочих партий, политическая стабильность, новые более высокие качества всей жизни — таковы характерные черты минувшего периода» (о социалистических странах. — К.Б.). Разве это абсолютно точно, разве везде есть политическая стабильность?..

Стр. 5, первый абзац. «Правда, есть у нас различия в подходах к ряду вопросов, в частности, с югославскими и румынскими товарищами». Румыны это примут по-своему, а Тито — по-своему. Он обидится. Надо сказать об этом как-то по-другому. О Румынии, например, так: «Румынское руководство иногда создает затруднения в единении нашей общеполитической линии. Мы об этом, не скрывая, говорили румынским товарищам. К таким вопросам относится политическое отношение к Китаю и Израилю». (Можно назвать еще страны.) Это уже совершенно другая форма изложения...

Стр. 9, второй абзац. «Расцвет братской дружбы и всестороннее сотрудничество социалистических стран — вот наша цель, вот наш закон действий на сегодня и будущее». Я здесь против таких слов,

как «наша цель». Не люблю я слова: «наша цель», «решено», «успех», «многоплановое», «малоплановое»¹².

Стр. 11, последний абзац. Я бы из скромности, которая иногда необходима, не говорил бы так: «Эта Программа (речь идет о Программе мира. — К.Б.) уже выполнена или близка к выполнению». Можно обойтись без этого.

По ближневосточному вопросу есть что сказать. У нас здесь определенная позиция, хотя мы и зашли в тупик ввиду предательства Садата. Дело еще придет к урегулированию. Ведь помимо Садата есть и другие страны — Сирия, Ирак, Ливан и т.д.

Стр. 13. Написано так: «На базе договора 1970 года произошел большой сдвиг к лучшему в советско-западногерманских отношениях, значение которых для общего положения в Европе очевидно». Во-первых, я против того, чтобы говорить «к лучшему». Можно найти другие слова. Например: «У нас установились нормальные официальные отношения с ФРГ, начало развиваться экономическое сотрудничество». Слово «к лучшему» я бы выбросил. Во-вторых — «значение которых для общего положения в Европе очевидно». Давайте не принижать нашей роли.

Стр. 14, первый абзац. Мы говорим, что выполнили все обязательства по Западному Берлину. Говорим, что готовы содействовать его нормальной жизни. Ничего мы не делали по этому вопросу. Эту формулировку я прошу продумать. Звучит она не совсем верно.

18 декабря

Л.И. БРЕЖНЕВ. Общее впечатление — напрашивается сокращение. Много повторов. «Мирное сосуществование», «империализм» — подобного рода слова не облегчают и не улучшают содержания.

Стр. 20. По Японии надо подождать.

Стр. 20, второй абзац: «Мы твердо намерены проводить активную перестройку...» Вряд ли можно сказать, что мы хотим «перестроить». Слово неподходящее.

Я бы так не выражался: «Все богаче по содержанию становятся наши отношения с северной соседкой». Хорошенькая соседка — это целая страна. Нельзя так легко говорить о таком государстве. Я считаю, что это как-то неуважительно. О Канаде, конечно, надо сказать. Это государство очень крупное и перспективное, поддерживает нас по принципиальным вопросам: по Ближнему Востоку, экономически сотрудничает, на конкурсе приняла наши ленинградские турбины...

Стр. 24. Напрашивается сокращение. В основном к этому сводятся все замечания.

Я бы, например, немного Африку сбил в одно место и сказал: большого, конечно, интереса и внимания заслуживали со стороны

¹² Так в тексте. — К.Б.

нашей партии народы и государства Африканского континента. И под этой шапкой разделить: мы горячо поддерживаем и будем продолжать поддерживать Гвинею и др., группу государств, которые давно имеют с нами хорошие отношения; новое качество приобрели за отчетный период между съездами отношения с Мали, Сомали и др.

Стр. 26. Выражение: «Отношения Советского Союза с арабским миром развивались в целом по восходящей линии». Какая «восходящая линия»? Так не говорят на политическом языке. Или: «Новая фаза открылась с Ираком». Нельзя так. Надо строже быть к себе в таких вещах. Где хорошо, красиво сказано — ничего и не скажешь. По-моему, хорошо, сильно сказано о Чили, хотя и кусок большой, но там сила. Это нужно».

Добавлю, что чтение моего раздела было на некоторое время прервано вдруг возникшим (в контексте подготовки съезда) разговором об Уставе партии и новом образце членского билета. И Брежнев, не скрывая неудовольствия, сказал: «Вот Шелест и Подгорный предлагали, чтобы в партбилете было отображено членство в Компартии Украины». Прозвучавшая тут нотка осуждения «самостийности» была сразу же активно поддержана Александровым, который стал что-то говорить об «уступках» националистам...

Пребывание в Завидове увенчала большая кабанья нога, которую мне доставили домой работники фельдсвязи. Как я узнал потом, это была установившаяся форма благодарности генсека участникам «сидений». Я должен признаться, реакция у меня была смешанной. Вроде я уже познал, побывав в Завидове, подлинную цену руководящей «кухни», но все же было лестно получать «высочайший дар». Слаб человек...

Из остальных дачных «сидений» упомяну еще только об одном. Поздней осенью 1980 года в Ново-Огареве трудилась над отчетным докладом XXVI съезду группа во главе с Александровым. Все развивалось своим чередом, как обычно шла довольно скучная работа, изредка лишь оживляемая рассказами Андрея Михайловича о том, как в том же зале, где мы обедали, Никсон в ходе встречи в верхах 1973 года, пьяный в стельку, прилюдно дрессировал Киссинджера.

Однажды днем мне понадобилось съездить в отдел. Едва мы выехали на Рублевское шоссе, как кто-то нам вслед стал истошно сигналить, требуя уступить дорогу. При первой же возможности водитель так и поступил, и нас обогнала серебристого цвета автомашина иностранной марки. Сидевшая за рулем броско и обильно накрашенная дама энергично погрозила нам кулаком. У поворота на Архангельское (там, где посреди клумбы были водружены деревянные олени) нас остановил пост ГАИ. Дама была тут же, мне она показалась слегка подвыпившей. Указав перстом на нас милиционерскому капитану, она села в машину и уехала.

Капитан подозвал к себе Володю (так звали водителя), записал его фамилию и стал выговаривать ему за то, что он «мешал обгону». Когда же я решительно встал на его защиту, страж порядка просто-сердечно признался, что не может не дать хода жалобе, ибо она исходит от самой «жены министра». Итак, то была мадам Щелокова. Приехав в отдел, я «профилактически» позвонил в Управление делами, и, как оказалось, не зря: туда вскоре пришла бумага на водителя. Вернувшись на дачу, за ужином рассказал о происшествии, не называя фамилии дамы. Но это было и ненужным. Едва дослушав, Александров, возбужденный, заговорил: «Это супруга Щелокова. Безобразие, она всеми способами компрометирует Николая Александровича». Сидевший тут же Зимянин промолчал.

Работая консультантом, я один-два раза в год, а иногда и чаще ездил в зарубежные командировки. Побывал в США и Японии, ФРГ и Италии, Норвегии и Исландии, Венгрии и ГДР, в Югославии и Чехословакии, Алжире и Египте и т.д. В те годы выезд из страны был уделом избранных, так что эти командировки можно смело отнести к привилегиям. Они были неоценимыми во многих отношениях. Прежде всего позволяли реально представить ту материю, которая служила предметом нашей работы, людей, бывших нашими партнерами, собеседниками и подопечными. Зарубежные вожди расширяют пространство, в котором «ходят» мысли человека, обогащают его эмоционально и психологически, давая возможность непосредственно ощутить иной образ жизни, иную культуру, иных людей. Это и пицца для ума, и своего рода смотровая площадка, с которой удобнее сравнивать свои и чужие порядки, свою и чужую жизнь. Я это испытал в полной мере, что, конечно, серьезно повлияло на мои взгляды, на мое мировоззрение.

Вот только несколько иллюстраций к сказанному.

В октябре 1964 года меня направили в Каир, где предстояла III Конференция глав неприсоединившихся государств. Сегодня термин «неприсоединение» знаком, наверное, немногим. Тогда же это слово было достаточно расхожим. Оно означало отказ большой группы государств (в основном бывших колоний и полуколоний) присоединиться к одному из двух блоков или одной из сверхдержав, которые сошлись во всемирной схватке, отказ, опирающийся на убеждение, что эта схватка чужда их интересам, их стремлению укрепить свою независимость, проводить самостоятельную международную политику. Это и было главным первым Движения неприсоединения. Но, отказываясь участвовать в сверхдержавной конфронтации, неприсоединившиеся страны не отказывались от энергичной роли в международных делах, от критической оценки политики противостоящих блоков. Более того, они порой претендовали на роль своего рода блюстителей международной нравственности, чуть ли не совести мира. Эти амбиции поощрялись едва ли не всеобщим ожиданием, что

странам «третьего мира» предстоит занять весьма весомое место в международной жизни.

По любым критериям Каирская конференция явилась крупным международным событием. На ней были представлены 57 государств (главным образом их лидерами) четырех континентов. Выбор Каира как места проведения конференции был, конечно, не случайным. Объединенная Арабская Республика (ОАР) и ее руководитель Гамаль Абдель Насер тогда пользовались большим международным авторитетом. А в арабском мире — от Атлантического до Индийского океана — имя Насера звучало колоколом свободы, было символом национального возрождения.

Многое на Каирском форуме могло вызвать улыбку. Встречи делегаций в аэропорту, где почти в открытую, на глазах, из безработных и праздношатающихся за горстку шиастров формировали толпу, которая нестройными голосами приветствовала Насера и гостей. Преувеличенное внимание к церемониальной стороне и торжественным ритуалам, которыми явно наслаждались некоторые участники конференции. Стоящий за спиной президента Индонезии Сукарно, который, держа под мышкой жезл, произносит с трибуны речь, его адъютант, увешанный аксельбантами, украшенный золотыми позументами и прочими яркими аксессуарами. Высокопарные речи некоторых ораторов, использовавших трибуну форума для самовозвеличения.

Но все это были мелочи, к тому же вполне извинительные, учитывая молодость большинства государств, их стремление к самоутверждению. Главным в дебатах на конференции, в ее документах были осуждение империализма и колониализма, ядерного терроризма («сдерживания»), утверждение независимости неприсоединившихся стран и провозглашение, как своего идеала, мира, основанного на справедливости. Любопытно, как заключительное слово Насера перекликается с нашими формулами перестроечных лет да и сегодняшними речами. «Концепция мира, — говорил он, — здесь тесно связывалась с концепцией справедливости. Мир не приз, который подлежит разделу сильными на конце их штыков. Мир, основанный на балансе сил, как это доказано, не достигает цели. Именно крах такого мира стоил человечеству двух мировых войн. Затем мы увидели и другой вид равновесия — равновесие, основанное на ядерном устрашении... Но прочный мир может быть достигнут только путем справедливости».

Поскольку неприсоединившиеся страны, недавние колонии, вырывали свою независимость у западных держав и от них же ее защищали, постольку страстные филиппики против сохранившихся очагов колониализма, против иностранных военных баз, против неоколониалистской политики фактически адресовались Западу. Да и в целом позиции неприсоединившихся стран и их риторика были окрашены антизападными тонами. Советский Союз пытался, опираясь

на это, использовать Движение неприсоединения в своих интересах, одновременно в какой-то мере приспособляясь к его позициям. И частично это удалось. Наиболее прыткие в социалистическом лагере поговаривали даже о необходимости превратить движение в своего союзника. По-своему помогали советским маневрам и западные державы, у которых часто не хватало ни ума, ни терпения не относиться враждебно, не третировать это движение, а переждать, дать время сгладить горечь колониального прошлого, учитывая, в частности, что входящие в него молодые государства должны «перебродить».

Тем не менее участники конференции, при всей ее антиимпериалистической и антиколониальной направленности, не отошли от своего базового подхода — неблокового и даже антиблокового — вопреки, с одной стороны, усилиям наших друзей в движении, воевавших против его «равной удаленности» от сверхдержав, и с другой — давлению Соединенных Штатов, требовавших от неприсоединившихся стран проводить более «умеренную» и «уравновешенную» линию. Объяснение все то же: стержнем их позиции были утверждение и защита самостоятельности, а присоединение к любому из блоков подчиняло его дисциплине.

В египетской столице были представлены разные государства: абсолютные и конституционные монархии, республики с демократическими и диктаторскими порядками, самостоятельные и все еще зависимые страны. Однако все они, несмотря на различия во взглядах и серьезные противоречия, смогли прийти к некоему общему знаменателю. Ключ к этому — общность интересов неприсоединившихся стран. Причем в Каире, по сути дела впервые (и это тоже важная особенность конференции), стала выдвигаться на первый план экономическая проблематика. Была принята на вооружение концепция деления мира на богатые и бедные нации (Север—Юг). Развивая эту идею, Насер говорил в заключительной речи: «Процветание должно быть разделено со всем миром. Богатство, которым обладают некоторые, не родилось только в их собственных границах...»

Золотой век Движения неприсоединения, если он и был, ныне уже в прошлом. С исчезновением альтернативы, с появлением одноблокового — натовского, однополярного, «американского» — мира антитеза двухблоковой политике и биполярному миру потеряла прежний смысл, а с ней была утрачена и относительная свобода маневра. Не состоялось и превращение освободившихся стран в особую и мощную международную силу. Однако сама идея самостоятельной и специфической политики стран Азии, Африки и Латинской Америки, их стремление к повышению своей международной роли живы. Именно они, прежде всего в экономическом аспекте, лежат в основе попыток возродить Движение неприсоединения, что было предметом конференции входящих в него государств в ноябре 1995 года в Индонезии.

Из Каира я поехал в Асуан. В 60-е годы это название было хорошо знакомо в нашей стране. В Асуане шла великая стройка — одна из самых больших в XX веке, там кипела работа, в которой участвовали сотни и тысячи советских специалистов. Возводилась высотная Асуанская плотина, создавалось огромное водохранилище («озеро Насер») протяженностью более 500 километров при средней ширине 6—10 километров, сооружалась гидроэлектростанция мощностью в 2,1 млн. киловатт. Сейчас это, пожалуй, вновь курортное захолустье, которое изредка привлекает к себе внимание лишь по какому-то случайному поводу, вроде, скажем, съемок фильма «Смерть на Ниле» по роману Агаты Кристи.

Асуан имел жизненное значение для нормального существования Египта. Он должен был обеспечить (и обеспечил) увеличение почти на одну четверть общей площади орошаемых земель, удвоение производства электроэнергии, защиту от разрушительных наводнений. Паводки, которые продолжаются от трех с половиной до четырех месяцев, приносили в долину Нила жизнь — влагу и ил, но очень часто и беду.

Египетский президент Мубарак, касаясь утверждений, модных одно время и в нашем «демократическом бомонде», будто Асуанский проект «не принес Египту никакой пользы», заявил в сентябре 1997 года: «Естественно, что на Западе кое-кто так говорит, когда речь идет о Советском Союзе. Асуанская плотина семь раз за эти годы спасала Египет от засухи и по крайней мере три раза — от наводнений. Никто не может сейчас критиковать сооружение Асуанской плотины»¹³.

Первоначально стройку в Асуане взялись финансировать правительства США и Англии и Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Однако в 1956 году США, недовольные самостоятельным курсом Насера и развитием египетско-советского сотрудничества, отказались от своих обещаний и побудили к тому же МБРР Американскому примеру, естественно, последовали и англичане. А тут подспела и тройственная агрессия против Египта — Англии, Франции и Израиля. Вернулись к вопросу о стройке в конце 1956 года, когда СССР согласился предоставить кредит — сначала 400 млн. рублей, а затем еще 900 млн. (эти займы Египет полностью возместил) и оказать техническую помощь.

Я пробыл в Асуане сутки. День был отдан знакомству со стройкой и визиту в мавзолей «Noog el Salaam» («Свет мира»), усыпальницу Ага-хана III, имама 15-миллионной мусульманской секты низаритов-исмаилитов (и деда ее нынешнего главы Карим-Шаха Ага-хана IV, недавно посетившего Москву¹⁴ и с помпой здесь принятого).

¹³ Независимая газета. — 1997. — 23 сент.

¹⁴ В СНГ исмаилиты живут в Горно-Бадахшанской области Таджикистана.

живущих в 20 с лишним странах Азии и Африки. Это своеобразная теократическая монархия без территориально-политических границ, но со своей материальной базой (члены секты платят десятину) и коммерческими интересами. Она построена на безусловной покорности имаму и функционирует по типу подпольной организации («пятёрки», «семерки» и т.д.).

Сооружение из белого мрамора, возвышающееся на крошечном островке и выглядящее ослепительно-белоснежным на фоне сверкающего южного солнца, особенно в час его начинающегося захода, оно запомнилось мне и благодаря надписи у надгробия Ага-хана: «Во имя Аллаха милостивого и милосердного, это мавзолей Султана Мухаммеда Шаха Аль-Хусейна Ага-хана III, рожденного в Карачи 2 ноября 1867 г. Ага-хан был 48-м имамом шиита имама исмаилия в течение более чем 70 лет. Он ушел от нас 11 июня 1957 года в Версуа (Швейцария). Его тело было перенесено сюда для упокоения 20 февраля 1959 года (далее полторы пустые строчки для того, чтобы вписать после кончины имя жены, кстати, француженки, обращенной в ислам). Мавзолей сооружен по приказу Бегум (т.е. жены) Аль Хадуа Умм Хабиби во исполнение воли ее мужа».

Вечер и часть ночи вместе с секретарем парткома стройки Николаем Матвеевичем, крупным, массивным и басовитым, но улыбочивым мужчиной, я провел в гостях у советских специалистов. И мне приоткрылся их своеобразный быт, жизнь на виду, в тесном, без особых условностей, общении друг с другом. Не думаю, что это можно было специально организовать: в нескольких квартирах, которые мы навестили, двери были нараспашку, сидели компании. Выпивали, играли в преферанс. Была ночь с пятницы, 14 октября, на субботу.

Нас встретили гостеприимно, но просто, без тени подострастия, а потом усадили пить и играть. Ранним утром, перед отъездом в аэропорт, Николай Матвеевич предложил заехать в столовую, выпить по стакану кефира (после угощения это хорошо, сказал он со знанием дела). Выйдя из столовой и садясь в «джип», увидели бегущего к нам молодого рабочего. Он кричал: «Николай Матвеевич, Николай Матвеевич! Хрущева сняли, Булганина назначили!» Николай Матвеевич принялся увещевать парня, просил не повторять «ерунду», но тот настаивал на своем, ссылаясь на то, что только что слушал радио.

Приехали в аэропорт и поняли: в Москве что-то произошло. К нам подходили озабоченные арабы, спрашивали, правда ли, что сняли Хрущева, и почему. А в Каире выяснилось, что парень из Асуана прав: Хрущев свергнут. Не знаю только, как возник Булганин.

В египетской столице московские перемены встретили негативную, если не болезненную, реакцию и у руководства, и у части простого люда. Никита Сергеевич здесь был популярен. Каирское телесвидение 15 октября пару раз демонстративно показало вышедший к 70-летию Хрущева советский фильм «Наш дорогой Никита

Сергеевич», где Брежнев, изысняясь в любви, целовал его в засос. Нашу машину в тот день не раз останавливали солдаты, молодые люди, даже женщины с неизменным вопросом: «Почему убрали Хрущева?» Зато оперативно, в изысканно-чиновничьей манере прореагировал наш посол. Явно без инструкции из Москвы он отправился в Национальную библиотеку и востребовал назад подаренные Никитой Сергеевичем книги с его автографами. Должен сказать, что египетский казус был не единственным, когда московские потрясения пришлось на мое командировочное время. Ситуация почти повторилась 27 лет спустя. В августе 1991 года я, советник президента СССР, был направлен в Сирию с посланием Горбачева к президенту Асаду. Вручение послания и длительная, почти пятичасовая беседа состоялись вечером 17 августа в прибрежном городе-курорте Латакия, где отдыхал сирийский президент, а 18-го я вернулся в Дамаск, намереваясь на следующий день первым рейсом улететь в Москву.

Рано утром 19-го за бритьем меня застал звонок нашего поверенного в делах. Сдавленным голосом он сообщил, что в Москве «происходят события». Приехав в отель, поверенный передал все, что слышал по радио (мидовское начальство пока молчало). Но главное, что его интересовало: не стоит ли «заморозить» написанную накануне шифровку — отчет о беседе с Асадом: ведь там не раз упоминается Горбачев и сирийский президент о нем тепло отзывается? За 27 лет наши представители не очень изменились — чиновничья «косточка» бессмертна.

Я не выказал возмущения, хотя оно и просилось наружу, лишь сказал, что телеграмму следует без задержки отправить. Тем не менее поверенный повторил свой вопрос в аэропорту, но на этот раз, не решившись, видимо, вновь обратиться ко мне, через ездившего со мной начальника Управления Ближнего Востока МИД В. Колотушу. Телеграмма была послана, пришла в Москву, но похоронена — теперь в МИД, который не стал ее рассылать («а вдруг...»).

На час раньше ко мне в отель приехал сирийский заместитель министра иностранных дел и, не скрывая беспокойства, стал расспрашивать, что произошло в Москве, не отразятся ли перемены на советско-сирийских отношениях. Я, естественно, ничего не мог толком ответить.

Но до чего сильны въевшиеся в кожу и завещанные прошлым рефлексы! Сидя в самолете, я размышлял, не возьмут ли в Шереметьеве меня, как сотрудника Горбачева, под стражу. Понимал, что вероятность такая не слишком велика, но все же готовился и даже шутил на эту тему с моим коллегой по командировке. В Москве на нас никто не обратил ни малейшего внимания, а меня ждала служебная машина...

В феврале 1970-го, через год с небольшим после ввода советских войск в Чехословакию, я побывал в Финляндии. Местная компартия

не поддержала наше чехословацкое «искусство». Ее позиция была тем более знаменательной, что Финляндия в послевоенный период постоянно оглядывалась на своего могущественного соседа. Все, что я увидел в этой соседней стране, вызывало сравнение с домашними условиями. И как результат — еще один кирпичик в здание критического анализа наших порядков.

Сразу бросились в глаза большое сходство в планировке городов, хорошо продуманный функциональный характер архитектуры (комбинация конструктивистских решений и современных новаций), отнюдь не безликой, забота о человеческих удобствах, даже и (особенно) в мелочах. И может быть, самое главное — отсутствие сколько-нибудь существенной разницы между столицей и провинцией в уровне обустроенности, бытовых и сервисных удобств (в 30-тысячном городе Савонлинна, например, было 6 ресторанов, каждый на 200—260 мест), в одежде, во внешнем виде жителей и т.д.

Была очевидна огромная роль кооперативов в торговле, в секторе обслуживания, в сфере развлечений. Членство в кооперативах — массовое, оно приносит реальные материальные выгоды. Самодеятельность граждан принимала самые своеобразные формы: скажем, во многих городах работали народные институты, опиравшиеся на финансовую поддержку государства и муниципалитетов. Например, в Пори, провинциальном центре, в таком институте 2700 человек изучали языки, общественные дисциплины, даже естественные науки.

В Финляндии я воочию убедился, что чехословацкая акция усилила в компартиях акцент на национальные моменты, ускорила процесс размывания скреплявшего их «цемента» официального интернационализма. В аудиториях, где собирались коммунисты и им сочувствующие, меня спрашивали: «Как согласуются ленинские принципы национального вопроса и Чехословакия?», «Значит, если бы у нас победил социализм, вы бы устанавливали, есть у нас опасность или нет?», «Как может маленький народ, например финский, сохранить у вас свою самобытность?». Запальчивость некоторых из задававших вопросы и живая реакция аудитории никак не вязались с моим представлением о финской сдержанности и молчаливости.

Уже в первый день пребывания в Хельсинки сопровождавший меня заведующий Отделом науки ЦК Компартии Финляндии О. Бьербакка рассказал анекдот. Финн пригласил друзей, все собрались, молчат. Вдруг кто-то попытался произнести тост. Тогда хозяин, указывая на водку и закуски, говорит: «Что мы, болтать собрались?» Вернувшись из лекционной поездки, я выразил сомнение в правильности этой молвы. Но Бьербакка возразил: «Это — особый вопрос. Он подогрел наших товарищей. Многие не понимают...»

В Финляндии я впервые вживую соприкоснулся также с тем, что линия раздела по чехословацкому вопросу проходит и внутри партий,

что он стимулирует возникновение или усиление более широких, часто уже программных противоречий с позицией КПСС.

Обратил я внимание и на такое явление, о котором знал лишь из информационных материалов и рассказов коллег: наличие среди членов КПФ и ее активистов частных собственников, владельцев пансионатов и ресторанчиков, магазинов и лавчонок, естественно, использующих наемную рабочую силу. Это явление, уже характерное и для других компартий, хотя и не вполне совместимое с марксистско-ленинской доктриной, очевидно, было симптомом их эволюции, свидетельством приспособления к меняющимся обстоятельствам.

И последнее политическое впечатление — сильные левые настроения среди студентов. О «полевении» или даже радикализации части молодежи — но нерабочей, остававшейся, скорее, пассивной — говорили мне многие. В университетских аудиториях и общежитиях я видел много портретов Мао и еще больше — Че Гевары, обилие левацкой литературы. Не раз попадались молодые люди, которые старались и внешне походить на Че Гевару.

По требованию студентов в ряде университетов были введены учебные курсы по марксизму. Молодежная радикализация иной раз принимала и весьма необычные, бескомпромиссно-наивные формы. Мне довелось видеть, как в телевизионном диспуте сошлись артисты — молодые и постарше. Первые говорили, что будут отказываться исполнять роли, которые противоречат их политическим взглядам. Вторые убеждали, что избранная ими актерская профессия обязывает играть все.

Впрочем, в ту пору «чегеваризм», романтический образ «страстного революционера» привлекал молодых людей во многих странах. Сегодня в России часто можно прочитать и услышать, что единственной мыслимой опорой левых сил в обществе могут быть лишь маргиналы. Я же думаю, что юность, молодость всегда будут тянуться к идеям социальной справедливости, к рыцарским, мятежным фигурам, их символизирующим и олицетворяющим. Это, кстати, вновь подтвердила распространившаяся на многие страны недавняя волна интереса к личности Че Гевары, связанная с 30-летием расправы над ним и перезахоронением его останков. Западные СМИ, даже консервативные и правые, не посчитали для себя возможным пройти мимо этого события и не воздать должное Че. Так, например, французский журнал «Пари-Матч» писал: «Че оказался неподвластным времени, превратившись в законченный и наиболее знаменитый образ современного революционера»¹⁵.

Как в каждой поездке, в финской тоже были «моменты расслабления». Меня повели в кинотеатр посмотреть забавную пародию на порнофильмы, тоже достаточно откровенную. В те годы скандинавы,

¹⁵ Paris-Match. — 1997. — 2 oct.

особенно датчане, были «впереди планеты всей», во всяком случае в Европе, по части «сексуальной революции». Датские фильмы «Большая глотка» и «Один вечер с Бертой» могли служить образчиком в этом смысле.

В Финляндии ситуация была иной, и это стало сюжетной основой фильма. Приехавший в Хельсинки американец в компании финнов держит речь о том, что Финляндия — «отсталая страна», поскольку здесь не развита порнография, что «порнография спасет ее» и он прибыл «помочь». Затем демонстрируется эта «помощь»: съемки «спасителем» из США порнофильма, которые завершаются его эйфорическими декларациями, исполнением государственного гимна Финляндии и подъемом ее флага. Как я понимаю, теперь «помощь» оказывается России. Россию тоже учат «заниматься (какой подходящий глагол, не правда ли!) любовью», а не любить. И не «обязаны» ли мы, в частности, этому обучению блестящим достижением: в десятки раз возросшим числом больных сифилисом и другими венерическими заболеваниями?

И совсем коротко о первом свидании с Соединенными Штатами в феврале 1973 года. С тех пор бывал там не раз, и представление об Америке сегодня шире, объемнее и, мне кажется, точнее. Тогда же в голове поселился скорее хаос, какая-то мешанина впечатлений. Поначалу очень понравился Нью-Йорк — город-мир с его многократно у нас обруганными каменно-металлическими великанами, с его красочной толпой, многоцветием и смешением людей, языков, рас. Увидел и поразился: на таком-то красивом и сытом фоне — ужасающе запущенные районы того же вселенского города, бомжи, молодые люди, большей частью негры, с каким-то необычно потухшим или, напротив, с бросающим вызов взглядом (как мне потом объяснили, наркоманы до и после дозы). Внимал шефу нью-йоркской полиции, который с телеэкрана советовал горожанам, выходя на улицы, иметь под рукой 20-долларовую бумажку, чтобы немедленно откупиться от алчущих «дозы» наркоманов.

Не раз слышал неожиданные — при моих представлениях о расовых отношениях в США — сетования белых на то, что они начинают себя чувствовать расово-ущемленными и беспокоятся за свою безопасность. По их словам, под лозунгом «Black is wonderful»¹⁶ негры ведут себя провоцирующе, в том числе в общественных местах.

Но наибольшее впечатление произвела университетская молодежь — открытая, доброжелательная, энергичная и самостоятельная, с уже проклюнувшейся деловой хваткой, любознательная и в чем-то мило-наивная. Мы посетили несколько университетов, и руководитель делегации охотно предоставлял мне «привилегию» встречаться с учащимися, поскольку нас ждали неприятные вопросы о положении

¹⁶ Черное великолепно.

с демократией и свободой слова в Советском Союзе, о Солженицыне и т.д. Встречи, которые проходили в неформальной обстановке (многие сидели на полу), часто в «чайное» время, перетекали в беседы с группками слушателей, продолжались за обедом в студенческих столовых.

Особенно привлекательными показались отношение ребят к труду и их независимый нрав. Обеды дважды свели меня с отпрысками весьма богатых людей. Один из них — 21 года, работает с 15 лет, целиком себя содержит и очень этим дорожит, ибо хочет быть самостоятельным. Говорит, что такой подход совпадает и с точкой зрения его «стариков». Трудился в разных местах, в том числе и у своих родителей. На мой вопрос: «Они, наверное, хорошо тебе платят?» — ответил: «Да, но за работу». Другой парень моет машины в гараже богатого дедушки, причем «вкалывает», как он сам выразился, «за каждый цент».

Не заметил я у студентов, в том числе и из богатых семей, никакого стремления к роскоши. Когда в делегации зашел разговор об этом, наша коллега, сотрудница Общества дружбы с зарубежными странами, рассказала, как дамы из обслуживающего персонала в гостинице «Москва» были неприятно поражены скромным гардеробом дочери Рокфеллера (который незадолго до этого останавливался в этой гостинице).

Наряду с жизнью в Советском Союзе основным сюжетом разговоров в студенческих столовых было лицемерие взрослых, несоблюдение ими самими правил, которые они навязывают детям и внукам. В качестве примера приводилось и отношение к марихуане. Они отстаивали свое право употреблять ее, доказывая, что это не в большей мере возбуждающее вещество, чем алкоголь, которому взрослые отдают столь щедрую дань.

И еще одно впечатление, но удручающее: почти рекордная пустота, примитивность и фальшь массового американского кино (да и многих телевизионных передач), их пропагандистская и слащаво-назидательная начинка, напоминающая многие наши фильмы, но похуже качеством. И недоумение: как это сообразуется, например, с таким студенчеством?

ЧАСТЬ

IV

ГЛАВЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ

Консультантом я проработал 13 лет — немалый срок для одной должности, тем более что на это ушла львиная доля самого продуктивного времени, отпущенного человеку: от 39 до 52. За эти годы, как я уже упоминал, мне делали соблазнительные предложения о переходе на другую работу, однако Пономарев и слышать не хотел. Вместе с тем начиная с 1967 года, когда впервые на эту тему заговорил Кусков, меня ублажали намеками относительно намерения «выдвинуть», а то и прямыми обещаниями на этот счет.

Такие намерения, видимо, действительно существовали, но их реализация надолго затянулась, хотя в пользу этого лоббировали и мои коллеги, особенно активно А. Черилев. Возможно, сыграло роль — конечно, не в глазах Пономарева — мое «неарийское» происхождение: за все годы работы в ЦК не помню ни единого случая, когда на должности заместителя заведующего отделом, тем более Международного, находился нерусский (неукраинец, небелорус).

Свой голос подал и брежневский помощник Александров. Как-то в Завидове при всех, с некоторым нажимом (думаю, для передачи Пономареву), он спросил Загладина: «Почему вы передерживаете Карена Нерсесовича?» Тот отвечал, что это непростой вопрос — необходимо-де одновременно «повысить» и некоторых других товарищей.

Не исключено, что это простое совпадение, но по возвращении из Завидова Борис Николаевич, давая очередное задание, заметил, как бы оправдываясь: «Вы же знаете, представление на вас больше полугода лежит у Михаила Андреевича». Тут, к слову, проявился характер отношений между Сусловым и Пономаревым. Последний предпочитал лишний раз не осведомляться — не беспокоить. Действовала некая, назовем это так, этика: если высшее начальство не реагирует, у него есть на то причины и спрашивать неприлично.

Как бы то ни было, в июне 1976 года меня утвердили заместителем заведующего отделом, введя для этого дополнительную единицу. Что произошло — не знаю и, очевидно, никогда не узнаю.

Первоначально, несколько месяцев, моим уделом были страны Латинской Америки. Затем мне добавили Ближний Восток и Северную Африку. Это сложное и интересное направление, ставшее одним из узловых пунктов противостояния СССР и США, а также общие проблемы развивающихся стран были основным предметом моих забот многие годы «замства». И уже в перестроечное время, после ухода Черняева в помощники к Горбачеву, я получил еще и сектор США и Канады. Такая «экспансия», конечно, требовала немалых дополнительных усилий. Но были и плюсы: новизна проблем, возможность расширять свои интеллектуальные и политические горизонты.

Бесспорно, я не стал ни настоящим латиноамериканистом, ни арабистом, ни американистом. Но основательное изучение политической, а частично и экономической стороны наших взаимоотношений с этими странами, за развитием событий в которых я внимательно следил в течение 10–15 лет, поездки туда, встречи с их руководителями, общественными деятелями — все это не прошло бесследно и помогло более подготовленным к новым обязанностям пересесть в 1988 году в кресло первого заместителя.

Должность заместителя обеспечила еще одно, и очень важное, преимущество — информационное. Теперь я получил возможность и право знать о наших внутренних проблемах, о том, как функционировала наша система, о ее руководителях. Глазами замства можно было увидеть гораздо больше и гораздо лучше.

1. ДУЭЛЬ В «ТРЕТЬЕМ МИРЕ»

О советской политике в отношении развивающихся стран за последние годы написано, на мой взгляд, немало критически правильного. Но еще больше неверного фактически (из-за незнания) или злобно-пристрастного и даже лживого (из-за желания не опоздать потрафить новой власти, а также из-за комплекса неполноценности людей, раньше не подпускавшихся к политической кухне). Практически во всех случаях советская политика рассматривается вне «фона» — политики Соединенных Штатов, хотя без этого невозможны ни реальный анализ, ни объективные оценки: ведь именно в таком контексте определялись во второй половине 70-х и первой половине 80-х годов советская линия на арабском и латиноамериканском направлениях, а также наши действия в Афганистане, о чем пойдет речь дальше¹.

Каким представлялось во второй половине 70-х годов направление событий в «третьем мире»? Их политическая канва выглядела довольно противоречивой.

Это смерть Насера и «садатизация» Египта, фактически положившие начало новой расстановке сил в арабском мире и оказавшие влияние также за его пределами. Причем этот поворот стал очередным звеном в цепи, другими звеньями которой были отстранение от власти революционных (или «прогрессивных») националистов: Сукарно в Индонезии, Бен Беллы в Алжире, Нкрумы в Гане, Модибы Кейты в Мали, Ас-Саяля в Северном Йемене.

Но это и победа ориентировавшихся на Советский Союз антиколониальных движений в Анголе и Мозамбике, антимонархический переворот в Эфиопии, приход в этих странах к власти радикально настроенных элементов, что привело к осязательному кубинскому, а также советскому присутствию в Тропической Африке. Это антимонархическая, антиамериканская национально-клериканская рево-

¹ Я, разумеется, никак не претендую в этих записках на всестороннее освещение советской внешней политики тех лет, а лишь рассказываю, как она виделась тогда и видится сегодня мне.

люция в Иране. И наконец, возможно, самое важное — это поражение США во Вьетнаме.

Двойственным, на мой взгляд, было и воздействие этих событий на советскую политику.

С одной стороны, они подталкивали к пониманию сложности и неустойчивости ситуации в развивающихся странах, относительности и обратимости антизападной, просоветской ориентации ряда «третьемировских» режимов. Они свидетельствовали о нашей неспособности контролировать процессы в этом регионе, о нереальности «обращения в нашу веру» и таких фигур, как, скажем, близкий к нам Насер, об узости экономических возможностей СССР и его неготовности играть существенную роль в перестройке внешнеэкономических связей развивающихся стран. Было, наконец, фактически признано, вопреки догматическому упрямству некоторых товарищей, что, следуя тенденции колониальных лет, большинство развивающихся стран идет по капиталистическому пути.

С другой стороны, они — и не в последнюю очередь американское фиаско во Вьетнаме — консервировали чрезмерный «третьемировский» оптимизм, побуждая к пусть небеспричинным, но непродуманным или даже грубо ошибочным акциям. У части партийно-государственного руководства еще сохранялись преувеличенные представления о потенциале развивающихся стран, о несовместимости их интересов с интересами Запада, о способности Советского Союза вовлечь не только в свою политическую, но и идеологическую орбиту некоторые из них и, так сказать, обойти Соединенные Штаты и их союзников с тыла. Вдобавок недооценивалась готовность Запада твердо отстаивать свои позиции в этом мире (и решимость развивающихся стран самим определять свою политику).

Кстати, те же слабости были присущи политике США. Обе сверхдержавы стимулировали друг друга и в конфронтации на земле этих стран, и в ошибочных подходах к ним.

Был ли у нас какой-то общий взгляд на «третий мир»? Господствовало представление, что политическая фаза антиколониальной борьбы в основном завершилась и наступило противостояние в экономической сфере. Отсюда особенность периода — стремление обратить максимальное внимание своих друзей в «третьем мире» на необходимость сосредоточить усилия на экономических делах, придерживаться принципа смешанной экономики и не обрубать связи с Западом. Оно стимулировалось и желанием ограничить собственные затраты.

Споры шли о том, может ли противоречие с США и бывшими метрополиями и на этом этапе оставаться определяющим для политики развивающихся стран, вставших на капиталистический путь. Положительный ответ на этот вопрос освящал курс на тесное сотрудничество со странами вроде Индии, хомейнистского Ирана, Нигерии

и т.д. Но именно освящал, ибо определяющую роль играли геостратегические соображения, резоны «реальной политики».

Что касается группировок радикальной интеллигенции и левых националистов, получивших имя революционных демократов, то подозрительное или отчужденное отношение к ним осталось позади. И этот сдвиг был все-таки формой расширения взгляда на мир и отхода от определенных догм, которые фактически признавали лишь коммунистов единственной законной политической силой.

Сотрудничество с революционно-демократическими партиями стало особым и важным участком международной деятельности КПСС. Более того, временами брала верх точка зрения, что противостояние с империализмом могло бы увлечь революционную демократию на рельсы научного социализма. А связи с КПСС, в дополнение к экономическому и особенно военному сотрудничеству, призваны были подкреплять эту эволюцию.

Концептуальной основой подобных представлений была теория некапиталистического пути. Возрожденная при Хрущеве, она преследовала, конечно, политические цели. Вот как ее защищал Сулов, споря с Айдитом: «Если невозможен некапиталистический путь, который обосновал Ленин, то какова альтернатива? Свободное развитие капитализма в этих странах и смычка с империализмом? Либо некапиталистический путь развития, пусть это не полностью будет научный социализм, но создается база для усиления антиимпериалистической борьбы... Если будет предоставлена свобода развитию капитализма, то не может быть и перспективы антиимпериалистической борьбы этих стран».

Политический характер эксгумации этой концепции подтверждается и тем, что ее, особенно первоначально, адресовали едва ли не всем развивающимся странам. Приспособили даже к Индии — стране, где полным ходом развивались капиталистические отношения, — видимо, и для того, чтобы дополнительно подкрепить политику тесного сотрудничества с ней. Не без помощи Международного отдела некапиталистический путь стал программной установкой Индийской компартии. Мы дважды — последний раз в июле 1970 года в ходе подготовки Антиимпериалистического конгресса — не на шутку схватывались по этому поводу в кабинете Пономарева с его заместителем профессором Р. Ульяновским, напористым адептом этой теории. Я доказывал, что если в этой идее и есть рациональное зерно, то оно компрометируется безоглядным, повсеместным ее приложением. Пономарев прекратил спор одной фразой, не согласившись со мной, но и не поддержав теоретические аргументы своего заместителя. «Это политически важно», — веско произнес он и на этот раз.

Но к концу 70-х годов тезис о некапиталистическом развитии наиболее активно — и часто в радикальном виде — муссировался уже больше в научных кругах, впрочем, близких к некоторым людям из политического истеблишмента. В сфере же практической действо-

Моя бабушка (по матери)
Галелия Тарумян, зверски
убитая в 1918 г. в Шуше
во время армянского погрома.



Моя бабушка (по отцу)
Теллу Аствацатрян,
уцелевшая во время
шушинской резни,
но рано скончавшаяся
от непосильного труда:
овдовевшая,
одна поднимала
шестерых детей.



Мои родители
Арфик и Нерсес. 1923 г.



**Трое братьев (слева направо):
отец, Семен, Асцатур,
уцелевшие после погромов
и гражданской войны.**

**Аннушка, папина сестра,
в войну потеряла
всех троих своих сыновей.**



**Дедушка Овниан Капрэлян,
профессор-педиатр,
во многом типичный
армянский интеллигент.**



Чекисты «накрыли» фальшивомотетчиков.
Крайний слева — отец. 1923 г.



Отец (крайний справа в верхнем ряду)
с товарищами по работе в ЧК
(Орбелян, Глушанов, Почгарев, Коган и др.),
1924 г. Большинство из них погибли в 1937—1938 гг.



**Мой 8-й класс — из 14 наших мальчиков
9 погибли на фронте. 1939 г.**

Подруги моей юности.

Нателла Мелик-Пашаева.



Нелли Петросян.



Нора Берман.



Мама, я и отец
(перед его уходом в армию).



Моя отчаянная сестра Сусанна —
из поколения победителей (1944 г.).
18-летней девушкой
через 12 дней после гитлеровского нападения
пошла добровольцем на войну.
Окончив десантную разведшколу,
командовала взводом разведроты и пробыла
на фронте с ноября 1941-го по апрель 1945 г.
Сейчас — «многовнучатая» бабушка.
Ее заслуги оценены боевыми наградами
и пенсией в 770 рублей.



Мне 32 года.



Моя будущая жена Алла Китаева. 1960 г.



Семейный портрет в интерьере.
Сидят: мама, я с внуком, жена;
стоят (слева направо):
сын Гарегин, дочь Каринэ, зять Оник.



Так выглядел
Бейрут
3—4 июля 1978 г.
Огонь по его
кварталам велся
из всех видов
оружия.



Беседа
с президентом
Ливана
А. Жмайелем,
апрель 1984 г.

Дедушка и любимый внук.
Размышляем о смысле жизни.



Пытаюсь понять, о чем думает
наш общий любимец Тошка.





АОН. Довидаем вопросам
Генерального секретаря
Компартии Индии А. Гхоша. 1955 г.



В Академии
общественных наук
не только изучали
марксизм-ленинизм.



Мой научный
руководитель
академик
Ю. П. Францев.



На лестнице Кремлевского Дворца
делегация Народной партии Ганы
на XXII съезде КПСС. 1961 г.

Делегации советской молодежи
(в которой и я, почти 40-летний)
преподносят цветы юные пионеры Ганы.
Аккра, 1962 г.





Дышим свежим воздухом («сидение» в Горках-Х). Справа от меня — А. Ермонский, позади — А. Бовин.

В Волынском-1 — ближайшей даче Сталина — в дни очередного «сидения».



Ангола, декабрь 1977 г. I съезд МПЛА. В перерыве между заседаниями: забыв на мгновение о политике (второй слева — Р. Кастро).

У Менгисту,
президента Эфиопии,
июль 1987 г.



Делегация КПСС
на XVIII съезде
Итальянской
компартии,
март 1989 г.
А.Н. Яковлев —
глава делегации.

На празднике
«Униты» —
газеты
Итальянской
компартии.
Болонья,
сентябрь 1987 г.



Переговоры
с делегацией
Французской
компартии
во главе
с Ж. Марше,
октябрь 1989 г.



Турку
(Финляндия),
август 1989 г.
90-летие
Социал-
демократической
партии
Финляндии.
В центре —
премьер-министр
Швеции
И. Карлсон,
справа —
финский министр
иностраннх дел
Р. Паасио.

То, что теперь
называют
«встречи
без галстуков»:
встречались
представители
КПСС, социал-
демократических
партий
Германии
(О. Лафонтен —
крайний справа
на переднем плане),
Швеции
(И. Карлсон)
и Финляндии
(Р. Паасио).





Луис Корвалан — легендарный лидер чилийских коммунистов.

Возлагаем венок к могиле О. Торрихоса, руководителя Панамы, добивавшегося от США возвращения ей канала.



К. Черненко и глава никарагуанской делегации Байардо Арсе перед беседой, в ходе которой ему будет сказано: «Мы не сможем вас защитить».

На углях
«парижада» —
любимое блюдо
аргентинцев,
по словам которых,
у них от коровы
в дело не идет
только мычание.



На горе Сион.
Израиль, ноябрь 1976 г.



Встреча М. Горбачева
с Ш. Пересом,
бывшим премьер-министром
Израиля. 1991 г.



С Тариком
Азизом,
иракским
вице-премьером,
до сих пор
доверенным
лицом Саддама,
апрель 1977 г.



Встреча
с Арафатом.
Бейрут, 1981 г.

Переговоры
Ю. Андропова и
Я. Арафата.
1983 г.
Слева от
Ю.В. Андропова —
Б.Н. Пономарев,
справа —
А.А. Громько.



С королем
Иордании
Хусейном,
июнь 1983 г.



На какие только
вершины
не приходилось
взбираться,
гостя у арабов.
Египет, 1971 г.

«Заклинатели
змей».
Марокко,
май 1982 г.





Шибам
(Южный Йемен):
12—14-этажные
глиняные небоскребы,
построенные более
500 лет назад.
Памятник,
находящийся
под охраной
ЮНЕСКО. 1980 г.

С А.Н. Мухаммедом,
президентом
Южного
Йемена,
апрель 1981 г.

Через пять
лет этот
неизменно
улыбчивый
человек
организует
бойню своих
товарищей по
руководству
партией.



**Зал заседаний
Политбюро
Йеменской
соцпартии
после бойни,
устроенной
охранниками
А.Н. Мухаммеда.**



**Долгая беседа
с президентом
Сирии
Х. Асадом,
как оказалось,
последняя:
назавтра
грянул ГКЧП.
Август 1991 г.**

**Прием у шейха
Заида Нахайяна
(президента ОАЭ).
Рядом с ним —
наследник,
шейх Халифа,
октябрь 1991 г.**



Кувейт, сентябрь 1991 г.
Одна из 789 скважин,
подожженных отступающими иракцами:
некоторые из них будут
гореть не один год.



У короля
Саудовской Аравии
Фахда перед
вручением послания
президента СССР
М.С. Горбачева,
ноябрь 1991 г.



Абу-Даби (ОАЭ).
За несколько
минут до встречи
с шейхом Заидом,
декабрь 1994 г.



Совет
Взаимодействия,
Прага, май 1991 г.
Справа —
бывший президент
Франции
Жискар Д'Эстен;
слева —
бывший министр
иностраных дел
Чехословакии
И. Гаек,
один из авторов
«Хартии 77».

С Р. Пинтасилгу —
бывшим
премьер-министром
Португалии.
Прага, май 1991 г.



Встреча друзей:
Лисулу —
первый заместитель
Нельсона Манделы
по Африканскому
национальному
конгрессу.
ЮАР, Кейптаун,
январь 1993 г.





С Дж. Каллагэном,
экс-премьер-
министром
Англи.
Кейптаун,
январь 1993 г.



Рассказываю
Г. Шмидту,
бывшему
канцлеру ФРГ,
о том,
что делается
в России.
Пекин, май 1993 г.



Совет
Взаимодействия.
Прием президентом
Китая
Цзян Цзе-Мином.
Пекин, май 1993 г.



Лодердейл. Справа — бывший госсекретарь США С. Вэнс с рубашкой с надписью: «Документы (т.е. их рассекречивание.— *К.Б.*) или смерть» — шутливая имитация знаменитого лозунга кубинцев «Родина или смерть».

Держу речь, споря с американцами, на встрече ветеранов внешней политики США и СССР. Мой сосед — генерал армии А. Грибков, бывший начальник штаба Варшавского договора. Лодердейл, Флорида, март 1995 г.



Пытаюсь освоить палочки. Прием у премьер-министра Японии. Первый слева — бывший канадский премьер П. Трюдо. Токио, май 1995 г.



С. Р. Макнамарой, министром обороны США в годы вьетнамской войны. Ныне решительный сторонник ликвидации ядерного оружия. Токио, май 1995 г.



«Междусобойчик» в Фонде Горбачева. Крайний справа — А. Черняев; чокаюсь с юбиляром В. Гусенковым.

вали, как правило, более осторожно и прагматично. Накопленный опыт не прошел даром. Наряду с установкой на поддержку стран, близких СССР, наблюдалась определенная сдержанность. Это нашло своеобразное отражение в самом термине, который родился для их обозначения: «социалистическая ориентация». С одной стороны, он откликался на амбиции и декларации лидеров этих стран (президент Мозамбика Самора Машел, например, добивался даже приема в Варшавский пакт), учитывал своеобразие создаваемых там политических и экономических структур. С другой — он как бы держал их на дистанции и не узаконивал расчеты на такую же поддержку, какой пользовались социалистические страны.

Существовала ли какая-либо советская стратегия в отношении развивающихся стран? Франсис Фукуяма в двух статьях² отвечает на этот вопрос утвердительно. Однако если понимать под стратегией четко очерченную концепцию, ясно сформулированные цели и средства их реализации, основанные на тщательном подсчете своих и противника возможностей, то о ней говорить не приходится. Более того, в этом ракурсе проблема развивающихся стран на политическом уровне вообще не обсуждалась.

Да и, собственно, негде было обсуждать. Политбюро для этого находилось слишком высоко, а на более низком «этаже» — экспертов — попросту негде было рассматривать эту проблему. К ней, правда, время от времени подходили в региональном, например ближневосточном, аспекте, но в краткосрочной плоскости. Дело скорее сводилось к реагированию на конкретные ситуации, хотя при этом принималась, конечно, во внимание общая цель, нередко туманно представляемая. В то же время действовал ряд постулатов (писанных и неписанных), которых фактически придерживались, как правило, и наша политика, и люди, делавшие ее.

Первое. «Третий мир», играя важную роль в глобальной советской политике, занимает в ней периферийное положение, подчиненное целям соперничества с главным противником. Политика Советского Союза в этой части мира, как, впрочем, и политика США, была встроена в систему биполярной конфронтации и в целом подогнана под ее задачи. Директор ЦРУ У. Кейси, выступая в октябре 1983 года в Вестминстерском колледже в Фултоне, там, где Черчилль произнес свою знаменитую речь о «железном занавесе», провозгласил, что «третий мир» будет «главным полем советско-американской битвы в течение многих предстоящих лет»³.

² *Soviet Strategy in the Third World*// *The Soviet Union and the Third World*. 1987; *Patterns of Soviet Third World Policy*// *Problems of Communism*. — 1987. — Sept.—Oct.

³ *Raymond L. Garthoff. The Great Transition*. — Wash.: The Brookings Institution, 1994. — P. 132.

Второе. «Третий мир» — поле борьбы супердержав за преобладание, поле обходного маневра в этой борьбе. Здесь, в отличие от Европы, более всего сохранилась возможность передвигать фигуры и завоевывать новые позиции или, по крайней мере, теснить противника. И чем больше позиций будет отобрано у США, тем лучше. Этот образ мыслей — естественный в пределах логики холодной войны — побуждал иной раз к приобретениям уже вне зависимости от реальной их ценности и способности цереварить, от реальных национальных интересов.

Третье. Соперничая в «третьем мире» с другой супердержавой, следует всячески избегать ситуаций, чреватых опасностью острых конфликтов с ней, а тем более военного столкновения.

Четвертое. Самостоятельность развивающихся стран отвечает советским интересам, подрывая позиции Запада в огромной зоне. Советскому Союзу благоприятствует там прежде всего то, что он не был колониальной державой, поддерживает независимость этих стран, а также показал («демонстрационный эффект») способность своего строя в кратчайшие сроки укрепить национальную мощь.

Руководствуясь этими соображениями и идеологическими мотивами — о неотъемлемом праве народов на национальную свободу и о своем интернациональном долге, — Советский Союз оказал весьма весомую поддержку антиколониальной борьбе, серьезно помог укреплению независимости молодых государств. Это его историческая заслуга. Вполне мыслимо, что судьба этой борьбы была бы иной, если бы иной была позиция СССР.

Наконец, пятый постулат. Компартии в этой зоне в обозримом будущем, как правило, не смогут добиться серьезного влияния. Надо ориентироваться на другие силы, прежде всего на харизматических лидеров, подтягивая их к себе политически, а желательно и идеологически.

Этот комплекс постулатов, которым практически следовала наша политика, позволяет судить конкретно, а не абстрактно, о месте идеологических мотивов во внешней политике Советского Союза. И при таком предметном подходе не подтверждается мнение об их главной или фундаментальной роли. Скорее, надо говорить о сложном взаимодействии идеологических соображений, притом разного рода, с государственными интересами, как их представляло и определяло тогдашнее руководство страны, и, как правило, подчиненности первых вторым.

Бесспорно, внешняя политика СССР имела серьезную идеологическую начинку. Но какую? Молчаливо подразумевается, что речь идет о марксистско-ленинских догмах. Между тем идеологическая палитра советской политики была более сложной, более пестрой.

Вера в историческую миссию коммунизма, безусловно, служила внутренним резонансом и легитимизирующим фактором советской политики, ее оптимистическим и динамическим нервом («История на

нашей стороне, ее силы работают на нас, мы непобедимы!».) Прежде всего она определяла ее наступательный характер и нацеленность на отрыв все новых стран от капиталистического мира. Это включало в себя и определенный мировоззренчески-романтический элемент — представление о долге поддерживать борьбу всех народов за освобождение (правда, со временем отступавший все дальше на задний план). В этом же направлении толкали нас связи с компартиями и близость к левым движениям.

Но стержнем идеологической концепции в целом были и оставались положение о Советском Союзе как главной силе революционных преобразований и вытекавшая из него максима: то, что хорошо для СССР, хорошо и для революционного процесса. Так что вся эта эмоционально-идеологическая пирамида на деле оборачивалась нацеленностью СССР на продвижение границ своего влияния и доминирования, то есть великодержавными, а впоследствии и супердержавными мотивами. Иначе говоря, *коммунистические установки в действительности практически трансформировались в великодержавные позиции.*

Вот почему рядом с первичными, «корневыми» идеологическими соображениями неизменно работали прагматические мотивы, причем они, как правило, и доминировали. Верховенство великодержавных интересов подтверждается и тем, что неуклонно теряли прежний императивный характер, ослабевали или даже угасали такие принципы, как солидарность с освободительными движениями, с компартиями и т.д.

Нельзя не заметить, что наш идеологический стереотип менялся. Вплоть до XX съезда КПСС таких людей, как Насер, Неру, называли в нашей прессе «предателями», «агентами империалистической буржуазии» и т.д. и т.п. Сказывались привычные идеологические клише, наложение старых чертежей Коминтерна на совершенно новый период. Проявлялось здесь и откровенное незнание процессов, происходивших на Востоке. Между тем военные и послевоенные годы возвели Советский Союз в ранг сверхдержавы. Глобальные интересы побуждали его реально «заняться Востоком», а значит, иметь дело с его лидерами. Но идти к ним с привычными проклятиями в адрес национализма означало бы биться лбом в наглухо закрытую дверь. Именно эти обстоятельства подталкивали к усовершенствованию идеологического подхода. И Советский Союз не только отказался от прежних анафем, но и отношения с этими лидерами предпочел связям с компартиями.

Разумеется, и в 60-е, и в 70-е годы идеологические мотивы, окрашенные ностальгическими мировоззренческими эмоциями, не игнорировались. Но в каждом или почти в каждом конкретном случае решающими неизменно оказывались сверхдержавные политические и военно-стратегические интересы. Так, КПСС упорно рекомендовала арабским компартиям перейти к сотрудничеству с существующими в их странах режимами. Это отвечало нашему курсу, усиливая заин-

тересованность арабских лидеров в развитии хороших отношений с СССР (в руках которого, считалось, находился такой инструмент, как компартии), и страховало от конфликтов с ними из-за коммунистов. Компартии, за исключением суданской, последовали советским рекомендациям (ими, конечно, двигали и собственные мотивы), что в ряде случаев обрекло их на роль «попутчиков» диктаторских или авторитарных режимов. А когда компартия Судана вместе со своими союзниками предприняла попытку персворота, Москва фактически от нее отмежевалась.

Наконец, надо иметь в виду и то, что обычно игнорируют: роль традиционного, марксистско-ленинского фактора во внешней политике СССР неуклонно размывалась. Идеологическая близость, общий в этом смысле «корень» все более представляли ценность не сами по себе, а скорее как залог и символ политической солидарности и послушания. Показателем этого может послужить и наша реакция на антикоммунистические акции.

Репрессии против коммунистов в насеровском Египте (где, собственно, компартии-то не было) в 1960 году и в касемовском Ираке в 1968 году вызвали в Москве бурную публичную реакцию и (по нашей инициативе) временное охлаждение в отношениях⁴. Но уже в 1977 году в Ираке и в 1978 году в Иране все было иначе. Хусейн казнил десятки коммунистов. Но на советских отношениях с ним это заметным образом не отразилось (если не считать прекращения носивших формальный характер связей КПСС с иракской БААС). Более того, в политической, экономической и военной областях они продолжали крепнуть.

В конце 70-х годов в Иране на Народную партию (компартию) развязали настоящую охоту, сопровождавшуюся шквалом антисоветской проаганды. А СССР предпринимал упорные усилия, чтобы наладить с ним отношения, делал заманчивые предложения, в том числе и экономические. Любые поползновения продемонстрировать солидарность КПСС с иранскими коммунистами решительно пресекались. Предложения нашего отдела выступить с протестом от имени ЦК КПСС были отвергнуты, а попытки пропустить в печать сообщения о репрессиях из иностранных источников наталкивались на неизменный отказ. Не было принято, правда после некоторых колебаний, и предложение отреагировать на антикоммунистические выпады Каддафи, провозгласившего, что этап борьбы с капиталистическим Западом «ушел в прошлое» и в будущем «борьба будет идти с коммунизмом». Подготовленная тогда, с согласия руководства, едкая статья не вышла в свет.

⁴ Хотя уже и тогда было совершено идеологическое святотатство: в момент, когда коммунисты сидели в тюрьмах, подвергались истязаниям, Насеру и вице-президенту ОАР маршалу Амеру были присвоены звания Героя Советского Союза и вручены ордена Ленина.

Известны близкие отношения Советского Союза с Южным Йеменом. Без идеологической тональности не обошлось и здесь, тем более что южные йеменцы в своих левых, социалистических наклонностях были искреннее многих в арабском мире. Но и тут преобладающими оказались государственные, прежде всего стратегические, расчеты: возможность создания для флота опорного пункта. Переговоры об этом с президентом Южного Йемена А.Н. Мухаммедом начальник Главного морского штаба адмирал флота Н.И. Смирнов вел в моем присутствии в марте 1983 года. Правда, финансовые соображения заставили отложить на следующую пятилетку реализацию проекта.

Словом, во всех или почти во всех случаях идеологические мотивы, как и рекомендации компартиям и другим близким организациям, были подчинены советской государственной политике. Кстати, в адресованном президенту США меморандуме Национального совета безопасности «Об Африканском Роге» от 1 апреля 1977 г., где анализируются политика и интересы СССР в этом регионе, об идеологии даже не упоминается. Зато пространно говорится о геостратегических факторах. То же относится к развернутому документу госдепартамента, посвященному Ирану и составленному примерно в это же время — 2 февраля.

Можно добавить, что выпячивание советским руководством идеологических мотивов во внешней политике, облачение в идеологические одежды великодержавных устремлений и побед за рубежом служили и на потребу политике внутренней. Это как бы свидетельствовало превосходстве нашей идеологии, растущей ее популярности в мире.

Но в идеологическом обрамлении внешней политики СССР было отнюдь не одиноко. Деидеологизированной политики тогда не существовало, как, впрочем, не существует и сейчас. От нас не отставал наш главный соперник: идеологический «фарш» политики Соединенных Штатов был не скуднее. Это обосновывалось борьбой против «империи зла».

Теперь эта «империя» канула в Лету, однако американская политика не стала менее идеологизированной. США не отказались ни от возложенной на себя ими самими мессианской функции (продвижение к демократии в форме американского образа жизни), ни от претензий на роль лидера-гегемона, которая им предназначена «самой историей». Причем эти явно идеологические мотивы встроены в структуру супердержавной политики — она как бы в них «уакована» — и служат ее целям.

Я располагаю авторитетным американским подтверждением своего представления о роли идеологического фактора в период холодной войны. Помощник С. Вэнса, государственного секретаря в период президентства Картера (1976–1981 гг.), М. Шульман говорил на встрече в Осло в октябре 1995 года: «...В обоих случаях (США и СССР. — К.Б.) идеологические соображения затушевывали то, что было на самом деле соревновательными отношениями, которые мы

описывали в идеологических терминах, но которые были прежде всего существенными как возможности для завоевания, для увеличения влияния». Достаточно сослаться на возникший как раз во второй половине 70-х годов фактический союз Соединенных Штатов с мао-цзэдуновским Китаем, обращенный против СССР, чтобы убедиться в подчиненной роли идеологических мотивов.

Верно, и в советской, и в американской политике идеологическая оболочка приобретала порой некоторую самостоятельность и оказывала не вполне контролируемое воздействие. Тем более, что столкновение соответствующих стереотипов СССР и США создавало эффект взаимного резонанса, придававший идеологическому противостоянию особую остроту (преувеличенную сравнительно с практическими действиями, которые, как правило, были значительно осторожнее). Именно из идеологической сферы в особенности исходили фундаменталистские призывы к непримиримости, к бескомпромиссной борьбе «до победного конца».

Фрэнсис Фукуяма, возражая тем, кто, по его мнению, недооценивает роль идеологических мотивов в советской политике 70-х годов, совершает ошибку обратного характера. Не только сомнителен его тезис о «советском фокусе скорее на политические организации и идеологию, чем на военную силу как базу глобального влияния и мощи»⁵. Главное — неверно то, что «в особенности советская стратегия в «третьем мире» в течение позднего брежневского периода характеризовалась резко выраженным акцентом на одну специфическую форму политической организации — марксистско-ленинскую партию»⁶.

Начать с того, что и в «эру Хрущева» в отношениях с национальными лидерами типа Насера, Сукарно, Нкрумы мы отнюдь не были, как кажется Фукуяме, «индифферентны к политическим структурам и институтам» под ними⁷. Напротив, в контактах с Насером, например, всячески убеждали его опереться на крепкую политическую организацию. То же относится к Нкруме, Секу Туре и т.д. И руководила Москвой при этом отнюдь не мысль о создании удобного нам идеологического и политического инструмента, хотя обращенная в перспективу такая мысль не исключалась (не говоря уже об «авангардистских» мечтаниях иных наших деятелей). Идея состояла в том, что подобная организация послужит относительно независимой от судьбы самого лидера гарантией устойчивости режима, смягчит его диктаторские черты и в известной степени оградит от колебаний и импровизаций. Но Насер как раз и опасался формирования автономного центра силы, хотя нуждался в политической

⁵ Soviet Strategy in the Third World// The Soviet Union and Third World. — 1987. — P. 25.

⁶ Ibid. — P.24.

⁷ Ibid. — P.26.

организации: именно по его инициативе возник Арабский социалистический союз. Собственно, его опасения оправдались: в АСС сформировался отдельный очаг влияния (Али Сабри, Ш. Гомаа и др.), который и попытался после смерти Насера дать бой Садату.

Не делалось во второй половине 70-х годов акцента и на «авангардные марксистско-ленинские партии». Конечно, и в руководстве, и в высших звеньях партаппарата, в научных кругах были люди, настроенные, скажем так, «бежать впереди прогресса» и охотно предававшиеся схематическим мечтаниям «о марксистско-ленинской эволюции» националистов. Тезис о «второй генерации» национальных антиколониальных движений, «неизбежно рождающей» авангардные марксистско-ленинские партии, был придуман некоторыми руководящими партийными работниками и ретивыми учеными, но определяющего влияния на практическую политику не оказал. Напротив, проводилась линия на сдерживание радикально настроенных элементов, на нейтрализацию попыток опережать события, отрываться от реальной обстановки в этих странах.

И конечно, вопреки тому, что пишет Фукуяма, «марксистско-ленинские авангардные партии» не рассматривались как основной партнер Москвы и сила, способная прийти к власти. Поддерживая, например, идею создания партии в Эфиопии, мы всячески предостерегали против объявления ее марксистско-ленинской, включения в программу положения о диктатуре пролетариата и т.д. Стремись добиться компромисса с упрямым Менгисту, Пономарев даже предложил в крайнем случае назвать ее «партией трудящихся» и очень огорчился, когда его предложение не было реализовано.

Наши консультанты, направленные в Анголу накануне учредительного съезда МПЛА, настойчиво советовали не создавать партию, а сделать ставку на «движение», «фронт», что позволило бы вовлечь в нее и другие силы, а не только кадры и активистов МПЛА. И когда ангольцы не послушались, А. Кириленко в беседе с Нето рекомендовал не придавать ни организационной структуре партии, ни идеологическим основам жесткий характер. Точно так же и в Южном Йемене представители КПСС выражали большие сомнения по поводу целесообразности преобразования Объединенной политической организации — Национальный фронт (ОПОНФ) в Йеменскую социалистическую партию, но оно все же состоялось в октябре 1978 года.

Другое дело, что некоторые руководители этих стран сами были сторонниками «обращения в коммунизм». Тут проявились, по-видимому, и навеянное примером КПСС стремление заполучить надежный и послушный инструмент контроля над страной, и желание подчеркнуть таким образом свою близость к Советскому Союзу — не без расчета извлечь из этого определенные политические и материальные преимущества. Возможно, сказывалось также влияние кубинцев и восточных немцев, настроенных, как правило, более ортодоксально.

Не исключено, что определенную дезориентирующую роль могли играть и некоторые наши представители, выступая ретивыми проповедниками советской идеологии и рекомендуя действовать «по-марксистско-ленински», решительно. Ангольцы, например, утверждали, что некоторые наши советники были вовлечены в интриги ангольских военных против Нето как человека нерешительного и слабого и т.д. В результате советский военный представитель в Луанде Н. Дубенко был отозван.

Послы СССР в Браззавиле и Бенине, Копакри и Аддис-Абебе — скорее отнюдь не из деловых соображений — инспирировали просьбы местных лидеров об установлении в этих столицах памятников Ленину. В этом же ряду стоят «инициативы» об издании для Африки произведений Брежнева. Между тем подобные и еще более бессмысленные, даже вредные предложения поступали в аппарат, в частности в Международный отдел, уже с «высокими» одобрительными резолюциями.

Разумеется, ни к этим партиям, ни, как правило, к их лидерам марксистско-ленинская этикетка никак не подходила. Они прежде всего были националистами — некоторые из них радикальнее или ближе к марксизму, чем деятели первой волны антиколониальных движений. Главной причиной тому служили скорее конкретные обстоятельства: радикализирующую роль играли опыт и перипетии вооруженной борьбы, враждебность со стороны США, связи с левыми европейскими кругами и т.д.

Очень часто в зарубежных и российских публикациях в качестве свидетельства идеологической ангажированности и неразумности советской политики ссылаются и на такой аргумент: достаточно было какому-нибудь лидеру «третьего мира» заговорить о том, что он собирается направить свою страну по социалистическому пути, как Москва охотно «клевала» на эти речи. Наряду с политической поддержкой начинала щедро литься помощь. Это, мягко выражаясь, большое преувеличение. Хотя известная привлекательность такого рода деклараций для советского руководства действительно существовала, оно было не настолько наивным, чтобы строить свою политику, исходя из них.

Вспоминаю эпизод, происшедший на одной из конференций в Министерстве иностранных дел СССР. Советский посол в Ираке информировал об обстановке там, делая акцент на том, что иракское руководство осуществляет социалистические реформы. Громыко прервал его вопросом, в котором прозвучал нескрываемый скепсис: «Пожалуйста, можете ли вы привести хоть один пример?» Посол, естественно, ничего не сумел сказать. А Андропов на Пленуме ЦК в июне 1983 года выражался весьма откровенно: «Одно дело — провозгласить социализм как чью-то цель, другое — строить его. Для этого нужен определенный уровень производительных сил, культуры и социального знания».

Для советских лидеров, как и для США, дело прежде всего было в политических и стратегических преимуществах. Для Москвы глав-

ным критерием служила готовность, одобренная обычно «просоциалистическими» заявлениями, дистанцироваться от США, Запада, сблизиться с СССР, поддержать его курс. Для Вашингтона решающее значение имело не то, выступают ли те или иные страны за демократию, а их готовность вести политику отчуждения или враждебности Советскому Союзу.

Связи Соединенных Штатов с самыми одиозными диктатурами достаточно известны. Президент Картер, например, принимал советских диссидентов, писал Сахарову, а затем ехал в Тегеран и заключал в объятия шаха Ирана, хотя положение с правами человека там было куда хуже, чем в Советском Союзе. А Буш, прибыв в 1981 году на Филиппины вскоре после сфальсифицированных президентом Маркосом выборов, которые бойкотировались всей оппозицией, не поколебался публично заявить: «Мы восхищаемся вашей приверженностью демократическим принципам и демократическим процессам»⁸. США энергично (несомненно, обоснованно) протестовали против нарушения прав человека в Эфиопии, но после прихода к власти Менгисту, не ладившего с США. Когда же в Аддис-Абебе правил жестокий, не стеснявшийся в средствах абсолютный монарх, весьма тесно связанный с Вашингтоном, они молчали. Известны и крепкие связи США с самым жестоким и самым коррумпированным диктатором в Африке Мобуту, которого в 1985 году как «провсеренного друга» в Белом доме приветствовал Рейган⁹.

Таким образом, на советскую политику в отношении развивающихся стран воздействовали, формируя ее, следующие факторы: государственные интересы (главным образом супердержавные, неизбежно включавшие в себя глобальное противоборство с Соединенными Штатами); первоначальные марксистско-ленинские идеологические установки; связи с союзниками — социалистическими странами, компартиями, левыми и националистическими организациями; случайные мотивы и узкие интересы режима.

Иначе говоря (и оба утверждения, очевидно, будут правомерными), столкновение систем «в глубине» являлось одновременно формой соперничества двух сверхдержав и, напротив, само это соперничество было формой столкновения двух систем. Важно, что эти потоки неотделимы друг от друга. Точно так же два слоя, два потока, накрепко сплетшиеся друг с другом, существовали в идеологическом обрамлении конфронтации.

Многие официальные лица и политологи в США полагают, будто на вторую половину 70-х годов приходится пик советской ставки на

⁸ Department of State, American Foreign Policy; Current Documents, 1981 (1984). — P.1049.

⁹ Теперь американцы признают, что его 30-летняя диктатура свергла и экономический хаос одну из богатейших по своим природным ресурсам стран Африки (радио «Свобода», сентябрь 1997 г.).

«третий мир», его стремления вплотную подтянуть к себе развивающиеся страны и чуть ли не включить их в социалистический лагерь.

Это неверное представление. Действительно, в то время кое-где в «третьем мире» еще росло советское влияние: углубилось сотрудничество с Индией, с рядом арабских государств, наладились дружественные отношения с Мексикой и Нигерией, подписывались договоры о дружбе и сотрудничестве с некоторыми развивающимися странами, расширялись связи с Движением неприсоединения. Этот процесс продолжал работать на укрепление позиций СССР как державы с глобальными интересами. Однако и там, где мы еще продвигались вперед, и в «третьем мире» в целом большей частью действовал инерционный динамизм, снимались сливки с накопленного на предшествующем этапе. И уже начался период постепенного изживания иллюзий, стала угасать эйфория, рожденная еще хрущевским «рывком» на Восток. Тогда казалось, что он широко распахнут для дружественного наступления Советского Союза, который может увлечь его за собой, подрывая позиции Запада, — нечто сродни ленинскому представлению о том, что после поражения революции в Западной Европе империализм должен был быть атакован с тыла.

Другое дело, что на этот период пришлось — и отчасти именно это создает превратное впечатление — советские силовые акции в «третьем мире». Но источник их в ином: в ошибочном выводе о серьезных изменениях в мировом соотношении сил, во вьетнамском крушении Соединенных Штатов и в особенности в обстоятельствах «местного значения», в определенном смысле навязывавших образ действий руководству СССР, у которого не хватило дальновидности пойти против течения.

Практически к концу 70-х годов пик — и даже «плато» влияния Советского Союза в «третьем мире» и интереса к нему советского руководства был пройден. Последнее я явственно ощутил при подготовке отчетного доклада XXVI съезду: поздней осенью 1980 года. Мы работали на даче КГБ в Ново-Огареве. Раздел о национально-освободительном движении в развивающихся странах пользовался заметно меньшим вниманием, и не было прежнего интенсивного спроса на хвалебно-мажорное звучание. А на одной из прогулок Александров, слегка спровоцированный мною, заговорил о нашей политике в «третьем мире». Начиная каждую фразу с отдающих язвительностью слов «ваш третий мир», он не без удовольствия перечислил его слабости и пороки («привыкли клянить»), говорил о просчетах нашей политики в этой зоне, которую «мы знаем и понимаем плохо». Надо, правда, сказать, он и раньше не был ее поклонником. Как я понял, хотя об этом и речи не было, перемене настроения способствовали наши экономические сложности и развитие событий в Афганистане (Александров был из числа сторонников афганской акции).

С началом нового десятилетия стала все более заметной тенденция к стагнации и даже ослаблению влияния Советского Союза в зоне развивающихся стран. Она порождалась комбинацией причин. Рельефнее выявлялись ограниченность экономических возможностей СССР и набиравшее у нас силу «безвременье». Мрачную тень на его имидж стала отбрасывать интервенция в Афганистане. Иные ветры подули в «третьем мире», питая консервативные силы и настроения. Усилилась активность Запада и его поиски подходов к националистам и т.д. На таком фоне отчетливее выявлялись специфические слабости и пороки курса СССР в этой зоне, которые накладывались на общие недоработки его внешней политики. Прежде всего не была должным образом оценена и осмыслена уже ощутимо обозначившаяся тенденция к становлению взаимосвязанного и взаимозависимого мира.

Видное и самостоятельное место развивающихся стран в нем хоть и декларировалось, на деле игнорировалось. Глядя, как и американцы, на эти страны главным образом через призму супердержавной конфронтации, мы недостаточно учитывали их национальные интересы, не совсем понимали автономное значение происходящих там процессов. Во власти такого подхода мы остались до конца, вплоть до перестроечных лет. Не считаясь в должной мере со спецификой «третьего мира», мы, как и США, по сути дела, навязывали его националистическим силам дихотомическое (т.е. в рамках одного или другого лагеря) видение перспективы развития своих стран и, естественно, отталкивали их от себя.

Сближение с «третьим миром» тормозилось и тем, что в политике СССР давали о себе знать элементы патерналистского подхода, в том числе и к дружественно настроенным странам, попытки вести с ними дела с позиции интеллектуального и психологического превосходства. Несмотря на все заявления о противоположном, работа с развивающимися странами считалась делом второстепенным, «подсобным», на «третий мир» смотрели как на периферию мировой политики и экономики.

Серьезно осложняло дело отсутствие системного подхода, комплексной программы работы с выходом на четко дифференцированные группы стран и регионы (азиатско-тихоокеанское, латиноамериканское, африканское направления), утилитарное, лишенное перспективы понимание наших национальных интересов как суммы сиюминутных выгод.

Не принесло прочных выгод оправдывавшееся глобально-конфронтационным подходом стремление утвердить присутствие Советского Союза (зачастую и военное) в возможно большем числе освободившихся стран. СССР не только расширял плацдармы противоборства с Западом, но и брал на себя непосильные обязательства.

Недоставало опыта общения с развивающимися странами, а главное, не было и особого желания учиться. И рядовые, и руководящие работники ведомств имели недостаточно полные и достоверные пред-

ставления об обстановке в этих странах, их специфике. Роль традиций, религии в общественной жизни, особенности психологического склада народов практически недооценивались.

Нельзя, конечно, сказать, что КПСС слепо руководствовалась традиционными «общими закономерностями» в подходе к развивающимся странам. Это не так. Многие в политических и теоретических оценках говорит о стремлении учесть их своеобразие. Однако мы не сумели полностью отказаться от упрощенных, схематических представлений о классовой борьбе в отсталых обществах Азии и Африки. В результате иной раз нас застигали врасплох «нештатные ситуации», когда классовые противоречия как бы задвигались на задний план, а на авансцену выходили проблемы национально-этнического, конфессионального, лингвистического и иного плана.

Нереалистической была оценка и перспектив развития стран «третьего мира» в обход капитализма, и возможностей мирового социализма в плане поддержки революционных сил этого мира. Мы просмотрели, что притягательная сила социализма стала блекнуть, и недооценили способности современного капитализма к «самообучению» также и во взаимоотношениях с развивающимися странами. Интенсивные поиски Западом компромиссных решений даже при их «асимметричности» в его пользу стали давать определенный эффект, удерживать противоречия между странами развитого капитализма и бывшими колониями в определенных рамках. В свою очередь, и развивающиеся страны начали проявлять повышенную заинтересованность в экономических связях с Западом, привлечении его капитала и новейшей технологии. Интенсификация экономического, а как следствие, и иного сотрудничества на линии Север—Юг приобретала черты креннущей, перспективной тенденции. Но это означало, что ставились под вопрос сами основы нашей концепции, касающейся «третьего мира», и особенно его будущего, на чем строилась вся схема отношений СССР с ним. Наверное, именно поэтому мы так запоздали с признанием очевидных фактов или даже вовсе не сумели это сделать.

Серьезной неудачей обернулось для советской политики то, что государства социалистической ориентации обнаружили неспособность обеспечить политическую стабильность и экономический динамизм. На первых порах революционные демократы, несомненно, добились определенных успехов в становлении государственности, укреплении независимости, формировании национальной общности, развитии образования и т.д.¹⁰

Кое в чем помогли эти режимы и нам: в политическом и пропагандистском смысле, в ООН, в военно-стратегическом отношении.

¹⁰ Более того, видимо, и поныне в политике этих режимов есть какой-то общенациональный момент. Иначе некоторым из них вряд ли удавалось бы удерживаться у власти, несмотря на мощнейший прессинг извне.

Те, кто ставит сейчас (пусть и не без некоторых оснований) в вину Советскому Союзу связи с иными из них как одиозными, предпочитают все это игнорировать. Такие критики, обычно лояльные американской политике, забывают и о связях США с самыми неприглядными диктатурами. Это, если хотите, закономерность холодной войны, ее побочный продукт.

К тому же мы внесли свою лепту в неблагоприятное развитие событий в странах социалистической ориентации. В Москве некритически подходили к деятельности их лидеров, проявляли склонность списывать как «издержки» расцвет коррупции и nepотизма. Ну а авторитаризм и диктаторские приемы не могли, естественно, встретить осуждения с нашей стороны. Мы потакали иждивенческим настроениям части руководства и общественности этих стран, уверовавших, что сближение с СССР должно непременно сопровождаться крупными экономическими льготами и дарами. Это оборачивалось их разочарованием, поворотом к Западу.

Весьма негативно сказались перенос в эти страны принципов и механизмов управления народным хозяйством, господствовавших у нас в 30–70-е годы, ориентация на нашу командно-административную модель, низкая отдача от экономического сотрудничества с СССР.

Да и в целом внешнеэкономическая политика Советского Союза в отношении развивающихся стран грешила серьезными просчетами. Я бы даже осмелился сказать, что наш курс в «третьем мире» не имел ни продуманных, ни даже хотя бы просто очерченных экономических основ. Не было настоящей заботы о реальном сопряжении политических и экономических интересов, о том, чтобы наше присутствие в той или иной стране сопровождалось выходом и на ее экономические возможности.

Не существовало, даже по наиболее крупным странам, долгосрочной концепции торгово-экономического сотрудничества, которая могла бы служить компасом для внешнеэкономических организаций, учитывала нужды и возможности этих стран, а также наши интересы. Упор делался на экстенсивные методы хозяйствования, а не на экономическую эффективность сотрудничества. Не раз получалось, что эксплуатация сооруженных при нашем содействии предприятий лишь возлагала на страну дополнительное финансовое бремя. Бывало, что разведанные с нашим участием и за наш счет месторождения полезных ископаемых попадали затем в руки западных компаний. Еще «смешнее» обстоит дело в Анголе. Кубинцы и мы защищали ее от вооруженного мятежа, поддерживаемого США, а большие экономические выгоды продолжали извлекать американские компании: они преспокойно качали нефть в Кабинде — одной из ангольских провинций. Не уделялось достаточного внимания расширению источников оплаты наших кредитов, хотя возможности взаимовыгодного сотрудничества несомненно существовали.

Все это объяснялось, разумеется, прежде всего общей неэффективностью экономической системы Советского Союза, было продолжением ее недостатков. Но свою роль играли также узкие эгоистические интересы ведомств, порождавшие несогласованность и грубые просчеты в работе.

Все это так. Но отсюда отнюдь не следует, что экономические взаимоотношения с развивающимися странами были тотально невыгодными, как это утверждали некоторые «специалисты» в недавнюю пору охаивания всего прошлого. В действительности они приносили нашей экономике и немалые преимущества. Вот некоторые цифры за 1981—1985 годы.

**Поступления свободно конвертируемой валюты
на счета Советского Союза от развивающихся стран
(в млрд. руб.):**

за 1981 г.	4,0
за 1982 г.	5,0
за 1983 г.	4,6
за 1984 г.	4,3
за 1985 г.	4,7
Всего за 1981—1985 гг.	22,6 млрд. руб. (или 36,6 млрд. долл.)

**Доля развивающихся стран
в экспорте СССР в несоциалистические страны***

	1981 г.	1982 г.	1983 г.	1984 г.	1985 г.	1981— 1985 гг.
1. Экспорт в несоциалистические страны						
всего (млн.руб.)	25916,3	29029,0	30176,3	32276,2	28196,2	145594,0
В том числе:						
в развивающиеся страны (млн.руб.)	8669,3	10179,9	10523,7	10926,8	9615,0	49914,7
доля развивающихся стран (%)	33,5	35,1	34,9	33,9	34,1	34,3
2. Экспорт машин, оборудования и транспортных средств в несоциалистические страны						
всего (млн.руб.)	1932,6	2163,0	2360,2	2521,5	2614,9	11592,2
В том числе:						
в развивающиеся страны (млн.руб.)	1580,3	1836,4	2036,0	2206,7	2260,7	9920,1
доля развивающихся стран (%)	81,8	84,9	86,3	87,5	86,5	85,6

* Без спецпоставок.

Наконец, в нашей кадровой политике в отношении развивающихся стран, как правило, господствовал остаточный принцип по всем линиям — дипломатии, разведки, политических работников, экономических специалистов и т.д. В эти страны, особенно наиболее отдаленные и бедные, командировались преимущественно люди профессионально слабые.

В советском руководстве, насколько могу судить, существовали разные оценки значения «третьего мира» и «надежности» наших друзей там. Андропов, Громыко да и Сулов тоже более сдержанно относились к перспективам левой эволюции националистических сил. Тут, видимо, сказывался и их собственный «background» — «родословная»: наличие или отсутствие за плечами коминтерновской школы, марксистской эрудиции, опыта в международных делах.

Фигурой обратного порядка был Кириленко, одно время очень «близкий к уху» Брежнева. Пребывание в Анголе, беседы с Нето, а затем и с некоторыми другими лидерами из этого и арабского регионов произвели на него глубокое впечатление, и он твердо уверовал в их необратимую тягу к СССР, в возможность окончательно включить их в наш лагерь. Как-то осенью 1979 года, в период событий на Африканском Роге, он вызвал меня и поручил подготовить записку-предложение о создании союза прогрессивных государств региона (Конго-Браззавиль, Ангола, Мозамбик, Эфиопия, Южный Йемен) под эгидой СССР. Эту инициативу удалось отсрочить, а затем спустить на тормозах лишь ссылкой на необходимость предварительного согласия будущих участников союза. Иначе, мол, другие члены Политбюро отвергнут записку.

О настроениях Андропова в 70-е годы могу судить лишь косвенно, хотя и из того, что мне известно, можно сделать вывод об его прохладном, хоть и пассивном, отношении к африканской «экспансии» Советского Союза. Это подтверждается рассказом О. Трояновского о его беседе с Юрием Владимировичем. На вопрос, почему мы втягиваемся в Африку, тот отвечал: «Нас туда втаскивают». Он не уточнял, продолжал Трояновский, но мое ощущение таково, что не очень был в пользу этого.

В июле 1983 года Андропов пригласил меня и попросил подумать (т.е. составить бумагу) о нашей политике в отношении развивающихся стран. Имелся ли в виду материал для его собственных размышлений или же задел для будущей записки, сказано не было. О направлении мыслей Андропова можно судить по высказанным им тогда же соображениям относительно того, что «нам» надо было бы сделать: определить реалистические цели политики на ближайшие 10–15 лет и необходимые средства; взвесить целесообразность советского присутствия в каждой развивающейся стране, перебирая их одну за одной и имея в виду сконцентрироваться на немногих, наиболее важных; искать пути экономической окупаемости политики за счет требовательного и умелого использования сырьевых и продовольственных возможностей развивающихся стран; обратить особое внимание на масштабы

и качество подготовки кадров из этих стран и укрепление связей с выпускниками советских учебных заведений; создать комиссию Политбюро по проблемам «третьего мира», предусмотрев, что через нее будут проходить все относящиеся сюда вопросы; взвесить полезность созыва координационного совещания социалистических государств по работе с развивающимися странами, не исключая возможности «разделения труда» между этими государствами. Подготовленный материал я передал за несколько дней до отъезда Андропова в отпуск, который оказался фатальным. Когда через некоторое время мне довелось увидеть Юрия Владимировича в Крыму, о нем упомянуто не было.

Я уже говорил, что глубокого обсуждения проблем развивающихся стран, особенно в стратегическом ракурсе, в рамках нашего политического ареопага не было. Но это лишь часть картины. Чтобы проиллюстрировать, как иной раз они рассматривались на «высшем этаже», сошлюсь на два заседания Политбюро — 27 апреля и 8 июня 1978 г. Они особенно показательны потому, что состоялись в момент, когда вопросы нашей африканской политики вышли на передний край советско-американских взаимоотношений. 27 апреля обсуждался вопрос «Относительно результатов переговоров с государственным секретарем США С. Вэнсом». В московской миссии Вэнса особое место занимало стремление подчеркнуть американские «непонимание» и «обеспокоенность» нашей вовлеченностью в события в Африке — настроения, которые вскоре привели к резкому обострению отношений между СССР и США и подготовили крах разрядки. Вопрос, как видим, достаточно серьезный. Что же говорилось по этому поводу? Цитирую по рабочей записи:

«БРЕЖНЕВ: Критику зигзагов внешней политики правительства Картера он (т.е. Вэнс.—К.Б.) воспринял с должным вниманием и, конечно, передаст президенту.

Попытка бросить нам упрек за Африку и африканские дела, которые связывают с развитием отношений между СССР и США, получила такой крепкий отпор, что Вэнс, пожалуй, и не рад был, что он вообще поднял этот вопрос. Ему пришлось занять оборонительную позицию, оправдываться.

В целом, я думаю, разговор был полезным. Он поможет Картеру посмотреть на некоторые вопросы в более реалистическом свете...

СУСЛОВ: У Картера огромное желание встретиться с Леонидом Ильичом.

Члены Политбюро, кандидаты в члены Политбюро и Секретари ЦК говорят, что запись беседы они прочитали. Разговор был очень хорошим и очень содержательным, острым по своему тону, как это и подобало. Он имел наступательный характер¹¹.

¹¹ Наверное, такую же оценку получил (и имел в виду) Громыко за свою беседу с Картером, о которой уже говорилось.

КОСЫГИН: Беседа действительно заставила Вэнса задуматься над многими вопросами, и конечно, он все ее содержание передаст Картеру.

УСТИНОВ: Очень хорошо Леонид Ильич сказал относительно наступательных стратегических вооружений. Пусть они знают нашу позицию по этому вопросу.

СУСЛОВ: Очень удачно получилось у Леонида Ильича с проведением беседы с Вэнсом...» (Далее он же предлагает принять решение об одобрении беседы Леонида Ильича с Вэнсом.)

Бряд ли нужно доказывать, что столь несерьезный и оторванный от реальности, столь самодовольный и хвалебно-льстивый разговор никак не отвечал особой значимости обсуждавшегося вопроса. Рассматривая его, члены руководства страны фактически вели себя как служащие, которые наперебой стараются угодить своему боссу.

Или обратимся к заседанию Политбюро от 8 июня 1978 г. Оно относится к этому же сложному периоду. В протоколе № 107 заседания лишь несколько страниц отданы выступлению Брежнева, которое опять-таки практически не обсуждалось. Все свелось к принятию одобряющего постановления в семь строк. Между тем и на этот раз речь шла о весьма нерядовых проблемах, причем в сказанном Брежневым наряду с какими-то конструктивными идеями были широко представлены, более того, господствовали пропагандистские клише. Приведу лишь несколько тезисов, которые касаются интересующих здесь нас вопросов.

Леонид Ильич говорил, в частности: «...правительство Штатов стало вдохновителем неокOLONиализма в Африке — политики вооруженной интервенции и открытого вмешательства в дела африканских правительств, безжалостного подавления освободительного революционного процесса... Нам следует выступить со специальной Декларацией Советского правительства по африканским делам. Мы в этом документе должны категорически опровергнуть и разоблачить империалистические намерения относительно политики Советского Союза и других социалистических стран в Африке, среди них и в районе Африканского Рога, Заира и т.п. Коротко и в спокойных тонах нам следует сказать, как дело обстоит в действительности. В то же самое время со всей резкостью мы должны осудить политику вооруженной интервенции, подрывной деятельности и других форм вмешательства в африканские дела со стороны правительств НАТО, возглавляемых Соединенными Штатами...»

При естественности и определенной правомерности упреков в адрес политики США, далекой от «белоснежности», подобный подход не назовешь ни содержательным, ни ответственным. Отчасти столь безмятежную, если не легкомысленную, позицию руководства — ведь речь шла о серьезном обострении советско-американских отношений можно, наверное, объяснить характером получаемой им информации.

Примерно в это же время, 11 июля 1978 г., в посольстве СССР в Вашингтоне составили политписьмо на имя А.А. Громыко, где, как указывали его авторы, «обозревались основные элементы современных советско-американских отношений». Вот его основной оценочный тезис:

«Бжезинский и некоторые советники президента по внутривнутриполитическим делам убедили Картера, что он сумеет остановить процесс ухудшения своего положения в стране, если открыто возьмется за более суровый курс визави Советского Союза.

Африка (события на Африканском Роге, а затем в заирской провинции Шаба) была использована как предлог, вокруг которого администрация станет рьяно создавать напряжение в советско-американских отношениях. Действительно, в связи с этими африканскими событиями они решили предпринять попытку пересмотреть всю концепцию политики разрядки, подчинив ее нуждам администрации, не оставившись даже перед тем, чтобы публично поставить под угрозу шансы заключения нового соглашения об ограничении наступательного стратегического оружия (искусственно соединяя это с другими вопросами).

В стране, однако, совершенно неожиданным для Картера образом этот «жесткий» курс, твердо и ясно отвергнутый Советским Союзом, вызвал реакцию, в которой были очевидны ясные опасения среди широких слоев американского населения относительно долгосрочных условий и судьбы советско-американских отношений. Выявилась глубина американских настроений в поддержку политики разрядки, которая сложилась в течение последних нескольких лет и в глазах неискушенных граждан страны соединялась с простым тезисом: «Разрядка снижает угрозу конфронтации с Советским Союзом и, таким образом, ядерной войны, соединенной с этим»¹².

Такого рода сообщения, если советские руководители им верили, могли только подкреплять их самоуверенность. На самом же деле в момент, когда в Москву посылались подобная информация, в Соединенных Штатах правые круги подняли шумную кампанию против разрядки, в пользу ужесточения американского курса. «Это был период, — говорил М. Шульман, бывший тогда в самой гуще событий в советско-американских отношениях, — когда нарастал консервативный прилив в американской политике — не только на республиканской стороне, но и у демократов».

Вот как комментировал в сентябре 1985 года в Осло это посольское письмо бывший директор ЦРУ С. Тэрнер. Он касается той же проблемы, которую имею в виду я: «Когда Аркадий Шевченко¹² сбежал в Соединенные Штаты... самый важный вопрос, который я

¹² А. Шевченко — бывший заместитель Генерального секретаря ООН (а до этого руководитель группы советников при Громыко), который был завербован ЦРУ и, вызванный в Москву, отказался возвратиться.

ему задал, состоял в том, думает ли он, что Политбюро понимает Соединенные Штаты... Он заявил, что не думает так и что не думает, что депеши, которые идут от Добрынина и еще откуда-то, делают их способными это понять. У нас сейчас здесь очень хороший пример ваших докладов, даже если вы сейчас хотите дистанцироваться от этого. Мой вопрос вам (Добрынину): «Вы думаете, что Политбюро, читая ваши и другие телеграммы, получило тот же сигнал, который вы здесь даете относительно мотивов Соединенных Штатов: какие силы в Соединенных Штатах задают тон?»

Конечно, приходится учитывать, что и посольствам приходилось подстраиваться под стиль и настрой начальства и они, естественно, избегали выступать в роли гонца, которого казнят за дурные вести.

Во второй половине и особенно к концу 70-х годов возрастал вес военных кругов в формировании и проведении нашей «третьемировской» политики. Советская заявка на глобальное присутствие, подкрепленная приобретаемым военно-стратегическим паритетом, созданными возможностями для дальней переброски своих сил, строительством и выходом в океаны «большого флота», требовали создания опорных пунктов в различных районах мира. Собственно, инициатором такого подхода выступили Соединенные Штаты, окружившие СССР цепью баз. И в соответствии с алогичной логикой холодной войны происходило соревнование и в этой области. Например, изгнание советского флота из порта Берберы (Сомали) сопровождалось приходом туда американцев, а выдворение США из Массауа (Эфиопия) привело к обоснованию там советских моряков.

Ненормальное положение в высшем эшелоне советского руководства также повышало роль военного лобби. В то же время в ряде случаев — хотя далеко не всегда — подход военных, их руководства, скажем Устинова, был более жестким, способствовал наращиванию нашей вовлеченности, если не сказать увязанию. Устинов, который, по моим наблюдениям, стал первой скрипкой в ангольских делах, например, не раз возражал против намерений кубинцев сократить свое военное присутствие в Анголе. «Вам никуда не надо уходить», жестко отвечал он ставившему этот вопрос члену Политбюро Секретарю ЦК Компартии Кубы Рискету.

Влияние военных сыграло свою роль в том, что мы долго отказывались признать нереальность силового решения ангольской проблемы, а в 80-е годы втянулись в так называемые крупномасштабные операции. Они обходились дорого, но не приносили желаемого эффекта: противником были партизаны.

Между тем увязание в африканских делах, да еще в силовом противоборстве, имело немаловажные последствия для советской внешней политики, притом далеко не только в Африке. Успех, как многим тогда казалось, этих силовых акций, пусть даже спровоцированных, и отсутствие достаточно мощной реакции противника, как

раньше в Чехословакии, не исключено, тоже сыграли свою роль в принятии злополучного решения о вводе войск в Афганистан.

Характерная черта этого периода, которая, разумеется, касается не только зоны развивающихся стран, — нараставший процесс разрыва, нарушения связи между экспертным уровнем и «этажом», где принимались решения. Негативный эффект этого умножался усугублявшимся неблагоприятием в руководстве, что открывало простор для непродуманных, волюнтаристских и даже опасных решений.

К концу 70-х годов переходу на реалистические позиции препятствовали также усиливавшиеся — на фоне растущей недееспособности Брежнева — инерция в советской политике, боязнь членов руководства отойти от жесткой позиции, проявить гибкость, то есть «мягкотелость» (ведь в рамках холодной войны утрата какой-то позиции была равносильна отступлению, если не поражению), наконец, непомерно возросшее влияние Андропова, Устинова, Громыко.

Тем временем в Международном отделе, в ученой среде (тут прежде всего хочу назвать профессора Н. Симония) и, наверное, в МИД нарастали сомнения и в отношении эффективности курса «социалистической ориентации», и в правоте безоглядной соревновательной политики в «третьем мире». Летом 1978 года в отделе была подготовлена развернутая записка — ее положил под сукно вернувшийся из отпуска Пономарев, — где предполагалось сосредоточиться на определенной группе стран (еще раньше подобную записку представил в Политбюро КГБ) и обращалось внимание на опасность преувеличенности ожиданий, связанных с «третьим миром». В отделе родилась и довольно реалистическая записка о положении в Анголе, но Громыко ее встретил холодно и предложил «положить на лед». Да и Пономарев был не в восторге.

Я уже упоминал, что у многих специалистов, в том числе и в аппарате ЦК, с самого начала не было никакой веры в то, что революционно-демократические партии могут превратиться в марксистско-ленинские. И об этом прямо писалось и говорилось. Теперь же эти сомнения приобрели более масштабный характер. Я был в числе писавших и говоривших с самого начала. Сошлюсь на оценки некоторых западных авторов, достаточно скрупулезно анализировавших мои опусы. Реализм побуждает меня отмежеваться от чрезмерных оценок, но смысл позиции они уловили достаточно точно. К сожалению, цитаты, которые мне предстоит привести, будут несколько пространными, и я заранее прошу за это извинения.

Фрэнсис Фукуяма писал, что у меня был «голос, не согласный с официальной точкой зрения»¹³. Он утверждал, что в моих работах был более выраженный скептицизм относительно жизнеспособности так называемых марксистско-ленинских партий в странах «третьего

¹³ Soviet Strategy in the Third World. — P.31.

мира». «Анализ его работ в течение прошедших 25 лет, — отмечал Фукуяма, — показывает, что он последовательно скептически относится к способности государств «третьего мира» осуществить успешный переход к социализму и никогда не выглядел убежденным в том, что марксистско-ленинские партии, партии второго поколения, могут быть реальной альтернативой первому поколению буржуазных националистов. В действительности правомерно характеризовать его как неохрущевца с акцентом на внешнеполитический потенциал некоммунистических, немарксистских государств «третьего мира». Но у него нет иллюзий Хрущева относительно вероятности эвентуального их обращения в ортодоксальный коммунизм.

В статье в «Правде» в феврале 1982 года, например, Брутенц делает кивок в сторону стран социалистической ориентации, затем быстро переносит акцент на «солидную базу для сотрудничества Советского Союза с теми освободившимися странами, где развиваются капиталистические отношения, но которые продолжают политику защиты и укрепления национального суверенитета в политике и экономике...» Он указывает на растущее сотрудничество Советского Союза с такими странами, как Бразилия, Индия и Мексика, предполагая, что именно они, а не государства социалистической ориентации, управляемые марксистско-ленинскими партиями, будут представлять собой более благотворную почву для советской политики.

Брутенц продвигает эти темы даже еще дальше в статье 1984 года, в которой он защищает антиимпериалистическую позицию и возможности ряда стран «третьего мира», ориентирующихся на капитализм. Он дает высокую позитивную оценку Конференции нерисоединившихся стран в Бандунге в 1955 году, которая вдохновила Хрущева на шаг в сторону от узкой ориентации на коммунистические партии¹⁴.

Фукуяма даже утверждает, что с начала 80-х годов Советский Союз начал отступать от поддержки марксистско-ленинских партий к стратегии, «по Брутенцу», построения связей с большими, геополитически важными странами «третьего мира»¹⁵.

Примерно такие же оценки Фукуяма повторяет в статье «Модели советской политики в "третьем мире"»: «Брутенц в отличие от многих своих коллег и в течение всей своей академической карьеры последовательно никогда не проявлял особого энтузиазма в отношении авангардных марксистско-ленинских партий, к возможности расширения подлинно социалистических институтов в отсталых странах»¹⁶.

Профессор Давид Олбрайт писал: «В конце 70-х годов ряд советских ученых поставил под сомнение некоторые ключевые моменты

¹⁴ Soviet Strategy in the Third World. — P. 40–41.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Francis Fukuyama. Patterns of Soviet Third World Policy // Problems of Communism. — 1987. — Sept.—Oct. — P. 5.

политической стратегии СССР в Африке, в частности значительное внимание, которое придавалось идеологическим позициям руководства африканских стран. Наиболее четко эти новые взгляды были изложены К. Брутендом в его книге «Освободившиеся страны в 70-е годы» (М. 1979). ...Со второй половины 80-го года советские комментаторы по африканским проблемам все в большей степени стали выражать точку зрения К. Брутенца»¹⁷

Американская же исследовательница в работе, вышедшей из Гуверовского института, в свою очередь отмечала: «В 1984 г. в статье в «Коммунисте» Брутенц, наиболее авторитетный специалист в КПСС по «третьему миру», доказывал, что поддержка политически и экономически слабых социалистически ориентированных клиентов, подобных Афганистану, Анголе и Никарагуа, влечет за собой чрезмерные расходы для СССР. Он аргументировал, что вместо этого Москва должна сконцентрировать свою энергию на культивировании выгодных дипломатических и экономических связей с геополитически влиятельными государствами развивающегося мира, такими, как Индия, Мексика, Бразилия и Аргентина»¹⁸

Наконец, на семинаре «Международный отдел при Добрынине», проведенном в октябре 1988 года госдепартаментом США и ЦРУ, докладчик Скотт А. Брукнер, сотрудник «Рэнд Корпорейшн», утверждал: «В то время как работы Брутенца в более ранние периоды часто выпадали из орбиты преобладающих взглядов и позиций, его писания и в особенности ясные политические рецепты находятся в прямом соответствии с тем, что сегодня выступает как программа внешней политики Горбачева... Он был единственным политически влиятельным советским автором, который, кажется, предлагал ясное направление для советской политики в развивающемся мире...

Нынешняя позиция Брутенца по «третьему миру» и его политические рецепты, которые являются совершенно явными в самых недавних работах, уходят своими корнями в более чем три десятилетия исследований (и пессимистических оценок) «прогрессивного потенциала» развивающегося мира. Его исследования могут быть разделены на три различных периода, но на каждом из них автор исходил из той точки зрения, что попытки Советского Союза утвердить свое влияние в «третьем мире» вполне могут быть напрасными. И именно эта точка зрения отличает Брутенца от большинства других советских авторов.

Начиная с 1977 года и до настоящего времени Брутенц, по существу, призывает СССР переключить внимание с маленьких, «иде-

¹⁷ David E. Albright. *New Trends in Soviet Policy toward Africa // Africa notes.* — 1984. — April 23. — No 27. — P. 3.

¹⁸ *Communist and Post-Communist Studies.* — 1993. — Sept. — Vol. 26. — No 3. — P. 320.

ологически правильных» государств развивающегося мира на большие, геополитически важные развивающиеся страны, действительно обладающие антиимпериалистическим потенциалом.

В определенной мере призыв Брутенца к расширению союзов Москвы, с тем чтобы туда были включены государства, недовольные Соединенными Штатами, — это возвращение к хрущевской политике поворота «к буржуазным националистам», подобным Нкруме, Насеру и Сукарно. Но в отличие от Хрущева Брутенц не утверждает, что клиенты подобного типа в конечном счете обратятся к ортодоксальному коммунизму. Скорее его призыв базируется на своего рода геополитическом утилитаризме: эти страны могут быть важными союзниками в соперничестве Москвы с Соединенными Штатами и обойдутся гораздо дешевле (и возможно, принесут большие материальные преимущества), чем слабые партнеры социалистической ориентации.

Возможно, наиболее поразительная особенность этих работ по «третьему миру» состоит в последовательном пессимизме по поводу перспектив быстрой, прочной и глубокой социально-экономической трансформации там. С середины до конца 70-х годов этот пессимизм был направлен против его коллег, академических и делающих политику (подобных Ульяновскому), у которых он совершенно определенно видел тенденцию переоценивать перспективу «революционного» продвижения в «третьем мире»¹⁹.

Разумеется, во всех этих оценках полно преувеличений. Я привожу их, однако, лишь как свидетельство того, что у нас раздавались — и этого не могли не заметить зарубежные оппоненты — и более трезвые голоса, в том числе мой.

Но в политике эти голоса не находили какого-либо серьезного отражения, как, впрочем, и авангардистские выверты наших политологов тех лет. И не потому только, что партийно-государственное руководство не слишком прислушивалось к мнению экспертов среднего звена, но из-за нараставшей импотенции самих советских «верхов». В результате наша политика теряла всякий динамизм, превращалась в заложницу вялотекущего процесса втягивания СССР в события и процессы, которые ни в коей мере не диктовались его жизненными интересами.

Да и вообще осмысление происшедшего в стратегическом ракурсе было не в моде. Обычно размышления неоперативного, пессиминутного характера начинались лишь тогда, когда предстоял съезд партии. Составителям доклада предстояло сформулировать «новые идеи», «новые предложения», более или менее глубоко проанализи-

¹⁹ The International Department of CC CPSU under Dobrynin. Proceedings of a Conference on October 18–19, 1988 at the Department of State and Central Intelligence Agency. — P. 69–74.

ровав происходящее, а иногда и в отрыве от него. Стимулировалось это стремлением не столько подправить или обновить политику, сколько подготовить *lege artis* очередной доклад. Правда, важные выступления лидеров в основном готовятся по этому рецепту едва ли не повсюду.

Наверное, стоит отметить и то, что, поддерживая национальные движения в «третьем мире», советское руководство принимало в расчет также настроения внутри страны, разумеется подогретые целенаправленной пропагандой.

В политических и научных кругах США, среди их российских последователей распространено мнение, будто советские действия в «третьем мире» привели к краху разрядки. Для таких суждений есть определенные основания. Рискованные, а вернее, авантюрные действия в Анголе и Эфиопии, некоторые другие шаги, не говоря уж об интервенции в Афганистане, конечно, подрывали разрядку. Однако одностороннее возложение вины на Советский Союз является слишком простым объяснением, непредубежденное представление сложнее.

Вполне адекватную картину нарисовать сегодня трудно или даже невозможно: отнюдь не все «сейфы» открыты, особенно у нашего противника времен холодной войны.

С перестроечных лет мы стараемся откровенно и критически взвесить внешнеполитический курс и конкретные шаги СССР, нередко впадая в обличительный пафос. У американцев же идеологические клише и маски, как правило, остаются нетронутыми. Я был, например, поражен, когда в Осло представители США, включая бывшего директора ЦРУ С. Тэрнера, всерьез уверяли, что Вашингтон никак и ничем не пытался воздействовать на события в Польше в 1980—1981 годах, не имел никаких связей с «Солидарностью» и т.д. и т.п. А документы, которые выборочно раскрывают американцы, содержат изъятия в важных, самых деликатных местах, и на их основании тоже трудно составить реальное представление об их политике. Вот как, например, выглядят рассекреченный протокол заседания Национального совета безопасности от 2 января 1980 г., где обсуждались мероприятия, связанные с вводом советских войск в Афганистан, и другие подобные документы (см. стр. 313—324).

И все же попробую высказаться по этому поводу. Придется затронуть и проблему разрядки — иначе оценить подлинную роль в ее судьбах нашей политики в развивающихся странах вряд ли возможно.

Советские авантюрно-силовые предприятия были отнюдь не целенаправленным подкопом под разрядку, а элементом своеобразной «свободной охоты» в районах «третьего мира». Действия подобного рода не всегда можно объяснить лишь некими чертами, имманентно присущими политике СССР, они вырастали не только из грубых ошибок советского руководства. Не в меньшей мере они определя-

NATIONAL SECURITY COUNCIL MEETING

January 2, 1980

Time and Place: 1:00 - 3:25 p.m., The Cabinet Room

NSC 026

Subject: Iran, Christopher Mission to Afghanistan,
SALT and Brown Trip to China

Participants:

The President	CIA
The Vice President	Deputy Director Carlucci

State	White House
Secretary Vance	Zbigniew Brzezinski
Deputy Secretary Christopher	Hamilton Jordan

Defense	Lloyd Cutler
Secretary Brown	Jody Powell
Deputy Secretary Claytor	David Aaron

MINUTES

The President began by saying that the NSC would first discuss Iran and Pakistan and then reduce the membership to the statutory members for a more private session.

Dr. Brzezinski said that the Secretary of State would update the Council on the Iranian hostage situation and, time permitting, there should be a discussion of our longer term strategy towards the Iranian Government.

The Secretary of State said that we had a successful vote on Monday in the UN Security Council and that since that time we have been working with others to clear up the language of the resolution on sanctions. He thought this would be completed by the end of the day.

The President asked what the prospects were for the approval of the sanctions resolution. The Secretary of State replied that he could not guarantee nine votes. He said that we had eight certain votes, but not nine. The Secretary of Defense pointed out that there will be new members on the Council.



He added that the Eastern Europeans, East Germany and Czechoslovakia, will, of course, be of no help.

~~TOP SECRET/SENSITIVE~~

Review on January 7, 2000
Extended by Brzezinski
Reason for Extension: NSC 1.13(f)

~~Declassify on - OADR~~

Partially Declassified on 3-17-9
under provisions of E.O. 12958
by S. Tully, Assistant Secretary, Council

38

From the NATIONAL

(b)(1)
(b)(5)

With the Europeans and ourselves, we have five votes.

(b)(1)
(b)(5)

However, we could not be certain until we have the text of the sanctions resolution in front of the delegates.

(b)(1)
(b)(5)

The Secretary of Defense asked what the chances were that Secretary General Waldheim would say that we should keep negotiating rather than voting sanctions. The Secretary of State responded that Waldheim is likely to say that there has been some progress and that there should be a few more days permitted to see if diplomacy could achieve more substantial progress. The Secretary of State confirmed the Secretary of Defense's assessment that therefore the vote on sanctions might stretch a few days further, but not for several weeks.

The President asked whether there had been a report from Waldheim. The Secretary of State said no. Indeed, we still do not know if he will be seeing Khomeini. In any event, he did not believe that much would come out of the Waldheim visit.

The President agreed. He doubted whether the Iranians wanted to resolve the crisis at this stage.

The Secretary of State said that he believed the Afghan situation is the only thing that might change the attitude of the Iranian authorities. The Iranian Government has made two statements critical of the Soviet invasion of Afghanistan and they have indicated that this is supposed to be a signal of the congruence of their view with that of our own.

The Secretary of State noted that the Saudis were interested in putting together an Islamic Foreign Ministers meeting and the Secretary of State said that he had encouraged the Saudi Foreign Minister in that regard. He concluded by saying that it is clear that the Iranians see the Soviet move into Afghanistan as a threat. This is where we must place the weight of our argument.

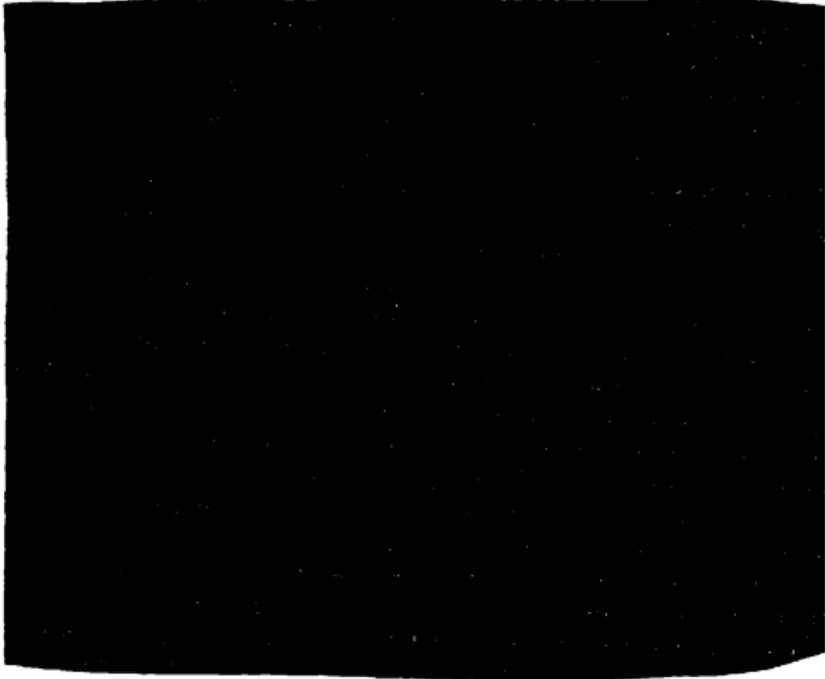
In response to a question as to the contacts we have with the Iranians on this, the Secretary of State said that we were in contact with them through the Swiss.

The President asked if there was any further comment on Iran.

The Secretary of State said that Mal Saunders is meeting with people in New York who are purporting to represent members of the Revolutionary Council. He added that he was meeting with a specific individual here in Washington who had come for this meeting. He did not wish to mention his name, but he said he was a person with real influence.

The President said that what the Iranians tell Waldheim privately will be significant. They are in a position to keep open the possibility of a resolution of the crisis. However, he said he had no reason to be optimistic.

The Secretary of State added that Arafat is probably going to Tehran in the near future. The President asked whether Arafat will condemn the Soviets on Afghanistan. Dr. Brzezinski replied that Arafat will follow the lead of the other Arab countries.



1670
1671

Page 4 DNF
(b)(1), (b)(5)

UNCLASSIFIED

The Secretary of State said that Hal Saunders is meeting with people in New York who are purporting to represent members of the Revolutionary Council. He added that he was meeting with a specific individual here in Washington who had come for this meeting. He did not wish to mention his name, but he said he was a person with real influence.

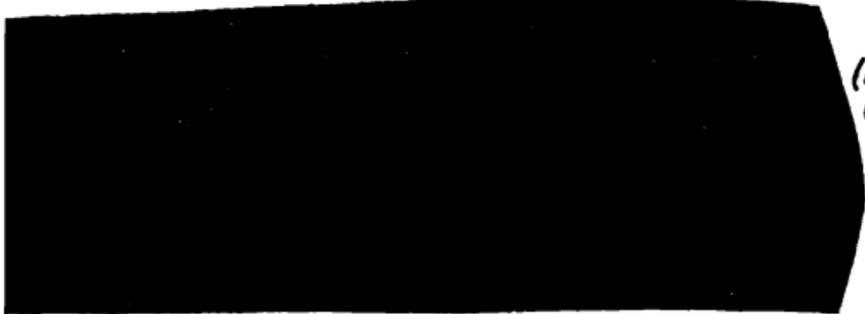
The President said that what the Iranians tell Waldheim privately will be significant. They are in a position to keep open the possibility of a resolution of the crisis. However, he said he had no reason to be optimistic.

The Secretary of State added that Arafat is probably going to Tehran in the near future. The President asked whether Arafat will condemn the Soviets on Afghanistan. Dr. Brzezinski replied that Arafat will follow the lead of the other Arab countries.



LYD
LYD

UNCLASSIFIED



(b)(1)
(b)(5)

The President said that he had read about the experience in the UN during the Soviet invasion of Czechoslovakia. It had been a mistake going to the Security Council first. They debated it for a long time and ultimately the Soviet Union vetoed any action. Then, when efforts were made to go to the General Assembly, so much time had elapsed that no action was taken.

The Secretary of State noted that the General Assembly was still in session and that we could go there next week.

(b)(1)
(b)(5)

The disadvantage is that the Soviets, as well as a number of Warsaw Pact nations, will argue that their actions were consistent with Article 51. The Secretary did not believe that the Warsaw Pact nations would ask to come before the Security Council on behalf of the Soviet Pact position, although the GDR, which is on the Security Council, would undoubtedly be supportive of the Russians.

The Deputy Secretary of State summarized by saying that if we are prepared to join and appeal to the Security Council President to put this issue on the agenda, many other countries would join as well.

The President asked whether we should go to the Security Council when the Soviets would always veto anything we propose there. The Secretary of State responded that we could go under Chapter VI (peaceful settlement of disputes) and since they are involved, they will not have the right of a veto.

The President noted that Chapter VI says that an accused state has no vote, but that there were also no punitive actions which could be taken under Chapter VI. He wondered whether we shouldn't go to the General Assembly as well. The Deputy Secretary of State commented that our allies say that this is a Chapter VII, Article 39 issue -- a threat to the peace, not a simple dispute among countries.

Suite 701 Washington DC 20037

ITY ARCHIVE The Colman Library 2130 H Street

the NATI

UNCLASSIFIED

On the proposal to provide a daily circular to the UN and others in the status of the Soviet occupation of Afghanistan, the President asked whether this could be done in coordination with others. He also questioned whether we should do it daily but rather periodically. He thought that the circulars should also go to all the media and that we should coordinate with the BBC.

The group also confirmed that we should continue worldwide demarches urging others to take actions complementing our unilateral initiatives.

Turning to the United Nations, the Secretary of State said that Don McHenry was checking whether the General Assembly has the jurisdiction for peace and security without Security Council action or consideration. He said that Ambassador McHenry would call back shortly.

b1)
b5)



On the question of consultations with others to reinforce U.S. economic actions, the President said that we should consult particularly on credits. That we should deny Soviet Union credits and urge others to do the same. The Secretary of State pointed out that we do not provide credits to the Soviet Union. The President responded by saying we should nonetheless urge others not to provide further credit.

UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED

The Secretary of State then read it.

Dr. Brzezinski said that if we had a one-time supplemental to provide ESF the Congress might support the idea of the "notwithstanding and other provision of law" approach. The Secretary of State then read such a proposed amendment.

The President asked whether this could be put on the appropriations bill. The Secretary of State said yes or on the defense supplemental. The Secretary of Defense noted that the latter would take a long time. Mr. Aaron suggested that it could be put through separately.

The Secretary of State said that we could consult with the Congress on the best way to do it. Lloyd Culter noted that the provision should not be a one-time lifting of the Symington Amendment but should be country specific. The President noted that putting it on the foreign assistance bill might be one way to get that bill out of committee.

(b)(1)
(X5)

Dr. Brzezinski asked that before moving to a smaller meeting whether we should try to promulgate publicly the decisions that have been reached in the NSC meeting. The President and the Secretary of State said that they didn't believe that that could be done today. Dr. Brzezinski suggested that it would, however, be important for the President to play a prominent role and to make a brief statement.

Jody Powell said that it depends on how we come out on the tough issues of grain and the Olympics. The issues that had been decided thus far will sound "mighty iffy." He then reviewed the sum of them. He said that restricting further and case-by-case limitations does not sound like much. He personally was inclined to have the President play a role and go to the people on this issue. He thought that the decision to provide additional assistance to Pakistan and lift the Symington Amendment would be a high profile item and would be an opportunity for newspapers to focus on it today. He did not know how much we could do in substance but he thought we should try to make a statement by tomorrow morning.

The Vice President agreed that the list was not too impressive. He said the addition of our decisions on Pakistan would help. He said that the grain embargo would be a major step but he hoped that we would not do it. Jody Powell noted that we would have to tighten up other trade or the farmers will say that big business benefits and then we will have trouble politically.

UNCLASSIFIED

[REDACTED] (b)(1)
(b)(5)

The Vice President asked what the disparity is in numbers. The Secretary of State said two to one. [REDACTED] (b)(1)
(b)(5)

Dr. Brzezinski suggested the State Department come back with a specific proposal on how to equalize representation. The President concluded by saying that he was inclined to do it. Turning to the question of the expulsion of intelligence agents, Frank Carlucci said that the United States would definitely come out the loser. The President said he was willing to defer it.

It was agreed to suspend preparation for the opening of Consulates General in Kiev and New York.

The President was not inclined to raise the level of human rights criticism which he felt ought to proceed as vigorously as the situation warranted. However, it was agreed to step up Radio Liberty, Radio Free Europe and Voice of America broadcasts.

Dr. Brzezinski said we would need a small amount of money from OMB for this purpose. The President asked what the allies were doing and the Deputy Secretary of State said that [REDACTED] (b)(1)
(b)(5) In this connection, it was agreed to do all we could to publicize the Soviet role in Afghanistan.

On the question of recognition, Dr. Brzezinski said that we have taken the position that we will not resume normal business. But we have left our personnel there.

The Secretary of State said that he had already taken out all of the AID and ICA personnel and he wants to cut the rest of the staff to a minimum. He said all we have in Kabul at the present time is the Charge d'affaires. The President said he agreed with that if we can fulfill our requirements with a reduced staff.

[REDACTED] (b)(1)
(b)(5)

(b)(1) The President asked whether we could [REDACTED] The Secretary indicated that he would rather not.

The Deputy Secretary of State said that the allies were willing to refrain from political contacts with the new regime. Only two of the countries have the specific policy of recognizing

The Secretary of State agreed with Dr. Brzezinski. As for the conventional arms talks, he felt it should be left on the table. But he would not go forward with the meeting next week between the heads of delegation. On SALT, he thought it was important to leave it on the calendar. He reported that Senator Hart and others had heard that Robert Byrd had urged that we pull it all the way back. The President said no, Senator Byrd did not want to do that.

The Deputy Secretary of State said that the Europeans place great store by SALT. They would like the approach that we are considering. They want to keep other arms control negotiations going. On MBRF, the ball is in the Soviet court anyway. Our action to defer SALT would be widely understood by our European allies.

Turning back to the State Department paper of proposed actions, it was noted that the proposed Presidential statement on U.S.-Soviet relations had already been made by the President as had the recall of Ambassador Watson. The latter would be announced today. The suggestion to restrict social and official contact with Soviet officials was described by the Secretary of State as not effective in previous circumstances and therefore was dropped.

In the discussion of the question of reducing the Soviet diplomatic staff, the President indicated his desire to make the two staffs equal. The Secretary of State commented that in retaliation the Soviets will finger our most important people. Dr. Brzezinski said then we both go down hill and they get the advantage.

The President noted that the Soviet Union placed limits on the number of diplomatic personnel that we may have. We place no such limits on them. He said he was against continuing an unbalanced approach with the Soviets. Dr. Brzezinski added that some greater reciprocity was certainly in order.

The Secretary of State pointed to the fact that the imbalance in representation was due in large measure to the existence of the new Soviet UN Mission. The Secretary of Defense suggested that we separate out the UN Mission as a separate matter. Lloyd Cutler suggested we might freeze the level of Soviet representation at the UN to keep that from being a circumvention of a reduction of the embassy in Washington. Frank Carlucci pointed out that we do not have legal authority to do this.

The President again repeated that he was in favor of cutting back the Soviet Embassy representation.

(X)
(S)

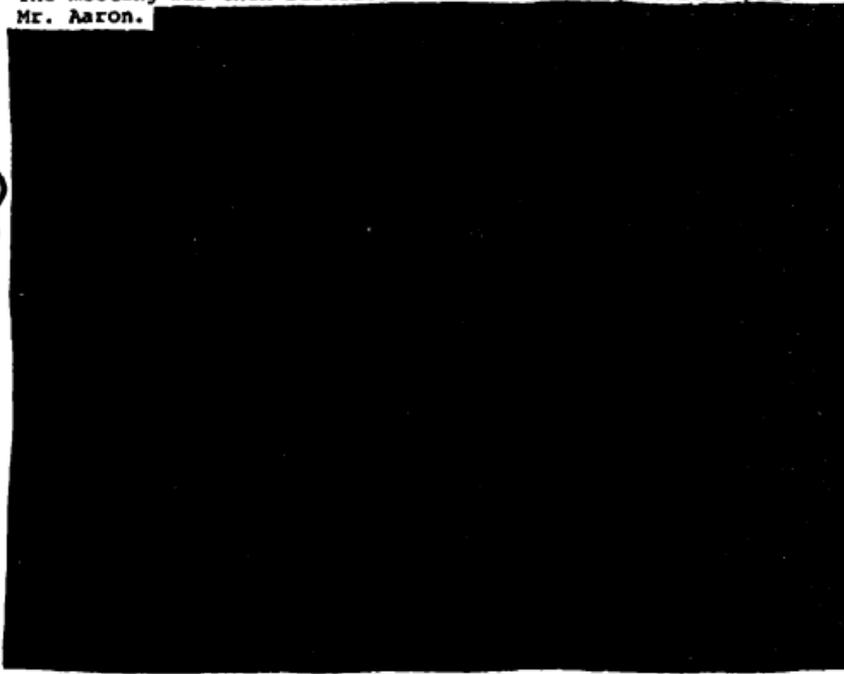


The President asked whether the Soviets might do something on Berlin as a signal. Dr. Brzezinski said that this would provide a big security confrontation he thought they would wish to avoid. The President noted that the Federal Republic had been very courageous on this issue.

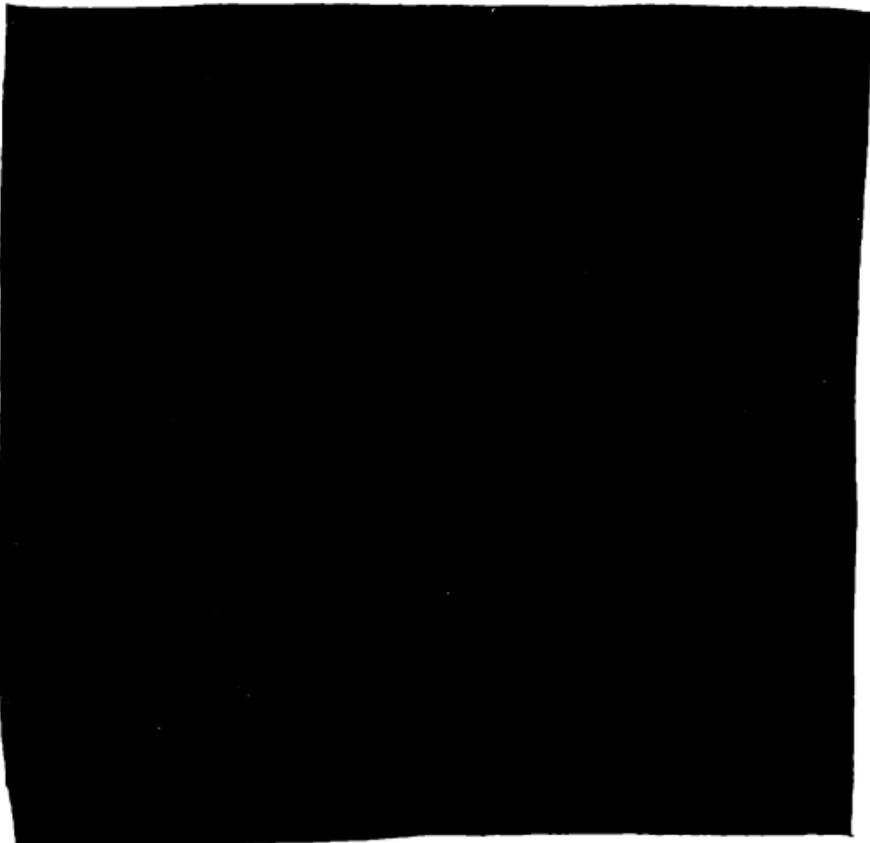
The Vice President asked whether we had gone over the list of crucial imports from the Soviet Union: chrome, platinum and so forth. He asked whether we were still importing titanium. The President said no, that the Soviets were not shipping titanium since they are now building titanium submarines.

Jody Powell asked what would be said about this meeting. The President said the general line should be to say that things are being considered; that Ambassador Watson is coming; that we are consulting with our allies; and that an announcement might be made tomorrow.

The meeting was then restricted to the statutory members plus Mr. Aaron.



(b)(1)
(b)(7)



b1)
b3)

Secretary Brown said, however, that we also need to leave some room on the ladder of escalation, otherwise there is no need for Soviet restraint. Dr. Brzezinski added that we do need to give enough of a signal so the Soviets know we are serious.

b1) Dr. Brzezinski said we are facing as acute a dilemma as when the [redacted] came to us to say that [redacted]

The President said that he was not sure that what we had decided ~~today will deter the Soviet from going into Pakistan and into Iran.~~ Both the Secretary of State and the Secretary of Defense agreed that it would not, but that it would provide a signal. Secretary Brown said that our response must make the Soviets wonder whether the next step will be worth it.

111

лись логикой сверхдержавной борьбы, «зеркальным» поведением американской стороны. Об этом подробно говорили российские участники конференций во Флориде и Осло (пожалуй, больше всех я), и многие американские представители соглашались с нашими доводами.

Главным импульсом для советской, как и американской, стороны было не упустить «счастливый случай» (переворот в Эфиопии или развитие событий в Анголе и Мозамбике), невозможность воспротивиться этому соблазну. В ряде случаев скорее не Советский Союз направлял события, а они управляли им. Тут работала и доминировала логика холодной войны, которая временами начинала играть самодовлеющую роль. Фактически в рамках сверхдержавного соперничества действовало некое правило («закон») продвижения повсюду, где возможно, независимо от подлинной ценности «завоеваний» самих по себе. Г. Киссинджер, человек достаточно осведомленный, говорил мне в Праге в июне 1991 года, что в тот период «потеря одной из противоборствующих сторон в «третьем мире» была приобретением для другой» (эту же мысль он высказал публично на сессии Совета взаимодействия).

Думаю, не было бы большим преувеличением сравнить США и СССР этого периода с боксерами, которые настолько подняли под власть бойцовского азарта и подзабыли о разыгрываемом призе, что главным для них стал сам обмен ударами.

Что же касается кризиса и в конечном счете краха разрядки, то он был вызван комбинацией причин: противоречиями, заложенными в самой ее природе, политикой, которую проводили обе стороны, их близорукостью, просчетами, наконец, шлоом борьбы.

Глубинные противоречия разрядки вытекали прежде всего из антагонизма общественных систем и связанного с ним ее сосуществования бок о бок с холодной войной. Фундаментальные элементы этой войны оставались нетронутыми, и каждая из сторон пыталась подчинить разрядку своим целям. «Мы должны осознать, — говорил президент Картер в июне 1978 года, — что наши отношения с Советским Союзом останутся в течение очень долгого времени соперничающими»²⁰. Чуть раньше, 17 мая 1978 г., в записке Бжезинскому с инструкциями к его поездке в Пекин Картер писал: «Вы должны

²⁰ Address by the President at the U.S. Naval Academy Commencement Exercises Annapolis, June 7, Presidential Documents. — Vol. 14 (June 12). P. 1053.

Зато Брежнев на Венской встрече в верхах трактовал проблему в совершенно ином, нереалистическом и пропагандистском плане: «В США звучит очень часто концепция о соединении соревнования и сотрудничества между нашими государствами. На взгляд СССР, эта формула основана на песке. Она вряд ли может быть надежным отправным пунктом для политики. На путях соревнования или соперничества наши две страны будут не в состоянии решить ни одной проблемы двусторонних или международных отношений».

подчеркнуть, что я вижу Советский Союз по существу в соперничающих отношениях с Соединенными Штатами, хотя имеются также некоторые аспекты сотрудничества. Это устойчивое соперничество имеет глубинную основу и уходит своими корнями в разные традиции, историю, мировоззрение, интересы, геополитические приоритеты». А вот как описывает американский подход к разрядке один из ее отцов — Киссинджер, рассуждая о ближневосточной политике США: «Наша политика, имеющая целью уменьшить и, где возможно, ликвидировать советское влияние на Ближнем Востоке, фактически продвигалась под покровом разрядки... Разрядка не была милостью, которую мы оказывали Советам. Частично она была необходимостью, а частично транквилизатором для Москвы в то время, как мы стремились втянуть Ближний Восток в более тесные отношения за счет Советов»²¹.

По существу разрядка означала отказ лишь от военного способа уничтожения другой системы. Все остальные оставались на вооружении, даже совершенствовались. Некоторые аспекты разрядки использовались для подталкивания изменений внутри другой системы, а значит, вели к обострению холодной войны. Причем СССР оказался в явно невыгодном положении: его система, его союзная структура были менее прочными, менее жизнеспособными. Если для США уязвимой зоной практически была тогда лишь периферия — «третий мир», для СССР ею был социалистический лагерь. Но это служило дополнительным стимулом для активизации его действий в развивающихся странах.

С американской точки зрения, разрядке предстояло стать инструментом для управления сверхдержавным потенциалом Советского Союза, средством, с помощью которого можно вовлечь его в «мировой порядок» и подвести к признанию де-факто преобладающего влияния в нем США. Киссинджер видел «преимущественную проблему», которую можно разрешить с помощью разрядки, в том, чтобы «регулировать возникновение советской мощи». Разумеется, это предполагало и известное приспособление самих Соединенных Штатов к реальностям возросшей мощи Советского Союза, стратегического паритета.

А советские лидеры рассчитывали, что разрядка поможет вовлечь американцев в мир, где те не будут доминировать, где будет обеспечено политическое равенство СССР и США, адекватное их военному паритету. Многие в советской политике в развивающихся странах в конце 70-х годов объясняется именно этим. При этом представления Москвы о росте ее потенциала и относительном сокращении американской мощи были явно преувеличенными.

²¹ Henry Kissinger. Years of Upheaval. — Boston: Mass. Little, Brown, 1982. — P.594.

Как видим, цели сторон были прямо противоположны и они ошибались в своих ожиданиях, не понимая или предпочитая не видеть, что такой утилитарный подход к разрядке может подорвать ее. В основе трактовки ими своих и партнера позиций лежало немало ложных, нереалистических представлений, которые умножались взаимной подозрительностью²².

Взаимное непонимание и недоверие, инерция враждебного восприятия, постоянно применявшаяся друг к другу своеобразная «презумпция виновности» — все это порождалось самим пространством и атмосферой конфронтации, побуждая истолковывать в наихудшем свете поступки соперника. На встрече во Флориде Л. Гелб, председатель влиятельного Совета по внешней политике США²³, так описывал степень «доверия» в отношениях между США и СССР: «Американская сторона считала, что если она оставит на столе свой бумажник, то он немедленно будет украден другой стороной». Советская сторона считала так же.

Проницательно говорил об этом же еще один ответственный сотрудник Госдепартамента — Боб Пастор: «Наиболее мощные документы для меня — те, которые рассказывают о внутренних дебатах в Политбюро (имеются в виду рассекреченные протоколы его заседаний. — *К.Б.*), где люди говорят, что Соединенные Штаты явно теснят Советский Союз и нажимают на него. Это было удивительным для меня, потому что мы в Белом доме в это же самое время чувствовали, что проявляем большую сдержанность и стимулируем сотрудничество. И советские заявления о том, что США ведут себя провокационно и агрессивно, расценивали как простую пропаганду. Документы же показывают, что кремлевские лидеры действительно верили в то, что Соединенные Штаты давят на них...»

США исходили из того, что разрядка — своего рода страховочная сетка для статус-кво (не имея в виду при этом, разумеется, социалистические страны). Но это означало принимать желаемое за действительность. В условиях, когда границы в Европе были забетонированы, лишь «третий мир» оставался зоной свободного поиска.

²² О том, какие анекдотические формы принимала эта подозрительность, дает представление эпизод, о котором рассказывает Р. Гартофф. Как-то незнакомец, говоривший с русским акцентом, передал в сторожку у ворот американского морского штаба пакет на имя вице-адмирала Лайонса. Для расследования был вызван саперный взвод. С помощью рентгена установили, что внутри — емкости, наполненные жидкостью. Пакет разрушили с помощью небольшого взрывного механизма. Оказалось, то были две бутылки водки — подарок советского морского атташе Лайонсу, который возглавлял делегацию США на советско-американской встрече по предупреждению инцидентов на море.

²³ В него входят Г. Киссинджер, Дж. Киркпатрик, З. Бжезинский и другие.

Соединенные Штаты и сами всячески старались там продвинуться. Не собирался поддерживать статус-кво в этой зоне и Советский Союз. В Москве верили — и в общем оказались правы — в неодолимость национально-освободительного движения, и солидарность с ним в принципе считалась идеологическим императивом. Главное, однако, в том, что установка на сохранение статус-кво противоречила объективным процессам в меняющемся «третьем мире», которые не могла заморозить никакая разрядка.

Между тем Соединенные Штаты серьезно недооценивали (в ряде случаев этим грешили и советские руководители) роль и возможности местных политических сил и обстоятельств. Они представлялись им лишь пассивным материалом, объектом манипуляций извне. Бжезинский, как и после него государственный секретарь А. Хейг, видели в национальных движениях лишь инструмент советской геополитической экспансии («стратегию войн за национальное освобождение»).

Уровень и образ американского мышления характеризует тот факт, что Бжезинский, будучи в Пекине в 1978 году, умудрился назвать лидеров национальных движений — а это Мандела, Нуйома, Душ Сантуш, Арафат, уважаемые главы государств, — «международными негодьями». А в январе того же года он назвал советской марионеткой Вьетнам. Это Вьетнам-то с его почти фанатичным отстаиванием своей самостоятельности!

Соединенные Штаты очень долго характеризовали все националистические движения как «коммунистические». Конечно, то была удобная пропагандистская этикетка, которая помогала оправдывать враждебные действия. Но было тут и подлинное непонимание природы этих движений, как и вообще условий развивающихся стран.

Обе сверхдержавы применяли двойной стандарт при оценке действий — своих и соперника, — что усугубляло, особенно у СССР, недоверие к намерениям другой стороны. Вашингтон считал, видимо, естественными усилия по отрыву от Советского Союза, скажем, Египта и Судана, Северного и Южного Йемена, Сомали и Афганистана, Ирака и Сирии. Нападая на СССР за использование им возникавших возможностей в «третьем мире», США для себя считали такие действия и возможными, и законными. 11 апреля 1977 г. Бжезинский докладывал Картеру, что американскому послу в Сомали дана инструкция выяснить, что Сиад Барре «ожидает получить от США, если отойдет от тесных отношений с Советским Союзом».

А вот как на заседании Специального координационного комитета (SCC) 14 января 1980 г. в котором участвовали Бжезинский, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Д. Джонс, директор ЦРУ С. Тэрнер, заместитель государственного секретаря Д. Ньюсом, заместитель министра обороны В. Клейтор, были определены американские задачи в Северном и Южном Йемене: «Обсуждалась опасность неминуемого союза между Северным и

Южным Йеменом... Д-р Бжезинский указал, что мы должны иметь в виду гораздо более глубокие перемены в Южной Йемене. Совершенно ясно, что интересы США в регионе могут весьма серьезно пострадать в результате этого союза. Нам следует поэтому рассмотреть совместную (с Египтом, Иорданией и Саудовской Аравией. — *К.Б.*) акцию с целью осуществить фундаментальное политическое изменение в Южном Йемене».

Когда же Советский Союз широко проник в Анголу, Эфиопию, Южный Йемен, стал наращивать свои позиции в Северном Йемене, других арабских и африканских странах, это было расценено американской стороной как нечто неприемлемое, как часть «дьявольского плана».

США были не менее нас склонны использовать и военную силу, отстаивая свои интересы в «третьем мире». В эти годы они через посредников, а иногда и открыто не раз спасали одиозный режим Мобуту в Заире. Они предлагали вооружение Сомали, по сути дела, подтолкнули его к агрессии. Они — ЦРУ, во всяком случае, благословили налеты на Анголу из ЮАР и Заира. Они в марте 1979 года организовали воздушный мост для поставок вооружения в Северный Йемен, едва вспыхнули столкновения на его границе с Южным Йеменом, и послали 70 военных советников, причем решение президента было принято, когда стороны уже согласились на перемирие. Они вместе с Ираном использовали курдов для интервенции против Ирака, имевшего дружественные связи с СССР. А «военные походы» администрации Рейгана, разжигание ею мятежей: Никарагуа и Гренада, Панама и Чад, Ангола и Афганистан, Ливия и Ливан? Я уже не говорю о том, что США менее нуждались в применении силы: их экономические возможности были не сравнимы с советскими.

Разрядка, связанные с нею соглашения означали признание того, что Советский Союз — супердержава и, следовательно, она как бы уравнивала его с США, предполагала их взаимодействие на равных. На самом деле, если не говорить о военном аспекте, их потенциал и влияние были совсем не одинаковы. Однако СССР уже не хотел мириться с этим.

Эту коллизию признавали, разумеется не публично, и американцы. Сайрус Вэнс 8 июня 1979 г., перед встречей на высшем уровне в Вене, писал в меморандуме президенту: «Они (советские лидеры. — *К.Б.*) оправдывают большую часть своего поведения как реакцию на использование Соединенными Штатами своей мощи и влияния в спорных областях и рассматривают всякое оспаривание их права на такое поведение как посягательство на их статус равной державы». На самой же встрече 16 июня к теме о равенстве то и дело возвращался Брежнев. В конце концов он спросил в лоб: «Готовы ли Соединенные Штаты проводить свою политику в отношении Советского Союза на

основе равенства?» И Картер ответил: «Остальной мир смотрит на нас как на обладающих примерно равной силой. Это комплимент для нас обоих. Мир также смотрит на нас как на лидеров».

Однако США отнюдь не собирались следовать этому на практике, согласившись с тем, чтобы стратегическое равенство сопровождалось адекватным узаконением политических амбиций Советского Союза. Кроме «имперских» претензий у них для этого имелись и веские основания: их реальная мощь. Поэтому и было отклонено предложение Громыко о совместном посредничестве США и СССР в эфиопско-сомалийском конфликте. Объединенная или скоординированная акция ратифицировала бы признание СССР как равного партнера. А в президентском меморандуме НСК-21 прямо говорится о цели Соединенных Штатов, состоящей в том, чтобы «держать Советский Союз вне этого региона», то есть Африки, и расширить там свое влияние.

США пустили в ход и тот аргумент, что СССР — не африканская держава, «позабыв», что и они сами тоже. Такой же мотив — не легитимизировать присутствие Советского Союза — звучал применительно к Ближнему Востоку, когда в октябре 1977 года Вашингтон перечеркнул совместную декларацию о ближневосточном урегулировании и СССР был выдвинут из миротворческого процесса в регионе. Кстати, этот эпизод сыграл немаловажную роль в укоренении советского недоверия к США и подрыве разрядки.

По существу, Соединенные Штаты попытались распространить на «третий мир» «доктрину Монро», рассматривая его как свой заповедник. «Администрация Картера, — заявил на встрече во Флориде бывший первый заместитель министра иностранных дел СССР и нынешний российский посол в США Ю. Воронцов, — в конечном счете стремилась вытеснить Советский Союз из «третьего мира», отрицала за ним право на статус другой сверхдержавы. Главная причина срыва советско-американских отношений при Картере — это нежелание США смириться с ролью Советского Союза как большого игрока в мировых делах».

Советский Союз же, считая естественным свою поддержку коммунистических и других оппозиционных сил на Западе, вместе с тем клеймил, как подрывную и незаконную, американскую активность в социалистических странах. Наладив теснейшие связи с Кубой (что достаточно остро воспринималось в США), советское руководство в то же время болезненно реагировало на американскую деятельность в соседних с СССР странах — Иране, Афганистане и т.д. Справедливости ради должен, правда, констатировать, что антисоветские интриги США в «третьем мире» воспринимались в Москве как естественные.

Были ли события в Тропической Африке и на Роге фатальными для судеб разрядки? Использовали ли политики весь потенциал вза-

имных интересов, чтобы обеспечить «мягкую посадку» возникшего конфликта (я сознательно оставляю в стороне афганскую интервенцию²⁴, здесь, пожалуй, ответ не вызывает сомнений)?

— Хотя бесплодное это занятие — задним числом судить, удалось ли бы спасти разрядку, одно, на мой взгляд, бесспорно: имевшиеся возможности политики не использовали из-за своей недалёковидности, а главное — из-за того, что их образ мыслей был скован стереотипами, сложившимися в ходе холодной войны.

О «бетонной» линии советской стороны уже говорилось. Пару слов о позиции американской администрации. В оценке действий Советского Союза в «третьем мире», как и в целом его политики, администрация Картера была разделена. Об этом говорили во Флориде и Осло люди с «высшего этажа» государственного департамента.

По их словам, одни в администрации верили в существование советского плана по вытеснению США повсюду, другие сомневались. М. Шульман, специальный помощник госсекретаря в 1977—1981 годах, заявил, имея в виду Вэнса: «Был на американской стороне импульс развить правила игры, чтобы как-то упорядочить соревнование и культивировать определенную степень сотрудничества. Но на американской стороне были и люди, с этим не согласные». И каждая группа старалась оказать влияние на президента, который, суди по всему, был искренне привержен разрядке (разумеется, на американских условиях). «Бедняга президент Картер, он так хотел добра», иронически говорил об этом М.С. Горбачеву 22 октября 1987 г. рейгановский госсекретарь Дж. Шульц.

Фракция (назовем ее так) Бжезинского, помощника президента по национальной безопасности, видела в Советском Союзе смертельного врага. Збигнев Бжезинский, которого издание Нобелевского института мира называет «испытанным солдатом холодной войны» и «тщеславным», разжигал противостояние и, насколько позволяют судить его собственные мемуары, делал это сознательно. Сказалась не только привязанность к выношенным на профессорской кафедре антикоммунистическим концепциям, но и, если следовать формуле английского журнала «Экономист», антирусское биение польского сердца²⁵, а, может быть, также родственные связи (он женат на племяннице бывшего чехословацкого президента Бенеша). Впрочем,

²⁴ Хотя не сбросишь со счетов то, что одним из факторов, ее породивших, был вывод об уже состоявшемся умерщвлении разрядки.

²⁵ В Осло имел место «музыкальный момент». Во время обсуждения афганской темы С. Тэрнер вдруг заявил: «Имя Бжезинского выскакивает здесь каждые пять минут, но никто до сих пор не упомянул, что он поляк. А это мне кажется важной частью уравнения. Никто из нас не в состоянии уйти от своей «подоплеки». Но в этом случае тот факт, что Бжезинский — поляк, мне кажется, ужасно важен».

воинственные деятели, к счастью не столь влиятельные, были и на советской стороне.

Бжезинский и его заместитель генерал Б. Одом, работая в команде Картера, находились как бы в оппозиции к его политическому курсу. Перечисляя важнейшие внешнеполитические инициативы Картера, Одом так изображает их оценку «саудовцами, пакистанцами, йеменцами и т.д. и т.п.»: «Эти американцы сошли с ума. Эта политика совершенно бессмысленная, они, по существу, отдают этот регион Советскому Союзу». И заключает: «Эти шаги в своей совокупности наносили нам ущерб».

На конференции я спросил Одома: «Какие шаги Советского Союза могли бы умиротворить правые, можно сказать, «ястребиные» круги (читай: Бжезинского и К^о. — К.Б.) в США?» Он отвечал: «Отказ от международной классовой борьбы и одобрение идеологических принципов, на которых мы могли бы строить сотрудничество».

Как бы естественно это ни звучало сегодня, это было равносильно требованию к СССР отказаться от самого себя, а на подобных условиях никакое сотрудничество возможно не было. И это полностью расходилось с линией Картера, по крайней мере в начале его президентства. Так что у меня были все основания сделать вывод: «Другими словами, что бы ни сделал Советский Союз и как, это не удовлетворило бы определенную часть американского истеблишмента. Но отсюда следует и практический вывод: такую же позицию она занимала и в отношении разрядки». Иными словами, разрядка оказалась в руках тех, кто в нее не верил и не принимал. И ее крах был победой Бжезинского и его единомышленников. Собственно, они отвергали и формулу «мирного сосуществования». Бжезинский считал, что Киссинджер совершал ошибку, используя этот термин: тем самым Соединенные Штаты, Запад признавали право на существование другой социально-экономической системы.

Разделение на американской стороне было видно и в Осло. Мы, «участники» советской политики второй половины 70-х и 80-х годов, стали свидетелями полемики между представителями двух течений в американском истеблишменте того времени, как бы воспроизводящей споры прошлого.

Одом говорил: «Я хочу сделать акцент на идеологическом факторе. Брутенц его отодвигает в сторону, как будто он не очень важен. И, как мне кажется, он проводит разделение между борьбой двух лагерей и тем, что реально важно: стратегическим выражением этого. Я принимаю это разделение. Но мне кажется, что идеологические предпосылки на обеих сторонах очень, чрезвычайно важны. И до тех пор, пока Советский Союз занимал идеологическую позицию, не было места для «встречи» двух держав. И в той мере, в какой мы занимали свою позицию относительно сути межгосударственных отношений, тоже не было места для встречи этих двух держав». Ему отвечал

М. Шульман: «Вопрос не в том, были или не были глубокие идеологические разделения, они были. Вопрос, как я вижу его, состоит в том, что, несмотря на идеологические различия, тем не менее было возможно найти области пересекающихся интересов».

Одом продолжал: «Я вынес впечатление из выступления Гаррисона²⁶, будто все, что произошло, это большое несчастье и то, что мы не вели себя иначе с 1977 по 1981 год, было большой ошибкой. Я совсем не разделяю этого взгляда». И счел нужным подчеркнуть: «Я принимаю борьбу “двух лагерей”²⁷, присовокупив, защищаясь иронией от своих оппонентов: «Хотел бы добавить, что и не поляк». «У вас зато другие “бзики”, — парировал Тэрнер.

Шульман: «Взгляд, которого придерживался я и многие другие, состоял в том, что ограничение уровня военного соревнования — в интересах обеих сторон и существует возможность достигнуть подходящего согласия с Советским Союзом. Чтобы сделать это, важно развивать каналы контактов через обмены, торговлю и т.д., что в долгосрочной перспективе приведет к определенной модификации поведения Советского Союза. Если же вы — как Билл и Зби²⁸ — не верили, что это возможно, то логическим выводом было отвергнуть этот вид сотрудничества и добиваться коллапса советской системы».

Я хотел бы, чтобы читатель обратил особое внимание на последующие соображения Шульмана: они как бы перебрасывают мостик от дня вчерашнего к дню сегодняшнему: «Это (т.е. описанные взгляды его оппонентов. — К.Б.) остается уместным для тех, кто все еще видит в бывшем Советском Союзе возможность будущей угрозы. Существует нежелание принять Россию как равную. Существует опасение, что шаги, которые Россия может предпринять, стремясь к реинтеграции с бывшими частями Советского Союза, представляют попытку воскресить старую “империю”»

Это почти точное описание нынешней позиции все того же Бжезинского. Больше того, сегодня он выступает за «свободную конфедеративную Россию», состоящую из «конфедеративных образований» — Европейской России, Сибирской и Дальневосточной республик, что трудно квалифицировать иначе чем призыв к «мягкому» расчленению России²⁹.

С начала 1978 года Бжезинский настойчиво убеждал президента, будто советские действия в Анголе и Эфиопии — часть скоординированного и широкомасштабного наступления по протяженной «кри-

²⁶ Бывший советник-посланник в посольстве США в Москве.

²⁷ В целом позиция Одома опирается на своеобразную подмену: советские идеологические догмы («мировая революция» и т.д.) приравниваются к практической политике и за нее выдаются.

²⁸ Одом и Бжезинский.

²⁹ Независимая газета. — 1979. — 24 окт.

зисной дуге» (от Африки до Юго-Восточной Азии) с целью окружения нефтедобывающих стран Персидского залива и взятия в клещи Юго-Западной и Юго-Восточной Азии. Эхом нагнетавшихся им страхов звучит сделанное на Венской встрече заявление Картера: «Важно, чтобы мы заботились о том, чтобы не лишать какую-либо из наших стран или же, по этой же причине, любую другую страну доступа к критически важным природным ресурсам... Есть несколько областей, где США и их союзники имеют безусловные жизненные интересы, например Аравийский полуостров и Персидский залив».

Фракция Бжезинского делала все для того, чтобы перевести политику США на более жесткие рельсы. К тому же она, думается, еще сознательно преувеличивала отрицательные, неприемлемые, на ее взгляд, стороны политики Москвы, намеренно нагнетала обстановку.

Именно в таком контексте пограничные столкновения где-то в Центральной Африке (так называемая Шаб-П), к которым советское руководство никак не было причастно, могли быть раздуты до событий мирового значения, привести к серьезному обострению отношений между СССР и США. Кстати, мы находим подтверждения этого в документах правительства США. На заседании Специальной комиссии по безопасности (SCC) 2 марта 1978 г. Сайрус Вэнс обращался к коллегам, очевидно и к Бжезинскому: «Год назад Советы были в Сомали и Эфиопии так же, как теперь. Но теперь это стало ежедневным кризисом. Мы возбуждаем сами себя».

Мне кажется обоснованным мнение Шульмана: идеологические разногласия и несовместимые долгосрочные цели не исключали взаимоприемлемого сотрудничества. И я не согласен с Одомом в том, будто идеология настолько поглощала обе стороны в их неизбежном противоборстве, что даже компетентной и конструктивной дипломатии было суждено потерпеть фиаско. Напротив, если бы тон задавали конструктивная политика и политики, то не исключено, что произошла бы «мягкая посадка» (термин самого Одома): установление более тесных и взаимообязывающих связей между двумя системами, сглаживание противоречий, эволюционное движение в сторону «горбачевизации».

Зная особую чувствительность советского руководства и практически сго провоцируя, Бжезинский, уговорив Картера, отправился в конце мая 1978 года в Пекин, где фактически шла речь о неформальном антисоветском союзе и где он выступил с публичными нападками на «полярного медведя к северу (от Китая. — К.Б.)». Между тем никакой советской стратегии окружения нефтедобывающих стран не существовало. Даже у здравомыслящих политиков обеих сторон (и идущих по их следам исследователей) есть тенденция чрезмерно рационализировать курс и практические действия «противника». А преувеличенные оценки интеллектуальных возмож-

ностей и политических талантов и горизонтов руководства, внешне-политических штабов обеих сверхдержав сыграли негативную роль, подкрепляя превратные представления о наличии у них тщательно продуманной и последовательно реализуемой стратегии в «третьем мире», и в частности в этой зоне.

Ну а что касается Саудовской Аравии, то могу засвидетельствовать: ни в 70-е, ни в 80-е годы подобная цель не ставилась — ни как близкая, ни как отдаленная. Советское руководство, каким бы геронтократическим оно ни было, в целом отличалось достаточной осторожностью, сознавая если не границы, то относительную узость своих возможностей. Еще существеннее: оно вело себя очень осмотрительно, когда речь шла о вопросах, затрагивающих жизненные интересы Запада, остерегаясь его жесткой реакции. Это в полной мере касается и энергетических источников Ближнего Востока.

Во Флориде Вэнс сделал два важных заявления, которые, очевидно, подтверждают изложенное представление об ответственности политиков обеих сторон. «Я думаю, — говорил он, — время от времени такие вещи, как то, что случилось с Шабой и на Роге, имели тенденцию делать ситуацию более острой... И я думаю... что определенная вина была на обеих сторонах... Мы были способны решить некоторые конфликтные ситуации в духе сотрудничества — возьмите Огаден; я думаю, что это было также возможно и в Шабе».

Комментируя мою критику заявлений Бжезинского о «коварной стратегии» Советского Союза в отношении стран Персидского залива и подобную же характеристику событий вокруг Шабы, он заметил: «Я хочу поблагодарить Карена Брутенца за важное детальное изложение, очень полезно было услышать то, что вы сказали».

Но тем, кто представлял в администрации Картера умеренную линию, приходилось нелегко. Популярнее и безопаснее — как в Советском Союзе — было занимать «патриотическую», воинственную позицию. «Политически было очень трудно, — говорил мне Лесли Гелб, — отстаивать сдержанный подход, очень трудно. Потому что в таком случае нас готовы были обвинить в слабости, мягкотелости, в том, что мы умиротворители и т.д.» Разумсется, Вэнс и его единомышленники выражали более разумную линию с точки зрения американских интересов, предлагая твердо защищать их, но не за счет опасного нагнетания международной напряженности и кризиса в отношениях с СССР.

Еще более сложным, еще более начиненным предвзятым и вошественным отношением к партнеру стал период администрации Рейгана. Вот что пишет об этом Б. Вудворт, касаясь событий 1983 года, связанных с Никарагуа: «В обстановке лихорадочного антикоммунизма Кейси (директор ЦРУ. — *К.Б.*) мог выжить, даже процветать, но не Эндерс (помощник государственного секретаря, не «ястреб». *К.Б.*). Рейган, Кларк (помощник президента по национальной без-

опасности. — К.Б.) и Кейси использовали любые приемы и подвергали сомнению патриотизм каждого, кто хотел продолжать диалог»³⁰.

Новый президент начал делать в «третьем мире» все то, что ранее приписывалось Москве. «Сдерживания, — заявил он, — недостаточно. Мы должны находиться в наступлении». «При всей своей туманности и несвязанности, — пишет профессор Ф. Холлидей, — атака администрации Рейгана против революционных государств «третьего мира» составляла часть более всеобъемлющего вызова Советскому Союзу. Дорога на Москву лежала, казалось, через Кабул, Пномпень, Аддис-Абебу, Луанду, Сан Джордж и Манагуа»³¹.

Обстановку, в которой теперь происходило советско-американское противостояние, настроения самого Рейгана характеризует факт, сейчас уже основательно подзабытый. Опробуя микрофон перед своим радиовыступлением 11 августа 1984 г. Рейган пошутил (!): «Мои соотечественники, друзья американцы, мне приятно сообщить вам, что я подписал закон, объявляющий Россию вне закона навсегда. Через пять минут мы начинаем бомбежку». Не выдал ли язык президента то, что у него было на уме?

Сейчас в США, и не только там, принято воздавать хвалу рейгановскому курсу, который привел к «нобеду». На самом деле он отдавал авантюризмом. Его авторы, видимо, не вполне представляли, в какую игру и какой «игрушкой» они играли. Они жаждали выиграть холодную войну, не думая о том, что могут зайти слишком далеко. К чему мог бы привести такой курс, если бы во главе СССР оставался, например, Андропов? В этом случае я бы не исключал ядерного столкновения. Счастье, что к игурвалу вовремя встал Горбачев, который вышел из безумной игры.

Главный вывод, который вытекает из анализа советской политики в зоне развивающихся стран, думается, состоит в следующем: заключенная в прокрустово ложе глобального соперничества с США и слишком экстенсивная, опиравшаяся на неточную оценку ситуации и перспектив развития в этой зоне, она в целом не отвечала ни подлинным интересам Советского Союза, ни его возможностям.

Достигнутый ядерно-стратегический паритет внушил советским руководителям иллюзорное представление (впрочем, разделявшееся и другими участниками международного пасьянса) о том, что СССР

³⁰ Bob Woodward. Veil: The Secret Wars of the CIA 1981–1987. Pocket Books. — N.Y. — 1987. — P. 260. Б. Вудворт (по мнению «Вашингтон пост», «один из лучших американских журналистов своего поколения»), получивший премию Пулитцера за серию репортажей об «Уотергейте», в этой книге, по оценке той же «Вашингтон пост», не только «нарисовал» портрет директора ЦРУ, но и то, как переделывалась американская внешняя политика.

³¹ Fred Holliday. From Kabul to Managua: Soviet-American Relations in the 1900's., N.Y. — 1989. — P. 138.

вырос в сверхдержаву и может вести себя соответственно. Но, по сути дела, он сверхдержавой так и не стал: ведь тогда уже все большее значение приобретала экономическая составляющая государственной мощи.

Однако непозволительно не видеть и другого: такую же игру в «третьем мире» — и не менее цинично — вели США. Их методы мало чем отличались от советских.

Если отвлечься от сверхдержавных претензий и глобального противостояния, ни экономические выгоды, ни политические завоевания не оправдывают проводившуюся нами в «третьем мире» политику. Она была «нерентабельной», а многие ее акции носили саморазрушительный характер. Так называемое продвижение внесло существенный вклад в перенапряжение сил Советского Союза, приведшее к его краху.

Но в том-то и дело, что «отвлечься» невозможно. Для этого нужны были бы другая мировая ситуация, другое государство, другая властная структура. США выиграли благодаря запасу прочности своей системы, но не политике, которая не была ни мудрее, ни пронительнее, ни профессиональнее, чем советская.

2. «МЫ» И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Латиноамериканское направление, хоть и трудоемкое из-за многочисленных контактов, занимало далеко не основное место в работе отдела. Правда, весьма весомое: в регионе был сосредоточен второй по численности, после европейского, отряд компартий, как правило лояльных по отношению к КПСС: 20 партий, насчитывавших в общей сложности 200—250 тыс. членов.

Но круг партийных связей этим не ограничивался. Серьезные сдвиги на континенте — его какое-то время было даже модно называть «пылающим» — после кубинской революции, победа Народного единства в Чили привели к пересмотру нашего подхода к политическим силам в Латинской Америке. Завязались и стали развиваться отношения КПСС с некоммунистическими организациями. Это — Радикальная и Социалистическая партии Чили, Социалистическая партия Уругвая, Народно-прогрессивная партия Гайаны, Институционно-революционная партия Мексики, Партия демократического действия Венесуэлы, Социалистическая революционная партия Перу, аргентинские перонисты, Революционно-демократическая партия Панамы. Я уже не говорю об организациях типа сандинистов в Никарагуа.

Шел довольно интенсивный обмен делегациями, в контактах активно участвовали члены советского руководства. В итоге подобного рода связи с политическими и общественными силами стали в известной мере дополнять отношения СССР с государствами Латинской Америки, а в некоторых случаях компенсировать их слабое развитие. Связи же с правящими партиями порой прямо помогали отстаивать и продвигать советские интересы в этом регионе.

В перестроечные годы заметно расширились связи с партиями социал-демократического и демократического толка — Партией национального освобождения Коста-Рики, партией трудящихся Бразилии, Бразильским демократическим движением, партией Колорадо в Уругвае и т.д. В декабре 1986 года Политбюро особо подчеркнуло важность развития контактов с социалистическими и социал-демократическими партиями Латинской Америки.

В доперестроечное время (в 70-е и 80-е гг.), как и вообще в послевоенный период¹, Советский Союз не имел в Латинской Америке (исключая Кубу) серьезных политических, экономических и стратегических интересов. Но Латинская Америка не была и не могла быть исключенной из глобальной конфронтации, хотя и пострадала от нее меньше других регионов. Сколь ни скромны были здесь цели и практические действия советской политики, она, как и повсюду, определялась прежде всего этим противостоянием, супердержавными претензиями и идеологическими соображениями, которые к ним приспособлялись. Последние я бы назвал скорее идеолого-корпоративными: Москвой двигало прежде всего то, что она ощущала себя главой подчиненного ее целям мирового коммунистического сообщества.

Взять, к примеру, нашу позицию в отношении самостоятельности латиноамериканских стран. В соответствии со своим принципиальным подходом Советский Союз демонстрировал солидарность с их курсом на укрепление государственной независимости. К этому его подталкивали и практические соображения. Как сверхдержава, которая бросала вызов глобальным амбициям Соединенных Штатов, СССР, естественно, считал, что укрепление самостоятельности стран Латинской Америки, их избавление от доминирующего влияния соперника будут отвечать его интересам. В таком контексте мы, конечно, сочувствовали антиамериканским настроениям на континенте.

Разумеется, гармония идеологических и геополитических соображений наблюдалась далеко не всегда. Когда то или другое правительство начинало выказывать свой антиамериканизм, Москва часто закрывала глаза на то, что его внутренний курс противоречит нашим идеологическим рецептам. Бывало и так, что фундаментальные постулаты советской политики прилагались к реальностям Латинской Америки без осмысления того, работают ли они в данных обстоятельствах, без осознания существа процессов, происходящих в странах региона. Идеологические схемы и влияние антиамериканизма, как отражение глобальной конфронтации, иной раз мешали трезво оценивать ход событий, видеть перспективу.

Политика Советского Союза — и государственный, и партийный ее аспекты — сводилась, по сути дела, к четырем целям. Первая: сохранить дипломатическое и политическое присутствие на континенте, расширять список государств, с которыми существуют нормальные отношения. Вторая: использовать это для усиления в Латинской

¹ И.Р. Григулевич, член-корреспондент АН СССР и одновременно сотрудник, как сейчас бы сказали, внешней разведки, рассказывал, что в конце 40 — начале 50-х гг. по поручению Берии подготовил записку о советской политике в Латинской Америке. Вернувшись от Сталина, Берия сообщил: «Сталин послал нас на три буквы. Сказал: "Зачем нам сейчас эта Латинская Америка, что, у нас других дел нет?"».

Америке поддержки нашей политики солидарности с Кубой. Третья: отвлечь, насколько возможно, внимание США от других регионов, чтобы ослабить их давление и уравновесить их активность там. Четвертая: развивать связи с компартиями, которые мы рассматривали главным образом как опору в борьбе за сохранение гегемонии КПСС в международном коммунистическом движении. Причем делать все это таким образом, чтобы не вызывать острой конфронтации с США, не давать для нее повода. Геостратегический компонент наших отношений с Латинской Америкой фактически имел оборонительный характер. Речь шла не о том, чтобы самим утвердиться на континенте, а о своеобразном диверсионном маневре.

Велик был, конечно, соблазн подобраться к «подбрюшью» противника, как это сделал Вашингтон, по-хозяйски обосновавшись в Турции и Иране. Однако у СССР для этого не было ни сил, ни средств, а кубинское фиаско 1962 года побуждало к особой осторожности. Поэтому все сводилось к «раздражающей деятельности», которая изображалась Соединенными Штатами в чрезвычайно гипертрофированном виде. Профессор Дж. Перри, бывший американский дипломат с 20-летним стажем, в том числе посольским, прав: в Латинской Америке «никогда не было ни советского присутствия, ни советского влияния и ни советской угрозы»².

Соединенные Штаты продолжали контролировать положение в регионе. Он оставался плотно зажатым в американские тиски, и поговорка, которую я не раз слышал в Латинской Америке: «Бог далеко, а США — под боком», все еще звучала неопровержимо. Вашингтон упорно добивался упрочения этой гегемонии, соединяя в своей политике, подобно Советскому Союзу, великодержавное и мессианское («демократическое») начала, хотя и у них они часто оказывались в резком противоречии друг с другом (поддержка Пиночета в Чили, Стресснера в Парагвае, военной хунты в Уругвае, кровавых диктатур в Центральной Америке и т.д.). Демократические зигзаги при Дж. Кеннеди и Дж. Картере не означали отхода от этого курса.

По всем этим причинам наш курс в Латинской Америке был вялым и пассивным. За все время, о котором идет речь, здесь не побывал никто из видных государственных деятелей Советского Союза. Но порой и бюрократический иммобилизм мешал использовать, казалось бы, доступное нам преимущество: стремление ряда латиноамериканских правительств пустить в ход советскую карту, чтобы вытянуть у США. Латиноамериканцы вообще были заинтересованы в том, чтобы внимание США было отвлечено от них другими заботами. К. Альмейда, чилийский министр иностранных дел, в

² The Russians aren't coming («Русские не идут») // New Soviet Policy in Latin America /Ed. by Wayne Smith, Lyenne Rienner. — Boulder and London, 1992. — P. VII.

начале 70-х годов в откровенной беседе не без цинизма призвал: «Нас устраивает продолжение войны во Вьетнаме. Американцы там заняты, и мы дышим свободнее».

Советская политика в Латинской Америке была пассивнее, чем в других районах «третьего мира», велась без какого-либо особо продуманного плана, о долгосрочной стратегии и говорить нечего. Она приспособлялась к обстоятельствам, а не пыталась их создавать и изменять, следовала за событиями, а не предвидела их. Правда, и возможности были скромными.

Некоторые наши шаги — или, напротив, их отсутствие — имели негативный эффект. Отказ от публичного осуждения репрессивных действий диктаторских режимов в Бразилии, Аргентине, Уругвае, Боливии (там наш посол даже обнимался с диктатором Бансером и его министром внутренних дел, а мы получали протесты первого секретаря Боливийской компартии Х. Колле) подрывал авторитет советской политики в глазах демократической общественности Латинской Америки. В ООН мы блокировали попытки поднять вопрос о «послужном списке» аргентинского военного правительства в вопросе о правах человека.

Кубинцы, а также некоторые лидеры латиноамериканских компартий нередко подталкивали нас к разного рода радикальным шагам, ставя советское руководство перед нелегким выбором: между Сциллой унаследованных от прошлого остатков революционной правоверности и Харибдой благоприобретенной всемерной оглядки на реакцию США. Иногда мы признавали за кубинцами роль «конечной инстанции» в определении целесообразности тех или иных действий. Во всяком случае, старались не делать того, что шло, по мнению Гаваны, во вред ее интересам.

Подобный подход был связан с определенными издержками. Мы нередко воздерживались от прямого выражения несогласия с линией на подстегивание повстанческой борьбы, фактически отдали кубинцам на откуп отношения с революционными силами за пределами коммунистического движения. Тем не менее нас частенько обвиняли в симпатиях к «левакам», подрывая доверие к заявлениям СССР о его стремлении развивать сотрудничество со странами региона на основе равноправия и невмешательства во внутренние дела.

Общий политический климат в Латинской Америке во второй половине 70-х годов не благоприятствовал Советскому Союзу. После свержения правительства Альенде, переворотов в Уругвае, Аргентине, при сохранении военного режима в крупнейшей латиноамериканской стране Бразилии и правивших в Парагвае, Гватемале, Гондурасе и Гаити диктатур в регионе началось довольно широкое наступление правых сил. И вплоть до начала 80-х годов Советский Союз ограничивался главным образом поддержанием уже существовавших двусторонних отношений. Заметное продвижение имело место лишь с Перу,

а также Боливией. Опасаясь кубинской «заразы», некоторые латиноамериканские государства ужесточили позиции и в сфере культурных связей.

В экономической сфере в подавляющем большинстве случаев дело ограничивалось отдельными торговыми сделками. Исключение — соглашения о продаже военной техники в Перу, дополненные сотрудничеством в области рыболовства, довольно крупные поставки оборудования в Боливию для предприятий по добыче и выплавке олова, масштабные закупки сельскохозяйственных продуктов в Аргентине.

Широко распространявшиеся с помощью американских спецслужб утверждения о «руке Москвы» были безосновательны: если бы СССР и стремился стать «отцом» реального политического движения или партии в Латинской Америке, у него не было на это ни сил, ни возможностей. Особенно много шума администрация Рейгана поднимала по поводу «инспирирования» нами повстанческой борьбы в Центральной Америке. Но, как пишет ведущий американский специалист, глава секции интересов США (эрац-посольства) на Кубе в 1979–1982 годах Уэйн Смит, «растущий беспорядок» там «был результатом внутренних причин — бедности, социальной несправедливости и репрессивных правительств» и Вашингтон «очень сильно преувеличивал ситуацию в своей Белой книге от февраля 1981 года»³.

Очевидно, алармистская пропаганда служила сознательно избранным оружием, а отчасти, и проявлением «иррациональной» и «диспропорциональной» реакции США⁴ — геополитического страха страны, привыкшей к абсолютно надежному предполью и нетерпимой к появлению в Западном полушарии каких-либо внешних сил. Принося Вашингтону некоторый эффект, она имела и негативные последствия. Гипноз собственной пропаганды часто приводил к результату, которого не могли достичь советские действия сами по себе: отвлечению внимания США от других театров противоборства.

В абсолютной надуманности этих обвинений и очевидной «руке» конструировавших их американских спецслужб я смог удостовериться и сам. В упомянутой Белой книге госдепартамента США мне отвели роль покровителя партизанского движения в Центральной Америке. А еще раньше, 7–8 января 1981 г. эти обвинения появились в «Интернэшнл геральд трибюн», в которой Хуан де Онис утверждал, будто «Вьетнам, Эфиопия, Россия и Куба договорились о поставках оружия мятежникам Сальвадора» и с советской стороны этим, а также военной подготовкой сальвадорских коммунистов занимался я.

Через несколько дней подобные же статьи опубликовали колумбийская «Эль Тьемпо» («El Tiempo») и чилийская «Эль Меркурио» («El Mercurio»), но уже с подробностями, которые вряд ли могли получить

³ The Russians aren't coming. — P. 21.

⁴ Ibid. — P. 81.

без помощи соответствующих американских структур. В частности, сообщалось: «В свои 56 лет Брутенц молод, если его сравнить с Горисом Пономаревым. Родившийся и выросший в Азербайджане, Брутенц по происхождению армянин; его интересы охватывают Средний Восток, Южную Европу, Латинскую Америку. В 1978 году после поездки в Сирию, Ливан, Венесуэлу и Колумбию он написал книгу о развивающихся странах. В прошлом году вновь побывал в Сирии и посетил Панаму как член советской партийной делегации. В Москве провел встречи с делегациями Никарагуа, Боливии, Сирии и ООП».

А «респектабельная» консервативная британская «Дейли телеграф» в номере от 6 января раскрыла закулисных вдохновителей кампании. В статье Роберта Мосса говорилось: «В разведывательных кругах НАТО считают, что Москва непосредственно причастна к продолжающимся террористическим актам против турецких дипломатов и должностных лиц, которые совершают армянские экстремисты. Десятки турок армянского происхождения обучены методам ведения партизанских действий в лагерях ООП в Сирии под наблюдением русских советников... Человеком, который вырабатывает общую стратегию, является К.Н. Брутенц, один из заместителей заведующего влиятельным Международным отделом ЦК советской Коммунистической партии, играющий решающую роль в координации тайных операций и подрывной деятельности».

Через два года эта утка, обросшая еще более фантастическими подробностями, была вновь нущена в оборот. Вот цитата из влиятельной турецкой газеты «Терджюман» («Терсимап»): «Советский Союз является самой большой силой, стоящей за спиной армянского террора, направленного против Турции. На совещаниях НАТО обсуждались секретные доклады о том, что, в частности, марксистская АСАЛА⁵ получала приказы из Москвы. Руководитель 3-го отдела русской тайной полиции (КГБ) Брутенц является ответственным за осуществление армянского террора. Армянин Брутенц, который стоит за спиной левого террора, втягивающего Южную и Центральную Америку в кровопролитные гражданские войны, обеспечивает обучение отрядов АСАЛА и дает им необходимые суммы денег для их террористической деятельности. Брутенц лично осуществляет контроль за работой находящегося недалеко от Дамаска лагеря Хамурие, где проходят подготовку террористы АСАЛА».

К слову сказать, в связи с подобного рода сенсациями (а их «выпечка» — любимая игра разведок) американцы попадали иной раз в деликатное положение. В январе 1981 года госсекретарь А. Хейг заявил на пресс-конференции, что Советский Союз «глубоко

⁵ АСАЛА — организация, которая, требуя признания Турцией совершенного в 1915—1918 гг. геноцида армян, совершала покушения на турецких официальных лиц.

вовлечен» в международный терроризм. Выяснилось, однако, что Хейг использовал гранки книги американской журналистки Клер Стерлинг «Сеть террора». А она почерпнула «факты» из итальянских газетных публикаций, сочиненных и продвинутых в печать дезинформационной службой ЦРУ. Мало того, оказалось, что к «фактам», приведенным К. Стерлинг, само ЦРУ отнеслось всерьез. Если отвлечься от проявленного американцами в данном случае непрофессионализма, перед нами типичный образчик поведения в ходе холодной войны.

Я встречался с Генеральным секретарем Компартии Сальвadora (КПС) Ш. Хандаем, но, разумеется, ни о каких партизанских действиях или же «стратегии» речи не шло. Советский Союз никогда не поставлял и не намеревался поставлять оружие сальвадорским повстанцам. И Хандаель, и его друзья из Фронта Фарабундо Марти (ФНМЛ), возглавлявшего партизан, хорошо это знали. Во время встречи с ним кроме выражения политической поддержки, а также обычного обмена информацией было дано согласие рассмотреть возможности подготовки в СССР небольшой группы для обеспечения безопасности руководства КПС, как это делалось и в отношении ряда других партий. Советская сторона энергично высказалась за поиски политического урегулирования в Сальвадоре, компромисса, который вел бы и к демократическим преобразованиям, и к прекращению кровопролитной войны. Этой позиции мы последовательно придерживались. Собеседники с нами соглашались, однако подчеркивали, что вооруженная борьба им навязана и рассматривается лишь как средство создания сильных позиций для политических переговоров.

Приписывая Советскому Союзу поощрение сальвадорских повстанцев, правительство Рейгана само весьма энергично (преимущественно втайне и от конгресса) вмешивалось в гражданскую войну в этой стране. Оно скрытно направило туда отряды «специальных сил» (всего более 5 тыс. человек), которые активно участвовали в боях, — факт, который продолжали опровергать и наследовавшие Рейгану администрации. И только в 1996 году под давлением американских «ветеранов Сальвadora» (и поддержавших их конгрессменов) Пентагон признал то, что отрицал 15 лет. А 5 мая 1996 г. на Арлингтонском (военном) кладбище в Вашингтоне были преданы земле останки 21 американца — из тех, кто погиб в Сальвадоре⁹.

Я до сих пор не могу с уверенностью сказать, все ли сделали тогда наши сальвадорские друзья, чтобы добиться политического решения. Твердо знаю, однако, что это было весьма трудно, учитывая оголтелую позицию сальвадорской военщины, фактически поддерживавшейся США, а также потоки пролитой крови. Во всяком случае, в своих усилиях подтолкнуть сальвадорцев к активным поис-

⁹ The Washington Post. — 1996. — May 6.

кам такого решения мы вряд ли могли сделать больше. Москва была не в состоянии оказать решающее влияние на ФНМЛ. Да и Компартия Сальвадора была на деле независимой силой, она вряд ли согласилась бы, чтобы ей диктовали политическую линию.

Иной была советская политика в отношении Никарагуа. Если события в Сальвадоре рассматривались главным образом как гражданская война, то конфликт вокруг Никарагуа прежде всего был результатом агрессивных действий Соединенных Штатов против маленькой, но суверенной страны. И мы стали оказывать никарагуанцам политическую поддержку и материальную помощь.

Проблема — именно проблема — Никарагуа возникла в конце 70-х годов, когда, одержав верх в вооруженной борьбе против кровавого и коррумпированного режима Сомосы, к власти пришел Сандинистский фронт национального освобождения (СФНО). Разумеется, советское руководство испытывало удовлетворение: пала проамериканская диктатура, нанесен еще один удар по монополии США в Западном полушарии и на их «заднем дворе» — большие неприятности, отвлекающие внимание Вашингтона. Но и тут вставал вопрос «меры», «порога», через который нельзя переступить, не провоцируя опасную реакцию США. Отсюда — заключение о закреплении режима сандинистов как главной их задаче, отсюда — уже описанная сдержанность в отношении повстанческого движения в Сальвадоре.

Напротив, сандинисты, а также кубинцы считали важным активно поддерживать его, видя в этом и своего рода противовес давлению на них США. Москва старалась всячески «охлаждать» сандинистов, убеждала сосредоточиться на решении внутренних проблем. Подчеркивала, что демократический этап их революции предполагает политический плюрализм, коалицию всех левых и демократических сил, поощряла налаживание отношений с церковью, развитие сотрудничества как с социалистическими, так и капиталистическими странами.

Особенно настойчиво советовали придерживаться курса на смещенную экономику, не давить «частника». Кстати, в таком духе были составлены и директивы для делегации Верховного Совета СССР во главе с Б. Ельциным, ездившей в Никарагуа в августе 1987 года, таким был и мой полуторачасовой брифинг в его кабинете в Московском горкоме партии.

Эти же темы были в центре бесед Кириленко, Черненко, Попомарева с Даниэлем Ортегой, Байардо Арсе, Уилоком и другими руководителями Никарагуа. Я тоже неоднократно встречался с ними. В последний раз беседовал с Д. Ортегой 1 ноября 1987 г., когда он сказал — в духе наших советов, даже «опередив» их, что на митинге 5 ноября в Манагуа объявит о готовности принять декреты об отмене в стране чрезвычайного положения и об амнистии.

К сожалению, многие наши рекомендации сандинисты, не отвергая, вместе с тем не реализовывали. Они так и не занялись всерьез

экономикой: видимо, не хватало ни склонности, ни умения. А непосильная большая армия, созданная не без нашей помощи, стала тяжелым бременем для страны. Правда, это оправдывалось активностью вооруженной оппозиции — «контрас», которых снабжали и обучали американцы.

Мы же не могли да и не хотели взваливать на себя новое бремя, удовлетворяя растущие запросы сандинистов. С нас достаточно было Кубы. Для стабилизации экономического положения Никарагуа требовались ежегодные поставки товаров, как минимум, на 450—500 млн. рублей и более чем 100-миллионные валютные кредиты.

Вспоминаю беседу между К.У. Черненко и Байардо Арсе летом 1983 года. Арсе поставил три вопроса: поставки военных самолетов, нефти и предоставление займа в конвертируемой валюте. Он не получил положительного ответа, хотя четкое «нет» прозвучало лишь по вопросу о самолетах⁷. Затем Арсе и Черненко остались на несколько минут одни. И когда никарагуанец ушел, Константин Устинович мне сказал: «Я ему разъяснил, чтобы они не зарывались. Если американцы ударят, мы вступить не сможем — далеко». Через несколько месяцев это уже можно было бы и не говорить: судьба Гренады, которую в октябре 1983 года оккупировали американские войска, с очевидностью продемонстрировала и ограниченность наших возможностей, и нашу осторожность.

Надо сказать, что советскую ориентацию на сдержанность, на локализацию и охлаждение конфликта приходилось удерживать не без труда. Ее подрывала линия Соединенных Штатов.

Как известно, внешняя политика Рейгана, пришедшего в Белый дом в январе 1981 года, была прямо и наступательно обращенной против Советского Союза. В этой рискованной игре Никарагуа служила одной из пешек противника, которую надлежало взять. Имея в виду линию Вашингтона в отношении сандинистов, Р. Пастор, бывший ответственный сотрудник госдепартамента, констатирует, что администрация Рейгана вышла «к революционной стратегии «достижимых целей» в областях, где поддержка Соединенными Штатами повстанческих движений могла бы свергнуть марксистское правительство»⁸.

Американцы действовали беззастенчиво. ЦРУ, с ведома президента, но обманывая конгресс, вербовало наемников, первоначально с помощью аргентинской военной хунты. Оно создало в Гондурасе под

⁷ Валюта предоставлялась несколько раз, но впоследствии было отказано и в ней. А стремление обеспечить поставки нефти, распределив «бремя» между социалистическими странами Европы и Советским Союзом, реализовалось лишь частично.

⁸ Robert Pastor. *Condemned to Repetition. The United States and Nicaragua*. — N.Y., 1988. — P. 243.

командованием своих офицеров лагеря для подготовки «контрас», причем в составленном для них учебном пособии говорилось не только об убийствах («нейтрализации») сандинистских официальных лиц, но и найме «преступников для выполнения специально отобранных задач»⁹.

ЦРУ спланировало и осуществило воздушные налеты на ряд объектов в Никарагуа, в том числе на гражданский аэропорт в столице, нападения торпедных катеров на самые важные порты страны — Коринто, Пуэрто-Сандино, провело их минирование и т.д. А президент Рейган не поколебался назвать «контрас» — эту «сборную солянку» из бывших подручных Сомосы, «солдат удачи», уголовных элементов и идейных противников сандинистов — «нашими братьями» и даже «моральным эквивалентом отцов-основателей (США. — К.Б.)»¹⁰.

И эти враждебные действия предпринимались против страны, чье правительство США продолжали признавать как законное и поддерживать с ним нормальные дипломатические отношения. Так что стиль американской администрации никак не отличался от приемов, которые нередко использовала Москва.

Администрация Рейгана наращивала давление на латиноамериканские государства, добиваясь их присоединения к антиникарагуанской линии. В средствах не стеснялись. Весной 1985 года к нам поступила информация, что США обратились к Мексике с предложением направить в ее порт Вера-Крус отряд американской пехоты «для оказания помощи» в борьбе с контрабандой наркотиков. Руководство Мексики расценило это как свидетельство готовности Вашингтона прибегнуть к жестким формам давления, чтобы добиться нужных сдвигов в мексиканской политике.

Поведение США как бы приглашало нас к более решительным акциям. Однако Москва не потеряла хладнокровия. Наша поддержка Никарагуа — политическая солидарность, ограниченная экономическая помощь, поставки ненаступательного оружия — была не только естественной в рамках всемирной игры супердержав, но и обоснованной с моральной и правовой точек зрения¹¹. Она воспринималась как защита суверенитета малого государства против агрессии супердержавы, права маленькой нации избирать свой собственный путь развития. И общественное мнение Западной Европы в большинстве своем

⁹ Bob Woodward. Op. cit. — P. 445–446.

¹⁰ Ibid. — P. 460.

¹¹ Другое дело, отвечало ли это практическим интересам и возможностям нашей страны, — конечно, если рассматривать вопрос в чистом виде, рассуждая несколько отвлеченно, вне связи с Кубой, с предшествующей политикой, с супердержавной грызней, а также с моральными обстоятельствами.

с пониманием относилось к советской позиции, по крайней мере не отвергало ее, что тоже служило стимулом для действий СССР. В защиту Никарагуа энергично выступило Бюро Социинтерна. Советский Союз неизменно добивался политического решения конфликта, высказывался за прямые переговоры между США и Никарагуа, не претендуя на участие в них. Он оказал полную и безусловную поддержку миротворческому процессу с момента его возникновения в январе 1983 года. А в 1987 году Москва предложила Вашингтону одновременно прекратить поставки оружия в регион. Москва поддерживала и линию на проведение в Никарагуа выборов отчасти, наверное, и потому, что не ожидала поражения сандинистов. Во всяком случае, Политбюро одобрило записку в таком духе, внесенную отделом совместно с МИД.

Рискну также предположить: «низкий профиль» советской активности имеет еще одно объяснение (не главное, конечно, и никогда не оглашавшееся) — это отвычка, отчуждение от революций. В значительной мере обюрокраченное руководство КПСС перестало быть на «ты» с ними, а с их «делателями» — революционерами — ему уже трудновато было находить общий язык¹². Вспомним, насколько неудобно себя чувствовали наши лидеры, особенно послехрущевские, с Кастро, сколько неприятных минут он им доставил. Вкус к революционному риску, к революции был уже утрачен. В жилах нашего руководства уже не текла кровь революционного пыла и задора.

Это подтверждают и наши отношения с компартиями Латинской Америки. Они дают немало свидетельств и умеренности наших рекомендаций, и умеренности линий самих этих партий.

Советская политика в Латинской Америке не была ни авантюристической, ни конфронтационной¹³, признает Уэйн Смит. Не была она, добавлю, и особо важной в общем комплексе международной деятельности Советского Союза. Этим и были заданы общие рамки для работы с коммунистическими партиями и общественными организациями региона. Именно скромность наших внешнеполитических интересов обуславливала наше минимальное вмешательство во внутренние дела компартий, готовность считаться с их автономностью.

¹² По существу то же имел в виду Фидель Кастро, как-то в разговоре с Горбачевым подожди к этой теме, но выражаясь, естественно, на свой лад и завуалированно. Сказав о «патернализме» догорбачевского руководства КПСС, он (может, и в наизидание Михаилу Сергеевичу) заметил: «Вы знаете, каковы революционеры. Они прямолинейны, порой твердокаменны. Есть только одна форма общения с революционерами. Я говорю это, исходя из собственного опыта, так как мы имеем дело с революционными организациями и оказываем на них влияние. Эта форма — уважение к их внутренним делам... Если нашего мнения не спрашивают, мы ничего не говорим».

¹³ *The Russians aren't coming.* — P. 37.

Но и здесь, разумеется, мы без восторга реагировали на их стремление вести себя слишком независимо, вводить «ревизионистские» новации.

Чего, прежде всего, мы ожидали от латиноамериканских партий? Первое — твердой поддержки Кубы. Второе — следования линии, которая, ведя к росту их влияния и ослаблению позиций Вашингтона, в то же время не втягивала бы Москву в острое с ним столкновение. Третье — лояльности, особенно в международном движении, и пропагандистской поддержки нашей политики (к чему партии, как правило, и сами были готовы в рамках верности интернационализму).

Не забывая подчеркивать, что свой курс каждая партия определяет сама (и это уже не было лишь пустой фразой), мы ориентировали их на эволюционное продвижение вперед, подчеркивая неготовность региона к социалистической трансформации. Советовали следовать тактике Народного фронта, расширять связи и сотрудничество с другими силами, находить общий язык с буржуазно-демократическими правительствами. Конечно, революция не снималась с повестки дня, но откладывалась до тех времен, когда сложатся все необходимые условия, что выглядело достаточно туманным и практически означало: в тактическом плане эта проблема как бы снимается.

Тем более, что компартии переживали определенный застой. Если в Западной Европе их обходили «справа» — социал-демократы, то в Латинской Америке часто «слева» — революционные, но некоммунистические движения (не говоря уже о левацких течениях типа «Монтонерос» в Аргентине, «Тупамарос» в Уругвае, «М-19» в Колумбии). А коммунисты, опираясь на теоретические догматы, выступали против вооруженной борьбы, считали ее «авантюристичной». Не исключено, что порой это подсказывал им и инстинкт самосохранения.

Так произошло на Кубе, в Никарагуа, а поначалу и в Сальвадоре. И мы сперва считали Кастро и сандинистов «мелкобуржуазными революционерами», а поддерживали связи с коммунистами — с Никарагуанской социалистической партией и Народно-социалистической партией Кубы. Даже после победы сандинистов в 1979 году в руководстве КПСС хотя и признали СФНО как «авангард и ведущую силу никарагуанской революции», относились к Фронту с некоторым резервом.

Партии большей частью (за исключением колумбийцев и уругвайцев, мексиканцев и чилийцев, разумеется, до Пиночета) не играли видной роли в общественной жизни своих стран, а в отдельных случаях даже сдавали позиции, как Компартия Аргентины, когда ее руководство — из политических или иных соображений — пошло на компромисс с правой военной хунтой. Не в лучшем положении оказывались и партии, например панамская и перуанская, поддержавшие левопатриотические военные диктатуры, в конечном счете себя

скомпрометировавшие. Краткосрочные и достаточно скромные избирательные успехи коалиций, в которых участвовали или главенствовали коммунисты, в частности, в Колумбии, а впоследствии в Перу, общего положения не меняли.

Тенденции, которые можно условно назвать «еврокоммунистическими», проявлялись главным образом в Мексиканской компартии (МКП), думаю, не без связи с характерной для нее и в прошлом фрондой в отношении КПСС (упорного стремления к независимости). Ее линия на укрепление связей со всеми прогрессивными силами завершилась созданием Объединенной социалистической партии. Показательно: буквально на следующий день после избрания Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС член Политкомиссии этой партии, бывший член Политбюро МКП Э. Монтес сказал мне: «Коммунисты Западной Европы и Латинской Америки ждут от КПСС чего-то сходного с XX съездом, но сильнее, масштабнее».

Задача расширения социальной базы партии, переключения внимания на демократические требования была выдвинута уже на VII съезде МКП в мае 1977 года (я там присутствовал). Члены руководства МКП — генсек А. Мартинес Вердуго, Р. Росас, Пабло Гомес — говорили о необходимости выработать демократическую альтернативу, отвечающую условиям сегодняшнего дня, которую поддержат самые различные слои, включая передовую часть буржуазии, готовые «бороться за демократическое решение каждодневных задач, против монополий, за демократические свободы... но при этом не терять из виду социалистическую перспективу». Переключенка с «еврокоммунизмом» тут несомненна, и на латиноамериканской почве это выглядело особенно еретически, как и отсутствие упоминания о Китае, хотя его критика тогда была своего рода «Отче наш» правых компартий и декларацией их верности КПСС.

Острое стремление к самостоятельности, выраженная национальная гордость, как мне показалось, вообще в характере мексиканцев. Уходя своими корнями в историческое прошлое, которым они гордятся, эта черта, думается, постоянно, уже полтора столетия подпитывается характером взаимоотношений с северным соседом. США — объективно, своим весом, но и субъективно, своими действиями — неизменно давили на Мексику. Когда я осторожно коснулся этой темы в разговоре с Арнольдо Мартинесом Вердуго, он мне сказал: «Да, это у нас в крови, мы любим жить своим умом, любим «обувь, которая не жмет». Конечно, «Мексиканец» Джека Лондона — вещь романтическая, но кое-что из нашего характера схвачено неплохо».

В Латинской Америке не слишком почитают индейские корни. Мексиканцы же гордятся своими предтечами — чтят ацтеков и другие доколумбовы цивилизации, оставившие им богатое наследство, в том числе сооружения, которые сравнимы с «чудом света» — египетскими пирамидами.

Мексиканцы не забыли, что США отхватили у них большие и лакомые куски — Техас и Калифорнию. По отношению к Вашингтону Мексика, пожалуй, самое строптивое из латиноамериканских государств. Для многих мексиканцев американцы до сих пор «грино-го»¹⁴, хотя миллионы из них рвутся через границу на Север в поисках земли обетованной, где можно отыскать работу и средства к существованию...

К политической гибкости, к порывам, условно говоря, итальянского типа было склонно руководство Компартии Чили, к чему некоторые наши лидеры относились с подозрением. Именно она, а не социалисты и тем более не Революционное движение левых (МИР) стала умеренной и конструктивной силой в коалиции, поддерживавшей правительство Альенде. Хотя в обстановке кровавой диктатуры Пиночета в КПЧ, естественно, усилились воинственные настроения¹⁵.

Имя ее лидера Луиса Корвалана в 70-е годы гремело по всему миру. Обмененный на диссидента В. Буковского, он приехал в Советский Союз, где ему 4 января 1977 г. была устроена шумная, торжественная встреча в Центральном концертном зале.

Этот сын крестьянина напоминал добродушного дедушку: человек небольшого роста, с лицом, на котором выделялись аккуратные усики и крючковатый нос (из-за него в Чили Корвалана называли *condogito* — маленький орел), скупой на жесты и неторопливый, говорил размеренно, очень просто и доходчиво, вставляя народные поговорки. Корвалан не был пылким трибуном и не смотрелся героем. Но через несколько лет, изменив внешность, под чужим именем, со сфабрикованным паспортом он дерзнет нелегально, через Буэнос-Айрес, вернуться в Чили, успешно миновав «мелкую сеть» тайной полиции Пиночета (а спустя два года повторит этот путь после недолгого пребывания в Москве, куда приедет для медицинского обследования).

В каком-то смысле внешность его не была обманчивой. Это был сдержанный, мне хочется сказать, мудрый человек, отличавшийся незаурядной скромностью, лояльностью и терпимостью к товарищам.

Суслов очень не любил Корвалана, и, думаю, это делает чилийцу честь: в нем разглядели неортодоксальность. Корвалан упорно отстаи-

¹⁴ Презрительно-враждебная кличка американцев.

¹⁵ Созданный коммунистами Патриотический фронт Мануэля Родригеса проводил диверсионные акты, а в сентябре 1986 г. организовал покушение на Пиночета, в котором участвовали люди, ранее прошедшие подготовку в Москве с целью и по программе обеспечения безопасности руководства партии. Покушавшиеся точно установили маршрут движения диктатора в Сантьяго из загородной резиденции и, устроив засаду на шоссе, обстреляли генеральский «мерседес». Однако граната не взорвалась: выстрел был произведен со слишком близкого расстояния.

вал идею мирного пути развития революции. Он не понимал и не принимал зажим у нас в сфере культуры, гонения против Солженицына и т.д. Это просочилось наружу, когда в 1979-м в интервью французскому журналу «Пари-Матч» он квалифицировал преследования диссидентов (наши власти предпочитали приравнивать их к уголовникам) как политические. Порядки в КПСС, судя по его недоуменным вопросам, он считал не слишком демократическими. Но страну нашу любил, относился к ней чище, чем иные зарубежные деятели, восхвалявшие СССР.

Я не раз встречался с Корваланом, в частности в ходе подготовки к его «переброске». Корвалан торопил нас, он явно тяготился пребыванием в Советском Союзе, положением эмигранта, оторванного от родины и борьбы, его беспокоило растущее напряжение между внутренней и зарубежной частями партии.

От Корвалана я много узнал об Альенде — чилийском президенте, ставшем жертвой погромщиков Пиночета, которых поддерживали США. Поначалу он получил признание не в СССР, но в социалистических кругах на Западе. Именно их поддержка помешала американцам оспаривать его чистую победу на выборах. И именно у социалистов, как и у коммунистов, кровавый «подвиг» Пиночета вызвал огромное негодование.

Победа Альенде укрепила нашу веру в выдвинутый КПСС (но не очень прижившийся) тезис о мирном развитии революции. А его свержение возродило и усилило угасшие было сомнения. Несомненно, это был очень своеобразный человек: блестящий, из тех, чей сильный интеллект бросается в глаза; оратор, умеющий наэлектризовать толпу, последовательный и твердый политик. В Москве он был желанным гостем, но это не мешало ему отстаивать взгляды, которые у нас не разделяли.

У Альенде была собственная политическая концепция. Он говорил примерно так: да, мы будем строить социализм, но это не значит, что пойдем по пути Октябрьской революции. Это — одна модель, а у нас будет другая — без диктатуры пролетариата, в условиях демократии. Понятно, насколько это было не мило для Москвы: какие там «модели», когда существует один образец и других быть не может. Придя к власти, Альенде стойко придерживался своих либеральных взглядов, оберегая демократический режим. Не случайно у него были хорошие связи с западной и латиноамериканской социал-демократией, с ним солидаризировались различные политические силы.

Он знал себе цену, был честолюбив. Ему нравилась популярность, нравилось, когда на улице все обращали на него внимание, подходили, здоровались. Будучи председателем сената, любил приглашать к себе в «офис», во дворец. Стража брала на караул, а он говорил: вот видите, они салютуют будущему президенту.

Он любил жизнь в разнообразных ее проявлениях, обладал большим чувством юмора. Знал толк в женщинах, и этой стороны бытия касался не без удовольствия. Как-то принимал у себя в резиденции глав делегаций, прибывших на съезд соцпартии, и похвалялся подаренными ему перуанскими древними глиняными сосудами: «Они стоят миллионы, я вам объясню их поучительный смысл». А потом попросил немецкую переводчицу узнать, какой счет в матче футболистов Чили и ГДР, который как раз проходил в это время. Когда она вышла, Альенде показал сосуд, у которого вместо ручек было два фаллоса, смачно пояснив: «Вот это очень нужно, если одного не хватает».

К американцам Альенде относился без предубеждения. В ходе предвыборной кампании даже ездил в Соединенные Штаты, чтобы заручиться поддержкой. Но был антиимпериалистом — не то чтобы рьяным, а исходящим из реальных обстоятельств. Знал, располагая документами, что США делают все, чтобы свергнуть его. Поначалу в Вашингтоне надеялись, что Альенде повторит путь многих лидеров, которые, придя к власти, фактически безропотно соглашались на продолжение американского господства. Он же твердо был настроен на самостоятельность, на социалистические реформы.

Во время визита в Москву в декабре 1972 года произнес тост, где назвал Советский Союз старшим братом, хотя имел в виду отнюдь не следование в советском фарватере. Это политически неудачное выражение было широко использовано его противниками: «Какой еще там старший брат. Мы независимая страна!» А ему действительно казалось, что СССР — это старший брат, помогающий тем, кто идет по пути независимости. И для него было естественным в трудную минуту «постучаться» туда. У него состоялась встреча с Брежневым один на один.

В какой-то момент Альенде вдруг говорит: «Я, Леонид Ильич, хотел обратиться к вам, может быть, вы можете оказать нам кое-какую помощь» (у чилийцев наступали сроки погашения долгов, и они очень опасались, что Чили объявят банкротом).

Брежнев: «Деньгами нам трудно, тем более я один этот вопрос не решаю, вы меня правильно поймите. А вот, может быть, относительно помощи оружием мы можем посмотреть». Тут Альенде пригласил приехавшего с ним генерала Рохаса, командующего ВВС. Ему Леонид Ильич уточнил: «Вот если вам нужна военная техника, авиационная и не только авиационная, мы готовы рассмотреть этот вопрос и дать ее вам на льготных условиях».

Брежнев был простужен и стал извиняться, что не сможет присутствовать на прощальном приеме в Георгиевском зале.

— Как врач, — заметил Альенде, — я прекрасно понимаю и совершенно не обижусь, но прежде чем мы расстанемся, у меня есть к вам просьба. Я бы сказал так: последняя просьба приговоренного к смертной казни.

— Смертной казни?

— Наступают сроки расплаты с долгами. Поэтому я прошу изыскать какую-то возможность, чтобы нам помочь, иначе у нас просто не будет никакого выхода.

— Я сказал, что этот вопрос один не решаю, но с товарищами посоветуюсь.

На этом они расстались. Альенде пошел в Георгиевский зал, полный света, празднично одетых людей. Приглашенные устремились к столам, загремели вилками и ножами. А у чилийского президента совсем непраздничное настроение, он обращается к референту нашего отдела И. Рыбалкину: «Что делать, Игорь? Надо же решить как-то, к кому мне обратиться?» Тот показал ему на Кириленко. Альенде подошел к нему, объяснил, в чем дело. Андрей Павлович в свою очередь подозвал Косыгина, Подгорного, а они — председателя Центробанка Свешникова. Посоветовавшись, сказали: «Мы создадим консорциум и предоставим вам заем. У вас есть какой-нибудь представитель?» Тогда с помощью КГБ буквально сняли с самолета председателя Банка Чили, отправлявшегося в Париж. Однако этот заем, конечно, не спас Альенде.

Альенде рано стал говорить о том, что из дворца Ла-Монедо его унесут только мертвым. Отсюда, подчеркивал он, по своей воле не уйду: меня избрал народ, и я выполню мандат до конца.

Как-то советская делегация была у него дома, в резиденции на улице Гвардии Въеха, которую потом разбомбили, а находившиеся там картины украли. После беседы он пригласил Кириленко в спальню, поднял подушку и вытащил автомат Калашникова: «Это автомат, который мне подарил Фидель. Если что, я буду стрелять из этого автомата». Из имеющихся документов и свидетельств людей, близких к тогдашним событиям, явствует, что Альенде — вопреки добронамеренной легенде о том, что его убили, — выстрелил в себя сам, чтобы не оказаться в плену у «подлецов», как он называл фашиствующих правых.

Альенде оказался в безвыходном положении, в тупике, и он, думается, фигура трагическая. Его политика, исполненная самых добрых побуждений, потерпела фиаско, натолкнувшись на упрямые реалии чилийской жизни и на неприкрытую враждебность Вашингтона, который в ту пору особенно не стеснялся в выборе средств...

Продолжаю прерванный рассказ. Определенные сложности, хотя и значительно меньшие, чем прежде, продолжала вносить в работу отдела кубинская позиция — и прежде всего по вопросу о вооруженной борьбе. Вопрос этот имел свою историю и в контексте отношений с кубинцами был трудным как по существу, так и в связи с уже упомянутым возникновением левых движений за рамками компартий.

Вооруженная борьба, особенно подстегиваемая извне, неизбежно сталкивала бы Советский Союз с дилеммой: либо проявить непрос-

тительное, с точки зрения доктрины и союзников, равнодушие, либо пойти на чрезмерно рискованные действия. Осторожность диктовала всячески избегать подобных дилемм. Мы не отрекались от вооруженной борьбы, но ссылались (и действительно так считали) на то, что не созрела революционная ситуация. Однако межа зрелости была не очень видна, и правомерность вооруженной борьбы фактически ставилась нами в зависимость от соотношения сил в мире. Таковую позицию можно назвать тактической. Но то была тактика, ориентированная на столь долгий срок, что превращалась, сознательно или бессознательно, в стратегический выбор, в стратегию.

Советский Союз еще и потому старался как-то ограничить готовность Кубы поощрять повстанческие действия и вовлекаться в них, что опасался за ее судьбу. Тут очень велик был риск иррациональной американской реакции. Между тем — пусть это долго не произошло вслух — советское руководство для себя практически решило, что в случае прямой атаки на Кубу защищать ее не будет.

Это прямо противоречило исходной установке кубинцев на вооруженную борьбу. Деликатность вопроса состояла и в том, что эта установка подкреплялась их собственным опытом, их победой. Но мы достаточно твердо стояли на своем и отказывались от каких-либо связей с левацкими организациями, предпочитавшими оружие работе в массах.

Зарубежные эксперты часто приписывают Советскому Союзу иную позицию, ссылаясь на выступления некоторых наших ученых. Сказывается «болезнь» многих иностранных наблюдателей, отчасти вызванная нашей традиционной в прошлом закрытостью. В поисках информации они придирчиво читали статьи советских авторов, расценивая малейшие виражи как отражение официальной политики. Подобное примитивное представление о вездесущем оке цензуры, конечно, не отвечало реальности. На самом деле ученые (и не только они), часто «самостоятельно» отклоняясь в сторону от официальной точки зрения, высказывали свои оригинальные суждения¹⁶.

После гибели Че Гевары¹⁷ и некоторых других неудач кубинцы фактически отказались от прежнего единообразного подхода. Кроме того, их революционный порыв в какой-то мере уже был переключен на Африку. Но проблема полностью не исчезла, потому что процесс обхода слева компартий не прекратился, а Никарагуа (да и Сальвадор) служила неплохим аргументом для адептов вооруженной борьбы. Вместе с тем очевидный ко второй половине 70-х годов поворот

¹⁶ Уэйн Смит цитирует, например, выступление профессора Б. Коваля, в котором тот позитивно отзывался о вооруженной борьбе.

¹⁷ Кстати, если боливийские коммунисты не оказали должной помощи Че Геваре, не исключено, что на них повлияло и отношение Москвы к партизанской борьбе.

Кастро к более умеренной линии упростил положение и позволил энергичнее побуждать кубинцев к сотрудничеству с компартиями. И те и другие прошли определенный путь навстречу друг другу.

Конечно, склонность к вооруженной борьбе, воинственная левизна, линия на развитие связей со своими фаворитами — теми, кто вел партизанские действия, — стремление к лидерству, исходящее из прочно засевшего в головах собственного опыта, и несколько ироничное отношение к большинству компартий, «лишенных» революционной отваги, у кубинцев остались. Появилось желание взять их под свою опеку.

Мы всячески избегали столкновений с кубинцами, а нередко и «уступали дорогу», но глухое «подковерное» соперничество за влияние на компартии все-таки развивалось. Некоторые компартии, например аргентинцы и мексиканцы, относились к кубинцам не без скепсиса и настороженности (хотл и восхищались Фиделем), во всяком случае, отвергали их гегемонистские замашки. Вообще отношение к кубинцам было фактором, который нередко вносил несогласие в комдвижение Латинской Америки.

Наиболее тесные отношения с Кастро существовали у Роднея Арисменди, Генерального секретаря ЦК Компартии Уругвая (КПУ), что, впрочем, не мешало ему дома да и в оценках общеконтинентальной ситуации придерживаться линии на широкие союзы. Вот что он говорил мне в июне 1986 года: «Коммунистам необходимо вести активную работу как с партиями социал-демократической ориентации, так и с социалистическими в рамках общих выступлений против империализма. Я думаю также, что мы все выиграем, если КПСС, компартии других социалистических стран активизируют отношения с этими партиями и с буржуазно-демократическими правительствами стран Латинской Америки. Там много недовольства политикой США, которые продолжают проводить политику диктата, поддерживать Пиночета и Стресснера». У себя в стране генсек КПУ проводил гибкую политику единения демократических сил, увенчавшуюся созданием Широкого фронта во главе с весьма уважаемым генералом Либером Сереньи.

Впрочем, у Арисменди была и «оборотная сторона» — и, по утверждению некоторых латиноамериканистов, основная: его теория «континентальной революции», убежденность в том, что победа демократических и социалистических сил в Уругвае и ряде других малых стран пролегалает через революцию в двух гигантах — Бразилии и Аргентине, между которыми они зажаты. Это сближало Арисменди с кубинцами и объясняло его связи с партизанами «Тупамарос».

Р. Арисменди был одним из наиболее масштабных и колоритных коммунистических деятелей Латинской Америки: аналитического и творческого ума, со вкусом к теории, соединявший склонность к рефлексии и интеллектуальной гибкости с неожиданной решительно-

стью, наконец, отличный оратор. Он живо интересовался обстановкой за пределами Уругвая, много ездил, в том числе в горячие, революционные точки, возвращаясь с интересными выводами, а иногда и практическими идеями. Побывав, например, в Анголе, стал направлять туда в качестве советников уругвайских специалистов-коммунистов. Арисменди явно было тесно в 3-миллионном Уругвае, он претендовал на общеконтинентальную роль, что вызывало глухое недовольство других лидеров.

Ко мне Арисменди относился очень хорошо, мы познакомились много лет назад во время моей первой поездки на Кубу. Тогда он, известный партийный лидер, приятно удивил своей простотой и демократичностью. Водил по улицам и даже значным местам Гаваны. Беседовать с Арисменди было всегда интересно. Обычно он предпочитал, во всяком случае со мной, общетеоретические темы и рассуждения о латиноамериканских делах. С ним никогда не было проблем по части взаимоотношений с КПСС. Но однажды он поразил меня. Дело было летом 1982 года в моем кабинете. Переводчик на минуту вышел, и Арисменди вдруг спросил по-французски: «Карен, а вас ничего не беспокоит у вас?» Услышав мой ответ: «Многое», Арисменди продолжил: «Социализм — это не египетская пирамида, а движение, и это — дело молодых». Переводчик вернулся, и разговор оборвался...

Не раз я встречался с Луисом Карлосом Престесом, «рыцарем надежды», как его называли еще в 30-е годы. Фигура в то время легендарная и за пределами его родины. Беспартийный инженер-капитан, возглавивший в 20-х годах восстание гарнизонов на юге страны и прошедший с ними («колонна Престеса») всю Бразилию, он был избран Генеральным секретарем компартии, когда находился в тюрьме, отбывая 9-летнее заключение после неудачного пародного восстания в 1935 году. Человек, говоря языком некрологов, отдавший жизнь борьбе против бразильской олигархии и ее американских покровителей, чтимый такими выдающимися личностями, как архитектор Оскар Нимейер или писатель Жоржи Амаду, посвящавший ему свои произведения.

Внешность его могла ввести в заблуждение: сублильный, маленького роста, в толпе взгляд на нем не остановился бы. Но Престес был личностью решительной и твердой, человеком с железным характером, непреклонным в своих убеждениях. Его не сломали ни личные невзгоды (его жена погибла в концлагере), ни возникшие в 60-е годы расхождения с товарищами и разрыв с «официальной» компартией. Он, к сожалению, отказывался замечать новые реалии в Латинской Америке и в мире в целом. Для меня, знавшего его в этот период, он был воплощением драмы крупных общественных и революционных деятелей, когда их, остановившихся, обгоняет жизнь. Престес со своими «дохрущевскими» взглядами вызывал какое-то

странное чувство: смесь почтения, жалости и смутной досады на неумолимо текущее время.

Из социал-демократических лидеров хорошо запомнился Карлос Андрес Перес, президент Венесуэлы, глава Партии демократического действия (ДД). Несомненно личность, умный и проницательный человек, приветливый, но сдержанный, не склонный к экспрессии, к ярким политическим жестам.

Перес держался добрых отношений с Советским Союзом, охотно принимал наши партийные делегации, с интересом беседовал с ними не только о советско-венесуэльских отношениях, но и о положении в Латинской Америке. Самостоятельного курса он придерживался и в отношении Кубы, был инициатором многих конференций в ее поддержку, неоднократно встречался с Кастро. Прежде всего из-за этого подвергался довольно жесткому прессингу со стороны США. В позиции Переса я видел не столько отражение его идеологических симпатий, сколько трезвый расчет: понимание необходимости, с одной стороны, учесть назревающие в Латинской Америке сдвиги и обезвредить их проявления у себя дома, а с другой — укрепить свое положение перед лицом американского соседа.

Хочу упомянуть еще об одной фигуре, с которой меня сводила в те годы работа. Хотя и совсем другого плана, она тоже типична для Латинской Америки. Имя этого человека получило мировую известность в связи с вторжением американских войск в Панаму, как утверждалось, с единственной целью захватить его как одного из главарей наркоторговли. Речь идет о генерале Норьега, в ту пору главнокомандующем Национальными силами обороны страны.

Я встречался с ним дважды в Панаме. Эта страна представляла интерес и в плане развития межгосударственных отношений, и с точки зрения политики и положения коммунистов. Народная партия Панамы сложно маневрировала, стремясь в рамках альянса с военными воздействовать на их курс и обеспечить себе возможности для деятельности.

Норьега принял нашу делегацию в своей резиденции — небольшом двухэтажном деревянном доме. Это был невысокий, ниже среднего роста, но стройный и крепко вытесанный мужчина крестьянского типа. Его смуглое с оливковым оттенком хитроватое лицо, покрытое мелкими оспинками, напоминало об индейских предках. Улыбался он редко и скупое. Генерал был немногословен, и у меня сложилось впечатление, что это не только избранная манера поведения: видимо, разговорный жанр — вообще не его стихия. Держался приветливо, довольно четко выражал свои мысли, но на дистанции, как бы «на своей планете». Реального контакта не получалось.

Беседа касалась прежде всего установления консульских, а также полных дипломатических отношений с Советским Союзом. Норьега неизменно выражал заинтересованность в этом, но тянул, ссылаясь

на необходимость все подготовить. Вторая тема — экономические связи, в частности возможности для полетов Аэрофлота. Норьега подчеркивал свой патриотизм, твердое стремление добиться установления панамского контроля над каналом. Он жаловался на США, которые, говорил генерал, «путем открытого, грубого вмешательства хотят добиться изменения внутривнутриполитического положения у нас. Американцы явно заинтересованы в сохранении своего господства над нашей страной. Дело не только в канале, но и в географическом положении Панамы. Ведь его нельзя сравнить с Коста-Рикой и Гондурасом». Норьега заявил, что рассчитывает на поддержку Советским Союзом «дела Панамы», в особенности в ООН.

Конечно, нам, возможно в отличие от представителей других наших структур, были неведомы связи генерала с ЦРУ и обвинения относительно его участия в наркобизнесе. Тем не менее встреча оставила смешанное впечатление. Под маской благопристойности проглядывали черты брутальности, столь характерной для латиноамериканских «горилл». Филиппики же в адрес США и теплые слова об СССР не показались мне ни фальшивыми, ни вполне убедительными. Скорее Норьега старался использовать связи с нами для давления на американцев. Впрочем, руководство панамских коммунистов думало иначе. Их лидер Р. Соуса говорил мне, что «генерал М.А. Норьега эволюционирует в лучшую сторону, последовательно выступает в защиту национальных интересов страны и суверенитета Панамы. Народная партия оказывает генералу полную поддержку».

Встреча с Норьегой состоялась сразу после того, как мы возложили венок к могиле генерала Торрихоса, командующего Вооруженными силами Панамы, который возглавил движение за возвращение под ее суверенитет канала. Он погиб в авиационной катастрофе в 1981 году, организованной, по убеждению едва ли не всех в Панаме, американцами.

К слову, эпизод, который имел место в ходе визита к Торрихосу советской делегации летом 1979 года, неплохо иллюстрирует хватку США. На исходе беседы генерал поинтересовался, кто из членов делегации говорит по-испански. Им оказался М. Кудачкин, завсудующий сектором Латинской Америки Международного отдела. Торрихос пригласил его в соседнее помещение (по нашей номенклатурной терминологии, в «комнату отдыха») и, накрыв с головой себя и собеседника одеялом, заговорил: «Мы здесь, в Панаме, находимся в ужасном положении, нельзя поговорить откровенно — все под надзором и наблюдением американцев. Сейчас в Панаме 15 военных баз США, не говоря уже о других службах. Поэтому суверенитет над зоной канала — для нас главный вопрос. Мы будем отстаивать наш суверенитет, в том числе в международных организациях, и надеемся на поддержку Советского Союза». Это была одна из последних бесед Торрихоса...

Норьега, начальник военной разведки при Торрихосе, как бы воплотил в себе последовавшее за уходом лидера «соскальзывание вниз» национально-демократических сил Панама. Это осложняло положение панамских коммунистов, которые тесно связали себя с линией Торрихоса и не могли от нее оторваться — нередкая судьба в ту пору левых в развивающихся странах, поддерживавших военных, которые выдвигали патриотическую, националистическую платформу.

Торрихос не преувеличивал. Через восемь лет американцы вторглись в Панама — суверенное государство, чтобы арестовать его фактического главу. Ч. Крокер, бывший помощник госсекретаря, которого я принимал в январе 1990 года, пояснил мне: «Это — особый случай, внутреннее дело США, которые создали эту страну и владеют каналом».

В связи с Панамой есть повод ненадолго отвлечься от политики и попытаться передать не раз пережитое мной волнующее ощущение дивной экзотики Латинской Америки. В феврале 1979 года в Панаме мы оказались свидетелями и участниками на редкость жизнерадостного и затейливого действия. Нас пригласили на ежегодный «Праздник весны». Его участники — а это почти весь город, поселок и т.д. — дают волю своему темпераменту: поют и пляшут под шумную и воинственно-ритмичную музыку нескольких оркестров, осыпают друг друга мукой и большими горстями конфетти, обливают водой, чистой и подсиненной какой-то краской. Многие забавно разукрашены, в масках. Женщины вызывающе-кокетливы и как бы приглашают включиться в праздничную «любовную игру» (но грубо ошибется тот, кто примет это за нечто большее)¹⁸. Непрестанно и оглушительно звучат хлопушки.

Через все эти «процедуры» проходит и местная власть, в том числе губернатор, командир гарнизона (майор пританцовывал с бутылкой виски в руках). В волне праздничного настроения, можно сказать, тонут различия между участниками, исчезает почтение к вышестоящим и какое-то время, часы или дни, все пребывают в своеобразном пространстве равенства. Главное — атмосфера всеобщего непринужденного карнавального настроения.

¹⁸ Панамки (а это главным образом мулатки) — очень красивые и эффектные женщины, весьма «вкрадчиво» сложенные, без углов, с мягкими, закругленными линиями, постоянно готовые подчеркивать, но не вульгарно, свою привлекательность, вообще склонны к очень раскованной манере поведения, которая способна ввести в заблуждение. Вот пример. Мы в ресторане, торопим официантку. Она отвечает: «Имейте терпение. С терпением и слюнями дело пойдет». Оказывается, имеется в виду местная побасенка: «Слон хочет совокупиться с муравьем. На вопрос, как это сделать, ему говорят: "Терпеливо и со слюнями пройдет"».

Центральный момент — встреча королев. Каждый квартал или улица выбирает свою. Побеждает та, которая соберет больше пожертвований. Она появляется, стоя на «корабле» — медленно «плывущем» большом грузовике, очень живописно и ярко украшенном, буквально заваленном цветами, преимущественно белыми. Как и все на карнавале, убранство королевы выдержано в народном стиле. Она облачена в «поэру» — платье с длинным шлейфом, на который идет до 15 метров специальной ткани. «Поэра» — плод нескольких месяцев работы десятка женщин. На королеве дорогие украшения: золотые «садовые ограды», цветы, бабочки, на шее — черная лента, символизирующая девственность. За королевскими машинами — река пляшущих людей. Толпа осмеивает «чужую» королеву, используя и довольно смелые выражения: «Что у тебя за прическа — не берет никакая расческа!» (намек на жесткие волосы — и отнюдь не на голове). Или: «Какая ты старая, старая, почти 30 лет, а не замужем!» И еще, лирическое: «Я хочу встретить утро, танцуя и распевая».

Празднество продолжалось с утра до утра четверо суток. И окончилось тем, что «враждующие» королевы, толпы их болельщиков собрались в условленном месте и зарыли в землю рыбку как символ примирения.

3. В АРАБСКОМ ЛАБИРИНТЕ

За последние годы из нашего политического лексикона исчезло выражение «арабский мир». Отчасти, наверное, из-за арабофобии значительной части интеллигенции: журналисты, оставив далеко позади и американскую печать, называют оккупированные территории «спорными», а созданный наконец институт, который призван заниматься ближневосточными проблемами, даже именуется Институтом изучения Израиля и¹ Ближнего Востока. Но видимо, и по той причине, что идея арабского единства продемонстрировала свою утопичность и неосуществимость, по крайней мере на данном этапе.

Между тем это действительно целый мир. И потому, что речь идет о 22 государствах, — таких крупных, как Египет с его 65 миллионами населения, и таких крошечных, как Катар, где живет всего 300 тыс. человек, — непрерывной цепью протянувшихся от Атлантического океана до Индийского. И потому, что чуть ли не у каждого народа, населяющего эти государства, свои история и формы политической жизни, свои культура и диалекты, обычаи и характеры, наконец, они в буквальном смысле отнюдь не на одно лицо.

Когда я начал заниматься арабами, очень скоро понял: при том, что все они — арабы и такими ощущают и считают себя, речь идет об очень разных людях. Это склонные к юмору, жизнерадостные и неунывающие египтяне, жесткие, а часто и brutальные иракцы, высокомерные саудовцы, расчетливые кувейтцы, предприимчивые ливанцы, гордые и упрямые ливийцы, независимые алжирцы, хитроумные сирийцы, непосредственные южноафриканцы.

Сирийцы и иракцы мало того что арабы, они и соседи, живут рядом столетиями, но сколь же не схожи! В 1958 году в Ираке произошло восстание, в результате которого пал диктаторский режим короля Фейсала и его всемогущего премьера Нури Саида, втащивших Ирак по указке англичан, от которых всецело зависели, в военный Багдадский пакт. Привязанное вверх ногами к хвосту осла тело

¹ Выделено мной. — К.Б.

ненавистного Нури Саида — голова его билась о камни мостовых — целый день таскали по улицам Багдада. Генсек Сирийской компартии Халед Багдаш, сам человек довольно жесткий, говорил мне не без отвращения: «В Сирии подобное невозможно».

Действительно, в Сирии до прихода к власти Хафеза Асада был период, когда перевороты следовали один за другим. Тогда ходил такой анекдот. Президентский дворец в Дамаске. По его гулким коридорам, чеканя шаг, идет майор, входит в большой зал-приемную и направляется к двери в кабинет президента. Его останавливают: «Вы куда?» Он отвечает: «К президенту». — «По какому делу?» — «Я намереваюсь совершить переворот». Ему преграждают дорогу: «Займите очередь. Здесь все по этому вопросу. И они старше вас по званию — генералы и полковники. Вы будете четырнадцатым». Однако перевороты в Сирии не сопровождались кровопролитием. За исключением лишь выходки майора Селима Хатуна, который вздумал штурмовать дома политических противников. Подозревали, что этот «несирийский» способ и послужил причиной того, что не простившие этой эскапады расправились с ним в Иордании, где он попытался укрыться.

В Ираке же пять лет спустя после истории с Фейсалом повторилось действие практически того же жанра. Свергнутого главу государства генерала Касема, привязанного к стулу и иссеченного автоматными очередями, долго показывали по телевидению. А дочь казненного им начальника штаба иракской армии, стоя рядом с трупом и осыпая его проклятиями, кричала с экрана о том, как она рада. И еще эпизод, не столь необычный, но тоже по-своему показательный. В 1976 году в Багдаде меня повезли на какое-то массовое официальное мероприятие на стадионе. У входа я видел, как безжалостно полицейские избивали дубинками мальчишек 12—13 лет, которые попытались проникнуть на праздник.

Но при всех своих различиях арабы — гостеприимное и щедрое племя, склонное к сердечности, к дружбе. Это мир, в котором добрые отношения — большая сила. За полтора десятка лет тесных контактов с сирийцами и ливанцами, южноафриканцами и палестинцами, египтянами и иорданцами, алжирцами и марокканцами я проникся к ним теплым чувством. Говоря так, я отнюдь не отвлекаюсь от основного сюжета: знание их человеческих качеств помогало мне на поприще наших арабских дел, их национальные черты не может не учитывать никакая реальная политика, если она претендует на эффективность.

Выгодное географическое положение, природные богатства преимущество, которым судьба наделила арабские страны, — в новейшую эпоху обернулись для них проклятием, разжигая аппетиты европейских магнатов и военных стратегов. Их горький опыт как бы подытожил выдающийся арабский писатель и мыслитель Амин Рсайхани: «Несчастливая страна, имеющая нефть, которую она не может защитить».

Ближний Восток остался одним из узлов международных противоречий и после второй мировой войны. Расталкивая своих французских и английских союзников, притязания на господствующее положение в регионе предъявили США. Во второй половине 50-х годов в игру вступил Советский Союз.

Общая социально-экономическая отсталость, тяжелое материальное положение миллионных масс, огромная неравномерность распределения богатства как внутри отдельных стран, так и в рамках всего арабского мира, укоренившиеся чувства ущемленности и недоверия, обиды и враждебности в отношениях с Западом, связанные с недавним его господством и нынешним экономическим и силовым превосходством, — все это отличный «питательный бульон» для социального и политического отчаяния, националистического экстаза и религиозного экстремизма. К этому надо добавить отсутствие или слабость демократических традиций современного толка, преобладание авторитарных режимов, для которых воинственность зачастую остается стержнем существования.

С конца 50-х годов Ближний Восток был ареной конфронтации двух супердержав, двух мировых лагерей. Она способствовала его милитаризации и нагромождению тут оружия, в том числе самого современного, поддерживала и даже разжигала соперничество между ближневосточными государствами, тормозила развитие региона. Правда, этот своеобразный конфронтационный кондоминиум позволял в значительной мере контролировать здесь уровень напряженности, не давая ей выходить за определенные рамки.

Но как бы то ни было, Ближний Восток — один из районов мира, который наиболее пострадал от локального противостояния Соединенных Штатов и Советского Союза как формы их глобальной конфронтации. И это касается практически всех стран, в каком бы лагере они ни находились. Как метко заметил однажды президент Танзании Дж. Ньерере, «малые страны испытывают беспокойство или даже страдают как от вражды, так и от дружбы сверхдержав: трава равным образом страдает — дерутся ли слоны или занимаются любовью».

Ближний Восток, арабский мир занимали видное место в советской внешней политике. Это определялось близостью региона к границам СССР, что вводило в «пасьянс» интересы его безопасности, проблему, особенно чувствительную для страны и ее лидеров еще военного поколения, которые дали своего рода зарок: «1941 год — никогда вновь», имея в виду обеспечение «чистоты» советского предполя. Это определялось также ролью Ближнего Востока в противоборстве СССР и США, его ресурсным и коммуникационно-стратегическим значением для Запада. Важность арабо-ближневосточного региона обуславливалась и тем, что весь послевоенный период тут тлел, то и дело вспыхиваясь вооруженным конфликтом, очаг опасной напряженности. Наконец, здесь у СССР было немало друзей.

Долгие годы конфликт в регионе именовался ближневосточным, хотя американские авторы предпочитали называть его арабо-израильским. Теперь, даже адресуясь к событиям прошлого, его нередко так именуют и у нас. Мне кажется, оба определения недостаточно точны, но первое ближе к истине.

Конечно, сердцевина напряженности и конфликта — вражда между арабами и Израилем. Но были и другие составляющие, которые в разное время играли разную роль, мешая угаснуть конфликту. Это — противоборство между арабскими странами и бывшими метрополиями, а также пытавшимися занять их место США. Это — конфронтация между США и СССР, которая серьезно деформировала естественный ход событий в регионе. Это, наконец, противостояние между самими арабскими государствами, в особенности нефтяными и ненефтяными, которое одновременно совпадало и с их разделением — разумеется, не случайным — на режимы политически умеренные и радикальные.

Кстати сказать, от этих составляющих (например, динамики арабо-израильского конфликта или развития отношений между Западом и арабскими странами) зависели успехи и неудачи советской политики. Не случайно Советский Союз «ворвался» на Ближний Восток по следам англо-франко-израильской агрессии против Египта в 1956 году в момент предъявления Англией и Францией «паракOLONиальных» претензий. И не случайно с переходом Садата на рельсы патронируемого Вашингтоном политического урегулирования начался постепенный спад влияния СССР.

Применительно к Ближнему Востоку тоже трудно говорить о ясно очерченной советской стратегии. Но некоторые цели несомненны. Прорвавшись сюда во времена Хрущева, Советский Союз стремился закрепиться здесь, набрать очки в глобальном противоборстве с американцами. Соперничество с ними, противодействие их попыткам вытолкнуть отсюда СССР, бесспорно, были нервом нашей ближневосточной политики. А в середине 70-х годов, наряду с традиционными соображениями безопасности, ее стали определять и более широкие военные соображения уже глобального масштаба. Вначале задача состояла прежде всего в том, чтобы противодействовать созданию Западом военных союзов и баз, не допустить, чтобы США могли освоить в военном отношении наше подбрюшье. И в этом мы преуспели. Затем Советский Союз приступил к расширению своего военного присутствия и тоже преуспел. Разворачивавшиеся в рамках стратегического паритета с США советские военно-морские силы нуждались в опорных пунктах в Средиземном море для противостояния американскому 6-му флоту. Практически использовался почти весь периметр арабского мира: Алжир и Триполи, Латакия и Аден, Тунис и Александрия (до 1974 г.). Благодаря присутствию на Ближнем Востоке наших военных — советников и специалистов — арабо-

израильские войны 1967 и 1973 годов дали определенный толчок развитию советских вооружений и военной мощи².

Ставшее весьма важным политическим рычагом в отношениях со многими арабскими странами военное сотрудничество заметно расширилось в 70-е годы. Действенным стимулом послужили выпадение Египта из арабской коалиции и укреплявшиеся военные связи между Израилем и США. Более интенсивный и масштабный характер приобрели поставки оружия, которые поначалу рассматривались лишь как помощь арабам. Потом, возможно несколько неожиданно для себя, обнаружили, что это и неплохой бизнес. Скажем, Ливия к 1992 году за работы по сооружению военных и гражданских объектов в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве от 1970 года заплатила валютой и нефтью 18,0 млрд долларов³.

Другой целью советской политики — и ее средством — была поддержка независимости арабских стран. Совпадение в этом вопросе интересов Советского Союза и арабов служило сильнейшим нашим козырем. Идеологические соображения до известной степени все еще оставались константой советской политики, и предпочтение отдавалось странам, которые придерживались, иной раз только на словах, «прогрессивного» курса, но с условием, чтобы социалистические намерения провозглашались «в сцепке» с негативным отношением к США. Во всяком случае, существование в 70-е годы на Ближнем Востоке достаточно влиятельных сил, которые тянулись к советскому опыту, было немаловажно.

² Хотя и тут многое делалось не очень продуманно, с явным перебором и без должного учета возможных последствий. Так, в Египте — накануне отъезда по требованию Садата находились в разном качестве более 20 тыс. советских офицеров, причем наши советники и специалисты были прикомандированы к египетским войскам, начиная с батальона.

³ У этой цифры, радовавшей сердца наших финансистов, была и зловещая начинка: за ней таилась масса оружия и военные объекты, далеко превосходившие реальные потребности Ливии. Но, подобно некоторым другим арабским лидерам, Каддафи, ориентируясь на военный потенциал Израиля, был неутолим, а подчас обращался и с загадочными просьбами. Глава одной из арабских компартий, например, сообщил о желании ливийского руководителя получить самолеты-заправщики и систему дозаправки в воздухе. На вопрос: «Для чего ему нужна эта система? Ведь не для удара, надеюсь, по США?» — мне ответили: «Каддафи считает, что у Ливии должно быть то же самое оружие, что у Израиля». Разумеется, эта просьба, как и многие другие, не была удовлетворена. Но Советский Союз, к сожалению, поставил слишком много оружия в Ливию и не только туда. И это было частью процесса «накачки» им Ближнего Востока, в котором еще более активное участие принимали западные державы, особенно США. Вашингтон не только обеспечивал качественное превосходство Израиля, он нагромоздил «монбланы» оружия в Саудовской Аравии (и продолжает эту практику до сих пор).

Имел для нас Ближний Восток и определенное экономическое значение. Именно в 70-е годы арабские государства стали главными экономическими партнерами Советского Союза в «третьем мире» и важным рынком для нашего промышленного экспорта: в 1970–1990 годах на них приходилось до трети товарооборота с этим миром.

Наконец, свою роль сыграла и особая специфическая чувствительность Москвы к событиям в ближневосточном регионе, некая дань политическому романтизму: ведь именно здесь СССР начал выход в «третий мир».

Общие недостатки «третьемирской» советской политики проявлялись и на Ближнем Востоке (а кое в чем и особенно здесь). И здесь мы переоценили созидательный потенциал националистов, вставших у государственного руля, свою способность оказать на них политическое и идеологическое воздействие. И здесь были ослеплены гулявшим среди них социалистическим поветрием, часто не понимая его характер. Пономарев мог, например, в речи на комбинате в Махалла Эль-Кубра в Египте произнести такие фразы: «Ленин — наш общий вождь. Работы Ленина — энциклопедия строительства новой жизни. Мы открываем вам чашу нашего опыта». А выступая на судовой верфи в Александрии, воскликнуть: «Эта ваша верфь особая — это будет первая социалистическая верфь на Средиземном море».

Справедливости ради надо признать: ошибиться было нетрудно, поветрие было очень сильным. Казалось, Советский Союз идет от победы к победе, а арабы близки к тому, чтобы сплотиться в единое государство. Когда вспоминаешь обстановку тех лет в Египте, других арабских странах, поражаешься, как изменилось время: столь сильными были тогда антизападные, антиимпериалистические чувства и приязнь к нам. Характерный факт. Изданная в то время в Каире 16-тысячным тиражом ленинская работа «Государство и революция» разошлась в три дня. Левыми идеями в Египте была увлечена не только часть интеллигенции, но в известной мере и руководство страны. Правда, то была эклектичная смесь различных левых взглядов с достаточно туманными представлениями о социализме и решительным отрицанием классовой борьбы. Мы же настойчиво вели разговоры о марксизме-ленинизме, хотя и оговаривались, будто «не навязываем своего опыта».

Но на общие недостатки нашей политики в развивающихся странах накладывались и региональные слабости и ошибки.

Во-первых, это неспособность эффективно содействовать реализации целей арабских государств в конфликте с Израилем, внутренняя слабость и военная неэффективность наших арабских союзников.

Во-вторых, изоляция от Израиля — одного из основных игроков на ближневосточной сцене, что обеспечивало Соединенным Штатам монополию на связь с Тель-Авивом, а нас лишало возможности распространить советское влияние на все пространство конфликта.

Изменить эту ситуацию было трудно. Не только из-за предубежденности к Израилю или позиции арабов, но и вследствие самой логики холодной войны, в которой Тель-Авив тесно союзничал с Вашингтоном. Между тем в израильском правительстве были люди, которых тяготила слишком большая зависимость от него, которые предпочли бы иметь контакты с СССР, чтобы обрести свободу маневра.

В-третьих, в нашей политике был некоторый, я бы сказал, естественный, проарабский крен, который порождался не только уже названными обстоятельствами, но и тем, что арабы являлись обиженной, пострадавшей стороной, чьи земли находились под оккупацией.

В-четвертых, СССР сотрудничал лишь с частью арабского мира. Нефтедобывающие государства Залива оставались вне нашего воздействия, и в годы холодной войны ничего изменить было невозможно. Эти государства, опасавшиеся «коммунистического проникновения», находились под плотной опекой Соединенных Штатов и были связаны с Западом теснейшими узами, став фактически частью его финансово-экономической и энергетической систем. Именно на этой финансово-нефтяной основе действовал и действует парадоксальный альянс средневековых абсолютных монархий с американской демократией. Так что путь в Эр-Риад — саудовскую столицу — лежал через Вашингтон, а наша политика была как бы привязана к расколу в арабском мире.

В-пятых, необходимость считаться с нередко радикальными позициями своих арабских друзей, хотя следует оговориться, что это никогда не сказывалось на принципиальных подходах советской политики.

Наконец, вероятно, не в полной мере учитывалась тенденция арабов к балансированию между СССР и США. Нельзя, однако, согласиться с обличительными рассуждениями о том, что арабские государства, мол, эксплуатировали конфронтацию сверхдержав: ее в своих интересах использовали все, кто мог, — от Франции де Голля до Израиля.

Но свои слабости, притом весьма серьезные, были и у политики США. Она недооценивала силу арабской национально-политической идеи, часто и здесь идентифицировала национальные движения с коммунистическим проникновением. Это лежало в основе всех крупных просчетов американцев. Правда, у непонимания были также объективные причины: эти движения угрожали экономическим, политическим и военно-стратегическим позициям, доставшимся США по наследству от колониальных держав.

Собственно, своими успехами в регионе СССР в немалой мере обязан Соединенным Штатам: своим враждебным отношением они подтолкнули к нам Насера и других арабских националистов. Реакция США не только на укрепление советских позиций, но и на естественные политические сдвиги, связанные с преодолением коло-

ниального наследия, была часто неадекватной, даже панической. И это дополнительно осложняло ситуацию, иной раз вынуждая и пас к ответным шагам, тоже резким и грубым.

Но именно 70-е годы для Соединенных Штатов, как и для нас, были, думается, началом более реалистического подхода. Они стали учиться различать коммунизм и национализм, который сделался к этому времени менее воинственным, более сговорчивым.

Отношение СССР и США к присутствию противной стороны было различным и диктовалось прежде всего разными возможностями. Советский Союз считал себя вправе требовать (и никогда этого не скрывал), чтобы другие считались с его интересами на Ближнем Востоке, но в то же время не домогался каких-то особых преимуществ. США же стремились закрепить и расширить свое преимущественное, если не доминирующее, положение в регионе, оттеснив всех остальных. И это, кстати, касалось не только СССР, но и Западной Европы.

Я не исключаю, хотя это и маловероятно, что, скажем, в 60-е годы иных наших лидеров, возможно, и опьяняла мысль о том, что Советский Союз в состоянии чуть ли не вытеснить Соединенные Штаты с Ближнего Востока. Это могло быть связано с насеровским периодом. По своим масштабам, политическим возможностям и воздействию в арабском мире фигура Насера неповторима. Его гигантский авторитет служил мощной динамической силой арабского национализма. Далекий от коммунистических идей, их не приемлющий, он, однако, проникся доверием к советской позиции поддержки борьбы арабов. Насер сделал ставку на Москву в противостоянии Западу, в первую очередь Соединенным Штатам, оказывавшим на него грубое давление, и стал как бы мостом, по которому арабские националисты пошли на сближение с СССР.

Именно Насер привез к нам Арафата, представил советским руководителям лидера свободного Алжира Бен Беллу, свергнувших ливийского короля Каддафи и его друзей. Каддафи как-то сказал Горбачеву: «Раньше, при жизни Насера, мы всё в развитии советско-арабских отношений оставляли ему и шли за ним. Даже после победы ливийской революции мы поехали к Насеру и через него — в Москву... Мы помним, что говорил Насер о Советском Союзе. Он верил в вас крепко». Смерть Насера была крупнейшей потерей для советской политики. Если посмотреть поглубже, не приход к власти Садата и его последующие действия, не израильско-египетское соглашение в Кэмп-Дэвиде, а сама копчина египетского лидера стала своего рода поворотным пунктом: она резко подтолкнула в арабском мире процессы, которые затормозили рост нашего влияния, а затем привели и к его спаду.

В Москве тогда этого не поняли, да и, пожалуй, понять было трудно. Посланного в Египет после смерти Насера Н. Подгорного

явно переиграл хитрый Садат, сумевший повести себя так, что Председатель Президиума Верховного Совета привез самые успокоительные выводы⁴. Но и наши службы пришли к ложному выводу, будто Садат (он при Насере умело держался в тени) — фигура временная, во всяком случае управляемая. Возможно, сказалось и влияние ближайших соратников Насера в Арабском социалистическом союзе, которые попытались дать бой Садату. Кстати, такого же рода оценки нового египетского президента высказывались поначалу и на Западе.

Впрочем, первый холодный душ обдал нас еще при Насере. Я имею в виду 1967 год, нападение Израиля и поражение наших египетских друзей, болезненно воспринятое в Москве. Но оно было как бы компенсировано событиями в Ливии, Ираке, Судане, где пришли к власти националисты, ростом антизападных тенденций в арабском мире.

Затем последовал новый удар — высылка Садатом советских военных советников и денонсация Договора о дружбе и сотрудничестве. Это, в сущности, открыло путь к кэмп-дэвидскому соглашению, которое метило в сердце арабского фронта и стало серьезным завоеванием США, поражением советско-арабской схемы урегулирования, шагом в сторону вытеснения СССР из региона⁵. Правда, и это отступление было в значительной мере компенсировано укреплением советских связей с рядом арабских стран, что явилось их реакцией на американо-израильский прорыв и лояльную позицию Советского Союза. Но глубоких корней это не имело.

Таким образом, мы пережили двойное отрезвление. Шестидневная война 1967 года побудила более верно оценивать возможности арабов в конфронтации с Израилем, а «финт» Садата — более здраво судить об их позициях. Руководство постепенно избавлялось от иллюзий: политика становилась реалистичнее, хотя проводилась в прежних устоявшихся стратегических рамках. Более того, в связи с известным разочарованием, вызванным «изменой» Садата, кое-кто готов был броситься в другую крайность. Если раньше с арабами были охочи обниматься чуть ли не круглосуточно, теперь в иных кабинетах полюбили подтрунивать над боевыми качествами арабов, а то и слышалось: «Эти арабы... да пошли они подальше». Я слышал подобное из уст Подгорного, хотя, конечно, это могло быть подсказано обидой на «обманувшего» его Садата. Но и не только из его уст.

В середине 70-х годов Советский Союз занимал в арабском мире позиции, которые выглядели прочными. Они опирались на общую

⁴ В ходе пребывания Подгорного в Каире был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и Египтом.

⁵ Брежнев в декабре 1975 г. в Завидове даже как-то бросил: «Мы зашли в туник из-за предательства Садата».

заинтересованность в укреплении самостоятельности арабских государств и богатый послужной список СССР по части поддержки их национальных интересов, на наши поставки оружия и экономическую помощь, наконец, на окрепнувшие взаимные симпатии наших народов.

В целом можно было бы сказать: в рамках преследовавшихся тогда целей Советский Союз с тем потенциалом, которым располагал, — значительно меньшим, чем у США, — все же неплохо использовал свои возможности, несмотря на очевидные слабости своей политики. В 70-е годы, думается, был достигнут пик советского влияния на Ближнем Востоке. А в тот период заметное расширение позиций в разных зонах «третьего мира» воздействовало на ситуацию и в глобальном плане.

Но полоса наращивания влияния осталась позади. Вот как — и близко к истине — оценивалось это в «Национальной разведывательной оценке» США («Изменения на Ближнем Востоке: оценки и возможные варианты для Москвы»), датированной 29 мая 1979 г.: «Советы должны быть удовлетворены нынешней поляризацией на Ближнем Востоке и своим отождествлением с подавляющим большинством арабских государств по важнейшему политическому вопросу — оппозиции египетско-израильскому мирному договору. В целом подписание договора до сих пор содействовало советскому преимуществу, так же как падение шаха Ирана. Способность Советов извлечь позитивные завоевания из этих событий, однако, скована теми же самыми базовыми ограничениями, которые в течение долгого времени препятствовали их продвижению в регионе»⁶.

Было несколько причин, по которым «буря и натиск» иссякли. Во-первых, в основном вышел пар противостояния арабов бывшим колониальным державам, начал увядать революционный настрой политической фазы национального движения, стали громче заявлять о себе внутриарабские противоречия. Не затронутая политическими пертурбациями часть арабского мира — страны Залива — была слишком отсталой, а религиозно-феодалная хватка режимов, опиравшихся на иностранную поддержку, слишком прочной. Между тем их огромные финансовые ресурсы позволяли оказывать существенное влияние.

Во-вторых, становление государственности, упрочение независимости (да еще при огромных военных расходах, которые оправдывались конфликтом с Израилем) поднимали значение экономического фактора. Советский же Союз после серии крупных «подарков» строительство Асуанской плотины, Евфратского гидроузла и т.д. был вынужден притормозить свою активность в этой области главным

⁶ *Changes in the Middle East: Moscow's Perceptions and Options An Intelligence Assessment.* — 1979. — 29 May. — P. iii.

образом из-за выявившейся ограниченности советских ресурсов. Но к тому же свой и американский опыт убедил: политические дивиденды очень часто оказываются весьма скромными. В 70-е годы возникло противоречие, если не разрыв, между нарабатанным высоким уровнем политических отношений и масштабами экономических связей.

В-третьих (и возможно, главное), стали обнаруживаться пределы возможностей Советского Союза в решении центральной внешнеполитической проблемы арабского мира — конфликта с Израилем. С одной стороны, военные столкновения показали превосходство Израилля, который американцы фактически использовали как дубинку, занесенную над арабским миром. С другой — дружественные арабские режимы нередко отличались внутренней неустойчивостью, сталкивались с серьезными политическими и экономическими проблемами. Все это изначально суживало наши возможности, ставило даже в поисках политического урегулирования в заведомо невыгодное положение. Фактически, не признавая этого, СССР вынужден был решение вопроса — не пора ли положить конец военной конфронтации? — отдать другой стороне.

Многие из этих причин видел и наш противник. В еще одной американской «Национальной разведывательной оценке» (от 1 мая 1978 г.) подчеркивалось:

«В течение последних нескольких лет советское влияние и свобода действий на Ближнем Востоке были ограничены тремя сходящимися обстоятельствами. Первое и наиболее важное из них — огромный рост влияния консервативных нефтепроизводящих государств, возглавляемых Саудовской Аравией и Ираном, которые работают против советских интересов.

Второе — ценность политико-военных связей с Советским Союзом размывалась советской неспособностью обеспечить удовлетворение арабских устремлений в конфликте с Израилем.

Третье — советская позиция и далее ослаблялась растущей ориентацией экономик даже радикальных арабских государств в сторону капиталистических промышленных государств»⁷.

Советский Союз пришел на Ближний Восток, когда там на первом плане было столкновение с Западом. Потом в центр стал выдвигаться арабо-израильский конфликт, хотя его соотношение с ситуацией в регионе — ближневосточным конфликтом — выглядело все более запутанным, учитывая, что Запад был постоянно на стороне Израиля, а тот — Запада. Наше отношение к этому конфликту, естественно, подчинялось общим целям политики СССР.

Конечно, план Бальфура — о создании в Палестине еврейского очага — с самого начала был в какой-то мере насильем над арабами:

⁷ Soviet Goals and Expectations in the Global Power Arena. National Intelligens Estimate. — P. 36.

их не спрашивали о судьбе той земли, на которой они жили. Но человечество, хотя и не оно вскормило нацизм, естественно, чувствовало себя в долгу перед евреями, и СССР голосовал за создание Государства Израиль. И эта позиция, свидетельствую с полной ответственностью, никогда, даже в период разгара «романа» с арабами и, наоборот, обострения отношений с Израилем, не ставилась под вопрос. Наверное, здесь действовала комбинация причин, в том числе и далеко не альтруистического свойства, но не это главное. Главное, что Советский Союз всегда выступал за существование независимого Израиля рядом с независимыми арабскими государствами, включая палестинское.

Советский Союз не был заинтересован в «пробе сил» на Ближнем Востоке. Он опасался возгорания этого очага напряженности вблизи своих границ, чреватого советской, наряду с американской, вовлеченностью. И Москва отнюдь не стремилась втянуть США в омут ближневосточного конфликта, организовать там для них «еще один Вьетнам», как иногда утверждали на Западе.

Убедительное доказательство этого — советская позиция накануне арабо-израильской войны 1967 года. Существует, более того, на Западе распространена версия, будто Москва поддерживала или даже поощряла действия Насера: требование вывести Чрезвычайные силы ООН с Синайского полуострова и закрытие Акабского залива для израильских судов, ставшие причиной (или поводом) для нападения Израиля. Этой версии придерживается и Голда Меир в своих мемуарах «Моя жизнь», ссылаясь на визит в Москву египетского военного министра Бадрана.

На самом деле все обстояло наоборот. Бадран прибыл в Москву 23 мая, то есть после предпринятых египетским президентом шагов. Он привез послание Насера и был почти немедленно принят Косыгиным. Переговоры длились три дня — 23–25 мая. В послании говорилось, что Израиль, сконцентрировав большую войсковую группировку, собирается нанести удар по Сирии и одновременно проводит военные приготовления против Египта. Каир не может оставить в беде своих сирийских друзей и намеревается предпринять превентивные действия, опередить израильтян. Насер хотел бы получить «благословение» Советского Союза.

Косыгин выразил резко отрицательное отношение к подобного рода планам⁸, заявив, что превентивная акция будет равносильна агрессии и Советский Союз ее поддержать не может. Бадран же, ссылаясь на инструкции Насера, продолжал настаивать и пытался переубедить Косыгина, но тот твердо придерживался занятой позиции. На третий день, 25 мая, получив из Каира новые директивы,

⁸ Присутствовавший на этой беседе посол П. Акопов вспоминает, что Косыгин отреагировал сразу же.

египтянин сдался. Он заявил: «Мы не думаем, что это правильно, но и не считаться с советскими друзьями не можем».

Полторы недели спустя, когда А. Белякову и мне поручили подготовить текст доклада Брежнева на Пленуме ЦК, среди переданных нам документов были и выдержки из записи беседы Косыгина с Бадраном, где Алексей Николаевич в самой решительной форме выражал отрицательное отношение Москвы. Одну из них мы включили в проект.

Так что Советский Союз не только не поощрял военные замыслы Египта, но фактически предотвратил их реализацию. Кстати, та же принципиальная позиция, а конкретно — отказ предоставить запрошенные виды наступательного оружия и т.п., послужила не только предлогом, но и одной из причин разрыва Садата с СССР.

В рамках версии о «виновности» Советского Союза нередко ссылаются на маршала А. Гречко, министра обороны, который, проводя Бадрана в аэропорту, якобы сказал что-то вроде: «Мы всегда будем с вами, всегда вас поддержим». Это невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Да и не сужно. Нельзя полностью исключать, что Гречко мог произнести нечто подобное. Во всяком случае, летом 1972 года в Александрии, в некотором подпитии, обнимая своего египетского коллегу Садека и стуча по столу, Гречко громко повторял: «Что бы ни было, мы будем с вами». Но, во-первых, это не более чем дежурная, общая фраза из тех, что нередко произносятся в неофициальных и официальных контактах без какой-либо серьезной нагрузки, некий «птичий язык» политических краснобаев. Во-вторых, египтяне уже имели официальную позицию советского руководства, оглашенную Косыгиным, и никакие фразы министра обороны, даже не столь стереотипные, перевесить это не могли. И третье, может быть, самое главное: ведь египетская сторона не стала инициатором военных действий.

Остается добавить: хотя на официальном уровне египтяне никогда не упрекали нас в том, что Советский Союз помешал им реализовать свои намерения, в неофициальных беседах мне доводилось слышать и такое: если бы Египет предпринял превентивные действия, ход войны был бы другим.

Несомненно, что и до перестройки советская политика в арабо-израильском конфликте исходила из резолюций Совета Безопасности № 242 и 338⁹ и необходимости мирной развязки и справедливого урегулирования. Я бывал на многих беседах наших лидеров с арабскими представителями, в том числе и Брежнева. Арабов не только не поощряли на военное решение, не только толкали на политический путь, но и настойчиво побуждали примириться с существованием

⁹ Принятые 22 ноября 1967 г. и 22 октября 1973 г., они определяли принципы политического урегулирования арабо-израильского конфликта.

Израиля. На всех уровнях (от самого низшего, Комитета солидарности с народами Азии и Африки, до самого высокого, у Генерального секретаря) переговоры, если упрощать, обычно проходили в следующем ключе. Арабы говорили, что израильтяне загоняют их в угол, что ущемлены их жизненные интересы и им не на что надеяться, кроме как на силовое давление. Им отвечали: Израиль — реальность, с этим надо считаться и искать политического выхода. Наша позиция часто воспринималась арабами как мягкотелая, как умиротворение.

Не было и речи о том, чтобы перекрыть Западу нефтяную артерию. В беседах «наверху» нефть обычно даже не упоминалась. Известную активность проявлял лишь Пономарев, но на свой манер. Он говорил, что в руках арабов есть столь мощное оружие, и удивлялся, почему оно не используется эффективно, советовал с его помощью активнее воздействовать на США, чтобы они отошли от произраильской позиции. За эти пределы не выходил и он. И настоящим нашим достижением было то, что, особенно во вторую половину 70-х годов, мы могли уже в полный голос, не вызывая протеста, говорить с арабами о закономерности существования Израиля. Можно сказать, приучили их, побудили это принять. С такой линией пришлось считаться даже особо упорным — алжирцам. Думаю, это сыграло свою роль в постепенном переходе арабов на более реалистические позиции.

Между тем то была очень непростая задача не только из-за отношения к Израилю, но и в силу внутривнутриполитических и престижных соображений наших партнеров. Официальная позиция непризнания Израиля служила одной из основ легитимизации арабских правительств. Мне приходилось проводить часы в спорах с арабскими представителями, добиваясь, чтобы коммюнике отражало отстаиваемую нами позицию. В марте 1981 года в Алжире из-за несговорчивости хозяев делегация КПСС была на волосок от крупной ссоры с ними. И только после довольно длительного разговора с Ш. Мессади-ей — координатором партии Фронт национального освобождения Алжира, долго объяснявшим, что расхождение с официальной позицией не было бы понято народом, удалось уладить дело.

Я не хочу создавать впечатление, что Советский Союз проводил однозначно миротворческий курс. Его политика, несомненно, страдала внутренней противоречивостью. Существовало общее понимание угрозы конфронтационного развития обстановки в регионе. Но были и опасения, что безоглядная ставка на мирное урегулирование при ведущей роли США усилит «прозападные» арабские государства за счет близких нам режимов. А позиции СССР ослабнут, если мы не будем нужны арабам как опора в противодействии Израилю. Мир на предлагавшейся США основе ассоциировался с перспективой восстановления ими своей гегемонии в регионе. Собственно, так дело и обстояло. «В конце концов главной целью нашей политики на Ближ-

исм Востоке, — признавался Киссинджер, — было ослабление роли и влияния СССР».

В итоге наша линия сводилась к декларативной в известной мере поддержке мирного урегулирования и активному содействию укреплению военного потенциала ряда арабских стран, что считалось естественным в условиях, когда США стремились выбросить СССР из миротворческого процесса и обеспечить военное превосходство Израиля.

Москва никак не хотела эскалации конфликта. Но СССР был заинтересован в сохранении напряженности, поддающейся контролю, до тех пор, пока невозможно урегулирование, приемлемое для нас и для наших арабских друзей. Я уже не говорю о том, что каждый новый виток напряженности сопровождался новыми просьбами о поставках оружия и это превращалось во все более дорогую и опасную авантюру.

Понятно, что СССР не мог давать в обиду своих друзей, допускать их унижения. Это затрагивало его политические и стратегические интересы, его престиж как сверхдержавы. А Израиль не раз пытался демонстративно поставить арабов чуть ли не на колени. Случалось, это провоцировало нас на весьма жесткие шаги, не всегда безупречные, что вряд ли способствовало эволюции арабской позиции к компромиссу.

Но одно должно быть ясно: оружие давалось арабам не для уничтожения Израиля, а чтобы укрепить их политические позиции.

И американцы отнюдь не были заняты только тем, что подбрасывали дрова в огонь конфликта. Но многие свои чувствительные поражения в регионе США как бы компенсировали, эксплуатируя неурегулированность арабо-израильского конфликта. Израиль при их поддержке мог порой диктовать условия, демонстрируя, кто «хозяин» в регионе. В этом отношении ближневосточный конфликт, конечно, был нужен Вашингтону. Киссинджер в мемуарах пишет вполне определенно, что «не было причин для изменения политики США до тех пор, пока какое-либо из арабских государств не проявляло желания отойти от Советов или пока Советы не были готовы отказаться от арабской программы». Стратегия американцев заключалась в том, чтобы, не раздувая конфликта, держать его в подвешенном состоянии. Длительное статус-кво с некоторых пор стало их устраивать, пожалуй, больше, чем нас. И кэмп-дэвидский вираж Садата служит хорошей иллюстрацией, как работала такая линия США.

Но перед американскими политиками стояла трудноразрешимая задача.

С одной стороны, прессинг сионистского лобби и Израиля. Помимо особых симпатий к еврейскому государству это лобби питало, по понятным причинам, особую антипатию к СССР. И нередко создавалось впечатление, что политику Вашингтона определял Израиль, или, как писал один американский журналист, «хвост вертел соба-

кой». На заседании в Осло профессор Кунихольм из университета Дьюка (США) заявил: «Время от времени США адресовались к Израилю как к своему клиенту, хотя порой не ясно, не обстоит ли дело наоборот, не мы ли клиент Израиля».

С другой — многие в государственном департаменте и за его пределами выступали против чрезмерного осложнения отношений с арабами. Такая тенденция, хоть часто и задавленная произраильским креном, давала о себе знать и сыграла свою роль в появлении совместного советско-американского заявления в октябре 1977 года, о котором речь впереди. Неноследовательность в политике США объяснялась также острой конкуренцией и даже неприязнью между государственным департаментом и Советом национальной безопасности, который, как и Комитет начальников штабов, был привержен более жесткому курсу (об этом вспоминают почти все тогдашние госсекретари).

Не сбрасывая со счетов возможности произраильского лобби, все же убежден: если бы руководство США считало, что американские интересы требуют урегулирования конфликта, оно сумело бы «дожать» Израиль. Недаром премьер-министр Великобритании Э. Хит после войны 1973 года сказал госсекретарю США, что «за последние шесть лет, со времен войны 1967 года, США имели полную возможность заставить Израиль пойти на переговоры, но ничего не сделали». У Хита были все основания сказать так. В 1978 году, например, Израиль оккупировал ливанский юг, действуя исключительно из собственных побуждений. Но достаточно было американцам предупредить, что, если войска не будут немедленно выведены, США прекратят поставку Тель-Авиву вооружений, как через несколько часов израильтяне из Ливана ушли.

Итак, и США, и СССР придерживались, по разным причинам и в разной мере, стратегии контролируемой напряженности и не намеревались от нее отходить до тех пор, пока не станет возможным урегулирование на приемлемых для них условиях. Как и США, Советский Союз стремился к урегулированию, которое закрепит его влияние. Конфронтационная структура отношений супердержав не давала возможности разблокировать ближневосточный конфликт: они приносили в жертву своему локальному и всемирному соперничеству интересы народов региона.

Однако в отличие от США стратегия напряженности не была для СССР вполне добровольным выбором, тем более что примерно со второй половины 70-х годов неурегулированность конфликта начинаст обращаться против Советского Союза. Не от Москвы, а от Вашингтона зависел выбор в пользу урегулирования. Только он, имея достаточное влияние на Израиль, мог склонить его к конструктивной позиции.

В отличие от США Советский Союз не ставил — другое дело, что и не мог ставить, — задачи вытеснить из региона своего противника.

Он стремился к такому урегулированию, где будет принимать участие наравне с США. Вашингтон же претендовал на единоличное участие и стремился оставить СССР за бортом. Он не хотел сотрудничества с Москвой в ближневосточных делах. Киссинджер в своих мемуарах откровенно признается, что препятствовал этому и старался лишь создать впечатление такой заинтересованности.

В отличие от США Советский Союз выступал за всеобъемлющее урегулирование. При этом имелись в виду вывод израильских войск со всех арабских территорий, оккупированных в 1967 году; осуществление неотъемлемых прав палестинцев, включая право на самоопределение и создание собственного государства; обеспечение права на независимое существование и безопасность всех государств — непосредственных участников конфликта, как арабских, так и Израиля; прекращение состояния войны между арабскими странами и Израилем.

Сегодня мы уже в состоянии судить, какой выбор сделала история, и констатировать: Советский Союз поддерживал справедливую и реалистическую программу урегулирования. По сути дела, именно она стала стержнем нынешнего миротворческого процесса на Ближнем Востоке. И в этом я вижу подтверждение того, что прежде всего свара сверхдержав мешала переходу обеих сторон в конфликте на реалистические позиции, к конструктивным поискам урегулирования.

Иногда, ставя под сомнение заинтересованность Советского Союза в урегулировании, ссылаются на то, что конфликт создавал для него большие возможности сохранять и расширять свое влияние в арабских странах, а также — в связи с тесным союзом между США и Израилем — в мусульманском мире вообще. В такого рода рассуждениях есть, конечно, доля истины. Однако, безусловно, перевешивала заинтересованность в том, чтобы «разминировать» этот район у своих границ, предотвратить реальную опасность военного столкновения с Соединенными Штатами и, наконец, стабилизировать советское влияние в регионе.

С началом президентства Дж. Картера (январь 1977 г.), казалось, стала складываться более благоприятная обстановка для поисков путей ближневосточного урегулирования. Трудно определенно сказать, почему США решились предпринять совместные с СССР усилия на Ближнем Востоке и в конечном счете согласились на опубликование 1 октября 1977 г. заявления Вэнса—Громько. Конструктивный отклик госсекретаря Вэнса (вопреки возражениям Бжезинского, он получил «добро» от президента на зондаж прибывшего на сессию ООН Громько) был неожиданным, и советской делегации пришлось действовать без директив из Москвы.

Надо думать, причин было несколько, но основная, по-видимому, состояла в том, что переход Садата к проамериканской линии не дал эффекта, на который рассчитывал Вашингтон, напротив, Египет

оказался изолированным. К приходу в Белый дом Картера уже обнаружилось пределы возможностей ближневосточной политики США, становилось ясно, что курс на сепаратные соглашения в общем-то выдохся. Крепло убеждение, что без Советского Союза урегулирование продвинуть не удастся. Оно нашло отражение в докладе «Мир на Ближнем Востоке», подготовленном на рубеже 1976—1977 годов в Бруклинском институте, прежде всего У. Квандтом, занявшим вскоре пост заведующего ближневосточным департаментом в Совете национальной безопасности и советника президента. Как он мне рассказывал, у них были две главные идеи: о важности комплексного подхода к проблеме и о необходимости для США (естественно, не в ущерб себе) взаимодействовать с СССР, поскольку он «объективная реальность» и располагает существенным влиянием в регионе. Новая администрация отнеслась к докладу с большим вниманием.

Сыграло свою роль и то, что Картер, взвешивая перспективы ближневосточной политики США, провел переговоры с рядом арабских лидеров. В апреле и мае 1977 года состоялись его встречи с Садатом, королем Иордании Хусейном, президентом Сирии Асадом, саудовским наследным принцем Фахдом. США добивались, но, очевидно, безуспешно, согласия с идеей прямых переговоров с Израилем без участия Организации освобождения Палестины (ООП).

Еще одно обстоятельство — стремление Картера обозначить свое президентство крупными внешнеполитическими сдвигами и его ориентация на серьезное улучшение отношений с Советским Союзом, на расширение с помощью этого и борьбы за права человека американского влияния в Восточной Европе.

Кстати: многие в США считают, что президентство Картера во внешнеполитическом плане — и особенно применительно к отношениям с СССР — было слабым или даже неудачным, основанным на идеалистических посылах. На мой взгляд, это абсолютно ошибочное представление. Напротив, следует воздать должное Картеру, который, можно сказать, перенес сражение в стан противника, выдвинул на первый план то, что в конечном счете оказалось самым острым и эффективным оружием против СССР: права человека. Рейган же своей политикой грубого агрессивного «навала» вел, повторяю, азартную игру, которая при ином руководстве Советского Союза могла бы привести на порог ядерной катастрофы.

Как бы то ни было, на фоне нового витка разрядки ближневосточная проблема тоже, по-видимому, стала размораживаться. Через два месяца после вступления в должность Картер заявил, что у палестинцев должна существовать родина. Одновременно он несколько раз высказался в пользу возобновления работы Женевской конференции¹⁰.

¹⁰ Международная конференция по ближневосточному урегулированию.

Могло, правда, показаться, что жива и прежняя линия. Бжезинский, разъясняя условия мира на Ближнем Востоке, заявил, что, по мнению президента, границы 1967 года мертвы, что Израиль должен будет «распространить свои границы на 32 мили в глубь Синайской пустыни и сохранить значительные территории на Западном берегу реки Иордан и на Голанских высотах» и что река Иордан — это «естественная линия обороны Израиля».

Как бы отвечая Картеру, Брежнев на XVI съезде профсоюзов 21 марта 1977 г. развил советскую позицию, в частности предложил международные гарантии выполнения условий мирного урегулирования. Высказана была также мысль, не нашедшая, однако, отклика у американской стороны, что можно было бы рассмотреть и вопрос о содействии прекращению гонки вооружений на Ближнем Востоке.

28 марта в беседе с Громыко Вэнс говорил: «Добиться этого (прекращения конфликта и справедливого урегулирования. — *К.Б.*) можно только путем взаимодействия между нашими двумя странами... Такой точки зрения придерживается президент Картер». А 18–20 мая 1977 г. на встречах глав советской и американской дипломатии в Женеве была достигнута официальная договоренность о совместных усилиях по возобновлению осенью того же года международной конференции и подтверждена важность взаимодействия ее сопредседателей — СССР и США.

Кульминационным же моментом явилось совместное Заявление от 1 октября 1977 г. Оно, на мой взгляд, служит солидным подтверждением доброй воли и серьезности намерений президента Картера. В Заявлении была зафиксирована необходимость решить в рамках всеобъемлющего урегулирования ключевые вопросы: вывод израильских войск с оккупированных в 1967 году территорий; решение палестинского вопроса, включая обеспечение законных прав палестинского народа; прекращение состояния войны и установление нормальных мирных отношений. Было уделено внимание мерам по обеспечению безопасности границ между Израилем и соседними арабскими государствами, международных гарантий этих границ, как и в целом соблюдения условий урегулирования с этой целью. Стороны выразили намерение содействовать возобновлению работы Женевской мирной конференции не позднее декабря 1977 года.

США, таким образом, впервые официально заявили о признании законных прав палестинского народа и необходимости участия ее представителей в Женевской конференции. Это, безусловно, стало важным сдвигом в американской позиции.

Хотя документ был посвящен принципам работы и процедуре конференции, при его составлении фактически обсуждались и вопросы по существу. Ведь практически за каждым, даже процедурным моментом таилось политическое содержание, и из дискуссий посте-

ленно выросло взаимопонимание, приближавшее партнеров к плану мирного урегулирования.

То был большой шаг к компромиссу между двумя супердержавами: впервые они согласились сотрудничать на Ближнем Востоке и признали друг друга равными партнерами в поисках урегулирования. Реализация зафиксированных договоренностей, несомненно, могла означать продвижение к подлинному миру в регионе.

Декларация была настолько серьезным и неординарным шагом, на который решились США, что поначалу в аппарате ЦК его встретили с недоверием. Мы затеяли спор в кабинете Александра: Шишлин, руководитель группы консультантов Отдела социалистических стран, и я считали, что речь идет о повороте в американской политике, который может не ограничиться Ближним Востоком, а Александров упрекал нас в наивности. Такую же позицию заняли Пономарев и поддерживавший его Ульяновский в кабинете моего «босса» пару часов спустя. Их скептицизм, к сожалению, оправдался, и через несколько дней Борис Николаевич не отказал себе в удовольствии напомнить о моих оптимистических комментариях.

Не хотел бы создавать впечатление, будто все решалось одним Заявлением, и оно было обречено на успех. Были и есть люди, которые утверждают, что само согласие двух держав, выразившееся в нем, было лишь формальным. Я так не думаю, хотя понимаю, что в ходе дальнейшей работы могли возникнуть дополнительные трудности. Не ясно было, как воспримут Заявление страны, которых это непосредственно касается. МИД провел предварительные дискуссии с дружественными арабскими государствами. Хотя конкретного документа тогда еще не существовало, мы обсудили основное его содержание, и, судя по всему, большинство арабских стран приветствовали бы Заявление. Оно, однако, вызвало протест Сирии, которая всегда была трудным партнером. И все же, исходя из ситуации, которая мне достаточно знакома, я убежден, что удалось бы добиться согласия наших арабских друзей. У США было не меньше возможностей сделать то же в отношении Израиля.

Как известно, когда документ был готов, последовал рассерженный звонок из Вашингтона с выговором Вэнсу. Существуют противоречивые версии по поводу того, кто звонил и причастен ли к этому Бжезинский. Во Флориде и Осло американцы предпочитали отмалчиваться или давали уклончивые ответы даже на прямо поставленные вопросы. А некоторые утверждали, что Бжезинский поддерживал Заявление.

Вот как реагировал Вэнс: «Я думаю, что тогда был звонок. Я не знаю, кто позвонил, не помню, чтобы лично участвовал в каком-нибудь подобном разговоре, я даже уверен, что не участвовал». Тяжесть ответа он попытался переложить на своего бывшего помощника М. Шульмана: «Маршалл, ты не хотел бы прокомментировать это?» И тот говорит: «Я буду комментировать с неохотой и только

потому, что мне приказал мой бывший босс. Я помню, что в то время, как мы были с нашей миссией в Нью-Йорке — после объявления о коммюнике или совместном заявлении, — действительно был звонок и разговаривал я, получил этот звонок. Но я хотел бы поговорить об общих последствиях этого...»

Видимо, звонил все же именно Бжезинский. В этом мнении меня убеждает и эпизод, имевший место через несколько лет после истории с Заявлением. В середине 80-х годов итальянское телевидение организовало телемост, в котором участвовали из Нью-Йорка бывший министр иностранных дел Израиля А. Эбан, из Джакарты — З. Бжезинский, из Рима — министр иностранных дел Италии (кажется, Андреотти) и из Москвы — автор этих строк. В ходе беседы американец не только высказался против равноправного сотрудничества Советского Союза и США в поисках путей ближневосточного урегулирования, но и вполне определенно дал отрицательную оценку Заявлению 1977 года.

Началась беспрецедентная атака на Заявление, особое неприятие вызвало положение о том, что США и СССР будут действовать совместно. Резко отрицательную позицию заняли правительство Израиля, произраильские и правые круги в США. Хотя, как говорили, и на израильской стороне были люди, готовые занять иную позицию.

В итоге США дезавуировали свою подпись под Заявлением, появился подготовленный на основе израильских предложений «рабочий документ», где пересматривались согласованные в Заявлении подходы. Процесс урегулирования, который должен был вот-вот начаться, оказался сорванным. Обычное объяснение американцев состоит в том, что израильтяне пришли в ярость и пустили в ход все свои связи в конгрессе, госдепартаменте и администрации президента.

Израильский фактор, видимо, сыграл основную роль, но наряду с ним — и позиция Бжезинского и ему подобных, чей гнев вызвало то, что Заявление легитимизировало советское присутствие на Ближнем Востоке. Вдобавок механизм сепаратных договоренностей, запущенный при Киссинджере, к этому времени действовал, возможно, и без плотного участия США. Уже ушел Киссинджер, уже у американцев могли быть какие-то иные задумки, но этот механизм подтолкнул навстречу друг другу Садата и Израиль: казалось, вот-вот удастся и так совершить «прорыв».

Отказ от Заявления и последовавшее через полтора месяца кампэвидское соглашение между Египтом и Израилем, заключенное под опекой Вашингтона, показали, что он не сделал реального выбора в пользу сотрудничества с СССР. Принципиальный смысл соглашения Садата—Бегина¹¹ как раз в том и состоял, что взрывалась схема всестороннего урегулирования при обязательном участии Москвы.

¹¹ Премьер-министр Израиля.

И в этом одна из главных причин, почему Советский Союз решительно — вслед за арабскими странами — отверг соглашение. Ведь в нем самом, думается, было не слишком много такого, что мы никак не могли бы принять. Но то был ход в русле американо-израильской линии на изгнание СССР с Ближнего Востока. Если бы — но это «если» из тех, которые абсолютно нереальны, — к этому соглашению шли другим путем, иначе говоря, вместе с СССР и дружественными ему арабскими странами, события, не исключено, могли бы развиваться иначе.

Между прочим, поездка Садата в Иерусалим и контакты, приведшие к Кэмп-Дэвиду, не стали для нас неожиданностью. Было известно о происходящей через египетского генерала разведки Фавази взаимной «притирке». Кроме того, нас предупреждали и друзья. Так, 9 ноября 1977 г. я встречался с Халедом Мохи эд-Дином, человеком по сию пору очень уважаемым в Египте, одним из пяти—семи «Свободных офицеров»¹², которые были рядом с Насером в дни революции. Он рассказал, что Садат настроен пойти на любые уступки, готовит сепаратное урегулирование и стремится подтянуть к этому и Иорданию¹³.

Я убежден: дезавуирование Заявления означало огромную утраченную возможность разрешения конфликта. После отказа от Заявления и в еще большей мере после подписания египетско-израильского договора уже не оставалось видимых перспектив для сотрудничества СССР и США в поисках урегулирования. С приходом же к власти Рейгана всякая мысль о каких-то совместных конструктивных действиях, естественно, уже была нереальной.

Курс, на который вышли американцы после того, как было умерщвлено Заявление, иллюстрируют высказывания Бжезицкого в его мемуарах, впрочем не вполне прямодушные: «Мы теперь подчинились (?!) тому факту, что всеобъемлющее урегулирование в лучшем случае отодвинется на многие годы. Вместо него мы были вынуждены (?!) остановиться определенным образом на персводе инициативы Садата в осязаемую договоренность между Египтом и Израилем... Мы хотели бы иметь такой мирный процесс, который затронул бы умеренные арабские режимы так, чтобы американские позиции в районе укрепились»¹⁴

¹² Организация, возглавившая выступление против королевского режима в Египте.

¹³ Американцы утверждали тогда (например, президент Картер в беседах с нашими представителями и в письме к Брежневу) и продолжают утверждать теперь, что ничего не знали предварительно о его поездке в Иерусалим и она была совершена египетским президентом по собственной инициативе.

¹⁴ **Zbigniew Brzezinski**. *Power and Principle: Memoirs of the National Security Adviser 1977–1981* / Farrar, Straus, Jiroux. — 1983. — P. 235.

Вашингтон, очевидно, вернулся к убеждению, что может реализовать свою неизменную, как признался Буш Горбачеву в Хельсинки в 1990 году, цель: изолировать и вытеснить СССР с Ближнего Востока. Однако в общеарабском плане сепаратное соглашение имело обратный эффект. На базе его отторжения произошло сближение между СССР и рядом арабских стран. В конце 1977 — начале 1978 года в Москве побывали руководители Алжира, Сирии, Южного Йемена, Ирака, Ливии, ООП. А кэмп-дэвидскую сделку поддержали лишь два члена Арабской лиги — Оман и Сомали.

Но это сближение не могло быть ни устойчивым, ни долговременным. Продолжали действовать те же факторы, которые сыграли свою роль в метаморфозе Садата. Я оставляю в стороне уже названные общие слабости нашей политики. Отвлекаюсь от личности Садата — видел его лишь однажды и склонен верить разговорам о его психической неустойчивости и даже склонности к наркотикам — и активной нелюбви (говорят даже о патологической ненависти) египетского президента к Советскому Союзу, возможно связанной и с беспочвенными подозрениями нас в связях с его оппонентами из Арабского социалистического союза, а также с пронацистскими симпатиями времен второй мировой войны.

Однако существовали и действовали другие, вероятно более веские обстоятельства. Я уже упоминал о явной неспособности СССР повернуть ход событий в конфликте с Израилем в пользу арабов и их заинтересованности в экономических связях с Соединенными Штатами. В этом смысле Садат был немедленно вознагражден: начиная с той поры Египет ежегодно получает от США безвозмездно более 2,5 млрд. долларов. Надо полагать, что и другие арабские страны были небезразличны к такому «аргументу». Правда, когда Садат попытался вовлечь в кэмп-дэвидский процесс и Сирию, она решительно отказалась, став, напротив, центром сопротивления ему.

Фундаментальной слабостью советской ближневосточной политики было отсутствие дипломатических и вообще каких-либо серьезных отношений с Израилем. Не скажу, чтобы это очень волновало, особенно в 70-е годы, руководство да и большинство тех, кто был занят на ближневосточном направлении. Разорвав — по понятным причинам¹⁵, но тем не менее ошибочно — дипломатические отношения с еврейским государством в связи с нападением на Египет в 1967 году, мы как-то свыклись с этим положением и отсутствием Израиля на карте наших ближневосточных связей. СССР как бы привык рассчи-

¹⁵ Кроме естественной реакции на израильское нападение и желания «дать сигнал» международному общественному мнению и другим государствам, это диктовалось стремлением смягчить у арабов горечь поражения и громким политическим актом как бы компенсировать (и прикрыть) свою неспособность предотвратить военную победу Израиля.

тывать свои ходы, ориентируясь лишь на арабские государства и примериваясь (что касается противоположной стороны) главным образом к позиции США, отождествляя с ними Израиль, хотя это заметно снижало эффективность советской политики.

Этому способствовал, работая на арабофильство, и антисемитский душок, который, как я уже говорил, ощущался в коридорах здания ЦК. Господствовавшие в руководстве и аппарате предубеждения подпитывали политика Израиля, действовавшего в одной упряжке с Вашингтоном, роль еврейского лобби в США. Это настроение усилилось, когда в начале 80-х годов был официально оформлен существовавший и до того военно-стратегический союз США и Израиля. Примешивалось и неприятие вызывающего поведения Израиля, вкупе с США игнорировавшего десятки резолюций ООН и Совета Безопасности, и т.д.¹⁰

В Международном отделе преобладало негативное отношение к политике Израиля, которое нередко перерастало в неприязнь к нему самому. Я особых симпатий к Израилю не питал, хотя относился к нему непредвзято. Мне претили готовность лидеров страны, народ которой и сам стал объектом беспримерного насилия, перенес холокост, прибегать к насилию против мирного населения, например в Ливане, их претензии на все новые куски арабских территорий, неспособность понять чувства миллионов изгнанных палестинцев. В согласии с официальной точкой зрения я считал, что восстановление дипломатических отношений с Израилем должно предваряться или — об этом открыто не говорилось, но такая возможность допускалась — на худой конец быть синхронизированным с конструктивными шагами, содействующими запуску реального миротворческого процесса.

Кстати, у меня есть основание полагать, что такую позицию считали разумной и американцы. Заместитель госсекретаря США Р. Мэрфи, нанесший мне визит 11 марта 1988 г., перечисляя, по его словам, «области, где СССР мог бы проявить конструктивное, серьезное отношение к запуску и развитию мирного процесса», назвал и такую: «Использовать в отношении Израиля тот аргумент, что процесс урегулирования поможет решить вопрос нормализации советско-израильских отношений». Видимо, однако, на этом естественном требовании, как средстве давления на Израиль, мы слишком зациклились.

Вместе с тем мне представлялась неправильной и неэффективной политика полной изоляции от Израиля. Это лишало нас рычага, без которого в ближневосточных делах было не обойтись. Да и вообще была не по душе попытка превратить Израиль в государство-изгой.

¹⁰ Впрочем, были представлены и антиарабские, а также произраильские тенденции, но последние чаще в завуалированной форме.

Неприлично-односторонней, антиизраильской была и позиция нашей прессы (теперь же, как бы наверстывая упущенное и успокаивая «нечистую совесть», она впала в другую крайность).

Думаю, сказывалось и то, что в памяти живы были рассказы первого советского посла в Тель-Авиве А. Абрамова, которого я встречал несколько раз у Ю. Францева. Он описывал, как широко и искренне — именно 9 мая, а не 8, как на Западе, — отмечался там праздник Победы, как на стадионе в Тель-Авиве собирались многие сотни людей, грудь которых украшали боевые советские ордена, и т.д. От него я узнал и то, что наши летчики-добровольцы участвовали в защите провозглашенного еврейского государства.

Мы в отделе неодобрительно относились к неразборчивой, тотальной кампании против сионизма. Сказывались, наверное, и неоднократные демарши Генерального секретаря Компартии Израиля М. Вильнера, который подчеркивал необходимость дифференцированного подхода к этому явлению. На беседах в ЦК он предлагал, и безуспешно, провести двухпартийный симпозиум на эту тему. Отнюдь не случайно Антисионистский комитет, деятельность которого не всегда отвечала требованиям политической гигиены, был создан под эгидой Отдела пропаганды и агитации. Мы возражали против этого шага и к его функционированию относились негативно.

На формирование моего подхода к проблеме Израиля оказала влияние и поездка туда на съезд компартии в конце 1976 года. Она была весьма полезной в познавательном отношении, в том числе и для понимания ближневосточной ситуации, ее перспектив.

Разумеется, на меня произвело большое впечатление мужество израильских коммунистов, особенно евреев. Будучи едва ли не на положении отщепенцев и даже подвергался насилию¹⁷ в своей стране, которой арабский мир отказывал в праве на существование, не встречая взаимопонимания и у его левых сил, включая коммунистов, они тем не менее стойко выступали за возвращение арабам оккупированных земель и уважение прав палестинцев. Вместе с тем я убедился — и практически это был самый важный вывод, — что компартия имеет влияние прежде всего среди арабского населения, а евреи составляют в ней меньшинство и на серьезные сдвиги тут рассчитывать не приходится. Другие же, более влиятельные силы израильского общества поддерживали линию правительства в ближневосточном конфликте, и было маловероятно, что они изменят свою позицию.

В те годы Израиль рисовался нам эдаким сионистским монстром, сплоченным и воинственным. Оказалось же, что политическая палит-

¹⁷ Например, здание, где проходил съезд, дважды атаковала агрессивная толпа с криками «Смерть коммунистам!», «Смерть советским!» А еще до этого М. Вильнеру было нанесено пожевое ранение.

ра там весьма разнообразна. Действительно, я убедился в существовании жесткого режима в некоторых сферах жизни, в высокомерном, а иногда и шовинистическом подходе к арабам. Но нельзя было не увидеть, что в этой, в каком-то смысле осажденной, стране действуют демократические порядки. Правительство не воспрепятствовало ни проведению съезда, ни приезду иностранных делегаций (и мы, и кубинцы получили въездные визы в день запроса). Характерная деталь: в том же здании в Хайфе и на том же этаже, где заседал съезд, в зале напротив происходило какое-то офицерское собрание. И выходя на перерыв, участники обоих собраний мирно прохаживались по коридорам.

Оказалось, что в Израиле «национальность» чтит и делят еще больше, чем в Советском Союзе, причем свреем ты признаешься по крови (только если у тебя еврейская мать, отец не в счет), что религия здесь играет немалую роль в обществе, а нередко и решительно вторгается в политическую жизнь. Я видел в Иерусалиме кварталы, заселенные приверженцами секты «гуш эмуним», где женщины ходят в париках (с момента замужества головы бреются наголо) и черных платках, мужчины — в черных костюмах и шляпах, с длинными пейсами и где закидывают камнями неосторожно «забредшие» сюда в субботу автомобили. Как раз в дни нашего пребывания пало правительство Израиля, которому отказала в поддержке религиозная партия, разгневанная тем, что оно в субботу принимало в аэропорту партию американских военных самолетов.

В то же время я получил представление о разнообразии сил, которые прикрываются, казалось бы, общей шапкой сионизма, имел контакты с представителями некоторых из них. Увидел левых адвокатов — некоммунистов, отстаивающих права палестинцев, политических деятелей, настроенных вполне дружелюбно к арабам. Ну и отношение многих израильтян, особенно интеллигенции и молодежи, к чрезмерным претензиям служителей религии проиллюстрировал один из лидеров правившей тогда Рабочей партии (МАПАЙ), рассказав популярный, как он утверждал, анекдот: «поп-католик и раввин едут в поезде. Первый угощает второго свиной. «Я не ем», отвечает раввин, услышав в ответ: «Жаль, это хорошая вещь». Выходя из поезда, раввин просит спутника передать привет жене. «У меня ее нет», — отвечает поп и слышит в ответ: «Жаль, это хорошая вещь». «А как ты распоряжаешься доходами, получаемыми от прихожан?» — спрашивает раввин. Поп отвечает: «10 процентов себе, остальное — Богу. А ты?» — «Подбрасываю вверх. Что Бог берет — ему. Что не берет, то падает на землю, это — мне».

Вынесенное из поездки представление об Израиле сопровождало меня все годы, что я занимался Ближним Востоком, подкрепляло стремление подтолкнуть арабов к реалистической позиции, настаивало, наряду с политическими резонами, в пользу возобновления

связей с этой страной. Я привез предложение сделать первый шаг: наладить контакты с левосоциалистической партией МАПАМ. Но понадобилось еще несколько лет, чтобы оно было принято. О восстановлении дипотношений тогда и не помышлял, хотя понимал, что разрыв был ошибкой.

В последующий период с подачи отдела связи по общественной линии с Израилем несколько оживились, но качественного сдвига не произошло. Не было полного затишья и по государственной линии. В сентябре 1977 года по инициативе МИД было решено направить в Тель-Авив группу консульских работников для обмена документов, удостоверяющих советское гражданство лицам, постоянно проживающим в Израиле (таких тогда было около трех тысяч). Постановление имело, несомненно, и политическое значение, как сигнал, что СССР может и готов идти на деловые контакты с Израилем. Однако из-за военной израильской акции против Ливана оно не было реализовано.

Этот же вопрос решался повторно спустя восемь лет — можно сказать, потерянных лет — в июле 1985 года (постановление Политбюро от 18 июля). Предполагалось, что консульская группа займется и советской недвижимостью в Израиле. И вновь благое намерение было сорвано нападением на штаб-квартиру палестинцев в Тунисе израильских «коммандос», ликвидировавших одного из руководителей ООП, Абу Джихада, и его семью.

Мы плохо использовали, а чаще не использовали вовсе — частично из-за оглядки на арабских друзей — различия взглядов в израильском политическом истеблишменте. Например, позицию Переса, лидера партии МАПАЙ, который склонялся к более гибкой позиции, проявляя особую заинтересованность в контактах с советской стороной. Добавлю, что Перес был связан с влиятельными представителями американского еврейства, например с президентом Всемирного еврейского конгресса Э. Бронфманом, и на него делало ставку руководство Социнтерна. Или, скажем, взгляды другого видного политика, Э. Вейцмана, который открыто признавал права палестинцев и был готов встретиться с их лидерами, в частности с Арафатом, приехать в Москву якобы по личным причинам.

Лед тронулся лишь после 1985 года, и то не сразу. В марте 1986 года Международный отдел направил Горбачеву записку, где отмечалось, что «настало время для активизации наших действий на израильском направлении». В записке при сохранении установки «на увязку процесса нормализации советско-израильских отношений с прогрессом дела урегулирования» предлагалось:

«Расширить и углубить контакты с официальными кругами Израиля, прежде всего с Пересом, проверяя серьезность его намерений, использовать для этого предстоящий приезд в Москву президента Всемирного еврейского агентства Бронфмана;

— в развитие предстоящей поездки наших консульских работников в Тель-Авив, если их контакты будут позитивными, пойти через некоторое время на проведение встречи представителей МИД двух стран;

— существенно оживить наши контакты с Израилем в общественной деловой, научной и культурной сферах, включая расширение связей с различными политическими партиями и общественными организациями (в том числе принять в Москве министра Э. Вейцмана);

— учредить в Тель-Авиве корпункт ТАСС, а в недалеком будущем и постпредставителя Интуриста;

— внести определенные изменения в нашу пропагандистскую и информационную работу по израильской теме».

Мы ссылались на то, что «проблемы, связанные с Израилем, получают у нас одностороннее освещение», и выразили мнение, что «следовало разобраться и с тем, как у нас освещается проблема сионизма. Его критика была в иных изданиях вульгаризирована до такой степени, что отдавала антисемитским духом».

В августе 1986 года в Хельсинки наконец произошла встреча консульских работников СССР и Израиля. Израильцы пытались с порога начать обсуждение еврейского вопроса в СССР и выразили желание направить аналогичную группу в Москву, хотя в Советском Союзе не было ни собственности, ни постоянно проживающих граждан Израиля.

В декабре того же года под председательством Лигачева на заседании Политбюро обсуждались отношения с Израилем, в том числе итоги контактов в Хельсинки. Лигачев и особенно Шеварднадзе высказались за наращивание контактов и переход к обсуждению политических вопросов. Чебриков тоже поддержал развитие контактов, но оправдывал это исключительно имущественными интересами. Громыко же выступил против, ссылаясь на то, что «в отношении земельных участков нам ничто не грозит», что «арабы будут против этих контактов», а «от Израиля реально мы никаких уступок и никакого «навара» не получим». Он предложил проконсультироваться с арабами и, если те отнесутся отрицательно, «игры не затевать». И позже инициативы в этой области нередко наталкивались на серьезные препятствия. Так, в последний момент был отменен визит по приглашению Комитета защиты мира делегации израильской общественности (и это в августе 1987 г.!), в состав которой входили Генеральные секретари Компартии Израиля, партий МАПАЙ и МАПАМ, Движения за гражданские права (РАЦ).

Благотворную роль в развитии наших контактов с Израилем сыграл Социалистический Интернационал, который предпринимал немалые усилия, чтобы проторить путь к ближневосточному урегулированию. Нас пригласили участвовать в римской сессии Социнтерна

(7—9 апреля 1987 г.) и в проводившемся в те же дни заседании его Ближневосточного комитета, где должны были присутствовать израильская и палестинская делегации. Руководство Социнтерна не скрывало одну из главных своих целей — организовать встречу между Ш. Пересом (в ту пору министром иностранных дел) и советским представителем. В Рим направили меня, и 8 апреля такая встреча состоялась.

Собеседник произвел на меня большое впечатление своей эрудицией и склонностью к размышлениям, своей невоинственностью. Разговор носил общеполитический, даже философский характер, конкретные вопросы, если не считать темы восстановления дипломатических отношений, не поднимались. Но политический настрой Переса вполне был различим. Он пространно говорил об истории взаимоотношений арабов и евреев, их взаимной тяге и отталкивании, их «обреченности» на мир, к которому необходимо прийти поскорее (как бы в противовес философии Даяна, некогда заявившего, что арабы и евреи «обречены» на два поколения сражений, прежде чем повернут к миру), о миролюбии Израиля, о живых нитях, которые связывают его с СССР, и т.д. Он признал существование палестинской проблемы и, конечно, повторил старую израильскую идею о ее решении под крышей Иордании.

Перес сказал достаточно, чтобы сделать вывод: это — человек компромисса, резервы у него в этом отношении немалые и в поисках урегулирования он готов сотрудничать с Советским Союзом. Я сообщил это в шифровке и доложил по приезде. «Перес, — писал я, представляет и возглавляет поднимающуюся в Израиле волну настроений в пользу договорного мира с арабами, который предусматривал бы и решение вопроса о национальных правах палестинцев. С усилением его позиций, видимо, надо связывать основные надежды на поворот Израиля к конференции¹⁸, и его следовало бы поддерживать».

Не обошлось без мелких трюков, которые слегка подпортили впечатление. Уговорились, что встреча будет носить закрытый характер. Генеральный секретарь Социнтерна Л. Вяянинен намеревался организовать ее в том же здании, где проходила сессия. От Переса, однако, поступила просьба встретиться в одном из римских отелей, в его апартаментах. Когда продолжавшаяся более двух часов встреча подошла к концу и наши руки соединились в прощальном рукопожатии, дверь в коридор, перед которой мы стояли, вдруг широко распахнулась и столпившиеся там журналисты лихорадочно защелкали затворами фотоаппаратов. Так израильская сторона решила, вопреки договоренности, немедленно снять «политические сливки» с состоявшейся встречи. Сепсационные журналистские сообщения и

¹⁸ Имется в виду Международная конференция по Ближнему Востоку.

фотографии привели к тому, что вокруг встречи было накручено много вздора.

На этом активная роль отдела в развитии контактов с Израилем завершилась. Переса я видел потом еще раз, присутствуя на его беседе с Горбачевым. Он дал высокую оценку перестроечным процессам: «Мы с восхищением следим за вашими переменами. Мы понимаем, в каких трудных условиях приходится вам действовать. Американцы вас часто не понимают, потому что их 200 лет — это история избалованного ребенка».

Перейдя к ближневосточной ситуации, он подчеркнул важность принципа «мир в обмен на территории», неизбежную сложность и длительность процесса достижения двусторонних договоренностей с арабами. Основной акцент сделал на значении и трудностях «третьего этапа» — «построения нового Ближнего Востока», что включает в себя разоружение, водную проблему, которая «острее, чем территориальная», реконструкцию и кооперацию экономики. «Мы не хотим замыкаться на прошлом, — заявил он. — Израиль не может быть островом изобилия в море нищеты. Поэтому надо сотрудничать с арабами, начав с территориального компромисса, надо строить новый Ближний Восток». Люди, продолжал Перес, должны иметь надежду. Он процитировал представителя одной из французских косметических фирм: «Мы делаем на наших предприятиях духи, но в своих магазинах продаем женщинам надежду».

Перес говорил: «То, что вы открыли ворота (для эмиграции евреев. — К.Б.), имеет для нашего народа историческое значение. В прошлом мы задавались вопросом, почему существует антисемитизм. Надо изменить мир или измениться самим. Еврей-коммунисты пытались решить эту проблему, создавая общество, базирующееся на интернационализме. Их неудача — это один из аспектов провала коммунизма. Мы решили: надо покончить с расселением евреев, не зависать от кого-либо, иметь свое государство. Мы должны построить его на нашей земле и сохранить свою культуру. Мы — единственный народ. Он не является родственным ни с кем — ни по языку¹⁹, ни по религии, ни по «родителям». О социализме он заметил: «Социализм — не доктрина, а цивилизация, комплекс принципов, попытка облагородить демократию экономически. Чтобы тратить как социалисты, надо зарабатывать как капиталисты».

К началу 80-х годов для Советского Союза на Ближнем Востоке стала складываться неблагоприятная ситуация. Если во вторую половину 70-х годов действия США в определенной мере еще сковывались разрядкой, то теперь американская политика приобретала все более воинственный, наступательный характер. В завершающий год

¹⁹ По крайней мере в том, что касается языка, это не так: иврит, как и арабский, принадлежит к хамито-семитской языковой семье.

президентства Картера в регионе была сосредоточена мощная военно-морская группировка (около 30 кораблей, в том числе 2 авианосца), в Саудовской Аравии и Египте, Марокко и Омане, Бахрейне и Сомали расширялась и модернизировалась сеть военных баз, которые либо прямо передавались в распоряжение США, либо были рассчитаны на использование ими в «чрезвычайных обстоятельствах». Явно для американских нужд безмерно насыщалась оружием Саудовская Аравия. В конце 1979 — начале 1980 года США создали воздушный мост для массивных перебросок оружия в Северный Йемен.

С приходом в Белый дом Рейгана силовой аспект стал еще выразительнее, сопровождаясь воинственной риторикой (которая, впрочем, не всегда соответствовала реальным возможностям США), а иногда и провокационными жестами. Так, в августе 1981 года над заливом Сидра — правда, не без вины самой Ливии — были сбиты два ее самолета. А осенью того же года в США была развернута мощная антиливийская кампания на базе подброшенной спецслужбами ложной информации, будто ливийцы направили hit squads (команды киллеров) с целью убийства Рейгана и вице-президента Мондейла. Дело дошло до того, что в Белом доме были усилены меры безопасности, а напротив него, как утверждает Вудворт, даже установлены ракеты «земля—воздух» (?)²⁰. Несмотря на энергичные опровержения Каддафи, разрабатывались планы «наказания» Ливии, в том числе с помощью воздушных ударов. Через посредство Бельгии Рейган направил ливийскому лидеру угрожающее письмо.

Между тем, как следует из документов госдепартамента и ЦРУ, все эти сообщения были сфабрикованы. Тем не менее Рейган на прямой вопрос ведущего телекомпании Си-би-эс Дана Разера, не является ли информация ложной, ответил: «Нет. У нас слишком много информации из слишком многих источников, и наши факты точные, наша информация надежная». Впрочем, наказание Ливии все-таки состоялось: пять лет спустя 160 американских самолетов сбросили 60 тонн бомб, десятки гражданских лиц были убиты, а сотни ранены²¹.

В марте 1982 года в Южный Йемен была заброшена с помощью саудовцев обученная ЦРУ группа из 13 человек с заданием взорвать нефтяные сооружения и другие ключевые объекты. В связи с их арестом была отозвана вторая группа, уже находившаяся в НДРЙ.

Полную раскрепощенность и бесцеремонность действий ЦРУ в этот период можно проиллюстрировать таким почти анекдотическим фактом. Директор ЦРУ Кейси на приеме у весьма высокопоставленного официального лица одного из ближневосточных госу-

²⁰ См. Bob Woodward. Op. cit. — P. 197.

²¹ Ibid. — P. 153.

дарств не постеснялся самолично установить подслушивающее устройство²².

В 1983 году США высадили морских пехотинцев в Ливане, а линкор «Нью-Джерси» поливал шквальным огнем районы, где имели опору организация «Амаль» и национально-социалистическая партия, выступавшие против американской политики. Были подвергнуты бомбардировке и сирийские позиции в Ливане, очевидно чтобы запугать Дамаск.

От своего покровителя не отставал и Израиль. В июне 1981 года его авиация бомбила иракский атомный центр в Бомоне. В июне следующего года Израиль вторгся в Ливан. Имелась информация, что об этой акции говорил побывавший незадолго до этого в Вашингтоне военный министр Израиля Шарон, который, в частности, встречался там с Кейси. США наложили вето на поддержанную остальными 14 членами Совета Безопасности резолюцию, которая предлагала Израилю вывести свои войска за международно признанные границы Ливана.

Все это, однако, не принесло особых дивидендов Соединенным Штатам. Морские пехотинцы ретировались из Бейрута, потеряв 241 человека. Сирийцы и ливанцы не поддались давлению. Еще раньше потерпел неудачу «план Рейгана» по ближневосточному урегулированию. Навлазанное Ливану в результате вторжения Израиля — с помощью и американских эмиссаров — соглашение от мая 1982 года было аннулировано.

Демонстрация силы США и Израилем привела к укреплению военного сотрудничества СССР с Сирией. Советские ракеты САМ-5

²² Бомбардировка Ливии была ответом на взрыв в берлинской дискотеке Ла Белль, в результате чего погибли двое американских военнослужащих и одна женщина, а 150 человек — ранены. В своих воспоминаниях Маркус Вольф — бывший глава восточногерманской разведки, ушедший в отставку в 1986 г. из-за разногласий с «твердолобым» руководством ГДР, отвергавшим начатую Горбачевым перестройку, человек, который пользуется солидной репутацией и на Западе, — безусловно осуждая эту варварскую акцию, вместе с тем ставит два вопроса: каким образом президент Рейган был в состоянии уже менее через сутки после взрыва объявить, что «США имеют твердые доказательства» причастности Ливии и как главный организатор взрыва Шрейди мог то и дело без помех ездить в Западный Берлин даже в период усиленных мер безопасности на американском пропускном пункте Чарли (согласно задокументированным палестинским источникам, свидетельствует Вольф, Шрейди не только был ливийским террористом, но и находился на американской службе)? И заключает: «Каким бы ужасным многие из нас ни находили взрыв в Ла Белль, трудно решить, что является большим актом терроризма — убийство солдат и женщины в Западном Берлине или убийство во много раз большего числа ливийцев» (Marcus Wolf. With Anne McElvov. Man Without a Face. The Autobiography of Communism's Greatest Spymaster. Random House, 1997. — P. 276–277).

выдвинулись в Ливан, в долину Бекаа. В декабре 1983 года здесь сбили два американских самолета. Наши военные, по крайней мере часть их, были в это время, насколько мне известно, настроены весьма решительно.

Начальник Генерального штаба Н.В. Огарков говорил мне, что «американцы и евреи зарываются», заметив, что «наш кулак» в регионе будет «посильнее», а у них всего 12 готовых дивизий. А несколько дней спустя, 20 июня 1982 г. находясь в кабинете Андропова, я оказался свидетелем его телефонных разговоров сначала с Устиновым, а затем и Громыко. Первый настойчиво предлагал «двинуть» в Сирию еще два ракетных полка с войсковым прикрытием, на что Юрий Владимирович отвечал: «Надо подумать». Второй же, которому позвонил сам Андропов, занял, как я понял, неопределенную позицию. Андропов вернулся к прерванному разговору об испанских делах, но в конце неожиданно спросил, нужно ли посылать войска в Сирию. Я замаялся, но, когда Юрий Владимирович повторил вопрос, ответил, что не вижу необходимости: Израиль сейчас напасть не решится, не посмеет, да и США не разрешат. И даже считаю это опасным: без нужды можно резко обострить обстановку и ее куда труднее будет держать под контролем. Андропов ничего не сказал, только едва заметно кивнул.

Кэмп-дэвидский процесс надолго закрепил у нас скептицизм в отношении миротворчества на компромиссной основе. Лишь появление «плана Рейгана» и арабской Фесской платформы, где арабы (не без нашего влияния) впервые, еще не говоря о признании Израиля, уже исходили из возможности мира с ним, вынудило нас спешно напомнить о себе как о государстве, добывающемся ближневосточного урегулирования. Однако реальными шагами наши предложения в то время подкреплены не были — даже содержащийся в докладе Брежнева XXVI съезду КПСС призыв к международному сотрудничеству в рамках конференции по Ближнему Востоку с участием всех сторон конфликта и заинтересованных государств.

Ирано-иракская война, которую фактически поощряли США²³ (поддерживая главным образом Ирак) и Израиль (связанный с Ираном)²⁴, приблизила пламя конфликта вплотную к нашим границам.

²³ «Многослойность» политики США в этом вопросе характеризует такой факт. В июле 1986 г. — через три недели после тайной поездки помощника Рейгана Макфарлейна в Иран с грузом оружия — Вашингтон счел для себя возможным через него же обратиться к Советскому Союзу с предложением выступить с призывом полностью блокировать все поставки вооружения воюющим сторонам, особенно в Иран.

²⁴ Несмотря на реальную заинтересованность в прекращении войны и предпринимавшиеся в этом направлении шаги, советская позиция тоже была безуборочной.

Она еще больше расколола арабов и отвлекала их от противостояния с Израилем (палестинцы называли ее «Кэмп-Дэвидом на восточном фронте»).

Продолжавшаяся гонка вооружений возлагала серьезное и растущее бремя на Советский Союз и дружественные нам государства, чье финансовое положение и без того было трудным. Они были вынуждены обращаться за помощью к государствам Залива, что усиливало их закулисное влияние, в частности Саудовской Аравии. Военное сотрудничество, хоть и весьма ценное арабскими странами, тоже было уже не без «пятен». Споры касались качества некоторых видов поставляемого оружия, цен. Главное же, сам факт, что многолетнее сотрудничество не привело к созданию силы, способной противостоять Израилю, — даже независимо от того, кто на самом деле был в этом повинен, — не мог пройти бесследно.

Крепли экономические связи близких нам режимов с Западом. Западные компании проникали в самые отдаленные уголки арабского мира. Летом 1984 года командировочная тропа привела меня в североийеменский город Мариб, некогда цветущую столицу древнего Сабейского государства. Сегодня это захудалый, одетый в пыль городок, где, как и окрест, еще живут, как в седую старину, племенными устоями и жуют кат²⁵. Но благодаря французской компании ТТТ, сидя в тамошнем ресторане, я мог запросто позвонить в Москву. А мои коллеги в ЦК отказывались поверить, что говорю с ними из Мариба.

Наконец, обострились отношения между сирийцами и палестинцами, стала осложняться обстановка в Южном Йемене. Ливия все глубже увязала в своей авантюре в Чаде, а в Алжире наметился сдвиг в сторону исламизма и политики «равной удаленности» от сверхдержав.

С приходом Андропова в ЦК и к руководству страной в ближневосточной политике началось некоторое оживление. Арабская и немецкая печать даже писала о «возвращении» СССР на Ближний Восток. Была создана ближневосточная комиссия Политбюро. Председательствовал в ней Устинов: то ли Громыко уже возглавлял другую, афганскую, то ли этим подчеркивалась особая роль военного фактора, то ли еще по каким-то причинам. При комиссии сформировали рабочую группу во главе с маршалом Огарковым. В нее

²⁵ Кат — побеги одноименного кустарника, содержащие слабое наркотическое вещество. Его употребление распространено в Йемене (на юге его разрешали жевать лишь в четверг — накануне выходного дня, пятницы), Сомали и Эфиопии. По словам йеменцев, которые приравнивают действие ката к потреблению больших количеств кофе, он заметно тонизирует человека и обостряет мыслительную деятельность. А.С. Бейд, генсек ЦК Йеменской социалистической партии, например, рассказывал, что перед принятием ответственных решений члены ее руководства нередко жевали кат.

входили представители МИД (Г. Корниенко), КГБ (Я. Медяник, заместитель начальника Первого Главного управления) и Международного отдела (я). Собиралась она не реже одного раза в месяц, обсуждала ситуацию, готовила предложения и документы для комиссии. В ее недрах родилось развернутое постановление Политбюро о советской политике на Ближнем Востоке (насколько помню, первое и единственное). Документ не отличался принципиальной новизной, но несомненным его достоинством было то, что все направления нашей политики в регионе увязывались в единый комплекс, притом с некоторым взглядом в перспективу.

Начался отход от политики остракизма в отношении Египта, инициированный демаршами президента Мубарака. В течение 1983 года он трижды принимал советского посла в Каире. Громыко встречался с Басьюни, послом Египта в Москве. Египтяне выразили желание координировать усилия по созыву международной конференции, критиковали «американо-израильский стратегический союз», «израильскую агрессию в Ливане», высказались за сотрудничество в области экономики, культуры, образования. А в начале следующего года в Москву прибыла египетская делегация для переговоров о возобновлении военного сотрудничества и торговых связей, предложившая довести уже через год товарооборот до 1 млрд. долларов. В 1984 году начались поставки военной техники Кувейту и Иордании. Но эти сдвиги, хоть и симптоматичные, не меняли общей картины. С приходом же Черненко в этой сфере вовсе установился штиль. Рабочая группа по Ближнему Востоку, как и сама комиссия, бесшумно скончалась.

Почти сразу после избрания М.С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС, 31 марта 1985 г., я направил ему через Александра пространную, на 17 страниц, записку «К вопросу о политике Советского Союза на Ближнем Востоке». Перечитав ее сегодня, вижу, что в ней было немало такого, что не выходило за рамки уже привычных схем или выходило лишь в частностях. В то же время предлагались и существенные коррективы к проводившейся до сих пор политике: поставить перед собой «более скромные задачи, чем прежде, с учетом наших возможностей».

В записке — и это было одной из основных ее мыслей — подчеркивалась необходимость усилить внимание к «консервативному крылу арабского мира», учитывая не только нынешние, но и перспективные наши интересы. Это обосновывалось тем, что «в нашем присутствии на Ближнем Востоке практически в той или иной мере заинтересованы едва ли не все арабы, арабские режимы самой различной окраски — от левых, национально-демократических, до монархических, включая Саудовскую Аравию». Вместе с тем отмечалось, что «речь также должна идти об усилении политической отдачи для нас от сотрудничества и практически союзнических отношений с прогрессивными арабскими странами, прежде всего с Сирией.» Пози-

ция Сирии в палестинском вопросе называлась «экстремистской». Причем указывалось, что она «в этом важном вопросе (как и некоторых других) фактически отказывается координировать с нами свою позицию».

Записка констатировала, что политика СССР носит порой недостаточно активный, последовательный и настойчивый характер, сводится «к реакции на ту или иную создавшуюся ситуацию, которая, хотим мы этого или не хотим, побуждает нас к действию». Она должна — и это вторая основная мысль записки — «опираться на скоординированные между нашими внешнеполитическими ведомствами поэтапные программы мероприятий по Ближнему Востоку, включая вопросы двусторонних отношений. Такие программы должны иметь комплексный характер, то есть все мероприятия должны быть конкретно увязаны и подчинены (по срокам и содержанию работы) зафиксированным в программах общеполитической линии и конкретным целям». И еще одно базовое положение записки: «одним из направлений нашей политики на Ближнем Востоке должны быть активные и последовательные контакты с США». Говорилось и о необходимости всемерно расширять связи по общественной линии с Израилем.

Наконец, предлагалось, чтобы соответствующие ведомства представили «предложения о всех доступных нам мерах, направленных на прекращение ирано-иракской войны или, по крайней мере, на достижение хотя бы временного перемирия (имея в виду и контакты с американцами по этому вопросу)». Перечислялись варианты возможной мирной инициативы, причем говорилось, что на все это, видимо, стоит пойти даже с учетом возможных негативных последствий выхода Ирана из войны для афганской ситуации.

Мой рассказ охватывает вторую половину 70-х годов и первую половину 80-х. Поэтому перестрочный период, в сущности, остается за его пределами. Скажу только, что именно тогда мы стали связывать в одно целое необходимые элементы: налаживание широкого взаимодействия со всеми арабами, включая так называемые консервативные режимы, четкое разыгрывание «палестинской карты», рабочий диалог с Израилем и влиятельными еврейскими кругами на Западе, активный поиск понимания с США и западноевропейцами. До этого мы вместе с большинством арабов придерживались политики, которая опиралась на иллюзию о возможности изменить баланс сил и побудить Израиль пойти на уступки, принять отвергаемую им схему установления мира.

Перемены в отношениях с Соединенными Штатами заметно, а в конечном счете радикально улучшили перспективу ближневосточного урегулирования. Стратегия контролируемой напряженности стала уступать место стратегии мира. Правда, на изменение позиции американской стороны, пожалуй, не меньшее влияние оказала начавшаяся

на оккупированных территориях «интифада» — восстание палестинцев. Приведу на этот счет пространную выдержку из высказываний в беседе со мной 12 июля 1988 г. уже знакомого читателю У. Квандта — советника Картера по ближневосточным проблемам:

«Отмечающаяся активизация дипломатии США носит во многом вынужденный характер и связана с изменившимися представлениями американцев (имеются в виду «простые» американцы. — К.Б.) о характере палестинской проблемы и о тех методах, которыми Израиль удерживает под своим контролем Западный берег реки Иордан и сектор Газа. До осени прошлого года, то есть до восстания, Рейган и Шульц вообще не были настроены на активность в деле продвижения арабо-израильского урегулирования... После начала палестинского восстания заработали несколько новых факторов. Один из важнейших — обеспокоенность американской еврейской общины снижением репутации Израиля в общественном мнении США, а также усилением экстремистских тенденций внутри самого израильского общества... В этом же направлении подталкивали администрацию и многие арабские страны, обеспокоенные подъемом палестинской борьбы и ростом радикалистских настроений у себя дома».

Новый курс, мне кажется, быстро доказал свою благотворность. Я бы даже сказал, что к концу 1987 — началу 1988 года влияние Советского Союза на Ближнем Востоке вновь достигло своего пика, но уже на иной основе. И понятно, почему. Мы еще ничего не утратили в своей силе. Не стали слабее наши связи с союзниками, хотя начался отход от чрезмерной милитаризации этих связей. И, тем более, мы не потеряли никого из них, в то же время открыли себе ворота в наиболее богатую и до того закрытую для нас часть арабского мира — государства Залива. Наконец, наше влияние существенно поднималось возросшим авторитетом СССР — переживающей страны, поднявшей знамя мира, международного сотрудничества и общечеловеческих интересов.

Сошлюсь на факт, который не делает погоды, но, на мой взгляд, по-своему о ней свидетельствует. В конце декабря 1987 — начале января 1988 года в качестве личного представителя Горбачева я побывал в Сирии, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Кувейте и Саудовской Аравии. Мне было поручено вручить его послания, адресованные главам этих государств — президентам Асаду, Мубараку, шейху Заиду Аль Нахаяну и эмиру Ас-Сабаху, королю Фейсалу.

В это же время — и практически по тому же маршруту — передвигался военный министр США Р. Карллуччи. Печать отмечала, что его визиту уделялось заметно меньше внимания, чем моей поездке, и это несмотря на куда более высокий официальный статус американца. В Египте, Сирии, Кувейте и ОАЭ государственные министры иностранных дел даже провели специальные пресс-конфе-

ренции, посвященные итогам визита советского представителя. И это ничем не объяснишь, кроме как престижем, который имел в тот момент Советский Союз.

К некоторым из принимавших меня арабским руководителем я еще вернусь. Но здесь хочу рассказать о такой своеобразной и колоритной фигуре, как шейх Заид (я потом видел его в 1991 и 1995 гг.). Прием проходил в президентском дворце — здании колониального, несколько вычурного стиля, как будто сошедшем со страниц сказок Шехерезады или из кадров коммерческих фильмов на восточную тему. У ворот и по периметру стража — солдаты в форме на английский манер. Но вход в ту половину, что занимает сам эмир, охраняли люди из его племени — бородачи в бедуинских халатах. Внутри дворец роскошно обставлен и напичкан новейшими средствами связи, иной современной «инфраструктурой». Но шейх Заид и все официальные лица были в традиционном национальном одеянии (так в странах Залива, в отличие от других арабских стран, одевается подавляющее большинство населения). Шейх — худой невысокий мужчина, с лицом, украшенным изящной бородкой, и, конечно, с едва ли не обязательными у арабов усами, почти без седины, несмотря на восьмой десяток. На лице, шее и руках вечный, несмываемый загар пустыни.

В течение двухчасовой беседы хозяин дворца то и дело шумно сморкался в бумажные салфетки, извлекая их из коробки на столике между нашими креслами, а затем отправлял их в карман халата. По обе стороны от шейха в глубоких креслах располагался «диван», высшие сановники государства, так и не проронившие ни слова. То и дело подавали кофе, чай и соки, и слуги покидали зал, пятясь и непрерывно кланяясь, — не смели повернуться спиной.

Я впервые столкнулся с изложением «мирских», политических вопросов в оправе религиозной философии и племенной морали. Ссылаясь на постулаты ислама и сыпя поговорками («Сокола можно посадить на цепь, но укротить — никогда», «Остра твоя сабля, но всегда есть острее», «Верблюду глуп, но тебя кормит», «Тот, у кого нет старого, — у того нет и нового» и т.п.), шейх, толкуя мировые и ближневосточные проблемы, подводил к выводу о благотворности происходящих на международной арене перемен, о необходимости укреплять мир и терпимо относиться к взглядам и позициям, не совпадающим с собственными. Хотя я понимал, что передо мной не схимник, не кабинетный философ, а изощренный политик, умело действующий в мутных водах местной и региональной политики, рассуждения шейха Заида показались мне достаточно интересными, они отдавали какой-то первозданной мудростью (и я послал в Москву пространную квазифилософскую шифровку).

Подведя меня к большому окну и показывая на ведущее к аэропорту великолепное шоссе, которое с двух сторон окаймлено зеленым

поясом (к каждому дереву, к каждому кусту здесь подведены оросительные трубочки, их наполнение регулируется компьютером), шейх произнес: «Видите все это? А когда мы, наши племена, пришли сюда не так давно, везде была вот такая голая пустыня, как тот кусок у моря. А теперь все иначе. Раньше в моем племени у каждой семьи был лишь один верблюд. Теперь же — по несколько автомобилей. И все это потому, что мы чтим Аллаха, не воюем, живем между собой в мире, а наше государство — одна большая семья». Разумеется, эта картина может показаться пасторальной, в ней отсутствует одна немаловажная «деталь» — нефть, на которой «плавают» Эмираты и которая служит основой их благосостояния. Однако верно и то, что неспешная, взвешенная политика руководителей ОАЭ тоже сыграла свою роль в достигнутом процветании...

Хотел бы привести здесь выдержки еще из одной, более поздней моей записки, адресованной президенту СССР и составленной на основе впечатлений от поездки по странам Залива (она была разослана Горбачевым министрам иностранных дел и обороны Б. Панкину и Е. Шапошникову, а также А. Вольскому и Е. Примакову):

«1. Руководители этих государств едины в весьма доброжелательном отношении к нашей стране, в стремлении развивать сотрудничество (что отразилось в их реакции на наши финансовые просьбы). Причем речь идет, по крайней мере на данном этапе, прежде всего о Союзе. Влиятельные собеседники неизменно и по собственной инициативе подчеркивали, что отношения с республиками имеются в виду развивать в общем русле сотрудничества с центром.

Объясняется такая позиция несколькими обстоятельствами:

— деидеологизация нашей внешней политики, «сброс» конфронтационного балласта, глубокие преобразования внутри сняли опасения по поводу наших «подрывных действий», и отношения с нами стали рассматриваться через призму своих геополитических и международных интересов;

— хотя руководители стран Залива ориентируются прежде всего на сотрудничество с США (ОАЭ также на Англию), всем им не по душе «однополюсный» вариант международной ситуации и хотелось бы, чтобы мы играли в той или иной мере уравнивающую роль в регионе да и в мире в целом²⁰;

²⁰ Эту сторону дела, разумеется с разной мерой откровенности, подчеркивали также руководители других арабских стран, государств Среднего Востока и Юго-Восточной Азии (Иран, Малайзия, Индонезия), в которых мне довелось побывать в эти месяцы. Отсюда выразившееся ими намерение, подтвержденное и практическими шагами, — не поощрять в тот момент сепаратистские настроения в наших мусульманских республиках, несмотря на свое очевидное стремление всячески проникать туда и способствовать расширению влияния ислама. «Прелести» пышешнего однополярного мира показывают, что мои собеседники были не так уж недалковы.

— сильнодействующим фактором является сама личность советского Президента. Сказывается, по-видимому, и то, что в их глазах Президент воплощает Союз, за сохранение которого они выступают.

2. За последние годы мы заметно продвинулись в отношениях со странами Залива, но наши действия носят недостаточно спланированный и комплексный характер и имеющиеся возможности используются далеко не в полной мере. Нужны дополнительные усилия, учитывая экономический потенциал, но также и их политическое влияние в арабском мире. Можно было бы сделать следующее.

Первое. Обратить особое внимание на очень аккуратное, осторожное, но тем не менее настойчивое и целеустремленное продвижение военного сотрудничества. Страны Залива... стремятся к диверсификации поставщиков (сейчас это главным образом американцы, но также англичане и французы).

Поэтому принципиальное значение приобретают пунктуальное выполнение наших обязательств по недавно заключенному с ОАЭ соглашению о поставках военной техники и в целом успешное развитие сотрудничества с ними. Оно станет как бы «входным билетом» и на рынки других стран Залива. Причем, как уже показывает опыт с ОАЭ, эти страны могли бы стать и источником финансовой поддержки совершенствования нашей военной техники.

Второе. В Саудовской Аравии, Кувейте, ОАЭ на базе нефтяного бизнеса и финансовых связей с Западом сформировались сильные деловые круги, которые не прочь — при наличии соответствующих условий — вкладывать деньги в нашей стране или совместно с нами — в третьих странах. К сожалению, эти настроения нашими ведомствами и деловым миром практически не используются. Между тем в некоторых отношениях здесь у нас больше возможностей, в особенности в русле конверсионных процессов. Важно, однако, чтобы сюда приезжали люди квалифицированные, «пробивные» («от конверсии»), с конкретными предложениями.

В этой связи следовало бы рассмотреть вопрос о создании Ассоциации экономического сотрудничества со странами Залива (возможно, на базе Научно-промышленного союза), в которую могли бы войти представители и нашего бизнеса, и государственного сектора. Эта организация стала бы оказывать консультационную помощь нашим предприятиям и одновременно в концентрированном виде выражать интересы этих предприятий, обращенные к арабским странам, участвовать в координации их активности. Целесообразно также издать на языках справочник об условиях деятельности иностранного капитала в Советском Союзе, где изложить все правовые, законодательные вопросы, интересующие иностранных вкладчиков.

Третье. Назрел вопрос о том, как использовать страны Залива, учитывая их на сегодня довольно приемлемую установку в вопросе взаимоотношений с нашими «мусульманскими» республиками — то

есть вести с ними разговор с участием центра, не стимулировать сепаратистские тенденции — в общих интересах Союза, для нейтрализации негативных проявлений исламского фактора у нас. Подобная позиция стран Залива объясняется страхом перед фундаментализмом иранского свойства, а также, видимо, трезвым пониманием реального положения наших «мусульманских» республик и в этой связи необходимостью для них не торопиться «уходить» из Союза.

Представляется полезным создать какую-то «исламскую» группу либо в аппарате Президента, либо в рамках МИД. До сих пор изучение ислама, к сожалению не очень продуктивное, шло по научной линии. Оно заслуживает, конечно, поддержки и в дальнейшем. Однако сейчас надо поворачивать в сторону политико-практических рекомендаций по следующим вопросам:

- влияние «внутрисоюзного» исламского фактора на наши отношения с другими странами;
- воздействие исламского фактора извне на наши республики;
- использование соперничества различных исламских течений (и государств, их стимулирующих) для нейтрализации негативных проявлений исламского фактора внутри Союза и т.д.

Следовало бы, кроме того, дать посольствам специальное указание поддерживать более активные контакты с исламистами в их странах (имея в виду различные исламские течения), а также ускорить информационно-аналитическую работу по этому направлению.

Четвертое. Сейчас наши «мусульманские», особенно среднеазиатские, республики усиленно пробиваются в страны Залива. Но делается это зачастую неквалифицированно, а иногда и назойливо, что вызывает здесь, мягко говоря, недоумение. К тому же республики действуют несогласованно, «толпясь» у порога этих стран, и мешают друг другу. Думается, необходимо содействовать реализации законных устремлений республик по развитию отношений со странами Залива, обеспечивая координацию их действий через СМИД и оказывая им квалифицированную помощь по линии МИД Союза.

Пятое. Руководители стран Залива с огромным вниманием следят за происходящим в нашей стране, стремясь нащупать объективные ориентиры для определения своей позиции (саудовский король даже просил предоставлять ему ежедневно кассеты с нашей информационной программой в английском переводе). Они нуждаются в регулярной доверительной информации. Не говоря уже о «дивидендах» от знаков внимания как такового (речь идет ведь о восточных людях), мы таким путем обеспечиваем себе важную политическую поддержку. Да и на экономических делах это тоже может сказаться.

Поэтому важен регулярный политический контакт советского Президента с главами государств Залива. Может быть, следовало бы ввести в обиход периодические телефонные беседы Президента, по крайней мере с некоторыми из них (например, с королем Саудовской

Аравии, президентом ОАЕ), выбирая, разумеется, подходящие обстоятельства. Американские президенты, в том числе Буш, давно используют такой канал».

Перечитал все это, и невольно подумалось, что из предложенного, к сожалению, и теперь немало остается актуальным.

Особый вопрос — отношения с коммунистическими партиями арабских стран. О них многого не скажешь. Хотя наши контакты, обмен мнениями и другие формы связей (например, учеба активистов в Институте общественных наук при ЦК КПСС, прием по специальным квотам студентов в советские вузы и т.д.) были довольно оживленными, они носили скорее будничные характер и чаще всего не имели большого политического содержания, конечно с точки зрения ближневосточной проблемы. Как и их латиноамериканские коллеги, арабские компартии отличались лояльностью в отношении КПСС, но не имели сильных позиций в своих странах. Исключение составляли в определенные периоды суданская, сирийская и иракская партии.

Суданская, возглавлявшаяся волевым и прагматичным А.Х. Махджубом, обладала в стране серьезным авторитетом — с нею считались все, включая весьма влиятельных «Братьев-мусульман»²⁷. Но она «подорвалась» на грубой ошибке — авантюре ее руководства — участии в перевороте против генерала Нимейри, приведшем к истреблению партийных кадров (сам Махджуб был казнен) и к откату генерала на антикоммунистические и проамериканские позиции. Иракские коммунисты стали объектом жесточайших репрессий Саддама Хусейна. Его вездесущий мухабарат (разведка) нанес чувствительные удары по партийным структурам, от которых партия в 80-е годы так и не оправилась, сосредоточив свою деятельность преимущественно в Курдистане. Впрочем, курдская прослойка всегда играла большую роль, что нередко вызывало недовольство тех в партии, кто считал, что в ее руководстве недостаточно представлены арабы. Сирийские коммунисты были серьезно ослаблены расколом, приведшим к возникновению двух конкурирующих партий. Еще до этого из партии выделились две группы — Р. Турка и Мурада Юсефа, которые продолжили самостоятельную политическую деятельность. Что касается Ливанской компартии, то она свою относительную слабость стремилась компенсировать активностью в сфере международных связей. В частности, в период обострения обстановки вокруг Ливии она направляла туда некоторых своих членов, прошедших «школу войны» в Ливане, пыталась посредничать между Каддафи и Москвой и т.д.

Слабость компартий не была, конечно, случайной.

На это их обрекала, во-первых, отсталость социально-экономических условий, которым никак не была адекватна официальная

²⁷ Исламская фундаменталистская организация, имеющая свои филиалы во многих арабских и других мусульманских странах.

партийная идеология. И для большинства коммунистов конечные цели партий оставались более чем туманными.

Во-вторых, коммунисты, партия атеистов, сталкивались с огромным и едва ли преодолимым препятствием — глубокой укорененностью исламских верований и традиций. Попытки некоторых компартий обойти этот барьер (например, алжирской, заявившей о своей решимости идти к своей цели, держа «в одной руке Коран, а в другой — «Капитал» Маркса») большого эффекта не дали.

В-третьих, компартии так и не сумели очиститься от наветов антикоммунистической проаганды, что они, мол, действуют по указке Москвы. Между тем влияние КПСС, особенно во внутренних вопросах, не следует преувеличивать. Участие коммунистов Судана в попытке свержения Нимейри шло вразрез с линией КПСС на сотрудничество с арабскими националистами. В 80-е годы мы не сумели убедить иракских коммунистов снять лозунги борьбы против «антинародной агрессивной войны», за свержение режима после того, как иранцы вторглись на территорию Ирака: слишком сильна была их ненависть к Саддаму Хусейну. Тогда же Москва оказалась не в состоянии урезонить лидеров сирийских коммунистов и не допустить раскола партии, хотя об этом дважды шла речь на встречах с руководством КПСС. В 60-е годы из Ливанской компартии была изгнана ориентированная на КПСС группировка Савайи Савайи, а Ж. Хауи, которого Москва не жаловала, стал Генеральным секретарем.

В-четвертых, партии в «прогрессивных» странах пострадали от взятого нами курса на сотрудничество с правящими группировками. Это в значительной мере лишило их политической самостоятельности, возложило на них ответственность за недостатки и пороки режимов, на политику которых они практически не имели ощутимого влияния.

И наконец, в-пятых, в ряде партий у руля оставались люди старой школы. К тому же в сирийской, иракской, иорданской и египетской партиях в руководстве существовали серьезные разногласия политического и особенно личного свойства, что порой приводило даже к расколам. Наверное, не помогало также и то, что некоторые партии, например сирийская и ливанская, находились между собой в откровенно неприязненных отношениях.

Не сбросишь со счетов, что арабским компартиям приходилось работать в особенно трудных условиях, как правило, под постоянным и жестким полицейским прессингом. Пребывание в партии требовало не только стойкости, не только готовности переносить жизненные трудности, но нередко и личного мужества.

В наших отношениях с арабскими коммунистами, наверное, существовал полусознанный расчет на создание и укрепление какой-то прочной опоры в их странах. Присутствовал и дух товарищества, причастности к общему делу, правда не слишком определенному. Но превалировала скорее рутинная, устоявшаяся практика. Должен при-

знать, что положение в партиях мы знали не слишком хорошо. Их лидеры давали информацию не только ограниченную, но и, естественно, приукрашенную и целенаправленную. Общались мы главным образом с членами руководства, контакты же за рамками этого круга были скудными, и они лидерами не поощрялись.

В этот период получили развитие и связи с некоторыми правящими партиями арабских стран, или, скорее, фигурировавшими в таком качестве. Эти связи осуществлялись, как правило, на основе ежегодных планов межпартийного сотрудничества, которые стимулировали контакты между представителями руководства, среднего звена партий, содействовали увеличению числа арабской молодежи, обучавшейся у нас, и в какой-то степени подпитывали атмосферу симпатий к Советскому Союзу. Вместе с тем связи во многом оставались формальными.

В течение всех лет, о которых идет речь, исключительно важная для советской политики в ближневосточном регионе роль отводилась Сирии. Отношения с ней развивались в общем благополучно с середины 50-х годов. Уже к началу 70-х годов они стали широкомасштабными (причем с 1967 г. установились и межпартийные связи).

В Москве с большой настороженностью восприняли переворот в Дамаске в ноябре 1970 года, приведший к власти Хафеза Асада. Но уже в феврале 1971 года состоялся визит премьер-министра Юзефа Зуэйна, и ему удалось продемонстрировать преемственность сирийской политики. Приехавший с ним Абдалла Аль-Ахмар, заместитель Генерального секретаря партии БААС, горячий сторонник наших межпартийных связей, побывавший почти во всех наших союзных республиках, нанес визит в отдел, беседовал с Пономаревым. Сирийцы запросили даже программы Института общественных наук по всем проблемам, включая марксизм-ленинизм.

В Советский Союз на учебу хлынул поток сирийцев — к 1992 году во всех звеньях обучения, начиная с техникумов и кончая вузами и аспирантурой, было подготовлено более 40 тыс. человек. Многие из них до настоящего времени находятся на ключевых постах в партии и государстве; из восьми членов регионального руководства четверо говорят по-русски. В созданном и оборудованном с нашей помощью Институте политических наук в Дамаске до сих пор идет преподавание различных общественных дисциплин, естественно, на баасистский лад, слушателей знакомят с марксизмом и опытом коммунистов, соединяя это, разумеется, с критикой. Проводится мысль, что баасизм пойдет другим путем, утягивая ошибки КПСС.

Большая роль во всем этом принадлежала самому Хафезу Асаду. Сказалось и постепенно вызревшее в сирийских правящих кругах убеждение, что коммунизм и коммунисты не представляют больших опасностей для баасизма. Это, впрочем, не мешало им тщательно контролировать идеологическую сторону контактов и связей.

Тенденция к особым отношениям с Дамаском заметно укрепилась, когда Египет стал поворачиваться к США. А после нашего разрыва с Каиром Сирия превратилась для СССР в союзника номер один в регионе. Когда дело касалось арабского мира, в Москве внимательно прислушивались к сирийской точке зрения, хотя не всегда ее разделяли. Так, мы нередко, может быть, даже понимая, что сирийцы не правы, предпочитали не поддерживать ООП в ее разногласиях с Дамаском.

Тесное сотрудничество с Сирией проявлялось в разностороннем характере наших отношений, в объеме помощи, в достаточно доброжелательной реакции на ее просьбы (пусть даже они не всегда удовлетворялись), в общем настрое советского руководства и, конечно, в военных связях, которые имелись в 70-е годы приобрели масштабный характер. Обильными стали поставки оружия, причем передавалась достаточно передовая техника, не направлявшаяся другим арабам. Началось это еще с визита Ю. Зуййна. Сириец привез военную заявку настолько крупную, что, принимая его, Брежнев заявил: «Знаете, я был болен, лежал, но, когда мне сообщили о ваших заявках, меня аж подбросило, я встал». Зуййн, не смутившись, ответил: «Что ж, мы теперь знаем на будущее, как поставить вас на ноги».

Заметно возросло число советских военных советников и специалистов, на сирийской земле появились наши подразделения ПВО. В 1979 году в Сирию был введен ракетный полк, который затем на время был перебазирован в Ливан, хотя в связи с действиями там Израиля это порождало опасность прямого столкновения. В данном случае советские лидеры изменили обычной своей осторожности: так много значила Сирия. Наши моряки утвердились в Латакии.

При всем том отношения с Сирией были далеко не идиллическими. На среднем уровне — скажем, провинциальных комитетов БААС, среднего офицерства — отношение к нам было не только хорошим, но часто и доверительным. Высшее же звено, определявшее политический курс, выдерживало, конечно, определенную дистанцию.

Не все складывалось гладко и во внешнеполитической сфере. В вопросах «большой» международной политики — отношение к общей линии и конкретным акциям США вроде размещения ракет среднего радиуса действия и т.п. — сирийцы были готовы идти рука об руку с Советским Союзом. Возможно, они поступали подобным образом отчасти и потому, что эти проблемы не слишком их касались. Сирия, однако, была одной из немногих мусульманских стран, которые и в афганской проблеме, весьма чувствительной для арабского и мусульманского мира, твердо поддерживали СССР. Больше того, на исламских конференциях она отстаивала эту точку зрения до конца. Когда же речь заходила о проблемах региональной и общеарабской политики, тут сразу же проявлялась определенная сдержанность, если не сказать больше. Это тоже характерная черта

наших отношений и сирийской политики в 70-е и 80-е годы. Яркий пример — ввод в 1976 году сирийских войск в Ливан, который в Москве кое-кто называл даже вероломным. В тот момент Косыгин находился с визитом в Дамаске, и сирийцы сделали вид, будто посоветовались с ним, но на самом деле его даже не поставили предварительно в известность.

Москва отреагировала подчеркнуто холодно, хотя и не публично: в закрытых обращениях к руководству Сирии о советской позиции говорилось недвусмысленно, а послание Брежнева к Асаду было составлено в достаточно резких тонах. Однако сирийцы никак не проявили своего недовольства. Реакция последовала лишь после того, как полный текст обращения напечатала французская «Монд». Но и тут, что опять-таки характеризует сложившиеся отношения, никакой критики СССР.

СССР серьезно расходился с Дамаском по вопросу о его отношениях с Ираком. Зацикленность на враждебности к нему мы считали малообоснованной, видя в этом типичный пример того, как личные и националистические противоречия берут верх над общеарабскими интересами.

Не вполне совпадали наши точки зрения и на положение в Ливане. Сирийское руководство в глубине души считало и считает, что это — государство искусственное, часть Великой Сирии, отторгнутая колонизаторами. И ее действия в Ливане часто носили характер грубого диктата, что не могло вызвать в Москве большого сочувствия. В 80-е годы, используя шероховатости в отношениях, сирийцы стали прибегать к услугам Хесболлы, других исламистов и т.д. В те же годы возникли противоречия в связи с ирано-иракской войной: Дамаск вежливо, но твердо отводил наши попытки побудить его способствовать ее окончанию. Неоправданной казалась нам сирийская враждебность к Арафату.

Не было вполне безоблачным и военное сотрудничество, хотя основные споры, касающиеся поставок, начались несколько позже. Сирийцы, настаивавшие на концепции «стратегического равновесия» с Израилем, требовали все больше оружия. Москва же доказывала, что это невозможно, считала, что насытила Сирию вооружением в достаточной мере.

Хотя экономическое сотрудничество получило немалый разворот (в 1973 г. была, например, завершена первая очередь Евфратского гидроэнергетического узла), сирийцы хотели от нас большего. Они добивались более широкого участия в тех сферах, где мы были сильны: в энергетике, в железнодорожном строительстве (дорога на Тартус и т.д.). СССР, однако, на это уже не шел, что, конечно, не проходило бесследно для наших межгосударственных отношений.

К сожалению, бывали и осложнения, которые не имели никакого разумного основания. Так, в конце 1974 года Брежнев должен был

поехать в Сирию. Визит готовился три месяца, но Леонид Ильич незадолго до назначенного срока вдруг заявил: «А зачем я туда поеду? Не поеду». Сирийцы восприняли это как пощечину. Разумеется, было сделано все, чтобы убедить Дамаск: никаких изменений в отношении к нему у нас не произошло. Не скажу, что преуспели, но, во всяком случае, старались.

В целом, однако, при всех нюансах и сложностях позиция Дамаска, если сравнивать с другими ключевыми странами — Ираком, Ливией, Алжиром (Южный Йемен стоит здесь особняком) и т.д., — была наиболее лояльной. И это главное, что отличает сирийско-советские отношения во второй половине 70 — первой половине 80-х годов.

В минуты обострения ситуации на Ближнем Востоке СССР твердо поддерживал Сирию. И это служило ей своего рода щитом, очевидно, охлаждая воинственные намерения определенных кругов Израиля. Однажды мне довелось озвучивать такого рода «предупреждения». Получив поручение Пономарева, видимо согласованное с кем-то «постарше», я во время пребывания в Сирии в апреле 1984 года — это был период очередного обострения ситуации — несколько раз заявил, что СССР твердо поддерживает Сирию и «не позволит агрессорам реализовать их цели».

Это вызвало быструю реакцию Тель-Авива. Трижды в течение 24 часов официальные лица Израиля — последним был министр обороны Моше Аренс — старательно, как отмечали ливанские и сирийские газеты, подчеркивали, что нет никакого намерения атаковать Сирию. Правда, Аренс добавил, что мое заявление не содержит ничего нового, ибо СССР и раньше говорил, что будет защищать Сирию в случае агрессии.

Правомерен вопрос: на какой основе — я имею в виду в первую очередь отношение к ближневосточному конфликту — осуществлялось сотрудничество между Советским Союзом и Сирией? Мы никогда (могу это утверждать с полной определенностью) не подталкивали сирийцев к радикальной позиции. Напротив, настойчиво убеждали в необходимости придерживаться умеренного курса, подключиться к поискам выхода на Международную конференцию. Когда, например, в 1973–1974 годах шла работа по ее формированию, Москва оказывала откровенный нажим на сирийцев, добиваясь их участия. Собственно, в этом же направлении действовали и в конце 80-х годов, когда вновь замаячила перспектива созыва конференции. Я специально ездил с посланием Горбачева к Асаду.

Иной раз можно услышать обвинения, будто военное сотрудничество с Сирией способствовало радикализации ее политики. Мол, поставки оружия, направление советников позволяли ей упираться, уходить от «мирного решения». На самом же деле беседы советских руководителей с Асадом, на которых я присутствовал, носили абсо-

лютно однозначный характер. Установка на поиски мирного урегулирования, твердая убежденность в бесперспективности ставки на военные методы излагались достаточно ясно, а позже и бескомпромиссно. Да и Асад нас достаточно хорошо знал и понимал. Напомню, мы не поддерживали сирийскую линию на «стратегический баланс» с Израилем.

Но все дело в том, что усиленное давление на Сирию могло быть плодотворным — даже учитывая независимый характер Асада, если бы оно подкреплялось американским нажимом на другую сторону конфликта. А иначе это означало бы подталкивание Сирии к односторонним уступкам, если не к капитуляции. Оставляя за скобками неприемлемость для СССР подобной роли, надо помнить: сирийцам свойственно решительно защищать интересы своей страны, что они убедительно демонстрируют до сих пор, не поддаваясь американско-израильскому прессингу.

Все эти годы сирийскую политику определял президент Хафез Асад. Только в Дамаске я встречался с ним пять-шесть раз и, судя по тому, что он говорил Горбачеву в апреле 1990 года, пользовался его уважением (поэтому Михаил Сергеевич в послании Асаду, которое я вручал 17 августа 1991 г., мог написать, что направляет человека, «которого вы хорошо знаете»). Я это ценил и ценю, ибо, как бы ни относиться к Хафезу Асаду, невозможно отрицать, что сирийский президент — личность, очень умный и проницательный человек, большой политик. Неблаговолящая к нему западная печать, фаворитами которой в арабском мире являются марокканский и иорданский короли Хасан и Хусейн, а также египетский президент Мубарак, не раз называла главу Сирии самым крупным государственным деятелем на Ближнем Востоке.

Возможно, лучше всего характеризует Асада один факт: он уже 28-й год бесценно правит Сирией, до него слывшей страной переворотов. Причем правит, опираясь на силовые структуры — армию и спецслужбы, лояльность которых в арабских странах не гарантируется никакими присягами. (Мне рассказывали: когда в мае 1985 г. суданскому генералу Сивару Ад-Дагабу предложили возглавить переворот, тот вначале колебался, так как давал на Коране клятву верности руководителю страны Нимейри. Но потом согласился, заявив, что нарушение клятвы искупит трехдневным постом.)

Асад, несомненно, сильная и властная личность, внушающая почтение не только своим «подданным», но и уважение тем, кто его недолюбливает или опасается в арабском мире и кто относится к нему враждебно за пределами этого мира, например в США и Израиле. Его не сломали личные потрясения — гяжелый инфаркт, гибель сына, которому готовили «престолонаследие». Асад не лишен обаяния и способен, когда захочет, быть обходительным, излучать теплоту.

В политике сирийский президент одновременно и жесток, и гибок, он умеет очень хитроумно и продуманно поддерживать властный баланс между различными группировками и кланами, искусно противопоставляя их друг другу: дело тем более важное и трудное, что в Сирии с Асадом к власти пришли алавиты (особая ветвь шиизма), составляющие в стране лишь 15–20 процентов населения.

Вместе с тем многие годы Асад окружен одними и теми же людьми. Едва ли не самый близкий к нему А.Х. Хаддам, вице-президент Сирии, — суннит. Хитрый и ловкий политик, склонный к интриге и едкой фразе, а когда нужно, и к агрессивной позе, которая выглядит странной, а временами и смешной у этого «коротышки». Монументальный Громыко, который на переговорах держался властно и уверенно, если не сказать самоуверенно, иной раз чувствовал себя, казалось, неуютно с прощично-язвительным сирийцем. Зато Хаддама сумел «перешеголять» Г. Алиев (я был свидетелем этого в Дамаске), в грубо-пренебрежительной манере раскритиковав его рассуждения о Ливане и ирано-иракской войне. Хаддаму принадлежит формула: «Влияние СССР на Ближнем Востоке должно быть пропорционально влиянию США в этом регионе» (из его интервью лондонской «Таймс» в апреле 1984 г.). Названная «Немецкой волной» «скорее двусмысленной», она, возможно, отражает глубины сирийской политики.

Асад обладает тонким политическим инстинктом и завидной выдержкой. Он умсет талантливо «держат паузу» в политике, терпеливо поджидая, когда ситуация созреет для вмешательства.

В начале 80-х годов обстановка в Сирии крайне обострилась. У Асада случился обширный инфаркт, резко активизировались «престолонаследники», прежде всего брат лидера — вице-президент Рифаат Асад, тесно связанный с Саудовской Аравией. В его поддержку были организованы молодежные демонстрации. Но эти притязания натолкнулись на решительный отпор военных — давних соратников Х. Асада: начальника генштаба Шехаби, начальника военной контрразведки Али Дуба, командира первой дивизии генерала Файяда и других. Они привели некоторые части в боевую готовность, возникла угроза вооруженного столкновения — ведь под командованием Р. Асада были отборные специальные части, оснащенные лучшим вооружением.

Я был в Дамаске в кульминационный момент противостояния. Сирийская столица напоминала фронтной город. На крышах некоторых зданий стояли зенитные орудия. По пути в резиденцию Асада (он еще выздоравливал) пашу автомашину останавливали последовательно люди военных, Рифаата и, наконец, из президентской гвардии.

Все ждали вмешательства президента, но он, казалось, непростоительно медлил. На самом же деле Асад терпеливо выжидал, удерживая соперников от «последнего шага», пока ситуация разрядится,

противники поостынут и конфронтация выдохнется, как бы завязнув в болоте собственных будней. И точно выбрал момент для вмешательства. В итоге и Рифаат, и Файяд были отправлены за границу (первый — в Западную Европу, второй — в Софию), а ситуация мирно «рассосалась».

Кстати, однажды в Дамаске я навестил Рифаата — по его приглашению. Его резиденция находилась в обширном компаунде, пабитом войсками и тщательно охраняемом. На пороге дома меня встречал сам хозяин, по обе стороны которого выстроилась охрана из молодых женщин в военной форме с золотыми позументами и шурами, в позолоченных сапожках (мне рассказывали, что и у Каддафи охрана состоит из женщин, и объясняли это тем, что убийца-араб не решился бы стрелять в них). Они же подавали нам соки и фрукты, и Рифаат, указывая на «дам», заметил: «Не подумайте чего-нибудь. Это наши боевые подруги, у каждой на счету не один прыжок с парашютом». Брат сирийского президента показался мне человеком недалеким, малообразованным и тщеславным, к тому же плохо себя контролирующим. Бахвалясь, с видимым удовольствием и наигранным удивлением рассказывал, как обыватели — его соседи в Швейцарии (место «ссылки») — были поражены и напуганы множеством вооруженных людей на его вилле.

Асад правил и правит Сирией твердой рукой. В середине 70-х годов в Хаме (город в Центральной Сирии, примерно в 175 км от столицы, с населением около 200 тыс. человек), восстав, взяли верх «Братья-мусульмане». Специальные силы безопасности, окружившие город, подавили мятеж жесточайшим образом. Город был подвергнут массированному артиллерийскому обстрелу и разрушен почти дотла. Жертвы, как утверждают, исчислялись многими тысячами. Но с тех пор «Братья» онасаются поднимать голову в Сирии.

Примерно ту же методику я наблюдал в Бейруте 4–6 июля 1978 г. Сирийцы, чтобы преподать урок и укротить ливанских христиан, обрушили на гражданские кварталы Восточного Бейрута шквал огня, демонстрируя всю мощь приобретенной советской техники — мины, ракеты, артиллерийские снаряды всех калибров и т.д. 6 июля, вернувшись к полуночи в отель, возбужденный — в те дни в Бейруте затемно передвигаться было опасно, особенно пешком, и часть пути мне и сопровождавшей меня охране пришлось преодолеть перебежками, — я не мог заснуть и вышел на балкон. То было устрашающе-феерическое, завораживающее зрелище: громохание и гул орудий, ракетных установок, небо, освещенное сполохами разрывающихся снарядом и озаренное пламенем пожаров, рушащиеся балконы и целые секции домов. С нервирующей аккуратностью, через каждые 20–30 секунд, раздавался взрыв. Я лег, но заснуть удалось с трудом. Наутро узнал, что мины падали рядом с отелем, в 150–200 метрах.

И снова об Асаде. На официальных беседах он говорил помногу. Память у него великолепная, и он любил повспоминать. Но, думаю, это была не болтливость, а тактика: собеседник как бы тонул в «болоте» его рассуждений и воспоминаний, размягчался. Асад же в конечном счете всегда четко доводил до собеседника все, что хотел сказать, используя подходящие детали из прошлого. Неизменная тема его переговоров с советской стороной — необходимость достигнуть «стратегического равенства» с Израилем.

Подобная неспешная манера Асада вести беседу однажды, в последний день 1987 года, едва не довела меня до конфуза. Отправляясь на прием к сирийскому президенту, я и наш посол А. Дзасохов (нынешний президент Северной Осетии-Алании) за завтраком, видимо, церебрали по части жидкостей — соки, чай, овощи. И к концу третьего часа я почувствовал острую необходимость, по выражению одного из газетчиков, «прислушаться к голосу организма». Взглянув на посла, увидел, что он тоже, что называется, чуть ли не сучит ногами. Эта мука продолжалась еще час, в течение которого я отчаянно старался не потерять нить беседы. Увы, сирийский урок не пошел мне впрок. То же повторилось несколько дней спустя у Мубарака, в кабинете которого было еще и прохладно.

По своим взглядам Асад — убежденный националист. Для него Сирия — сердце арабского мира, высший хранитель и знаменосец арабской национальной идеи. На мой взгляд, две фундаментальные посылки его мировоззрения — это идея «Великой Сирии» и глубокое недоверие к Израилю, проистекающее из убежденности в «шовинистическом характере сионизма», неразрывно связанного, по его мнению, с проповедью превосходства евреев. Об этом он говорил на встрече с Горбачевым в апреле 1987 года так: «Расизм в ЮАР и Зимбабве идет от людей, и он может быть преодолен. У евреев он от Бога, идет от Торы». Он сослался и на Шамира, сказавшего, что выезд евреев из СССР — великий исход, а великий исход требует великого Израиля.

Сирийский президент — человек принципиальный, твердо придерживающийся своих убеждений. И заставить его отступить от них задача вряд ли вообще выполнимая. Советскому руководству — Брежневу и другим — во всяком случае это практически не удавалось. Тенерь, даже в период фактической монополии на Ближнем Востоке Соединенных Штатов, в несговорчивости Асада могли удостовериться и они.

У меня создалось впечатление, что сирийский президент хорошо и искренне, насколько это позволительно политику, относился к Советскому Союзу: как к великой и привлекательной стране, как к дружественному государству. Тут была смесь политического расчета и теплых воспоминаний о времени, которое он провел в СССР, проходя летнюю подготовку. На переговорах неизменно рассказывал, как с друзьями неправильно перешел улицу в Москве, у Военторга,

и их отчитывал милиционер, говоривший, что «грузины всегда нарушают порядок». Но идеологию пашу он не принимал и Сирию от се проникновения оберегал.

Асад, несомненно, в немалой степени «повинен» в том, что наша страна стала настолько популярна в Сирии: даже откровенное пренебрежение арабами в российской внешней политике козыревских лет не подорвало это отношение. Когда Асад на той же встрече с Горбачевым говорил, что «дружба с Советским Союзом стала делом всех патриотически настроенных сирийцев», это не было одними лишь словами. В то же время Асад — политик, который никогда «не кладет яйца в одну корзину».

Последний раз президент Асад принимал меня 16 августа 1991 г. Прощаясь после длительной беседы и полуобняв, он попросил передать сердечный привет М.С. Горбачеву. Мы не могли знать, что меньше чем через 48 часов грянет ГКЧП...

В годы, о которых рассказываю, понимание значения и места палестинской проблемы в арабо-израильском конфликте, внимание к ней составляли отличительную черту ближневосточной политики Советского Союза, способствовали ее легитимизации и были важным преимуществом перед США. Мы, в отличие от Вашингтона, сознавали, что без справедливого решения палестинской проблемы, касающейся судьбы 4,5 млн. человек, никакое урегулирование невозможно.

Американцы этого не понимали или, во всяком случае, не признавали. Еще 11 марта 1988 г. приехавший с госсекретарем США Шульцем его заместитель Р. Мэрфи, навестивший меня с целью, как он выразился, «информировать об американских усилиях в направлении ближневосточного урегулирования», заявил, что «с точки зрения США, представителями палестинцев не могут быть явные члены ООП или одиозные политические фигуры, связанные с ООП. Напрочь (!) исключено, что израильские ответственные лица, к какому бы крылу они ни принадлежали, умеренному или максималистскому, сядут за стол переговоров с Арафатом, Абу Айядом и им подобными». Интересно это звучит сегодня, не правда ли? Спустя полтора месяца Мэрфи снова уверял меня: «В Вашингтоне считают, что единственной реалистической формой участия палестинцев было бы создание совместной иордано-палестинской делегации».

Понимание палестинского вопроса пришло к нам не сразу. Первый политический контакт состоялся в 1968 году, когда Насер, уведомив нас, в составе своей делегации тайно привез в Москву Арафата. Заканчивая в Кремле беседу с Брежневым, египетский президент неожиданно объявил, что в особняке на Воробьевых горах находится лидер палестинцев. Леонид Ильич поручил Пономареву переговорить с Арафатом.

Видимо, и поэтому инициативу по развитию связей с ООП долгое время проявлял наш отдел. МИД же занял первоначально довольно

безучастную позицию. Только спустя годы, когда стало ясно, что палестинцы — очень важный канал воздействия на процесс и перспективы ближневосточного урегулирования, МИД, наоборот, принялся, тесня нас, претендовать на приоритетную роль в отношениях с ними.

Какие же цели мы ставили, все более интенсивно развивая отношения с Организацией освобождения Палестины и с составляющими ее организациями — ФАТХом, Народным фронтом освобождения Палестины, Демократическим фронтом освобождения Палестины?

Во-первых, способствовать укреплению ООП, в том числе ее сплочению вокруг конструктивной платформы, обеспечивающей удовлетворение законных прав палестинцев. Во-вторых, усиливать наше влияние на Организацию. В-третьих, оказывать умеряющее воздействие на позиции палестинцев, добиваясь признания — на базе ближневосточного урегулирования — права Израиля на существование, исключения терроризма и тактики вооруженной борьбы. В-четвертых, содействовать упрочению самостоятельности палестинского движения перед лицом арабских претендентов на установление над ним своей опеки. В-пятых, способствовать международному признанию ООП.

Все эти цели были расположены как бы внутри орбиты ближневосточной политики СССР. Стержнем нашего отношения к палестинцам было желание иметь в процессе борьбы вокруг миротворчества, условно говоря, «под своим колпаком» палестинскую карту, что отнюдь не исключало искреннего стремления помочь палестинцам обрести свое государство. Отсюда, кстати, и вытекали некоторые противоречия в нашей линии в отношении палестинцев: не всегда эти цели гармонично соединялись и сочетались друг с другом.

Но в целом советская линия давала плоды. Если крупным минусом политики СССР было отсутствие связей с Израилем, то сильным ее козырем — дружественные отношения с палестинцами. У Соединенных Штатов зеркальным, если так можно сказать, отражением нашей изоляции от Тель-Авива стало отсутствие связей с палестинцами.

Во второй половине 70-х и начале 80-х годов советско-палестинские отношения развивались в основном по восходящей. Они стали значительно шире и теплее на волне антикэмп-дэвидской кампании, значение ООП для нас росло. Во многом благодаря нашим усилиям ее международные позиции заметно окрепли. Вместе с тем характерной чертой политики Советского Союза оставалось то, что в отношениях с ООП он неизменно учитывал, иногда даже больше, чем следовало, позицию Сирия, некоторых других арабских государств.

Первый официальный визит Арафата состоялся в феврале 1970 года, вскоре его стали принимать на высшем уровне. Тут же началось и военное сотрудничество, оно даже опережало политические контакты: часть палестинцев готовилась в сирийских и египетских лагерях под видом военнослужащих этих стран. В Советском Союзе

обучали немногих — несколько десятков человек ежегодно. Оружие же передавалось египтянам и сирийцам, а оттуда какая-то часть шла палестинцам, на это мы закрывали глаза. Финансовой помощи палестинцы — надо отдать им должное — никогда не просили.

В политических контактах Москва с самого начала — а тогда палестинцы были настроены весьма воинственно — держалась принципиально, подталкивая ООП к умеренности и реализму. Если Организация освобождения Палестины постепенно эволюционировала именно в таком направлении, а сегодня стоит на конструктивных позициях, то во многом это, без преувеличения, и советская заслуга, результат нашей работы на всех уровнях.

Уже в ходе первого визита Арафата принимавшие его Мазуров²⁸ и Пономарев твердо заявили, что Израиль — необратимая реальность и серьезные политики обязаны исходить из этого. Руководство же ООП хотя и не выдвигало тогда лозунга «евреев — в море», но требовало создать единое государство, что означало по существу уничтожение Израиля. Палестинцам было сказано, что выдвинутые ими (в Хартуме в 1967 г.) три «нет» — «нет Израилю», «нет оккупации», «нет миру» — вещь тупиковая. Им разъясняли: коренная слабость Организации освобождения Палестины в том, что она признает права только за палестинцами, именно поэтому ООП не получает международного признания.

Серьезное воздействие на палестинцев возымело то, что СССР публично заявил (впервые во время визита Асада в 1971 г.) о готовности вместе с США выступить гарантом безопасности границ Израиля. Идя на контакты с нами, ООП приходилось считаться с этим. Иными словами, с палестинцами вели дело, не отступаясь от своих позиций, говорили: существование Израиля неоспоримо, а Советский Союз готов сотрудничать с вами в обеспечении законных национальных прав арабского народа Палестины.

Противодействуя радикальным тенденциям, Москва в резкой форме отвергла так называемый Фронт отказа, хотя в него входили такие левые организации, как Народный фронт освобождения Палестины (глава Ж. Хабаш) и Демократический фронт освобождения Палестины (глава Н. Хаватма). Мы перевели контакты с ними на самый низкий уровень. По этим же мотивам мы не соглашались завязывать отношения с некоторыми палестинскими организациями, опекаемыми сирийцами. Фронт не только противопоставлял себя основной линии ООП, он оказывал на нее значительное воздействие, и Арафат не мог просто отмахнуться от него. Твердал советская позиция способствовала ограничению влияния Фронта, послужила одним из факторов, которые помогли лидерам ООП, самому Арафату не поплыть по течению.

²⁸ Член Политбюро, зам. председателя Совета Министров СССР.

Советский Союз всячески поощрял израильско-палестинские контакты сначала по линии общественных организаций, а затем уже и на официальном уровне. Международный отдел, например, старался содействовать конфиденциальной встрече палестинских лидеров с Э. Вейцманом, обращался по этому поводу с запиской в Политбюро.

В своих политических контактах мы неизменно высказывали резко негативное отношение к террористическим акциям палестинцев. Должен, однако, подчеркнуть, что речь шла о действиях, которые действительно подпадают под эту категорию. Сегодня политическая тусовка Запада и некоторые наши журналисты трактуют эту проблему весьма специфическим образом, повернувшись спиной к общемировой и собственной истории. Шумилин, журналист, пишущий из Каира («Независимая газета», 1 июля 1996 г.), умудрился назвать нападение на израильских солдат в оккупированной Израилем «зоне безопасности» в Ливане и «терактом», и «наглостью поистине безграничной». Послушать господина Шумилина, террористами были и американские колонисты, добивавшиеся независимости от британской короны, и белорусские партизаны, сражавшиеся с гитлеровскими оккупантами, и алжирские комбатанты, нападавшие на французских легионеров... А как насчет полковника Штауффенберга, подожившего бомбу под стол, за которым сидел Гитлер, или израильских организаций «Хагана» или «Иргун цвей леуми», взрывавших британские объекты в арабской Палестине в первые послевоенные годы?..

В сентябре 1970 года, когда террористические действия приобрели довольно активный характер и начались насильственные посадки гражданских самолетов на так называемый революционный аэродром в Иордании, мы уже не ограничились резким закрытым обращением. Москва выступила с публичным их осуждением, в частности, через Советский комитет солидарности стран Азии и Африки. И эти действия были свернуты, несомненно, не без нашего влияния.

В условиях же, которые можно назвать обычными, «антитеррористическая» работа шла целенаправленно и планомерно на всех уровнях. Специальные беседы на эту тему с лидерами ООП Махмудом Аббасом, Фаруком Каддуми, самим Арафатом были и у меня, причем, выполняя поручение, я выражался вполне определенно, если не жестко.

Бедой состояла в том, что ряд акций проводился группами и организациями, находившимися явно вне контроля руководства ООП. К тому же действия палестинцев часто были ответом на акции израильских спецслужб и армии, которые достаточно широко применяли против функционеров ООП, палестинского населения и террористические методы. Наконец, характер некоторых эпизодов, их приуроченность к определенным событиям, в особенности когда намечалось оживление международной активности ООП, наводили на мысль, что их авторы или, по крайней мере, вдохновители — не арабы.

Не берусь утверждать со стопроцентной уверенностью, что решающую роль сыграло наше влияние, но мы на протяжении ряда лет предостерегали палестинцев против вооруженной борьбы на Западном берегу и в секторе Газа. И когда там началась интифада, стали особенно настойчивы, понимая, к чему может привести перерастание восстания в вооруженное сопротивление. Должен, правда, признаться: вполне благоразумную позицию занимал и сам Арафат.

Советское воздействие, наряду с изменением ситуации в регионе и мире, заметно повлияло на линию ООП, о чем не раз говорили сами палестинцы. Началось с заявлений Арафата, где — сперва очень осторожно, не называя Израилля, — стала звучать мысль об уважении права на жизнь и мирное сосуществование всех народов Ближнего Востока. Это дало толчок процессу международной легитимизации Организации освобождения Палестины.

В выдвинутом на XXVI съезде КПСС плане урегулирования ближневосточного конфликта весомое место было уделено национальным правам палестинцев, включая право на создание собственного государства, и ООП как единственному законному представителю палестинского народа, а также гарантии права всех стран и народов региона, включая Израиль, жить в мире и безопасности. Одобрение этих предложений Национальным советом Палестины (палестинский парламент в изгнании) в апреле 1981 года означало радикальный сдвиг в позиции ООП. В то же время палестинская Национальная хартия, где оставалось положение об уничтожении Израилля, так и не была скорректирована. Арафат ссылался на него как на одну из последних «козырных карт» в предстоящем политическом торге.

В 1983—1984 годах между ООП и Москвой наступило охлаждение, точнее, оно касалось самого Арафата. Некоторое время существовало даже своеобразное эмбарго на его визиты в Советский Союз. Объяснялось это естественными, на мой взгляд, попытками лидера ООП выбраться из прокрустовы ложа — исключительной привязки лишь к одной из сторон противостояния. Они, очевидно, были подстегнуты событиями в Ливане и делались в «гонке со временем». Упомянувшийся тупик на Ближнем Востоке обнажил нашу неспособность сдвинуть ситуацию, и Арафат пошел на соглашение с королем Хусейном, получившее название амманского, нанес визит в Каир.

Ряд палестинских организаций и некоторые арабские государства обвинили его в том, что он нарушает решения Национального совета Палестины, «сдает позиции». СССР построился на ту же волпу. Вероятно, Арафат действительно решился тогда на чрезмерные уступки, но Москва, рассматривавшая все через призму конфронтации с США, не сумела понять мотивов его шагов.

Надо сказать, что восточные цемцы заняли более разумную позицию и, проявив характер, не стали равняться на СССР. В Берлине в эти дни оказали подчеркнуто теплый прием члену руководства

ООН Абу Айяду. Летом—осенью 1985 года в ГДР не давали согласия на проведение собраний арабских студентов без гарантии, что ни Я. Арафат, ни амманское соглашение не будут подвергаться критике.

Визитное эмбарго было снято встречей Горбачева с Арафатом 18 апреля 1986 г. Михаил Сергеевич подтвердил, что «мы всегда имеем в виду, чтобы из процесса ближневосточного урегулирования не выпала палестинская проблема», и заявил, что «важно сохранить ООН на позициях борьбы за создание независимого палестинского государства» (это, очевидно, отзвук предостережений относительно «капитулянтской» линии Арафата).

Затем в контактах наступил перерыв: советское руководство было отвлечено другими проблемами, к тому же дала знать о себе арабофобия некоторых лиц в наших внешнеполитических структурах. Новая встреча с Арафатом состоялась 9 апреля 1988 г., и на ней Горбачев говорил: «Трудная судьба, трудная борьба, но сила ваша в том, что вы не одиноки, вас подpiraют... Будет ближневосточное урегулирование, и будет решен центральный вопрос — самоопределения палестинского народа». Одновременно Михаил Сергеевич подчеркивал, что это предполагает «уважение интересов и другой стороны и в конце концов признание самого Израиля на основе принципов международного права». Арафата вновь предостерегали против перерастания интифады в вооруженную борьбу, на что он отвечал: «Мы твердо держимся решения о неприменении оружия».

Беру на себя смелость утверждать: наряду с завоеванием и укреплением независимости арабских стран постепенное обретение палестинцами своих законных прав, осознание в регионе неизбежности мирного сосуществования всех его народов — главные результаты, к которым серьезно причастна, при всех ее ошибках и зигзагах, советская ближневосточная политика. Мы вовремя поняли ключевое значение палестинского вопроса и активно способствовали его разрешению.

Американцы же в этом вопросе находились под прессингом сионистских кругов. И тем не менее уже в 70-е годы были попытки наладить контакты с палестинцами на рабочем уровне, найти с ними точки сближения. В поведении США эти двойственность и противоречивость, отражавшие разные веления, проявились довольно четко: с одной стороны, отказ от контактов под девизом «непризнания ООН» (под давлением израильского лобби из-за несанкционированной беседы с палестинским представителем Терази представитель США в ООН Янг был отправлен в отставку), с другой — закулисные встречи.

Вашингтон всячески препятствовал международному признанию ООН и практически солидаризировался с израильской линией на подрыв ее позиций. США хотели — и долгое время пытались — «расташить» и рассосать палестинскую проблему, упрятав, например, палестинцев под «иорданский колпак». На это были направлены и

попытки Израиля создать противовес ООП на Западном берегу и в секторе Газа, которые, кстати, не имели ни малейшего успеха, хотя для этого не жалели сил в течение всех лет оккупации. Причем израильские спецслужбы шли даже на поддержку исламских групп, которые сегодня они предают анафеме.

Американская позиция и тут типичный пример того, как интересы урегулирования приносились в жертву сверхдержавным устремлениям. Сегодня платформа, которую мы поддерживали, практически перенята Соединенными Штатами и постепенно претворяется в жизнь: это — признание ООП единственным законным представителем палестинского народа (формула, которую США считали абсолютно неприемлемой); это — все более явное движение в сторону создания палестинского государства и т.д.

Говорить о палестинцах и о наших с ними отношениях невозможно, не рассказав об Арафате. Он был и остается символом их борьбы за свои права. Сейчас лицо этого невзрачного, неказистого мужчины, с редкой, клочковатой бородой, прореженной проседью, знакомо миллионам. Арафату пожимают руки президенты и премьер-министры, его встречают с почестями в десятках столиц, он — респектабельный собеседник Билла Клинтона и Бениamina Нетаньяху. А когда он впервые приехал в СССР и позже, когда я познакомился с ним, его лицо было известно немногим за пределами арабского мира, а западная печать дружно называла его «террористом».

Я встречался с Арафатом добрый десяток раз, но не рискну утверждать, что хорошо его знаю: слишком он хитроумен и гибок, если не сказать переменчив. Как говорил мне Ф. Каддуми, «министр иностранных дел» ООП, «это прагматик, он может порой повернуться на 180 градусов».

Впрочем, этому отчасти есть объяснение в объективных обстоятельствах. Известно, насколько сложно сидеть «меж двух стульев». Арафату же приходилось — и он умудрялся делать это с успехом — сидеть между дюжиной «стульев»: многие арабские государства стремились взять ПДС под свое крыло, а некоторые даже имели там свои фракции (на Саудовскую Аравию, например, в руководстве ООП ориентировались братья Хасаны, на Сирию — лидеры так называемого Фронта отказа и т.д.). Но маневрируя между «стульями», терпя неудачи и поражения, перепоясываясь иной раз и унижения, он никогда не изменял избранному делу, курсу, который не только держал на плаву палестинский корабль, но и настойчиво продвигал к пункту назначения — независимому государству.

Когда Арафата, которому шел тогда седьмой десяток, доникали вопросами, отчего он не женится, тот отделялся формулой: «Моя семья — Палестина». И при всей ее пропагандистской театральности была в ней своя правда. С этой правдой вяжется и то, что Арафат скромнен, даже аскетичен в быту, в еде и одежде (неизменная военная

форма, на голове — платок-куфия, стянутая черным шнуром-ухалем), не употребляет, как и большинство арабов, спиртных напитков.

Арафат — не только бессменный руководитель ООП, именно он прежде всего «повинен» в том, что она сохранилась как единая организация и успешно прошла через процесс взросления. Бесконечно лавируя, находя общий язык — но на базе общепалестинских интересов — с самыми различными силами, от «Братьев-мусульман» до коммунистов, он сумел уберечь ООП от раскола, несмотря на всю ее внутреннюю разнородность. И прежде всего именно благодаря Арафату ООП не выродилась в террористическую группировку, а поднялась к политической деятельности.

Хотя руководитель ООП, пожалуй, всегда ходил в «умеренных», ее эволюция — от «сбросим Израиль в море» до нынешнего реализма — это и эволюция самого Арафата, в которой он, как и подобает всякому лидеру, опережал движение. А начинал Арафат в рядах «Братьев-мусульман», был замечен и вытасчен на поверхность Насером, сыгравшим огромную роль в его судьбе, как и в судьбе палестинского движения сопротивления, у истоков которого стоял. Воспитанник египетского президента постепенно превратился в крупную самостоятельную фигуру.

Палестинский лидер, песомненно, человек мужественный. Он долгие годы был мишенью номер один израильских спецслужб, от руки которых (это — не терроризм?!) пали его ближайшие соратники: Абу Джихад, шеф военных операций ООП, Абу Айяд, глава ее разведки, и многие другие. Он постоянно менял свое местонахождение, никогда дважды не почевал по одному и тому же адресу, все время «заметал следы», часто нарушая протокол. Типичный пример: Арафат должен прибыть в иорданскую столицу к назначенному часу, в аэропорт съезжаются премьер-министр, другие официальные лица. Ждут полчаса, час, уезжают, а через некоторое время садится самолет Арафата.

Арафат поразительно неутомим. Этот тщедушный на первый взгляд человек отличается недюжинной выносливостью и энергией. Бесконечно перемещаясь из одной точки арабского мира в другую, он провел в воздухе времени неизмеримо больше всех других политиков.

Внешне мягкий, он, подобно большинству арабских лидеров, антидемократичен и жесток в политической практике, навязывая другим свою волю, в частности и с помощью денег: под его контролем солидные финансовые ресурсы ООП, вокруг использования которых было немало разговоров и сплетен. Это не раз, особенно в конце 70 — начале 80-х годов, приводило к обострению положения в Организации, когда оппоненты требовали «демократизации обстановки, создания такой ситуации, при которой председатель (Арафат. — К.Б.) не сможет единолично решать насущные вопросы движения».

Арафат, по крайней мере прежде, охотно прибегал, мягко выражаясь, к нетривиальным приемам. Например, летом 1982 года, в трудные дни, когда израильтяне вторглись в Ливан и палестинцам пришлось эвакуироваться через Бейрут, он собрал корреспондентов и объявил о получении от Брежнева послания (которого не существовало в природе) с выражением полной поддержки: очевидно, чтобы подбодрить своих и произвести впечатление на США и Израиль. После некоторых раздумий в Москве было решено с опровержением не выступать. И это не единственный подобный случай. Многие видные деятели ООП, правда большей частью из оппонентов, считают, что у Абу Аммара (псевдоним Арафата) амбициозный характер, его «точит» страсть к лидерству, желание быть на виду.

Из моих встреч с Арафатом лучше других запомнились две. Одна — в декабре 1977 года в Бейруте, где ООП чувствовала себя хозяином. Мне поручили обратить его внимание на бесцеремонное поведение, если не сказать самоуправство, палестинцев в Ливане (которое в конечном счете весьма осложнило их отношения с местным населением), а также настоятельно рекомендовать принять меры к прекращению террористических акций. Арафат не возражал, но сослался на то, что эти акции совершаются организациями-диссидентами, и старался избегать твердых обязательств. Он, как это часто бывало, поставил вопрос о поставках оружия и о своем визите в Москву.

Раз уж речь зашла о Ливане, я не хотел бы, чтобы описанный демарш создавал впечатление об особой принципиальности советской политики в отношении этой страны. Начиная с 1964 года я довольно часто бывал в Ливане, не раз встречался с ее президентами — Ильясом Саркисом, Амином Жмайелем, почти со всеми видными ливанскими политическими деятелями.

С изумлением и горечью наблюдал, как внутренние распри вкупе с внешним вмешательством разоряют и разрушают эту богатую, живописную страну («Ближневосточную Швейцарию»), населенную самым предприимчивым народом арабского мира. Видел, как Бейрут («Париж Ближнего Востока») из красивой, изящной, явно зажиточной столицы, с особым, гедонистским, жизнелюбивым нравом, превращался в мертвый и объятый страхом город (хотя его жизнерадостные жители в перерывах между обстрелами мгновенно заполняли пляжи и уцелевшие бары), в каменное кладбище с кварталами домов-скелетов, с пустыми глазницами «вчерашних» окон.

Понятно, что Советский Союз не в силах был бы изменить эту ситуацию. Но зажатый в тиски противоборства с США, скованный связями с Сирией и ООП, а также с одной из сторон внутривосточного конфликта, СССР ограничивался лишь призывами к прекращению междоусобицы и заявлениями о поддержке суверенитета Ливана, громогласным осуждением израильской оккупации и силовых акций

Тель-Авива — пусть наиболее болезненного, но все же лишь одного из факторов, которые взрывали обстановку в стране.

Правда, в подобной манере, словно перенятой у нас, ныне, когда СССР уже нет на ливанской сцене, ведет себя Вашингтон: покровительствует Израилю и христианским силам, закрывает глаза на действия Сирии, выступает с широковещательными декларациями о поддержке суверенитета Ливана. И тем самым как бы доказывает, что советская позиция была в свое время обоснованно прагматичной...

Другая моя встреча с Арафатом относится к началу 1984 года: моей задачей было подтолкнуть его к поискам путей нормализации отношений с Сирией. Он же говорил, что, отвергая ближневосточную инициативу Рейгана, палестинцам и другим заинтересованным сторонам необходимо перейти к более активным политическим действиям, ибо «время работает против нас». Идет интенсивное заселение Западного берега Израилем, который создает ситуацию совершившегося факта. Арафат и в этот раз просил принять его в Советском Союзе, где все еще царило прохладное к нему отношение.

Разговор в очередной раз зашел и о признании палестинцами резолюции Совета Безопасности № 242 (т.е. существования Израиля). Арафат в очередной раз отвечал, что был бы готов добиваться этого от руководства ООП, если бы существовали выстроенные параллельно гарантии реализации палестинских прав. Он повторял, что фактически это их основное средство давления и они не могут «просто так» отказаться от него.

И в этой беседе, и в той, что состоялась несколько лет спустя (8 апреля 1988 г., накануне его встречи с Горбачевым), он говорил, что ООП не согласится на созыв неправомочной международной конференции. «Нас, — сказал он, — съедят так же, как в свое время был съеден Садат. Только участие СССР и Западной Европы, их гарантии могут помочь нам добиться минимума своих требований». На этой же встрече Арафат дал согласие на включение в сообщение о беседе с Михаилом Сергеевичем положения о том, что правовой основой конференции могло бы быть признание всеми ее участниками как резолюций № 242 и 338, так и законных прав палестинского народа, включая его право на самоопределение. Это, несомненно, явилось крупным сдвигом.

И последнее. Тема Арафата возникла довольно неожиданным образом в ходе поездки Горбачева в Индию в 1987 году. Во время краткой остановки в Ташкенте пришло сообщение о том, что Арафат собирается выступить с инициативой по вопросу о международной конференции и советуется с нами. Горбачев поинтересовался мнением Шеварднадзе и моим. Я полностью поддержал намерение Арафата. Шеварднадзе отозвался сдержанно, но Михаил Сергеевич резюмировал разговор, выразив точку зрения ближе к той, что высказал я.

Не могу пройти мимо некоторых сторон взаимоотношений Советского Союза и Южного Йемена (по официальной терминологии Народно-Демократической Республики Йемен) — государства, которое события последних лет стерли с политической карты. Тем не менее опыт отношений с Южным Йеменом в ряде аспектов очень показателен и имеет значение, выходящее за его пределы.

Несмотря на весьма близкие — ближе, чем с любым другим арабским государством, — отношения с НДРЙ, где находилось около 500 советских военных советников и в разное время от 1,5 до 4 тыс. гражданских специалистов, мы оказались не в состоянии серьезно повлиять на ход событий в этой небольшой стране. Эпопея Южного Йемена демонстрирует, как далеко, в какие глухие уголки «третьего мира» добиралась в те годы левая волна и как она разбивалась о твердь отсталых, неподходящих условий. И наконец, эта эпопея свидетельствует: советская политика, представлявшаяся тогда совершенно естественной и логичной в рамках схемы «наступление социализма и поддержка естественных союзников», оказалась неадекватной, можно даже сказать, утопичной, она переоценила и собственные возможности, и потенциал революционных националистов.

Южный Йемен в те годы — очень небольшое по населению (2 млн. человек), но по территории средней величины государство (четыре Португалии и полторы Греции) на юге и юго-западе Аравийского полуострова, как бы разделенное на две части, резко отличающиеся друг от друга. Столица Аден — порт и крупный нефтеперерабатывающий завод, многие тысячи рабочих, кварталы вполне современных домов (район Маалла). И вся остальная республика: здесь господствовали племенные отношения, здесь и до сих пор, как, например, в городке Шибам, возвышаются ведущие свою родословную от XIV века глинобитные, циклопические «небоскребы» в двенадцать-шестнадцать этажей, из окон которых торчат желоба: своеобразная «канализация».

Южный Йемен пережил 130 лет господства англичан. Их привлекало сюда стратегическое положение Адена, лежащего на перекрестке путей, которые связывали Европу (Англию) с Азией (Индией), Африкой, Австралией. Южноийеменский лидер Абдель Фаттах Исмаил имел все основания назвать Аден «русалкой Красного моря». Защищенная с севера горой Ахдар (к которой притулился город), а с юга контролирующим вход в нее островом Сира, аденская бухта, изящно врезанная в скалы, издревле считалась идеально приспособленной для судов каботажного плавания. В конце 70-х годов сюда ежегодно заходило в среднем около 6 тыс. судов общей грузоподъемностью до 30 млн. тонн.

С середины 50-х годов в Адене размещалась штаб-квартира Верховного командования британских вооруженных сил на Аравийском полуострове, преобразованного затем в Средневосточное командова-

ние. Здесь же были расквартированы от 10 до 15 тыс. военнослужащих, построено 19 аэродромов. В Белой книге от 2 февраля 1964 г. Лондон подтвердил, что намерен «превратить Аден в постоянную военную базу, оснащенную всеми необходимыми средствами... для защиты британских интересов в районе Персидского залива и других районах к востоку от Суэца». Но не прошло и четырех лет, как южнoйеменцы, взявшись за оружие, вынудили англичан убраться.

Советский Союз признал поворожденное государство через три дня после того, как был поднят флаг независимости, — 3 декабря 1967 г. В первую очередь Москву, несомненно, привлекала все та же стратегическая ценность Адена. Свою роль играли и идеологические мотивы. Если не говорить о коммунистах, то в Южном Йемене «угнездились» самые левые силы в арабском мире. Это, на мой взгляд, явилось результатом сложения прежде всего двух факторов.

Во-первых, сказалаcь, как любил повторять Исмаил, открытость «внешним ветрам». В межаарабском Движении арабских националистов (ДАН), из которого вырос Национальный фронт Южного Йемена (НФ), изначально действовало левое, марксистское крыло (сам А. Исмаил, группа братьев Баазибов и др.), хотя это отнюдь не совпадало с платформой Движения: в ДАН даже существовал специальный партийный суд, который, в частности, карал за чтение марксистской литературы или общение с марксистами.

Во-вторых, в отличие, скажем, от Индии, англичане в Южном Йемене («маленькая страна — справимся») действовали недальновидно и довели дело до вооруженной борьбы, которая, как и повсюду, и здесь послужила одним из «левообразующих» факторов.

Уже в день провозглашения независимости Генеральное руководство НФ заявило, что Фронт намерен работать «над созданием идейной авангардной партии», которая сможет «руководить массами и обеспечить для них светлое будущее». И 10 лет спустя, вопреки рекомендациям КПСС, была создана Йеменская социалистическая партия (ИСП). Ее идейной основой провозглашались «принципы научного социализма». Исмаилу хотелось даже назвать партию «коммунистической». Настойчивые советы КПСС, предупреждавшей против такого «вызова арабскому, мусульманскому миру», привели лишь к тому, что о марксистско-ленинском характере ИСП было сказано в закрытой резолюции съезда.

Это, конечно, был искусственный или, во всяком случае, искусственно форсируемый, пусть даже с лучшими побуждениями, процесс. Лишь часть руководства и среднего звена партии пришла или же «прислонилась» к марксизму, да еще зачастую погруженному в националистический «раствор». По словам заместителя Генерального секретаря партии С.С. Мухаммеда, в 1986 году из 32 тыс. членов и кандидатов партии 2 тыс. были вовсе неграмотными. И «очень многие», заметил он, «не в состоянии избавиться от кланово-племенных

пережитков». Впрочем, не думаю, что в этом смысле «коренная» прослойка партийных организаций ВКП(б) в Средней Азии в начале 20-х годов отличалась принципиально. Но там действовал российский скелет, российский мозг партии...

В основе отношения руководства НДРЙ к Советскому Союзу, бесспорно, лежали государственные интересы — расчет на помощь и военное сотрудничество, на политическую поддержку в противостоянии постоянному давлению западных держав. К тому же и в арабском мире Южный Йемен чувствовал себя чуть ли не в изоляции, поскольку многие видели в нем «страну-отщепенца», отошедшую от исламских принципов. Причем это касается не только откровенно враждебных Саудовской Аравии и Северного Йемена, прибегавших то и дело к вооруженным вторжениям, но и к Сирии, Ираку и особенно Ливии, которая неоднократно демонстративно прерывала экономическое сотрудничество.

Но ведь стоило только южноийеменцам изменить свою политику, как они получили бы большие выгоды. США и тут использовали политику кнута и пряника. Так, в 1977—1978 годах они попытались вытеснить Советский Союз, используя стремление главы НДРЙ С. Рубейя Али наладить отношения с Саудовской Аравией в расчете на ее финансовую помощь. В октябре 1977 года на сессии Генеральной Ассамблеи ООН с ним встретился Вэнс, а в июне 1978 года, когда Рубейя был смещен, на полпути в Аден с задачей наладить сотрудничество находился эмиссар госдепартамента. Ему пришлось вернуться.

Для меня несомненно, что в позиции южноийеменцев большую роль играли приязнь и доверие к Советскому Союзу, их политический, а в определенной мере и идеологический выбор, обусловившие готовность и желание выступать его союзником.

Советско-южноийеменские отношения развивались довольно безоблачно. НДРЙ поддерживала нашу позицию практически по всем международным вопросам. Мы вообще были ведущими, а южноийеменцы — ведомыми. Но вот парадокс: в этих обстоятельствах наиболее рельефно проступили не только позитивные стороны советской политики, но и ее ошибки, ее минусы. Кстати, именно из Адена в январе 1987 года я послал в Москву пространную телеграмму о крупных изъянах в политике Советского Союза в «третьем мире» и необходимости выработать долгосрочную ее концепцию. Горбачев дал соответствующее поручение МИД, Международному отделу и Госкомитету по экономическому сотрудничеству (ГКЭС). Но события в Союзе вскоре начали разворачиваться столь круто, что тема стала терять актуальность.

Хотя Москва предостерегала от забегания вперед, многие советские советники (партийные, экономические и т.д.), преподаватели (им, а также восточным немцам было отдано на откуп политическое обучение кадров) старались перенести на южноийеменскую почву наш

опыт, привычные им методы управления, формы работы и общения. Они не имели ни возможности, ни времени как следует освоить специфику местных условий, даже если этого и хотели. Скажем, советником Генерального секретаря ЦК ИСП был направлен консультант Организационно-партийного отдела ЦК КПСС. Толковый человек, он, однако, был способен давать полезные советы скорее технического характера. Весь остальной арсенал средств и методов партработы, используемый его отделом, мог оказаться здесь большей частью просто вредным.

Особенно неудачно складывалось экономическое сотрудничество. Это имело негативные политические последствия и потому, что шло своеобразное соревнование «через границу» с Северным Йеменом — Йеменской Арабской Республикой (ЙАР), где действовали западные компании. Верно, экономическое положение НДРЙ было не только тяжелым, но и труднопоправимым. Республика занимала одно из последних мест среди арабских стран (опережая лишь Судан и Северный Йемен) и в мире в целом по производству ВВП на душу населения (120 долл. к концу 60-х гг.). Слишком большие средства тратились на содержание вооруженных сил: как говорил мне Генеральный секретарь ЦК Йеменской социалистической партии А. Бейд, 40 процентов госбюджета, не считая значительных сумм, выделяемых министерству внутренних дел и органам безопасности.

Несмотря на вложенные Советским Союзом многие десятки миллионов рублей, ситуация в южнойеменской экономике скорее ухудшалась. Как и в других странах «третьего мира», здесь фактически вне внимания оставалась проблема эффективности экономического содействия, его влияния на общеэкономическое положение страны. Отсутствовал концептуальный подход, нацеленный на постепенное обеспечение способности экономики развиваться на собственной основе.

Все замыкалось на отдельные проекты, которые не «встраивались» в экономику в целом. В результате сооружение и ввод в эксплуатацию ряда объектов (большой больнично-поликлинический комплекс, консервный завод в Мукалле, работавший на 20 процентов своей мощности, и т.д.) вели лишь к нарастанию бюджетных трудностей. К этому надо прибавить необязательность и неповоротливость наших организаций, непомерное число направленных сюда специалистов и их не всегда высокий профессиональный уровень.

К тому же южнойеменцы не всегда умели защищать свои интересы. Чины из ГКЭС не раз объясняли долгострой, навязывание южнойеменской стороне все новых протоколов, переносящих ранее согласованные сроки, ее неспособностью выполнить свои обязательства (главным образом по части местных капиталовложений). Между тем нереальность этих обязательств была во многих, если не в большинстве, случаях совершенно очевидной с самого начала и, видимо, «закладывалась» нашими ведомствами как удобное для себя оправда-

ние. Это, конечно, не исключало того, что и сами южноемеицы не демонстрировали ни рвения, ни умения в подходе к экономическим проблемам, стремились переложить ответственность на «советских товарищей».

Советские геологи открыли в провинции Шабва нефтегазовое месторождение с запасами, по оценке министра геологии СССР Е. Козловского, в 150 млн. тонн нефти и 1 млрд. кубометров газового конденсата. Это, как и найденные запасы золота, стало основной ставкой южноемеицев на оздоровление экономики. В беседе с Е. Лигачевым А. Бейд назвал проблему нефти проблемой спасения режима.

Однако южноемеицев ждало разочарование: им предстояло столкнуться с нашей системой в действии. Козловский, обходительный, интеллигентный человек с гладко льющейся речью, способный заигноризировать своими ругадами любое начальство, ездил в Южный Йемен едва ли не дюжину раз, уверенным, жизнерадостным голосом давал обещания, но график работ неизменно проваливался. Мало помогло делу и специальное решение о южноемеиской нефти. Предусмотренное соглашением начало промышленной добычи нефти в 1990 году так и не состоялось. А американские компании в то же самое время быстро осваивали североиеиские месторождения.

Вот как оценивал в беседе со мной ход экономического сотрудничества А.С. Бейд: «Даже на этом главном направлении, где мы возлагали столько надежд, мы не уверены. Информации идут противоречивые, делегации приезжают и уезжают, а толку нет. Мы чувствуем, что советское руководство хочет продвижения, но тем не менее его нет. Мы дали все документы. Но мы хотели бы, чтобы приехали люди, способные решать. Действительно, даже вмешательство Лигачева (а это был один из немногих, кто стремился решать практические вопросы) результата не дало». Конечно, эти оценки надо воспринимать с определенной поправкой, но зерно истины в них, думается, есть.

Положение южноемеицев осложнялось периодическими обострениями и без того напряженных отношений с Северным Йеменом, сопровождавшимися подтягиванием войск к границам и вооруженными стычками. В основе лежали несовместимость политических режимов и живое стремление каждого из них к объединению страны, разумеется на собственных условиях. К тому же ЙАР науськивала Саудовская Аравия, которой двигало и стремление ослабить междоусобицей обе части Йемена: не хотелось иметь на своих границах сильное государство с территориальными претензиями к ней (иеицы считали, что Эр-Риад отхватил у них, в частности, оазис Бурейма). В этом же направлении подталкивали Северный Йемен США.

В аденском руководстве страстным поборником объединения был А.Ф. Исмаил, северянин по происхождению. Он не прочь был фор-

сировать объединение, используя, если понадобится, и силовые приемы. Во всяком случае, в событиях начала 1979 года, когда произошло серьезное обострение отношений между Йеменами, Исмаил, в то время глава партии и государства, занимал наиболее воинственную позицию. И именно ему было направлено твердое предостережение советского руководства против силовых акций (даже несмотря на провокации с Севера), переданное мной через человека в посольстве, обеспечивавшего доверительную связь с ним. Москва не раз предлагала и прекратить деятельность руководимого из Адена северийеменского филиала Йеменской социалистической партии, но безуспешно.

В январе 1985 года не без нашего влияния между НДРЙ и ЙАР была достигнута договоренность относительно территориальных споров — о создании зоны для совместной разработки природных богатств.

Таков общий фон, на котором шла почти постоянно, то разгораясь, то затихая, борьба в южнойеменском руководстве, вызванная как личными амбициями, симпатиями и антипатиями, так и политическими противоречиями. В январе 1986 года она привела к ожесточенному вооруженному противостоянию в Адене, которое стоило Йеменской социалистической партии большой крови и, по существу, предопределило поглощение НДРЙ Севером.

Но, прежде чем рассказать об этом, обращусь к двум очень разным фигурам, которым суждено было стать важными, если не основными персонажами будущей драмы: Абдель Фаттаху Исмаилу, Генеральному секретарю ЙСП и Председателю Президиума Верховного народного совета в 1978—1980 годах, и Али Насеру Мухаммеду, занимавшему эти посты в 1980—1986 годах.

Исмаил и при жизни был малоизвестен за пределами арабского мира. Теперь, спустя 10 лет после смерти, — тем более, особенно у нас. Но я испытываю острую потребность рассказать о нем. И не только потому, что к этому побуждает логика моих воспоминаний: в нем воплотились лучшие черты революционера-идеалиста. Это светлая и трагическая фигура из поколения Че Гевары.

Светлая — потому что он был политиком, которым двигали идейные и нравственные мотивы. Революционный романтик, он не делал карьеру через революцию, а революцией жил, связывая с нею торжество свободы и социальной справедливости. Поднявшись к вершинам власти, став вождем, он не утратил ни искренности, ни скромности, не погряз в элитарном самодовольстве, остался чист и неподкупен среди расцветшей коррупции.

Трагическая — потому что идеи, которым А. Исмаил был предан с прямолинейностью, страстью верующего, оказались утопией, не выдержали испытания реальностью мира и собственной страны. А его искренняя любовь к Советскому Союзу, с которым еще в молодости он связал свои революционные надежды, оказалась преданной равнодушно-потребительским отношением к его стране и к нему самому,

хамоватым поведением некоторых советских руководителей. Наконец, жизни ему стоило коварство людей, бок о бок с которыми он боролся многие годы.

В национальное движение А.Ф. Исмаил пришел, когда ему не было и 18 лет. Он один из первых членов общеарабского Движения арабских националистов. Работал на нефтеперерабатывающем заводе в Адене, учился в Каире, где дважды встречался с Насером. Возглавлял наиболее сложный участок вооруженной и политической борьбы против англичан — Аденский фронт. Увлекался левыми взглядами — его называли коммунистом еще в 1967 году, предупреждая прибывшего в Аден британского министра Шеклтона «об опасности участия Исмаила в каких бы то ни было переговорах». В 1969 году стал Генеральным секретарем Национального фронта (НФ).

Невысокий, худощавый мужчина субтильного телосложения, с приятными чертами смуглого лица, отмеченного привлекательной интеллигентностью и освещенного живыми, вдумчивыми глазами. На нем то и дело вспыхивала какая-то смущенная, чуть ли не робкая улыбка.

Был мягок с людьми, но тверд в политике, хотя был порой непрактичен. Ему, подвижнику, не доставало прагматизма, не говоря уже о здоровой доле цинизма — его не было вовсе. Не оратор, он не всегда чувствовал себя уютно в массовой аудитории. Был не лишен черт кабинетного политика, но пользовался огромной популярностью благодаря личному обаянию и контрастной честности. Из множества арабских политиков, которых я знал, он один из немногих, у кого не было диктаторских инстинктов. А из южноафриканских деятелей, наверное, единственный, над кем не довели племенные привязанности. Эрудит по арабским стандартам, с тягой и способностями к теоретическому мышлению, но склонный недооценивать специфику арабских условий. Несомненно, человек не только политической, но и личной храбрости, которую не однажды, и с оружием в руках, доказывал.

Перечитал написанное — получился почти панегирик. Но здесь нет ничего, что бы расходилось с правдой.

Во многих отношениях противоположен ему А.Н. Мухаммед. Крупный, довольно мощного телосложения, энергичный мужчина — энергично ходит, энергично разговаривает. Но кажется, будто эту свою энергию он постоянно взвзвывает, что это манера поведения «на вынос», призванная произвести впечатление. Много смеется, похлопывает в знак дружеского расположения собеседника по плечу. А глаза все время в движении, взгляд словно прыгает с лица на лицо, с предмета на предмет: возможный признак «двухслойного» мышления, лишь один из которых одет в слова, адресованные собеседнику.

Внешне мягкий, располагающий к себе, он был способен к жестокой интриге, что и доказал, развязав кровавые события января

1986 года. Взлетел на вершину власти прежде всего благодаря стечению обстоятельств: противостояние враждующих групп зашло в тупик. Участник партизанской борьбы, человек тщеславный и амбициозный, властолюбец, он как бы подтверждал расхожие представления о восточных властителях — скрытых, мстительных, высоко ценящих радости жизни. Молва приписывала ему покровительство коррупции, свившей гнездо, как утверждали, у него «при дворе» и в его родной провинции Абъян.

Зачинщиком внутренней борьбы в южнойеменском руководстве часто выступал А. Антар — герой вооруженной борьбы против англичан, долгое время министр обороны, сохранивший крепкие связи в вооруженных силах. Этаким местный микробонапарт, неизменно претендовавший на особое положение. В конце 70-х годов он начал поход против Исмаила, который завершился отстранением последнего в апреле 1980 года и приходом на высшие посты в партии и государстве премьер-министра Мухаммеда, не принадлежавшего ни к одной из противоборствовавших группировок. Исмаил, для встречи с которым я летал в мае 1980 года в Варну (Болгария), жаловался мне, что его коварно обманул Мухаммед. Предложив союз против Антара, он в последний момент переметнулся на его сторону, чтобы «самому забраться на вершину».

По просьбе Мухаммеда и руководства ЙСП Исмаил был принят на лечение в СССР на полтора месяца, которые растянулись на 5 лет. Все эти годы Исмаил жил на даче ЦК в Серебряном бору, и я время от времени навещал его. Почти все приезжавшие считали необходимым посетить «опального» — тропа к нему не зарастала: он был хорошо осведомлен о происходящем в Южном Йемене.

Мухаммед, сосредоточив в своих руках посты генсека, президента и премьер-министра, повернул к созданию режима личной власти: расставлял на ответственные посты преданных людей, вытеснял и даже устранял физически противников, под разными предлогами препятствовал возвращению из Москвы Исмаила. Между тем экономическое положение ухудшалось, нарастало и давление извне. Возник противостоящий Мухаммеду блок во главе с тем же Антаром. Обвиняя Мухаммеда в нарушении принципов коллегиальности и узурпации власти, антаровцы стали искать поддержки Исмаила, призывая к его возвращению, заявляя, что в 1980 году совершили «историческую ошибку».

В сентябре 1983 года Антар приезжал в Москву, и после беседы с ним Исмаил мне сказал, что не верит в раскаяние Антара, но допускает возможность использовать его, чтобы вернуться домой. Он считал, что, если «поставить Мухаммеда в рамки партийной законности», с ним «можно работать».

Популярность Исмаила, и так достаточно высокая, росла на фоне самоуправства Мухаммеда и расцветшей коррупции. Мухаммеду при-

шлость уступить, и в марте 1985 года Исмаил вернулся в Аден. Однако вопреки договоренности между ним и Мухаммедом он был назначен заведующим отделом ЦК и не введен в Политбюро.

Положение продолжало обостряться по мере приближения очередного съезда ЙСП, намеченного на октябрь 1985 года. Оппозиция получила поддержку большинства членов партии, в том числе в вооруженных силах. По итогам съезда Мухаммед оказался в меньшинстве в Политбюро, а Исмаил был избран его членом и секретарем ЦК. Оппозиция стала требовать перераспределения постов в партийно-государственном руководстве, а Мухаммед — искать радикального выхода.

Москва предпринимала активные усилия, стремясь предотвратить кризис. Неоднократные «профилактические» беседы были проведены с Исмаилом перед его отъездом на родину и в Адене: я и мои коллеги убеждали его сотрудничать с Мухаммедом, не дать использовать себя в беспринципной фракционной борьбе. Он обещал и своего обещания не нарушил. Тема «умиротворения» и нормализации обстановки в руководстве НДРЙ неизменно присутствовала на переговорах советских и южнoйеменских лидеров. Обсуждалась она и на беседе Андропова с А.Н. Мухаммедом в августе 1983 года в Крыму — последней встрече Юрия Владимировича с зарубежным деятелем. Она мне запомнилась особенно отчетливо — не из-за содержания беседы, а из-за сопутствовавших ей обстоятельств.

Мы — Пономарев и я — приехали на дачу, где отдыхал Андропов, раньше иностранных гостей. Меня поразило обилие охраны: и «на посту», и невдалеке от дома, где предстояла встреча. Юрия Владимировича мы застали на балконе. Он сидел, задумчиво глядя куда-то вдаль. Беседу Андропов провел в своем обычном стиле: убедительно аргументировал, уважительно держался по отношению к собеседнику. Затем последовал обед, по окончании которого Юрий Владимирович поднялся и пошел к двери, чтобы попрощаться с гостями. Но, едва протянув руку Мухаммеду, резко побледнел — лицо приобрело меловой оттенок — и пошатнулся. Наперное, Андропов бы упал, если бы его не поддержал и не усадил на стул один из охранников. Другой принялся поглаживать его по голове. Все это продолжалось не более минуты, потом Юрий Владимирович встал и как ни в чем не бывало попрощался с гостями. А после их ухода еще 5–10 минут разговаривал с нами, обмениваясь впечатлениями о прошедшей беседе.

В апреле 1985 года Мухаммед, принимая советскую делегацию, довольно прозрачно намекнул мне на свою готовность использовать силу. Отвечая, я не только сказал о неправомерности и опасных последствиях подобного шага для страны, но и предупредил, что Советскому Союзу будет трудно сохранить отношения с НДРЙ. Подобный же разговор у меня состоялся и с Антаром во время его пребывания в Москве.

Тем не менее дважды, в мае и августе, поступала информация о реальной угрозе вспышки гражданской войны и дважды мы принимали срочные меры. 23 мая было направлено обращение к Мухаммеду, Исмаилу и Антару с призывом к сдержанности и урегулированию разногласий в рамках «партийной законности». Состоялись также две беседы с министром обороны НДРЙ С.М. Касемом. По просьбе советского руководства Аден посетили и провели «умиротворяющие» беседы палестинский лидер Н. Хаватме, который хорошо знал южнотийменских деятелей по Движению арабских националистов, и первый секретарь ЦК Иракской компартии А. Мухаммед. 30 августа советское руководство вновь обратилось к Мухаммеду с настоятельным призывом к сдержанности и поиску политического решения проблемы.

Эти шаги, очевидно, сыграли свою роль: в мае—августе столкновение не состоялось. Однако, судя по информации, которая всплыла впоследствии, в конце декабря Мухаммед принял окончательное решение физически расправиться с лидерами оппозиции. Он побывал в Аддис-Абебе, где Менгисту, который уже имел опыт подобного обращения с политическими оппонентами, видимо, поддержал или даже подсказал это решение. Да и сама акция, предпринятая Мухаммедом, очень напоминает проделанное Менгисту девятью годами раньше: она развивалась по тому же сценарию. Правда, Менгисту в беседе с нами 26 июля 1986 г. утверждал, будто рекомендовал Мухаммеду созвать чрезвычайный пленум ЦК, с чем тот якобы согласился.

День 13 января 1986 г. в здании ЦК ЙСП начался как обычно. К 11 часам утра — времени начала заседания Политбюро — стали съезжаться его участники. Без десяти одиннадцать они уже заняли свои места: ждали Али Насера Мухаммеда. Как обычно, ближе к 11-ти во двор въехала автомашина Генерального секретаря и, как обычно, в комнате заседания появился Мубарак Салем Ахмед, начальник его охраны, неся кейс Мухаммеда и термос с чаем. Но, подойдя к столу, за которым обычно сидел генсек, и поставив на него термос, охранник выхватил из кейса автомат и открыл огонь по сидящим. К нему присоединился стоявший в дверях другой охранник Мухаммеда. Погибли члены Политбюро Антар, министр обороны Касем, председатель контрольной комиссии Али Шайи. Я сам видел потом изрешеченные пулями стены — своего рода памятник этой бойни. Одновременно подошли к берегу катера, обстреляли ряд городских объектов, в том числе дом Исмаила, и вступили в дело более 500 вооруженных сторонников Мухаммеда из его родной провинции Абъян, которые были тайно введены в Аден и укрыты в губернаторском комплексе. Сам же Мухаммед ждал развязки в 70 километрах от Адена.

Но плану Мухаммеда не суждено было осуществиться прежде всего из-за осечки убийц. Исмаил, раненный в ногу Бейд и

С.С. Мухаммед (будущие генсек ЦК ЙСП и его заместитель) уцелели и с помощью собственных охранников ускользнули, забаррикадировавшись в одной из комнат (Бейд подтащил к двери огромный металлический стол, который потом не смог даже сдвинуть с места), откуда Исмаил по телефону сообщил о случившемся военным. Затем через окно они выбрались на улицу, и верный себе Исмаил сел, чтобы сражаться, в бронетранспортер, который вскоре был сожжен. Исмаил, считается, погиб, но тело его так и не нашли.

В городе завязались ожесточенные бои, которые продолжались почти две недели и привели к большим разрушениям и жертвам. Мухаммед проиграл и с группой сторонников бежал за границу. Он и по сей день в эмиграции, теперь в Дамаске.

Террористическая акция Мухаммеда застала нас врасплох. Такого от него мы не ожидали. И несколько часов в Москве верили версии Мухаммеда: в «Правде» было даже воспроизведено официальное заявление о провале направленного против него «заговора». Но затем последовала неделя лихорадочных усилий, в которые было вовлечено высшее руководство страны: надо было положить конец кровопролитию и обезопасить находившихся в Адене наших людей.

Трудность состояла в том, что в Адене практически не с кем было разговаривать — все смешалось в «дыму сражений», руководители либо погибли, либо оказались отрезаны от связи. К счастью, в эти дни в Москве находился премьер-министр Южного Йемена Ат-тас, который стал активно с нами сотрудничать. По нашей инициативе и с нашей помощью он несколько раз обращался по радио с призывом к борющимся сторонам отложить оружие и приступить к переговорам. Одновременно была организована эвакуация советских работников, было вывезено 1250 человек.

Между тем «стреляющие» стороны апеллировали к Москве, призывая к отходу от нейтральной позиции и энергичному вмешательству. На этот счет пришлось отнести и такой нетривиальный ход, как обстрел нашего посольства, который вряд ли был случайным. А 21 января к ночи — очевидно, когда стал обозначаться перевес сил, противостоящих Мухаммеду, — временный поверенный в делах НДРЙ в СССР А.С. Мухаммед передал по телефону следующее сообщение на мое имя от А.Б. Баазиба, человека из окружения южно-йеменского президента:

«Первое. Сообщите товарищу Брутенцу, что положение очень серьезное, самое опасное и трагическое. Улицы заполнены трупами. Бои переходят с улицы на улицу. В захваченных кварталах городов уничтожаются все поголовно. Даже посольства СССР и Эфиопии подвергаются обстрелу. Борьба продолжается и будет продолжаться. Эта фашистская группировка не сможет править страной с помощью танков. Положение вовсе не такое, каким его описывает кое-кто (примечание А.С. Мухаммеда: имеется в виду премьер-министр

НДРЙ Атлас), так как у него другие цели. Второе. Невмешательство советских товарищей сейчас будет трагедией, несчастьем.

Тов. Брутенц! Необходимо вмешательство для прекращения боища, причем срочное.

Я ожидаю вашего согласия на прибытие в Москву со вчерашнего дня».

Голоса в пользу активного вмешательства звучали и у нас, к счастью не слишком влиятельные. Бои прекратились лишь тогда, когда одна из сторон одержала верх. Да и неудивительно: слишком велика была ярость, вызванная предательством Мухаммеда. К тому же в Южном Йемене не впервые внутренние распри решались кровавым путем: традиция, идущая, наверное, еще от племенных нравов, живуча.

Р. Гартофф в книге «Великий переход» утверждает, что «США предупредили Советский Союз против вмешательства (в Южном Йемене.—К.Б.), а он, в свою очередь, сделал такого же рода представление США»²⁹. Ни того ни другого не было. У Москвы не было никаких резонов «предупреждать» Соединенные Штаты, которые не имели ни малейшей возможности вмешаться здесь. Правда, «предупреждения» в рамках пропагандистских войн делаются и в таких случаях. Но Москва и не помышляла в связи с этими событиями сделать Вашингтон козлом отпущения.

Это, впрочем, не помешало американцам и некоторым деятелям в других западных, а также арабских странах выступить с утверждениями, будто за событиями в Южном Йемене стоит Советский Союз. В ход были пущены и откровенные фальшивки. Приведу один, но довольно показательный пример. Журнал «Экспресс», распространившийся в смежном с НДРЙ регионе — в Кении, Сомали, Джибути, Саудовской Аравии и других странах Залива, — вскоре после событий опубликовал «ориентировку-задание» — телеграмму, якобы направленную 18 ноября 1985 г. резидентам КГБ начальником Первого Главного управления КГБ В. Крючковым. Для придания достоверности под этим опусом красовалась подпись «Алешин» — фамилия, которую тот действительно нередко использовал в своей переписке³⁰, и «контрольный номер 417-342». Вот выдержки, которые дают возможность читателю самому составить представление о подобных подметных листках:

«На основании полученных от вас данных, сведений других источников, а также указаний из отдела товарища Брутенца Центром разрабатывается план действий по укреплению позиций СССР в стране

²⁹ Raymond L. Garthoff. Op. cit. — P. 731.

³⁰ Одна эта деталь уже говорит, что к этой «операции» приложила руку какой-то разведка.

вашего пребывания... Наши действия на данном этапе не должны выглядеть как вмешательство во внутренние дела суверенных арабских государств Аравийского полуострова. Именно по этой причине мы просили товарища Менгисту посетить НДРЙ в целях оказания содействия заключению соглашения, удобного для всех заинтересованных сторон, чтобы избежать окончательного раскола Йеменской социалистической партии на ее последнем съезде. ...В политическом плане наши основные трудности по-прежнему связаны с личностью Али Насера Мухаммеда. Он и его правые уклонисты продолжают набирать силу в стране в ущерб советско-йеменским отношениям. ...Мухаммед пытался изолировать преданных социализму людей в государственном аппарате страны. Предприняв позорную попытку вернуть НДРЙ на путь феодализма, Мухаммед назначил преданных ему людей на ключевые государственные посты, попытался заручиться поддержкой соседних феодальных государств и западных стран и прекратил помощь братским социалистическим группировкам в Омане и Северном Йемене. Он даже собирался восстановить отношения с Соединенными Штатами в ущерб нашему стремлению к сотрудничеству. Он намеревался отказать нам в базах... Он даже потребовал нашей финансовой помощи для оплаты услуг западных фирм, которые помогли бы НДРЙ стать экономически независимой от Советского Союза. Мухаммед также способствовал росту недовольства среди населения НДРЙ политикой СССР и спровоцировал выступления против нашего присутствия в стране и критику нашего образа жизни. ...Понимая необходимость смещения Мухаммеда, мы стоим перед трудным выбором кандидата на этот пост. Абдель Фаттах Исмаил, видимо, мог бы стать естественным преемником Мухаммеда, но он очень болен и не способен управлять такой сложной страной, как НДРЙ. В то же время, поскольку он сам из Северного Йемена, он мог бы благоприятно отнестись к нашей копейной цели объединения Северного и Южного Йемена в одно социалистическое государство. Разрабатываемый нами план предусматривает столкнуть Мухаммеда с Али Антаром, Касемом и их левыми сторонниками. Мы будем готовы к быстрому вмешательству и обеспечим военную и психологическую поддержку. ...Лично к вашему сведению сообщаем, что мы планируем провести аналогичную операцию в Эфиопии. Эта операция предусматривает замену Менгисту, который начал проявлять правый уклонизм, товарищем Легессе Асфаяу, верным приверженцем социализма...

В сопровождавшей фальшивку статье говорилось: «Документ КГБ дает еще одно солидное свидетельство советского двоедушия в отношениях с так называемыми братскими странами... Как показали последующие действия, Советы действовали безнаказанно в Адене, демонстрируя поразительное безразличие к последствиям своих акций»³¹.

³¹ Express. — Vol. 3. — No 1. — P. 23.

Как видно, «документ» составлен довольно топорно, его содержание полностью противоречит реальным фактам. Неуклюже и объяснение того, как попал этот опус в редакцию «Экспресса». Он, мол, случайно очутился в руках некоего сомалийца в числе секретных документов, брошенных в посольстве³² бежавшими после начала боев советскими дипломатами. И только в самом конце статьи мы из невинной фразы узнаем о связи журнала с американскими корреспондентами.

Январские события сыграли фатальную роль. Южный Йемен был непоправимо ослаблен и вскоре, лишенный поддержки Советского Союза, стал легкой добычей ЙАР.

Для меня эта печальная история имела продолжение. Поздней осенью 1987 года в Адене предстоял процесс над январскими заговорщиками. В Москву поступила информация о вероятности большого числа смертных приговоров. Это было бы не только жестокой, но и политически вредной акцией, способной закрепить и усилить раскол и вражду в обществе. Принимая Бейда и оговорившись, что «суд, конечно, ваше внутреннее дело», Лигачев рекомендовал поступить «мудро».

Я думаю, это произвело определенное впечатление. Тем не менее в Адене все же намеревались вынести 31 смертный приговор. Тогда решили направить в НДРЙ представителя КПСС — продолжить уговоры. Выбор пал на меня, и начиная с 21 декабря в течение нескольких дней я старался «увещивать», на финальном отрезке в довольно жестком тоне, А. Бейда и других южнойеменских руководителей. Успех был неполным — из 31, а затем из 17 смертников все же осталось 5, в том числе начальник охраны Мухаммеда, заместители министров госбезопасности и обороны³³.

С южнойеменской темой в памяти прочно сцеплено и событие в моей партийной карьере. Март 1986 года, идет XXVII съезд КПСС. На третий или четвертый день вдруг приглашают к «руководству». Меня вводят в просторную комнату справа от сцены (если смотреть из зрительного зала), где за длинным столом сидит почти все наше начальство. Мне задали несколько относящихся к Южному Йемену показавшихся пустяковыми вопросов и отпустили. Недоумевая, вернулся на рабочее место (мы обычно сидели за кулисами, в гримборных). Но Загладин, человек многоопытный по части аппаратно-дворцовых интриг и повадок высшего начальства, разъяснил: «Это

³² Между тем посольство СССР в Адене продолжало функционировать, никто из дипломатов не «бежал» и ничего там «не бросал».

³³ В этих долгих и трудных, порой с затаенным смыслом разговорах неоценимую помощь мне оказала отличная переводчица и к тому же, что тоже было безразлично для собеседников, очаровательная женщина, Т.С. Степанова.

смотрины». Он оказался прав: меня избрали кандидатом в члены ЦК КПСС, и я пребывал в этом качестве до следующего съезда.

И на выходе из «арабского лабиринта» — еще об одном персонаже ближневосточного политического ландшафта: о Хусейне, короле Иордании. Я не раз встречался с ним, был его гостем, летал с королем в Акабу у Мертвого моря.

Маленького роста, хорошо сложенный человек, с петоропливыми, уверенными и даже изящными движениями, с лицом, которое часто складывается в улыбку. Прост и даже обаятелен в обращении, он явно не страдает нередким у низкорослых людей комплексом неполноценности: ни тени высокомерия, радушен, внимателен к собеседнику. Обладает редким, я бы сказал, аристократическим качеством: одинаково ровно, непринужденно и с достоинством ведет себя как с королями и президентами, так и с простыми бедуинами. Наверное, и поэтому пользуется среди населения популярностью. Стремление к самовыражению, к сильным ощущениям, очевидно, определяет любовь Хусейна к «движущейся» технике. Он легчик, вертолетчик, автомобилист и мотоциклист, притом лихой. Наш посол Юрий Грядунов, будучи у премьер-министра Шарифа Зейда, стал свидетелем того, как во двор его особняка влетел на мотоцикле король, далеко обогнавший охрану.

Человек и правитель пелеской судьбы. На его глазах в 1948 году в иерусалимской мечети Аль-Акса палестинец застрелил деда Абдаллу — как «предателя». Правит королевством, где 60 процентов населения составляют палестинцы. И это постоянно рождало у лидеров Израиля — и не только у них — опасный соблазн за его счет решить «палестинский вопрос».

Хусейн — изворотливый, никогда не «сжигающий своих кораблей» ни на одном направлении политик. Если попытаться одним словом определить смысл и цель всей политической деятельности короля за 40 лет пребывания на троне, это — «выживание», личное и его государства. Дело архисложное, поскольку опасности подстерегали почти отовсюду.

С одной стороны, Израиль с его планами за счет королевства избавиться от самой проблемы палестинцев («за 24 часа», говорили и Бегин, и Шамир). С другой — палестинское Движение сопротивления, которое пробовало установить контроль над Иорданией, и только бойня, учиненная по приказу короля отрядам ООП в 1970 году («черный сентябрь»), предотвратила это. С третьей — давление «братских» арабских государств, особенно соседей, пажим фундаменталистов.

Хитроумный и прагматичный, решительный и осторожный, гибкий и настойчивый, Хусейн выжил, выжило и его королевство. Король как-то сказал мне: «Мы не дали себя затоптать среди великих».

Правда, король не был одинок. Ему помогали и его оберегали. У него были тесные связи — некоторые скажут, слишком тесные — с американцами (их присутствие ощущается весьма весомо, о моем разговоре с наследным принцем Хасаном посольство США, как мне рассказывали, информировали в тот же день) и англичанами. Он никогда не прерывал контактов с Израилем, невзирая на реакцию внутри и извне, получал поддержку от властителей нефтяных монархий.

Лишь однажды, но по-крупному, ему изменили осторожность и расчет. И лишь в одном, но крупном деле он потерпел неудачу. В сезон «Бури в пустыне» король мне до сих пор не вполне ведомо, почему — солидаризировался с Саддамом Хусейном. Из-за этого подвергся остракизму, но опять-таки выжил, был прощен. Ему также не удалось — теперь это уже очевидно — реализовать мечту: сохранить привязанность к себе бывших своих подданных на оккупированном Западном берегу реки Иордан и вернуть его в лоно королевства.

В заключение не могу не сказать, что от Советского Союза на Ближнем Востоке осталось солидное, хоть и небезупречное наследство. И это может служить своего рода итогом советской ближневосточной политики. Речь, прежде всего, идет о весьма разветвленной структуре связей и доверительных контактов, каких не имело, пожалуй, ни одно другое государство. Для многих арабских стран СССР стал партнером номер один. Его влияние на Ближнем Востоке было вполне сравнимо с американским, несмотря на несопоставимость экономических потенциалов. И оно помешало США подобрать все англо-французское наследство в регионе.

Хотя СССР выступал как союзник лишь одной группы арабских государств, его позиция помогла всему арабскому миру закрепить самостоятельность. В результате сформировались устойчивые симпатии к нашей стране, сложилось сознание взаимной необходимости в сотрудничестве. Наши народы, по сути дела, впервые вошли в довольно широкое и близкое соприкосновение. Ныне десятки тысяч арабских семей имеют в своем составе хотя бы одного россиянина, и это самый ценный и самый долговечный «капитал». Крупная заслуга политики тех лет — поддержка палестинского дела и лично Арафата.

Я думаю, для объективной оценки арабской политики Советского Союза и ее плодов отнюдь бесполезны суждения — притом высказанные уже в наши дни — президента Х. Мубарака — деятеля, никогда не принадлежавшего к радикальному крылу арабского политического мира и весьма лояльного к США. Мало этого, они были даны накануне визита египетского президента в Москву в сентябре 1997 года и его встреч с российскими лидерами, непосредственно причастными к ликвидации СССР, и уже потому их никак не отнести

к разряду дипломатических любезностей. «Мы, — говорил Мубарак, — очень хорошо помним ту огромную помощь, которую нам оказал Советский Союз. Этого мы никогда не забудем»³⁴.

Бесспорно, советская ближневосточная политика имела и свои изъяны, если не пороки. Главный из них — она, как и политика США, была встроена в систему биполярной конфронтации, подчинена ее целям, ее перипетиям. В перестроечные времена в рамках общего пересмотра внешней политики Советского Союза и ответного изменения американской позиции эта стратегия была отброшена. Сделался возможным запуск процесса мирного урегулирования (сентябрь 1991 г. — Мадридская конференция), где СССР выступал ко-спонсором.

Но уже тогда появились первые признаки ослабления его роли на ближневосточной сцене по мере осложнения положения в стране. Это отчетливо проявилось в ходе кризиса, вызванного иракской агрессией против Кувейта (в том, как он развивался, какими методами разрешался), и в некоторых сторонах двусторонних отношений с арабскими странами, особенно государствами Залива. Хотя позиция Советского Союза определялась принципиальными соображениями, перед лицом своих экономических проблем он практически был вынужден искать финансовой благодарности от этих государств.

Саудовская Аравия предоставила в июне 1991 года несвязанный финансовый кредит в размере 750 млн. долларов, а Кувейт в январе 1991 года — 550 млн. долларов (без взимания процентов в первые четыре года). Еще 200 млн. долларов предоставил Оман. ОАЭ же обещали инвестировать в СССР 1 млрд. долларов, но советская сторона не представила перечень возможных объектов. В ходе визита Е. Примакова в сентябре 1991 года Кувейт согласился проработать вопрос о несвязанном кредите в сумме 500 млн. долларов, а ОАЭ — предоставить такой кредит. С просьбой о дополнительном займе в размере 1 млрд. долларов обратились и к Саудовской Аравии. В октябре 1991 года, принимая меня, король Саудовской Аравии Фахд заявил о намерении изучить в благожелательном духе эту просьбу.

С распадом СССР процесс ослабления наших позиций в регионе ускорился и расширился. Разумеется, немалую роль сыграли утрата статуса сверхдержавы и дальнейшее ухудшение ситуации в России. Но по крайней мере столь же негативное воздействие имела установка на то, чтобы крушить едва ли не все наработанное прежде как «греховное», подчинять политику идеологическим мотивам, пусть и с обратным знаком, заикленность на американском направлении — и на этом фоне довольно пренебрежительное отношение к арабскому азимуту.

Серьезный ущерб престижу России — а он на Востоке играет особую роль — причинило и впечатление о несамостоятельности

³⁴ Независимая газета. 1997. — 23 сент.

нашей политики. Дело ведь дошло до того, что российская дипломатия в избыточном рвении одна из первых солидаризировалась с американской бомбежкой Багдада, от чего откристились иные союзники США. А министр обороны Грачев умудрился даже посетить оккупированные Голанские высоты.

Были свернуты политические связи, исключительно редкими стали взаимные визиты российских и арабских руководителей. В экономическом сотрудничестве не только усугубились существовавшие проблемы, но и наступил общий упадок, от которого не спас и некоторый рост торговых связей по линии частного сектора. Неиспользованными остались возможности его укрепления, созданные благодаря политическому капиталу, приобретенному в связи с кризисом в Персидском заливе. Seriously пострадало и военное сотрудничество.

Иначе говоря, Россия, выступившая правопреемницей Советского Союза, не сумела по-хозяйски распорядиться его арабским наследством. Ее позиции в регионе и соответственно роль в миротворческом процессе были подорваны. Американцы, длительное время деликатно сохранявшие декорум, уже давно действуют одни в открытую. И долгожданный прогресс в урегулировании сопровождается прогрессирующим вытеснением России.

Между тем, хотя Советский Союз исчез с карты мира, не исчезли наши теперь уже российские государственные интересы в арабском мире. Это прежде всего мотивы безопасности, но это также политические и экономические интересы.

Мне уже не раз доводилось писать о том, что России «пора возвращаться на Ближний Восток»³⁵. Теперь уже — давно пора. Конечно, сохраняющийся немоги России и далее будут тормозящим фактором. Тем не менее есть и благоприятствующие обстоятельства. Крепнет тенденция корректировки однонаправленного внешнеполитического курса, пробуждается активность по заброшенным азимутам, все очевиднее стремление вновь обрести собственную арабскую политику.

И у арабской стороны было время ощутить чувство потери, заново взвесить совпадение важных российских и арабских интересов в однополярном мире, полезность, даже необходимость взаимного сотрудничества в целях их защиты. Как подлинным интересам арабов не нужна была американо-советская конфронтация, так им и невыгодно встраивание России в кильватер политики США. Ее роль как балансирующего фактора незаменима. Это все яснее осознают в арабском мире и потому огорчены ослаблением российского влияния и внимания.

У России уникальный облик в политико-психологическом плане. В ее послужном списке нет антиарабских страниц. Она никогда не вступала в военное противостояние с арабами и не запятана ни

³⁵ Опубликованная почти четыре года назад, 4 октября 1994 г., моя статья в «Независимой газете» так и называлась.

крестовыми походами, ни колониальными экспедициями. И все еще живы воспоминания о проарабской политике СССР.

Ныне впервые существует возможность развития тесного сотрудничества, свободного от деления на своих и чужих, вбирающего в свое русло и сближающего в нем Израиль и арабские страны. Россия с ее культурным и духовным наследием, от которого тянутся нити не только к евреям, но и к арабам, может сыграть весомую роль в наведении мостов доверия между вчерашними антагонистами.

В силу всех этих обстоятельств Россия в состоянии послужить серьезным стабилизирующим фактором в регионе, в какой-то степени умеряющем гегемонистские амбиции США.

Распад Советского Союза дал возможность США реализовать заветную цель — установить на Ближнем Востоке свою неоспариваемую гегемонию. «Буря в пустыне» позволила не только наказать агрессора и восстановить суверенитет Кувейта, но и продемонстрировать мощь военного кулака Вашингтона, преподать на будущее урок всем, кто вознамерился бы действовать вне американских схем.

Соединенным Штатам, бесспорно, принадлежит серьезная заслуга в налаживании процесса ближневосточного урегулирования. В то же время «имперскими» чертами своей политики они сеют семена напряженности в регионе и наращивают взрывоопасный потенциал.

«Буря в пустыне» сопровождалась беспрецедентной экспансией военного присутствия США на Ближнем Востоке. Ныне они имеют свои опорные пункты, базы, склады оружия, военнопослужащих в Египте, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Катаре, Бахрейне, и это не может не вызывать недовольства в арабском мире. В обмен на военную и экономическую помощь США удерживают в русле своей политики Египет. США поставляли и поставляют Эр-Риаду на десятки миллиардов долларов испужного ему, но нужного американцам оружия. Биллу Клинтону достаточно позволить, чтобы в обход иностранных конкурентов миллиардные контракты были отданы американским корпорациям АТТ (1994 г.), «Боингу» (1996 г.) и т.д. Кстати, по неполным данным, «Буря в пустыне» обошлась саудовской казне более чем в 50 млрд. долларов, что послужило одной из основных причин финансовых трудностей королевства. Официально США защищают Саудовскую Аравию от внешней угрозы. На самом же деле они страхуют и подпирают послушную им феодально-абсолютистскую монархию в обмен на дешевую нефть³⁶ и систематическое подпитывание американского военно-промышленного комплекса, для которого Саудовская Аравия служит своего рода «дойной коровой».

³⁶ В итоге цена на нефть определяется в значительной мере Вашингтоном, а не ее производителями, которые фактически в этом смысле финансируют США, Запад в целом.

Выступая «брокером» в миротворческом процессе, США, однако, не отказываются от ориентации на Израиль как локальную опору своего доминирования на Ближнем Востоке (что позволяет некоторым кругам в Израиле рассчитывать на его «субгегемонию»). Я уже не говорю о манере, в которой держатся зачастую США и их официальные представители, — бесцеремонной и безапелляционной.

Но ведь против всех этих нынешних реальностей работает само время. И надо обладать недюжинной самоуверенностью и слепотой, если думать, что так может продолжаться долго, каким бы потенциалом ни обладали Соединенные Штаты.

В грядущих переменах, особенно если они примут конфликтный характер, Россия призвана сыграть умиротворяющую, конструктивную роль. Бесспорно, восстановление связей с арабами не будет ни быстрым, ни легким: утраченные позиции вернуть не просто. К сожалению, бесспорно и то, что ни в обозримом, ни в необозримом будущем России не удастся иметь на Ближнем Востоке влияние, сравнимое с тем, которым пользовался Советский Союз. Но она может и должна вернуться в регион в качестве одной из держав, которые имеют здесь солидные позиции и играют важную роль.

4. НЕМНОГО О ДАЛЕКОЙ АЗИИ

Я уже упоминал о том, что Международному отделу довелось принять активное участие в нормализации отношений с Южной Кореей. Произошло это и потому, что МИД, скорее лично Шеварднадзе, занимал здесь блокирующую позицию. Злые языки даже утверждали, будто нанесший визит Ким Ир Сену Эдуард Амвросиевич дал ему «слово коммуниста», что Советский Союз не пойдет на установление отношений с Южной Кореей. Правда, подтверждающих это «бумаг» я не видел.

Инициативу проявил А.Н. Яковлев. Это было одним из первых его поручений в роли секретаря ЦК КПСС, курирующего международные связи. «Видимо, первое предложение принципиального характера мы внесем по Южной Корее», — писал он мне 19 октября 1988 г. Подготовленную в отделе записку Яковлев забраковал, и поделом: она была слишком робка и традиционна. Второй вариант был иным и получил одобрение.

В начале июня 1989 года в Москву «под крышей» приглашения от Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) прибыл председатель южнокорейской Партии воссоединения Ким Ен Сан (избранный впоследствии президентом Республики Корея). Это был первый южнокорейский политический лидер, приехавший в Советский Союз.

Во время первой нашей встречи 6 июня Ким Ен Сан заявил, что его приезд в Москву отражает растущее понимание в Сеуле необходимости развития отношений между нашими странами, горячим сторонником чего он является. Гость выдвинул идею об обмене парламентскими делегациями, а также вузовскими представителями и студентами. Он обратился с просьбой разрешить живущим на Сахалине советским гражданам корейской национальности, выходцам из Южной Кореи, посетить родину, а примерно 200 из них, преклонного возраста, и остаться там. Такой конкретный результат визита важен для сдвига в отношениях и лично для него, сказал Ким Ен Сан. Он, наконец, сообщил, что руководство Северной Кореи напра-

вило в Москву для встречи с ним члена Политбюро, секретаря ЦК Трудовой партии Хо Дама.

Просьба Ким Ен Сана была удовлетворена, хотя это оказалось нелегким делом: мы натолкнулись на сопротивление некоторых наших ведомств. В письме ко мне Ким Ен Сан называл нашу встречу «полезной для расширения взаимопонимания в отношении будущих перспектив советско-корейских отношений».

В феврале следующего года МИД представил новую концепцию политики в отношении Южной Кореи. Нам с Черняевым пришлось написать критический отзыв. Я привожу нашу записку на имя Горбачева с некоторыми сокращениями:

«Представленная концепция несет на себе печать некоторой традиционности или даже консерватизма, а также противоречивости. В документе развитие связи с Южной Кореей остается излишне подчиненным сохранению в нынешнем виде наших отношений с существующим режимом в КНДР... Совершенно очевидно, что нынешний режим в КНДР в тупике. Из этого не делается, однако, должных выводов с точки зрения модификации нашего курса, с тем чтобы не только не повредить нашим связям с КНДР, но и не компрометировать нашу политику перед лицом мирового общественного мнения и авторитарных сил, потенциально зреющих в этой стране.

Нам не следует становиться заложниками политики Пхеньяна. Ким Ир Сен не воспользовался шансом положить конец холодной войне в Корее. Ставка по-прежнему делается на силовую политику. Руководство КНДР объявило разрядку вредной для малых стран и открыто призывает население к «свержению фашистской клики Ро Дэ У».

Особостораживает ядерная программа, тайно осуществляемая в КНДР с нашей помощью... Если прежние военные провокации Пхеньяна не раз подводили Корею на грань войны, грозившую втягиванием в нее СССР как союзника КНДР, то ее доступ к ядерному оружию повлечет за собой непоправимые последствия для всей системы безопасности, сложившейся в АТР после второй мировой войны, нанесет ущерб престижу Советского Союза. Необходимы решительные шаги с нашей стороны для предотвращения такого развития событий.

Видимо, совершенно неуместно делать ставку на КНДР как нашего стратегического союзника на случай военных осложнений в Азии... Кого мы там собираемся защищать, «социализм» Ким Ир Сена? И вообще, исходим ли мы из мирной перспективы, которая лежит в основе всей нашей нынешней политики, или в этом регионе мы придерживаемся иной позиции?

Один из основных рычагов воздействия на ситуацию в Корее, которым располагает советская сторона, это строительство наших отношений с Южной Кореей.

Сейчас настало время сделать очередной шаг — решительно приблизить сроки установления консульских отношений с Южной Кореей

в полном объеме и идти к полной нормализации политических отношений. Четыре социалистические страны — Венгрия, Польша, Югославия и Чехословакия — признали Южную Корею. Рано или поздно и мы будем вынуждены поступить таким же образом. Но если это будет сделано слишком поздно, мы не получим ни политического, ни экономического выигрыша, а сделаем лишь вынужденный ход».

Фактически наши отношения с Южной Кореей развивались в русле, предложенном в этой записке. В марте 1990 года состоялся второй визит Ким Ен Сана в Москву. На этот раз в составе делегации был первый государственный министр по политическим вопросам Республики Корея Пак Чхер Он — посланец президента Ро Дэ У. Мне было поручено встретиться с ним и принять конфиденциальное сообщение президенту СССР. Состоявшаяся 22 марта 1990 г. встреча с Пак Чхер Оном поначалу не предвещала ничего хорошего. Мой собеседник заявил, что возникла трудно объяснимая для южнокорейского президента ситуация и его послание, очевидно, вручать не придется.

У нас иной раз одна рука не всдаёт, что делает другая. Произошла незапланированная встреча Ким Ен Сана с Горбачевым — он как бы случайно зашел в кабинет Примакова, где находился южнокореец. С точки зрения Пак Чхер Она, это явилось нарушением дипломатического протокола, поскольку беседа с главой советского государства произошла без вручения послания президента Республики Корея. К тому же это была встреча с политическим противником Ро Дэ У и ведущим деятелем оппозиции.

Мне стоило большого труда успокоить собеседника, убедить, что беседа пошла мимоletный характер и не означает невнимания к Ро Дэ У. В конце концов Пак Чхер Он согласился вручить послание. В нем южнокорейский президент заявлял, что «ныне есть необходимость в скорейшей нормализации советско-южнокорейских отношений во имя стабильности и мира на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, расширения экономического сотрудничества между нашими странами» и что «наступил момент, когда это может быть претворено в жизнь».

Министр добавил, что Ро Дэ У просил передать Горбачеву также следующее. Он убежден: настало время покончить с напряженностью в Корее, закрыв тем самым последнюю страницу истории холодной войны. Президент твердо взял курс на диверсификацию внешнеполитических связей и интересов Республики Корея, что уже привело к укреплению ее самостоятельной позиции на международной арене и нормализации отношений со многими социалистическими странами. Ро Дэ У намерен последовательно придерживаться этого курса, надеется, что его усилия замечены Советским Союзом и Южную Корею уже не воспринимают в качестве чьего-либо сателлита.

Ро Дэ У определенно настроен на поддержку крупных проектов сотрудничества южнокорейского бизнеса с СССР. Однако в развитии

политических и экономических отношений должен существовать параллелизм. Южнокорейский бизнес высоко оценивает экономические возможности СССР и с большим интересом относится к проектам крупных инвестиций на Дальнем Востоке и в Сибири. Но бизнесмены пойдут на связанный с этим большой риск только при наличии соответствующих правительственных гарантий, для чего нужен и адекватный уровень политических отношений.

Пак Чхер Он подчеркнул, что политика Ро Дэ У не направлена на подрыв, а тем более на свержение системы Ким Ир Сен — Ким Чен Ир. Главное сейчас — обеспечить стабильность и мир на полуострове, сосуществование и совместное процветание. Мы ориентируемся, сказал министр, на вывод американских войск из Кореи примерно в середине 90-х годов. В связи с этим встает проблема прекращения гонки вооружений на Севере и Юге. Она могла бы легче решиться, если бы СССР и Южная Корея установили между собой дипломатические отношения, а США и Япония нормализовали свои отношения с КНДР.

Южнокорейская сторона, продолжал собеседник, считает возможным использовать в интересах военной разрядки на полуострове меры доверия на европейский образец, ее тревожит информация о планах разработки ядерного оружия в КНДР. Министр просил нас побудить Северную Корею подписать с МАГАТЭ соглашение о контроле над ее ядерными объектами.

Пак Чхер Он предложил создать совместный экономический комитет для разработки, а затем и реализации проектов развития. При этом он не исключал привлечения рабочей силы и из КНДР. Министр заявил, что для конфиденциальных переговоров по названным проблемам готов прибыть в Москву в мае или июле — августе во главе небольшой делегации.

Через три дня по поручению Горбачева я вновь принял Пак Чхер Она, чтобы передать ответ на послание Ро Дэ У. Было, в частности, сказано, что Горбачев разделяет мысль о необходимости дальнейшего развития отношений между нашими странами, с интересом воспринял соображения о конкретизации экономических связей и дает согласие на приезд делегации. Советский президент надеется также на нормализацию обстановки на Корейском полуострове, которая отвечала бы интересам всех народов региона, и будет этому содействовать.

Мы условились с посланцем Ро Дэ У о каналах для дальнейших контактов.

По итогам пребывания делегации Ким Ен Сана и переговоров с Пак Чхер Оном Черныев и я обратились с запиской к Михаилу Сергеевичу, где высказывались «за пересмотр нашей линии в отношении Южной Кореи». Мы писали: «Проводившаяся до сих пор политика поэтапного подхода к нормализации связей с этой страной не дает ожидаемого эффекта ни в политической, ни в экономической сфере.

Фактически мы шаг за шагом идем к признанию Южной Кореи, не получая взамен никаких существенных преимуществ. Между тем весомость акта признания — а это является главной целью, которую преследуют южнокорейцы, — с течением времени уменьшается. Южная Корея уже признана почти что всеми государствами Восточной Европы (исключая ГДР и Албанию), а также Монголией, и с их помощью южнокорейцы намереваются проникнуть в ООН. Не получаем мы благодарности и со стороны руководства КНДР, которое со своих «твердолобых» позиций негативно воспринимает любые наши контакты с Сеулом, бомбардирует нас протестами...

Беседы в Москве с южнокорейскими политическими деятелями и бизнесменами¹ подтвердили: не оправдывается расчет на то, что поэтапное движение к нормализации послужит своего рода эффективным прессингом, побуждающим южнокорейцев платить за каждый наш шаг ощутимыми подвижками в экономическом сотрудничестве. Не только правительство попридерживает дело, но и сами южнокорейские бизнесмены не рискуют идти на серьезные капиталовложения.

С учетом всего этого представляется целесообразным использовать идею, которую предложили, практически от имени президента, южнокорейцы: подвести под нормализацию наших отношений конкретный экономический фундамент в виде совершенно определенных экономических проектов. Иначе говоря, вопрос о дипломатическом признании Южной Кореи урегулировать в одном пакете с решением крупных вопросов экономического сотрудничества. Такая увязка позволила бы нам проверить и серьезность южнокорейских намерений.

Важен также другой аспект этой проблемы. Думается, мы не можем игнорировать тот факт, что разрядка не затронула по-настоящему Корейский полуостров. Корейцы на Севере да в какой-то мере и на Юге еще не отказались от мысли решить силой вопрос национального воссоединения... Наверное, настало время перевернуть и эту страницу истории, написанную в эпоху холодной войны. Нормализация отношений между СССР и Южной Кореей поведет к повороту от конфронтации на Корейском полуострове к созданию условий для мирного развития.

Остается вопрос о северокорейцах. Не говоря даже о том, что нам не пристало целиком ориентироваться на их позицию, что связи с Ким Ир Сеном стали для нас довольно обременительными в политическом и моральном плане, вряд ли стоит драматизировать возможную реакцию Пхеньяна. Его потенциал в этом смысле весьма ограничен, и северокорейцы едва ли могут выйти за рамки диплома-

¹ Я имел, в частности, продолжительную и доверительную беседу с одним из «китов» южнокорейского бизнеса, президентом компании «Лакс-Голд стар» Ку Пхен Хве, который почти слово в слово повторил то, что содержалось в послании Ро Дэ У.

тических протестов, которыми мы и сейчас не обделены. Разумеется, нам следует оставаться достаточно лояльными к северокорейскому режиму и наши намерения в отношении Сеула не должны быть неожиданными для руководства КНДР».

Президент записку одобрил. Были предприняты решительные шаги, которые, кстати, вызвали неудовольствие и даже протесты Шеварднадзе: в июне 1990 года в Сан-Франциско Горбачев встретился с Ро Дэ У. Министерство иностранных дел, учитывая позицию и даже протесты его главы, при этом было обойдено.

Южнокорейские, а затем и японские хлопоты были частью моего основательного погружения в дела, связанные с этой частью мира. Это стало не только следствием моих новых служебных обязанностей, но главным образом поворота советской политики к Азиатско-Тихоокеанскому региону, который до этого Москва особенно не баловала вниманием, хотя его растущее значение не заметить было нелегко.

Поступавшая информация с мест, беседы с государственными и общественными деятелями «оттуда», несколько поездок в регион, участие в составе советской делегации в сессии АСЕАН², куда она была приглашена впервые, побудили критически взглянуть на нашу деятельность в АТР. Итогом стала направленная Горбачеву записка, которую он послал министру иностранных дел СССР с поручением «заняться разработкой плана действий на этом направлении».

Мне кажется, мои размышления шли в правильном направлении: «Общее впечатление (от обстановки в АТР и позиции стран АСЕАН. — *К.Б.*) однозначное: большой и мало используемый нами запас доброжелательности в отношении Советского Союза, активное стремление иметь нас (и Китай) деятельным партнером в рамках как двустороннего, так и регионального сотрудничества, включая проблемы безопасности».

Судя по всему, причин тут несколько. Во-первых, желание государств АСЕАН, обретающих — на базе впечатляющего экономического прогресса — кренущую уверенность в себе и вкус к самостоятельной политике, играть более весомую роль прежде всего в азиатской политике, разнообразить свои международные возможности. Во-вторых, стремление в определенной степени урановесить американское, а частично и японское влияние, противостоять заметно возросшему после событий в Персидском заливе и довольно бесцеремонному давлению США, требующих политических и экономических уступок. В-третьих, растущий интерес к экономическому сотрудничеству с Советским Союзом, в том числе в нетрадиционных формах, наряду с готовностью поделиться опытом перехода к рыночной экономике в условиях, во многом аналогичных нашим (многонациональный состав

² Организация, в которую ныне входит Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Сингапур, Бруней, Вьетнам.

населения, социальная нестабильность, отсутствие соответствующих навыков и кадров, попытки западников механически посадить свою модель и т.д.). В-четвертых, активный отклик на нашу идеологизированную внешнюю политику и исчезновение советской «угрозы», живая симпатия к перестроечным процессам и заинтересованность в их успехе, смешанная, правда, с тревогой: неудача привела бы, по их мнению, к «паку американца».

Думается, было бы целесообразно:

1. Заметно усилить внимание к этому региону, выводя его из разряда «бедных родственников» нашей политики (в том числе в смысле контактов на ответственном уровне). При упорной, последовательной работе это может принести немалые дивиденды и в сфере двусторонних отношений, и в региональном плане, в АТР в целом. Наверное, это окажется бесполезным и для американского направления советской политики, «пощекочет» японцев, побуждая их к большей гибкости в отношениях с нами.

Страны АСЕАН настроены на упорное противодействие нажиму со стороны США и Японии, которые пытаются не допустить прошикования СССР. («Американцы, — сказал мне Правиро, индонезийский министр-координатор, фактический премьер-министр, — резко возражали против вашего приглашения на сессию АСЕАН. А мы это сделали, потому что хотели этого, но также наперекор им»). Они очень обеспокоены ослаблением позиций Советского Союза и стремятся со своей стороны вовлекать его в дела региона.

Интенсифицировать нашу политику в районе АСЕАН уместно и потому, что на фоне намечившегося урегулирования в Камбодже здесь обстановка существенно меняется в лучшую сторону, и государства региона намерены динамизировать свою внешнюю политику (и в частности, привлечь к себе Вьетнам, который они, по словам министра иностранных дел Индонезии Алатаса, попробуют «взять экономически на буксир»). Эту во многом новую ситуацию уже учитывают другие государства: резко наращивает свою активность Япония, пенамного отстают США, по региону снуют французские эмиссары и т.д.

Причем мы могли бы действовать тут в какой-то мере параллельно с Китаем. В Куала-Лумпуре китайский мининдел, подчеркнув значение и перспективность АСЕАН, как «весьма жизненной» региональной организации, заявил: «У нас с вами в отношениях с АСЕАН нет противоречий ни в интересах, ни в целях».

2. АСЕАН и его участники (Индонезия, Малайзия) могут служить каналом проработки и продвижения нашей концепции безопасности в АТР. Сейчас, видимо, следует сосредоточиться на каких-то, пусть внешне небольших, конкретных шагах по линии укрепления безопасности, мер доверия и т.д., притом не обязательно общерегионального (в плане АТР) характера. На данном этапе именно они могут оказаться наиболее эффективными. Страны АСЕАН, вероятно,

будут готовы сотрудничать в этом деле, особенно если выступают в качестве инициаторами тех или иных предложений. Вряд ли случайно то, что они на только что прошедшей сессии фактически отклонили предложение Японии обсуждать вопросы безопасности в рамках ежегодного «диалога 6+7» (АСЕАН+США, Япония, ЕЭС, Южная Корея, Австралия, Канада), то есть без Советского Союза и Китая.

3. Видимо, назрела нужда в разработке стратегического плана нашей работы в АТР, скажем до конца 90-х годов. Это позволило бы более четко представить себе наши цели в гармонии с нашими возможностями, определить последовательность и планомерное развитие конкретных шагов, ведущих к этим целям, гарантировало от импровизаций, от спонтанных инициатив, не встроженных в общую схему работы либо нереалистических. Составление такого плана можно было бы поручить МИД в сотрудничестве с другими заинтересованными ведомствами, с учеными и с участием вашего аппарата.

4. Организовать серьезное и целенаправленное изучение экономических возможностей (и опыта) стран региона, который нами совершенно не освоен. Судя по всему, уже созданный их потенциал позволяет СССР наряду с развитием торговых отношений начать переходить и к более сложным формам экономического сотрудничества. Некоторые местные фирмы проявляют интерес даже к инвестициям в советскую экономику. Но для всего этого потребуются, разумеется, энергичные усилия с нашей стороны, преодоление пассивности, неподготовленности и попросту незнания наших ведомств, которые были очевидны и в ходе поездки, их односторонней ориентации на западные фирмы. Важно было бы помочь в этом плане среднеазиатским республикам, особенно Узбекистану, к которым здесь по понятным причинам особое отношение.

5. В регионе очень заинтересованы в обстоятельной, правдивой и достоверной информации о положении в СССР и наших намерениях. Представители руководства обеих стран настойчиво расспрашивали о развитии событий в Советском Союзе, о «прочности положения» президента, о перспективах заключения Союзного договора. Видно было, что они питаются исключительно западной информацией и тяготеют к ней. Не менее волнует вопрос, не уступим ли мы американцам внешнеполитическую инициативу, не станем ли с готовностью следовать за ними и в этой связи не «уйдем» ли из региона, оставив страны АСЕАН «одни на один» с США и Японией».

К сожалению, многое и из этого осталось на бумаге.

В этой главе я привел несколько своих официальных записок с критикой разных сторон советской внешней политики. Но, разумеется, я не был прозорливым одиночкой. Наверняка подобные же мысли бродили также у других, они мелькали в кулуарных разговорах. Но документов подобного рода я не видел да и рассказываю о своих «деяниях».

5. ОБ АФГАНСКОМ ПОХОДЕ

По должности к афганским делам я отношения не имел, их курировал Р. Ульяновский. Но Пономареву случалось привлекать меня к вопросам, которые выходили за пределы моей «епархии». И после переворота 17 апреля 1978 г. в Афганистане я частенько выступал тут «дублером» Ростислава Александровича, так что был в курсе событий и дважды сопровождал Бориса Николаевича, ездившего туда в сентябре 1978-го и в июле 1979 года. Видел Н. Тараки, Х. Амина, Наджибуллу, М.А. Ватанджара, С.М. Гулибзоя, С. Кештманда, О. Сарвари, других, в большинстве своем уже погибших людей, чьи имена светились на небосклоне «сауровской революции». Ведь ее история — это прежде всего мартиролог.

Но пишу эти строки не для того, чтобы анализировать события или пересказывать ход войны в этой несчастной стране. Задачу вижу в ином: попытаться на основе личного соприкосновения с происшедшим, контактов с американскими «делателями» политики того времени и некоторых документов внести свою лепту в понимание того, как рождалось злополучное решение о вводе советских войск.

Теперь уже, пожалуй, общепризнано, что свержение Дауда, первоначально приписывавшееся «руке Москвы», явилось сюрпризом для советского руководства. Отношения КПСС с Народно-демократической партией Афганистана (НДПА) были сравнительно недолгими (с 1967 г.), нерегулярными и прохладными. В Москве знали о ней недостаточно и не слишком на нее полагались, скорее, сдерживали воинственных лидеров НДПА. В Межведомственном разведывательном меморандуме США от 28 сентября 1979 г. находим такие строки: «Мы не имеем убедительных свидетельств, подтверждающих утверждение, что Советы стояли за переворотом, который привел к власти марксистов. СССР, несомненно, был главной вдохновляющей силой и источником финансовой поддержки¹ для афганского комму-

¹ Неправда: НДПА никогда не получала финансовой помощи от КПСС и к этому не стремилась.

нистического движения с момента его возникновения в начале 50-х годов. Но Советы всегда были озабочены воздействием, которое поддержка ими афганских коммунистов могла бы иметь на отношения с афганским правительством, и были исключительно осмотрительны в своих прямых связях с ними. Действительно, Москва никогда не признавала официального существования афганской компартии, не разрешала им присутствовать на международных партийных встречах, даже инкогнито².

Руководство НДПА не посвящало нас в собственные планы — сказывались скрытность, независимый характер, а возможно, и опасения, что советские лидеры не одобряют его намерений. Их устраивало положение Афганистана, который все годы холодной войны играл роль нейтрального буфера, склонявшегося в сторону Советского Союза.

Да и сам переворот был в определенном смысле импровизацией. К нему готовились, но состоялся он не по расписанию, не в час, назначенный заговорщиками, его навязали внешние обстоятельства: правительство начало массовые аресты членов партии. Мне сам Амин говорил — а он возглавлял военную организацию НДПА, — что ему удалось передать сигнал к выступлению через малолетнего сына, который сумел ускользнуть из дома, где уже находилась полиция.

Кстати, нелегко удержаться от искушения сказать, что в апрельских событиях определенная заслуга принадлежит американцам. Известно, что именно по совету посла США в Кабуле Ньюмена и после встречи с ним Дауд предпринял массовые репрессии против коммунистов, послужившие толчком к вооруженному выступлению.

Сама НДПА и вслед за нею мы называли сауровский переворот революцией. Да и американское посольство в Кабуле в своих шифровках так же именовало апрельские события без кавычек. И он действительно мог бы перерасти в революцию, если бы были успешно проведены преобразования, в которых остро нуждался Афганистан.

Советскому Союзу предстояло определиться по отношению к новому режиму. После некоторых колебаний и связанного с этим недолгого трехдневного выжидания Москва его поддержала. Разумеется, сыграли свою роль идеологические, доктринальные соображения. В новой власти все-таки задавали тон представители партии, хоть и дальней, но родственницы. Но главное, подчинились соблазну иметь послушного союзника на южной границе, в стратегически важном районе, расширить и далее свой «лагерь». Кроме того, смещено было правительство, которое в предшествующие несколько лет под американским влиянием, «транслировавшимся» через Иран, Пакистан и Саудовскую Аравию, начало отступать от прежней ориентации на Москву.

² Soviet Options in Afghanistan. Interagency Intelligence Memorandum. 1979. — 28 Sept. — P. 5.

В США и Западной Европе режим 17 апреля называли, по крайней мере публично, коммунистическим. И это вполне объяснимо хотя бы пропагандистскими соображениями в рамках холодной войны. Однако эту этикетку нередко сохраняют и теперь, особенно в России. На самом деле то была своеобразная, даже странная смесь пуштунского национализма с марксистской идеологией в ее догматической упаковке³. Причем коммунистические идеи имелись в виду использовать как ключ к проблемам национального возрождения и подъема. Иначе говоря, речь шла об определенной социальной «технологии», используемой в целях модернизации, как она представлялась людям, пришедшим к власти.

Поначалу афганские события казались типичным эпизодом, характерным для времен холодной войны и «перетягивания каната» между двумя сверхдержавами. Советский Союз использовал случай — один из тех, которые возникали прежде всего в условиях «третьего мира», где происходило смещение крупных общественных пластов, шли серьезные перемены, нередко принимавшие форму острых конфликтов.

На самом же деле, поддержав новый режим, СССР стал заложником сектантских, незрелых и неуравновешенных сил, которые были не в состоянии контролировать. Москва угодила в ловушку, вступив в игру, в которой приходится все время увеличивать ставки, не имея возможности ни направлять ее, ни, тем более, выиграть.

Спокойно воспринявшая переворот страна вскоре стала проявлять признаки тревоги, которая переросла в активное недовольство политикой новых властей: ширились репрессии, гонениями на духовенство, которые воспринимались как война против ислама, исклужим и неподготовленным вторжением в специфический уклад деревенской жизни (земельная реформа, отмена калыма⁴, подрывавшая основу материального существования многих семей — его получателей, совместное обучение и т.д.). К тому же многие мероприятия, даже назревшие, проводились с чрезмерным рвением, в бескомпромиссной форме, нередко с применением насилия.

Еще до захвата власти руководство партии психологически освоило «технику» и «технологию» деятельности компартии: ее люди постепенно проникли в различные управленческие структуры, в правительственные ведомства и в особенности в армию. Но вот с политикой — с ней дело обстояло куда хуже.

Кремль пытался, но безуспешно, воздействовать на своих «подопечных» по крайней мере в том, что касалось репрессий, расширения политической и социальной базы режима и придания ему, хотя бы

³ Небезынтересно, что из 21 члена нового кабинета, созданного после 17 апреля, 10 учились в США и только трое — в СССР.

⁴ Плата за невесту, на что молодые люди и их семьи вынуждены были копить средства годами.

внешне, коалиционного характера, нахождения модуса вивенди с определенными кругами духовенства, отказа от поспешных радикальных преобразований. Необоснованные репрессии были одним из главных вопросов, настойчиво ставившихся Пономаревым в сентябре 1978 года в беседах (я на них присутствовал) с Тараки, а также с Амином. И оба они, хотя и оправдывали применявшуюся практику, обещали учесть московские рекомендации (чего, разумеется, не сделали).

Другим предметом переговоров были взаимоотношения между соперничавшими течениями в НДПА — «Парчам» («Знамя») и «Хальк» («Народ»). Объединившись в 1977 году (НДПА была создана в 1965 г.), они, тем не менее, даже пренебрегая судьбами режима, продолжали междоусобную войну. Летом 1978 года парчамисты провели тайный съезд, где поставили задачу взять в свои руки власть.

Противоречия между группировками были не только и, пожалуй, не столько политического плана, сколько личного и, условно говоря, социального. Среди парчамистов большинство составляли выходцы из интеллигенции и сравнительно обеспеченных групп. Среди халькистов — из более низших слоев, не случайно они занимали доминирующие позиции в армии: военная карьера была наиболее доступным способом выбраться из бедности, занять положение в обществе. Были и иные причины, для нас малопонятные. В частности, Амин признавался Н. Симоенко, заведующему сектором нашего отдела, что ненавидит Бабрака Кармалю, так как тот из аристократов, сын губернатора да и «полукровка» — наполовину индеец. Словом, в НДПА существовало практически тройное разделение: среди халькистов были сторонники и Тараки, и Амина.

В июне—июле 1978 года фракционная борьба вылилась в чистку парчамистов. Как и в 1937—1938 годах в СССР, значительная часть репрессированных приходилась на товарищей по партии. Начальник службы безопасности, член Политбюро НДПА Сарвари, например, пытал члена Политбюро, вице-премьера Кештманда. Настойчивые усилия Москвы, неустанно добивавшейся единства НДПА, ни к чему не привели. Безрезультатной оказалась и миссия Б.Н. Пономарева, убеждавшего Тараки и Амина прекратить «чистки». В решении от 12 апреля 1979 г. (№ 149/XIV) Политбюро констатировало, что «афганские руководители, проявляя недостаточную политическую гибкость и отсутствие опыта, далеко не всегда и не во всем учитывали эти (КПСС. — К.Б.) советы».

Американцы в упомянутом Межведомственном разведывательном меморандуме от 28 сентября 1979 г. также отмечали: «Советы убеждали Тараки и Амина искать политические методы разрядки положения. Они убедили правительство отказаться от программы земельной реформы. Но они не смогли повернуть вспять некоторые другие социально-экономические реформы, введенные Тараки и Амином,

которые оттолкнули глубоко религиозные афганские племена»⁵. А в октябре 1980 года в подобном же меморандуме признали: «Афганцы игнорировали советские советы замедлить их усилия по построению социализма в Афганистане. Хафизулла Амин... был особенно своеволен в этом отношении»⁶. Афганские лидеры поступали так не только по независимости характера или из упрямства. Они понимали, что советское руководство стало в некотором роде их заложником и не бросит их на произвол судьбы.

Хотя советские рекомендации были, несомненно, здравыми, Москва тоже способствовала, пусть и не в решающей степени, воцарению в умах афганских лидеров путаницы, толкавшей их к экстремистским глупостям. У нее не было четкой и последовательной установки на неуместность социалистических «порывов» в Афганистане. А кое-кто в руководстве и аппарате ЦК был готов думать о его социалистическом развитии на манер то ли советской Средней Азии, то ли Монголии.

На одном из совещаний — еще до ввода наших войск — зашла речь о заявлении Бжезинского относительно того, что максимум, на что США могли бы пойти, это «превращение Афганистана в азиатскую Финляндию». Г. Корниенко сказал, что такой вариант мог бы вполне нас устроить. Однако Борис Николаевич тут же воскликнул: «Как можно сравнить Афганистан и Финляндию? Ведь Финляндия — это капиталистическая страна». «А что, — спросил Корниенко, — Афганистан уже созрел для того, чтобы быть социалистической страной?» На что тут же, вторя Пономареву, откликнулся Ульяновский: «В мире сейчас нет такой страны, которая не созрела бы для социализма».

В марте 1979 года, когда была отвергнута просьба о вводе войск, Андронов определял ситуацию в Афганистане как «не созревшую для социалистической революции», а Громыко рассуждал «об отсутствии там революционной ситуации». Но уже в решении Политбюро от 12 апреля говорилось: «С нашей стороны должно и впредь делаться все от нас зависящее, чтобы помочь правительству ДРА... стабилизировать положение в стране, укрепить свое влияние и повести за собой народные массы по пути социалистических (выделено мной.

К.Б.) преобразований». А в декабре подчеркивалось: «Для нас совершенно ясно, что Афганистан не подготовлен к тому, чтобы сейчас решать все (!) вопросы по-социалистически». Вывод об отсутствии ясного понимания ситуации напрашивается сам собой.

Кроме того, давая советы по политическим и социальным проблемам — организация власти на местах, земельная реформа, образование и т.д., — мы нередко слепо копировали советскую практику,

⁵ Soviet Options... — P. 9.

⁶ Director of Central Intelligence «The Soviet Invasion of Afghanistan: Implications for Warning». Interagency Intelligence Memorandum.— 1980.— Oct. — P. 10.

в частности в условиях Средней Азии, которые многие считали, в том числе и наши востоковеды, близкими к афганским. Между тем такая «пересадка» чужеродных методов зачастую имела довольно печальные последствия. Б. Кармаль — правда, уже после бегства из Афганистана — утверждал, что часть наших советников склоняли его к насильственным сталинским методам и левачеству в экономике.

Не повезло «сауровской революции» и на лидеров. Тараки, поэт и бывший учитель, человек относительно мягкий и не лишенный обаяния, претендовавший на роль «отца нации», пользовался в стране уважением, особенно среди образованной части общества. Но он плохо подходил к роли, которая выпала ему на долю. Заметно недоставало волевого пачала, некоего «стерженька» в характере, к тому же он пристрастился к алкоголю.

Я дважды участвовал во встречах с ним, и у меня создалось впечатление, что победа в апреле ввергла его в состояние затянувшейся эйфории. Он явно наслаждался своим положением, я бы даже сказал, утонал в самодовольстве. В стране всячески раздувался культ его личности. В сентябре 1978 года Тараки принимал нас в день своего 62-летия. Газеты вышли с цветисто-хвалебными статьями, пространно сообщали о преподнесенном 62-этажном торте, в одной из них я насчитал шесть его фотографий. Он был искренен в своем политическом и идеологическом выборе и, может быть в силу характера, менее склонен к эксцессам и экстремизму и уже поэтому ближе стоял к нам.

Иное дело — Амин. Очень тонкий покров марксистских идей едва скрывал его яростный пуштунский национализм. Возможно, и менее идеологизированный, чем Тараки, он, однако, исповедовал жесткие, условно говоря, сталинистские взгляды⁷, одобренные характерными для Афганистана привычками и формами поведения, на которых лежала печать господствовавших здесь отсталых отношений. Амин, очевидно, безгранично верил в силу, крепко усвоив известную формулу о насилии как повивальной бабке истории. Он говорил, что хорошо знает характерные черты афганцев, любил повторять: афганец думает одно, говорит другое, и делает третье, и полагал, что в Афганистане добиться своего можно, лишь ведя бескомпромиссную политику и используя кулак. Считал себя пролетарским революционером, представителем обездоленных афганцев.

Амин, безусловно, был более сильной и волевой личностью, чем Тараки: ясный ум, независимый, честолюбивый и властолюбивый нрав, хорошие организаторские способности, умение привлечь и привязать к себе людей. Он был очень жесток. Амин производил впечатление: я до сих пор ясно вижу его статную фигуру, красивое

⁷ Все авторы не забывают подчеркнуть, что в его кабинете висел портрет Сталина, и делают из этого далеко идущие выводы.

смуглое лицо, которое украшали живые глаза и седые виски, переходившие в черную как смоль шевелюру. Амин называл Тараки «учителем», но в душе считал себя, наверно, более достойным способным стать во главе «сауровской революции».

И Тараки, и Амин ориентировались на Советский Союз, рассчитывали на его помощь и поддержку. Они верили в него и, можно сказать, черпали в советском опыте вдохновение. Но приведу один характерный факт, в котором, думается, отчетливо проявилась разница между ними в этом вопросе.

Вскоре после апрельских событий, в середине мая 1978 года, по просьбе афганцев в Кабул приехала небольшая группа наших специалистов во главе с Н. Симопенко: ознакомиться с положением в государственном и партийном аппаратах, определить, какую помощь и в каких формах было бы целесообразно оказать в организации их деятельности, имея в виду прежде всего техническую сторону дела. Если Тараки давал установку ничего не утаивать от делегации, то позиция Амина была заметно сдержанней. Он, видимо, считал, что работу государственной машины не следует выворачивать наизнанку, делиться с нами всеми сведениями. В результате группа вернулась, лишь частично выполнив намеченную задачу.

Москва относилась к афганским лидерам довольно сдержанно, как и приличествует «старшему брату». Но определенная степень доверия существовала, особенно первоначально, хотя не было полного контакта в том, что касалось развития обстановки в Афганистане.

Между тем она осложнилась. Росло недовольство, возникло и стало шириться вооруженное сопротивление, получавшее все более щедрую помощь из Пакистана, Саудовской Аравии и Египта, которые действовали с благословения и при направляющем участии США. К этой «работе» подключился и Китай. Из афганцев, спасавшихся от военных действий бегством в Пакистан, под опекой местной разведки, а также ЦРУ формировались отряды моджахедов⁸.

Американские спецслужбы еще до «сауровской революции» оказывали поддержку антиправительственным формированиям на пакистанской территории, используя это как средство давления на Дауда. Она значительно усилилась после его свержения. Возросло и количество передаваемого вооружения. В сентябре 1979 года Вэнс даже

⁸ 2 февраля 1979 г. «Вашингтон пост» опубликовала информацию свидетеля о том, что по крайней мере 2 тыс. афганцев проходят подготовку на бывшей базе пакистанской армии, охраняемой пакистанскими патрулями. Это не помешало Соединенным Штатам 13 марта 1979 г. «предупредить» Советский Союз против вмешательства в Афганистане (*Washington Post*. — 1979. March 24), а 2 апреля в специальном заявлении госдепартамента опровергать «советские утверждения о лагерях подготовки в Пакистане как «клеветническое»».

направлял телеграмму в посольство США в Кабуле, где выражал озабоченность по поводу активности американских официальных лиц в лагерях беженцев в Пакистане.

В начале апреля 1979 года Специальный координационный комитет (SCC) под председательством Бжезинского, преодолев, по его словам, оппозицию госдепартамента, решил «проявлять больше симпатий к афганцам, борющимся за независимость». Принятая программа «помогала финансировать, координировать и облегчать продажу оружия и связанную с этим помощь из других источников». Бжезинский в своих мемуарах признает, что сам «консультировался с саудитами и египтянами относительно вооруженной борьбы в Афганистане». Сенатор Черч в докладе сенатскому комитету, сделанном по возвращении из Афганистана в 1984 году, писал: «В январе 1980 года Соединенные Штаты подтвердили наличие поставок оружия афганской оппозиции в Пакистане, как это предусмотрено программой тайных операций ЦРУ».

Впрочем, большинство американских официальных лиц того времени и политологов предпочитают до сих пор отрицать очевидное или отделяваться туманными формулировками. Это вновь проявилось на конференции в Осло⁹. Так, бывший директор Центрального разведывательного управления С. Тэрнер заявил: «Летом 1979 года мы обратились к президенту, чтобы получить одобрение для тайных операций в Афганистане... Помощь состояла в оказании пропагандистской и медицинской поддержки, но не включала вооруженную поддержку, снабжение оружием, обучение и т.д. ...Наши тайные операции в Афганистане до декабря 1979 года сводились к довольно вялым действиям, имевшим целью предоставить повстанцам некую разновидность помощи, но в действительности она была очень ограниченного характера».

Между тем на заседании Специального координационного комитета 17 декабря 1979 г. (SCC7482) (т.е. еще до ввода наших войск в Афганистан), на котором присутствовали вице-президент В. Мондейл, министр обороны Г. Браун, заместитель государственного секретаря У. Кристофер, начальник Объединенного комитета начальников штабов генерал Д. Джонс, заместитель Бжезинского, глава службы Совета национальной безопасности (СНБ) по советским делам генерал Б. Одом и сам адмирал Тэрнер, было принято решение «вместе с пакистанцами и англичанами рассмотреть возможность улучшения финансирования, снабжения оружием и средствами связи повстанцев, чтобы сделать возможно более дорогим продолжение Советами их действий». Об этом напомнил в Осло Геир Люндесталд, генеральный секретарь Комитета по Нобелевским премиям, заметив, что и в мему-

⁹ Я заранее приношу читателю извинения за приводимые далее странные выдержки из состоявшейся дискуссии, но, думаю, собственные американские заявления — это лучший способ прояснить истину.

ах Бжезинского есть указание на «нечто», происходившее и до декабря. Одом, человек, как говорилось, с репутацией «ястреба», признал: «Вы указали на важные доказательства».

Но Тэрнер продолжал маневрировать: «Пакистанцы, конечно, делали, тут нет вопросов, но мы в этом не участвовали». Впрочем, и эта далекая от откровенности фраза, подтвердив то, что раньше адмирал отрицал, дала мне основание заметить: «Я могу рассматривать это как подтверждение моего заявления о том, что вы не нуждались в вовлечении напрямую, потому что кто-то другой делал это для вас». Бжезинский признает в мемуарах, что уже после ввода наших войск в Афганистан на заседании Совета национальной безопасности были сформулированы «планы дальнейшего (выделено мной. — К.Б.) сотрудничества с Саудовской Аравией и Египтом относительно Афганистана».

Уже в самом начале афганской эпопеи стали вырисовываться контуры замысла определенных кругов США: поглубже затянуть СССР в афганское болото и до известной степени сковать его там, заставив заплатить максимальную цену — военную, экономическую, человеческую и морально-пропагандистскую. В наиболее беззастенчивой манере это сформулировал конгрессмен Гарри Вильсон (лоббист программ финансирования тайных операций в Афганистане): «Во Вьетнаме было 58 тысяч мертвых американцев, и мы должны вернуть это русским»¹⁰. У. Кристофер, тогда заместитель госсекретаря, ездил на пару с Бжезинским в Пакистан по «афганским делам». Как раз во время этой поездки, в феврале 1980 года, Бжезинский китайским автоматом в руках позировал фотографам на афгано-пакистанской границе.

Именно в рамках этого замысла всячески стимулировалось повстанческое движение, наращивалась помощь моджахедам.

Забегая вперед, скажу: следуя этому же курсу, влиятельные американские круги, как ни неправдоподобно это выглядит на первый взгляд, были заинтересованы в акции Москвы и ждали ее не без нетерпения, стараясь «не спугнуть». «Уже в декабре 1979 года, говорил в Осло в сентябре 1995 года, ссылаясь на слова Б. Одома, бывший сотрудник госдепартамента Дж. Хершберг, — некоторые в администрации считали, что в американских интересах заставить Советы заплатить максимально возможную цену в Афганистане». Да и сам Одом в беседе со мной на следующий день прямо сказал, что «они» очень хотели, чтобы «советские вползли» в Афганистан, и старались ничего не делать, чтобы этому помешать. Он подтвердил это также на конференции, заявив: «Моей реакцией, как и других, было, что, если они заберутся туда, мы сумеем доставить им неприятности. И было бы очень хорошо, если бы это произошло». Навер-

¹⁰ Bob Woodward. Op. cit. — P. 357.

ное, действовал и послевьетнамский мотив: «Мы же «вляпались» во Вьетнаме, так пусть они «вляпаются» в Афганистане».

После таких заявлений в Осло, обнаживших позицию влиятельных деятелей картеровской администрации, М. Гаррисон, советник-посланник США в Москве в период афганских событий, сказал: «Я получил сегодня вечером определенный ответ на вопрос, который меня волнует уже ряд лет: почему «собака не лаяла» в Вашингтоне в первые три недели декабря 1979 года. Иначе говоря — с учетом всей информации, которая имела в распоряжении, относительно того, что Советы думают и готовятся сделать в Афганистане, — почему Соединенные Штаты на самом высшем уровне не сказали что-либо Советам на самом высшем уровне, даже если бы это оказалось бесполезным. Мне всегда казалось, что это нельзя отнести на счет некомпетентности. Позвольте проиллюстрировать, почему у меня возник этот вопрос. 13 декабря мы получили в Москве письмо президента Картера Брежневу относительно кампучийской границы, которое, в соответствии с указанием, передали в Министерство иностранных дел. Но если вы собирались послать письмо относительно Кампучии, почему не послать письмо об Афганистане?»

Комментарии, наверное, излишни. И у выступавшего вслед за этим молодого американского исследователя, сотрудника Национального архива безопасности М. Зубока, были все основания предъявить счет не только советским, но и американским политикам: «Может быть, для Билла Одома все было к лучшему, но я не могу не думать, что мое поколение страдало из-за этого несколько лет. По существу, лидеры по обе стороны исковеркали значительную часть жизни моего поколения».

Среди людей, занимавших подобную позицию в особенно напористой форме, мы, естественно, находим и З. Бжезинского. Адмирал Тёрнер — он утверждал это в Осло и в интервью российскому телевидению 20 июля 1996 г. — колебался, когда перед ним поставили вопрос о массовых поставках оружия моджахедам. Он считал, что это означало бы толкать их — перед лицом 75 тыс. советских солдат — на самоубийство ради американских интересов. Бжезинского же, судя по его заявлениям, эта проблема не волновала. А. Вестад, один из руководителей Нобелевского института мира, рассказал в Осло: «Доктор Бжезинский сказал мне, что не рассматривал афганскую интервенцию даже тогда как трагедию. Он видел также и другие ее стороны».

Еще откровеннее бывший помощник Картера был в разговоре с С. научной сотрудницей Института Эмори (США). В мае 1994 года Бжезинский ей заявил, что предвидел ввод советских войск в Афганистан и был доволен этой акцией, ибо она была необходима, чтобы СССР развалился. Разговор этот имел любопытное «неафганское» продолжение. Бжезинский спросил С.: «Кто будет следующим прези-

дентом России?» Она ответила: «Явлинский». «Нет, — возразил Бжезинский, — Жириновский. Такой народ, как русский, ничего лучшего не заслуживает».

Какие же «другие стороны» афганской интервенции видели Збиг Бжезинский и его единомышленники в американском истеблишменте? Речь шла не только о том, чтобы заставить «кровоточить» Советский Союз, укрепить внешнеполитические позиции США, особенно, как заявил Г. Сик, бывший сотрудник Совета национальной безопасности США, «среди исламских стран, где доверие к нам почти исчезло», восстановить «стратегическую позицию», разрушенную иранской революцией.

Ставилась и более крупная задача: побудить Картера повернуть от разрядки вновь к сдерживанию, на чем уже долго, но безуспешно настаивали «ястребы» в американском политическом бомонде и в самой администрации, вывести из игры сторонников более конструктивной линии в отношении СССР, скажем, госсекретаря Вэнса. Прогривоборство этих двух тенденций, этих двух фигур было характерной чертой всего президентства Картера.

«Самый важный результат Афганистана, — говорил в Осло М. Шульман, — это укрепление позиции тех, кто рассматривал взаимоотношения с Советским Союзом как неизменно враждебные, конфликтные (...) Афганистан «подходил» одному из направлений мысли в американском правительстве... Этой же темы коснулся уже упомянутый Г. Сик: «Афганистан обозначил конец битвы между С. Вэнсом и госдепартаментом, с одной стороны, и З. Бжезинским и Национальным советом безопасности — с другой. Сайрус проиграл эту битву, и с этого момента Бжезинский стал доминирующей фигурой в том, что касалось отношений между США и СССР». Он же заявил, ставя, так сказать, точки над «i»: «Вы попросту не могли бы получить доктрину Картера¹¹ до вторжения в Афганистан...»

Афганистан дал Бжезинскому возможность материализовать политику, которую он активно пропагандировал уже год. С весны 1979 года Збиг, как он пишет в мемуарах, делал акцент на Афганистане и настаивал на Картера в том духе, что Советский Союз, очевидно, стремится через Иран и Пакистан выйти к Индийскому океану. При этом упирал на «извечные» гегемонистские намерения Москвы, подкрепляя свои утверждения недостоверными историческими ссылками. А 26 декабря 1979 г. в меморандуме президенту он писал: «Как я упоминал вам неделю назад или около того, мы сталкиваемся теперь с региональным кризисом. Если Советы добьются успеха в Афганистане (далее в «рассекреченном» документе вымаран изрядный кусок. — К.Б.), ис-

¹¹ Доктрина Картера — изготовленное Бжезинским заявление президента («The State of the Union...»), сделанное 23 января 1980 г., где регион Персидского залива объявлялся зоной жизненных интересов США.

ковая мечта Москвы о прямом выходе к Индийскому океану осуществится. Иранский кризис привел к крушению баланса сил в Юго-Восточной Азии, и это может привести к советскому присутствию у самого края Аравийского и Оманского заливов».

К сожалению, утверждения Бжезинского производили впечатление, и его фантастические конструкции были взяты Белым домом на вооружение. Я имею в виду концепцию «кризисной дуги» на Среднем Востоке и в Юго-Восточной Азии, якобы возникшей в связи с «советским наступлением» в этом районе, нацеленном на реализацию «великого замысла» («grand design») — захват Саудовской Аравии и других нефтедобывающих государств. В протоколе заседания СНБ от 2 января 1980 г. (№ NSC026), где обсуждались меры против СССР в связи с вводом его войск в Афганистан, читаем: «Президент заявил, что он не уверен, что наши сегодняшние решения удержат русских от вторжения в Пакистан и Иран» (выделено мной. — К.Б.).

Правда, Картер в своих суждениях, по крайней мере публичных, колебался. 8 января 1980 г. в беседе с конгрессменами он говорил: «Нет сомнения, что, если вторжение Советов в Афганистан останется без отрицательных последствий (для СССР. — К.Б.), оно будет иметь следствием соблазн продвигаться вновь и вновь, пока они не достигнут тепловодных портов или не установят контроль над большей частью мировых нефтяных ресурсов»¹². Но 10 января на встрече с членами общества издателей газет президент уже заявляет: «Мы не можем знать с уверенностью мотивы советского вторжения в Афганистан, является ли Афганистан целью или прелюдией».

«В США, — говорил М. Шульман в Осло, — шли дебаты о том, реагирует ли советское руководство на дезинтегрирующуюся ситуацию в Афганистане или, как доказывали другие, имеются в виду более широкие стратегические цели в рамках так называемой «кризисной дуги» — усилия, имеющие целью продвинуться к нефтяным полям Ближнего Востока, взять в клещи Персидский залив и т.д. Последняя интерпретация привела к доктрине Картера и интенсификации военных усилий. Советская интервенция в Афганистане в этом смысле была расценена как подтверждение «второго» подхода, с которым я не был согласен».

Таким образом, в Осло мы, «участники» советской политики второй половины 70-х и 80-х годов, стали свидетелями полемики между представителями двух течений в американском политическом истеблишменте того времени, как бы воспроизводящей споры прошлого. Подведя итоги дискуссий в Осло по афганскому вопросу, сотрудник Брауновского университета Дж. Блайт писал Дж. Картеру, что «нужно было (в те годы. — К.Б.) с американской стороны меньше паранойи относительно советского «главного плана» дестаби-

¹² Presidential Documents. — 1980. — Vol. 16. — Jan. 14. — P. 40–41.

лизировать регион и воспрепятствовать американскому доступу к арабской нефти».

Но пора вернуться к событиям в Афганистане. Они ставили советских руководителей перед все более трудными проблемами. На фоне общего осложнения обстановки, в Герате, пограничном с СССР провинциальном центре (70 км от Кушки — города в Туркмении, самой южной и жаркой точки в СССР), 15 марта 1979 г. вспыхнуло восстание. В нем приняли участие и подразделения 17-й дивизии афганской армии.

Кабульские руководители, видимо растерявшись, обратились за помощью. 16 марта Тараки позвонил Косыгину и в довольно нервном тоне попросил — впервые — ввести советские войска. Любопытно, что в 11 часов утра 17 марта, то есть почти в то же самое время, Амин, по словам Громыко, «с олимпийским спокойствием» заявил ему, что «положение не такое уж сложное, армия все контролирует», что «положение у них надежное» и т.д. В действительности, подчеркивал Громыко, «положение в Герате и ряде других мест, как докладывают наши товарищи, тревожное, там орудуют мятежники». Правда, на следующий день в разговоре с Устиновым Амин уже повторял оценки Тараки, как и просьбу о вводе войск. Эти факты свидетельствуют не только о разном в афганском руководстве, но и о том, что оно не владело точной информацией о положении в стране.

Косыгин реагировал на просьбу афганцев весьма сдержанно, практически отрицательно. А 17–19 марта ситуация обсуждалась на заседаниях Политбюро, которые, как рассказывал Пономарев, проходили в довольно напряженной обстановке. Сам он был решительно против ввода войск, хотя его позиция по запротоколированному выступлению скорее угадывается. Он заявил: «Прежде всего надо сделать все необходимое силами афганской армии, а потом уже, когда действительно возникнет необходимость, вводить наши войска». Эта полузоповская форма выражения мнения — нормальная в условиях тогдашней системы, тем более когда речь шла о «младшем» участнике заседания.

Оба заседания проходили без Брежнева, давшего указание провести обсуждение в его отсутствие. Черненко предстояло «постараться», как объявил председательствовавший Кириленко, проинформировать Леонида Ильича и получить одобрение. Это тоже характеризует уже сложившееся положение в руководстве: хотя речь шла о вопросе принципиальной важности, первое лицо считало для себя возможным не присутствовать.

Выступавшие подчеркивали в унисон: «За Афганистан нам нужно бороться; все-таки 60 лет мы живем душа в душу. ...У всех у нас единое мнение — Афганистан отдавать нельзя» (Косыгин). «Мы ни при каких обстоятельствах не можем потерять Афганистан... Если сейчас мы потеряем Афганистан, он отойдет от Советского Союза, то

это нанесет сильный удар по нашей политике» (Громыко). «Нам ни в коем случае нельзя терять Афганистан» (Андропов). Эта формула станет девизом всех, кто в декабре того же года выступит за военную акцию.

Вместе с тем перспектива ввода войск участникам заседания явно не улыбалась. Особенно это заметно по выступлениям Андропова и Пономарева. Исключение составляет, пожалуй, лишь Устинов. Тем не менее в первый день, 17 марта, склонились к решению удовлетворить просьбу афганских лидеров, фактически даже приняли постановление. «Нам надо сформировать свои воинские части, разработать положение о них и послать по особой команде», — говорил Косыгин. «У нас разработано два варианта относительно военной акции», — заявлял Устинов¹³. А Кириленко, «подводя итог» и перечисляя шаги, которые предстоит предпринять, сказал: «...Пятое. Я думаю, мы должны согласиться с предложением Устинова относительно помощи афганской армии в преодолении трудностей, с которыми она встретилась, силами наших воинских подразделений».

Однако на следующий день ветер подул в другую сторону. 17 марта Андропов говорил: «Политическое решение нам нужно разработать и иметь в виду, что на нас наверняка навесят ярлык агрессора, но, несмотря на это, нам ни в коем случае нельзя терять Афганистан». Но 18 марта он уже заявлял: «Я, товарищи, внимательно подумал над всем этим вопросом и пришел к такому выводу, что нам нужно очень и очень серьезно продумать вопрос о том, во имя чего мы будем вводить войска в Афганистан. Для нас совершенно ясно, что Афганистан не подготовлен к тому, чтобы сейчас решать все вопросы по-социалистически... Поэтому я считаю, что мы можем удержать революцию в Афганистане¹⁴ только с помощью своих штыков, а это совершенно недопустимо для нас. Мы не можем пойти на такой риск. ...Я думаю, что мы должны прямо сказать т. Тараки, что мы поддерживаем все их акции, будем оказывать помощь и ни в коем случае не можем пойти на введение войск в Афганистан».

Громыко 17 марта заявлял: «Ясно только одно — мы не можем отдать Афганистан. Как этого добиться, надо подумать. Может быть, нам и не придется вводить войска». А 18 марта он доказывал, что вводить войска нельзя. «Я полностью, — подчеркивал он, — поддерживаю предложение товарища Андропова о том, чтобы исключить такую меру, как введение наших войск в Афганистан. Армия там ненадежна. Таким образом, наша армия, которая войдет в Афганистан, будет агрессором. Против кого же она будет воевать? Да против афганского народа прежде всего, и в него надо будет стрелять».

¹³ Согласно первому из них, к границе были выдвинуты воинские части. Второй же предусматривал ввод в Афганистан двух дивизий.

¹⁴ Как выяснилось, не можем...

Сегодня, когда мы знаем, что случится в декабре и как это будет оправдываться, занятно вчитываться в «противоположные» доводы Громыко: «Нам надо иметь в виду, что и юридически нам не оправдать ввода войск. Согласно Уставу ООН, страна может обратиться за помощью, и мы могли бы ввести войска в случае, если бы они подверглись агрессии извне. Афганистан агрессии не подвергался. Это внутреннее их дело, революционная междоусобица, бои одной группы населения с другой».

В этом хоре слышен и голос Кириленко: «Вчера в Афганистане была другая обстановка, и мы склонялись к тому, что, может быть, нам пойти на то, чтобы ввести какое-то количество воинских частей». Считает нужным высказаться и Черненко (в изящном литературном стиле): «Если мы введем и побьем афганский народ, то будем обязательно обвинены в агрессии. Тут никуда не уйдешь». И, наконец, Косыгин: «Одним словом, мы ничего не меняем помощи Афганистану, кроме (!) ввода войск»¹⁵

Та же тональность царила на заседании 19 марта, где присутствовал Брежнев, заявивший, что «нам сейчас не пристало втягиваться в эту войну». И даже Устинов произнес: «Я так же, как и другие товарищи, не поддерживаю идею ввода войск в Афганистан».

Можно лишь гадать о подлинных причинах такой разительной перемены. Резоны, которые называют сами «герои», выглядят не только неубедительно, но противоречат здравому смыслу. Оказывается, дело в том, что положение в Афганистане... ухудшилось. Вот, например, аргументация Андропова: «Сегодня положение там другое. В Герате уже не один полк перешел на сторону противника, а вся дивизия...» А приводимые доводы принципиального характера прогив этой акции, красноречиво описывающие ее негативные последствия, выглядят как попытки «красиво» отступить от вчерашней позиции.

Несколько месяцев спустя, во время поездки в Кабул, я пытался расспросить Бориса Николаевича о подоплеке происшедшего. От прямого ответа он уклонился. Но, как я понял, дело решила позиция Леонида Ильича, который действовал в известной мере под влиянием своего помощника Александрова. Сыграла роль, очевидно, и заинтересованность Брежнева в намечавшемся советско-американском саммите — он состоялся 17–18 июня. Поставить встречу под вопрос или даже сорвать ее Леониду Ильичу не хотелось.

Характерно, что перемена настроения сопровождалась резко критическими оценками афганского руководства. Из уст Андропова прозвучало, например, такое суждение-признание: «Как мы видим из сегодняшнего разговора с Амином, народ не поддерживает правительство Тараки». Громыко говорил, что «мы здесь имеем дело с таким случаем, когда руководство страны в результате допущенных серьез-

¹⁵ Ничего себе — «ничего не меняем»!

ных ошибок оказалось не на высоте, не пользуется должной поддержкой народа». А Косыгин предложил (но это не было сделано): «Мне кажется, что надо нам и Тараки, и Амину прямо сказать о тех ошибках, которые они допустили за это время. В самом деле, ведь до сих пор у них продолжают расстрелы несогласных с ними людей, почти всех руководителей не только высшего, но даже и среднего звена из партии «Парчам» они уничтожили». Проворчал и Брежнев: «У них распадается армия, а мы здесь должны будем за нее вести войну».

Говорилось и о недостаточно достоверной информации относительно положения в Афганистане: «Афганское руководство многое от нас скрывает. Оно как-то не хочет быть откровенным с нами» (Громыко). «Что ни говорите, как Тараки, так и Амин скрывают от нас истинное положение вещей. Мы до сих пор не знаем подробно, что делается в Афганистане» (Косыгин). «К сожалению, мы многого не знаем об Афганистане» (Пономарев).

Впрочем, и советские лидеры были не вполне искренними с афганцами, и на переговорах стороны нередко обменивались пропагандистскими пассажами. В беседе с приглашенным в Москву Тараки советские руководители украшали принципиальными аргументами уже принятое из прагматических соображений решение воздержаться от ввода войск (хотя едва остановились на пороге этой акции). В свою очередь он «угощал», например, такими утверждениями: «Проводимые нами революционные преобразования... укрепили авторитет нашего правительства среди афганского народа, нашли положительный отклик среди народов Пакистана и Ирана... Правителей Пакистана очень испугало, что по всей стране прокатились демонстрации, выступавшие под лозунгами: «Да здравствует Демократическая Республика Афганистан!», «Да здравствует Тараки!» и т.д.¹⁶

В апреле на базе развернутой (на 11 страницах) записки Андропова, Громыко, Устинова и Пономарева было принято постановление Политбюро (№ П/149(XIV)), где подтверждалось и на будущее принятое решение не вводить войска. «Наше решение — воздержаться от удовлетворения просьбы руководства ДРА о переброске в Герат советских воинских частей, — говорилось в нем, — было совершенно

¹⁶ Справедливости ради надо сказать, что афганская революция оказывала определенное воздействие на окружающие страны, хотя далеко не такое, как его описывает Тараки. Например, как следует из телеграммы госдепартамента, в ходе переговоров в США 16–17 октября 1979 г. пакистанский министр иностранных дел Шахнаваз заявил, что «более молодое поколение пуштунов и белуджей (в Пакистане. — К.Б.) проявляет марксистские тенденции. Интеллектуальная подрывная работа против пакистанского народа уже демонстрирует определенные признаки успеха, и многие пакистанцы меняют свои позиции в отношении Афганистана» (PR 2423532 Oct. 79).

правильным. Этой линии следует придерживаться и в случае новых антиправительственных выступлений, исключать возможности которых не приходится».

В записке содержался трезвый анализ афганской ситуации, раскрывались ошибки кабульских лидеров и перечислялись неизбежные негативные последствия военного вмешательства. Признавался «преимущественно внутренний характер» антиправительственных выступлений в Афганистане, говорилось, что «основная масса населения пока не ощутила преимуществ нового строя, не оценила его прогрессивного характера», а «партии пока не удалось охватить своим влиянием те круги афганского общества, которые можно было бы привлечь на сторону революции: интеллигенцию, служащих, мелкую буржуазию, низшие слои духовенства». Констатировалось, что «при решении как внутрипартийных, так и государственных вопросов часто допускались перегибы, неоправданные репрессии, имело место сведение личных счетов, в ходе расследований дел арестованных допускалось насилие», что «недовольство необоснованными репрессиями затронуло и армию, которая была и остается главной опорой режима». Особо подчеркивались «далеко идущие политические последствия, с которыми был бы сопряжен ввод в страну советских войск».

Но это была записка фактически под уже принятое решение. Готовивших ее людей — ответственных должностных лиц, занимающихся афганским направлением в четырех ведомствах, — по-серьезному не привлекали к обсуждению ни в этот, ни в следующий раз, в декабре.

Я подробно остановился на мартовской «встряске», на обсуждении просьбы афганского руководства, потому что во многом — по содержанию и характеру, по проявившейся при этом тенденции — они были калькой для декабрьского решения. Март показал твердую установку советского руководства «не отдавать Афганистан» наряду с наличием у него трезвого представления об угасающей популярности кабульского режима и главным образом внутренних источниках ухудшения положения в Афганистане. Вместе с тем были продемонстрированы поверхностный уровень обсуждения острейшей проблемы, незнание и, еще важнее, непонимание специфики афганских условий. Чего стоят, например, брежневские рекомендации Тараки: «Организовать в сельских районах (говоря условно, применительно к нашему опыту) комитеты бедноты» или «закрыть» границы с Пакистаном и Ираном (что не удалось и нам).

Наконец, несмотря на явную шаткость позиций руководящего синклита, на его колебания и продемонстрированную способность за 24 часа развернуться на 180 градусов, четко обнаружилась склонность и даже потенциальная готовность пойти на ввод войск. Хотя мартовское испытание и явившееся его итогом апрельское постановление Политбюро на месяцы вперед определили и стабилизировали

советский курс на отказ от военного вмешательства, они, думается, в определенной мере облегчили, если не подготовили, противоположное декабрьское решение, послужив своего рода репетицией, трамплином для него.

В послемартовские месяцы события продолжали развиваться по уже заданной траектории. Режим располагал некоторой поддержкой, главным образом среди городских жителей и части молодежи¹⁷, но основная масса населения была настроена против него. Повстанческое движение охватывало все новые районы. К октябрю 1979 года, по свидетельству генерала армии В. Варенникова, Главнокомандующего Сухопутными силами Советского Союза, оппозиция практически контролировала положение в 12 из 27 провинций Афганистана.

Противостояние между моджахедами — по некоторым данным, их было 35—40 тысяч — и правительственными войсками (кстати, далеко не всегда надежными) начинало смахивать на войну. Помощь извне, ставшая наряду с недовольством населения основным источником силы повстанцев, приобретала все более широкий и неприкрытый характер.

Правительство в Кабуле, ощущая уязвимость своего положения, все чаще, все настойчивее повторяло просьбу о вводе советских войск. Генерал А. Ляховский насчитал в общей сложности около 20 таких просьб¹⁸. Вопрос о «расширении советского военного присутствия», о направлении «хотя бы двух дивизий» был основным, который ставили Тараки и Амин и в ходе второго визита Пономарева в Кабул в июле 1979 года. Перед поездкой, согласовав, разумеется, позицию с высшим руководством, Борис Николаевич поручил мне записать в директивах для предстоящих переговоров: «Ясно и определенно сказать, что о вводе войск не может быть и речи». Пономарев «озвучил» утвержденные директивы. Кроме того, он опять говорил о необходимости положить конец массовым репрессиям и «внутрипартийной» борьбе.

Москва, как и прежде, без особого успеха побуждала афганское руководство проводить более обдуманную политику. В Межведомственном разведывательном меморандуме США «Советские варианты в Афганистане» (сентябрь 1979 г.) отмечалось, что «также в течение лета 1979 года Советы очевидным образом пытались и не сумели побудить режим допустить другие политические элементы в правительство, чтобы расширить его базу». Эти рекомендации, разумные сами по себе, видимо, не вполне учитывали ни далеко зашедшее

¹⁷ Американское посольство в Кабуле в сентябре 1979 г. сообщало в Вашингтон (R-060344Z): «Мы отмечаем, что халькизм, возможно, завоевывает часть афганской молодежи...»

¹⁸ Александр Ляховский. Трагедия и Доблесть Афгана. — М.: Искона, 1995. — С. 126.

противостояние в стране, ни реальный потенциал кабульского правительства к тому времени.

Но на фоне этой уже привычной, устоявшейся неблагоприятной динамики появились дополнительные обстоятельства, которые, несомненно, тоже подтолкнули к декабрьскому решению. Начался новый, заключительный этап «самопожирания» режима. На этот раз противоборство развернулось между Тараки и Амином. Предпосылок было достаточно: властолюбие Амина, которому, очевидно, надоело оставаться «вечно вторым», его убежденность, что он лучше подходит к роли первого лица и сумеет справиться с ситуацией.

Но помогли и необязательные факторы, и среди них «московский». Многие говорят о том, что позиция Москвы, поведение некоторых ее представителей в Кабуле стимулировали взаимное недоверие Тараки и Амина: отсюда поступали призывы к бдительности, предостережения о «кознях» Амина и т.д. Для связей с Тараки, помимо посольства, Москва использовала сотрудников КГБ, с Амином — представителей Министерства обороны. Соперничество этих структур, как я сам убедился, особенно в Кабуле в июле 1979 года, тоже сказалось на взаимоотношениях афганских лидеров, способствуя обострению их противостояния. К тому же в КГБ, организации также и с политическими задачами, к линии Амина относились неодобрительно. Затем перестали доверять ему самому. И это, естественно, оказывало свое, притом растущее, влияние на настроения советского руководства, что не могло сказаться также на поведении Тараки.

Наконец, окружение соперников — как это бывает почти всегда, если складываются два центра силы, — усиленно настраивало своих «боссов» друг против друга.

По мере обострения конфликта Москва все откровеннее вмешивалась на стороне Тараки, причем в эту кампанию включились и советские руководители. В начале сентября от них шли афганскому президенту увещевания: учитывая «опасные намерения» Амина¹⁹, не покидать Кабул, не ездить в Гавану на Конференцию глав неприсоединившихся государств. Но Тараки им не внял. На приезде в кубинскую столицу настаивал Кастро, весьма заинтересованный в присутствии лидера «революционного Афганистана». Да и тщеславие Тараки влекло туда же.

Когда Тараки по пути домой остановился в Москве, с ним беседовали Брежнев и Андропов, предупредили об исходящей от Амина угрозе и даже планах физического устранения афганского президента.

¹⁹ Тот действительно времени не терял и, пока Тараки отсутствовал, укрепил свои позиции. Но это было и реакцией на действия в эти дни некоторых приближенных Тараки, видимо ободренных поддержкой советских представителей.

Мне довелось читать две шифртелеграммы из Кабула, где сообщалось о готовящемся пулеметном обстреле Тараки при встрече в аэропорту. Ничего этого не произошло. Зато утверждали (за достоверность этого не поручусь), что сам Амин едва избежал покушения: он поехал в аэропорт не той дорогой, где его ждали. Ляховский тоже приводит эту версию, ссылаясь даже на то, что Андропов в этот момент убеждал и убедил Брежнева не направлять в Кабул так называемый «мусульманский батальон»²⁰, поскольку с Амином разберутся и так.

Как бы то ни было, к этому времени противоречия достигли критического накала. Правительственная власть, по сути дела, перестала существовать как единый институт. Полные недоверия друг к другу Тараки и Амин «засели» в своих «крепостях»: первый — в президентском дворце, второй — в министерстве обороны, ожидая следующего хода противника. Он был сделан 14 сентября и во многом определил ход событий.

Утром этого дня Тараки позвонил Амину и пригласил приехать во дворец. Когда тот отказался, президент сослался — в качестве гарантии безопасности — на присутствие в его кабинете советских представителей. Это подтвердил подошедший к телефону посол СССР А. Пузанов (кроме него там же находились представитель КГБ генерал-лейтенант Б. Иванов и главный военный советник генерал-лейтенант Л. Горелов), который фактически присоединился к приглашению. Амин согласился приехать. О том, что должно было произойти, посол явно не знал. За некоторых других присутствовавших советских представителей поручиться труднее.

Когда Амин стал подниматься по лестнице (из дворцового холла вверх ведут две изогнутые боковые лестницы, которые сходятся на втором этаже на галерее, окаймленной балюстрадой), стоявшие у балюстрады охранники открыли по Амину огонь из автоматов. Шедший впереди адъютант Тараки подполковник Тарун был убит, а телохранитель Амина Зирак ранен. Сам Амин, отделавшийся лишь царапиной, сумел выбежать из дворца и, вскочив в джип, уехать. В тот же день Тараки был смещен со всех постов, исключен из НДПА и арестован. Попытки соратников Тараки²¹, вступив в контакт со своими сторонниками на местах и в войсках (пользуясь, кстати, спецсвязью советского посольства), организовать сопротивление ни к чему не привели. 8 октября, вопреки обращению Брежнева и заверениям нового «хозяина» Кабула, что Тараки ничего не угрожает, он был задушен.

²⁰ Специально сформированный из узбеков и таджиков — военнослужащих Среднеазиатского и Туркестанского военных округов.

²¹ Все они — Кештмайд, Сарвари, Гулябзой, Маздурдой — получили убежище в посольстве СССР, а впоследствии были нелегально вывезены в Советский Союз.

На мой взгляд, и само участие в конфликте Тараки—Амин, и, тем более, его подогревание были грубейшим просчетом Москвы. Если раньше факторы, подталкивающие ее к вводу войск, поступали главным образом «снизу» (повстанческое движение, слабость или даже отсутствие народной поддержки правительства в Кабуле и т.д.), то теперь они шли и «сверху». У власти оказался человек, к которому в Москве испытывали недоверие и отношения с которым были отягощены советской позицией в его противостоянии с Тараки. Кроме того, состоявшееся «выяснение отношений» президента с министром обороны, несомненно, послужило ударом по остаткам авторитета кабульского режима и, пожалуй, может быть даже названо началом развала его структур.

Нам не дано судить, действительно ли Амин был американским агентом, как утверждали те наши деятели, которые подталкивали к военному вмешательству.

В «послужном списке» Амина и в самом деле есть неясности. Он, например, признавался, что, учась в США и будучи руководителем Ассоциации афганских студентов, принимал деньги от источников, связанных с американскими разведслужбами, но использовал их для «нужд ассоциации». «С недавних пор, — заявил на конференции в Осло сотрудник Национального архива безопасности США В. Зубок, — исследователи начали более серьезно относиться к советским подозрениям относительно двойной природы Амина». Известный американский политолог З. Харрисон признает, что Амин во время учебы в колледже Колумбийского университета в начале 60-х годов и как руководитель студенческой ассоциации мог финансироваться ЦРУ — прямо или непрямо²².

Но об этом эпизоде в жизни Амина было известно и раньше. В 1967 году Амина даже отказались ввести в ЦК НДПА из-за подозрений относительно связей со спецслужбами. Бывший директор ЦРУ Тэрнер в Осло отрицал существование таких связей, при этом, правда, бросив витиеватую фразу: «Я много слышал в эти два дня о том, как мы, возможно, использовали Амина в качестве марионетки. Генерал Шебаршин (присутствовавший на конференции бывший председатель КГБ. — *К.Б.*) и я, оба понимаем, что это не просто — использовать таких людей (т.е. забравшихся столь высоко. — *К.Б.*) в качестве марионеток».

И все же поступающая на этот счет от определенных наших структур в Кабуле информация, на которой строили свои представления советские лидеры, мне кажется малоубедительной. Во многом она основывалась на слухах, циркулировавших в афганской столице, и на источниках, способных подбросить ложную информацию.

²² *Diego Cordovez, Selig Harrison. Out of Afghanistan, Inside Story of the Soviet Withdrawal. — N.Y.: Oxford University Press, 1995. — P. 19.*

Не вполне доказательны и другие аргументы, на которые ссылались сторонники этой версии: встреча Амина с поверенным в делах США в Кабуле А.К. Бладом в конце октября, заявление примерно в то же время министра иностранных дел Афганистана Шах Вали о желании улучшить отношения с США, выдержанные в таком же духе интервью Амина газетам «Вашингтон пост» и «Лос-Анджелес таймс» 25 октября 1979 г., наконец, подготовка его встречи с одним из лидеров моджахедов Хекматияром. Подобные факты могут с равным основанием быть истолкованы и как разумные тактические ходы, и как проявление естественного стремления Амина к известной самостоятельности.

На мой взгляд, к Амину отнеслись с предубеждением. И это понятно. То был трудный «объект», и, сосредоточившись целиком на отрицательных чертах этой личности, некоторые советские представители в Кабуле не сумели сделать ставку на сильные стороны Амина, наладить с ним необходимый контакт — тот, который, видимо, в какой-то мере нашли люди из Министерства обороны: генерал Горелов и некоторые другие военные считали, что «с Амином можно работать», подчеркивали, что «Амин относится с большим уважением к Советскому Союзу и надо принимать во внимание его большой реальный потенциал и использовать в наших интересах»²³. Не случайно, что после устранения Тараки свою просьбу о приеме в Москве Амин передал через военных — через того же Горелова. Впрочем, наши политики и в других случаях, как правило, не умели держать своих союзников и партнеров «на длинном поводке», предпочитая послушание.

Поступавшая в советскую столицу информация о том, что Аминде чуть ли не враждебно относится к СССР, не сходится со многими фактами. Если это так, то почему он неоднократно (семь раз за октябрь—декабрь) обращался с просьбами ввести в Афганистан советские войска, доверил вторую линию охраны своей резиденции, дворца Тадж-Бек, советскому батальону, а свое здоровье — советскому врачу? Или такой факт: утром 26 декабря в Москву пришла телеграмма, где описывался разговор Амина с начальником генштаба генералом Якубом. Встревоженный, тот докладывал — в присутствии источника этой информации, — что советские войска прибывают в размерах, значительно превышающих оговоренные. Амин прервал его: «Ну что тут особенного, чем больше их прибует, тем нам лучше будет».

Как ни рассуждай, 14 сентября 1979 г. во главе Афганистана встал человек, которому советское руководство не доверяло. Уже в информации Хонеккеру от 16 сентября 1979 г. о событиях, приведших к смещению Тараки, недвусмысленно дается понять об отрицательном отношении к Амину. В следующем сообщении ему же от 1 октября решение Москвы признать Амина как главу Афганистана мотивируется сведебно — тем, что «в его окружении немало честных людей,

²³ Гай Д., Снегирев В. Вторжение//Знамя. — 1991. — № 4. С. 221.

стоящих на позициях марксизма-ленинизма, настоящих революционс-ров, хорошо относящихся к Советскому Союзу» (иначе говоря, сам Амин такими качествами не обладает. — К.Б.), и подчеркивается: «Мы будем внимательно следить за поведением Амина».

А уже 29 октября афганская комиссия Политбюро представила записку, где содержался вывод «о неискренности и двуличии» Амина в отношении советского руководства. Также констатировалось, что «представители США на основании своих контактов с афганцами приходят к выводу о возможности изменения политической линии Афганистана в благоприятном для Вашингтона направлении».

В записке Андропов, Громыко, Устинов и Пономарев предлагали: «С учетом изложенного и исходя из необходимости сделать все возможное, чтобы не допустить победы контрреволюции в Афганистане или политической переориентации Х. Амина на Запад, представляется целесообразным придерживаться следующей линии:

1. Продолжать активно работать с Амином и в целом с нынешним руководством НДПА и ДРА, не давая Амину поводов считать, что мы не доверяем ему и не желаем иметь с ним дело. Использовать контакты с Амином для оказания на него соответствующего влияния и одновременно для дальнейшего раскрытия его истинных намерений...

При наличии фактов, свидетельствующих о начале поворота Х. Амина в антисоветском направлении, внести дополнительные предложения о мерах с нашей стороны»²⁴.

Правда, советское руководство практически сразу же — 15 сентября — признало «целесообразным, считаясь с реальным положением дел... не отказываться иметь дело с Х. Амином и возглавляемым им руководством». Такой подход вновь был подтвержден 6 октября.

Но фактически, начиная с этого рубежа, мысли тех советских лидеров, которые имели отношение к афганской проблеме, все более обращались к перспективе ввода войск. В этом смысле смещение и убийство Тараки, приход к власти Амина открыли новый этап не только в отношениях Москвы и Кабула, но и в эволюции вопроса о советском военном вмешательстве, дав мощный толчок вероятности такого выбора.

Именно тогда мой и Г. Корпиенко шефы (Пономарев и Громыко), до того нестесненно рассуждавшие на афганскую тему и совершенно однозначно выступавшие против ввода войск, считая это безумием, вдруг замкнулись и стали избегать этой темы.

В рамках такой ориентации, думается, рассматривались и, в отличие от недавнего прошлого, удовлетворялись, по крайней мере частично, просьбы афганского руководства о направлении советских воинских частей. В ноябре был переброшен «мусульманский баталь-

²⁴ Значит, относительно самого «поворота» особых сомнений не было, а слово «свидетельствующих» надо читать так: «подтверждающих».

он», в начале и середине декабря еще два батальона и т.д. Начинаясь последний, самый страшный акт афганской драмы.

Должен оговориться: на мой взгляд, и не будь Амина, перед Москвой встали бы вплотную проблема судеб кабульского режима и в этой связи вопрос о вводе войск. Правительство в Кабуле, доказавшее свою неспособность справиться с положением, проводить — даже в рамках собственных целей — эффективную политику, прислушиваться к трезвым рекомендациям, к этому времени все менее выглядело способным выжить без опоры на советские штыки. По данным Межведомственного разведывательного меморандума США (октябрь 1980 г.), в декабре 1979 года «партизаны свободно действовали вокруг авиабазы Баграм, примерно в 25 километрах от Кабула, несмотря на правительственные наступления в этом районе»²⁵. По данным же советского посольства, вне контроля правительства находилось около 70 процентов афганской территории, на которой проживало свыше 10 млн. человек.

Как теперь известно, решение о вводе войск было принято — после долгих колебаний — 12 декабря 1979 г. Оно явилось авантюрой, грубейшей и непростительной ошибкой советского руководства, если не сказать больше. Доводы, которыми пытались оправдать это решение, выглядят фальшивыми. Достаточно вспомнить приведенные ранее контраргументы того же Громыко. А ссылка на приглашение афганского правительства звучала и звучит вовсе цинично. Ведь речь шла об Амине, которого ликвидировали те, кто «пришел на помощь»²⁶. Эту «работу» выполнил несущий охрану Амина «мусульманский батальон», две спецгруппы КГБ и другие.

Впрочем, в подобных гангстерских приемах советские лидеры были отнюдь не одиноки. За 16 лет до этого примерно таким же манером США убрали своего ставленника, ставшего для них обузой, — главу марионеточного режима Южного Вьетнама Нго Динь Дьема. Тем не менее в связи с устранением Амина, разумеется, именно Вашингтон протестовал громче всех, ссылаясь на нарушение «цивилизованных норм».

²⁵ *The Soviet Invasion...* — P. 24.

²⁶ Стоит отметить, что даже во внутреннем документе советские лидеры предпочитали лицемерно-пропагандистское описание происшедшего. В записке Андропова, Громыко, Устинова, Пономарева «К событиям в Афганистане 27–28 декабря 1979 г.» (№ 2519-А от 31 декабря 1979 г.), например, говорится: «На волне патриотических настроений, охвативших довольно широкие массы афганского населения в связи с вводом советских войск, осуществленным в строгом соответствии с положениями советско-афганского договора 1978 г. оппозиционные Х. Амину силы в ночь с 27 на 28 декабря организовали вооруженное выступление, которое завершилось свержением режима Х. Амина. Это выступление получило широкую поддержку со стороны трудящихся масс, интеллигенции, значительной части афганской армии, госаппарата, которые приветствовали создание нового руководства ДРА и НДПА».

Все это, однако, не значит ни того, что злополучное решение было принято с легким сердцем, ни того, что для него не было никаких резонов. Сегодня никто не в состоянии с абсолютной точностью сказать, какими мотивами руководствовалась группка людей, стоявших у его истоков. Никого из них нет в живых. Но факты, документы, личная причастность к некоторым эпизодам, впечатления позволяют мне, думается, восстановить картину более или менее достоверно. Понятно, оценивая происшедшее, надо исходить не только с позиций сегодняшнего дня, но и вживаться в обстоятельства того времени, возвращаться к тогдашним критериям. Исторической модернизации пристало иметь свои пределы.

Первый и решающий из действовавших резонов — безопасность страны. Афганистан тогда был, по сути, единственным дружественным соседом СССР в Азии, другие границы тут оставались далеко небезопасными. Между тем возникла, казалось, реальная перспектива «потерять Афганистан», обрести там недружественный или даже враждебный режим.

В начале декабря меня вызвал Пономарев и попросил написать от имени отдела записку-резюме по этому вопросу, наказав никому, даже Ульяновскому, об этом не говорить. Я уединился в пустовавшем кабинете Загладина. Дело уже шло к концу, когда в кабинет заглянула встревоженная загладинская секретарша: «Вас Андрей Михайлович, уже сердитый». Я поднял трубку и едва успел поздороваться, как Александров, в необычной даже для него нервно-ядовитой форме попеняв мне за то, что не беру «вертушку» сам, осведомился о ходе работы. Услышав, что составляю негативное заключение, с явным недовольством, запальчиво произнес несколько фраз, из которых запомнилась одна: «Так что же, по-вашему, отдавать Афганистан американцам?» И, не дожидаясь ответа, бросил трубку.

Перепечатав записку в нашей шифровальной, я отдал ее Пономареву. О дальнейшей ее судьбе ничего не знаю. Мои попытки на следующий день завязать разговор на эту тему были решительно пресечены²⁷

²⁷ А.Ф. Добрынин абсолютно бездоказательно и безосновательно заявляет, что Международный отдел «оказал сильную поддержку» КГБ в связи с вопросом о вводе войск (см. его книгу «In Confidence». — N.-Y. 1996. P. 436). Я могу отнести это заявление лишь на счет удаленности Добрынина, пребывавшего тогда в Вашингтоне, от происходивших событий. На деле, как я рассказываю, в отделе были против этой акции. Об этом пишет и Г. Корниенко в книге «Холодная война. Свидетельство ее участника». Другое дело — позиция Пономарева, который после того, как решение о вводе войск было принято узкой группой лиц, вытянулся «во фронт», подобно остальным членам руководства. Кстати, на этой же странице Добрынин утверждает, что Амин был свергнут в результате «переворота, осуществленного при поддержке и участия советских секретных служб», хотя никакого переворота и в помине не было.

Опасения «потерять Афганистан», конечно, имели под собой определенную почву, хотя, на мой взгляд, и были сильно преувеличенными. В письме ЦК КПСС Хонеккеру от 1 октября говорилось не без реализма: «Мы исходим из того, что советско-афганские отношения... не претерпят каких-либо принципиальных изменений. Амина к этому будут подталкивать нынешние обстоятельства и трудности, с которыми афганскому режиму придется сталкиваться в течение длительного времени. Афганистан будет по-прежнему заинтересован в получении от СССР и других социалистических стран военной, экономической и иной материальной помощи». Об этом же писал в госдепартамент в сентябре 1979 г. поверенный в делах США в Кабуле Эмштутц: «Почти любой (но почти. — К.Б.) афганский режим, который может сменить халькистов, будет принужден геополитическими реальностями поддерживать мирные стабильные отношения с великим северным соседом, как это делали разные афганские правительства за истекшие 60 лет».

У советского руководства были достаточные основания бояться американских интриг. США, надо думать, не собирались ставить ракеты на Гиндукуше, как уверяли солдат некоторые наши пропагандисты. Но свою станцию слежения в Иране США после победы там революции пытались переместить на север Афганистана. Еще раньше, несмотря на разрядку, США, используя иранского шаха, обещавшего Дауду 2 млрд. долларов (и предоставившего займ в 400 млн. долл. на льготных условиях), и главу Пакистана Бхутто, приложили немало усилий, чтобы «приручить» Кабул, и достигли в этом определенных успехов. С приходом Амина именно такой вариант представлялся (правильно или нет — в данном рассуждении неважно) наиболее или даже единственно вероятным.

Таким образом, огромную роль играла боязнь иметь в своем южном предполье недружественное государство, да еще с преобладающим американским влиянием. Фактор безопасности приобретал дополнительную остроту из-за действий США в стратегически важной для СССР зоне, прилегающей к его южным границам. Принимая решение, Москва оценивала и ситуацию в регионе в целом.

Соединенные Штаты активно наращивали здесь свой военный потенциал. Насаждались новые военные и военно-морские базы, в Персидский залив и Индийский океан стягивались крупные военно-морские силы. Поступала информация о готовящемся американском военном вмешательстве в Иране (и оно, хоть и неудачное, действительно состоялось), Москве пришлось выступать с соответствующими предупреждениями. А 1 декабря Картер принял предложение Бжезинского о значительном наращивании американского военного потенциала по «кризисной дуге», к которой было отнесено все южное подбрюшье СССР.

Кремль видел в этом нечто нарушающее стратегический баланс между США и СССР и угрожающее его безопасности, а в американ-

ских действиях в Афганистане — попытку добавить еще одно звено в кольцо окружения Советского Союза. Особую тревогу и негодование «американская бесцеремонность» вызывала, говорили, у Устинова. Кстати, по некоторым данным, он играл весьма активную роль в принятии решения о вводе войск. Любопытная информация на этот счет исходит от генерала-оператора в Генеральном штабе, занимавшегося афганским направлением. В конце сентября(!) его вызвали от имени Устинова в Кремль. Придя в так называемую «ореховую комнату» (напротив зала заседаний Политбюро), он застал там Андропова, Устинова, Крючкова и еще одного человека, которого не знал и назвать не смог. Открывая дверь, услышал голос Устинова: «Соединенные Штаты не боятся шуровать у нас под носом — Персидский залив, Иран, они всю помогают в Афганистане. Почему же мы должны без конца бояться, осторожничать, терять Афганистан?»

К проблеме безопасности следует отнести и озабоченность влиянием, которое в случае победы моджахедов мог бы оказать фундаменталистский Афганистан на советские республики Средней Азии, а также Казахстан. Кстати, ЦРУ в октябре 1984 года по указанию своего директора Кейси подталкивало моджахедов к рейдам на территорию Узбекистана и Таджикистана, и такие попытки были предприняты²⁸.

Уже одного фактора безопасности было бы достаточно, чтобы подтолкнуть к военной интервенции. Нетрудно представить, как действовали Соединенные Штаты, если бы, скажем, в Мексике возникла реальная возможность прихода к власти враждебного режима.

Но были и другие резоны. События в Афганистане советские лидеры, несомненно, рассматривали через призму глобального противоборства с США. Согласно же его своеобразной логике, утрата позиции (страны) значила больше, чем сама эта позиция. Это воспринималось как поражение, как отступление сверхдержавы и социалистического лагеря, как потеря инициативы. О «правилах» глобальной игры сверхдержав выразительно сказал председатель Совста по внешней политике США Л. Гелб на конференции во Флориде. «Если мы не ответим на то, что происходит в Шабе, Роге, на Кубе, где-нибудь еще, вы на вашей встрече сядете и скажете: “Ну, эти ребята стали слабыми, давайте сделаем следующий шаг мы сами”».

Когда речь шла об Афганистане, это восприятие у московских лидеров усиливалось, песомненно, тем, что он геополитически находился в зоне влияния Советского Союза, где США не позволено и не пристало «промышлять». В стратегическом отношении, в рамках борьбы супердержав действия СССР в Афганистане могут даже рассматриваться — сколь странно бы это ни звучало — как оборонительные.

²⁸ Raymond L. Garthoff. Op.cit. — P. 713–714.

К этой группе резонов примыкало и опасение, что отстранение от власти идеологически родственной партии — первое за послевоенный период — серьезно скажется на престиже СССР, поскольку будет очень негативно, как «прецедент», воспринято в социалистическом лагере и коммунистическом движении. Американский поверенный в делах в Кабуле сообщил в Вашингтон, что посол ГДР в Афганистане Швизау говорил ему: «Советам приходится принимать во внимание их взаимоотношения с другими партиями по всему миру и свою репутацию. Если будут считать, что Советы бросили партию здесь, в Афганистане, это будет иметь повсюду очень неблагоприятное влияние на партии, которые дружны с Москвой».

Формирование позиции советского руководства происходило на фоне и в тесной связи с глубоким кризисом разрядки и основательным ухудшением советско-американских отношений. Занявший в них, можно сказать, ключевое место и весьма ценный в Москве Договор ОСВ-2 оказался (задолго до декабря 1979 г.) обреченным из-за высосанного из пальца кубинского мини-кризиса²⁹, к чему приложили руку и люди из высшего эшелона американского политического истеблишмента.

Наращивалось сближение США с Китаем (на его границе с СССР была создана американская станция слежения), происходил переход от прежней так называемой беспристрастной дипломатии (*evenhanded diplomacy*) к американско-китайскому согласию с анти-советским острием. Уже было объявлено о визите в Китай и министра обороны Брауна, что сигнализировало о начинающемся военном сотрудничестве.

В Москве рассматривали как противоречащее разрядке решение Совета НАТО от 12 декабря 1979 г. разместить в Европе 572 новые американские ракеты промежуточного радиуса действия. В этом же смысле было расценено принятое без консультации с СССР, несмотря на возражения Устинова в ходе венского саммита, решение о способе размещения стратегических ракет МХ. Добавим сюда отказ США от договоренности по Ближнему Востоку, прекращение ими переговоров по Индийскому океану, резкое увеличение американского военного бюджета и формирование программы создания так называемого «умного оружия».

Словом, в Москве сложилось впечатление: США отказываются от разрядки, но еще не решаются публично сбросить с себя ее «мантию». Если прежде сдерживание входило лишь своего рода компонен-

²⁹ В сентябре 1979 г. в Соединенных Штатах была развернута мощная англисоветская кампания в связи с обвинениями в тайном размещении на Кубе советской бригады. Как признали затем американские официальные представители, включав президент Картера, она не имела под собой никаких оснований.

том в общую стратегию разрядки, то теперь оно становилось политикой сдерживания, подменяя и вытесняя политику разрядки.

Можно, конечно, еще порассуждать, Афганистан ли положил конец разрядке, или же, напротив, ее угасание стимулировало «поход в Кабул». Во всяком случае, если Афганистан, как любят говорить американцы, и вбил последний гвоздь в гроб разрядки, то в отношении остальных «гвоздей» позаботилась и другая супердержава.

В итоге при принятии решений в Москве разрядка и состояние советско-американских отношений переставали играть роль сдерживающего фактора, какими были прежде. Советское руководство могло рассуждать и действительно — согласно имеющимся свидетельствам и моим собственным впечатлениям — рассуждало так: «Теперь терять нечего, хуже быть уже не может». Иными словами, путь к афганской авантюре вел и через умерщвление ОСВ-2, через «шашни» Соединенных Штатов с Пекином, через их усиленные военные приготовления и т.д.

В этом смысле весьма поучительным является меморандум М. Шульмана «О возможных выводах советского внешнеполитического анализа» (RDS-3,12/14/79), адресованный им С. Вэнсу 14 декабря 1979 г., то есть всего за 10 дней до ввода советских войск в Афганистан. Приведу несколько выдержек из этого интересного документа:

«Закрепляющий образ действий», который, согласно ожиданиям Москвы, должен был последовать за венским саммитом в преддверии ратификации Договора ОСВ-2, был размыт серией двусторонних противоречий, за которые советское руководство не считает себя ответственным в первую очередь... Несмотря на наши уверения, они должны все больше сомневаться в том, что Договор будет ратифицирован. Также привлекательность договора для них в большой мере развеялась растущими требованиями увеличить военные усилия Соединенных Штатов...

Советы видят растущее напряжение в наших отношениях как форсирующее американо-китайское сближение. Хотя военный порог еще предстоит пересечь, они рассматривают шаги, подобные визиту Брауна (министр обороны США. — К.Б.), как шаги в этом направлении...

Советы, очевидно, пришли к выводу, что преимущества более прямой интервенции в Афганистан теперь перевешивают неизбежную цену, которую им придется уплатить в виде региональной и американской реакции. Хаос в Тегеране и перспектива американской военной акции там — факторы, ведущие к такому выводу. «Стрепоживать» собственную политику из-за озабоченности реакцией США — это слишком высокая цена за неуловимое улучшение отношений... Таким образом, впереди возможны более жесткие трудности в отношениях между Советским Союзом и Соединенными Штатами, если только не будут предприняты обдуманые шаги с целью исправить ситуацию».

Анализ, как видим, вполне реалистический. Он подтверждает, что у советского руководства были резоны для вмешательства в Афганистане, вытекавшие и из американского курса. И в Вашингтоне были люди, которые это видели.

Вместе с тем советские лидеры не ожидали особой международной реакции на свою акцию, в том числе на Западе³⁰. Несмотря на то что она была первым советским вмешательством за пределами социалистического лагеря, известная накатанность и привычность силовых решений (Венгрия, Чехословакия, Ангола, Эфиопия...), кажущаяся их эффективность, как и западная пассивность в прошлом, позволяли надеяться, что так будет и на этот раз. Так что в известном смысле путь в Кабул шел также, как уже говорилось, через Будапешт, Прагу, Луанду и Аддис-Абебу.

Как и в африканских делах, наверное, немножко пьянил, побуждая переоценивать свои возможности, достигнутый стратегический паритет с США. Очевидно, стимулирующую роль сыграли также еще не отшумевшее вьетнамское поражение США и частичное выпадение из активной международной жизни Китая в связи с «культурной революцией».

Наконец, декабрьское решение было облегчено абсолютно ошибочными расчетами советского руководства на возможность военным вмешательством решить афганскую проблему. Они опирались на недостаточную и неправильную информацию, на смутные или даже ошибочные представления об особенностях ситуации в Афганистане.

Красноречивое свидетельство этого — содержащиеся в мартовском и декабрьском решениях Политбюро оценки (в обоих случаях на основании записок все тех же «четырех») корней повстанческого движения. Люди, которые в марте отмечали отсутствие у режима массовой поддержки, в декабре подписали документ, где содержалась пропагандистская версия (в ней, очевидно, нуждались для обоснования решения о вводе войск): вооруженное сопротивление якобы целиком инспирировано извне, сводится к засылке отрядов из Пакистана.

В определенной связи с такими представлениями находилась обреченная на неудачу тактика Москвы: войска направлялись не воевать, а лишь стать гарнизонами в основных городах (и на относительно непродолжительное время). Считалось, что одно их присутствие позволит стабилизировать положение. На деле же получилось наоборот: повстанческая борьба приобрела еще и антиоккупационную, национально-освободительную окраску.

Итак, во-первых, интересы безопасности страны, геостратегические факторы; во-вторых, логика глобальной конфронтации с США; в-третьих, охрана целостности социалистического лагеря и помощь

³⁰ Отчасти, наверное, с этим была связана рекордная неуклюжесть, с которой была политически оформлена интервенция.

союзнику, идеологически родственной партии; в-четвертых, неправильные расчеты, отчасти основанные на неправильной информации.

Еще в мае 1979 года американский поверенный в делах в Кабуле Эмштутц сообщал в Вашингтон: «Афганистан, в отличие от Анголы, Эфиопии и Йемена, граничит с Советским Союзом. Эта бурная страна примыкает к нескольким чувствительным мусульманским центрально-азиатским республикам Советского Союза. Москва, естественно, озабочена перспективой сплошной цепи консервативных исламских государств, простирающейся вдоль или вблизи ее южных границ — от Ирана до Пакистана, а это может произойти, если союз моджахедов когда-либо ликвидирует халькистский режим. Советский Союз имеет также огромные вложения в Афганистане — политические, престижные, экономические, стратегические, военные».

Разумеется, не было решительно никакой речи о «теплых морях», о «рывке через Афганистан», о чем так много шумели в США. Кабул отнюдь не служил звеном в цепи неких агрессивных планов Москвы. И до «сауровской революции», и пакануне ввода войск в Афганистан, и после этого я не видел никаких признаков, ни прямых, ни косвенных, существования таких замыслов. Кстати, в то время, как Бжезинский не уставал бить в барабаны по поводу «далеко идущих агрессивных замыслов Советского Союза», М. Шульман заявил в интервью, что СССР вошел в Афганистан из-за «боязни создания полумесяца воинственных исламских антисоветских государств на своей южной границе, а не потому, что добывался контроль над ближневосточной нефтью»³¹.

Фразу же «о теплых морях» я слышал лишь однажды: от первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана, кандидата в члены Политбюро Ш. Рашидова, когда мы беседовали на борту самолета, летевшего в Алжир. Да и он, думаю, позаимствовал ее из американской прессы, обзор которой ТАСС рассылал по начальству. Кстати, если бы Москва исходила из такой концепции, это сближало бы ее с Амином — яростным сторонником выхода Афганистана к Индийскому океану.

Нет, в декабре 1979 года советские лидеры оказались (этот момент мог наступить и позже, но был неминуем) перед труднейшим выбором и избрали совершенно ошибочный, катастрофический путь, но сделали это не бездумно³². Причем и сам «выбор» был навязан им ходом событий, как это уже случалось в Анголе и Эфиопии. — Ис теперь в захлопнувшуюся ловушку они угодили сами, доверившись в апреле 1979 года привычной схеме — согласно логике холодной

³¹ DSD. — 1980. — Febr. 12.

³² О российских акциях в отношении Афганистана нельзя сказать и этого. Я имею в виду активное участие в удушении режима Наджибуллы, братание с моджахедами (Козырев, надев на голову их «фирменную» шапочку, позировал перед фотоаппаратами) и т.д.

войны и «коммунистической солидарности». И то, что они расценивали как локальную акцию, направленную на стабилизацию в советских интересах ситуации в Афганистане, повлекло за собой прежде всего глубокие международные последствия. Афганская авантюра нанесла серьезный удар по внешнеполитическим позициям СССР, даже привела к его определенной изоляции.

За декабрьским решением последовало почти десятилетнее прямое участие Советского Союза в гражданской войне в Афганистане, которая все более приобретала черты и советско-афганской войны. Она стоила жизни, как говорят, — никто ведь не считал — более чем миллиону афганцев. Сложили голову 13 тысяч наших военнослужащих. Ее жертвами стали и все — почти миллион — побывавшие в ее некле советские солдаты, которые до сих пор расплачиваются увечьями, стрессами, болезнями, сломанными судьбами за авантюризм советских лидеров.

Это была несправедливая и, можно сказать, преступная война, война невыигрываемая, как и война США против вьетнамцев. Война, в которой, как это и ужасало Громыко и других, отвергавших в марте 1979 года военную интервенцию, наша армия стреляла «в парод», была «народ». Сегодня и «демократическая», и коммунистическая печать России дружно умалчивает об этом, создавая и поддерживая некий ореол вокруг действий нашей армии в Афганистане. Между тем участие в грязной войне, войне против национального сопротивления как и «наведение конституционного порядка» в Чечне — никого не в состоянии покрыть славой. Можно говорить о личном мужестве, даже героизме солдат, офицеров, выполнявших свой воинский долг, но не о доблести. Не исключено, кстати, что именно в «афгане» некоторые российские командиры научились топить в крови гражданское население. Не исключено также, что именно там началась деморализация нашей армии.

Какой была моя реакция на декабрьское решение? Отношение было, безусловно, негативным. Но гордиться мне особенно нечем. Это была профессиональная позиция, а точнее — узкопрофессиональная. Я воспринимал и оценивал афганскую акцию в рамках представлений о борьбе двух супердержав, безумной лотерее, где каждый ход должен был быть удачным, а каждое приобретение — удержано. Иначе — удар по мировому статусу. Между тем было очевидно, что американцы решили дать нам в Афганистане бой.

Однако я понимал, что декабрьская акция будет не только равносильна окончательному захоронению разрядки, не только приведет к известной изоляции СССР, но имеет большие шансы провалиться и в самом Афганистане. В переданной Пономареву записке писал о неминуемых тяжелых международных последствиях, в том числе в мусульманском мире, о возможном исламском резонансе в Советском Союзе и, скорее всего, бесперспективности советских военных дейст-

вий в Афганистане, ссылаясь на его историю, на сложность борьбы с национально-освободительным движением.

По сути дела, в тот момент в моей позиции отсутствовал естественный моральный и правовой компонент. Даже такой, который присутствовал 11 лет назад в связи с интервенцией в Чехословакии. Можно было бы думать, что это — проявление уже достаточно богатого политического опыта и порожденного им цинизма. Но скорее дело было в иной ситуации: в Чехословакии силой подавили «братскую» партию, к тому же такую, которая, как нам казалось, указывает путь к оздоровлению нашего общества.

Уверен, что сегодня отнесся бы к этому совершенно иначе, даже находясь в правительственных структурах. И помогла измерить пройденное «расстояние»; самому воочию увидеть различие между мною образца 1979 года и нынешним — Чечня. Я точно знаю: куда большее негодование у меня вызывали моральный и правовой беспредел, творившийся российскими властями в Чечне, чем рекордная безграмотность их политики. Все это, разумеется, в смеси с безрадостной констатацией безразличия, как и в афганское время, российского общества и большей части интеллигенции.

Афганская авантюра была предприятием, в котором отразилось причудливое переплетение на первый взгляд совершенно несовместимых сторон тех советских лет. С одной стороны, кульминация военного могущества (именно в 1979 году был достигнут стратегический приоритет с США при ядерно-тактическом превосходстве в Европе), что подкрепляло чрезмерную веру в военную силу при решении проблем. С другой — близкий к кульминации процесс стагнации и растущей неэффективности руководства как результат ряда факторов, включая его геронтизацию.

Последнее обстоятельство подводит к вопросу о том, как принималось решение, и шире о положении на вершине партии и государства. Обсуждение с участием компетентных экспертов не проводилось. Руководство МИД и Международного отдела, зная мнение своих подчиненных и храня «тайну», от них отгородилось. Шеф военного ведомства с доводами маршала Огаркова и некоторых других высших должностных лиц министерства не посчитался.

Решение фактически готовилось «тройкой» — Андропов, Громыко, Устинов, тогда уже работавшей на принципах «взаимопонимания». Заручившись благословением Суслова, они сумели получить согласие Брежнева, к этому времени все больше терявшего дееспособность. Свою роль, но, разумеется, не решающую, вопреки голословному утверждению некоторых авторов, могла сыграть и обида Леонида Ильича в связи с тем, что Амин проигнорировал его просьбу сохранить жизнь Тараки (об этой «обиде» говорит и Громыко в своих мемуарах).

Документ, именуемый Постановлением ЦК КПСС (П76/125 от 12 декабря 1979 г.) и написанный рукой Черненко (см. стр. 484),

Президентский фонд и др. Л.Н. Бортникова
Президентский фонд: Суворов Г.А., Тихонов В.В., Сидорова Л.А.,
Курбанов Д.Ф., Цыганов К.П., Андреев Ю.В., Гранин А.А., Ширшов Н.А.,
Голованов В.А. Особенности НК Юмер

СОСТАВ НАИКА

К Положению В.А.

Вопрос, требующий решения и утверждения
на заседании И.О. И.О. Андреева Ю.В.,
Суворов Г.А., Цыганов К.П., Гранин А.А., Ширшов Н.А.,
Голованов В.А. - осуществление
этих мероприятий в соответствии
корректива характера.

Вопрос, требующий решения
ИО, осуществляется в соответствии
с Положением

Осуществление всех этих мероприя-
тий осуществляется на И.О. Андреева
Ю.В., Суворов Г.А., Гранин А.А.

2 Поручить И.О. Андрееву Ю.В.,
Суворову Г.А., Гранину А.А.
неформально Полномочия ИО
о ходе выполнения, на основании
мероприятий

№ 997-от 12/12 секретарь ИО Л.Б. Бортникова 1176/125 от 12/11/20

на деле был одобрен лишь 5 из 12, а если считать и кандидатов в члены Политбюро — из 16, членами высшего руководства. Подписи 8 членов ПБ, практически не участвовавших ни в обсуждении, ни в принятии решения, появились постфактум. Причем Кузнецов, Купаев и Щербицкий как бы огораживаясь от решения, это обозначили, проставив даты 25 и 26 декабря. Отсутствует подпись Косыгина — говорили, он был болен. Нет серьезных доказательств, что Косыгин возражал против ввода войск, хотя такая версия существует. Но сам факт, что столь ответственное решение принималось без участия Председателя Совета Министров страны (и что его виза не была да post factum), также знаменателен. Наконец, нет подписи Пономарева, хотя и в протоколе заседания он числится присутствующим.

Таким образом, были грубо нарушены и партийно-конституционные нормы. Строго говоря, не было никакого заседания Политбюро, не было и правомочного его решения: меньшинство фактически узурпировало мнение всех остальных. Такое решение можно квалифицировать как своего рода олигархическое по отношению даже к существовавшим тогда весьма узким структурам руководства.

А с принятием фатального решения инициаторы стали как бы его пленниками, постоянно ощущавшими необходимость доказывать его «правильность»³³ с помощью нереалистических оценок как положения в Афганистане, так и международной реакции на наши действия (записки от 31 декабря 1979 г., 28 января и 7 апреля 1980 г., заседания Политбюро от 17 января 1980 г. и 7 февраля 1980 г. и т. д.).

Характерен и такой факт. Если в 1967 году в связи с нападением Израиля на Египет и кризисом на Ближнем Востоке был созван специальный Пленум ЦК КПСС, то на сей раз, хотя речь шла о более ответственном решении, обошлись без этого. Приличия были отброшены, и афганская проблема на заседании ЦК возникла лишь полгода спустя. Да и то была утоплена во втором вопросе повестки дня — «О международном положении и внешней политике Советского Союза», причем доклад делал министр иностранных дел. Это еще один показатель того, как сузилась вершина властной пирамиды (безошибочный признак ненормального положения в руководстве партии и страны).

Конечно, афганскую эпопею, ее разрушительные последствия можно считать и результатом стечения обстоятельств: грянувшей среди бела дня «сауровской революции», наличия у ее руля таких вождей, как Амин и Тараки, их самоубийственной политики, просчетов советского руководства... Но это из тех случаев, которые неиз-

³³ Тезис об этом содержится в ряде последующих постановлений Политбюро, в выступлении Брежнева на Пленуме ЦК КПСС 23 июня 1980 г., где решение о вводе войск даже называется «единственно правильным», как «подтвердили события».

бежны, когда государственная и политическая системы неадекватны, когда начался процесс их скольжения вниз³⁴.

О «вождях» брежневских лет написано уже немало. На эту «хлебную ниву», спеша использовать конъюнктуру, ринулись всякого рода ловкачи, афиширующие свою реальную, но чаще вымышленную с ними близость. Не лучше писания идеологических записок: визги ненависти не проясняют облика «вождей», тем более что часто исходят из уст тех, кто еще вчера без меры их славил. В результате перед читателем обычно предстает царство ничтожеств либо коллекция монстров. Ни то ни другое не приближает нас к реальности, к истине.

У каждого времени свои критерии. Конечно, советское руководство 70-х годов в целом сильно уступало своим предшественникам. Но таков общемировой феномен. Гигантов военных и послевоенных лет — Рузвельта и Сталина, Черчилля и де Голля, Аденауэра и Неру — сменили сероватые фигуры скорее служивого помета, во всяком случае подернутые чиновничьей «пылью». Не далее как несколько лет назад в Шанхае, где заседал Совет взаимодействия (июнь 1993 г.), лидер парламентской фракции социал-демократической партии Германии Фогель жаловался мне на тусклость нынешних политических лидеров, выводя из этого многие международные неурядицы. «Беда в том, — говорил он, — что руководители сейчас все серые. После войны был Черчилль, у вас — Сталин и т.д.»

На советской политической сцене последней самобытной и масштабной фигурой, выламывавшейся из стандартных рамок, был Хрущев. У англичан — Маргарет Тэтчер, у американцев — Рейган. Это действительно выдающиеся фигуры, хотя и на таких «солнцах» были пятна. Так, с именем Тэтчер связаны крупные и важные для Англии перемены, но в годы ее правления возникло и немало проблем социально опасного свойства, из-за чего она и была свергнута своей же партией. А гипертрофированное, почти болезненное властолюбие бывшего британского премьера стало благодатной почвой для анекдотов. Один из них мне рассказал О'Нил, министр обороны в «тенево» правительстве лейбористов в конце 80-х годов. Рейган и Тэтчер попали на тот свет и предстали перед Богом. Он спрашивает у Рейгана: «Что вы сделали хорошего?» Тот отвечает: «Я хотел даровать миру новое видение». И рассказывает три анекдота³⁵ «Хорошо», — говорит Бог и сажает его рядом с собой. Подходит Тэтчер. «А вы, милая?». Тэтчер в ответ: «Никакая я вам не милая, я «железная леди». Кстати, что это вы забрались в это кресло? Сейчас же слезьте с моего места».

³⁴ Впрочем, и демократическая система, как показала американская авантюра во Вьетнаме, не всегда гарантирует от подобных «случайностей».

³⁵ Рейган был известен своим пристрастием к анекдотам и любил их рассказывать и во время своих политических «выходов».

Как о сильном президенте много написано и сказано о Рейгане, но куда меньше известно, что на встречах с иностранными политическими деятелями он, как правило, не мог обойтись без шпательки и использовал карточки, которые вынимал из манжет. А многолетний посол СССР в США Добрынин рассказывал о таком эпизоде. Осенью 1984 года Громыко после долгого перерыва был приглашен к Рейгану на встречу наедине. Но они пробыли в Овальном кабинете так недолго, что обслуга забеспокоилась. Выяснилось, что Рейган повел Громыко в свой туалет, а сам ушел обедать. Громыко же, выйдя от американского президента, в недоумении спросил Добрынина: «Зачем он меня приглашал?» Сотрудники президента потом объясняли Добрынину: «Президент просто забыл, что хотел сказать».

Кстати, президентство Рейгана подсказывает один из возможных ответов на вопрос о роли и соотношении ума и характера у руководителя. Его опыт подтверждает: советники в состоянии возместить некоторую узость горизонтов мышления, если, конечно, достает ума собрать толковых людей и терпимости к ним прислушаться. А вот характера, воли политическому лидеру не дано занять ни у кого. Когда настает момент решения, он ни с кем не может разделить ответственность. В такие минуты нет ничего важнее характера. И нередко лидеры отличаются между собой тем, что у одних сильный ум, у других — характер. Этот феномен виден и в нашей стране — в «брежневский» и «послебрежневский» периоды.

В те годы «ядро» советского руководства (Косыгин, Андропов, Громыко, Устинов, Суслев плюс до середины 70-х гг. сам Брежнев³⁶) по своим способностям, политическому опыту и проницательности выглядело отнюдь не хуже, чем те, кто стоял во главе других великих держав. Во время пребывания в Москве зимой 1993 года экс-президент США Р. Никсон в интервью даже заявил: «Я знал Хрущева, Микояна, Косыгина, Брежнева, Громыко и других бывших высших советских руководителей... Все они сильные, очень сильные, можете мне поверить. Может быть, это благодаря системе, а может быть, это у них в генах»³⁷. На фоне же нынешней российской правительственной элиты они смотрятся более чем прилично.

К тому же надо учитывать, что «водители» 70-х ныне предстают перед нами не в тогах героев. Между тем личность деятелей из правительственных сфер как бы озаряется их положением и гипертрофируется, ее масштабы в наших глазах зависят от занимаемого «стола». Убери этот «стол», и его «хозяин» начинает выглядеть совершенно иным, лишенным всякого нимба. Такое часто бывает в жизни.

³⁶ Напомню, что Брежнев вполне «на равных» вел переговоры с Никсоном и другими иностранными руководителями, о нем уважительно отзывался и Сахаров.

³⁷ Нью-Йорк таймс. — 1993. — 2–15 марта.

Представьте, например, президента без почтительного, отдающего священным трепетом тона наших телеведущих, которые даже о том, что он запросил для просмотра какие-то бумаги, сообщают так, будто речь идет не об обычном бюрократическом «телодвижении», а о судьбоносном действе.

Почему одним из обязательных аксессуаров возвышения чиновника или политика является обретение им персонального туалета? Да потому, что отправление естественных надобностей рядом с подчиненным, на соседнем стульчаке, низвергает «начальника» с небожителейских высот на землю, лишает всякой мистической ауры.

Весь так называемый протокол, все официальные ритуалы существуют прежде всего для того, чтобы отодвинуть в тень тот очевидный факт, что речь идет о человеческом существе со всеми его добродетелями и слабостями. Это, наверно, один из самых древних видов шоу-бизнеса, приобретший сейчас небывалый размах. Все эти «биллы», «гельмуты» и т.д., которыми нас угощают с телеэкранов, — это не только проявление дурного вкуса, но и феномен шоу-бизнеса. В этом смысле советские лидеры 70-х годов ныне предстают «нагими», без своих «столов», то есть просто людьми, без такой ауры.

Наконец, о нравственной стороне дела. Мне не по душе мнение, что политика — грязное дело: эта формула звучит индульгенцией для бесчестных политиков (подозреваю, что именно им она и принадлежит). Кроме того, она и не верна, ибо политике, чтобы быть реально адекватной насущным заботам человечества, предстоит соединиться с моралью. Другое дело, что до сих пор в мире политики и политиков, как и прежде, правят бал интриги, лицемерие и ложь.

Политика часто замешана на нарочитом, вводящем в заблуждение жесте, на обмане народа, полном или неполном. Самая невинная, как бы узаконенная его форма — пустые, заведомо невыполнимые предвыборные обещания. Функции политических заявлений нередко состоят в том, чтобы не сообщить, а укрыть правду. О ней может догадаться лишь опытный глаз, читающий между строк.

В коридорах власти деформируются понятия нравственности и процветает личностная коррупция. И, как правило, тем глубже, чем «старше» правительство. Политики любят повторять крылатую фразу Талейрана: «Это больше чем преступление, это — ошибка». Но это означает: сначала целесообразность и лишь потом мораль, право.

Политика стимулирует не только здоровый прагматизм и способность к разумным компромиссам, но и беспринципность; не только гибкость, но и конформизм; не только твердость воли и присутствие духа в трудных ситуациях, но и тщеславие и самонадеянность; не только естественное честолюбие, но и непомерные амбиции; наконец, не только объемное видение общественной жизни и государственных интересов, но и отдаленность от чаяний обычных граждан, а иногда и равнодушие к ним. Человек, добравшийся до политических вер-

шин, обычно должен пройти долгий путь интриг и приспособленчества, компромиссов с совестью и моралью. И поэтому так много в этой среде политических хамелеонов, которые плавно перетекают или внезапно перебегают из одного лагеря в другой.

Чтобы противостоять всем этим «коррозионным» процессам, нужны неординарные личные качества, твердые моральные устои и чувство гражданской ответственности. Ими в той или иной мере обладают многие политики. Однако главное, чем определяется облик людей, делающих политику, — система, в которой они действуют. И при немалом сходстве политической кухни в различных государствах политика в демократических системах, как правило, иная, чем та, которой нас потчевали в советские годы и потчуют сейчас. Демократический строй, можно сказать, оберегает политику от политиков, а их от самих себя. Он в существенной мере обеспечивает контроль над ними, сменив у кормила власти и избавляясь от тех, кто ею злоупотребляет, мешает переносу в политику слабостей и дурных качеств политиков.

Существовавшая же у нас антидемократическая система действовала в противоположном направлении, причем по мере того, как дряхлая, это разлагающее действие усиливалось. Проводя будущего лидера через тернии и сито безжалостной конкуренции без правил и закаляя его, она прививала послушание вышестоящим, авторитарные привычки и подобострастие, поощряла ложь, ограниченность и косность, закрывая глаза на безнравственность «в своем кругу». Эти качества позволяли лидерам органично вписываться в систему и служить ее опорой, усугубляя вместе с тем ее слабости и пороки.

Система ставила в исключительное положение Генерального секретаря, подталкивая его к сосредоточению в своих руках абсолютной власти. Она поощряла властолюбие и самоволие, претензии на безгрешность³⁸.

Брежнев, например, по наблюдениям моих товарищей и моим, исобделен был привлекательными чертами: обаятелен, прост в обращении, благожелателен, сентиментален. Мой коллега Жилин в 1972 году стал свидетелем такого случая. Телефонный звонок — Леониду Ильичу

³⁸ Маркус Вольф, глава восточногерманской разведки, покинувший в 1986 году свой пост из-за «проперестроечных настроений, неприемлемых для руководства ГДР, рассказывает, что в разговоре с ним о реформах, прошедшем в начале 80-х гг., Андропов «этот либеральный коммунист», как он его называет, сказал: «Всякий раз, когда кто-нибудь становится Генеральным секретарем, Вы имеете около года, чтобы воздействовать на него. Затем его окружают свои собственные люди, которые твердят ему, что он величайшее явление и аплодируют каждому его движению, и тогда уже поздно» (Marcus Wolf. Man Without a Face. — P. 86). Впрочем как мы уже убедились на опыте постсоветской России, в этом рассуждении «Генеральный секретарь» может быть заменен «главой государства» «президентом» и от того оно не утратит своего смысла.

сообщают, что умер министр машиностроения. Брежнев: «Хорошо, что я его не снял, ведь сколько месяцев колебался, видно было уже, что он не на месте, но человек хороший. Хорошо, что не снял».

Как я уже рассказывал, Брежнев поначалу был скромнен не на показ: он просто более реально оценивал свои возможности. Отсюда, думается, дорого обошедшаяся стране завистливая ревность, которую он питал, сознавал, очевидно, его превосходство, к Косыгину, хотя тот не был его соперником и не претендовал на первое место. На сталинской даче Вольинское-1 в ходе «сидения» в декабре 1965 года был такой эпизод. В комнате на первом этаже, где работала наша группа, зазвонила «вертушка»: Брежнев спрашивал Зимянина. По рсшикам Зимянина чувствовалось, что ему крепко попадает. Оказывается, Леонид Ильич выговаривал за то, что короткое сообщение о Ташкентской встрече было дано на первой полосе «Правды»: «Почему преувеличиваешь?» Между тем речь шла об очень-большом деле: Косыгин в Ташкенте, как известно, помирил Пакистан и Индию.

Но мало-помалу логика системы и ее механизмы, послушание, а часто и угодливость коллег, их обязательная «осанна» (хором заявленное согласие — «Это очень хорошо» — на заседании Политбюро, посвященном Афганистану, 19 марта 1979 г. типично в этом отношении), пеумеренное восхваление в средствах массовой информации, а также недуги превратили Леонида Ильича в капризного владыку. В результате происходили сценки почти карикатурного свойства. Так, летом 1977 года на переговорах ангольцы жалуются, что их просьбы не встретили поддержки (ГКЭС счел предложенный ими проект экономически бессмысленным). Брежнев говорит: «Ну, Семен (С. Скачков, председатель ГКЭС. — К.Б.), ты чего-то совсем не понимаешь. Хорошие люди, близкие, просят». Тут же дается указание и начинается вредная беготня.

Еще один фактор, сыгравший свою роль в подобной эволюции: вокруг Брежнева было создано информационное поле, характерное для недемократических систем. Поток газетных и телевизионных восхвалений смешивался с процеженной бдительным окружением информацией, которой также придавался «приятный» характер. По этому же принципу составлялись рассылавшиеся по ЦК обзоры «Писем от трудящихся»³⁹.

Конечно, в послесталинские времена несогласие с генсеком уже было возможно, но означало неминуемое выпадение из «обоймы»,

³⁹ Высокопарные отзывы о «дорогом Леониде Ильиче» постоянно фигурировали в депешах из-за рубежа о встречах советских представителей с главами государств или компартий, независимо от того, что происходило на самом деле. На моих глазах Рашидов сделал пространные приписки такого рода в уже подготовленную шифровку о беседе с алжирским президентом Ш. Бенджедидом, хотя тот ограничился лишь тем, что передал привет.

притом в «никуда», без всякой надежды на возвращение в политику плюс немедленное лишение материальных привилегий.

Такая зависимость чрезвычайно суживала возможности и инициативу членов советского руководства, стирала их индивидуальность. Хотя все вместе они действительно обладали огромной властью, каждый из них в отдельности чувствовал себя под дамокловым мечом постоянного контроля, был не более, а может быть и менее, самостоятельным в отношении своего «начальника», чем люди, стоявшие куда ниже на политической лестнице. В этом тоже была специфика положения: скованы были и те, кто, так сказать, предписывал правила, писал законы.

Эта скованность (степень ее, естественно, зависела и от личных качеств) приводила порой в международных контактах к неловким ситуациям, свидетелем которых я был не раз. Июль 1986 года, делегацию во главе с секретарем ЦК И. Капитоновым принимает президент Северного Йемена А. Салех. Наш «глава» и Салех сидят вокруг миниатюрного овального столика, почти вплотную, и северо-йеменский президент, только что произнесший короткую речь, недоумением смотрит на Капитонова. Еле уместив на столик свои бумаги, тот начинает зачитывать ему текст: «Крупнейшим событием последних месяцев в жизни нашей страны и партии были XXVII съезд и последовавший за ним Пленум ЦК. Они подвергли критическому анализу итоги деятельности партии и приняли исторические решения. Если говорить коротко, то суть перестройки — это приведение наших экономических и политических институтов в соответствие с уровнем и степенью развития, которых уже достигло наше общество. Как вы знаете, г-н президент, наше общество родилось из революции. За ней последовала, как и у вас после революции 1962 года, жесточайшая гражданская война, в которую вмешались 14 иностранных держав...» и т.д. и т.п. Глава делегации был зажат, как все, и даже больше, чем мы.

Специфической эволюции самой личности Генерального секретаря и окружающей его атмосферы способствовало, конечно, то, что эта должность была, по существу, пожизненной и смена стала уже невозможной в рамках чисто партийных структур и процедур. Превратившись фактически в государственно-партийного руководителя (причем в этой дефиниции в соответствии с реальным положением слово «государственный» закономерно должно идти первым), генсек со сталинских времен опирался, наряду с партийным аппаратом, на силовые структуры. Не оглядываясь на них, законные, выборные партийные институты были не в состоянии решать вопрос о руководителе партии. Так, в любом случае были обречены на неудачу попытки делегатов XVII съезда ВКП(б) сместить Сталина: беда их как раз состояла в том, что они не заметили, как «проехали стан-

цию», до которой еще можно было, как в ленинские времена, решать вопросы голосованием. Силовые структуры сыграли важнейшую роль в удалении Берии. Хрущева убрали по сходному сценарию. А вот в 1957 году, как бы забыв о накопленном опыте, антихрущевская коалиция, опираясь только на свое большинство, проиграла.

Собственно, о государственно-партийном, а не о партийном руководстве вернее говорить, имея в виду не только Генерального секретаря, но и Политбюро. В отличие от хрущевских времен, в него входили руководители силовых и внешнеполитического ведомств. К ним следовало бы прибавить председателя Совета Министров — главную фигуру в экономической области. Таким образом, всю вторую половину 70-х и первую половину 80-х годов самыми влиятельными членами партийного ареопага, исключая генсека и, временами 2-го секретаря, были представители государственных органов.

Сама по себе несменяемость вождя, сопровождавшаяся несменяемостью его основной команды (если Брежнев возглавлял ЦК 18 лет, то Громыко МИД — 28 лет), уже лишала правящие структуры динамизма, вела к старению кадров, к консервативно-склеротической деформации. Из избранных на пленуме ЦК после XXVI съезда КПСС (1981 г.) членов и кандидатов в члены Политбюро, секретарей ЦК шестерым (почти четверть) было 75 лет или больше, пятерым (около 20 проц.) — 70 или более, еще десятерым (около 40 проц.) — от 60 до 70 лет. И только пятеро (менее одной пятой) не достигли пенсионного возраста. Кириленко, стремясь «легитимизировать» такое положение, попытался даже внести «вклад» в общепринятые представления о возрастных категориях. В день своего 70-летия он произнес знаменитую речь, в которой объявил этот возраст «средним»⁴⁰.

У Брежнева все это осложнялось и болезнью: со второй половины 70-х годов он был все чаще недееспособен. В 1977–1978 годах мне не раз приходилось наблюдать его совсем близко, в частности в аэропорту Внуково-II. Приехав туда, Леонид Ильич обходил нас, выстроившихся в ряд 7–10 человек, обычно спрашивал председателя Гостелерадио Лапина: «Почему мало показываешь хоккей?» (если это происходило летом, то «футбола»), затем садился на ручку кресла и, повернув одутловатое, недвижимое лицо в сторону, устремлял взгляд в одну точку. Казалось, он просто не сознает, где находится.

⁴⁰ В начале 1980 г. я обследовался в правительственной клинике на улице Мичурина. Вечером накануне моей выписки у врачей состоялся какой-то «междусобойчик», на который пригласили и меня. Присутствовали несколько известных врачей, лечащих и высокое начальство. В ответ на мое иезовское замечание относительно нашей медицины, заведующая отделением Людмила Павловна сказала не без гордости: «Разве не доказывает силу наших врачей то, как они поддерживают состояние наших руководителей, несмотря на их возраст?»

Состояние Брежнева не укрылось от иностранных наблюдателей, а его встречи с главами других государств стали проблемой. В связи с предстоявшей встречей на высшем уровне в Вене Сайрус Вэнс в секретном меморандуме от 8 июня 1979 г. на имя президента Картера посвятил специальный раздел тому, как «обращаться» с Леонидом Ильичом:

«II. Обращение с Брежневым

Исполнение Брежневым своей роли в Вене будет зависеть от того, будет ли он на уровне для этого случая или нет. В своем лучшем виде он будет живым, четко формулирующим свои мысли, демонстрирующим ум и хитрость, которые вознесли его наверх жесткой и жестокой политической системе. Он может продемонстрировать личное обаяние, а иногда и приземленное чувство юмора.

Самая последняя информация о состоянии Брежнева указывает на то, что он сейчас в одном из своих лучших периодов, отрабатывал полный рабочий день и продемонстрировал немалую живость в дискуссиях в мае с Тито. Во время своего визита в Венгрию в начале этого месяца Брежнев, казалось, хорошо справлялся с публичными частями своей программы. Тем не менее его речь по венгерскому телевидению была записана заранее, перед тем как он покинул Москву.

Во всяком случае физическое состояние Брежнева резко ограничит то, что он в состоянии делать. Два часа — это примерно максимум, который он может проводить на переговорах, и ему потребуется долгий отдых между утренним и послеобеденным заседаниями. А на ужинах в конце дня на нем, очевидно, будет сказываться все напряжение дневной активности.

Вследствие его непредсказуемого состояния и сокращающейся способности вникать в детали Брежнев тщательно программируется своими помощниками. На майской встрече с Жискаром реальный диалог во время пленарных сессий оказался очень трудным. Но это может измениться в Вене. Он, несомненно, начнет чтение бумаги, подготовленной его помощниками, и это, включая время, необходимое для перевода, займет много времени на всех четырех запланированных встречах 16 и 17 июня»⁴¹.

По мере угасания физических возможностей и, говоря языком психiatров, «снижения критики», при возрастающем в атмосфере подобострастия ощущении непогрешимости и всемогущества Брежнев капризничал, уклонялся от дел, неделями не выезжал из Завидова, предаваясь своему любимому занятию — охоте. Один из его секретарей, проработавший с Леонидом Ильичом 18 лет, рассказывал, что он, недовольный, бывало, швырял пачки привезенных ему на ознакомление шифровок, и они разлетались веером по комнате. Мероприятия с участием Леонида Ильича приобретали фарсовый характер.

⁴¹ Memorandum for the President. — 1977. — June 8.

Вот пример, к сожалению, далеко не единственный. Брежнев встречается с Нето (август 1977 г.). Главе Анголы, гостю, как обычно, предоставляется слово первому. Но Нето повел себя неожиданным образом. После традиционных общих фраз он вдруг поворачивает к теме недавнего военного мятежа в Луанде и, игнорируя дипломатические тонкости, заявляет: «Вот я прилетел, потому что произошла такая вещь — мятеж, и я хотел от Вас лично узнать, принимала ли Москва участие в заговоре против меня или нет? Потому что, как меня информировали, многие ваши люди были замешаны».

Все взгляды обращаются, естественно, к Брежневу. Присутствующие, и прежде всего советские представители, ожидают, что он прореагирует на вопрос ангольского лидера, отвергнет — в соответствии с реальностью — такое предположение, подтвердит, что мы не отошли от поддержки Нето. Но ничего этого не случилось. Леонид Ильич держит лежащий перед ним предварительно заготовленный текст и принимается читать: «Обстановка у нас хорошая, виды на урожай отличные...» и т.д. и т.п. Получалось так, будто мы уклоняемся от ответа и тем самым как бы подтверждаем обоснованность сомнений Нето. Все попытки «подсказать» путем подсовывания записок не имели никакого эффекта. Закончив читать, Брежнев то ли вопросительно, то ли утвердительно произнес: «Хорошо прочитал».

И только после перерыва — официального обеда — через «дополнение», оглашенное одним из советских участников встречи, удалось отчасти сгладить впечатление.

Вспоминаю официальные обеды в Грановитой палате. Из-за состояния Брежнева и, видимо, по его желанию они проходили в ускоренном темпе. Под сводами палаты то и дело раздавался грохот — это официанты бегом (я несколько не преувеличиваю) подносили и уносили блюда, часто не давая изумленным иностранным гостям расправиться с ними.

Общая фальшь обстановки нашла выражение и в расцвете «поцелуйного жанра»: сентиментальные кремлевские старцы обильно лобызали и друг друга, и иностранных гостей.

При этом появление в руководстве новых и более молодых людей становилось все более сложным делом. Пройти через искусственно заузженный коридор могли лишь вполне «удобные» фигуры — те, кто уже имел «патрона» в круге доверенных, не вызывал у генсека и приватизировавшего его уши окружения опасений яркостью своей личности, самостоятельностью и особенно рекордсмены по части словословия в адрес Брежнева. В этом смысле характерна судьба П. Машерова — руководителя Белоруссии, одной из крупнейших парторганизаций, которому заблокировали членство в Политбюро. Председатель Совмина Белоруссии А. Аксенов в подробностях рассказывал мне, за что Машерова не жаловали в Москве: самостоятелен, модифицирует или даже обходит союзные решения, не склонен вос-

хвалить руководство и велеречиво демонстрировать лояльность, шако-нец, выделявшую его среди других руководителей популярность у себя в республике (мол, «заигрывает с людьми», «ищет дешевой популярности» и т.д.). Нелюбовь была такова, что звание Героя Социалистического Труда, достаточно щедро раздававшееся первым секретарям, ему, лидеру республики с наибольшими хозяйственными успехами, досталось после долгих проволочек и в последнюю очередь. Своего отношения Москва не смогла скрыть и в связи с трагической гибелью Машерова в 1988 году — было сделано все, чтобы придать траурной церемонии, похоронам возможно более скромный характер.

В последний период при Брежневе постоянно находилась и фактически его «страховала» референт-стенографистка Галя Дорошина, молодая, симпатичная и умная женщина. Она знакомила Брежнева документами и поступающей информацией, сообщала его соображения членам Политбюро, будучи передаточным звеном от него и к нему. Вела себя ровно и с высшим начальством, и с обслуживающим персоналом и, несмотря на свою деликатную роль, сумела завоевать уважение окружающих. Была едва ли не единственной из окружения Брежнева, кто не эксплуатировал сложившуюся ситуацию. Сразу же после смерти Леонида Ильича Андропов позвонил Дорошину и сказал, что она может не беспокоиться за свою судьбу, от нее избавляться не будут.

Продукт и баловень системы, Брежнев стал и ее жертвой. Не только личные амбиции Леонида Ильича, удобно устроившегося на вершине власти, но и окружавшая его команда (хочется сказать камарилья), бесстыдно использовавшая в собственных интересах его маразматическое состояние, заставляли старика мучиться на высоком посту, лишая счастья спокойно доживать свой век благоустроенным пенсионером.

«Эпопея» Черненко доказывает, что феномен генеска-фантома этому времени был уже отнюдь не чужд системе. Тот факт, что она могла функционировать и в таком «безголовом» варианте, говорит, конечно, о ее солидной укорененности, но и о мумификации системы, о том, что динамизм был ей уже опасен. Если механизмы системы, прежде всего партия, позволяли этому руководителю на вершине властной пирамиды быть недееспособным или даже потворствовали этому — то был безошибочный симптом серьезнейшего недуга системы.

Абсолютная власть Генерального секретаря обеспечивалась не только силовыми факторами, но и прочно закрепившейся в партии традицией безусловного послушания. Оно глубоко въелось в партийную практику, в психологию кадров, порождая дефицит самостоятельности и самостоятельности. Корни этого феномена уходят в сталинский период, а возможно, и в более ранние времена.

Сталин умерщвлял партию как живую, инициативную организацию насаждавшимся им командным стилем, своим культом и особенно репрессиями. Но, даже ликвидировав старые кадры (Мао Цзэдун

вовсе не был, как принято считать, первооткрывателем «культурной революции» и «огня по штабам», эта честь принадлежит Иосифу Виссарионовичу), он не смог полностью искоренить в ней живую жизнь, следы самодеятельности и «критического сознания», шедшие от подполья, гражданской войны и 20-х годов. Война несколько оживила эти «следы»: несмотря на царивший суперкомандный порядок, партийным организациям приходилось многое решать самим. Однако послевоенные репрессии и общее «наведение порядка» окончательно превратили партию в политический и пропагандистский рычаг исполнения поступающих сверху указаний.

Если в первичных организациях еще могли порой кипеть страсти (разумеется, не по серьезным политическим вопросам), то ЦК к этому времени стал фактически лишь штампующим и малоосведомленным органом. Членов и кандидатов в члены ЦК знакомили с протоколами заседаний Политбюро, где, собственно, все и решалось, по крайней мере формально. Но в эти протоколы вносились — знаю по собственному опыту — лишь малозначащие вопросы или кадровые перемещения. Многие или даже большинство вопросов туда не попадали или обозначались короткой запретительной, отторгающей фразой: «особая папка». Фактически Политбюро — это было установившейся, «нормальной» процедурой — выдавало свои решения за решения Центрального Комитета.

Несамостоятельность и послушание настолько вошли в плоть и кровь членов ЦК, что сохранились и в перестроечные годы, тем более что серьезных усилий, стимулирующих демократизацию партии, инициативу ее организаций, не предпринималось. Особенно ярко немощь членов ЦК проявилась в двух случаях, принципиально важных для судеб партии.

Со второй половины 1988 года в ЦК нарастало критическое, даже враждебное отношение к Горбачеву. На Пленуме 25–26 декабря 1989 г. каждая реплика Михаила Сергеевича встречалась шумом неодобрения. Да и он не стеснялся: «Тише, тише. Это — не дрова рубить. Дрова рубить — это мы умеем, вижу, у вас сжимаются кулаки. Дрова я умею рубить, в 1942 году весь сад вырубил. Что это вы расходитесь, тонаете ногами на Пленуме? Что вы, с заклепок сорвались (шум в зале. — К.Б.)? Если вас не устраивает, давайте других. Я не буду возглавлять этот процесс («силовых» мер. — К.Б.). Я уже не раз говорил об этом».

На февральском Пленуме 1990 года резко критическую позицию заняли 24 оратора из 33. Еще резче это проявилось на совещании первых секретарей обкомов 30 января 1991 г. «Разговорился, никак тормоза не может включить», «Все на других валит, а сам не знает, куда идти», «Да он в экономике так же понимает, как его люмпен-академик Шаталин» и т.д. — эти замечания были не самыми острыми из тех, что я слышал вокруг. И все же члены ЦК так и не

рискнули осуществить свое заветное желание — избавиться от Михаила Сергеевича. Не меняет дела и то, что, возможно, какую-то роль сыграли страх раскола и боязнь в той ситуации остаться «один на один» со страной.

Другой случай — возникновение ГКЧП. Хотя была тенденция обвинять КПСС в его поддержке, на самом деле, думается, руководство партии не заняло определенной позиции, выжидало, проявив в отсутствие «вождя» нерешительность и отвычку от самостоятельных действий. Прилетев из Сирии вечером 19 августа, я на следующий день утром у лифта встретил (часть аппарата президента продолжала работать в здании ЦК) А. Грачева, заместителя заведующего Международным отделом и члена ЦК, избранного на XXVIII съезде. Спросил не без нажима и нетерпения: «Что же ЦК молчит?» В ответ услышал: «Обсуждают, никак не могут договориться». Помню, я сказал: «Но как партия, претендующая на то, чтобы быть правящей, может молчать в такой критический момент, отсутствовать на политической сцене? Тем самым она расписывается в том, что не нужна. Занять любую позицию — и то было бы лучше».

Советская система с рождения опиралась на идеологическое освящение своего существования, на идеологизацию общества и народа. Ее лидеры служили определенной доктрине, что не исключало, конечно, личных амбиций и интересов. По мере старения и бюрократизации системы, действовавшей, как и партия, в бесконкурентной среде, бюрократизировалась и идеология, уступая место прагматизму без границ. Живая душа идеологии выхолащивалась, оставалась лишь оболочка («скорлупа ореха без его ядра»). Идеология становилась маской, скрывавшей безыдейность и судорожное цепляние за власть. Происходила деидеологизация руководства и кадров в целом.

Утратившая живой идеологической стержень система сама подталкивала к беспринципности и безбрежному прагматизму. Не случайно каждое следующее поколение лидеров все дальше продвигалось по этому пути. В 70-е и 80-е годы, по моим наблюдениям, самыми «продвинувшимися» и в то же время самыми идеологически крикливыми были комсомольские «вожаки».

Если Хрущев был все же искренне привязан к некоторым, пусть догматическим, но «вбитым в сознание» с молодости марксистско-ленинским постулатам, то следующее поколение в большинстве своем было свободно от них. По моим наблюдениям, среди членов руководства второй половины 70-х годов доктринально «заряженными» конечно, по-разному — оставались лишь Андропов, Сулов, Пономарев и в какой-то мере Громыко. Это, впрочем, не исключало, что «водители» искренне верили в превосходство существовавшего у нас строя, причем не только в смысле потенциала государства и властных для себя удобств, но и в том, что касалось положения и возможностей «простых людей».

Именно этим прежде всего объясняется странный на первый взгляд факт: своих лидеров и свои руководящие кадры нынешняя система получила от прежней, политически и идеологически вроде противоположной. Этим же, а не только нравственным коэффициентом соответствующих персонажей объясняется удивительное зрелище: вчерашние члены Политбюро ЦК КПСС, все люди не первой молодости, еще вчера произносившие марксистско-ленинские речи, безудержно славившие Брежнева и, поочередно, других генеральных секретарей, гонители церкви сегодня вдруг, без малейшего смущения, выступают в роли ярких антикоммунистов, обличают «коммунистическую демагогию» (Ельцин), «бездуховность, фанатизм и антинациональную направленность коммунистической идеологии» (Каримов), запрещают компартии (Алиев, Каримов, Назарбаев), истоиво быют себя во внезапно обретенную «религиозную грудь» (Ельцин не упускает случая постоять со свечой в храме, Алиев совершил хадж в Мекку, Шеварднадзе то и дело перемежает политические заявления ссылками на Всевышнего и т.д.). При этом они не изменяют привычному авторитарному или даже диктаторскому стилю своего руководства, как и своему влечению к привилегиям. Кронид Любарский как-то написал, что российский президент, ранее отказавшийся от романа с коммунизмом, теперь порывает с демократией. На самом деле у него, как и у других людей этой категории, не было ни той ни другой любви. У них была и остается одна, но пламенная страсть — власть.

Если бы история расставляла политиков по ранжиру лицемерия и беспринципности, то многие члены последних советских руководств заняли бы там весьма видные места.

С процессом идейного обмеления и опустошения было связано разрастание коррупции, правда, оговорюсь, по нынешним масштабам она была копеечной. С Хрущевым кончилась эпоха более или менее аскетичных советских «вождей». Страсть Брежнева к презентам была хорошо известна. Мои коллеги — «арабы», ездившие с Ш. Рашидовым в составе делегации в Ирак, знали, что оттуда он привез Леониду Ильичу золотую статуэтку. Секрет Полишинеля — история с драгоценным кольцом, принятым в Баку из рук Алиева. Открыто шлетничали я о том, что помощник Громыко облагает «ясаком» послов и других чиновников, работавших за границей, совмещая при этом интересы супруги шефа и свои собственные. Когда Горбачев, выступая в МИД 23 мая 1986 г., говорил о том, что «взяточничество... коснулось внешнеполитического ведомства», думаю, он имел в виду и это. Чистыми оставались, согласно молве, Сулов, Андронов, Устинов и некоторые другие члены высшего руководства.

Коррупция, на мой взгляд, выражалась и в применении двойного стандарта: в отличие от «обычных» работников людям из руководства практически разрешалось нарушать ими же установленные заповеди.

Вследствие этого в партийном и государственном аппарате возникла целая категория работников, изъеденных коррупцией.

Брежневское поколение руководителей, несомненно, уже продукт начавшегося разложения системы. Оно, можно сказать, качественно отличалось от тех, кто был ближе к ленинским годам, хотя и те были небезупречны. Это относится, конечно, и к партийным функционерам более низкого ранга, начиная с первых секретарей обкомов.

Многие из них были еще менее склонны потакать партийной демократии, менее привязаны к идеологическим постулатам, но зато поднатюрившими хозяйственниками, «деловыми» людьми с накачанной «партийной» речью, переполненной обязательными и пустыми формулами.

Брежнев занял свой пост под девизом «стабильность», что многим казалось даже привлекательным после «качки» последних хрущевских лет. Но постепенно «стабильность» стала вырождаться в иммобилизм, а во второй половине 70-х годов и в стагнацию, в старческое бессилие руководства. Причем это происходило в условиях, когда, с одной стороны, все более давало о себе знать «плохое самочувствие» самой системы и остро ощущалась необходимость крутых перемен, а с другой — бурно развивался мир капитализма, которому мы бросали вызов.

В этот период, особенно в начале 80-х годов, все очевиднее становилось почти физическое ощущение застоя и деградации. Казалось, жизнь в стране остановилась, замерла, пропали события — одни юбилеи и кончины. Юбилеев было много, круглых и некруглых: годовщина Октября, основание Советского Союза и т.д. И каждый был поводом для шумных мероприятий, заседаний, докладов, массовых награждений. Но они приобретали все более дежурный, помпезный и бессодержательный характер.

Фактически все это напоминало имитацию реальной общественной и политической жизни, ее эрзац. Это последнее слово наиболее точно описывает тогдашнее состояние. Не скажу, чтобы было сознание того, что дело идет к какому-то резкому сдвигу, тем более к финалу. Думалось, что система имеет большой запас прочности. Вместе с тем росло чувство, что заходим или уже зашли в какой-то тупик. Я, например, понял (в том числе и в связи с той информацией, впрочем довольно скудной, которую получал на секретариатах), что происходит размывание даже того потенциала и качества жизни, которые были созданы прежде. Становилось очевидно, что нарастающая милитаризация, огромная дань, уплачиваемая за то, чтобы существовать в статусе сверхдержавы, все больше съедали какие-то части «тела» страны. Ветшали многие наши театры, библиотеки, культурные учреждения, начала стареть промышленная база, причем не только в отраслях, всегда находившихся более или менее в загоне, вроде легкой промышленности, но даже металлургия, которой мы так хвастались, станкостроение.

Явления застоя, расслабленности, вращение на холостом ходу стали переливаться вниз, все шире поражая партийный и государственный аппарат. Следуя примеру «свыше», великовозрастные члены руководства, за небольшим исключением, стали придерживаться «щадящего» режима. Пономарев, который раньше удалялся в комнату отдыха на час, теперь проводил там два — два с половиной часа. Тоже стал выдавать «капризы», нередко заставлял себя уговаривать принять иностранных гостей, хотя это было его прямой обязанностью.

Формальный характер приобретали секретариаты ЦК, в их повестку включались преимущественно малозначительные вопросы, зато много — о награждениях. Помню, как однажды Лапин (он нередко позволял себе саркастические замечания) на вопрос кого-то из сидевших рядом, чем вызвано предложение наградить артистов театра Советской Армии, ведь ничего выдающегося ими не сделано, ответил нарочито громко: «Как ничего не произошло, ведь ремонт театра закончился — чем не повод?»

Особенно заметной была формализация секретариата, когда его вел Сулов. Однажды он поставил своего рода рекорд, завершив заседание за 11 минут. Может, потому, что слабо разбирался в хозяйственных делах, а может, не считал нужным тратить время, понимая, что многословное обсуждение, не подкрепленное материальными ресурсами, ни к чему не приведет. Более продолжительными и, казалось бы, более содержательными были секретариаты, которые вел Кириленко. Но это только казалось: как правило, реальных мер по решению крупных вопросов не принималось, скорее все сводилось к накачке. Помню, например, как обсуждалась проблема металлургии. Выяснилось, что четверть мощностей имеет не то 30-летний, не то 40-летний стаж. Рядом со мной сидел министр, заглядывая в разложенные на коленях схемы и записки, комментировал мне выступления. И вдруг заключил: положение не изменить, поскольку «денег на модернизацию все равно не дают». Так что обсуждение практически свелось к разговорам о дисциплине, улучшении внутриотраслевых связей и мелких усовершенствованиях.

К концу 70-х годов уже стало заметно и ослабление роли партийного аппарата, так же как партии в целом. Они были серьезно потеснены номенклатурой из государственной и хозяйственных структур. Накопившая большую силу, имевшая в руках огромные материальные возможности, часто получавшая по тем временам немалые деньги и обретшая вкус к «красивой жизни», она тяготилась партийным контролем. Он не только мешал расторопным хозяйственникам, но и шел вразрез с их гедонистскими настроениями, стремлением к обогащению. Сказывалось здесь и постепенное идеологическое выцветание кадров. Бросалось в глаза, как вальяжно и даже развязно вели себя на Секретариате ЦК министры и вообще люди из Совета Министров, что раньше было бы невероятным. Но они чувствовали

конъюнктуру и, кроме того, были прикрыты дружкойм Брежнева — бесцветным Председателем Совета Министров Тихоновым⁴². Усилилась карьерная зависимость многих работников партийного аппарата от государственных структур: мечтой заведующего сектором в ЦК и часто нормальной «станцией» его выдвижения было кресло заместителя в курируемом министерстве.

Из-за недееспособности Брежнева, но также и в силу сложившейся обстановки серьезно страдали и даже разрушались нормальные механизмы и методы подготовки и принятия решений. В основных политических вопросах непропорциональное влияние, даже решающую роль приобрели несколько человек. Особое место, «серого кардинала» и хранителя «священного огня» — ортодоксии, принадлежало Сулову. Помню, в Завидове Брежнев как-то бросил многозначительную фразу: «Если мне приходится уезжать, я чувствую себя спокойнее, когда в Москве Михаил Андреевич». Леонид Ильич знал, что Сулов не может и никогда не станет претендовать на первое место, он относился к нему не без пиетета, как провинциальный бурсак к академическому мэтру.

Облик Сулова, вырастающий из большинства появившихся до сих пор сочинений, тоже искажен идеологическими страстями. Разумеется, Михаил Андреевич не тупая и не бесцветная личность. Напротив, он был, несомненно, человек умный и хитрый, образованный, обладал отличной и цепкой памятью, по характеру сдержанный, педантичный и довольно самостоятельный. Напомню, что в период подготовки XXIII съезда он твердо и хитроумно отвел претензии Трапезникова и К°, пытавшихся, используя близость к Брежневу, посягнуть на принцип мирного существования. Еще в поздние 70-е годы возражал против конференций по брежневской «трилогии». Но затем как бы сломался и включился в кампанию восхваления Леонида Ильича, вручал ему ордена и т.д.

А вот еще эпизод, характеризующий уже некоторые аппаратные манеры Михаила Андреевича (со слов моего приятеля Н. Биккенина, бывшего зав. сектором в Отделе пропаганды и агитации ЦК). Сулову приносят на просмотр проект «Обращения к народу». Там, в частности, есть фразки, очень любимые в окружении Брежнева: «Спасибо рабочему классу», «Спасибо крестьянству» и т.д. Сулов возвращает текст со словами: «Что это вы по-барски похлопываете по плечу рабочий класс? Не надо. И очень, по-моему, длинно. 18 страниц — это, пожалуй, максимум. Вот я поработал, посмотрите, что получилось». А получилось 18 страниц — ни строчкой больше или меньше. Мог вернуть бумагу, подчеркнув синим карандашом опечатки.

⁴² Характерно, что с приходом в ЦК Андропова положение сразу же изменилось и министры повели себя по-другому.

В 1977—1978 годах место Суслова, как «второго», оспаривал тесно связанный с Брежневым Кириленко, и они вели секретариат по очереди. Суслов даже попросил приносить ему бумаги на голосование после Андрея Павловича, так как тот то и дело оспаривал его резолюции. Впрочем, вскоре Кириленко впал в немилость, как-то неаккуратно коснувшись на секретариате состояния здоровья «Генерального».

Отрицательные и даже отталкивающие черты Михаила Андреевича были не только и не столько особенностями его характера, сколько отгиском пороков системы. Скажем, Суслов, хотя, по наблюдениям, «понимал» все или многое, был, как известно, догматически жёсток и даже жесто́к. Но не потому ли прежде всего, что «понимал» — и включался охранительный рефлекс, действовала охранительная реакция?

Именно от системы шел дух чванства и агрессивного авторитаризма, свойственный некоторым членам руководства и характерный для его стиля в целом. От системы передавались неуважение к людям, к подчиненным, а иногда откровенное хамство, которое позволяли себе иные наши «вожди». От системы вела происхождение чугузная ограниченность, которой была заклеймлена немалая часть нашего «начальства». Наконец, от системы брала начало атмосфера духовной духоты и двоемыслия, которая доминировала во многих кабинетах на Старой площади и оттуда разливалась по всей стране.

Если Суслов обладал квазимонополией в вопросах идеологии и культуры, то почти такой же привилегией в своих сферах стали пользоваться Андропов, Громыко, Устинов. В международных вопросах они образовали некое содружество-триумвират, отдельно собиравсь, обычно в «ореховой комнате», для выработки единого мнения, вслед за чем кто-нибудь из них должен был «поработать» с Леонидом Ильичом.

Каждый из «тройки» был сильной фигурой. Громыко, по выражению одного из его заместителей, слыл человеком с «компьютером в голове». Могу подтвердить, что переговоры с совершенно разными людьми и по совершенно разным вопросам он вел свободно, без шарашлок, обнаруживая хорошее знание материи.

Устинов, по общему мнению, обладал большим организаторским талантом, рекордной трудоспособностью (в командировках, на испытаниях поднимал «своих людей» в 5—6 утра и работал до позднего вечера, а в ЦК трудился с 9 утра до 10—11 вечера) и был зациклен на укреплении военной мощи СССР («Иначе будет другая война, мы снова пострадаем», — говаривал он).

В этом триумвирате, безусловно, выделялся Андропов, и не только способностями: его преимуществом была широкая информированность и во внутренних, и в международных делах. Мне кажется, что Юрий Владимирович в какой-то степени драматическая фигура.

Прекрасно осведомленный о положении в стране⁴³, видящий, как все глубже проникают бактерии разложения, как некогда «бетонные» опоры превращаются постепенно в труху, он, бессильный что-то предпринять, в течение семи-восьми лет вынужден был оставаться пассивным наблюдателем⁴⁴. А когда, наконец, положение изменилось, Юрий Владимирович был уже слишком источен болезнью.

У Андропова, несомненно, существовали и реформаторские намерения. По его инициативе (и при активном участии Горбачева и Рыжкова) были созданы группы из партийных, хозяйственных работников и ученых для оценки сложившегося экономического, социального и политического положения и разработки путей дальнейшего развития страны. Он не раз повторял в узком кругу, что «нам нужно работать и работать, чтобы иметь хотя бы просто социализм». Вопреки, а может, именно благодаря своему венгерскому опыту, он, по свидетельству академика А. Чубарьяна, подчеркивал: «Я абсолютно убежден, что необходимы глубокие изменения в отношениях с социалистическими странами. Мы не можем и дальше держать над ними хлыст». Андропов — и это подтверждается документами и свидетельствами очевидцев — был горячим сторонником разрядки и считал, что необходимо сделать все, чтобы положить конец гонке вооружений.

Бывший посол СССР в Берлине В. Кочемасов рассказывал, что, когда его назначали на этот пост на смену предшественнику, который любил «повелевать», — Андропов ему сказал: «Нам нужен новый посол в ГДР, а не колониальный губернатор».

Возможно, завесу приоткрывают и свидетельства Маркуса Вольфа, основанные на беседах с Юрием Владимировичем. В книге «Человек без лица» он пишет, что Андропов «размышлял относительно возможности социал-демократического «третьего пути», прокладываемого отдельными кругами в ГДР... Он выражал надежду на приспособление каким-то образом общественной собственности к свободному рынку, так же как на политическую либерализацию»⁴⁵.

В недавнем интервью «Комсомольской правде» Вольф вновь утверждает: «Понимание необходимости того, что в системе надо что-то менять — и менять серьезно — у него (Андропова. — *К.Б.*) было. Андропов делал ставку не только на Горбачева, но в том числе

⁴³ Маркус Вольф передает, что в разговоре в узком кругу Андропов «был откровенен относительно упадка Советского Союза, начало которого... он обозначал вторжением в 1968 году в Чехословакию» (Marcus Wolf. With Anne Mc Elvoy. Man Without Face. Spumaster. — P. 219).

⁴⁴ Разумеется, в смысле конструктивных мер. Тушиково-охранительную «работу» он выполнял: с именем Андропова связаны гонения на диссидентов, помещение их в психиатрические больницы. Именно по его инициативе, как пишет Маркус Вольф, Сахаров был сослан в Горький, а Солженицын лишен советского гражданства (Marcus Wolf. Man Without Face. — p. 218).

⁴⁵ Marcus Wolf. With Anne McElvoy. Man Without Face. — P. 217

и на него. Называя Юрия Владимировича «так сказать, духовным отцом» Михаила Сергеевича, Вольф заявляет, что «идеи экономических реформ, политических преобразований — все у Андропова уже было. Это я знаю»⁴⁶. Но тот же Вольф констатирует (в целом солидаризуясь с подходом Андропова, как имевшим «большие шансы» на успех), что «андроповские реформы были бы введены сверху вниз со всеми ограничениями, которые они повлекли бы за собой...», а «его интерес к приемлемым реформам политического плюрализма» ограничивался «венгерским экспериментом»⁴⁷.

Горбачев, который, по его словам, был «хорошо знаком с Юрием Владимировичем», считает: «...он, как и Хрущев, не пошел бы далеко... Но тем не менее он многое стимулировал в нашем дальнейшем развитии»⁴⁸. Первые его шаги, однако, были выдержаны большей частью в административном стиле⁴⁹. Впрочем, и следующее руководство начинало с антиалкогольной кампании. Да, наверное, он не стал бы Горбачевым. Но не мог ли он превратиться в российского Дэн Сяопина? Этот вопрос, думается, остается открытым.

Несмотря на сильные качества всех членов «тройки», их непомерно возросшее влияние, их полный контроль в своих епархиях, само это «содружество», внутри которого, надо думать, отношения должны были строиться на взаимных компромиссах и без адекватно критического отношения друг к другу, не отвечали государственным интересам и не всегда благоприятно сказывались на принимаемых решениях.

Одним из таких плохо обдуманных, порочных решений и был ввод войск в Афганистан. Это, пожалуй, последнее столь серьезное решение доперестроечного руководства партии и государства в международных делах. И в нем явно просматриваются недуги его самого и всей системы.

⁴⁶ Комсомольская правда. — 1998. — 29 янв.

⁴⁷ Marcus Wolf. Man Without Face. — P. 218, 225.

⁴⁸ Независимая газета. — 1992. — 11 нояб.

⁴⁹ Правда, по данным ЦРУ, в результате кампании по укреплению дисциплины производительность труда в промышленности в 1983 г. возросла на 3,2 процента (CIA Directorate of Intelligence, Gorbachev's Economic Agenda: Promises, Potentials and Pitfalls, An Intelligence Assessment. — 1985. — Sept. — P. 10).

6. МИССИЯ В СТЕПАНАКЕРТЕ

22 февраля 1988 г., примерно в шесть или в семь часов вечера, на моем служебном столе зазвонил телефон первой, главной правительственной связи (АТС-1). На другом конце провода был неожиданный собеседник — М.С. Горбачев. Хорошо помню одну из первых его фраз: «Карен, тебе надо будет поехать в Степанакерт. Народ там разбушевался». Я попробовал возразить: «Но, Михаил Сергеевич, ведь я не говорю по-армянски и мне, наверное, не удастся найти общий язык с карабахцами»¹ Горбачев произнес раздосадованно: «Что же вы, армяне, все не знаете своего языка. Вот и Георгий (Шахназаров, помощник Горбачева. — К.Б.) тоже ссылается на это».

Я решил, что надо соглашаться: повторять свой аргумент, хоть он и казался мне бесспорным, нет смысла. Это — чего мне особенно не хотелось — могло быть воспринято и как проявление трусости, как уклонение от сложного и, возможно, небезопасного поручения. Горбачев закончил наш разговор словами: «Возьми с собой кого хочешь и поезжай». Так началась моя миссия в Степанакерте, благодаря чему я вновь, через 43 года, вступил на землю своих предков.

Сейчас лишь скурые газетные информации изредка напоминают о нагорнокарабахской проблеме и связанном с нею конфликте. Тогда же это было поистине революционное событие для страны. Впервые возникло массовое национальное движение, бросившее вызов узаконенному политико-административному устройству, монополии партии и государства на политическую деятельность, на постановку принципиальных вопросов общественной жизни. Недооцененное властью, оно оказало серьезное, не соразмерное с масштабами Нагорного Карабаха влияние на развитие событий в Закавказье и даже за его

¹ Я имел в виду, что в Нагорном Карабахе, где «разбушевавшийся народ» встал на защиту своих национальных интересов, мне вряд ли простят забвение языка отцов и уже это обрекает на неудачу.

пределами. А в подходе союзного центра к карабахской проблеме проявились многие характерные черты его национальной политики в перестроечную пору.

Правда, Карабах не был первой ласточкой. В январе 1986 года студенты Якутского университета потребовали введения преподавания якутского языка. В декабре того же года молодежь в Алма-Ате протестовала против назначения первым секретарем ЦК Компартии Казахстана вместо казаха Д. Кунаева «варяга»² Г. Колбина, до того первого секретаря Ульяновского обкома. Волнения были быстро подавлены, а в официальном сообщении расценены как выступления, происшедшие по «подстрекательству националистических элементов», которым воспользовались «хулиганствующие, паразитические и другие антиобщественные лица»³. Между тем даже если это было организовано, как утверждали в Москве, полумафиозной номенклатурой, опасавшейся, что ее безмятежная жизнь будет потревожена, в возникшую трещину прорвались подлинные национальные чувства, распрощанные в обществе.

Месяц спустя в выступлении Горбачева на Пленуме ЦК проявилось стремление заново разобраться в уже данной оценке, подойти к национальному вопросу без устоявшегося самодовольства. Бегло упомянув «об успехах национальной политики нашей партии», он призвал «видеть реальную картину и перспективу развития национальных отношений», отметил наличие в этой сфере «негативных явлений и деформаций». Михаил Сергеевич подчеркнул: «Необходимо, чтобы состав руководящих кадров наиболее полно отражал национальную структуру». И как всегда, впрочем не без оснований, досталось ученым, которые «долгое время предпочитали создавать брошюры «заздравиного» характера»⁴.

Однако никаких серьезных политических разработок и практических мер не последовало. Более того, в связи с кампанией антикоррупционной чистки в Узбекистане туда — с благими намерениями — направлялись на работу целые группы руководящих работников из России, Украины, Белоруссии, совершенно не знакомых с местными традициями и обычаями, с психологией и поведением людей, то есть со всем тем, что Горбачев призывал на январском Пленуме «не упускать из виду».

² Проведенную за четверть века до этого в связи с освоением целины подобную же операцию — казаха Шаяхметова сменил Брежнев — казахи приняли безропотно. Однако уже в те времена «секретарская» проблема не была безоблачной и ее пытался использовать Берия. После смерти Сталина, когда Берия рвался к власти и искал популярности, он добивался — и частично добился, — чтобы секретарей ЦК на Украине, в Белоруссии и других республиках сменили на «коренных».

³ Правда. 1986. — 19 дек.

⁴ Правда. — 1987. — 28 янв.

Прошло без заметных сдвигов еще 14 месяцев, прежде чем грянул Карабах. Родилось это движение не случайно и не вдруг, оно назревало годами. Проблема, порожденная произвольным включением в 1921 году Нагорного Карабаха в состав Советского Азербайджана и десятилетиями политики бакинского руководства, отягощала и будоражила сознание карабахских армян.

В 1920 году Нагорный Карабах, наряду с некоторыми другими районами, очутился в центре территориального размежевания между возникшими Азербайджанской и Армянской Советскими Республиками, которое оказалось сплетенным в один узел с урегулированием взаимоотношений между Турцией и РСФСР. 30 ноября этого года Ревком Азербайджана в ответ на телеграмму Ревкома Армении об установлении в республике советской власти обнародовал следующий документ:

**«ДЕКЛАРАЦИЯ РЕВКОМА АЗЕРБАЙДЖАНА О ПРИЗНАНИИ
НАГОРНОГО КАРАБАХА, ЗАНГЕЗУРА И НАХИЧЕВАНИ
СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ АРМЯНСКОЙ ССР**

30 ноября 1920 г.

Всем, всем, всем!

От имени Советской Социалистической Республики Азербайджана объявите армянскому народу решение Ревкома Азербайджана от 30 ноября:

«Рабоче-крестьянское правительство Азербайджана, получив сообщение о провозглашении в Армении от имени восставшего крестьянства Советской Социалистической Республики, приветствует победу братского народа. С сегодняшнего дня прежние границы между Арменией и Азербайджаном объявляются аннулированными. Нагорный Карабах, Зангезур и Нахичевань признаются составной частью Армянской Социалистической Республики.

Да здравствует братство и союз рабочих и крестьян Советской Армении и Азербайджана!

Председатель Ревкома Азербайджана

И. Нариманов

Народный Комиссар по иностранным делам

Гусейнов»⁵

1 декабря 1920 г. на торжественном заседании Бакинского Совета И. Нариманов огласил декларацию, где говорилось, что «отныне никакие территориальные вопросы не могут стать причиной взаимного кровопускания двух вековых соседних народов: армян и мусуль-

⁵ Коммунист (на арм. яз.). — Ереван. — 1920. — 7 дек.

ман, территория Зангезурского и Нахичеванского уездов является нераздельной частью Советской Армении, а трудовому крестьянству Нагорного Карабаха предоставляется полное право самоопределения»⁶.

4 декабря 1920 г. «Правда» сообщила о переходе Зангезура, Нахичевани и Нагорного Карабаха к Советской Армении. А 7 декабря было опубликовано постановление Ревкома Азербайджана, в котором прямо заявлялось: «С сегодняшнего дня Нагорный Карабах, Зангезур и Нахичевань считаются составной частью Армянской ССР». В мае 1921 года правительство Армении выпустило декрет, в котором извещалось, что «отныне Нагорный Карабах составляет неотъемлемую часть Социалистической Советской Республики Армении»⁷.

Наконец, 3 июня 1921 г. Кавказское бюро РКП(б) в составе Орджоникидзе, Кирова, Махарадзе, Нариманова, Мясникяна и других приняло решение поручить армянскому правительству в своей декларации указать о принадлежности Карабаха Армении. 12 июня такое заявление было опубликовано.

«ДЕКРЕТ СОВНАРКОМА АРМЕНИИ О ВОССОЕДИНЕНИИ НАГОРНОГО КАРАБАХА С АРМЕНИЕЙ

12 июня 1921 г.

На основе декларации Ревкома Социалистической Советской Республики Азербайджана и договоренности между Социалистическими Республиками Армении и Азербайджана провозглашается, что отныне Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Социалистической Советской Республики Армении.

Председатель Совнаркома Армении
Ал. Мясникян (Ал. Мартуня)
Секретарь Совнаркома Армении
М. Карабекян»⁸

Читатель, возможно, заметил, что в трех последних документах фигурирует лишь Нагорный Карабах: между декабрем 1920 года и маем 1921 года как бы выпала Нахичевань. А дело в том, что ценой заключения 16 марта 1921 г. российско-турецкого договора о дружбе и братстве были, наряду с другими уступками, оставление в составе

⁶ «Великая Октябрьская революция и победа советской власти в Армении», Ереван с. 21. Ю/см. ЦПА ИМЛ. — Ф. 17. — Оп. 12. — Ед. хр. 4. Л. 50Б-31.

⁷ Правда. — 1920. — 4 дек.

⁸ Хорурдани Айастан. — 1921. — 19 июня; Бакинский рабочий. 1921. — 22 июня.

Турции ряда армянских территорий⁹, переход бывшего Нахичеванского уезда под юрисдикцию Азербайджана без права передачи (ст. 3 договора) «сего протектората третьему государству», то есть Армении.

Несуразность этого решения видна из того, что Нахичеванская область (уезд) расположена в географических пределах Армении, не имеет границ с Азербайджаном и была в то время более чем на половину населена армянами. Результатом сделки явилась и другая нелепость — азербайджанцы (которые впоследствии за счет вытеснения армян стали в Нахичевани большинством), «титовская нация» в Азербайджанской ССР, получили вдобавок внутри ее еще и автономию в рамках созданной в соответствии со смыслом договора Нахичеванской АССР.

«Во всех последних наших договорах, — писал Чичерин летом 1921 года, — мы по отношению к отдельным местностям нарушали этот принцип (право на самоопределение. — *К.Б.*). ...Все это связано с тем, что при нынешнем общем положении, при борьбе Советской республики с капиталистическим окружением верховным принципом является самосохранение Советской республики... Ради этого... приходится идти на договоры с буржуазными государствами, в которых наши принципы не осуществляются»¹⁰. Слова Чичерина в полной мере относятся и к договору с Турцией.

Но этим дело не ограничилось. Настала очередь и Нагорного Карабаха. Под нажимом Сталина (не исключено, что тут сыграла роль и точка зрения турок), а также изменивших свою позицию некоторых азербайджанских руководителей Кавказское бюро на заседании 5 июля 1921 г. отказалось от прежнего решения, и Нагорный Карабах был «возвращен» Азербайджану с любознательным обоснованием: «исходя из необходимости национального мира между армянами и мусульманами». В июле 1923 года он получил в его составе статус автономной области (НКАО). Территориальное размежевание между Арменией и Азербайджаном было проведено таким образом, чтобы изолировать НКАО от Армянской ССР: был образован 5-километровый коридор, отделяющий их друг от друга.

Карабахским армянам, естественно, было трудно смириться со столь «вольным» обращением с их судьбой, тем более что поведение

⁹ Кстати, Сталин, имевший планы «наказать» Турцию за ее явно благосклонное отношение — если не сотрудничество — к фашистской Германии в первые годы ее войны против Советского Союза, очевидно, намеревался исправить учиненную несправедливость. В будущем «освобожденные» от Турции армянские территории, где намечалось создать два обкома партии, были даже уже назначены секретари. Например, секретарем Карского обкома был утвержден секретарь ЦК КП Армении Кочинян.

¹⁰ Независимая газета. — 1996. — 6 апр.

Баку отнюдь не помогло смягчить горечь происшедшего. И каждые 10–15 лет поднималась волна требований о воссоединении с Арменией. И не случайно обвинение в стремлении «оторвать» от Азербайджана НКАО было самым расхожим среди тех, что использовали в своей репрессивной деятельности местные органы ГПУ—НКВД, особенно в 30-е годы. Существует версия, официально пока не подтвержденная, о том, что в 1946 году вопрос о Карабахе был поставлен секретарем ЦК КП Армении Арутиновым, и Берия, которому Сталин поручил «разобраться», вкуче с Багировым предложил комбинированную сделку: Карабах — Армении, Дагестан — Азербайджану, а заодно Сочи — Грузии.

Однако достоверно известно, что в конце 1945 — начале 1946 года руководство Армении, ссылаясь на массовую репатриацию в Армянскую ССР зарубежных армян (всего вернулось 200 тыс. человек), провело в Москве «зондирующие» консультации по этому вопросу (говорилось и о Нахичевани, где армянское население тогда еще было достаточно многочисленным). Арутинов, в частности, «прошупывал» на этот счет Маленкова (второй секретарь ЦК КПСС).

Официально с инициативой о воссоединении Карабаха с Арменией ее руководство выступило в начале 1972 года, улучив момент, когда Суслов был в отпуске и секретариат ЦК вел А. Кириленко. Постановлением секретариата руководителям Армении и Азербайджана было поручено совместно изучить поставленный вопрос и предложить его решение. Руководящие «четверки» (1-й и 2-й секретари ЦК, председатели Совминов и Президиумов Верховных Советов) с обеих сторон провели в один из уик-эндов двухдневную встречу (по одному дню на территории каждой из республик), но ни к какому соглашению не пришли. Азербайджанские представители, как и следовало ожидать, приняли предложение Еревана в штыки. В конце концов под давлением армянской стороны условились, что встретятся вновь, но в более узком составе для выработки, учитывая постановление секретариата, хоть какой-то совместной записки.

Однако запланированная встреча не состоялась: руководители Азербайджана съездили к отдыхавшему в Минеральных Водах Сулову и тот по возвращении в Москву добился от Брежнева указания Еревану «отозвать свою записку», что и было сделано.

Подспудные чувства карабахских армян нашли открытое выражение с началом перестройки, обещавшей демократизацию также и в национальных отношениях. С первых месяцев 1987 года в области стали собирать подписи под петициями, создавать инициативные группы, проводить собрания на предприятиях. Ходоки из Карабаха побывали в Москве с обращением, где ставился вопрос о «выводе» области из Азербайджана и ее вхождении в Армянскую ССР. Их принял П. Демичев (в ту пору первый заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР, кандидат в члены Политбюро), который,

разумеется, на основе общего мнения руководства, отверг и осудил эти притязания. Вопрос об НКАО ставился и ЦК Компартии Армении.

В 1988 году в НКАО начался открытый сбор подписей под декларацией, адресованной ЦК КПСС и Президиуму Верховного Совета СССР, с просьбой «рассмотреть вопрос о воссоединении НКАО Арменией». О народной почве нарастающего движения свидетельствовали многие его эпизоды, порой наивное поведение демонстрантов. Так, 12 февраля 1988 г. в районном центре Гадруте состоялось совещание партийно-хозяйственного актива, где намечалось «снять», по указанию Москвы, вопрос, поставленный в декларации. Однако собравшийся у здания райкома народ не отпускал «активистов» до трех часов ночи, добиваясь у юливших руководителей, высказались ли они за воссоединение Нагорного Карабаха с Арменией, и отказываясь поверить в негативную позицию ЦК КПСС. Люди разошлись лишь после того, как председатель облисполкома В. Осипов обещал обсудить этот вопрос вновь. На следующий день люди собрались у райисполкома, и число их значительно возросло за счет приехавших из сел соседнего района. Они потребовали... поставить печать исполкома на декларации и, добившись своего, разошлись. Можно было бы посмеяться над этой святой верой в «печать», но, как оказалось, люди хорошо знали повадки власти и «зрили в корень»: через несколько дней попытались объявить незаконным подобное решение сессии областного совета, ссылаясь на то, что председатель облсовета «потерял печать» и результаты голосования остались незаверенными.

Московское и, что более естественно, азербайджанское руководство отреагировало на события в области традиционным образом. А. Лукьянов, секретарь ЦК, ссылаясь на Горбачева, сообщил, что в ЦК КПСС не рассматривается и не будет рассматриваться вопрос о воссоединении НКАО с Арменией. 13 февраля, уже после упомянутого «приложения печати», члены бюро Гадрутского райкома партии были вызваны в обком, где их подвергли грубому разносу второй секретарь ЦК КП Азербайджана В. Коновалов, секретари ЦК Оруджев, Мехтиев и другие. Вот образцы их лексики. Коновалов: «Пользуясь перестройкой и гласностью, рты пооткрывали... Но это временное дело». Оруджев, обращаясь ко второму секретарю РК Сафаряну: «Ты вообще — коммунист, ты — за Советскую власть?» Раздавались неприкрытые угрозы: «А вы знаете, что будет с вами, если азербайджанцы из соседних районов, 100 тысяч вооруженных людей, придут в ваши села?» Бакинские деятели даже требовали использовать милицию и прокуратуру, чтобы пресечь собрания на предприятиях. Прокуратура Азербайджана выступила с угрожающим заявлением.

Как почти всегда бывает в таких случаях, эффект получился обратный желаемому. 20 февраля 1988 г. сессия областного Совета народных депутатов Нагорного Карабаха одобрила резолюцию: «Идя

навстречу пожеланиям трудящихся НКАО, просить Верховный Совет Азербайджанской ССР, Верховный Совет Армянской ССР проявить чувство глубокого понимания чаяний армянского населения Нагорного Карабаха и решить вопрос передачи НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, одновременно ходатайствовать перед Верховным Советом Союза ССР о положительном решении вопроса передачи НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР». Не помогло энергичное противодействие присутствовавшего на заседании первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана К. Багирова. Провалилась и его попытка обратиться к людям, собравшимся на площади перед обкомом. Кстати, и впоследствии одно упоминание его фамилии вызывало резко негативную реакцию. И это было скорее выражением отношения не к нему лично, а к руководству республики.

Политбюро ЦК КПСС 21 февраля расценило принятое решение как националистическое, инспирированное экстремистами, а бюро ЦК КП Азербайджана 22 февраля использовало определения и похлеще. Причем обе оценки были даны в отсутствие карабахских представителей. 24 февраля «Правда» опубликовала сообщение «К событиям в Нагорном Карабахе», где выступления части армянского населения с требованиями о включении НКАО в состав Армянской ССР были объявлены «результатом безответственных призывов экстремистски настроенных лиц». Азербайджанские средства массовой информации развернули кампанию против «этих подонков», «экстремистов», «националистов», «групп подстрекателей» и даже наркоманов.

Между тем в Степанакерте и районных центрах НКАО, в Ереване и в ряде других городов Армении начались массовые демонстрации. У здания обкома партии ежедневно собиралось по 15—20 тыс. человек. Они несли государственные флаги СССР и всех союзных республик, портреты Ленина, Шаумяна и Горбачева, транспаранты с лозунгами: «Ленин, партия, Горбачев!», «За ленинскую национальную политику!», «За демократическую национальную политику!», «За перестройку, демократию и гласность!», «Карабах плачет, Москва молчит» и т.д.

Митинги длились до позднего вечера, их участники не расходились и ночью. Они носили вполне мирный характер, не сопровождались ни эксцессами, ни правонарушениями. Тем не менее уже начиная с 13 февраля МВД Азербайджана стало накапливать милицейские силы, была сменена охрана у горкома партии и ряда других объектов. Но эти меры лишь добавляли напряженности.

Такой была обстановка к моменту, когда я получил свое карабахское поручение. Весь день 23 февраля потратил на лихорадочную подготовку: ознакомился с материалами в Организационно-партийном отделе, читал шифровки из Еревана от находившихся там А. Лукьянова и В. Долгих (секретарь ЦК, кандидат в члены Политбюро) и

Баку, где были Г. Разумовский (секретарь ЦК, кандидат в члены Политбюро) и П. Демичев. Из них узнал, что и к Баку, и к Еревану — по инициативе то ли самой Москвы, то ли ее посланцев — подтягиваются войска.

24 февраля побывал у А.Н. Яковлева. Он рассказал, что Горбачев несколько часов назад принял (как я понял, по его протекции) постесу С. Капутикян и писателя З. Балаяна. По его словам, беседа произвела на Михаила Сергеевича впечатление, позволила впервые вникнуть в проблему Арцаха (древнее название Нагорного Карабаха) и он отнесся к ней сочувственно. Яковлев, который, на мой взгляд, и сам разделял такой подход, тепло меня напутствовал. Однако цель моей миссии не стала четче и определеннее. Скорее всего она состояла в том, чтобы «утихомирить», перевести проблему из состояний митингового ажиотажа в русло спокойного обсуждения. Сразу скажу, что миссию эту я не выполнил: не только потому, что она оказалась прерванной, но и потому, что с самого начала была обречена на неудачу.

25 февраля мы — приглашенные мною профессор Мчедлов, зам. директора Института марксизма-ленинизма, К. Хачатуров, зам. председателя агентства печати «Новости» и я — вылетели в Баку. Здесь познакомились с материалами, подготовленными группой ученых, направленных ЦК КПСС в НКАО. Из них следовало, что область находится в республике на положении пашыка, причем внутри ее предпочтение отдается Шуше, где большинство населения — азербайджанцы. Если в среднем по Азербайджану в 1986 году объем промышленной продукции на душу населения составлял 1838 рублей, то в НКАО — 1370, основных производственных фондов, соответственно, 1805 и 778 рублей, капитальных вложений — 473 и 178 рублей. Не лучше выглядело положение с платными услугами населению: по санаторно-курортным и оздоровительным услугам 12 процентов от среднереспубликанского уровня на одного жителя, по здравоохранению — 53, по жилищному хозяйству — 56 процентов.

Процент армян, учащихся и преподавателей, в шести средних специальных учебных заведениях и пединституте, был заметно меньше доли армянского населения области. Направляя ежегодно 850–900 студентов в вузы других городов СССР, по специальной квоте, Баку не выделял ни одного места НКАО на том основании, что эта квота «предназначена только для коренного населения». В учебных пособиях для армянских школ фигурировала история Азербайджана, но не было ни слова о Нагорном Карабахе. В учебниках для 10-го класса говорилось о вкладе Азербайджана в годы Отечественной войны, но не упоминались карабахцы. Между тем отсюда вышли 21 Герой Советского Союза (один — дважды), три маршала и один адмирал флота. В годы войны погибло более 20 тыс. карабахских армян.

Клубы, библиотеки, музеи, многочисленные архитектурные и археологические памятники находились в запущенном состоянии —

некоторые из-за того, что Министерство культуры республики не разрешало завершить реставрационные работы. В то же время все культурные памятники азербайджанского народа, например в Шуше, отреставрированы.

НКАО не имела издательства на армянском языке. Армянский язык стали вытеснять из некоторых официальных мероприятий. Армянские названия многих населенных пунктов были заменены азербайджанскими.

Область всячески старались изолировать от Армении. На ее долю приходилось лишь 0,3 процента (40 тыс. рублей!) вывозимых и 1,4 процента ввозимых товаров. Запрещено было получать художественную литературу из Еревана без предварительного согласования названий книг и их авторов. Хотя в школах не хватало учебников на армянском языке, их ввоз из Армении обуславливался вывозом туда равного количества азербайджанской литературы. Люди не могли смотреть телепередачи из Армении, зато принимались программы иранского телевидения.

Совокупный итог неблагоприятного положения армян Нагорного Карабаха — демографическая динамика. Доля армянского населения с 1921-го по 1989 год сократилась с 96,5 до 75 процентов. Правоммерными выглядели опасения карабахцев, что с НКАО произойдет то же, что и с Нахичеванью, где доля армянского населения снизилась с 50–60 до 1,7 процента.

Эти и другие материалы, с которыми ознакомился еще в Москве, рисовали безрадостную картину: у карабахцев было более чем достаточно оснований для недовольства своим положением, и я испытывал все меньше энтузиазма в отношении своей миссии. Из беседы с Разумовским в Баку я понял: у него нет никакой программы урегулирования ситуации, кроме как «спясть остроту», «утихомирить» область, желательно гладко. Присутствовавший тут же К. Багиров (московские эмиссары и мы жили в гостевом правительственном доме и столовались вместе с практически постоянно находившимися там руководителями республики) был настроен лишь на обличение происходящего в НКАО.

Вечером того же дня мы отправились в дорогу. Оказалось (первое впечатление!), что Степанакерт, областной центр, не приспособлен для приема самолетов в вечернее время, хотя соседние, азербайджанские, районные центры необходимым оборудованием располагают. Мы сели в Агдаме, откуда на машинах предстояло отправиться в Степанакерт. Но первый секретарь райкома настойчиво приглашал подкрепиться, и, зная восточные нравы, я согласился. В гостевом домике я застал двух человек из «обслуги» сидящими у телевизора, с экрана которого (второе впечатление!) смотрел Хомейни.

Добравшись до Степанакерта и бросив вещи в очередном гостевом домике, который по сравнению с агдамским имел довольно-таки

облезлый вид (третье впечатление!), отправился в обком вместе с его новым секретарем Генрихом Погосяном. На площади перед ним увидел человек 500—600 (четвертое и последнее из первоначальных впечатлений!). Это — «дежурящая» часть непрерывной демонстрации, которая нальется силой днем, обретет свой обычный масштаб в 7—10 и больше тысяч.

Погосян мне понравился, производил впечатление искреннего и разумного человека, хотя, как я понял чуть позже, был не так уж и прост. Он оказался в незавидном положении — между молотом требований двух, кстати не вполне идентичных, центров, московского и республиканского, и наковальной народного давления. Генрих Андреевич держался нарочито простовато, не без крестьянской хитрецы. Не противореча прямо «начальству», выполняя его указания, он старался столкнуть его с реальными фактами, с конкретными людьми, выражающими общее настроение, и одновременно не терял связи с населением.

Впрочем, была еще одна реальность, по существу автономная, с которой ему приходилось считаться: ведомство внутренних дел, представляемое заместителем союзного министра Б. Елисовым. Генерал, особенно поначалу, держался слишком напористо, и я вынужден был сделать ему замечание, видя, как он открывает дверь к секретарию обкома чуть ли не «ногой». Всем своим поведением он как бы говорил: «Вы там говорите, заседайте, а я свое дело, настоящее дело, знаю». Отношение к происходящему выразилось в вырвавшемся у него возгласе: «Когда этот балаган кончится?»

Наутро я прискал в обком. На площади вокруг сработанного помоста с трибуной уже колыхалась толпа по крайней мере в несколько тысяч человек с кумачовыми транспарантами. Она внимала оратору, чей голос, усиленный микрофонами, был хорошо слышен. Эту картину я смогу наблюдать непрерывно три проведенных дня в Степанакерте, в те часы, когда буду в обкоме.

Начал я с беседы с членами бюро обкома. Затем последовали встречи с аппаратом партийных, советских и профсоюзных органов, с руководителями предприятий, с интеллигенцией Степанакерта, с ветеранами партии. В обком потянулись ходоки, желающие встретиться с «уполномоченными из Москвы и передать волю народа». Так состоялись встречи с ветеранами труда, с «афганцами», представителями студенчества, группой преподавателей педагогического института (6 кандидатов наук), с несколькими учителями, с группой крестьян и т.д. Протекали они по-разному. Были, как правило в разговорах с интеллигенцией, моменты по-человечески неприятные, а иногда отдающие и провокацией. Так, доцент педагогического института, несмотря на все мои увещания, упорно называл азербайджанцев «чучмеками» и убеждал в превосходстве армян, которые «первыми в мире в 301 году провозгласили государственной религией христи-

анство и в этом же веке создали свой алфавит». На собрании интеллигенции директор музыкальной школы истерически кричал: «Вы (Москва. — К.Б.) нас за людей не считаете, мы для вас стадо. Ну что ж, стреляйте, стреляйте...» Но скорее это были исключения. В целом шел вполне пристойный разговор.

Однако в том, что касалось существа дела, я наталкивался на стену практически всеобщего настроения, которое разделял и партаппарат, включая первого секретаря. Люди начинали волноваться, говорить на повышенных тонах, перечислять обиды, испытанные от «рук» азербайджанского руководства, с впечатляющим упорством и единодушием выражали решимость «не возвращаться в Азербайджан». Причем основным мотивом жалоб, особенно у интеллигенции, была даже не материальная сторона, хотя экономическую дискриминацию не обходили, а то, что ущемляло чувство достоинства карабахских армян.

От автономии, говорили мне, непрерывно «отщипываются» все новые куски. Стало обычным мелочное вмешательство, без разрешения Баку буквально «нельзя повернуться». Согласованию подлежит даже назначение рядовых сельских врачей и учителей. Руководящие кадры присылают в Карабах извне, не интересуясь мнением местных. Так попали в Карабах первый секретарь обкома Б. Кеворков, объявивший на активе 12 февраля неприсоединение Нагорного Карабаха к Армении «своим жизненным кредо», и председатель облисполкома В. Осипов. Из трех секретарей обкома только один — армянин (второй, тоже «завезенный» — русский, хотя в области русских почти нет).

Говорили, что через республиканскую прессу и радио настойчиво проводится мысль о превосходстве азербайджанцев и их культуры. Мне принесли целую кину изданных в Баку книг и брошюр, где ученые, от аспирантов до маститых профессоров, разумеется, без малейших доказательств утверждали, что Нагорный Карабах всегда был чисто азербайджанской землей. Ряд из них (З. Бунятов, Т. Ахундов, Ф. Мамедова) даже доказывали, что карабахские армяне — вовсе не армяне, а арменизированные албанцы, которые были названы предками азербайджанцев. Если поверить официальному списку храмов и церквей, присланному из Баку, в Мартуниском районе НКАО было 14 «албанских» храмов и 2 армянские церкви, в Мардакертском — соответственно 18 и 11, в Гадрутском — 9 и 1, а в Аскеранском районе — 6 храмов, и все «албанские». Продемонстрировали и изданную Азербайджанским государственным издательством («Азернешр») книгу о Шуше, где она выдается за азербайджанский город. И лишь на 30-й странице впервые появляется упоминание об армянах, всего 10 строчек посвящено резне 22 марта 1920 г., уничтожившей армянскую часть города. Причем не уточняется, кем были «погибшие тысячи людей» и «лишившаяся крова половина населения города».

И все это, подчеркивали мои собеседники, на фоне лицемерных заклинаний о дружбе народов и посвященных ей шумных показных

мероприятий, которые получили особый размах в последние годы и шли параллельно с усилением дискриминации.

Беседы проходили в «тени» шумевшего за окнами непрерывного митинга, который резопировал возбуждение. Чувствовалась неплохая организация — в ритме митинга, в регулярном подвозе продовольствия, запрете продавать спиртное (хотя по чьей-то инициативе дважды попытались завезти его в город), в отсутствии правонарушений¹¹, наконец, в ночных «дежурствах» у обкома. Это явно было делом рук «инициативных групп», в которых выделились свои лидеры.

Я оказался в трудном положении. Единственное, чего мне удалось добиться, это наладить спокойный, без первоначального возбуждения и крикливости, но и без сближения позиций диалог с обозначившимся активом, с интеллигенцией, стимулировать у митингующей стороны стремление обсуждать проблемы в невзвинченной обстановке. Но до готовности свернуть демонстрацию и перевести весь процесс в некое конструктивное русло было далеко. Мое положение затруднилось и тем, что, по существу, я не имел политической опоры на месте. Хотя толпа, волновавшаяся у стен обкома, все еще рассматривала его как средоточие и символ власти, хотя слово «партия» еще горело на ее транспарантах, это скорее относилось к «Москве», к «центру». Кроме того, это было, очевидно, и приемом, подсказанным организующим ядром, попыткой ввести свои действия в более или менее легитимное русло, не противопоставляя себя основам режима.

Местная партийная организация, за малым исключением, продемонстрировала, как и следовало ожидать, несамостоятельность и паралич воли. Закрывая глаза на происходящее, она лишилась значительной доли своего влияния. Характерно: хотя подлиси в Степанакерте собирались с мая 1987 года и уже закипала митинговая страсть, на пленуме горкома в январе 1988 года по этому, центральному для всего населения, вопросу не было сказано ни слова¹². Руководство же республиканской партийной организации утратило в области всякий престиж и было окружено откровенной враждебностью.

К тому же у меня нарастали сомнения в обоснованности и правомерности самой моей миссии. Уже стало ясно, что принадлежащая,

¹¹ В эти дни республиканские органы правопорядка признали, что преступность в НКАО практически сошла на нет.

¹² Парторганизация выступала в роли ведомого. Это показывает и то, что 17 марта 1988 г. вслед за принявшими массовый характер манифестациями и постановлением областного Совета пленум обкома партии принял решение, где говорилось: «Выражая чаяния армянского населения автономной области, волю подавляющего большинства коммунистов Нагорного Карабаха, просить Политбюро ЦК КПСС рассмотреть и положительно решить вопрос присоединения Нагорно-Карабахской автономной области к Армянской ССР, исправив тем самым допущенную в начале 20-х гг. историческую ошибку при определении территориальной принадлежности Нагорного Карабаха».

по словам Лукьянова, Горбачеву формула: «Пусть народ успокоится, социальные и хозяйственные проблемы будем решать вместе¹³, а территориальный вопрос не будем рассматривать» — не сработает. И в самом деле, тут был провал в логике: призывать людей успокоиться, втиснуться в русло спокойного, конструктивного диалога и в то же время отказываться от естественного шага — обсуждать то, что их волнует, пытаться урегулировать ситуацию в обход основного вопроса.

Я пришел к выводу, что дальнейшие разговоры и встречи ничего нового не принесут. Необходимо пойти «в народ», встать лицом к лицу с митингующими и попробовать переломить их настроение. Шансов не так много, но они есть, если будет обещано пересмотреть позицию осуждения выступлений и отказа обсуждать политические проблемы.

Имея это в виду, я информировал А. Черняева, помощника Горбачева, о своем намерении и просил поддержки. Анатолий Сергеевич очень быстро перезвонил и сказал, что Горбачев меня «благословляет» на такой шаг и поручает сказать митингующим: а) прежнее решение, где демонстрации и все движение в Карабахе квалифицируются как «националистические» и «экстремистские», аннулируется; б) для рассмотрения пожеланий и претензий карабахцев будет создана комиссия, в которую войдут не аппаратчики, а авторитетные общественные деятели, известные своей беспристрастностью.

Окрыленный, стал готовиться к встрече «с народом». Предстояло непростое дело — появиться перед наэлектризованной массой людей, среди которых паверняка есть истерики, фанатики, демагоги, не говоря уже об организованных «клакерах». Через несколько часов собрал уже известных мне фактических лидеров движения и заручился их обещанием не мешать выступить, не прерывать с первого слова.

Но моим благим порывам не суждено было сбыться. Позвонил из Баку Демичев, сообщил, что через 50 минут будет в Степанакерте и просил его встретить. Узнав о моем намерении выступить в ближайшие часы на митинге, заявил, что этого делать уже не надо: состоялось решение Политбюро, и он везет обращение Горбачева к «трудящимся, к народам Азербайджана и Армении»¹⁴, которое огласит на митинге¹⁵.

¹³ Характерно, что принятое 24 марта 1988 г. постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по ускорению социально-экономического развития Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР в 1988–1995 гг.», которым были предусмотрены крупные капиталовложения в пародное хозяйство и культурные объекты области, не оказало никакого влияния на ход событий.

¹⁴ В нем содержалась фраза, практически корректировавшая прежние позиции: «Мы не за то, чтобы уклоняться от обсуждения различных идей и предложений, но делать это надо спокойно, в рамках демократического процесса и законности...»

¹⁵ По приезду в Москву Черняев критиковал меня за то, что вынул Демичева и отказался от выступления.

Предстоящий приезд Демичева возвестил срочно подтянутый милицейский батальон — милиционеры стояли, казалось, через каждые 10 метров. Совершенно ненужная, никак не оправданная обстановкой мера лишь нагнетала напряженность, создавала настроение, неблагоприятное для восприятия «обращения». Выяснилось, что он собирается лишь накоротке появиться перед митингующими, а затем уехать вместе со мной, оставив остальное на долю Погосяна.

Так и произошло. Но перед тем, как выйти из здания обкома и пройти до подиума (это 15—20 метров), случилась заминка. Петр Нилович остановился перед дверью, он явно побаивался. Лицо его посерело, даже побелело, и он сказал: «Сейчас меня освищут». Затем не слишком уверенным шагом преодолел расстояние до трибуны. Его встретили криками: «Ленин, партия, Горбачев!» Демичев сообщил о горбачевском обращении, произнес еще несколько фраз, круго повернулся и, не оглядываясь, пошел в сторону поджидавших «волог». Садясь в машину, я услышал, как митингующие в ответ на что-то сказанное Погосяном кричали: «Не верим! Не верим!»

В Баку мы прибыли на третий, самый кровавый день сумгаитских¹⁰ событий — 28 февраля. Некоторая о них информация просочилась ко мне. Говорю так, потому что в гостевом доме этой темы избегали. Я отправился по своим прежним «адресам». В больницы, где некогда работал, поговорил с бывшими коллегами, в большинстве азербайджанцами, навестил школьную подругу В. Галыперн, «соратника» по лекторской группе Л. Бретаницкого. Сложилось впечатление, что основная часть бакинцев затаилась, замерла. С одной стороны, моральный шок, ужас перед происходящим. С другой — страх перед «неминуемой» гневной реакцией Москвы, которая «обязательно накажет», и могут пострадать все.

Поражало демонстративное, вызывающее бездействие властей. И за обедом (при полном молчании присутствующих) я схватился за К. Багировым. Но, выходя из-за стола, мне цопенял Разумовский. И, как бы объясняя свою позицию, произнес фразу, которая мне хорошо запомнилась. Она, очевидно, выражала суть подхода центра: «Разве можно ссориться с такой организацией, как азербайджанская?»

Вернувшись в Москву из фактически безрезультатной, но очень поучительной поездки, я доложил об ее итогах и накопленных впечатлениях М.С. Горбачеву. Привожу свой отчет полностью.

«1. В Нагорном Карабахе речь идет о настроении, которым охвачены широкие слои населения и которое фактически разделяют партийный актив и даже руководство парторганизации (включая нынешнего первого секретаря обкома). Разумеется, в нынешних событиях участвуют и играют активную роль, и это заметно, группы

¹⁰ Сумгаит — город-спутник азербайджанской столицы, расположенный от нее в нескольких десятках километров.

демагогов-крикунов, людей авантюристического склада, которые хотят завосвать популярность, выйти в «вожди». Есть и люди, которые уже довели себя до истушленно-фанатического состояния.

Но для основной части участников событий характерны два момента:

а) убеждение в том, что только вне Азербайджанской ССР они могут нормально развиваться и сохраниться как этническая группа на данной территории. Это соединяется с настойчивыми заявлениями о готовности жить в дружбе с азербайджанским народом, с которым существуют длительные исторические связи;

б) глубокая и искренняя вера, особенно энергично выражаемая молодежью, в Вас лично, в то, что мероприятия по перестройке открывают путь для решения их насущных проблем. В последний приезд т. Демичева 28 февраля многотысячная толпа (она увеличилась в несколько раз, как только было выставлено охранение, что, кстати, произвело очень неблагоприятное впечатление), встретила его долгим скандированием: «Ленин, партия, Горбачев!». Ваши портреты, наряду с ленинскими портретами, все время были над толпой.

2. В происходящих событиях явно видно организующее начало, эффективность которого, видимо, объясняется тем, что оно опирается на широко распространенное настроение. Это проявляется и в том, что не допускается эксцессов и преднамеренных нарушений правопорядка. Судя по всему, организационное ядро тесно связано с Ереваном.

3. Налицо определенная деморализация актива областной партийной организации, утрата им влияния на массы. Что же касается руководства республики, то отношение к нему нескрывая враждебно как среди партактива, так и «на улице». Авторитет КПСС высок, но это не авторитет местной или республиканской парторганизаций.

4. В качестве причин, вызвавших нынешние выступления, в один голос называют «политику дискриминации», которая, как мне заявляли все собеседники, целенаправленно проводится из Баку. Ссылались при этом на задержки в экономическом развитии, на запущенность социальной сферы, на ограничения в культурной и языковой областях, на ущемление достоинства (прилагаю изданную 100-тысячным тиражом книжку для детей «среднего и старшего возраста», которую мне демонстрировали чуть ли не на каждой встрече), на искривления в кадровой политике (непропорциональное число азербайджанцев на руководящих постах в Нагорном Карабахе, регулярное направление сюда на такие посты армян из Баку, Кировабада и т.д.), на создание препятствий связям с Арменией и т.д.

Распространенным убеждением является то, что проводится последовательный курс на вытеснение армян, на превращение НКАО во «вторую Нахичевань», где армянское население почти исчезло.

Все эти негативные явления, утверждали наши собеседники, резко усилились с начала 70-х годов.

Разумеется, выверить все это за короткое время не удалось, но, видимо, речь идет о реально существующих тенденциях.

5. Как выяснилось, брожение, которое в конечном счете привело к нынешним событиям, началось около года назад, когда стали слать «ходоков» в Москву, составлять петиции, собирать подписи и, видимо, создавать какие-то инициативные группы. По оценке многих, толчком к серьезной вспышке и к тому, что выступление приобрело массовый и в чем-то «упрямый» характер, в значительной мере послужило толкование, данное ему поначалу («экстремистское» и т.д.). Дальнейшие заявления в этом же духе союзной прессы и телевидения лишь подливали масло в огонь. Аналогичный эффект имели сообщения органов информации из Баку, в которых корили и клеймили участников выступлений.

Надо сказать, что были и такие действия (как в Армении, так и в Азербайджане), которые создавали впечатление прямых провокаций. Например, в Кафане (районный центр Армении) задержали женщину, которая рвала на себе волосы и кричала благим матом, что у нее убили брата, сестру и т.д. При проверке выяснилось, что ничего такого не было и делалось это для того, чтобы подогреть население. В Баку, говорили мои бывшие однокашники, распространяются всякого рода подстрекательские слухи.

6. Целесообразно уже сейчас приступить к разработке программы, имеющей целью преодоление «узких» мест и урегулирование наиболее существенных нерешенных вопросов в экономической и культурной жизни Нагорно-Карабахской автономной области. О ходе этой работы и практических шагах по реализации результатов следовало бы в ближайшее время (а впоследствии регулярно) информировать общественность области.

7. Характерно для событий в Нагорном Карабахе, в отличие, например, от Прибалтики, что не возникает даже и мысли о «выходе» из Советского Союза, об ослаблении связей с Россией. Более того, некоторые участники событий в качестве варианта (в случае невозможности включения НКАО в Армению) выдвигают идею о вхождении в Российскую Федерацию.

Несомненно, у событий есть такие причины, которые уходят корнями в давнее и недавнее прошлое. Свою роль — и важную — играют люди, которые стоят у руководства. Сказываются и религиозные различия. Но главное все же, думается, в самой политике, которая, перестав с определенного момента быть ленинской, стала по названию ленинско-сталинской, а по существу — сталинской.

В результате сегодня мы пришли к:

— максимальной централизации управления национальными территориями (зачастую при ослаблении фактического контроля со стороны Москвы);

— формальным, словесным, не подкрепленным реально политически декларациям о «дружбе народов»;

практическому согласию на господствующее положение в каждой союзной республике «ее» нации за счет ущемления прав и дискриминации других наций и народностей, игнорирования их особенностей (неазербайджанцев в Азербайджане, неармян в Армении, узбеков в Узбекистане и т.д.). Такая практика способствует переходу части партийного и советского аппарата, а тем более интеллигенции, на националистические позиции (причем это относится и к Армении, и к Азербайджану, да, видимо, и к другим республикам). Наверное, не будет преувеличением сказать, что именно отсюда, а отнюдь не «снизу» исходит «инициатива» во многих делах, которые привели сегодня к уродливым последствиям. В Баку рассказывали, что пынешние события воспринимаются в рабочей среде трудящимися с негодованием. Много случаев, когда азербайджанцы оберегают своих соседей-армян, провожают и встречают их детей из школы, а своих товарищей — с работы и т.д. и т.п.

8. В сложившихся сейчас условиях, думается, нужно найти форму постоянного «наблюдения» за национальным вопросом, своевременного выхода на наболевшие проблемы. Здесь напрашивается прежде всего изменение роли Совета Национальностей.

Может быть, было бы полезно подумать и о каком-то другом органе, общественно-политическом по своему характеру, в который входили бы уважаемые, авторитетные люди разных национальностей из всей страны. Здесь могло бы идти рабочее обсуждение назревших вопросов, а иногда и поиски подхода к возникающим болевым точкам, создающие «задел» для последующих решений директивных органов.

9. События в Нагорном Карабахе подводят к необходимости решения ряда проблем теоретического и политического характера, связанных с совершенствованием национально-государственного строительства в нашей многонациональной стране. Нации и народности нашей страны развиваются, а государственно-правовые формы бытия этих общностей, как и реальное содержание их прав и полномочий, остаются неизменными.

Можно выделить в этой связи две проблемы, во многом типичные:

а) национальные автономии носят во многом формальный характер, они не сопряжены с реальными правами, отвечающими национальным потребностям и национальным чувствам. Конституция Азербайджанской ССР, например, и вовсе не фиксирует никаких прав для Нагорного Карабаха. В Степанакерте говорили о том, что чрезмерная централизация, мелочная регламентация, бюрократическая опека со стороны республики привели к тому, что партийные, советские и хозяйственные органы автономной области зачастую неправомочны решать самые простые вопросы;

б) не урегулированы вопросы взаимоотношений национальных меньшинств, компактно проживающих в разных регионах страны, с одноименной национальной республикой, которая могла бы оказать

им содействие в социально-культурном, духовном развитии. Видимо, необходимо предоставить гарантированную возможность таким меньшинствам беспрепятственно пользоваться культурными ценностями, являющимися достоянием всех представителей данной нации.

Может быть, стоит в этой связи подумать и о расширении прав соответствующих партийных организаций.

10. Чрезвычайно важно реальное, не на словах, а на деле, последовательное противодействие любому виду национализма и шовинизма при одном условии: не административно-командными методами, не насильственными приемами. Пресечения заслуживают действительные нарушения закона. В противном случае силовые приемы только провоцируют накопление взрывной ситуации.

11. Отрицательную роль сыграли выводы некоторых наших теоретиков (и соответствующая пропаганда) о форсированном слиянии наций. Объективный ход вещей противоречит этим упрощенческим умозаключениям. Нанесло ущерб интернационализму и то, что при решении крупных для всей страны вопросов (хозяйственного, культурного и иного плана) практически не учитывался национальный подтекст последствий.

12. Видимо, заслуживает особого внимания вопрос о координации деятельности и тесных рабочих контактах между партийными организациями республик, в данном случае Азербайджанской и Армянской. Такого контакта в данном случае, согласования действий, постоянного обмена информацией и совместной линии в очень важных вопросах, в том числе идеологического характера (в частности, касающихся острых исторических проблем, вокруг которых раздуваются страсти националистически настроенные ученые, литераторы), не существует. Думается, что это один из серьезных резервов в деле решения накопившихся межнациональных проблем».

В записке упоминается книжка (сборник рассказов Дж. Мамедкули-Заде), направленная мной Горбачеву вместе с отчетом, он говорил о ней на заседании Политбюро 3 марта 1988 г. Выпущенная в Баку в 1983 году, она была запланирована к переизданию массовым тиражом в 1989 году. В рассказе «Бородатый ребенок» между азербайджанцем Уста-Зейналом (мастер Зейнал) и его подмастерьем Курбаном, также азербайджанцем, ремонтирующими квартиру у армянина Мугдуси-Акопа, происходит следующий диалог:

— Мастер, кажется, наш хозяин хороший человек?

— Что сказать? Да приведет его Аллах на истинный путь. Человек он хороший, — отвечал Уста-Зейнал. — А что толку?

— Мастер, я одного не понимаю. Неужели армяне не видят такой ясной, очевидной вещи? Почему они не принимают ислам?

Уста-Зейнал уже начал замазывать потолок.

— Это тайна, Курбан. Такие вещи нельзя объяснить. Это ведомо одному Аллаху. Допустим на минуту, что все армяне переменили

веру и стали мусульманами. Зачем тогда Аллаху было создавать ад и кого бы он туда посылал? На все имеются непостижимые причины. А то армяне отлично знают, что наша вера лучше их веры. Всемогущий Аллах...

— Прости, мастер, что я перебиваю тебя. Ну, пусть не переходят в нашу веру, но как им не противно есть свинину?

Уста-Зейнал положил лопату на доски и, набивая трубку, задумчиво ответил:

— Мне кажется, армяне отлично разбираются в том, что свинина никакого вкуса не имеет. Но из упрямства не хотят отказаться от нее. Что им, несчастным, делать? Человеческая пища — человеку, а такая — им. К тому же все это предопределено Аллахом...

Курбан поднялся по лестнице за бадьей.

— Да! — сказал он. — То-то будет зрелище, когда они пойдут по волосинке над огненной бездной.

— Знаешь что, Курбан? — начал Уста-Зейнал, попыхивая трубкой. — Все дело в том, чтобы найти истинный путь. Если человек нашел истинный путь, если Аллах, создатель миров...

В это время в зал вошел Мугдуси-Акоп и молча уставился на мастера.

— Хозяин, — обратился к нему Уста-Зейнал, — заклинаю тебя Евангелием, скажи на милость, какой вы находите вкус в этой дряни, что едите ее?

Мугдуси-Акоп вышел из себя и закричал, потрясая руками:

— Послушай, скажи на милость, тебя для проповедей сюда позвали, что ли?

— Хозяин, голубчик, чего ты сердишься? Я спросил просто так.

Мугдуси-Акоп промолчал.

И далее Уста-Зейнал говорит Курбану:

— Курбан, теперь ты раскусил этих армян? Им хоть тысячу раз клинись пророком и имамом, ни за что тебе не поверят. Сказать бы этому гяуру: какая тут работа...

— Мастер, — отвечал Курбан, — если человек отвернулся от Аллаха, стал безбожником и ни во что не верит, его трудно в чем-либо убедить.

И еще дальше, когда Курбан принес воду, мастер Зейнал бросает работу, говоря:

— Курбан, да поразит тебя Аллах! Ты принес воду в кувшине армянина и все осквернил. Проклятие Аллаха на твою голову!

Курбан смущенно смотрел на мастера и молчал. Уста-Зейнал, поморщившись, дважды плюнул на пол, потом в лицо Курбану и, выйдя во двор присел у арыка мыть руки. Вернувшись, он велел Курбану собрать инструмент, сгреб с подоконника свое платье и, еще раз плюнув в лицо Курбану, вышел. Смущенно Курбан взял хурджин с инструментом и, опустив голову, побрел за ним.

...Жена Уста-Зейнала до вечера была занята тем, что стирала и сушила белье мужа, который сидел в комнате голышом и ждал, когда просохнет одежда, чтобы пойти в баню и смыть с себя скверну.

Стоит отметить, что в прежних изданиях в Баку (1932 и 1966 гг.) и Москве (1940 и 1959 гг.) эти одиозные места были опущены. В 80-е же годы, когда, по официальной версии, «дружба народов» достигла новых высот, в очередном бакинском издании (которое, кстати, в выходных данных ложно выдается за перепечатку московской публикации 1959 г.) купюры почему-то восстанавливаются.

На заседании Политбюро 3 марта 1988 г. Горбачев выступил с речью, которая по тем временам несомненно означала заметный шаг вперед в подходе к карабахской проблеме и в более широком концептуальном плане. Она делала акцент на значении и сложности национального вопроса, на необходимости осторожного и деликатного к нему отношения, предостерегала против «упрощенных толкований», «кавалерийских наскоков» и предоставления «воли первам». Оратор говорил о «нашей рутинной реакции» на карабахские события, призвал к «уважительной работе с людьми» и подчеркнул важность исследований — «запущенных» до сих пор — национальных проблем, корней негативных явлений.

В то же время видна и ограниченность подхода, не выходявшего в принципиальном отношении за устоявшиеся и привычные рамки, неоправданно оптимистические, усыпляющие оценки эффекта предпринятых центром шагов в связи с событиями в Казахстане, Прибалтике, Карабахе. Явно не учитывался новый контекст, в котором развивался национальный вопрос, не слышалось понимания масштаба надвигающихся огромных проблем. И не был обозначен хотя бы пунктиром путь к развязыванию карабахского узла. Фигурировали лишь общие фразы.

Привожу это выступление с небольшими сокращениями. Подчеркнув, что «этот наш разговор пока еще промежуточный», Горбачев заявил:

«По ходу событий мы действовали правильно... Были в курсе событий и воздействовали на них, худшее предотвратили.

Но ситуация очень сложная. И считать, что мы с ней уже совладали, никак нельзя.

Главный политический урок для нас — и не только из событий в Нагорном Карабахе, в Азербайджане и в Армении — в том, что какие бы вопросы ни решали в нашей многонациональной огромной стране, этого нельзя делать без тщательного учета национальных и интернациональных последствий принимаемых решений, без учета интересов всех наций и народностей, в том числе и самых малых.

Определенный опыт соприкосновения с аналогичными проблемами у нас был. Пришлось проходить через подобные ситуации. И тогда, и на этот раз, должен сказать, они отнюдь не ставят под

вопрос целостность нашего Советского государства. Люди ведь не ставили под сомнение свою принадлежность к Советскому Союзу, принципы интернационализма, авторитет КПСС. Вот и т. Брутенц сообщает, что недоверие высказывалось местному партийному руководству, а отнюдь не КПСС. Надписи на транспарантах и выкрики из толпы говорили о том, что люди хотят нашего вмешательства, Центрального Комитета. Характерно, что апеллировали к Москве.

Но страсти разгорелись. Люди уже не владели своими эмоциями, не способны были здраво рассуждать.

Вот почему главная задача для нас была восстановить спокойствие, сохранить людей, не довести их до отчаяния. И очень правильно, что мы проявили такое огромное внимание. Люди это увидели и оценили.

Так было и с Казахстаном. Так было и с Прибалтикой. А ведь там вопрос стоял острее. Там в центре оказалось отношение к русским, к России, а то и принадлежность к Советскому Союзу. Но мы сумели поднять партийные организации, включить интеллигенцию, газеты, другие средства массовой информации. Сумели привлечь здоровые силы, которые честно понесли в народ правду... Короче говоря, преимущества демократизации мы там сумели повернуть в правильном направлении, в пользу интернационализма.

Перед нами, товарищи, один из сложных вопросов всей жизни страны, ее судьбы. И мы бы изменили Ленину, если бы не проявили тут самого ответственного отношения. Помните, как он реагировал на рукоприкладство Серго, на «автономизацию» Сталина, как он воспитывал всех, требуя самого деликатного, самого тщательного, самого осторожного и бережного подхода к национальному вопросу, к национальной политике? Это для нас урок навсегда. Ибо упрощенных ответов в национальных делах никогда не было и никогда не будет.

Здесь должна быть принципиальность, ясная интернационалистская линия и на ее основе все разнообразие средств, какими только располагают партия и наше общество. Не противопоставлены никакие контакты. Нужно вступать в диалог с любыми силами, убеждать, доказывать, разъяснять, искать аргументы.

Да, действовать надо решительно, мужественно, смело. Но — не кавалерийским наскоком. В чем-в чем, а в национальном вопросе таким способом можно погубить все.

И — глубочайшее уважение, товарищи! В той же Армении: как не понять, что сейчас, после того что произошло и как это происходило, никто там не может прямо так, с ходу перейти на иную точку зрения. И что страшного, что армянский Пленум обратился с просьбой создать комиссию? Во всем остальном постановление-то приняли правильное, поддержали линию Политбюро. И разве не могут они просить, если таково настроение всего населения республики от мала до велика? И это, товарищи, надо уметь пережить.

Они же ведь не к кому-нибудь, к нам обращаются, к Центральному Комитету. И надо не забывать — и как мы сами выглядим в этой ситуации...

Надо действовать с величайшей ответственностью. А это обязывает нас очень глубоко вникнуть в причины того, что произошло. Очень легко сбиться: «Вот армяне расходились, азербайджанцы допустили...» А корни — в глубине истории. Сколько пережили, сколько перенесли народы Закавказья, какими волнами накатывались на них разные нашествия — то турки, то персы! Как мяла и давила их история! И они сделали свой выбор — обратились к России, к русскому народу, добровольно пошли под его крыло, апеллировали даже к царям. Это одна сторона.

А вот и другая: не выбросить из национальной памяти армян трагедию, когда полтора миллиона вырезали, а других рассеяли по всему свету. Такое не забывается. Это вошло в гены, живо в каждой семье. Но все армяне, где бы они ни жили, считают своей родиной Советскую Армению!

...И у азербайджанского народа корень здесь, на этой территории, в этом же Нагорном Карабахе. Посмотрите, сколько выдающихся крупных деятелей всесоюзного масштаба вышли оттуда!

Все здесь переплетено, и все это надо учитывать.

Нельзя игнорировать и советский опыт, предпринимавшиеся до нас попытки урегулировать проблему. Вскоре после революции сам Ленин этим занимался. А решение было вот такое, какое мы имеем. Сейчас, конечно, все можно валить на Сталина. Но дело не так просто... Корни событий помимо истории — давней и недавней — также и в процессах, которые происходили в Азербайджане, в Армении в самое последнее время, и в процессах, которые начались во всей стране в связи с перестройкой. И когда в азербайджанском руководстве отошли от ленинской национальной политики, тут-то история и дала себя знать, стала предметом для эксплуатации с позиций национального шовинизма и национализма.

Ведь посмотрите, что произошло, что так сильно взбудоражило армян. Перед их глазами пример Нахичевани. Там за 40 лет число армян сократили с 40 до 1,5 процентов. И в Нагорном Карабахе дело шло к тому же. По крайней мере так воспринимали политику Баку и в Нагорном Карабахе, и в Армении.

И что же это за политика? И как же повели себя интеллигенты, те же азербайджанские писатели, сочиняя вот такие книжечки, одну из которых я вам процитировал? Надо же до такого дойти! И это когда речь идет о территории, на которой веками жили и перекрещивались народы, где все переплелось и где, казалось бы, самым естественным является в советских условиях все подчинить идеям консолидации, сотрудничества, дружбы. А вместо этого сделали прямо противоположное. Главную вину за это несут ЦК КП Азербайдж-

жана и ЦК КП Армении. Не проводили они ленинской национальной политики, держали курс не на сотрудничество, не на укрепление реальной дружбы народов, а фактически на противопоставление их друг другу. Не делали даже попыток сотрудничать между собой... А ведь, казалось бы, чего проще, если бы ученые, литераторы, другие всякие авторитеты-интеллектуалы съезжались бы в той же Шуше, садились бы вокруг стола, да обсуждали все, что наболело, общались бы, выясняли свои разные проблемы, спорили бы, предлагали руководству свои идеи. Ничего этого не было, действовали вопреки реальным процессам. Ведь вот и т. Брутенц сообщал, и здесь выступавшие товарищи делились впечатлениями: не в народе возникает вражда... Вирус неприязни культивируется не в массах, а как раз среди интеллектуалов...

Но давайте воздадим и самим себе. За три года в ЦК поступило 500 писем только по вопросу о Нагорном Карабахе. Потом пошли и делегации в Москву. А у нас была рутинная реакция. Эти, мол, там «армяне все никак не поделится» и т.п. Это рутинный, негодный подход к такому деликатному вопросу. Не увидели мы его своевременно.

Мы привели в движение все общество. Оно обсуждает. Обсуждает все, в том числе и национальные проблемы. Появляются и здесь всплески и экстремистские взгляды... Если Центральные Комитеты не занимаются тем, что положено, то возникают неформальные комитеты, как это и произошло в Армении.

Не было изучения, настоящего исследования национальных проблем, корней негативных явлений, прошлого опыта по их преодолению. Запустили все это. А надо разбираться предметно, конкретно — так как занимаемся сейчас, например, хозрасчетом или разоружением. И нужна, товарищи, величайшая уважительность и величайшая принципиальность!

Еще раз хочу подчеркнуть: события не ставят под сомнение ленинскую национальную политику. Наоборот, они подчеркивают ее значимость и особую опасность отступлений от нее. Все эти — кунашвица, рашидовщина, коченяновщина, алиевщина — вот вопиющие примеры отхода и извращения советской национальной политики. Они представляют опасность и для перестройки, провоцируют такие явления, которые вредят многим нашим начинаниям. Но и наоборот — успешная реализация планов перестройки — это сейчас самая надежная база для утверждения принципов и последовательного осуществления ленинской национальной политики.

А как оценивать людей, которые несут ответственность и которые были втянуты в события? Мы должны четко отдавать себе отчет, с кем имеем дело. Ведь сколько бесед, разговоров было с двумя лидерами Азербайджана и Армении. Совсем недавно Егор Кузьмич (Лигачев. — К.Б.) встретился с ними. Посидели, послушали, удалились. А под конец даже немного и обнаглели. Здесь вопрос ясен. Однако

и в отношении их надо поступать с умом, с учетом момента и ситуации. А с другими? Вот неформальный комитет в Армении. Разогнать его — дело простое, так же как и заняться разоблачительством в отношении Сильвы Капутикян. Но к чему приведет? Опозоримся ведь только.

Нужно действовать исключительно силой правды, силой идейности, уважительной и деликатной работой с людьми...

А возьмите Азербайджан, деятельность Алиева. Сколько мы потеряли в этом регионе за 15 лет его пребывания на посту! Вот тут-то и включился национализм, наложился на процессы, которые имеют социально-политическое происхождение, связаны с нравственной дискредитацией руководства. Да, мы можем констатировать кризис руководства ЦК Азербайджана и ЦК Армении. Не хочу сказать, что имеем также «кризис» и нашего руководства ими. Но и у нас есть о чем подумать.

Нужно очень тщательно разработать все подходы, всю тактику поведения в отношении партийных организаций Азербайджана и Армении. Иначе можно еще больше наломать дров. Нужен другой уровень идеологического воздействия, нужны живые контакты с людьми. Есть там здоровые силы. И они немалые. Есть большой потенциал реальной привязанности разных народов на бытовом уровне, на производственном, в коллективах, по месту жительства. Можно и нужно их убеждать в том, что линия, которую определило Политбюро, — единственно правильная.

В разговоре с Капутикян и Балаяном я им говорю: ведь вот, смотрите, Политбюро приняло решение. В Азербайджане его восприняли. А вы, армяне, по-прежнему никак не угомонитесь, А она мне отвечает: а чего же им возражать, решение-то в их пользу. Даже она не поняла. Я ей говорю: мы, прежде ради вас, приняли именно такое решение, ради армян. Вот сойдут эмоции, улягутся страсти — сами спасибо скажете, что поступили именно так.

Да и то не всюду удалось удержать ситуацию. В Сумгаите произошел взрыв: 31 смерть — 6 азербайджанцев, остальные армяне. А если бы не приняли мы этого решения, удалось бы остановить?

Надо, товарищи, сохранять принципиальность, но не выходить из себя, не давать волю нервам и собственным эмоциям. Не делать искусственно врагов...

Нельзя давать волю и обиде. Обидно, конечно, когда говорят, что партия потеряла контроль над обстановкой, когда не коммунисты уже управляют, а самозванный комитет. Обидно. Но мы не можем позволить себе роскоши нервничать даже и по этому поводу. Переживать — да, никому не запретишь. Но из себя не выходить, выполнять свою политическую миссию.

Процесс оздоровления — большая, длительная работа... Да, главный, решающий метод нашей деятельности — политический. Но надо

принимать и какие-то защитные меры для тех, кто выполняет задачу обуздания разбушевавшейся стихии. Нельзя превращать наших милиционеров и солдат в смертников, которые вынуждены голыми ладонями отбиваться от камней и железных прутьев. Повторяю, главные методы — политические. Но власть должна быть властью, закон должен торжествовать.

Повторяю, какие-то меры надо принять, чтобы люди, выполняющие приказ в обстановке крайнего нервного и физического напряжения, могли защитить себя. Мне докладывали, что курсанты падали в обморок, когда видели, что наделали погромщики (в Сумгаите — К.Б.). А если бы в этот момент у них в руках были автоматы, тогда что произошло бы?

Сейчас надо серьезно взяться за всю проблему в целом. Надо посылать толковых людей — и в Карабах, и в Армению, и в Азербайджан. Иметь четкую програму действий, нельзя это делать «навалом», для отчета. Как договорились, совещание в ЦК надо провести по национальному вопросу. В основу его положить показ завоеваний нашей национальной политики, силу нашего интернационализма, накопленный потенциал нашего многонационального сообщества. Проанализировать, как в реальной жизни проходили процессы национального развития, что появились целые новые поколения, образованные поколения, своя интеллигенция. Они обратились к историческим и культурным корням своих народов. Все это реально и все это надо учесть. И надо добиться по-настоящему авангардной работы партийцев, партийных организаций и в производственных коллективах, и среди населения».

После заседания Е. Лигачев, касаясь книжки Мамедкули-Заде, сказал мне: «Да, но в Армении издают такие же книги». Это было голословное, необдуманное заявление. В столь «ответственных» устах оно приобретало непомерное значение, настраивая аппарат определенным образом.

Вспомнил об этом вовсе не для того, чтобы присоединиться к недостойному хору хулителей этого человека. Напротив, отношусь к нему с неизменным уважением как к редкому в тогдашнем руководстве КПСС неконъюнктурному деятелю, имевшему собственное мнение и готовому его отстаивать, способному принимать решения и добиваться их реализации. Я не раз был свидетелем, когда другие секретари при обсуждении трудных вопросов либо отмалчивались, либо выступали в роли людей, о которых в народе говорят: «Ни рыба ни мясо». С Лигачевым такого не бывало. Клеветническая кампания против него, организованная некоторыми «прогрессистами» в КПСС и «демократами», — одно из самых убедительных доказательств их моральной нечистоплотности. Уж у кого нет оснований любить Лигачева, так это у Горбачева. Но и он замечает: «Я не разделяю, например, позиции Лигачева, но уважаю его взгляды. На определен-

ном этапе мы разошлись. До 1988 года, как он говорит, у нас было все хорошо. А потом разошлись. Но этого человека я уважаю за то, что он высказывает свое мнение».

Привел же я лигачевские слова, потому что в определенном смысле они характерны. Это — одно из многих свидетельств поверхностного и одновременно заскорузлого, а если хотите, и невежественного подхода к национальным отношениям. Такое положение фактически существовало и в аппарате. Через пару дней меня пригласили участвовать в работе по подготовке постановления о Нагорном Карабахе. В группе были люди из аппарата Лигачева и отделов ЦК. Как выяснилось, никто не был толком знаком с положением дел в регионе. В частности стремившийся играть активную роль заместитель Разумовского (и секретарь парткома при ЦК) Могильниченко выразился так: «Азербайджан — это шииты, с ними надо поосторожнее». Это изречение прозвучало для меня как «религиозный» парадокс бакинское заявление его «босса» («С такой организацией, как азербайджанская...»). Ну а слово «шиит», очевидно, попало на слух в связи с эпопеей Хомейни. Подготовленное постановление — оно вышло 17 марта — оказалось мертворожденным, поскольку ограничилось лишь экономическими и социальными вопросами.

На следующий день в ЦК под председательством Лигачева были проведена встреча представителей проживающих в Москве азербайджанской и армянской «элит». Затеянная с самыми добрыми намерениями (должны же «сливки общества» понять бессмысленность, опасность и аморальность взаимного противостояния), она ни к чему не привела. Егор Кузьмич признал серьезность положения: «Национальный вопрос ходом событий выдвинут на первый план. Националистические проявления представляют определенную опасность. События в Азербайджане и Армении поставили страну перед серьезным испытанием». Однако в его речи звучали и слишком знакомые мотивы. «Количество русских, — говорил, например, Лигачев, тоже где-то сокращается, но вы видели, чтобы хоть один русский бастовал?.. Здесь выражается недовольство термином «экстремистские силы», а вернее иной раз говорить о бандитских элементах».

Участники встречи в основном разделились по национальному признаку, и она большей частью напоминала разговор если не глухих, то людей с очень избирательным слухом. Насколько помню, один лишь Муслим Магомаев занял конструктивную, «наднациональную» позицию. На совещании прозвучала мысль, не отторгнутой председательствующим, о предоставлении Нагорному Карабаху статуса автономной республики.

Мое участие в карабахском деле завершилось семь месяцев спустя. 14 октября состоялась встреча видных представителей московских армян с А. Лукьяновым — тогда уже первым заместителем Председателя Президиума Верховного Совета СССР. И она окончилась

ничем. Видно было растущее нетерпение армян. Лукьянов же искал причины событий то в интригах «цеховиков», то в полемике и «сваре» интеллигентов.

Еще раз мне довелось соприкоснуться с карабахской проблемой в июле 1990 года, когда я повез в Ереван послание Президента СССР католикосу Ваазгену. И вновь убедился, насколько недооценивалась эта проблема, которая играла роль «бродила» для национального и националистического движения в Армении, а также в Азербайджане и Грузии. Не будет преувеличением сказать, что именно из карабахской проблемы выросла такая ситуация, когда и Армения (наверное, самая прорусская республика на территории бывшего Советского Союза, если, конечно, не считать Белоруссии) тоже пришла к твердому решению отделиться. Здесь я не касаюсь вопроса, насколько это было целесообразно или естественно, а говорю о самом пути, по которому пошла Армения, о предпосылках, которые привели к такому решению.

В докладной по итогам поездки я писал Горбачеву 3 августа:

«Не менее болезненной, чем раньше, остается проблема Карабаха. Это, можно сказать, общенациональная забота, своего рода нервический пункт всей обстановки в республике. Ни один из наших собеседников не упустил случая сказать, что вопреки всем законам, в том числе решениям Верховного Совета, в Карабахе — единственном районе страны — не существует Советской власти, что население там живет в условиях непрерывного прессинга со стороны оргкомитета, который, сталкиваясь с тотальным бойкотом, «опирается на армейские штыки», что под этим же прикрытием форсированно изменяют демографическую ситуацию за счет переселения беженцев из Армении и турков-месхетинцев, что, несмотря на многочисленные заверения центральных властей, 7-километровая дорога, соединяющая Армению с НКАО, остается заблокированной и т.д. и т.п. И независимо от того, насколько обоснованно каждое из этих утверждений, приходится принимать во внимание как реальный фактор своеобразную общенациональную «зацикленность» на этом вопросе.

Собеседники говорили нам, что в результате событий и стрессов последних лет (Сумгаит, Баку, Кировабад, с одной стороны, а с другой — землетрясение и его последствия) в Армении не только у интеллигенции, но и у широких слоев населения возникло своеобразное психологическое состояние: одержимость национальной идеей; всеобщее чувство опасности, порою граничащее с ощущением близости общенациональной катастрофы».

Как же развивались события в Карабахе и вокруг него в «послефевральский» период? В линии, проводимой Центром, наступил следующий этап: возникла готовность обсуждать проблему, признать допущенные республиканским руководством «ошибки» и даже «деформации» при твердой, однако, установке оставить за скобками

основные политические вопросы, ограничиться комплексом социально-экономических мероприятий. Эта установка, имевшая свои резоны, не учитывала специфики национального движения: ставшее массовым и «дозревшее» до требований политического самоопределения, оно — даже если в его происхождении большую роль играют экономические причины — редко когда может быть умиротворено экономическими уступками и посулами.

Когда же это стало очевидным, Москва перешла преимущественно к силовым действиям, которые практически стали формой «бегства» от сути вопроса и свидетельствовали о том, что она не видит путей его решения. 23 марта Президиум Верховного Совета СССР под председательством Громыко признает «недопустимым, когда сложные национально-территориальные вопросы пытаются решать путем давления на органы государственной власти, нагнетания эмоций и страстей, создания всякого рода самочинных образований»¹⁷ и т.д. Эти «преступные действия» были «решительно осуждены». А 20 июля 1988 г. Президиум Верховного Совета СССР в ответ на решение сессии областного Совета НКАО о ее выходе из состава Азербайджана принимает постановление «о неприемлемости передачи» области и «изменения границ».

Последовавшие события показали, что эти решения, особенно июльские, служили своеобразной подготовкой перехода к курсу на подавление национально-демократического движения армян Карабаха — методу, который будет повторен и в других местах. Вопреки заявлениям Горбачева на мартовском заседании Политбюро, все-таки берутся за «простое дело»: комитет «Карабах» распускается, а его руководителя П. Айриkyна лишают советского гражданства, арестовывают и членов комитета «Крунк».

15 января 1989 г. приостанавливается деятельность облсовета народных депутатов и обкома партии (на деле они распускаются) и создается подчиненный непосредственно Москве «Комитет особого управления» НКАО, который, по заявлению его руководителя А. Вольского, «имеет в своем распоряжении значительные силы внутренних войск». В области фактически вводится военное положение, действует военная комендатура, и именно военные являются «единственно реальной властью в области»¹⁸.

Войска — видимо, по требованию азербайджанского руководства — используются и для вытеснения из некоторых сел армянского населения. Присланный из Москвы второй секретарь ЦК КП Азербайджана В. Поляничко (выдвиженец Организационно-партийного отдела ЦК) курсирует в зоне конфликта в камуфляжной форме и

¹⁷ Имелись в виду созданные для поддержки движения карабахских армян комитеты «Карабах» в Ереване и «Крунк» в НКАО.

¹⁸ Известия. — 1991. — 6 февр.

позирует перед телекамерами с автоматом в руке. Азербайджан — на глазах у Центра, если не при его попустительстве — начинает блокаду Армении и НКАО.

Разворачивается кампания против «коррупционеров» в области, призванная приписать им роль «зачинщиков» волнений. Столичные средства массовой информации уверяют, что «народ» страстно хочет «успокоения» и лишь «активисты» этому препятствуют. 20 сентября 1988 г. «Правда» писала: «Но процесс оздоровления в Армении и Азербайджане не по нутру тем, кто замешан в коррупции, взяточничестве и хищениях. Они пытаются переключить внимание общества на вопросы национальных отношений, используют любой повод для разжигания национальных страстей». Позже «Правда» же обвинила руководителей комитета «Крунк» в превращении «своих» предприятий «в источник нетрудовых доходов», а арест в декабре 1988 года его членов подавала как акцию против «группы дельцов, связанных с запрещенным комитетом»¹⁹.

Несмотря на все эти меры, а может, и благодаря им, накал выступлений в Нагорном Карабахе не спадает: идет многомесячная забастовка, возникают первые вооруженные стычки. К «Комитету особого управления», как признают официальные источники в июле 1989 года, «армянское население не испытывает и тени доверия». И главное — движение, вызванное к жизни перестройкой и отражающее ее демократическое содержание, резко меняет свои ориентиры, объективно обращается против перестройки, а субъективно — против Союза, против Горбачева. Стрелка поворачивает к требованию независимости.

Слов нет, карабахская проблема была сложнейшей для советского руководства. На политическом горизонте не просматривалось решение, способное в одинаковой мере удовлетворить и Азербайджан, и армянское большинство Нагорного Карабаха, а также «союзную» с ним Армению. Даже сейчас, оглядываясь назад, трудно поручиться, что какой-либо из вариантов «сработал» бы. Но ясно одно: избрали едва ли не самый худший путь — половинчатости и пассивности. Ставка на самотек, на то, что сторонам «надоест», подкреплялась не слишком уверенным применением силы. По моим впечатлениям, работало также заметное и в других сходных случаях стремление некоторых сил в руководстве использовать проблему (в русле политики «разделяй и властвуй») как инструмент привязки к Центру обеих республик: и Азербайджана, и Армении.

Грубая ошибка, все получилось наоборот. Движение усилилось и радикализировалось, а вместо привязки к Союзу появилась и стала брать верх центробежная тенденция, в НКАО и Армении нарастали неестественные для них антирусские настроения (не говоря уже о еще более выраженной тенденции такого рода в Азербайджане).

¹⁹ Правда. — 1988. — 18 дек.

Но если явную растерянность руководства страны²⁰ по отношению к карабахской проблеме можно как-то списать на ее сложность, то его позиция в связи с событиями в Сумгаите, которые на порядок нарастили остроту этой проблемы, поражает как моральной ущербностью, так и политической недалекостью.

В Сумгаите 27–29 февраля 1988 г. шли массовые убийства армян, по праву названные геноцидом. Вот выдержки из письма А. Сахарова Горбачеву (написанного в августе 1988 г., но не отправленного):

«Трое суток длились чудовищная резня, издевательства над беззащитными людьми, насилия и убийства армян — все это в часе езды от Баку. Передо мною копии свидетельств о смерти и краткие описания судеб людей. Даты смерти в них — 27, 28, 29 февраля. Это ужасающие документы (я мог бы Вам их переслать). Среди них — свидетельство об изнасиловании и зверском убийстве 75-летней женщины. Рассказ о группе армян, которые 8 часов держали оборону в верхнем этаже дома, на помощь убийцам была подогнана пожарная машина с раздвижными лестницами, после чего большинство было убито, среди убитых несколько вернувшихся из Афганистана военнослужащих, одного (или двоих) из них сожгли заживо, изнасилования с загонянием во влагалище водопроводной трубы. Говорят, что списки армян составлялись по домоуправлениям заранее по распоряжению райкомов и попали в руки убийц (но это последнее утверждение нуждается в проверке). Азербайджанцы, живущие рядом с армянами, были заранее предупреждены оставить включенным свет. Воинствующие толпы водили по улицам обнаженных женщин, подвергали их издевательствам и пыткам. Трупы изнасилованных уродовались, в глумлениях над пытаемыми принимали участие подростки. В свете всего этого вряд ли можно говорить, что это были стихийные действия подонков и что просто войска опоздали на несколько часов. Если кто-либо мог сомневаться в необходимости отделения НК от Азербайджана до Сумгаита, то после этой трагедии каждому должна быть ясна нравственная неизбежность этого решения. После этой трагедии не остается никакой нравственной возможности настаивать на сохранении

²⁰ Горбачев не без симпатии относился к положению карабахских армян, но не видел выхода из тупика. «Я соглашусь на любое решение, о котором они (азербайджанцы и армяне. — К.Б.) договорятся между собой», — говорил он в узком кругу. Бывший посол США в Москве Мэтлок в мемуарах, ссылаясь на «обиду» Горбачева, с которым в ходе его визита в Ереван после землетрясения полемизировали армянские активисты, утверждает обратное. «Тогда и потом, — пишет он, — Горбачев реагировал с исключительным раздражением на все армянские требования, он постоянно был суровее по отношению к армянам, чем азербайджанцам». См. Jack F. Matlock Jr. *Autopsy on Empire. The American Ambassador's Account of the Collapse of the Soviet Union*. N.Y., 1996. — P. 166.

территориальной принадлежности НКАО к Азербайджану. Официальные списки погибших в Сумгаите не опубликованы, это заставляет сомневаться в точности официальных данных о числе погибших. Нет сообщений о ходе следствия. Такое преступление не могло не иметь организаторов. Кто они? Не было официального соболезнования правительства СССР семьям погибших! (Вы неправильно говорили, что ввод войск запоздал на несколько часов. Чудовищная резня, издевательства над беззащитными людьми, насилие и убийства армян длились трое суток. Сумгаит менее чем в часе езды от Баку.)»²¹.

Реакция Центра усугубила политический эффект сумгаитской трагедии. Вслед за явным попустительством местных властей последовали действия Москвы, которые были расценены как равносильные предоставлению свободы и безнаказанности озверевшим ультранационалистам. Центр практически отказался дать политическую оценку происшедшему, хотя этого требовали массовые манифестации в Армении и самом Нагорном Карабахе. Союзное правительство делало все, чтобы преуменьшить и замять происшедшее. Информация с мест строго ограничивалась и не давала даже отдаленного представления о масштабах случившегося.

На Политбюро Горбачев говорил: «Я сторонник того, чтобы дать информацию. Я всегда за то, чтобы информировать, иначе плодим слухи». Но продолжал: «Дать без цифр о жертвах, но сообщить, что ущерб нанесен, что пострадали люди, что виновники привлечены к ответственности»²². Последнее как раз и не произошло. Организаторы и исполнители убийств остались практически безнаказанными (осужден был лишь один человек, некий Т.С. Исмаилов, на 15 лет). Известная московская журналистка Л. Графова метко назвала день судебного процесса «днем прощенных убийств»²³.

²¹ Кстати, нечто подобное повторилось в январе 1991 г., когда по Баку прокатилась еще одна волна антиармянских погромов. Стоявшие у его ворот войска вмешались лишь на третий день — тогда насильники из Народного фронта принялись громить советские и партийные учреждения. Опять было не понято, что экстремисты, набрав силу на национальных погромах, обратят оружие против власти.

²² Впоследствии были все же опубликованы данные о жертвах, но заведомо недостоверные. Их число было преуменьшено в несколько раз, причем списку постарались придать «интернациональный» характер (якобы погибло 32 человека, из них 26 армян, 5 азербайджанцев, один осетин и т.д.). В сообщении прокуратуры Союза, опубликованном 22 марта 1988 г., не было сказано ни слова об антиармянском характере погромов, но зато подчеркивалось, что погибли люди, «принадлежащие к разным национальностям». Во всех информациях тщательно избегали говорить о «национальной» подоплеке происшедшего, а по устоявшейся привычке писали о «хулиганствующих элементах».

²³ Литературная газета. — 1992. — 8 июля.

Позиция руководства Горбачева диктовалась, очевидно, традиционными стереотипами — сомнительными в принципе и безусловно нелепыми в условиях перестройки. Считали: замалчивать события — значит не привлекать к ним внимания, ограничить их резонанс и таким образом как бы «вынуть» из них политический заряд. Стремилась «не обидеть» Азербайджан, не ссориться «с такой парторганизацией», боялись «чрезмерной» (!) реакцией вызвать дополнительное обострение национальных отношений в таком сложном районе, как Кавказ.

Трудно было допустить более грубый просчет. Если карабахские события дали толчок развитию национального движения, то Сумгаит послужил поощрением ультранационалистам, их насилию, и в этом смысле он «откликнулся» во многих местах. Характерно, как менялась ситуация в самом Баку. Сразу после событий погромщики в страхе перед карой затаились, а большинство населения испытывало возмущение или застыло в боязливом ожидании. Однако вскоре, когда стало ясно, что серьезной реакции властей не последует, воинствующие националисты почувствовали себя «на коне», и в Баку над демонстрантами стали уже развеиваться транспаранты типа «Слава героям Сумгаита».

Сумгаит — так, как к нему отнеслись в Москве, — не только делал невозможным урегулирование карабахского вопроса. В сочетании с карабахскими событиями он стал политической бомбой, взорвавшей ситуацию в Закавказье, оттолкнул от Центра, как ни парадоксально, даже Азербайджан, который так старались «не задеть».

Более того, Сумгаит, продемонстрировавший слабость центральной власти, ее неготовность показать свою законоутверждающую силу, ее способность поступаться нравственными категориями, послужил, на мой взгляд, поворотным пунктом развития событий в «национальном» направлении, приведших к распаду СССР. Сумгаит не был понят как предупреждение, как предвестник того, что может произойти, если и далее тянуть с реформированием Союза.

Между тем как раз Сумгаит — именно из-за своего варварского характера — давал центральной власти шанс предпринять действенные шаги, подтверждавшие и подкреплявшие его конструктивные и впечатляющие возможности в национальном вопросе. Она могла, во-первых, на конкретных фактах показать реальные плоды деятельности националистов, дикий, смертоносный потенциал националистического безумия. Следовало на высшем государственном уровне дать бескомпромиссную оценку зверского геноцида, добиться без проволочек примерного наказания всех виновных. «В ваших силах было, — говорила та же Графова Горбачеву, — назвать геноцид геноцидом и не допускать такого суда, который, по сути, вылился в издевательство над правосудием»²⁴.

²⁴ Литературная газета. — 1992. — 8 июля.

Во-вторых, у Центра был случай продемонстрировать силу государства, готового решительно преградить путь бесчинствам националистических погромщиков. Политическая оценка совершившегося в Сумгаите, примерное наказание виновных подняли бы авторитет правительства, укрепили его престиж и нравственный рейтинг, столь важный в условиях перестройки.

В-третьих, в атмосфере ужаса, связанного с Сумгаитом, вокруг нагорнокарабахского вопроса возникла новая ситуация: появился шанс решить его сравнительно плавно, не спровоцировав острого конфликта между Азербайджаном и Арменией, между ними и Центром. Можно было бы попытаться урегулировать проблему, передав автономии под союзную юрисдикцию: вариант, с которым карабахские армяне соглашались, а Азербайджан, потрясенный сумгаитскими событиями, сразу же после них, думаю, принял бы. Если бы впоследствии понадобилось искать другое решение, то это было бы легче сделать, отталкиваясь уже от нового статуса Нагорного Карабаха и обеспечивая ему гарантии безопасности и самостоятельности, может быть, даже «внутри» Азербайджана.

Сумгаит придал карабахской проблеме новое измерение. Он перевел ее в остроконфликтную форму при предельном ожесточении сторон и растущей готовности к насильственным методам разрешения. В этих условиях следующим логическим этапом развития конфликта становилась война, она была не за горами. А центральная власть с удивительным, мне кажется, даже с отчаянным упорством продолжала гнуть свое, может быть уже и сознавая бесперспективность своей линии. В марте 1991 года, когда проблема уже обросла солидным стажем, когда стало совершенно ясно, что сохранение политического статус-кво невозможно и нереалистично, Горбачев в очередном «Обращении к народу Азербайджана и жителям (!) Нагорного Карабаха» заявляет: «Народ Нагорно-Карабахской автономной области — неотъемлемая часть Азербайджана... Так распорядилась история. Наладьте мирный разговор, постарайтесь понять друг друга, найти дорогу из тупика»²⁵. Нельзя расценить это иначе, как признание своей неспособности что-либо предпринять: Центр как бы расписывается в своем бессилии.

От карабахского фиаско ведет дорога ко многим другим неудачам перестроечного руководства в сфере национальной политики. Несомненно, карабахский конфликт породил порвавшие с СССР независимые Азербайджан и Армению и самостоятельную Нагорно-Карабахскую Республику, он подстегнул националистов в Грузии и в некоторых других республиках — иначе говоря, был первым крупным шагом к будущему распаду Союза. Но должен признаться: не только в феврале 1988 года, но и много позже, даже после того, как не один день

²⁵ Правда. — 1991. — 15 марта.

наблюдал карабахских манифестантов, я был бесконечно далек от этой мысли.

Нагорнокарабахский узел можно считать концентрированным выражением характерных для Советского Союза 80-х годов национальных проблем, которые при пассивности и недальновидности союзного руководства, интриг рвавшихся к власти республиканских политиков привели к «кончине» СССР.

Конечно, у карабахской головоломки были особые предпосылки: многовековое взаимное недоверие армян и азербайджанцев, антиармянская резня в Шуше в 1905 и 1920 годах, в Баку в сентябре 1918 года (когда мусаватисты при поддержке турецких войск вырезали около 30 тыс. армян), геноцид в Турции, унесший 1,5 млн. жизней, наконец, произвольное включение области в состав Азербайджана и окрашенное «исторической памятью» недоброжелательное отношение азербайджанского руководства... Но в остальном — и именно оно, «остальное», и привело в движение армянское население Нагорного Карабаха — его беды и обиды шли от проводившейся в стране национальной политики и были общими для многих народов.

Вплоть до середины 30-х годов в национальном вопросе следовали курсу, который принято — и не без оснований — называть ленинским. Он был далеко не безупречным, и все же, пусть не слишком последовательно, но реализовался принцип национального самоопределения, уничтожалась царская система угнетения и дискриминации, доминировал дух реального, не показного интернационализма, нетерпимости к шовинизму и национализму. Была принята схема национально-территориального устройства страны. Сколько бы его ни кляли сегодня, оно активно содействовало становлению и возрождению наций.

Трудно сказать, чего больше было в этой политической линии: верности доктрине, приспособления к обстоятельствам, к давлению разбуженных революцией «инородцев», поиска путей укрепления устоев нового строя в многонациональном государстве? Наверное, дух интернационализма у кадров и радикально настроенной молодежи подкреплялся революционным идеализмом и утопизмом, известной дозой национального нигилизма, верой во всемогущий примат классовости и убежденностью на этом фоне во временности, эфемерности «национального».

То был своего рода «поспешный», опережающий время интернационализм. Характерно, что долго действовало правило: получая паспорт, можно было «выбирать» национальность. И в годы антифранкистской войны в Испании нередко люди записывались «испанцами». Как бы то ни было, произошел реальный поворот к новым национальным взаимоотношениям, к дружбе и согласию между народами.

Однако с середины 30-х годов вступила в действие политика, называвшаяся уже ленинско-сталинской: в старые меха начали палить новое вино — в прежние формы вносили совершенно иное

содержание. Самоопределение народов стало выхолащиваться, а силовой фактор приобретал все большее значение как скрепляющая основа Союза. Это явилось частью общего ужесточения официального курса, усиления в нем репрессивного аспекта. А централизация в национальном вопросе была элементом всеобщей централизации, линии на то, чтобы в рамках командно-бюрократической системы «все» собрать в один кулак.

Сталинская политика имела основные точки приложения в центре и союзных республиках, и ее можно определить как двурычаговую и двуединую. Первый, столичный, «конец» этой политики означал всеобъемлющий и безусловный контроль Москвы над жизнью периферии, республик, централизацию, устремленную к унитаризации и ассимиляции. Под предлогом защиты общегосударственных интересов ограничивали самостоятельность и права республик, постепенно размывалось заложенное в Конституции 1924 года разграничение компетенции между ними и Союзом. Созданные в 20-е и 30-е годы национальные районы были ликвидированы.

В республиках, как правило, были своего рода «надсмотрщики» — направляемые из Москвы вторые секретари ЦК и председатели КГБ, русские или русифицированные украинцы, белорусы. Хотя столичные эмиссары зависели от первого секретаря и часто старались к нему пристроиться, они были «глазами и ушами государевыми».

Союзным интересам, нередко дурно понятым, все полнее подчинялось и экономическое развитие республик, что вело зачастую к укреплению монокультурной специализации и экологическому неблагополучию. У представителя Ханты-Мансийского округа были все основания заявить в мае 1989 года на Съезде народных депутатов СССР, что территория округа превратилась в стройплощадку для больших народов, с катастрофическими последствиями для аборигенов²⁶.

В тяжелой ситуации оказались и другие народности Севера, о возрождении которых так любила писать официальная печать. Их промысловые угодья, пастбища, водоемы жестоко пострадали от «интервенции», превратились в «мертвую зону» из-за бесхозяйственной производственной деятельности центральных ведомств. Продолжительность жизни эвенков была на 16–18 лет меньше, чем в среднем по стране.

Даже такое серьезное мероприятие, изменявшее демографическую ситуацию в Казахстане, как освоение целины, проводили, по существу не спрашивая мнения Алма-Аты.

²⁶ Между тем еще в апреле 1987 г. Горбачев говорил государственному секретарю США Шульцу: «У нас есть большие достижения, в частности, в национальной политике. Даже самым маленьким национальностям, например ханты-мансийцам, которых всего 11 тысяч, предоставлены все права, свой национальный округ и т.д.»

Другой, республиканский, «конец» этой политики означал форсированное формирование и выдвижение во всех сферах местных кадров, особенно ускоренную «коренизацию» руководящего состава, возможность проводить дискриминационный курс в отношении других национальностей. Эта привилегия была своего рода платой — «взяткой» за безусловное подчинение центру. По сути дела, «коренная» нация служила микрометрополией, а республики, как говорил Сахаров, малыми империями. Централизация не оканчивалась за воротами Москвы, в республиках, на местном «пятячке» шла своя ассимиляторская работа, причем нередко в более грубой и откровенной форме.

В принципиальном отношении обе линии были однотипными, нацеленными на создание ситуации господствующей нации. В этом обмене послушания центру на привилегии коренного населения, на всемогущие республиканских руководителей внутри их «доменов» и состояли коварство и изощренность сталинской национальной политики. Она, таким образом, опиралась на союз, пусть далеко не равноправный, двух номенклатур — союзной и республиканской, а также на остаточный материал от ленинского подхода. Наряду с выделением и возвеличиванием русского народа, эта политика сохраняла, условно говоря, марксистскую установку на самоопределение и развитие наций (т.е. практически нерусских наций Советского Союза) хоть и в усеченном, деформированном — против «чистого», теоретического оригинала — виде, приспособленном к основной, всекодержавной цели.

Именно эти два момента прежде всего и определяли эффективность сталинской политики в течение известного периода. Очевидно, сплачивающую роль играли также официальные революционные идеалы и аура могущества Советского Союза, создавшие «общесоюзный патриотизм».

Но в этой политике были заключены разрушительные внутренние противоречия, которые могли сдерживаться лишь при определенных условиях. Прежде всего прежний девиз равноправия наций из работающей политики (раньше особое место русских и русского языка определялось лишь объективными факторами) превращался в значительной мере в маску, за которой скрывалась возникшая иерархия наций.

Сейчас модно говорить об «ущемленности» русской нации в советское время, об особых притеснениях и обидах, которые она претерпевала. Если оставить в стороне записных великодержавных националистов, мы имеем дело с покрытым исторической плесенью политическим приемом, призванным завоевать поддержку у обывателя.

Слов нет, русский народ испил до дна чашу тоталитарного угнетения, пережил много испытаний, принес много жертв. Уже в силу его численности на него легла основная тяжесть индустриализации,

Великой Отечественной войны, послевоенного восстановления хозяйства. Незавидным было и экономическое положение ряда русских районов, хотя Россия служила донором ряда других частей Союза.

Но российский народ не знал национальных притеснений, был избавлен от еще одного пресса, знакомого другим народам, — русификаторского. Кстати, дотации можно рассматривать и как своеобразное отступное великодержавного центра за русификацию, точно так же, как советская помощь некоторым государствам СЭВ была платой за «покорность».

В рамках сталинской политики и вплоть до распада Советского Союза русская нация находилась на особом положении. Она не была господствующей в классическом смысле: скорее следует говорить о господстве русской партийной, государственной и хозяйственной бюрократии и обслуживавшей ее интеллигенции. Но она, несомненно, была привилегированной в политическом, идеологическом, культурном, психологическом отношениях. Этому отнюдь не противоречит отсутствие в составе СССР — на что обожают ссылаться некоторые авторитеты — русской республики. Действительно, РСФСР имела более слабые государственные институты, чем другие республики, но просто потому, что сам центр был русским. Другое дело, что «союзным верхом», видимо, руководили не только эти соображения: он опасался возникновения конкурирующего центра. Кстати, так и произошло: провозглашение суверенитета РСФСР и избрание ее президента подтолкнули к распаду СССР.

В чем же выразилось привилегированное положение русских?

Советский Союз был фактически преобразованной формой существования России как она сложилась на просторах истории и в результате многовековой территориальной экспансии. Союз возник и объединился вокруг России, которая играла роль руководящего и цементирующего ядра. Да это было оформлено и официально. Вспомним хотя бы наш недавний гимн: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь...» Или заглянем в Большую Советскую Энциклопедию (1954 г.). В статье «Нации» читаем: «Наиболее выдающейся нацией в семье равноправных наций, входящих в состав Советского Союза, является русская социалистическая нация. С ее помощью все ранее угнетенные народы создали свою советскую национальную государственность, развили свою национальную по форме и социалистическую по содержанию культуру... Этим русская нация завоевала искреннее уважение и доверие к себе со стороны всех наций и народностей Советского Союза, заслужила общее признание как руководящая нация». Еще откровеннее звучит формула Горбачева, использованная им как-то в разговоре с Ельциным: «Союз — это упаковка, более или менее легитимная, где в Конституции закреплено руководство русской нации тем огромным миром, который складывался на протяжении столетий».

Русские решительно преобладали в руководстве страны, в центральных органах партии и государства. В составе Центрального Комитета КПСС, избранного на XXVI съезде, последнем в брежневские годы, на их долю приходилось около 70 процентов (304 из 442 человек), а вместе со славянскими родичами, украинцами и белорусами, многие из которых давно оторвались от родных корней, даже 86 процентов.

Столь же выразительной была ситуация в аппарате ЦК, во внешнеполитических ведомствах, среди старшего офицерского состава и генералитета. Если в аппарат ЦК и брали людей из республик, то обычно на «обкатку», для последующего пополнения или смены их руководства. Уже в перестроечные времена в Совете Безопасности и аппарате президента СССР на ответственных должностях, начиная с референта, лишь 10 человек из 209 (март 1991 г.) были нерусского и неславянского происхождения.

На базе индустриализации, строительства военно-промышленного комплекса, а также с помощью других мер целенаправленно создавались массивные очаги русского населения во многих республиках.

Доминирующее положение занимали русский язык и русская культура. И это обеспечивалось не только объективными факторами (вес русского народа, его культурные богатства, мощь языка, его роль словесного скелета науки и армии, орудия межнационального общения и приобщения к мировой культуре, соображения престижа и карьеры), но и особыми административными и иными методами, направленными на ограничение пространства для нерусских языков.

В 30-е годы произошел поворот к вытеснению родных языков, окончательно закрепленный в Постановлении ЦК ВКП(б) и Совнаркома от 13 марта 1938 г. «Об обязательном изучении русского языка в школе национальных республик и областей». Вот пример, один из многих. Еще в 30-м году более 95 процентов детей коми-зырян училось в национальных школах. После войны обучение в Коми АССР шло на русском языке и детям запрещали говорить на родном даже на переменах — в точности, как в царскую пору. Образование на национальных языках стало в автономиях второстепенным, а за их пределами учиться можно было, как правило, только на русском. Национальные школы в крупных городах России с большим нерусским населением были закрыты. Давление осуществлялось и на союзные республики. В 1963 году в Кисловодске министр просвещения Армении Шаварш Симонян мне жаловался на последовательную линию Москвы: сократить образование на армянском языке и расширить — на русском.

В РСФСР к 1982 году школы существовали на 15 языках, кроме русского, но только на 4 из них — тувинском, якутском, татарском и башкирском — они были выше начальной ступени (1–3 классы). Школы на родном языке отсутствовали во многих городах Украины

и Белоруссии. По словам президента Татарстана М. Шаймиева, национальный язык даже сейчас «на грани исчезновения, особенно в городах». Не в лучшем положении находится белорусский и ряд других языков.

На русском языке большей частью велась государственная и партийная документация в союзных республиках. Секретарь ЦК КП Эстонии Вайно говорил на заседании Секретариата ЦК КПСС в апреле 1990 года, что даже в 1988 году — то есть уже в перестроечный период — ни один документ из эстонского ЦК не вышел на эстонском языке.

Восточные языки — для отрыва этих народов от их культурных корней — были переведены на кириллицу или даже переименованы. Этому способствовала и тотальная атеизация.

Но и там, где обучение шло на национальных языках, на первом плане было изучение русской литературы, культуры и истории (к ней прежде всего сводилась история СССР).

Настойчиво внушалась мысль о «старшинстве» русского народа. Стала ритуальной формула «старшего брата», она звучала со всех официальных трибун, непременно присутствовала в пропагандистских документах, ее должны были произносить, сопровождая слащавыми — и часто неискренними — словами благодарности «великому русскому народу» едва ли не на каждом заседании. В ней были запечатлены существовавшая в СССР национальная иерархия и верховенство русской нации. Вряд ли ее можно квалифицировать иначе, как смягченную, облагороженную форму проповеди национального превосходства.

Шло националистическое переписывание российской истории, ее нарастающее и необузданное возвеличение. Начавшись в конце 30-х годов и разбушевавшись, пройдя через войну и послевоенные годы, этот процесс породил в конечном счете «Россию — родину слонов».

Народы, покоренные огнем и мечом, были объявлены добровольно присоединившимися к России или даже воссоединившимися с нею, а генералы-завоеватели, сброшенные с пьедесталов революцией, героями вернулись на страницы учебников. Территориальные приобретения царей, колониальные захваты самодержавия стали славными главами истории социалистического Советского Союза. Зато, например, Шамиль, еще вчера фигурировавший в качестве лидера национально-освободительной борьбы, был заклеен как реакционер.

Постоянным мотивом официальной пропаганды было разоблачение национализма, напористые и настойчивые предостережения против него. Зато совершенно исчезла тема великодержавного шовинизма. Этот метод настолько укоренился, что продолжал действовать и в перестроечные годы. На Пленуме ЦК КПСС в декабре 1989 года первый секретарь ЦК Компартии Эстонии Вялас имел достаточно оснований заявить: «Здесь столько раз произносили слово «национализм». Но ни разу «шовинизм»».

В совокупности все это представляло собой гигантский, не столько объективный, сколько искусственный, всячески административно подталкиваемый и стимулируемый ассимиляционный процесс. На «границе» между русским и другими народами Советского Союза возник целый слой «полурусского» населения из инонационалов, не говоря уже о вполне обрусевших «нацменах», которые, вливаясь в русскую нацию, укрепляли ее полиэтнический характер. Разумеется, эти процессы в некоторой мере сказывались и на облике русской нации, на ее традиционных чертах. Все это подтверждается и данными переписей. Если в 1926 году были зафиксированы 194 этнические единицы, то в 1979 году уже вдвое меньше — 101. При получении паспортов детей от смешанных браков настойчиво убеждали записаться «русскими». Такой «обработке» подверглась и моя дочь.

Формула «советский народ как новая историческая общность» также имела в виду его формирование главным образом на основе русской нации, ее языка и культуры. Применительно к нерусским национальностям «советский народ» — это прежде всего форма обрусения в сочетании с определенной социально-идеологической унификацией. Или видоизмененная форма существования русского народа.

Правда, в республиках русские как «некоренная» нация тоже были объектом дискриминации, рассматривались как граждане второго сорта. Но к ним все же относились осторожнее, с инстинктивной оглядкой на Москву. Разумеется, это касалось русских как категории, но не участи конкретного русского человека.

Сталин и его наследники, несомненно, являлись русификаторами. Наверное, никто не сможет сказать, было ли это окрашено у «вождей» каким-то эмоциональным отношением, пиететом к русскому народу и великой русской культуре, благодарностью за его недожитое «терпение», наконец, психологией обрусевшего человека, который больший католик, чем сам папа. Или же это было чисто головным продуктом и рождено стремлением иметь прочную базу государства («империи»).

Разумеется, русские, как нация, не несут ни малейшей ответственности за деяния российской бюрократии. Более того, хотя объективно эти процессы политически и демографически (в смысле прилива «новообращенных») выглядели выгодными русской нации, по сути они вряд ли отвечали ее интересам и в своем навязанном, насильственном аспекте явились скорее великодержавным выбором «безнациональной» тоталитарной власти. Кстати, мой жизненный опыт говорит о том, что именно в русской среде — среди людей очень русских по своему облику, корням и душевному складу чаще всего можно встретить тех, кто свободен от малейших следов национальной узости и высокомерия. И мне это понятно. Великому народу легче подняться над национальной ограниченностью, занять снисходительную позицию по отношению к националистическому «надуванию щек». А его «великому и могучему» языку вовсе ни к

чему административное проталкивание — он сам отлично пробивает себе дорогу.

Следующей в иерархии категорией были «коренные», как говорили тогда, или «титულные», как говорят теперь, нации и образованные вокруг них союзные республики. Как бы ни были ограничены их права, на деле именно они, и только они были субъектами федерации.

Проводимая в республиках политика очень напоминала союзную: та же линия на ассимиляцию, но ориентированная на коренную национальность, переписывание и возвеличение ее истории, кадровая, языковая, культурная и психологическая дискриминация инонационального населения, его экономическое ущемление. Объектом этой политики были и внутриреспубликанские автономии — третья по ранжиру национальная категория.

О судьбе Нагорного Карабаха читатель уже знает. В Грузии же, жаловались абхазы на Съезде народных депутатов СССР (июнь 1989 г.), с 1940 года было упразднено название «абхазский народ», с 1941 года прекратились радиопередачи на абхазском языке, в 1945–1946 годах были закрыты абхазские школы, абхазские названия населенных пунктов заменялись грузинскими, в Абхазию усиленно направлялись грузинские переселенцы. Э. Шеварднадзе в бытность первым секретарем ЦК КП Грузии называл эту политику шовинистической.

Сталинская национальная политика взращивала национализм во всех трех основных точках своего приложения.

В центре — прорусский великодержавный национализм, мягкая, «стертая» разновидность шовинизма поражала слой руководящих кадров, порождая чувство ущемленности у немногих нацменов, «пробравшихся» в высшие коридоры власти.

В республиках — свой государственный микрошовинизм (мягкий или не очень мягкий, а иногда заметно более жесткий, чем в центре), опять-таки поражающий бюрократическую элиту. Ведь, как и в центре, невозможно было воспитываться и воспитывать в атмосфере возвеличения «коренной» нации, дискриминировать иные национальности и не стать на националистические позиции. Характерно, что в связи с событиями в Карабахе руководящие кадры Армении и Азербайджана оказались по разные стороны баррикады — на стороне своих соотечественников. А когда обострилось положение в этих республиках, многие из них стали потворствовать националистам. Вот неполный перечень тех из них, кого «успели» или «захотели» наказать по этой причине (и в нем, естественно, нет республиканских верхов). В Армении — 12 руководителей правоохранительных органов городского и районного звеньев, в том числе прокуроры 8 районов, 24 руководящих работника партийных, советских и хозяйственных органов. В Азербайджане — председатели двух Госкомитетов республики и их заместители, министры бытового обслуживания и легкой промышленности, генеральный директор НПО

«Нефтелига» и многие десятки других. Но «республиканский» национализм имел и оборотную сторону — антимосковскую, антирусскую, порожденную чувством приниженности в отношении центра, негодования по поводу его «притеснений».

Наконец, национализм дискриминируемых нацменьшинств или осеиваемых инородцев («жиды», «хохлы», «армяшки», «чучмеки», «урюки», «дикари»), однако разнонаправленный. В республиках — против «коренного» населения (каждая из национальных групп в результате дискриминации «вспоминала» о своей национальной идентичности), в центре, в русских областях — против «главной» нации. Последнее особенно верно применительно к лицам «восточной» и «кавказской» национальностей. Здесь наряду с официальной политикой раздражающую роль играло осязаемое на бытовом и профессиональном уровнях снижительно-покровительственное, а иногда высокомерное отношение.

Националистическому поветрию способствовал и идущий «сверху» нажим на важность национальности в общественной физиономии и статусе граждан. В 1938 году было отменено правило, позволявшее выбирать национальность. Набравший позже силу официальный антисемитизм тоже действовал в этом направлении: он напоминал, если не всем, то многим, об их национальной принадлежности. Слово «антисемитизм» после долгих лет впервые прозвучало на Пленуме ЦК лишь в январе 1987 года, и его произнес Горбачев.

Нетрудно заметить глубокое противоречие между двумя «главными» национализмами — в Москве и республиках, которое, нарастая, обещало разорвать ткань сталинской политики. Оно могло сдерживаться, а политика оставаться действенной до поры до времени из-за ряда преходящих обстоятельств. Это — убедительная сила центра, его непререкаемый, безусловный авторитет. Это неразвитость, пусть временная, национального сознания, слабость «локального» национализма и зараженных им кадров. Это — аура могущества единого государства и горделивое ощущение сопричастности к нему, вместе с верой в неминуемое всемирное торжество «своего» строя.

И конечно, огромную роль играли остатки «ленинской политики» (возможность развивать национальную культуру и образование, формировать кадры, осуществлять до каких-то пределов государственное строительство), преимущества, связанные с жизнью в большом государстве, интеграционные экономические процессы²⁷. Кстати, именно они, естественная ассимиляция помогали официальной политике, одновременно маскируя ее подлинные цели.

²⁷ Впрочем, уже в 50-е гг. стало наблюдаться парадоксальное явление, мало совместимое с классическими представлениями. На фоне укрепления интеграционных процессов в экономике, усиленного перемешивания населения, увеличения количества смешанных браков стали расти националистические проявления.

Интеграционные процессы, унифицирующий идеологический корсет, влиявшая на морально-психологический климат в стране пропаганда интернационализма, общая судьба на протяжении десятилетий (не говоря уже об историческом прошлом), совместно прожитое испытание Отечественной войной и некоторые другие факторы придали определенное реальное содержание и понятию «советский народ», и формуле «дружба народов», создали советский патриотизм как действительный феномен.

Интернационализм стал органической частью мировоззрения значительной части моего поколения. Беру в свидетели и союзники Давида Самойлова — авторитетного человека, которого трудно заподозрить в симпатиях к прошлому: «Но дело-то не в том, — пишет он, — что идеология была ложной и бессодержательной для идеологов: она была реальной и содержательной для нас.

К примеру, если даже интернационализм к 30-м годам стал феноменом сталинского державного эгоизма, то у нас он оставался чистым элементом воспитания и реальным взглядом на проблемы взаимоотношений наций: не важно, что его нет в недрах официальной идеологии, важно, что он остался признаком идеологии моего поколения, его мыслящей части.

Важны не те, для кого эти идеи были ложью, а те, для кого они были правдой»²⁸.

Советское государство, несмотря на все эти различия между народами СССР, сумело сформировать у населения комплекс общих ценностей, нравственных и поведенческих стереотипов. Не случайно не только «старые», но и «новые» русские легко идентифицируются за границей.

Особенно в 70-е и 80-е годы внутренние противоречия проводившейся национальной политики, которая также приобрела застойный характер, стали ее подтачивать. Правда, между частью высшей номенклатуры центра и ее партнерами в республиках возникали новый мост, новая связка — коррупция. Но это не могло перекрыть или даже компенсировать эффект других факторов.

Заметно убывли сила и авторитет центра. Зато набрали влияние, став почти бесконтрольными феодалами, партийные лидеры в республиках. Они превращали государственные и партийные структуры в ориентированные лично на них, с опорой на родственные, клановые, земляческие связи. Тем же, кто входил в состав Политбюро, в аппарате ЦК вообще остерегались перечить.

Автономия республик все более превращалась в автономию секретарей. А под их «зонтом», по крайней мере в ряде республик, шел рост ядовитый гриб национализма. К тому же развитие в республиках образования, количественный и качественный рост интеллигенции,

²⁸ Самойлов Д. Памятные записки. М.: Междунар. отношения, 1995. — С. 428.

сопровождался подъемом национального самосознания, также вели и реальных условиях союзной политики (русификация, неподвижность или даже «попятное развитие» форм автономии и полномочий республик) к распространению националистических настроений.

Один красноречивый факт. Выступая на Пленуме ЦК в сентябре 1989 года, министр обороны Д. Язов сообщил, что в предшествующем году 125 тыс. призывников не знали русского языка — в 10 раз больше, чем 20 лет назад. («В войну все знали», — комментировал сидевший рядом со мной генерал-полковник.) Это нельзя интерпретировать иначе, как признак отталкивания от «ассимилирующего» языка. При попустительстве властей в большинстве республик русский язык не преподавался во многих школах, особенно на селе, из-за «отсутствия учителей». Слабели и идейные скрепы режима. Все более формальный характер приобретали заклинания о дружбе народов.

В мусульманских республиках и автономиях возникла и распространялась подпольная церковь, что тоже работало на оживление национальных чувств.

Национальный вопрос усложнялся по всем азимутам, и это было частью кризиса системы. Послебрежневское руководство заместило этот феномен. Часто упоминается заявление Андропова на праздновании 60-летия Союза ССР: «Что касается национального вопроса и том виде, как он был нам оставлен царизмом, мы его решили». Разумеется, смысл сказанного был здесь в словах «в том виде...» что явилось отходом от заявлений об окончательной решенности национального вопроса и признанием — в обычной для нашего руководства эзоповской форме — неблагоприятия в этом вопросе.

Но это неблагоприятие все еще не приобрело острого и всепроникающего характера, все еще не угрожало существованию Союза. Выступления на национальной почве, как и вообще антиправительственные выступления, были редкими и спорадическими, а национальные движения, тем более массовые, даже не маячили на горизонте.

Так обстояло дело в застойном Советском Союзе. Перестройка же с ее демократизацией и гласностью, с ее общественной ломкой и стрессами, с ее экономическими трудностями* открывала шлюзы для выбросов общественного недовольства и накапливавшегося горючего материала, для форсированного подъема национального активизма.

Архитекторам перестройки, которые нанесли сокрушительный удар двум столпам проводившейся до сих пор национальной политики — мощи центра и идеологическому освящению системы, предсто

* В марте 1991 г. экс-канцлер ФРГ Г. Шмидт в разговоре со мной пред-рекал Советскому Союзу «большие потрясения, связанные с экономическими неурядицами. Беда ваша, продолжал он, в том, что у вас мало или почти нет серьезных экономистов. А сам Горбачев, видимо, слабо разбирается в этой области».

яло столкнуться с глубоким ее кризисом, с весьма усложнившимся, взрывоопасным национальным вопросом. Однако они оказались неготовыми к такой встрече и в особенности к возникновению национальных движений.

Судя по их действиям и обнародованным планам, руководители перестройки начали ее, как бы игнорируя национальный вопрос, исходя из того, что он решен, во всяком случае, без реальной оценки его подлинного значения и в рамках сложившейся в СССР обстановки и для самой перестройки. Хотя речь шла о радикальных преобразованиях в многонациональной стране, реформаторские намерения в этой области практически отсутствовали, как и прогноз того влияния, которое эти преобразования могут оказать на национальные отношения.

К национальному вопросу они подходили, пятясь под прессом бурных, даже катастрофических событий, не поспевая за ними. И на седьмом году перестроечных процессов и исканий Советский Союз прекратил существование.

Можно ли было этого избежать? Определенный ответ на этот вопрос сегодня вряд ли возможен. На мой взгляд, шанс на это, притом реальный, существовал. Заклинания противоположного характера, исходящие от радикальных демократов, деятелей типа Шахрая и Бурбулиса, воспринимать всерьез невозможно. Это голос оправдания людей, причастных к исторически, а возможно, и уголовно наказуемому деянию. Нехитрые политические соображения руководят и западниками, когда они уверяют в неизбежности распада Советского Союза.

Если попробовать суммировать причины фиаско Горбачева и его соратников в национальном вопросе, имея в виду лишь те факторы, которые лежат внутри самого этого вопроса, и отвлекаясь от общих бед перестройки, то я бы назвал следующие.

Прежде всего сложность самой задачи. Советский Союз был уникальным обществом — неповторимой национальной мозаикой. Даже при самом благоприятном состоянии национальных отношений гигантский общественный разлом, смещение социальных и политических пластов таких масштабов и такой глубины, которые несла перестройка, не могли не взбудоражить народы, не вызвать серьезное трение там, где соприкасались различные национальности и где они контактировали с центром. Но тем более это верно применительно к Советскому Союзу, где национальные отношения обременял тяжелый груз накопившихся проблем и деформаций, где свился клубок глубоких противоречий, где перестройка открывала своего рода «ящик Пандоры».

Чтобы с этим совладать, нужны были, как минимум, трезвая оценка сложившейся ситуации, продуманная и решительная политика выхода из нее, новаторская концепция построения национальных отношений и сильные государственные рычаги для реализации этой задачи. Ничего этого, однако, не было.

Во-вторых, очень крупные, порой поразительные просчеты руководства страны. Горбачев говорит о своей «недооценке важности национального вопроса», о «запоздании с национальным вопросом» (декабрь 1992 г.), об «опоздании с разработкой современной адекватной концепции национальной политики» (апрель 1995 г.). Михаил Сергеевич и его соратники признают, что это было одной из главных их ошибок. Думается, однако, дело не только в этом, проблема глубже.

Горбачев, хотя вырос и работал в многонациональной среде и вынес оттуда свободу от предрассудков, уважительное отношение к другим национальностям и живой практический интернационализм, не владел национальным вопросом, не видел его относительной самостоятельности, его огромного взрывного потенциала. Он не понимал роль и специфику психологии в этом вопросе, не представлял силу национальных чувств. Наверное, справедливо сказать, что в области национальных отношений Горбачев больше, чем во многих других, придерживался традиционных представлений. Суть национального вопроса в Советском Союзе так и не была им постигнута.

Придя к руководству, новый Генеральный секретарь знал, что национальные дела, как и другие проблемы, пущены в основном на самотек. Недаром на встрече с руководством Итальянской компартии после похорон Э. Берлингуэра он говорил о том, что «национальным вопросом мы занимаемся в основном через тосты». Но Горбачев не испытывал серьезной озабоченности по этому поводу, не видел в национальных отношениях никакого существенного неблагополучия, воспринимал происходящее в этой сфере в рамках общепринятой схемы и устоявшихся представлений: национальный вопрос решен, советская власть столько сделала для всех народов и это настолько важно для них, что они навсегда сплотились в рамках Союза, что Союз нерасторжим.

Вспомним, что даже в Прибалтике в 1991 году, где время было окончательно упущено, где настроения уже вполне определились, он искренне вел разговор на этой волне на всех своих встречах, ссылался на то, что, не будь Советского Союза, они не достигли бы «таких успехов». Михаил Сергеевич пытался также переломить настроение экономическими уступками и посулами, не сознавая, что в определенный момент национальные чувства перехлестывают свои первичные экономические факторы и уже не могут быть усмирены подобными аргументами.

И в рамках именно этого «концептуального» видения Горбачев воспринимал — скорее бюрократически, с точки зрения администратора, а не с вершины политической пирамиды — нараставшие события на национальной сцене. Он склонен был объяснять их «перекосами», «недоработками», интригами мафиозных групп, что-то не поделивших между собой, ошибочной или даже «вредной» пози-

цией интеллигенции²⁹, порочной практикой руководителей (недаром на Политбюро Горбачев говорил об «алиевщине, коченяновщине, рашидовщине» и т.д.), которых достаточно сменить, чтобы повернуть дело в лучшую сторону.

С развитием событий нарастала озабоченность все более явным неблагополучием в национальных отношениях, но не понимание глубокой почвы национального подъема и параставшего массового движения, подлинного смысла и масштабов проблемы. Судя по всему, почти до конца руководство страны не осознавало, что в этой сфере накапливается горючий материал, способный взорвать и перестройку, и сам Союз, настолько прочны были старые рефлексы.

Только так можно объяснить многое, что иначе не поддается никакому объяснению, например то, что, идя на «перестройку», ее авторы совершенно отвлеклись от «маленького» обстоятельства — многонационального характера страны — не подумали, как скажется на национальном вопросе половодье демократии и гласности. Отсюда — традиционная реакция на первые всплески национальных выступлений: безоговорочное осуждение, приписывание их экстремистским, мафиозным и хулиганствующим элементам, применение силы в сочетании с утратившим привлекательность идеологическим прессингом вчерашнего дня, использование линии «разделяй и властвуй».

Отсюда же, с одной стороны, тактика медленного реагирования, ставка на самотек, на то, что «все перекипит и самоустроится, утрясется» (ведь другой дороги, как жить в Союзе, нет). С другой — давшие обратный эффект попытки, часто нерешительные, «подкупить» или оказать давление экономическими мерами («социально-экономическое» постановление по Нагорному Карабаху, попустительство азербайджанской блокаде Армении и Нагорного Карабаха, нефтяное эмбарго против Прибалтики и т.д.), «образумить» с помощью силы (применение войск в Нагорном Карабахе, Баку, Тбилиси, Прибалтике и т.д.).

Отсюда, наконец, самое поразительное: фантастическая пассивность и медлительность власти — при видимой активности в виде речей и обращений, падавших в пустоту, — как бы замороженными глазами наблюдающей за происходящим, ее систематическое отставание от событий, ее неготовность всерьез подступиться к национальному вопросу.

Напомню, что уже в феврале 1988 года Горбачев заявил на Пленуме ЦК, что надо посвятить специальное заседание националь-

²⁹ «Есть коррумпированные силы, которые организованно разжигают национальный вопрос», — говорил он на январском (1989 г.) Пленуме ЦК. Спустя месяц, на Пленуме в феврале, Горбачев, касаясь конфликта вокруг НКАО, вновь заявляет: «В экономической и культурной области накопились определенные проблемы. Действуют мафия и теневая экономика. Интеллигенция не сумела занять правильные позиции».

ному вопросу. Созвать такой пленум он обещал и в «Обращении к народам Азербайджана и Армении». Однако на пленумах в июне и июле того же года по национальному вопросу не было сказано ни слова. И прошло более полутора лет после его февральского заявления, и состоялось восемь пленумов ЦК (и это на фоне разгоравшегося пламени национальных движений!), прежде чем вопрос был поставлен на обсуждение в сентябре 1989 года (причем сам Пленум дважды назначался и откладывался).

Но ни материалы Пленума, ни опубликованная за две недели до него платформа КПСС «Национальная политика партии в современных условиях» не оказали заметного влияния. И не только потому, что по содержанию уже отставали от размаха национальных движений. Для партийной инициативы было непоправимо поздно. К тому же вслед за Пленумом не последовало ни серьезных мер по реализации его решений, ни документов, их развивающих и конкретизирующих.

Между тем в 1988 году даже в Прибалтике большинство еще не заикалось о независимости, и это было не только тактическим приемом, но отвечало уровню национального самосознания, еще не преодолевшего «привязку» к СССР и его притяжение к себе. Вот почему именно тогда была важна реальная трансформация национальных отношений, способная показать народам новые условия, в которых они будут жить.

Таким образом, существовала абсолютная несинхронность между динамикой в национальном вопросе «внизу» и реакцией центра, его хроническое и чудовищное отставание. Объяснение этому может быть только одно: руководство страны все еще не представляло масштабы и убийную силу развернувшегося национального движения³⁰ и, главное, не знало, как подступиться к национальному вопросу, не имело адекватной государственной концепции на этот счет.

В-третьих, в результате этой бескомпасной и аутсайдерской политики сложилась ситуация, которая и стала одной из основных причин «кончины» Союза. Людям пространно говорили об его «обновлении», но все это так и осталось в рамках словесности. Народы, пришедшие в движение и жившие во власти памяти о прошлых обидах, не получили возможности сравнить прежние отношения с центром — с «обновленными», которые так и не появились. И в противостоянии

³⁰ Звучали и до сих пор звучат обвинения А.Н. Яковлева в том, что он своими выступлениями в Прибалтике и Грузии поощрял националистов. Я думаю, что дело тут не в каком-либо злом умысле, а в не очень квалифицированном, кабинетном подходе к национальному вопросу, предполагавшем, что силу движения можно использовать в определенных целях и в определенном направлении, в то же время удерживая его в нужном русле, в допустимых рамках. Но уже в октябре 1989 г. в беседе с Бжезинским на вопрос, что случится, если государства Балтии провозгласят свою независимость, Яковлев без колебаний ответил: «Это было бы концом перестройки».

реально существующих отношений и фантомов обещаний первые выглядели убедительнее. Секретарь ЦК Компартии Латвии Вагрис имел право сказать на Пленуме в декабре 1989 года: «На уровне политического руководства о новом федерализме и политической самостоятельности говорилось много. На уровне законодательной власти — почти ничего. На уровне исполнительной власти — молчат».

В-четвертых, не было рычагов, способных проводить в жизнь даже правильную политику руководства, если бы такая существовала. При всей неоднородности аппарата и руководящих кадров в национальном вопросе они были консервативны, возможно более, чем в других. Прочно свили гнездо великодержавно-снисходительное отношение к неславянским «инородцам», привычка к проводившейся («сталинской») национальной политике и отношение к ней как совершенно естественной, рефлекс силовой реакции на проявления националистических настроений.

Показательно, что начиная со второй половины 1988 года на всех пленумах ЦК Горбачев находился под прессом критики по поводу своего бездействия в национальных делах и требований о наведении порядка с помощью административно-репрессивных мер. А реформистски и реалистически настроенным руководителям прибалтийских компартий, например Бразаускасу и Вяласу, на пленумах буквально не давали говорить.

Центр действительно был пассивен, да и применение силы иной раз являлось оправданным. Но программа большинства критикующих — а это была верхушка партии — фактически лишь к этому и сводилась. Приведу несколько примеров. Хоть и частные, они, несомненно, иллюстрируют настрой руководящих кадров. Февраль 1987 года, Г. Колбин на Пленуме ЦК: «У нас нет роста национализма, а есть ослабление работы по борьбе с проявлениями национализма. Недавно опять подняли голову. Мы вынуждены были дать строгие партийные взыскания и даже исключить из партии некоторых работников массовой информации...» Апрель 1990 года (когда национальные движения уже разлились широким потоком), Г. Разумовский на секретариате ЦК, где обсуждается вопрос об отношениях КПСС с Компартией Эстонии накануне ее съезда: «Надо исключить термин «переговоры» (с эстонцами. — К.Б.), я к нему себя не готовил». Лето 1990 года, мне приносят записку о присвоении дипломатического ранга первого секретаря (?) министру иностранных дел Латвии. Звоню подписавшему ее коллеге, замзаву Международным отделом, и выражаю удивление по поводу слишком низкого для республиканского министра звания. Мне отвечают, что так делали всегда и оснований менять не видят. Все попытки объяснить, что это неуважительно, вызовет заметное недовольство и т.д., ни к чему не приводят. Я вынужден, изменив записку, подписать ее сам.

Настроенные таким образом аппарат, руководящие кадры не могли, разумеется, быть рычагом проведения обновленной нацио-

нальной политики. Они были способны служить лишь помехой пассивной или активной. Кстати, аппарат в определенной мере служил источником дезинформации «верха» — скорее из-за непонимания происходящего.

В-пятых, позиция политического, экономического и интеллектуального истеблишмента в республиках и автономиях. Уже зараженные националистическими амбициями, эти люди перед лицом явно слабющего центра включились в национальное движение, преследуя и собственные цели. Они стремились обезопасить свое доминирующее положение или его завоевать. Причем за оружие национализма схватились все — и «демократы», такие как Петросян в Армении или Шушкевич в Белоруссии, и коммунисты, такие как Каримов в Узбекистане, Алиев в Азербайджане или Кравчук на Украине (последние срочно конвертируя партийную идеологию в националистическую).

В-шестых, сказались, конечно, влияние Запада, его общая линия и конкретные действия, хотя определенные политические силы в России не без умысла преувеличивают роль этого фактора. Это — особая тема, и я ограничусь напоминанием о том, что разжигание националистических, антирусских и сепаратистских настроений неизменно являлось одним из главных направлений политической, идеологической и разведывательной работы против СССР.

О степени «открытости» нашей политической жизни и западных возможностях в перестроечные годы свидетельствует хотя бы такой факт, что еще в июне 1990 года Руслан Хасбулатов, в ту пору заместитель Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР, информировал посла США в Москве Мэтлока о намерениях Ельцина и его окружения добиваться ликвидации Советского Союза³¹. Не лишено «диагностического» смысла и то, что участники беловежской сделки первым информировали Президента США и лишь во вторую очередь — Президента СССР.

Ну а в каком направлении шло западное воздействие, догадаться нетрудно хотя бы по нынешнему активному противодействию сближению бывших советских республик с Россией. Мэтлок в недавно опубликованных мемуарах «Аутопсия империи» рассказывает о сделанных посольством США политических жестах в поддержку националистов в республиках, в частности Руха на Украине³².

Правда, летом 1991 года, когда дело шло уже к распаду Союза, США заколебались, видимо из-за стремления Буша поддержать Горбачева, чье положение резко осложнилось, и болезни атомного хлоса в распадающейся сверхдержаве. Но это отклонение было быстро скорректировано. 27 ноября — еще до референдума на Украине, назначенного на 1 декабря, — Буш принял лидеров украинской

³¹ Jack F., Matlock, Jr. Autopsy on Empire. — P. 733.

³² Ibid. — P. 429.

общины в США и заявил, что Соединенные Штаты «ускорят признание... украинской независимости»³³.

Наконец, последнее обстоятельство, но по важности перекрывающее почти все из уже названных, — позиция Ельцина и радикальных демократов, их политические шаги и амбиции. Ход событий поставил их перед выбором: сохранить государство или прорваться к власти. Они, судя по всему, не колебались и за ценой не постояли: пренебрегли первым и ринулись ко второму. Это было естественно для большинства из них, как почти во всякой политической борьбе, именно это являлось главной, если не единственной, целью.

Сегодня, когда трагические последствия распада Союза очевидны, нам говорят, что он в любом случае был неизбежен, особенно после августовского путча. Ссылаются на то, что-де Украина не хотела присоединяться к союзному договору и одно это уже определяло финал. Один из самых активных «беловежцев» — Шахрай в своих многочисленных статьях и интервью утверждает, что «образование Содружества Независимых Государств (он явно избегает говорить «ропуск Союза». — *К.Б.*)» было способом «предотвращения стихийного и гораздо более катастрофического распада СССР»³⁴. Выступая в Государственной Думе, он доказывал, что беловежские соглашения лишь подвели черту под дезинтеграцией и распадом Союза, и выдвинул «убойный», на его взгляд, аргумент: «Три человека, как бы они этого ни хотели, были бы не в состоянии распустить мировую ядерную (!) державу». Он жалуется: «Стало как-то общим местом считать, что именно беловежские соглашения развалили Союз»³⁵.

Ему нервозно вторит обычно выдержанный Шушкевич: «Хватит этих разговоров, что в Беловежской пуще развалили Союз. Он был развален Горбачевым, который стремился любой ценой держаться за должность, не хотел соблюдать интересы большого государства... Мы вовремя остановили этот безумный процесс развала»³⁶.

Но эти и подобные заявления, в изобилии рассыпанные в выступлениях не только Шахрая, но и Бурбулиса, Козырева и других, не более чем арьергардные защитные речи людей, причастных к антиконституционному сговору. Факты свидетельствуют, что российские деятели были не только закоперщиками беловежского сговора, но мощной движущей силой разрушительных процессов в Союзе³⁷.

³³ The Washington Post. — 1991. — 28 Nov.

³⁴ Независимая газета. — 1996. — 19 марта.

³⁵ Независимая газета. — 1994. — 12 марта.

³⁶ Правда. — 1993. — 26 янв.

³⁷ Сейчас и Гавриил Попов заявляет о своем несогласии с содеянным в Беловежье и рассказывает, что российская делегация отправилась туда втайне даже от него — в ту пору сопредседателя «Демократической России» и мэра Москвы. (Независимая газета. — 1998. — 19 февр.)

Как известно, 12 июня 1990 г. была принята Декларация о суверенитете РСФСР. Она фактически открыла «парад суверенитетов» и дала сигнал — стимулировала движение других республик к независимости. С августа по сентябрь они, в свою очередь, принимают декларации о суверенитете. Летом этого же года Р. Хасбулатов, как уже упоминалось, «шокировал» Мэтлока, предсказав «с удовольствием, что Советский Союз скоро исчезнет и будет заменен «просторной» организацией типа Организации Объединенных Наций»³⁸.

Известно также, что Бурбулис, Шахрай и их группа загодя, во всяком случае еще в феврале 1991 года, готовили документы, ставшие основой беловежских соглашений. «В 1990 году я уже начал готовить Беловежье по сути», — вырвалось недавно у Бурбулиса³⁹. Тот же Мэтлок пишет: «Г. Бурбулис и его коллеги набрасывали проекты «просторных» соглашений, которые дали бы России предлог (!) для абсорбирования институтов СССР и превращения ее в его правопреемницу по международному праву. Бурбулис вез эти проекты, когда сопровождал Ельцина на встречу» (беловежскую. — *К.Б.*)⁴⁰. Шушкевич признает, что «существовал договор-заготовка, разработанный еще в феврале славянской «тройкой» вместе с Казахстаном»⁴¹. Правда, по его словам, принадлежащие Бурбулису формулировки относительно прекращения существования Советского Союза «шли гораздо дальше, чем имели в виду представители Белоруссии»⁴².

Своим «суверенным» поведением и прямым подталкиванием к этому других республик российское руководство всячески стимулировало центробежные тенденции, оно стоваривалось с радикалами в республиках. Бывший премьер-министр Литвы К. Прунскене, с которой я встречался на сессии Совета взаимодействия в Пекине в мае 1993 года, рассказывала о договоренности, существовавшей между Ельциным и Ландсбергисом, ослабить позиции Горбачева. Ландсбергис обещал придать взаимоотношениям Литвы с СССР конфликтный характер, не идти на серьезные переговоры с Горбачевым (а то тот, не дай Бог, пойдет на уступки). Взамен Ельцин обязался оказать Ландсбергису полную поддержку.

³⁸ Jack F., Matlock Jr. Op. cit. — P. 733. Я часто цитирую в этой части Мэтлока, ибо свидетельства американского посла особенно ценны, учитывая безоговорочную поддержку и им, и его правительством российского руководства.

³⁹ Русская мысль. — П. — 3 — 1997. — 9 апр. — С. 7.

⁴⁰ Jack F., Matlock Jr. Op. cit. — P. 640.

⁴¹ Однако, несмотря на настойчивые уговоры, Назарбаев отказался присоединиться к «пушистам», поскольку, по его словам, «не хотел участвовать в том, что многие будут рассматривать как заговор» (Jack F., Matlock Jr. Op. cit. — P. 641).

⁴² Moscow Times. — 1996. — Dec. 7.

Этой же тактики российский президент придерживался на переговорах о союзном договоре, раз за разом изменяя свою точку зрения и отказываясь от уже согласованных позиций. Как пишет Мэтлок, «Ельцин успешно маневрировал с целью ликвидации Советского Союза»⁴³. Последний шаг был сделан 22 ноября — в момент, когда уже заказали шампанское для ритуала парафирования соглашения.

4 ноября — за месяц до беловежских соглашений — по российской инициативе лидеры республик согласились упразднить все союзные министерства, за исключением пяти. А 15 ноября 1991 г. Ельцин десятью указами установил контроль над всеми советскими финансовыми институтами и значительной частью внешней торговли. Еще через три недели последовала поездка в Минск.

Некоторые наблюдатели, и в том числе американский посол, склонны считать, что в поведении Ельцина первостепенную или даже главную мотивационную роль играла неприязнь к Горбачеву. Я думаю, что это преувеличение, хотя и не сбрасываю со счетов этот резон. Все же главным, очевидно, было другое. Не только Беловежье и предшествующие события, но в особенности последующие годы убедительно продемонстрировали, сколь много значит для Ельцина власть и какую безграничную цену он готов за нее уплатить⁴⁴.

Инспирируя Беловежское соглашение, российское руководство обнаружило впечатляющую недалекость. Оно явно рассчитывало, что беловежский «развод» станет для России лишь зигзагом, за которым вновь последует этап «собираения земель» под ее руку. Очевидно, сказался провинциализм — да еще сдобренный изрядной дозой «державного» высокомерия — некоторых российских творцов Беловежья, внезапно и случайно брошенных в большую политику. Они, видимо, считали, что Беловежье — не более чем эпизод в жизни остальных советских республик! Российское руководство не понимало — и, судя по всему, не вполне понимает до сих пор, — что обретенная независимость республик не полустанок, а конечная станция, что это не преходящий эпизод, а рубеж, взятый навсегда.

Обнаружилось достаточно поверхностное представление о национальном вопросе, о ключевом значении демократического к нему подхода, привязанность к наследию и рефлексам прошлого. Отсюда «славянский» характер беловежских соглашений и попытки экономических договоренностей в таком же составе, разумеется, неудачные. Отсюда то и дело прорывающаяся неготовность на практике принять последствия беловежских решений, попытки под флагом интеграции выкроить доминирующее положение для России. Отсюда же чечен-

⁴³ Jack F., Matkock Jr. Op. cit. — P. 649.

⁴⁴ Тот же Шушкевич заявляет: «Никто там (в Вискулях. — К.Б.) не был наивным. Было ясно, что именно Горбачев, более чем что-либо другое, стоит на пути Бориса Николаевича» (Moscow Times. — 1996. — Dec. 7).

ский поход и таджикская авантюра, бездумные проекты (за которыми маячит опять-таки фигура Шахрая) ликвидации национально-территориальных автономий или расселения 32 млн. русских «по южным рубежам России»⁴⁵, притеснение «лиц кавказской национальности» и т.д.

Выявилась и ложность посылки, которой тешился складывавшийся российский истеблишмент: оставшись одна, Россия-де только выиграет, на нее немедленно снизойдет благодать экономического расцвета. Вспоминаю, как на ужине у советского посла в Тегеране летом 1991 года бессменный с тех пор заместитель министра экономики Матеров и его коллега, председатель Комитета по добыче и переработке нефти (фамилии не помню), с непоколебимой уверенностью провинциалов доказывали, как важно «отцепить вагоны от поезда» (т.е. от России, которую они еще называли «метрополией». — К.Б.).

Но более всего поражают хладнокровие и (назовем это так) решительность, с которыми творцы — всех рангов — беловежских соглашений обрекли на разлом жизни десятков миллионов. Ведь за строками соглашения стоит гигантский массив сломанных и исковерканных судеб, людских невзгод и страданий.

Не могу не процитировать открытку, которую моя теща Аниа Александровна Китаева получила из Полтавы от близкой подруги военных лет Нины Андреевны Копейкиной, участницы Великой Отечественной войны, радистки, вдовы, как и она, офицера, защищавшего Сталинград. Они познакомились в начале 1942 года в Поволжье при формировании дивизии, в которой служили их будущие мужья.

Нина Андреевна пишет: «Вот и случилось так, что живем мы теперь за границами, в разных государствах — ни увидеться, ни поговорить. И у меня все чаще чувство, будто дует осенний пронзительный ветер, а мы все вроде стоим голенькими на этом ветру».

Наверное, под этими словами подписались бы многие.

И последнее. Был ли распад Союза благим, прогрессивным актом в общественно-историческом смысле? Если сравнивать с дореформенным Советским Союзом, я бы ответил на этот вопрос утвердительно. Если же думать в категориях доведенной до успешного конца перестройки, если, таким образом, иметь в виду реформированный Советский Союз, то нет. Тогда на первый план выступили бы преимущества крупного многонационального демократического государства — на фоне провинциальности, пусть даже временной, большинства новых государств. А в международном плане — предотвращение создавшегося вакуума, открывшего дорогу своеволию Соединенных Штатов, которым тяготеют и недовольны многие, притом самые различные страны.

⁴⁵ См. Аргументы и факты. — 1994. — № 41.

В заключение

Завершена последняя глава, за плечами 20 месяцев прилежного труда, плод которого представляется на суд читателя. Задуманная как мемуарное свидетельство о времени и о себе в нем книга превратилась в «суд» над тем и другим. Потребовав интенсивной внутренней работы, она послужила своеобразным испытанием на способность «без гнева и пристрастия» отнестись к прожитому и пережитому, понять смысл и внутреннюю связь событий.

Я как бы заново, из сегодняшнего далека вглядывался в пролетевшие годы, заново взвешивал ценности, которые исповедовал, заново всматривался в людей, с которыми сталкивала судьба. К тому же время добавило еще один оценочный критерий — юдоль послеперестроечной России. На этом фоне особенно отчетливо вырисовываются и пороки, и достоинства прошлого.

Книга естественно и правомерно получилась очень недоброй к прошлому. Дочь, которой я дал прочесть рукопись, интересуясь реакцией молодых, даже несколько удивила: «Не знаю, что ты имел в виду, но для меня это — обвинение прошлому. Была тюрьма, жизнь человека, обставленная всевозможными ограничениями на каждом шагу. Человек, его судьба зависели от произвола других людей, часто ничтожных и гораздо ниже по своим возможностям».

Но я никак не хотел — и надеюсь, мне это удалось — походить на антикоммунистических кликуш «последнего правительственного распоряжения», на злобствующих истериков или быстроногих мальчиков из разнообразных редакций (воодушевленных твердой валютой, но не обремененных ни мыслями, ни знаниями), которые поносят всю послеоктябрьскую эпоху. О чем бы ни писали, они считают уместным и выгодным (что верно!) бросить в него шматок грязи. Даже если речь идет о прохудившейся где-то, десяток лет не чиненной канализации, они обязательно свяжут это с пробелами «канализационного дела» в советское время, а может быть, и напрямую с «язвами» марксизма.

Впрочем, мода эта явно увядает. Нынешнее положение России помогает вспомнить, что в нашем «вчера» были не только оторванная

от народа отжившая система и окостеневшая идеология, не только насильственная коллективизация и ГУЛАГ. Были и победа в Великой войне, и превращение страны в мировую державу, и солидарность с народами, добивавшимися свободы, и ростки интернациональной дружбы, и первые всходы коллективистской морали. И мне отвратительны люди, которые с наслаждением пинают свой народ, именуя его то «стадом», то «совками» — и только потому, что он поверил тем, кто провозглашал идею социального равенства и справедливости, величайшую из созданных человечеством идей. И дело тут не только в порядочности. Без достойного отношения к собственной истории общество не вправе ни уважать себя само, ни претендовать на то, чтобы его уважали в мире. Глумиться над прошлым куда проще, чем извлекать из него уроки. К тому же это чревато новыми тяжелыми ошибками и разрушительными последствиями.

В центре автобиографической книги, естественно, оказались мои коллеги и я — представители той генерации «аппаратчиков», которых разбудил и трансформировал XX съезд. Порой я адресую им — назовем их, весьма условно, «пятидесятниками», хотя «созрели» они заметно позже, в 60-е и 70-е годы, — и нелюбезные слова. Они были внутри системы, ее обслуживали и не могут вполне отделить себя от того, что делалось и происходило. Этого не отменяет неоспоримый факт, что они стали там чужеродным элементом и с системой были практически несовместимы их реформаторские чаяния.

Верно, однако, и то, о чем говорил Э. Шеварднадзе, кумир российских либералов: «Если бы не произошла революция в умах коммунистов, не было бы ни перестройки, ни демократизации в России».

Реформаторским мечтаниям «пятидесятников» не суждено было осуществиться. Они думали о социализме с «демократическим, человеческим и нравственным лицом». Они хотели для своего народа свободной и достойной жизни, избавления от унижающего отставания в условиях бытия от богатых стран. Они стремились к укреплению мощи и влияния Советского Союза, его превращению в притягательный пример.

Но жизнь пошла другим путем. Советский Союз лежит в руинах, а Россия низведена до положения державы не первого ранга. В стране воцарился «грабительский капитализм» (определение известного американского миллиардера Сороса), опирающийся на коррумпированные государственные структуры, финансовую олигархию, связанную с криминальным миром.

Даже если оставить в стороне споры о траектории развития России — заводит ли она в тупик или, напротив, выводит из тьмы туннеля — несомненно, что цена, государственная, экономическая, социальная, демографическая, культурная и нравственная, которую мы платим за расставание с прошлым, за перестроечный и после-

рестроечный периоды, чудовищна. Мы получили общество, которое отравлено двойным ядом — непреодоленного прошлого и полукриминального настоящего, общество с «латино-американскими» контрастами, общество, где деньги являются мерилом всего — ума, таланта, успеха, морали, где господствует отвращение к политике и политикам, где люди унижены и пассивны, где уголовная репутация высших сановников — банальное, будничное дело.

Значит ли это, что «пятидесятники» были неправы изначально и жили во власти утопий? Думаю, что нет. Ведь еще «отнюдь не вечер» российской судьбы. Более того, я убежден, что идея социальной справедливости — ванька-встанька мировой истории — еще зазвучит в России в полный голос. И первые свидетельства этого уже есть.

В книге много говорится о внешней политике — нашей и американской. Неверно, что советская политика целиком опиралась на мифы. Существовали и империализм, и колониализм, которые сейчас пытаются украсить, ставя в кавычки, и американцы жгли напалмом вьетнамцев, и утюжили тяжелой артиллерией арабов. И мерзости одной, советской, стороны не могут быть индульгенцией для другой.

Неискаженный пристрастием взгляд в прошлое показывает, что в советской политике — при всех ее минусах — было немало и здравого. Об этом свидетельствуют и нынешние шаги российской дипломатии, которая, нащупывая фарватер самостоятельного курса, в ряде регионов фактически идет по ее следам.

Разумеется, Россия находится в принципиально ином положении, чем Советский Союз, — не только в идеологическом отношении, но и в смысле своего потенциала. Ей, очевидно, на длительное время не пристало увлекаться миражами глобальной политики и лучшее на что она может сегодня реально претендовать — это быть великой «трансконтинентальной», евроазиатской державой. Но из советского внешнеполитического наследия в первые послерестроечные годы было бездумно растрачено и многое, что можно и нужно было сохранить. Сказалось подстегиваемое идеологическим зудом желание сделать «все наоборот», «сжечь все корабли» прошлого, послушно следовать за политикой США и поспешно отречься от испытанных друзей.

Между тем Россия в силу своей и географической, и цивилизационной специфики обязана вести многополюсную политику, не допуская опасной гипертрофии ни на одном из направлений. Россия жизненно заинтересована в тесном, всестороннем и открытом сотрудничестве с Западом. Но оно не должно перерастать в глобальное военно-стратегическое партнерство — сегодня неизбежно неравноправное.

По своему географическому и геополитическому положению Россия принципиально отличается от Западной Европы и США. Она входит своими массивами в глубины Азии, граничит на протяжении тысяч километров с мусульманским миром. Это навязывает ее поли-

тике некоторые перманентные ограничения и императивы. Однако именно эти регионы плюс Африку имеют в конечном счете в виду влиятельные круги Запада, когда замышляют создание своего рода крепости, призванной отгородить «золотой миллиард» (богатые страны) от безбрежного моря бедняков планеты. Идея, чреватая серьезными катаклизмами: проблему (а она, несомненно, тут есть) менее всего можно решать силовым способом.

Как бы то ни было, России особенно опасно участвовать в подобного рода комбинациях, постепенно соскальзывать к любезно предоставляемой ей роли заслона от мусульман, позволить вовлечь себя в противостояние с Востоком (Югом). Она и так уже с потенциально опасными для себя последствиями противостояла или противостоит исламистам в Афганистане, Чечне и Таджикистане, в то время, как США ищут взаимопонимания с ними в Боснии, Алжире и других странах.

Тема отношений с мусульманским миром — одна из важнейших для судеб России в следующем веке. Если будущее исламского фундаментализма достаточно сомнительно, то расширение воздействия ислама и его политического влияния неизбежно, в частности потому, что он воспринимается как элемент национального сознания и возрождения. И первостепенная российская забота — избежать столкновения с ним.

Если Россия хочет оставаться азиатской державой не только в географическом смысле (не говоря уже о ее целостности), сохранить свое присутствие в Средней и Центральной Азии, Москве предстоит найти *modus vivendi* с влиятельными мусульманскими силами. Более того, России необходимо искать пути сотрудничества с этим миром, а возможно, и стать важным связующим звеном между ним и Западом. Для этого в ее арсенале есть солидные исторические и политические, цивилизационные и демографические предпосылки.

Фундаментальный вопрос для России — о ее месте в евроазиатском пространстве: сумеет ли она сохранить достойное политическое положение здесь и добиться на перспективу, чтобы бывшие советские республики строили свои экономические связи с преимущественной ориентацией на Москву, или будущее за евразийской стратегией Запада, и особенно США (примерно по Бжезинскому), и за евразийской дипломатией (по Хасимото)? Иначе говоря, кто будет очагом интеграционного притяжения для постсоветских государств этого региона?

Много говорится сейчас относительно интеграции России в международные политические и экономические структуры, и это, действительно, желанная и важная цель. Но не менее важны условия, на которых предлагается или происходит эта интеграция. И особенно существенно «держат в уме» то, что сегодня эти структуры в своем большинстве, хоть и называются «мировыми», выступают как «миро-

вое общество», на деле являются американско-европейскими, главным образом американскими. Но в следующем веке, на который Россия уже сейчас не может не настраиваться, положение изменится, и, возможно, главный «фокус» XXI века будет состоять в том, как без острых конфликтов превратить все такие структуры в «зеркало» мировых интересов. Какую роль в этом может и призвана сыграть Россия — еще один из вопросов, который ставит перед нею следующее столетие.

Еще одна стержневая проблема российской внешней политики и, даже больше, российской самоидентификации — ее отношение к американской гегемонии (не столько даже к нынешней, сколько к опасным претензиям США надолго закрепить и нарастить ее). Эта проблема шире российско-американских отношений — она касается будущего миропорядка и места в ней России. Отсюда прямая обязанность России помочь тенденции к многополюсности стать преобладающей в развитии международной жизни, тем более что именно в этом направлении роет «крот истории». Заодно предстоит определить содержание самой формулы многополюсности — это переходная форма демократизации международных отношений или же лишь более или менее устойчивая комбинация региональных и зональных гегемоний?

Взгляд в прошлое показывает и то, что в холодной войне Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом двигали не только идеологические мотивы, но и межгосударственное соперничество. Разные геополитические интересы и противоречия между ними во многом сохраняются и теперь, хоть и в радикально преобразованном виде.

США занимают уникальное место в современном мире. Это не только единственная оставшаяся супердержава, но и единственное (если не говорить о мусульманской зоне) оставшееся мессианское государство, которое не только считает свой образ жизни благом для всего мира, но и стремится распространить его повсюду.

США немало делали и делают во имя победы демократии — разумеется, своей модели — в различных странах. Их заслуги в этом смысле бесспорны. Но идея демократии очень уютно и пластично сожительствует с другой, пожалуй, главной идеей внешней политики США — о мировом их лидерстве, подчинена этой идее, эффективно на нее работает.

Соединенные Штаты искренне заинтересованы в том, чтобы Россия превратилась в демократическую страну. Но не меньше, если не больше, они заинтересованы в том, чтобы Россия стала региональной державой, чтобы в постсоветском пространстве не было чрезмерного российского влияния, чтобы она оставалась вне натовской Европы.

Москва должна последовательно добиваться равноправного положения. Без этого у нее не может быть собственной внешней политики на одном направлении. Без этого модные заявления том, Россия «обречена» быть великой державой, которые и так звучат, скорее как молитва, как заклинание, теряют всякий смысл.

Разумеется, невозможно проводить самостоятельную политику, когда пребываешь на поводке МВФ, где Вашингтон играет господствующую роль, и живешь от одного до другого его транша. Но отрадно, что российская дипломатия тем не менее обнаруживает теперь стремление к этому.

И последнее. Не только исторические талмуды, но и собственный опыт привел меня к выводу, который может показаться странным политика и политики — это чаще всего бремя для народов, иногда очень тяжелое. Своими невзгодами и страданиями, даже крошечными оплачивают корысть и амбиции политических деятелей, их ошибки и игры, наконец, их профнепригодность. Особенно это верно в отношении Советского Союза и нынешней России, чей политический класс обнаружил свою несостоятельность.

Россиянам остается уповать на следующую, новую генерацию политиков — не тех, кто пришел из советских лет, и не тех, кто выпрыгнул на политическую авансцену в послеперестроечные годы. На политиков, возвращенных демократией и неуслышано ею контролируемых. На демократов без кавычек, интеллектуально раскрепощенных и отважных, внутренне свободных, ценящих человеческое достоинство и любящих Россию честной нержавеющей любовью. И только реальная демократия способна «уберечь» политику от политиков, а их — от самих себя.

14 января 1997 г.

Мемуары

Карен Нерсесович Брутенц

**ТРИАДАТЬ ЛЕТ
НА СТАРОЙ ПЛОЩАДИ**

Редактор А.Н. Ермонский

Оформление художника И.К. Дергуновой

Художественный редактор А.С. Скороход

Технический редактор З.Д. Гусева

Корректор С.Ю. Чупахина

Компьютерная верстка Е.В. Мельниковой

Брутенц К.Н.

Б-89 Тридцать лет на Старой площади. Мемуары. — М.: Междуна-
р. отношения, 1998. — 568 с.: ил.

ISBN 5-7133-0957-6

Автор — бывший первый заместитель заведующего Международным отделом ЦК КПСС и советник Президента СССР, современник «сталинских побед», хрущевской «оттепели», брежневской контрреформации, горбачевской перестройки, ельцинской России. Он со знанием дела рассказывает о том, чего добивалась политика СССР в развивающихся странах, о ее месте в борьбе двух сверхдержав, ее растущей неэффективности по мере дряхления режима и его руководства. Впервые — притом без прикрас — рассказывается о Международном отделе ЦК КПСС, его структуре и функциях, его людях. Читатель узнает, как в реальности принималось решение об афганском походе и как влиятельные силы в администрации США делали все, чтобы «не спугнуть» это решение. Всей своей книгой автор пытается дать ответ на вопрос, почему распался Советский Союз.

Книга адресована тем, кто интересуется нашей политикой и нашим недавним прошлым; она рассчитана и на широкого читателя.

УДК 327 (47 + 57) (091)
ББК 63.3 (2) 635-6

ЛР № 010170 от 7 октября 1997 г.

Подписано в печать 24.07.98.

Формат 60×90¹/₁₆. Бумага офсетная.

Гарнитура «Бодони». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 35,5 + 2,0 вкл. Уч.-изд. л. 40,72.

Изд. № 13-и/97. Тираж 3 000 экз. (1-й завод — 1 500).

Цена договорная. Заказ № 2384.

Издательство «Международные отношения»
107078, Москва, Садовая-Спасская, 20

Отпечатано с готового оригинал-макета
издательства «Международные отношения»
в Смоленской областной типографии им. Смирнова
214000, г. Смоленск, пр. Гагарина, д.2

Тел.: 3-01-60, 3-14-17, 3-46-20

ISBN 5-7133-0957-6



9 785713 309572

**Автор – бывший первый заместитель
заведующего Международным
отделом ЦК КПСС и советник
Президента СССР, современник
сталинских "лет", хрущевской
оттепели, брежневского "отката"
и полураспада, горбачевской
перестройки и ельцинской России.**

Задуманная как мемуарное свидетельство о времени и о себе в нем, книга превратилась в "суд" над тем и другим. Из сегодняшнего далека автор как бы заново вглядывается в пролетевшие годы и рисует портрет двух поколений – "революционных отцов" и "детей-романтиков", в чью судьбу вюрвалась великая война.

Личная причастность и взгляд "изнутри", секретные документы, соприкосновение с советскими лидерами и ведущими деятелями зарубежных правительств позволяют автору убедительно показать, как в 70-е и первую половину 80-х годов делалась политика СССР в той части мира, которую называют развивающимися странами. Обстоятельней, чем когда-либо, в книге рассказывается о Международном отделе ЦК КПСС – его структуре и функциях, его людях. Читатель узнает и о том, как рождалось решение об афганском "походе" и как влиятельные силы в администрации США делали все, чтобы "не спугнуть" это решение. Проживший 30 лет в Азербайджане, много занимавшийся национальным вопросом, побывавший по поручению Президента СССР в "горячей точке" – Карабахе в 1988 году, автор пытается дать свой ответ на вопрос, почему распался Советский Союз.

ISBN 5-7133-0957-6



9 785713 309572

К.Н.БРУТЕНЦ ТРИАЦАТЬ ЛЕТ НА СТАРОЙ ПЛОЩАДИ

К.Н.БРУТЕНЦ

ТРИАЦАТЬ ЛЕТ
НА СТАРОЙ
ПЛОЩАДИ